ОЛЬГА
ФОРШ



4

Ольга
ФОРШ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Ольга Форш

СОЧИНЕНИЯ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

Ольга
ФОРШ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
IV

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ.
СКАЗКИ. ПЬЕСЫ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

БЫЛ ГЕНЕРАЛ

I

— Приехал вскормленник мой, енерал, Никита Иваныч, — радостно сказала Анфиса, худая, иконописная старуха, входя в избу.

— Ишь ты, приехал, — обозвался с печи Артем. — Сколько годов один ветер в хоромах ходил.

— А нонче уж сам, а гладкой стал, пальто у него алым подбито, ровно сарафаном. — Старуха выговаривала с гордостью, стягивая сапоги, облипшие жидкой, весенней грязью. — Исподнее такой тонкости... и где только тканое? Стирают уж...

Анфиса вобрала изжеванные губы и вдруг рассердилась:

— Марья Шепчиха свою девку поставила, поспела, сука. А кажись моя тут копейка, не ейный он вскормленник!

— Ейный,— усмехнулся Артем,— нешто когда на проезжей дороге росла трава?

Анфиса еще раз выругала Марью и с подвязанным подбородком, подоткнутым подолом, бабой-ягой прошла к печке. Под самый нос Артема уткнула свои сапоги. Артем нехотя передвинул голову, по-бабьи укрученную в теплый платок. С детства болел он ушами, а как примерз спьяну к луже, так уж с печи не слезал.

— А што, матка,— сказал Артем таким голосом, будто язык у него был толще, чем у других, — ты не обозвалась генералу: я, мол, кормилка твоя, а Степка наш, значит, брат ему молошный?

— Не отважилась, Артемушка. Ходил этта он по доскам, в саду от грязи накладены, а грузный, а серьезный,

одно слово — енерал. Только осмелела, посунулась, а он пальтом заалел, да в двери. «Хорошо этта, говорит, Анеточка, на дворе пахнет, ты бы пройшлась», это женке-то, а она, ровно простыней обкрученная, распоясана, а с лица поганая, как закричит на его: «Я, говорит, в грецеские земли хочу, а не навоз деревенский нюхать».

— Господа сами духовиты, — до ушей ухмыльнулся придурковатый Степан. Сидел он на лавке у стены, длинный да белесый, прямой «выветренный колос», как прозвала его деревня. Лишь только выбивался из мрака на освещенную поверхность стола ошалевший прусак, Степа давал ему хорошего щелчка, прусак вверх тормашками летел на пол. Степа гоготал.

— А ты бы, мать, узоров не разводила, — сказал Артем и спустил с печи, словно двух спеленутых младенцев, свои распухшие, обмотанные ноги. Покланялась бы генералу на бедность, все пятерку бы дал. Хоша к фершалу съездить, сказывали «супермазь» сам открыл, от всего легчает. Буравит косточки-то. Тоже и пишша... хлёбово варишь — свиньям впору. Мясного с крещения не видали.

— Мясного свищи, — загоготал Степа и, пропустив шустрого прусака, плюнул ему в догонку. — А я намедни из хлёбова двух червей выловил, должно гороховые. Пущай для навару, вот те и мясные — угу!..

— Чаво загугнел... лапша, — презрительно зашипела Анфиса. — А ты матери не укорщик, — качнулась она на Артема. На бревенчатой освещенной стене странно продвинулась торчащими кверху концами платка, словно рогами, ее черная тень.

— Коли не робкой кобылы жеребенок, сходи с дураком этим, али сам за него обзовись: я, мол, братец твой... зачирвелый.

— Куда мне... — показал Артем на свои ноги.

— Я, маменька, сам схожу к братцу-то, мне што, — сказал Степа.

— Сам! — Анфиса с сердцем плеснула квасу в облезлую крашеную миску, протянула руку за картошкой, но раздумала и, тяжело опустившись на скамью, громко высморкалась в подол. Слезы побежали по глубоким привычным морщинам. Она не размазывала их ладонью по лицу, а шевеля, как старая лошадь, губами, только вздыхала исто-

во, как от горячего чая, почти с облегчением. Случится, выпросишь щепотку у попадьи, и нагонит ее в печи ровно калину. Тянет с блюдца, пока весь чугун не опорожнит...

Так на холоде коровы к теплой барде присасываются. Не отгонит подпасок — лопнет, сама не отвалится.

У Анфисы, вдовой солдатки, как жернова на шею, нависли два никчемных сына: Артем зачирвелый да Степка-дурак.

Выпало ей на долю самое трудное и не бабье, а мужиково: обмозговать что и как. Ни двора, ни хозяйства; одну голую избу, как бобылю, мир присудил. Ходила на поденщину, к попу, к дьякону. Белье стирала, огород полола, мельнику в шабаш воду таскала. Да все: как бы угодить, да чтоб Марья, тоже солдатка, стирку не перебила. Только и отдыха за своим бабским, подлинным: вот поплакать, чайку испить в дорогую душу.

И от чаю и от слез сердце-то словно распаривалось... отпускало.

Увидав вскормленника генерала, Анфиса не переставала испытывать какие-то утомительные и сложные чувства. Лестно ей было вспомнить, как трещали под ним доски и алым маком заворачивалось при каждом движении пальто. Лестно потому, что не с чужого — с ее молока пошел расти генерал.

И вместе от этого самого, — что грузный да сытый такой, что подкладка красная, — было обидно. Так обидно, будто кто сердце двумя руками выжимал, как белье выкручивал.

— Пойдите, сынки, пойдите к вскормленнику... с того и, скажите, зачирвели оба, что груди тебе, — а слезы-то нам! Покойница барыня на Степку и не глянула. Ровно щенка я в стеганку укрутила. Сунула, отворотившись, трешницу: нельзя, говорит, двух разом кормить, свово сдай на деревню. А на деревне, известно, маком опоили... ишь, дураком сидит.

— А как тебя, Артем, прижила, опять мамкой к поповичу. Попадья — родить родила, а не молошная. И она тож: нельзя двух, чай, не корова. На жвачке тебя, сынок, на жвачке сгноили.

Анфиса причитала-скулила. За стеной девчонка, всунув ногу в веревку, качала колыску. Скрипел под потолком

деревянный брус. Артем вздыхал, перекладывал ноги. Степе стало скучно, так скучно... тошнотою подкатывало к сердцу.

Не забегали больше прусаки на светлый круг, тот, шустрый, верно, усами передал. Делать Степе было нечего. Он зимой ровно капуста перепрелая, даже лаптя сплести не умел. Все больше спал, очумелый. Когда бы не был он таким пастухом, что сам бык Евлан на голос его словно овечка малая шел, и кормить зимой не стоило б.

Очень обидно было Анфисе за Степку, стыдилась его. Артем, тот, правда, и копейки в дом не вносил, а все ж он — как люди: и водку, случалось, пил, и детей, когда покрепче был, от девки-сироты прижил, и речь его понятна, и думка как у людей...

А Степка — леший его батька, ленивый на нем не линял. С ребятами ровней, со псами лижется, ни пахать толком, ни в батраки. Рот разинет — чужую бороду заскородит. Только и отдыха от него, как в пастухи поставила.

За дверью что-то затопотало, натиснуло. Ввалилась здоровая девка, краснощекая сирота Настя. За ней, давя друг друга, наполняя избу странно-человеческими звуками, мягкие черные барашки. Соседний богатый мужик Мареев перестраивал свой скотный, а пока «от куска» ставил к Анфисе в избу скотину. За это, когда забьют борова, уделят лопатку.

Анфиса, увидав девку, сейчас же подобралась, чтоб она не подумала, что вернулась из усадьбы несолоно хлебавши.

— Вылови из кадки огурцов, — приказала она тем сухим, злым голосом, каким на деревне всякая испитая горемычная баба говорит с красивой девкой. Настя скрылась в темных сенях и, поливая холодным рассолом вздрагивающих баранов, положила на стол огромные набухшие огурцы.

— Ишь, утопленники, — оживился Степа и, встав, нажал ладонью на самый толстый, отчего тот слабо квакнул. — Ровно жаба, живой...

— Леший ты, ирод... — Анфиса замахнулась обгрызенной ложкой, но Степа увернулся и, споткнувшись о баранов, побежал вон из избы.

— Водяной бык! — радостно крикнул он, показав на минуту белобрысую чахлую бороденку.

— Тетенька, я пойду к озеру... — закраснелась Настя. — Водяной бык гудет.

— Знаю твово быка. Знаю, к кому ходишь, — а мне што, иди...

II

Гу... у... уп — тяжело хлопался кто-то в воду, и по всему озеру отдавалось, гудело по верху широкой, разлившейся воды: у... у. Это — смешная птица вставляла по самые глаза свой длинный нос в воду и, выдыхая, испускала такие густые, мощные звуки, что казалось, большой неуклюжий зверь увяз в тине.

Водяной бык открывал весну. Каждый год по его сигналу все девки и парни сбегались к озеру и жгли сухие листья, свезенные в кучу после чистки господского сада. Степа не любил хороводиться с девками: они его высмеивали, парни смазывали ладонью снизу вверх. Суетливо...

Он полез на толстую липу, что подпирала сплывшую под гору Анфисину избу, и стал смотреть на костры. Частый, ночью совсем серый березняк прорезали красные огни. Совсем маленькими, черными кажутся Настя и Фаддей, сыроваров работник. А головы сидящих на земле девок словно тыквы.

Вот Митрошка выхватил гармонь и заорал глупую, из пригорода занесенную песню:

Девки или, девки или,
Они жарили картофь,
Сокрушили, иссушили
Усю нашу холостежь.

Зашевелились тыквы, выросли в девок, затопали, запели. Сыроваров работник подхватил кого-то да Митрошке через огонь, а Митрошка Ваньке, а Ванька в кусты...

Ух... словно колокол оборвался, — плюхнулась Домна в костер, и до самых тонких ветвей, прямо в звезды, брызнули кровавые искры. Кинулись парни тушить девку, а девки хворостинами сзади бьют парней. Визг, смехи.

«Гу-уп! Оборвал, не гудет. Должно, приманул свою бычиху», — подумал Степа и перевел глаза с ярких огней на небо. В синеве наверху еще лучше. Большая, вся распухшая от весенних соков береза переплелась макушкою с липой. Под ногами — ничего, а весело, словно аисту на

колесе. Вниз глянуть — темно, а сквозь голые частые ветви небо такое, ну, просто пахучее. И звездочки промывает, мягчит весенняя влага.

Густой сладкой каплей падает березовый сок, переполняет, пузырит ведерко. Соловей только зачастил, стал сыпать, а крапивянка с сирени так и втирается, подражает. Остановился соловей, уступил. Трещит-верещит крапивянка, будто и правильно, однако до коленца с переливом дошла — заикала. Соловей еще малость спустил, скосил глаз на соловьиху, напружил перья на горлышке и пошел...

Степа вытянул голову, приоткрыл рот и, никуда определенно не глядя, словно сразу и видел и слышал все: въедливую песню сыровара «Девки или, иссушили» и двойной звук каждой капли березового сока — густым всплеском в ведро, чуть слышным шорохом внизу, в сухих листьях.

Завился Степа в черных ветвях, длинный какой-то, словно бескостный. На тонкой жилистой шее бесцветное лицо. Волосья — солома прошлогодняя, голубые, словно незрячие глаза — прямой выветренный колос.

А ему, дураковатому, мнится, будто это он сам сейчас с весенней удалью швырнул в огонь Домну. Это он вместе с птицей гудел по воде, слышал дух оживающей тины. Будто это он — тот сладкий сок, что разморил, раззадорил березы.

III

— Ст-е-пка, а Степ, — дребезжала, надрываясь, Анфиса. Еще завела голос, да шарахнулась. — Ишь, чертов ворон!

Степка каркнул и свалился прямо с дерева ей под ноги.

— Мужички за делом пришли, ходь в избу! Тебе, дураку, почет — выборным будешь.

В избе сидели гости: старик Тимофей и Левка, рыжий парень с острыми гвоздями-глазками.

— Слышь, Степа, — сказал старый, — твой час послужить деревне пришел. Мир матке твоей избу отвел, в пастухи тебя рядят. Поколеть бы вам, кабы не мир, вот, значит, и отслужи своей дуростью.

— Посылаем тебя к енералу, супротив старшины, — скороговоркой выскочил Левка.

— К е-на-ра-лу? — вытянул Степа, — сама матка, гляди, заробела.

— Матка твоя с обхождением, а ты дурачок, тебе ништо. К тому ж енерал тебе не чужой, родня, брат молошный, — стучал в ухо Левка.

— Узнали мы, што тихой он, так вот, может, если как к отцу родному, и присечет он земского-то, — сказал старик.

— Што ж про земского, дяденька?

— Ай, дурень, про земского нишкни. Около него разводить — разводи, самого, храни бог, не обзывай,— зашептал пугливо Левка.

— Слушай, да повторяй за мной, ровно псальму, — строго приказал Тимофей: — кланяются тебе пребывшие твово батюшки мужички, от белого лица до сырой земли. И поклонишься.

— И поклонишься... — повторил Степа, следя, как вздыбился кот, чтобы достать с лавки кусок хлеба.

— Ти не можно, сказывают, тебе без нас старшину сменить? Мы его, скажи, боимся. Он подвел этта, что знов его старшиной, а родню дикандатом.

— Ди-кан-да-том? Ишь ты, — улыбнулся Степа и с удовольствием еще повторил слово.

— Чего, ровно урод, заладил! — осадила Анфиса.

— А ведь старшину, дяденька, сами мужички выбирали, их, чай, слобода была? — прогнусавил с печи Артем.

— Слобода? Дураков брат, видно и сам одурел, — недовольно заговорил старый. — Слобода нам теперь есть по правилу околевать, а допреж того бесправильно дохли. Слобода... у чертовой она матери.

— Ну, негоди мне, — встал старик. — Слушай, Степа, сурьезно: вали енералу, что хошь, не сумлевайся, брат ты ему молошный, и богом к тому же обижен, а земского с старшиной разлить беспременно пора.

— Да уж я, дяденька, все, я ему ди-кан-да-та. Мне што, мне все одно, — говорил Степа, выходя за мужиками на улицу. — А што, Федосеич, — обратился он к Левке, — может, уж скоро «поволочимся», бык, слышно, гудет?

— Утопнешь... лошадям по брюхо. Разве што кругом пойдет? Да сперва научись: из присказа повытиснуть надо. Уж про Пётру Кондорыкина не ори, как намедни: «а и чей-то дом, ровно дуб средь пней». Другим обидно.

Обстроились. И Кузьмичевы лавку, и вдова Белоусиха клетей нагородила.

— Ты уже, дяденька, загодя обучи.

Верстах в десяти было большое село, а около монастырь. Давным-давно ходили туда на пасху «темные» петь христосные песни и величания. Настоящих слепцов было мало; старики в «волочебнички» шли редко. Отемневали христа-ради охотники. Они брали себе поводырей и всю святую по обету уже глаз не открывали. После обедни, под воскресный трезвон, когда бабы с облупленными до половины яичками, чтобы святость «наскрозь» проходила, шли христосоваться в именитые купеческие дома, «волочебнички», все в белых суконных армяках, держась друг за друга, тянули им вслед, припевая:

Волочебники мы, волочилися,
Ради батюшки Христа промочилися.

IV

Генерал Никита Иванович если не гулял в саду по доскам, нарочно для него положенным, от крыльца до садовой калитки, то сидел в ванной.

Белые стены ласково отдают весь получаемый свет. Под ногами упругий, в голубых цветочках, линолеум. Отсутствие привычных предметов, связанных с назойливой мыслью о былом, делают эту комнату единственной, в которой Никита Иванович чувствует себя свободно после того, что с ним произошло.

На мудреных приспособлениях для душа установлена небольшая батарея. Длинные проволоки зелеными червями пробираются в аквариум, стоящий на табуретке в белой фарфоровой ванне.

Генерал медленно надевает на провод старую пуговицу и, опустив ее в воду, радостно следит, как нежная светлая дымка обволакивает облезлые места. Пуговица становится такая белая, веселая...

— Новорожденная, — улыбается генерал и берется за другую. За пуговицами шпоры, задвижки или просто куски меди: а зачем, для чего? Не все ли равно.

Генерал посеребрил уже всю кучу мелкой рухляди, что была под рукой на окне, а с большими предметами сего-

дня возиться неохота. Надо встать с места, усилить ток, но уже не занятно, как в первые дни. Сейчас только бы смотреть, как облезлые, израненные временем места залечивает серебристый налет.

— Если б и меня кто-нибудь так, на провод и в воду.

Генерал положил руки на колени и стал думать все об одном и том же с самого начала.

Отдали в корпус, в тот, где был и отец; вышел в тот же гвардейский полк, и командир, до поступления в академию, так и звал — не по имени, а «сынок Иван Палыча». В академии благополучно сдал роковую «третью» тему. В тридцать минут, как это строго, по толстым золотым часам проверял профессор, передал историю чужой кампании со всей славой, поражениями и овсом, съеденным лошадьми. Окончание академии поставило Никиту Ивановича на гладкие рельсы, и далеко без уклонов протянулись блестящие прямые полоски.

Так прочно, так издавна все в его жизни было налажено, и он сам, маленький, но для чего-то необходимый винт, был пригнан как раз туда, где ему быть надлежало. О чем еще думать? Чего искать?

Не нарушилось это равновесие и войной. Жизнь в вагоне-столовой шла как в Петербурге — те же лица, те же бумаги.

Нового — жутко волнующее любопытство посмотреть на сражение; но знал, что и здесь все также налажено, опасности нет.

Произойдет так, как, бывало, начитавшись Жюль Верна, представлял себе, что спустился на дно морское в стеклянном колпаке. Кругом чудища; облепил стекло осьминог, а ему что, его не достанет.

И вдруг эта одинокая, словно самой судьбой брошенная пуля. Поразила другого, а его только близко чуть коснулась, обожгла. Левый глаз, как раскаленный чугун, ударил о мозг, и огромная ледяная волна опрокинула Никиту Ивановича навзничь.

Длинная нервная болезнь... отставка с генеральским чином. Никита Иванович, как и раньше, мог двигаться, воспринимать ощущения, но службу пришлось оставить: всякое усилие вызывало нестерпимую боль в левом глазу и затылке. Безболезненными были теперь только мысли, возникавшие сами, помимо его воли, в опустошен-

ной голове. Но зато от этих мыслей ныло сердце. «Как странно, — говорил себе Никита Иванович: — нет меня, начальника штаба, и нет меня вовсе. Куда же делся я — человек, я — Никита».

Он вспомнил свой детский портрет еще до корпуса, в русской поддевке и шапочке с павлиньим пером. Никита, ласковый, немного ленивый мальчик, любил лежать над вечерней водой или навзничь во ржи, искать в небе жаворонка. Правда, когда гувернер звал, он отрывался, шел беспрекословно.

— Что изберешь: инженерное, или, как я, к лошадям, а там в академию? — спросил отец после корпуса.

Никита хотел было сказать: отпустите пожить просто, посмотреть. Но ленивое соображение, что придется что-то искать, беспокоиться, тут же вялостью разморило душу, и он мягко сказал:

— Как вы, папá, так и я.

— Ну так сперва в кавалерийское, оно здоровее. Что ж, в «зверях» и Лермонтов был. А у нас из рода в род... ну и отлично.

Никита Иванович стал замечать, что после болезни товарищи его избегают или спрашивают все одно и то же — о здоровье. «Если их контузить, — думал он, — что останется?» И он пробирался через золотое пенсне за их внимательные трезвые глаза и накладывал руку на тот кусочек мозга, который у него так мучительно ныл. Если прекратить ловкие комбинации мысли, те, что до болезни были у него самого, если уничтожить иллюзию сложной деятельности, что останется, что?

Жадно ловил генерал все слова, пропускал их сквозь свое теперь необычайно чувствительное, словно вдруг обнажившееся сердце. Ждал — не задержится ли что: хоть бы слово, хоть звук. Нет, ничего не задерживалось. Все, что люди говорили кругом, было важно только для таких, как они, не скатившихся с рельс.

Приезд домой. Жена Аглая Петровна, с ее жестко очерченным ртом на набеленном лице.

— Какая у вас досадная контузия! И раны нет, а отставка.

Генерал тоскливо метнулся и, взяв кусочек купороса, бросил его в другой, рядом стоящий сосуд. Вода стала такая синяя и сразу как бы похолодела. Голубая вода,

голубой жесткий цвет. Что это было? Да, у Аглаи Петровны вечер — «голубой хризантемы». Поэты и музыка.

И в голове генерала болезненно застучал голос жены, такой резкий, нестерпимо-фальшивый, желая быть нежным.

— Enfin, — говорила она, — и у нас как в Париже: литература в салонах. Довольно этих всяких «идей» и «надрывов». C'était bon для курсисток. Писатели сейчас почти светские люди. Quelques uns sont même tout à fait bien[1] — всегда чистые ногти, и хотя попрежнему — origine obscure,[2] но говорят так изысканно, даже почти не по-русски. Их стали везде принимать...

Генерал подбросил еще купоросу и, желая отделаться от неприятного ему голоса Аглаи Петровны, достал с полки большую темную крышку и стал прицеплять ее к проводу. Вода стала еще жестче, еще холоднее.

Совсем такого цвета была на ней туника, когда она, ругая кухарку, разбрасывала по столу хризантемы и за длинные стебли прикрепляла их проволокой к высоким лампам.

— Изнасилованные причастницы... это найдено, — сказал про них один из поэтов и, раскачавшись на тонких ногах, стал нараспев говорить о том, как из белого газа растут белые розы, а из черного бархата — анютины глазки.

— A propos, — прервала его Аглая Петровна, — я вас завтра беру с собой в Гостиный. Vous me donnez des idées[3] вашими стихами. Я из ваших сонетов буду шить себе платья.

Она подарила улыбкой поэта и, забыв, что он еще не окончил, стала усаживать за рояль музыканта.

— Мы сейчас услышим картины примитивов, не правда ли? Je la trouve exquise votre idée.[4] И подумать, что еще так недавно живопись только смотрели.

Музыкант, почти задушенный высоким белым воротником, стал брать жидкие аккорды, а генерал, обведя взором молодых людей, узкоплечих, словно высосанных великанов и снова выпущенных на волю, подумал, что верно

---

[1] Некоторые из них совсем приличны *(франц.)*.
[2] Темного происхождения *(франц.)*.
[3] Вы даете мне идею *(франц.)*.
[4] Я нахожу восхитительной вашу идею *(франц.)*.

все они родились недоношенными. Он вышел из гостиной и, тяжело дыша, опустился на кровать в своей спальне.

Аглая Петровна выпорхнула за ним следом и, близко нагнувшись, так и впилась в обрюзгшее, измученное лицо.

— Если вы все-таки считаетесь хозяином дома, то будьте на высоте...

— Аглаюшка, — непривычно назвал жену генерал. — Аглаюшка, мне все равно, о чем они там поют, а только если и этих контузить, — где они? И ты вот... и я — где все мы, Аглаюшка?

И генерал заплакал.

— Вам пора в санаторию, — оскорбилась Аглая Петровна и созвала консилиум.

Потом генералу давали подписывать какие-то доверенности разным лицам, еще водили к доктору и, наконец, свезли в деревню, где Аглая Петровна решила оставить его до осени под надзором немки Вильгельмины. А там будет видно.

В деревне по тону жены, теперь неизменно снисходительному, как это принято с неизлечимо больным, генерал понял, что на старых, накатанных рельсах ему уже не быть.

Когда первые желтые цветы прорезали прошлогодние листья и за первым медом вылетели отяжелевшие за зиму пчелы, Никиту Ивановича потянуло в лес, далеко, куда глаза глядят.

— Сменить бы генеральский сюртук на белый суконный армяк, как здесь носят, и нет генерала... быть может, найдется новый человек.

Генерал как-то пробрался в дальнюю рощу, но, утомившись вытягивать ноги из вязкой, необсохшей земли, весь грязный вернулся обратно.

— Прошу вас, пока я здесь, ходите по доскам, — сухо сказала Аглая Петровна. — Утратить без остатка прежнюю молодцеватость, военную выправку — не понимаю, — презрительно двинула она плечами.

В тот же день от дома к забору по неокрепшей еще дорожке проложили доски, и Никита Иванович, кроме занятий гальванопластикой, целые часы проводил теперь в том, что ходил взад и вперед. И все время тускло и с болью вертелись мысли на одном и том же: «Нет меня, начальника штаба, и нет меня вовсе».

. . . .

— Папочка, отвори, — постучала в окно ванной Люлюка, — к тебе брат молочный!

Генерал обрадовался: он любил девочку. Ласково улыбнувшись промелькнувшему красному банту, встал и повернул в двери ключ.

— Здравствуй, — сказал, входя, Степа, — мы с тобой одной матки вскормленники, — и, подумав, прибавил: — ваше превосходительство!

— Вот он и мне так: чего ворон пугаешь? а потом — ваше превосходительство, — засмеялась Люлюка, худая черноглазая девочка.

— Где это ты? — показал генерал на ободранное колено.

— Я, папочка, на свою березу к воронам полезла, да тихо так притаилась, что дятел надо мной долбить носом стал. А Степа этот как зашуршит внизу, я подумала: Вильгельмина, и еще выше, в самое небо... и вдруг трах, прямо на сук, хорошо — он подхватил.

— А я смотрю, — засмеялся Степа, — коленки голые, а сама девчонка обутая, — должно, енеральская. А вода у тебя... ну, ровно небо в ней, — ткнул он пальцем в аквариум, — синька, што ль, заморская? Ой, братец, а я к тебе-то за делом, — спохватился вдруг Степа и, припоминая, какое лицо было у Тимофея, когда он наставлял насчет земского, отошел к стене.

— Кланяемся тебе, вашего батюшки пребывшие мужички... ти не можно тебе сменить старшину, он, значит, родню свою ди-кан-датом. Ну, словом, ти не сподручно тебе его в шею?

— Мне-то, — усмехнулся генерал, — мне, брат, себя самого сменить надо, да не на что.

— Ишь ты, — пожалел Степа, — весь, значит, вышел? То-то сумный... — Он тронул генерала за плечо. — А на дворе радошно таково. Бык, слышь, гудет, в волочебнички собираемся.

— Весь вышел? Ну, это ты хорошо выдумал, — улыбнулся генерал и с интересом взглянул на Степу, — у тебя что ж, баба, ребята?

— Куды мне... я так себе человек. Дурак я, а летом пастух.

— У вас, значит, можно — так себе человек... — начал генерал.

Но Люлюка, чутко взглянув на отца, вдруг прервала его и тоненько выкрикнула:

— Папочка, ты знаешь, что такое волочебнички? — И, не дожидаясь ответа, заторопилась: — Это монастырь у них здесь верстах в десяти. Крестьяне идут туда перед пасхой, «волочатся». Друг за дружку держатся, обет такой дают — ослепнуть, пока христосные песни поют. Степа говорит: «очень радошно».

— А и как радошно, — покачал головой Степа, — идешь, за дитя малое держишься! И сам-то ровно дите. Душа — изба пустая, а в ней звоны... все как есть колокола гудут. Если пасха ранняя — ледок кое-где под лаптем хрустит, а земля уж духовита, распарилась, дышит... И скажу тебе: птица кажная скрозь тебя пролетает, словно на веточке, на сердце малость присядет, и дале. И все, по чему идешь, все это скрозь тебя. А солнышко этта, солнышко только греет снаружи, а уж светит внутри. И так это, скажу тебе, обвыкнешь христа ради темнеть, что, право слово, на Фомину-то аж глаза разомкнуть жалко.

— Как? как ты сказал? — приподнялся генерал, и глаза его, грустные, покорившиеся глаза всеми брошенного животного, засветились робкой надеждой.—Птица на сердце —словно на веточке— посидит, и дальше... и все, по чем идешь, все «скрозь» тебя? Все значит в тебе, не пустой уж...

Вялые морщины прорезали жирный лоб. Силился бедный мозг осознать что-то новое. Но, не встретив привычного, замер, и сердце изголодавшееся вдруг дрогнуло, открылось, приняло первые дошедшие до него звуки.

А Степа, зажмурив глаза, вытянув руки, раскачивался, показывал Люлюке, как идти в «волочебничках»:

Волочебнички мы, волочилися,
Христа ради мы истомилися...

— Люлюка, девочка, — сказал Никита Иванович и обнял дочь, — лазай на деревья, бегай в лес, а потом уйди, непременно уйди от них, когда вырастешь. Ничего не бойся, чем они пугать тебя станут. Одно, дочка, страшно, одно: если контузят — и нет тебя.

— Папочка, милый, я убегу, и ты тоже, и Степа... пойдем волочебничками, а там и дальше. Право, папа, здесь так ску-ушно.

У Люлюки задрожали губы.

— А что ж, — сказал Степа, — уж и можно идти должно, с утра подсохло. Дойдем до деревни, возьмем Левку, наших, да и айда в монастырь.

— Пойдем, папочка, — просила Люлюка, — я пойду впереди, поведу. Степа возьмется за бант, а ты, папочка, за Степу... да отемнейте непременно. Ну, попробуем, ну, хоть до лесу...

— Попробуем, попробуем, — повторил генерал, увлекаемый Люлюкой. — На старые рельсы все равно уж не встать. А тут — «птица на сердце... ручеек прожурчит... да и не холодно, солнце, говорит, внутре».

Он засмеялся и, увидав в передней свои кожаные калоши с французскими буквами, по привычке всунул в них ноги и надвинул на лоб фуражку.

V

На террасе, еще не затканной молодым виноградом, вдали от генеральши чинно стояли мужики: старик Тимофей, Левка и Анфиса в новой черной кофте, с пятком яиц для поклона вскормленнику. Всем троим лестно было, что Степа не только принят, но «докладает» так долго, как путевый.

— И ты говоришь, он у тебя слабоумный, от рождения? — рассеянно, не поворачивая головы на Анфису, спрашивала генеральша.

— А с того и пошло, как маком его опоили, как я к барину вашему в мамки становилась. Братья ведь они молошные...

— Сказала баба, — презрительно оборвал Левка, — «братья»! Один генерал, а другой дурак.

— А все не чужие, молошные, — настаивала Анфиса.

— Ich gratuliere gnädige Frau mit neuer Verwandtschaft, [1] — обнажила Вильгельмина большие желтые зубы.

Генеральша, прикрытая белым мехом, не выпуская из рук французского романа, еще раз пересчитывала, все ли уложено к предстоящему отъезду.

— Боюсь, фрейлен, вы вытянули легкие юбки, вы их, словно нижние, вдоль по шву...

---

[1] Поздравляю, сударыня, с новым родством (*нем.*).

— Везде, где я делала сундуки, мною были довольны, — поджала губы Вильгельмина и, колыхая, как белый какаду хохолком, своим кружевным бантом на подтянутых висках, пошла разыскивать Люлюку.

— Фрейлен, einen Augenblick,[1] как бы не забыть: пожалуйста, заготовьте, как и в прошлом году, побольше брусничной пастилы. После разговоров о мистике, с лесами с пустынниками, это так «в стиле». А груши-бессемянки нарезать претонко ломтиками и подавать в индийских подставках, да побольше джинжеру, побольше джин...

Аглая Петровна глянула поверх терпеливо усевшихся на ступеньке мужиков в сад, осеклась, сбросила белый мех, рванулась вперед, обомлела.

— Um Gottes Willen![2] — вскрикнула Вильгельмина, растопырив большие красные руки.

По направлению к балкону, минуя доски, увязая в черной земле, неслась трепаная Люлюка. Дерзко горя черными раскрытыми глазами, свернув на сторону шею, как пристяжная, выбрасывала она смуглые ноги, взвихривая прошлогодние листья, и что было духу пела:

Волочебнички мы, во-ло-чеб-нички!

За ней, держась обеими руками за огромный пунцовый бант, чуть поспевая, спотыкался, зажмурив глаза, Степа и выводил дребезжа:

Волочебнички мы, волочилися...

Сзади генерал, без пальто, в распахнувшейся, огнем полыхавшей тужурке и шапке, от непривычных прыжков съехавшей на затылок, новорожденный, обрадованный, всем голосом пел:

Христа ради мы исто-ми-и-и-лися.

1908

---

[1] Минутку *(нем.)*.
[2] Боже мой! *(нем.)*.

В НЕАПОЛЕ

Андрей уставил локти на подоконник, смотрел на площадь. Справа белела словно из сахара высеченная колоннада, напротив — солдаты в серых панталонах и черных мундирах стерегли важное здание.

Андрей чуть-чуть поласкал глазами блестящие каски солдат, пропустил коринфские капители и уперся в Везувий.

— Опять белый дым... вот черт. А Вовке-слюняю как повезло. Хныкал, что всю ночь спать не мог от рычанья и подземного гула.

Андрей уже отдал Луиджи вперед все свои карманные деньги, чтобы наготове была белая лошадь, лишь только Везувий начнет курить черным дымом.

А он и не думал: чуть колебал своими вздохами белый туман да обвивался на закате, словно барышня, розовой кисеей.

— Врут, что ли, геологи, будто он неспокоен, а слюняю просто приснилось, — ворчал Андрей, глядя со злобою, как быстро сменяются прозрачные краски, как дрожат лиловые тени в уносящихся к небу клубах.

Вдруг что-то знакомое потянуло глаза его вниз.

— Папá, ты уже? — крикнул Андрей господину в белом полосатом костюме.

— Из окон кричать неприлично, — дернул папá недовольно плечом и пошел дальше.

Андрей для скорости съехал по перилам лестницы не боком, а на животе и в минуту сровнялся с нарядным папá.

— Я знаю, ты едешь в Баию, возьми меня, Сольфатаро ведь тебе по дороге, а он, вулкан... может быть неспокойно.

— Ты глуп, — сказал папá, — Сольфатаро потух еще при царе Горохе, а я еду в Баию по делу, изучать местные нравы...

И папá, бросив сольди красивой продавщице цветов, украсил петличку кровавой гвоздикой.

— Я заметил, папá, у тебя не велик интерес к геологии! — неодобрительно сказал Андрей.

— К геологии? — папá рассмеялся. — Вот что, мой друг, — повернулся он к Андрею, обдавая его смесью духов и гвоздики, — пойди-ка, развлеки мамá, она, как всегда, утомлена пред отъездом. Почитай ей по-французски, ты это, брат, отлично производишь, когда в тебе спит озорство.

И папá скрылся за нишей, где навеки поставлен был герцог Анжуйского дома с такими толстыми икрами, что Андрей всякий раз принимался завидовать его силе.

Андрей сел на холодную туфлю герцога и, сузив глаза, слегка засвистал. То самое озорство, о котором в недобрый час помянул папá, вдруг проснулось, веселым огоньком запрыгало в сердце и, добравшись до головы, немедленно изобрело такую затейливую штуку, что столкнуло Андрея с туфли герцога. Как был, без шапки, Андрей полетел сломя голову в темный переулок к грязному порогу кучера Луиджи, обладателя белого коня. В конюшне курчавый мальчик чистил скребницу и мурлыкал песню.

— Беппо, — сказал Андрей, ломая французский язык так, чтобы он, по его мнению, походил на итальянский.

— Où esto tuo pèro? [1]

— Dove? [2] — удивился Беппо. — Конечно, в трактире.

— Слушай, переменись со мной платьем; смотри, у меня куртка английского полотна, а у тебя одна рвань.

Беппо положил на пол скребницу и похлопал себя по лоснящимся панталонам.

— Ишь, блестят, а ничего... крепкие... Только дурак я, что ли? Отец твой отымет платье назад, а меня выпорют.

---

[1] Где твой отец?

[2] Где? *(итал.)*.

— Мое слово — слово Аристида... — Андрей задрал голову и засучил левый рукав. — По самый локоть кожу испек, видишь. Учитель уж больно хвалил там одного из римской истории, я и сказал товарищам, что сам сделаю не похуже. Пообещал и испек — не пикнул! А выследить не поспеют: мы послезавтра совсем отсюда уедем.

— Совсем? — обрадовался Беппо. — Ну, тогда это дело.

У Беппо разгорелись глаза от одной мысли, что белая Андреева матроска с шелковыми якорями станет его собственной, и больше он ни о чем не расспрашивал; он поспешно развязал шнурок, на котором держался весь его костюм, и влез в узкие панталоны Андрея.

— Где ты их столько набрал, Беппо? Кусают, как собаки, — почесывался Андрей, ставши обладателем лохмотьев. — А на голову что ты мне дашь? Здорово жарит.

Беппо взял с окна пестрый вязаный мешочек и, вытряхнув из него табак себе прямо в новый крепкий карман, подал Андрею.

— Настоящий шелковый, как носят pescatori. За него подавай сапоги!

— А почище нет ничего? — брезгливо спросил Андрей.

— А почище ищи в мерчерии, — равнодушно ответил Беппо, кладя колпачок на окно. — Только с чистым тебя теперь как раз вздуют: подумают, что украл...

Андрей взглянул на свои лохмотья и решил, что Беппо прав.

— Ну, ладно.

Андрей снял сапоги и чулки и, жестоко чихая, напялил бывший кисет себе на голову, а Беппо, как коршун, схватил сапоги, нырнул с ними в сизую мглу лошадиного стойла и, разрыв в ящике овес, спрятал их на самое дно.

— Так отец не пропьет, овес-то я сам засыпаю!

Туда же, в ящик, Беппо укрыл и белую матроску, нежно погладив выпуклый шелк якорей: узкие панталоны снимать было нечего, так как других не было, а чтобы отец не заметил обновки, Беппо надел длинную блузу.

— Спрячь заодно и чулки, — предложил Андрей.

— Если б пестрые, годились бы на колпак, а то куда они?

Беппо презрительно подкинул ногой чулки, но вдруг передумал, взял один чулок в руки, перерезал кривым

ножом выше пятки, пересыпал в него табак из кармана и положил на окно.

— Отцу новый кисет — это здорово, — засмеялся Андрей и прибавил деловым тоном: — Не знаешь, от нас сегодня заказана одна лошадь или пара?

— Сегодня в Баии богатая тарантелла, — прищелкнул Беппо зараз языком и пальцами, — все едут на парах, я и сам собираюсь...

— Прицепишься сзади? — спросил радостно Андрей, зная хорошо способ передвижения, которым всегда пользовался Беппо. — Вот и мне как раз по дороге, прицепимся вместе, — идет? Только узнай, милый Беппо, у своего отца, когда он моего папу повезет обратно? Мне ведь надо всего до вулкана, там я выпрыгну, сделаю опыт, и с вами назад.

Беппо молчал.

— Даю перочинный ножик, знаешь, с инкрустацией, — понял Андрей безмолвие друга.

Беппо молчал.

— Прибавляю свисток...

— Так ладно.

Через полчаса по набережной Санта-Лючиа летела коляска. В ней, не глядя на море, с моноклем в глазу сидел нарядный папá, а сзади, скрючившись под нависшим кузовом, болтали ногами два одинаково грязных подростка.

Андрею было необыкновенно весело. Ему казалось, что за все три недели он сейчас только впервые увидел Неаполь. Все совсем другое и гораздо интереснее тех вещей, на которые во время прогулок по-французски указывала мама.

У зеленого моря стоят все лари, совсем как у нас на базаре, только вместо сала старый рыбак отхватывает покупателю кусок розового ноздреватого спрута или вертит перед чьим-нибудь носом огромную камбалу, одноглазую плоскую рыбу с глуповатой улыбкой.

Торговки зеленью, цветами и кораллами говорят все разом, будто стучат голосами, как вороны клювом. На всех балконах предместья яркими пятнами сохнет белье. После темной улицы вдруг сверкнул мрамор площади: на ней, словно брызги крови, рассыпались красные помидоры, а выше изогнулись узором мосты.

И вдруг, все заслоняя собой, налево выставляется древний-предревний дом. У него как попало натыканы окна, стены все в разноцветных подтеках — ни дать ни взять те одеяла из разноцветных кусочков, которые любит на досуге мастерить нянюшка.

— Эй, держись! — шепнул испуганно Беппо. — Да смотри не вскрикни...

Из темного извилистого переулка, как горох, высыпала куча полуголых мальчишек: все стали на головы и пошли колесом, да так скоро, что на минуту обогнали коляску, потом они саранчой облепили подножки и стали требовать сольди за труд.

Папа́ кинул им пригоршню мелочи. Большие всё взяли у маленьких и, заложив деньги за щеку, кинулись снова к коляске, чтобы прицепиться...

Тут Беппо толкнул Андрея в бок, и оба угрожающе выставили такие крепкие ноги, что мальчишки в ответ только плюнули и показали смуглые фиги.

— Poeto Virgile... poeto, poeto... — как на пожар, заорал Луиджи, тыкая грязным кнутовищем в скалы.

«Poeto! Как будто был еще какой-нибудь другой Вергилий, повар, что ли...» — недовольно подумал Андрей, завидуя, что папа́ сейчас пойдет на гору, и, чего доброго, там останется, и Вергилий покажет ему всех до одного грешников в аду, как этот волшебник уже раз с кем-то проделал.

— Кого он водил в ад, Беппо, он был ваш же, итальянец? — спросил Андрей, вспомнив, что в Италии все мальчики знают то, что надо показывать иностранцам.

— Il Dante, он, как старая баба, носил чепчик... — шепнул Беппо.

— Вези скорей в Баию, — махнул рукой папа́ кучеру.

— Ну вот, история папе так же мало интересна, как и география, — проворчал Андрей.

— Сольфатаро сейчас, готовься к прыжку, — защекотал опять на ухо Беппо, — а к семи часам вечера будь здесь опять, у белого камня. Если прибавишь три перламутровых пуговицы, я спрыгну тебя подсадить.

— Отпорю у мамы, у нее где-то сзади пришито... — так же тихо ответил Андрей и, спрыгнув, упал, как щенок, на четвереньки.

Бегом, не взглянув больше на коляску, Андрей бросился по узкой дорожке в густую рощу каштанов и одичавшей орешины. Из сочной травы смотрелись какие-то розоватые мясистые колокольчики, еще невиданные Андреем. Он сорвал один, понюхал и сейчас же заплевал... от цветка несло гнилым, трупным запахом.

— Надо набрать для гимназии, вот здорово можно подвести!

Андрей оторвал часть шнура, на котором теперь держалась его одежда, развил его пополам и подвязал крепко внизу панталоны. Потом он, заткнув нос, стал рвать цветы и пропихивать их сквозь рваные карманы. Но спина так сильно ныла от непривычной поездки, что Андрей скоро бросил свою затею, растянулся на мягкой пригретой земле и широко раскинул руки.

Ему стало так приятно, как бывало в теплом море, когда под самое горло подходят зеленые волны, а рыбки щекочут колени. Андрей смотрел не отрываясь в синий дрожащий воздух и не думал, а будто знал всем своим телом то, что происходит вокруг: как с трудом пробиваются из-под земли разные травы, как путешествует бархатный крот по своим коридорам, как тяжко держать тонкому стеблю грузную чашечку цветка...

«А кратер вулкана? — вспомнил он. — Ну его, успею, здесь и так хорошо...»

Андрей совсем ослабел, сладко закружилась голова, и он заснул.

Когда Андрей проснулся, солнце уж садилось, трава больше не грела, а сквозь дыры блузы от локтя до локтя продувало.

«Скоро, верно, семь, а кратера-то я и не видел!» — с тревогой вскочил Андрей и, как заяц, кинулся по тропинке, пока она вдруг не оборвалась и вместо прекрасной изумрудной травы не оказался огромный, совсем лысый круг грязно-желтого цвета, весь изборожденный глубокими морщинами. Это и был потухший кратер вулкана Сольфатаро.

— Только-то... — протянул было Андрей, но, всмотревшись, нашел, что занятно.

Обнаженный кусок земли был как будто живой: то здесь, то там слышался как бы сдержанный рокот, шипенье, и сквозь трещины кто-то подземный тяжко выбра-

сывал удушливые серные пары. Андрей забыл все на свете, устойчиво расставил ноги и ждал, что сейчас произойдет необычайное. Земля не простит, что он подсмотрел ее настоящую жизнь, везде прикрытую, будто кожей, травой и лесами... земля отомстит.

Вот-вот сгустятся тяжелые пары от напора подземных, и, вывернув глыбу земли, они, как косматые корни, оплетут с головою Андрея и потянут его к себе.

. . . .

— Вот это и есть Forum romanum древних, теперь здесь добывают много серы, — произнес громкий мужской голос, и, вздрогнув, Андрей увидел господина и нарядную красивую даму.

— Вы знаете, уже восемь, увертюру пропустили, идемте...

Андрея словно окатило холодной водой: «Как, уже восемь! Значит, папá вернулся, чего доброго, поднял на ноги полицию... испуганный Беппо, разумеется, проболтался; сейчас заберут отсюда и с насмешками водворят домой; а мама-то нездорова...»

— Синьоры! — вдруг загородил Андрей путь господину, — синьоры, я гид по вулканам... послушайте, умоляю вас, послушайте, как происходит всегда извержение! — по-французски, с отчаянием выкрикнул он.

— Отстань, мальчик, некогда, — махнул рукой господин.

— Но он прекрасно говорит, он не итальянец... — сказала дама.

Господин повернулся и внимательно посмотрел на Андрея, будто что-то припоминая. Андрей сконфузился: он видал этого господина зимой в Петербурге, когда вечером собирались большие гости, но, сообразив, что господин видал его только мельком и совсем в ином костюме, успокоился и продолжал:

— Синьоры, вы только послушайте: тысячная толпа спокойно сидит в амфитеатре, и вдруг свинцовая туча покрывает все небо. Подземные удары отвечают чудовищным раскатам грома, багровые молнии освещают падающие колонны... старого патриция несут юноши, с храмов летят статуи, почтенный сенатор заслонился рукой, как будто это его спасет. Сам художник с ящиком красок на голове... тьфу, черт! — по-русски оговорился Андрей,

но тут же, вежливо шаркнув, подхватил по-французски: — Извините, синьоры, художник это в Петербурге, в Эрмитаже, а на самом-то деле при извержении погиб Плиний Старший.

— Ну, погиб он еще до потопа, — докончил господин по-русски, — под пеплом пусть там и лежит. А ты лучше скажи мне, мальчик, где твои родители и сам кто ты таков?

— О, синьор! Моих родителей давно поглотила морская пучина, а я, я — гид по вулканам, получаю за объяснения днем одну лиру, а вечером две.

Дама засмеялась, а господин, взяв Андрея за руку, серьезно сказал:

— Вот что, «гид по вулканам», две лиры я тебе, конечно, с удовольствием дам, но вот впридачу моя карточка; приходи завтра непременно. Родителей твоих, если хочешь, оставим лежать в пучине, но, быть может, ты мне все-таки расскажешь, что именно натворил, и я тебе окажусь не без пользы.

— Если уж вы так добры, синьор, — не выходя из роли, сказал Андрей, — то посадите меня на извозчика и прикажите отвезти в отель «Виктория», а то я в таком виде, что ни один меня не повезет. Если ж опять прицепиться сзади, то от этого очень больно спине. Кроме того, мне надо скорее домой: мама, верно, места себе не находит.

— Мама? — удивилась дама. — А кто же в пучине?

— Синьоры, — сказал Андрей, теребя в руках свой пестрый колпачок, — синьоры, я вам обо всем напишу из Петербурга, и, честное слово... — он запнулся и покраснел, — честное слово, за извозчика я вам верну две лиры обратно...

. . . .

Андрей незаметно прошмыгнул с черного хода в свою комнату, переоделся, пригладил вихры мокрой щеткой и с тревогой направился в соседнюю комнату.

— ...И вот Плиний Старший привел меня так неожиданно к вам, — кончал кто-то фразу.

— У мамы гости, вот отлично, — обрадовался Андрей, не поспев понять, почему ему вдруг стало холодно при имени Плиния Старшего.

Андрей порывисто вошел и с особой нежностью поцеловал бледную даму, сидевшую в креслах.

— А папа́, верно, куда-нибудь заехал?

— Ну, очевидно, если его еще нет, — сказал Андрей, довольный, что все так удачно выходит.

— Мой сын, — улыбнулась мама господину, стоявшему у окна.

Андрей подошел поклониться и, вспыхнув, опустил глаза.

Пред ним был опять господин из Сольфатаро.

— Судя по вашему цвету лица, вы только что с большой прогулки? — спросил господин.

«Узнал или нет?» — мучительно думал Андрей, исподлобья косясь на его веселые умные глаза.

— Да, он очень любит природу, особенно вулканы, — чуть насмешливо протянула мама. — Но что с тобой, Андрей?

Андрей высоко поднял голову — захлебнулся от волнения — и проговорил, будто прыгнул в холодную воду:

— Да, я люблю природу, я люблю вулканы, но еще больше я люблю римских героев... Они ничего не боялись, и, что самое главное, они, наверное, никого никогда не выдавали.

Андрей, багровый, с сверкающим взором, смотрел в упор на господина.

— Полно, Андрей, иди спать, ты переутомился! — с тревогой сказала мама.

— И советую вам, — с лукавой улыбкой сказал господин, — включить в число ваших симпатий не одних только героев, но также и мудрецов: мудрецы научат вас никогда не попадать в смешное положение.

— Благодарю вас, — засмеялся Андрей, — я непременно займусь мудрецами. — И, с чувством пожав руку господина, он поцеловал маму и убежал в свою комнату.

1908

ЧЕРЕШНЯ

Опять Таня и Ната на юге, опять кругом них родные горы, опять скрипит арба, татары едят шашлык, по набережной бегает серенький ослик... Таня и Ната хотят обнять и горы, и татар, и серого ослика.

Сестры только что вырвались из института на лето, и особенно весело им носиться, как вихрь, по аллеям городского сада, громко смеяться, махать руками; и попадись им сейчас навстречу классная дама Луиза Карловна, с каким бы вздохом она сказала: «Oh! Les mal élevées...» [1] Наверно, нарядные дамы, украшавшие аллею, были такого же мнения: они глядели на Таню и Нату строго и недружелюбно, когда те, визжа от смеха, чуть не сбили с ног небольшую старушку в очках.

— Ах, дети, смех не так далек от слез! — добродушно сказала старушка. У Наты и Тани на минутку скребнули кошки за сердце, но тут же, схватившись за руки, они свернули в уединенную тропинку и помчались что было духу через камни и пни, пока не стукнулись об огромное дерево.

— Здравствуй, черешня! — подпрыгнула Таня, протянув руку к ветке, а за нею следом и Ната. Но тотчас обе взвизгнули и шарахнулись от дерева. Сзади них из земли вырос огромный черный татарин, и прежде чем Таня поспела сделать шаг, чтобы бежать, он схватил ее за косу.

— Черешня крал, хады в кантор, — и сонным голосом по-своему крикнул в кусты: — Келе мунда, Гассан!

---

[1] О, плохие ученицы *(франц.)*.

Немедленно вырос другой татарин, ростом пониже, покоренастее первого, и широко развернул руки, чтобы не допустить побега.

— Что вы от нас хотите, что вам надо? — едва сдерживая слезы, бормотали Таня и Ната.

— Черешня крал — сам знаешь, в кантор проведем, штраф платить будешь.

— Неправда, ты лжешь, мы не крали, — закричала Таня, — мы только руки протянули...

— И почем мы знали, что их рвать нельзя? — всхлипнула Ната.

— Глаза есть? Читать знаешь...

Татарин повернул Нату за плечо и смуглым пальцем, на котором был желтый от табака ноготь, ткнул в зеленый столб, стоявший как раз в двух шагах от черешни. На столбе крупными буквами чернела надпись: «Собак не водить, фруктов не рвать...», а помельче красными: «За нарушение правил в конторе взимаются штрафы».

— Ах, ах! — пискнула Таня, а Ната вытащила из кармана плюшевое красненькое портмоне и высыпала ближнему татарину все, что там было. Гассан и первый высокий татарин внимательно посмотрели на деньги, для чего-то сочли их, покачали головами, и высокий протянул обратно черную руку с монетами.

— В кантор деньги дашь... Ну, хады!

Высокий двинул вперед и буркнул по-татарски Гассану. Гассан немедленно замкнул шествие, чтобы отрезать отступление.

— Возьми браслет, возьми зонтик, все возьми, только отпусти домой! — взмолились Таня и Ната, теребя татар за рукава, плача от стыда и страха.

— Нельзя пустить, много черешня пропал, хозяин сказал: «Мустафа, хады вон или веди воры в кантор», — деловито пояснил Мустафа свою непреклонность.

Гассан, шедший сзади, обладал более чувствительным сердцем.

— Ничего, нэ плачь, — утешал он Таню, — дэнги дашь — хады домой, не ты первый, тут всякий дрянь попадает...

Между тем Мустафа повернул на широкую аллею, заполненную публикой: здесь были дети с мячами и тачками, реалисты и гимназисты, почтенные дамы и та добродуш-

ная старушка в очках. О, правда, тысячу раз правда — смех не так далек от слез.

— Скоро твоя контора? — шепнула Мустафе Таня.

— Правый рука у ворот... — убил Гассан.

— Правый рука у ворот... — с ужасом повторила Таня, измеряя глазами, как много еще оставалось пройти.

Поровнявшись с прочей публикой, Таня и Ната сделали попытку идти быстро и независимо, как будто они сами по себе, а татары тоже сами по себе.

Гассан имел великодушие понять их чувства и отступил на шаг дальше, но зато Мустафа стал так часто оборачиваться и проделывать своей черной костлявой рукой такой пригласительный жест, что всякому стало ясно: татары ведут девочек под конвоем.

Многие смотрели с изумлением на эту странную группу и долго провожали ее глазами.

— Барышни, может, татары обидели вас? Куда ведут? — участливо спросил было старичок инженер, но тотчас отпрянул.

— Он вместе черешня крал, — объяснил Мустафа, — в кантор штраф платить надо.

В серой деревянной будке сидел горбоносый грек, хозяин конторы. Таня и Ната приготовились, тихонечко уплатив штраф, бежать что есть духу домой, но Мустафа для чего-то палил словно из пушки, собирая толпу:

— Воров привела! Воров привела!

Из будки высунулся греческий нос и прогнусавил:

— Два рубли штраф.

Все гулявшие по аллее, привлеченные Мустафой, окружали ужасную «кантор» тесной любопытной стеною.

Таня и Ната слышали, как фыркали мальчишки, как жалели в толпе их бедную мать, как желавший освободить их старичок инженер вымолвил: «Так вот оно что!» Всё, всё они слышали, и им хотелось только одного — поскорей умереть.

Таня долго путалась в своем портмоне, никак не могла отсчитать двух рублей и кончила тем, что высыпала перед греческим носом все содержимое красного плюша и, взяв сестру за руку, пустилась с ней что было прыти из сада.

— Стой, обернись! — кричал Мустафа.

— Опять... — простонала Таня и, упав на скамейку, залилась слезами.

— Чиво ты? Глюпый... — сказал добрым голосом Мустафа. — Пэтьдесят копэк дал болше.

Мустафа положил на скамейку деньги.

— К черту, к черту!.. — крикнула не своим голосом Таня и запустила в Мустафу мелочью.

Сестры рванулись вон из сада без оглядки... мимо гор, моря, серого ослика и татар с шашлыком, — о, как они сейчас это всё ненавидели!

1908

Памяти Б. Ф.

ЗАСТРЕЛЬЩИК

I

— Тетя Софи, почему говорят про вас — Софья Ивановна, про папу — Иван Иваныч, а про деву Марию просто — дева Мария; как ее дальше?

— Дальше чего, мой друг?

И, перестав считать иголкой узор, тетя Софи опустила вышиванье и взглянула на пол, где Жоржик, лежа на животе, красил «Поклоненье волхвов».

— Ах, милый друг, после радости всегда столько страданий! Бегство в Египет, проповедь, крестные муки, — «и меч пронзил сердце ее»...

— Я вас не про урок... — оборвал Жоржик, — я про то, как она дальше? Вы — Софья Ивановна, папа — Иван Иваныч...

— Акимовна она, Жорженька, Марья Акимовна, ведь тебе ее — как по батюшке? — высунулась из соседней комнаты няня.

— Ну, вот, вот! — обрадовался Жоржик и слизнул с головы святого Иосифа лишнюю краску. — И отчего это няня всегда угадает, а вы не умеете?!

— Довольно пустяков, мой милый, — сухо сказала тетя Софи, — садись хорошенько за стол, мне надо тебе кое-что сказать.

Жоржик сгустил кляксу ослу на хвосте, бережно положил книгу на окно, потом сел против тети Софи на табуретку и уставился в хорошо известную ему бородавку между бровей.

«И стричь не поспевает, ишь, волосы лезут, будто ивняк! А глаз — пруд: мутноватый, зеленый, бабы только что в нем белье полоскали...»

— Завтра тебе девять лет, милый друг, — будто по книжке говорит тетя Софи, — и, как всегда, ты получишь подарки. Вот я тебе и предлагаю: отдай старые игрушки бедным маленьким детям! Ты их, верно, нередко встречаешь: оборванные, без сапог...

— Так я им лучше все пополам, — сказал быстро Жоржик. — Сапоги, даже желтые, если хотят, а штанов сколько угодно!

— Совсем это, мой милый, не то, — поморщилась тетя Софи, — и не выскакивай с своим мнением! Я сама повезу игрушки в приют, Марья Тимофеевна уже собирает для елки. Отбери какие получше и заверни мне в бумагу.

— Старые игрушки невозможно отдать, — взволнованно сказал Жоржик. — Мы с Петькой вчера животы всем перебили, верблюды нагружены для пустыни, а у пастушки только что родилось.

— Опять Петька из кухни ходит? Разве я не сказала, чтобы он только после обедни, когда в чистом белье?

— Как вы всё говорите нарочно, — презрительно усмехнулся Жоржик. — Если вам в понедельник играть захочется, так на неделю откладывай? Или вот вчера слон хобот в лианах запутал, пополам рассадил, разве такую операцию без ассистента возможно как следует сделать?!

— Ты, мой милый, дерзок и не по годам глупый мальчишка. Без разговоров, отбирай игрушки!

Тетя Софи юрко засеменила к дверям, распирая острыми локтями свою серую пелеринку.

— Кукиш тебе, да без масла! — послал вслед Жоржик и, схватив картонку с игрушками, помчался к кухаркину сыну.

— Петька, неси живей на чердак, паучиха отнять хочет, да смотри, чтобы все налицо оказалось: шестеро диких, пустыня, паровоз и восемь животных.

— Очень мне нужно, — огрызнулся Петька и, косясь на мать, занятую с дворником, многозначительно зашептал: — В воде нонче тепло, идем в раки! И попович приехал!

— Стяни только говядины, — посоветовал Жоржик, — ворону когда теперь раздобыть?

— Georges, où êtes-vous, Georges? [1] — завизжала на весь дом тетя Софи.

Петька свистнул и дернул с игрушками на чердак, а Жоржик, услыхав на парадном беспокойный звонок, притаился за дверью — подсмотреть, кто пришел.

— Жорж, если ты мне сейчас не ответишь... — уже совсем близко ударил в ухо сердитый голос и, выждав, отчетливо произнес с каким-то особенным ядом, растягивая слова: — А, это ты, Сергей! Потрудись, милый друг, в кабинет, мы с братом давно ждем тебя.

Сережа Извольский, племянник отца, дышал так тяжело, как, бывало, когда, играя в железную дорогу, несся впереди паровозом. Глянув в полуоткрытую дверь, он не схватил Жоржика за уши, чтобы показать ему Москву, даже не улыбнулся, а, придерживая шашку, быстро прошел через зал. Приняв необычайные признаки во внимание, Жоржик кинулся к кабинету и, скрыв туловище под диваном, далеко выставил ухо.

Не все было слышно. Сережа часто сморкался и, если б он не военный, можно было подумать, что он плачет. Тетя Софи злобно кряхтела, а отец строгим голосом говорил непонятное.

— Одним словом, я больше при казни невинных присутствовать не могу... это противно моей совести! — громко вскрикнул Сережа. — И ведь не денег прошу, а занятий, хотя на первое время; потом сам найду.

— Исполнение своего долга есть подчинение закону, и оно не может противоречить ничьей совести! Притом, с точки зрения государства... — прервал Сережу отец, и Жоржику было так удивительно, что отец стал читать вслух свою газету после того, как у Сережи, словно от большого горя, дрогнул и сорвался голос.

Желая проверить глазами происходящее в кабинете, Жоржик приподнялся было, чтобы наставиться в дырку, но Сережа так неожиданно распахнул дверь, что он едва поспел юркнуть обратно под свой диван.

— А я говорю вам: совесть больше всяких законов. Ваши приговоры — одно надругательство, а сами вы — камни. Да, не люди, а камни...

---

[1] Жорж, где вы, Жорж? *(франц.)*.

И, не простившись, Сережа бросился вон, едва поспев накинуть на плечи пальто. Жоржик собрался было за ним следом, но большие двойные подошвы тяжело переступили порог и, напирая всем грузным туловищем на шаги, отец стал ходить вдоль по залу, а вокруг него, как проворные мыши, засуетились прюнелевые башмаки тети Софи.

— Пусть, пусть, голубчик, попробует без двадцатого-то числа! Не то что о-де-колоны с перчатками, в баню сходить будет не на что. «Мне, дядюшка, совесть не разрешает присутствовать при казни невинных!» Скажите, какой неожиданный рыцарь нашелся...

— Для нас, видите ли, закон был, — остановились широко расставленные тупые носки, — а у них вместо закона какая-то «своя» совесть... Очень удобно. Иному слюняю и курицу зарезать жалко, а другой экспроприации организует, — и оба они по «своей» совести.

— А всего удобнее, mon cher, им без всякого риску от нас, от «бессовестных», денежки получать! — подскочила тетя Софи. — И ведь в конце концов ты ему дашь, Иван Иванович, уж не утерпишь, если оборванцем на улице встретишь. Из военной-то службы куда ему? Разве к работе годен?

— Нет, как они только одного не поймут, — разволновался теперь и отец, — их точка зрения — отрицание государства, отрицание культуры; их точка зрения — Диоген в бочке!

И, сотрясая пол, Иван Иванович затопал обратно в свой кабинет.

— А все-таки если деньги ты ему дашь, значит сочувствуешь! — замелькали быстро-быстро, словно черными языками задразнились из-под серого подола, прюнелевые башмаки.

«Паучиха проклятая, ведьма...» — под диваном злился Жоржик, представляя уже себе, как Сережа Извольский, не найдя места, весь обросший волосами, голодный ходит по улицам и все повторяет: «Что делать? Разве мог я присутствовать при казни невинных...»

Невинные — это значит: перед ним стоял человек с таким лицом, как было вчера у Авдотьи, когда тетя Софи ей кричала: «Признавайся, ведь это ты стащила чайную ложку?»

— Я невиновная, — сказала Авдотья, — за что обижаете? — и, вся белая, она затрясла губой, а животу стало так холодно, холодно... еще немного, и сам бы заплакал.

И вдруг сказали бы: «Жоржик, повесь Авдотью!» Ну, конечно, нельзя.

Так и Сережа: разве ему возможно смотреть, если повешенный человек скажет: «Я невиновный»?

«Нет, повешенный человек ничего не может сказать, — прервал себя Жоржик, вспомнив разговоры дворника. — Он с головы до ног весь закутан в белое, как на лето от моли зашитая шуба, только качается».

Ну, все равно, еще жальче, если не говорит, а только качается.

Конечно, Сережа должен уйти!

А все-таки если снимет форму, непременно начнет спать в ночлежке. Дворник много раз там был: все, говорит, из военных, поручики.

Был бы Сережа уже капитаном — другое дело.

Капитаны счастливые!

Вот на афише недавно стояло: «Человек с каменной головой — капитан Дюбароль».

Весь в орденах, глотает иголки и пьет керосин.

А другой капитан — из Бразилии, тоже со звездами, тот показывал девицу Розу до талии. Она живет на столе, потому что у нее совсем ног не выросло.

А все-таки если без денег, плохо Сереже; что он купит без денег?!

У, дрянь она, паучиха проклятая, жаба с бородавками, — вот ее взяли бы да и приговорили повесить!

От бессильного гнева больше не в силах лежать под диваном Жоржик на четвереньках пробрался в коридор и стремглав кинулся к няне.

Няня прыскала белье и ездила горячим утюгом по шипящей дорожке.

Жоржик очень любил смотреть, как из жеваного белье становится гладким и от него пахнет праздником, но теперь и не глянул.

— Няня, а кто же приказывает людей казнить?

— А которые, Жорженька, за порядком смотрят, чтобы не безобразничали, чтобы на свой голос не кричали... — с удовольствием нажимает няня привычной рукой на мел-

кие накрахмаленные складки, и они, как сахар сверкающие, ложатся одна на другую, словно и не их только что в мыльной воде терзала прачка.

— Няня, а которые за порядком, те уж наверное всю правду знают?

— Ишь что выдумал, — няня с неудовольствием приподняла утюг. — Всю правду одни только старцы ведали да с собой и унесли. Да ты не егози под руку, смотри, пузыря достанешь.

— Ну, ну, — заторопился Жоржик и, вздернув рыжие брови, открыл рот, чтобы лучше поймать слова. — Ты, няня, о них опять с самого начала!

— Вот были, Жорженька, старцы такие, давно, еще при старых книгах. Они, как христопродавство пошло, книги-то взяли да в горы... а в книгах вся как есть правда прописана и была, только знай листы разворачивай!

— А что же за старцами войско не шлют? — не утерпел Жоржик.

— Что, батюшка, войско?! Слово на них сказать надо... Вот если какой человек по правде так крепко стоскуется, что выкликать старцев начнет, покуда живота не решится, — такой и выкликнет. А ежели покличешь, покличешь — да и присядешь, они и ухом не поведут. Потому, сидят старцы в агромадной пещере под самым тем деревом, где святая троица во всем своем естестве один раз посидела.

— Мамврийский дуб, это я знаю, — серьезно сказал Жоржик, — только он, няня, совсем не в пещере, а на дворе Авраамова дома.

— Вот же, вот, Жорженька, и монашо́к этак сказывал. Только, говорит, пещеркой его ноне прикрыли, — такой народ пошел, неровен час, и срубят, — и кружка при нем для усердных. А от желудко́в этого дуба женщина, которая неплодная, на себе носить станет, беспременно рожать пойдет...

— Няня, а я могу старцев выкликнуть?

— Мал еще, Жорженька, разве в силу войдешь.

— А если их выкликнуть, все как есть злые к черту провалятся?!

— А тогда известно: тогда Новый Ерусалим вступит, реки молоком пойдут, а в городах уже не заставы, а двенадцать ворот золотых, а все с зеньчугом.

— Georges, où êtes-vous? — залилась опять тетя Софи.

Жоржик вдруг вспомнил разговор об игрушках и, помчавшись в конец коридора, щелкнул дверью в темную комнатку и что есть силы принялся дергать висящую белую ручку.

— Qu'est ce que tu as de rester si longtemps? [1] Заболел, что ли? Да перестань дергать, машину испортишь!

Жоржик выскочил красный, с веселыми чертиками в лукаво подхваченных калмыцких глазах.

— Где игрушки? Я и так опоздала...

Тетя Софи сверх обычной своей пелерины накинула другую, теплую, но покороче, и, спрятав под нее руки в черных перчатках, бросала на белую стену тень китайской постройки.

— Игрушки все — фью, — свистнул Жоржик, — ищи ветра в поле! Я их спустил.

— Но это чрезвычайно! — всплеснула тетя Софи своими руками негра. — Что я скажу Марье Тимофеевне?! Да это просто не детская дерзость, мой милый! Как ты только посмел?!

— Как же отдать, когда я их люблю? — сказал Жоржик. — А детям, я уже говорил, возьмите штаны, возьмите матроску, даже завтрашние игрушки можно, пока я их не узнал.

— А ты отдавай не то, что хочется, а то, что любишь, если ты христианин! «Положи душу свою за други своя»... слыхал? А тебе негодных вещей жалко. По какому же это ты, милый, закону живешь?

— Ни по какому! — вспыхнул Жоржик. — Я, как Сережа, хочу только по совести... а про законы мне совсем все равно.

— А гореть не все равно? — тетя Софи подпрыгнула прямо в лицо, и бородавка ее, такая злая, вдруг ощетинилась, сама захотела колоться. — В огонь вечный попасть захотел, «иже уготован аггелами его»? Там, милый, не шутят; там, что сегодня, что завтра, уже навсегда...

— Врете вы все! — закричал не своим голосом Жоржик, — про Марью Акимовну не знали и про другое, наверное, не так говорите! Хотите, чтобы Сережа в бане не

[1] Что ты так долго? (*франц.*).

мылся, во всем подучаете папу. Вот как выкликну старцев, вы прежде всех в ад и провалитесь.

— Если уж так чрезвычайно, если уж так... — захлебнулась тетя Софи и, подобрав нижние юбки, как от сильной грязи, до вязаных белых чулок, побежала к Ивану Ивановичу в кабинет.

— Петька, — кинулся Жоржик в кухню, — живо, дерем за мельницу!

— Здóрово! — обрадовался Петька, но тут же вдруг испуганно дернул носом, упустил на пол картошку, которую чистил, и в минуту голыми пятками промелькнул вниз по лестнице.

А Жоржика сильная рука схватила за шиворот и, безмолвно протащив весь коридор, вдвинула в темный чулан. Ключ отчетливо повернулся, и жестяной голос отца проговорил:

— Отсидишь до вечера, тогда поговорим.

II

Придя в себя, Жоржик завизжал и стал бешено колотить в дверь, но отец прикрикнул:

— Если не перестанешь, оставлю на ночь.

Отец такой серьезный, как его письменный стол: если наказывал, никогда не прощал.

Молча запрет, молча и выпустит, когда назначил. Да обыкновенно в чулане совсем и не скучно. В жестянке, чтобы не стащили мыши, припасены огарки, а в кармане среди кусков сахару уже всегда неразлучны спички, ножичек и карандаш. Только присмотреть ящик от макарон, который поглаже, нарисовать морду лошади, да и постругивать, пока срок не выйдет.

Но сегодня день такой славный, хоть и осень, а в воду влезть хорошо. И рак непременно пойдет на лучину... Вон Петька уже и полено щепит, — услыхал он срывающиеся удары топора на кухне и, вставив два пальца в рот, тихонько свистнул.

— Жоржик-Ершик, надолго зацапали? — немедленно зашептал в скважину Петька.

— До самого вечера, а там вдвоем с ведьмой будут кишки тянуть...

И, нарисовав огромную волосатую бородавку, Жоржик всадил в нее ножик.

— Я уже мясо украл, ребята сачки заправляют, а мы с тобой в воду, лучинщиками...

— Эх, ключ у него, — вздохнул Жоржик.

— А окошко? Оно ведь без рамы, ящиков нагороди, я веревку тебе перекину, а там — мне на плечи.

Петька помчался за веревкой на привычный чердак, а Жоржик, чтобы скоротать время, заметался по чулану. Два шага вперед, два назад.

— «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела?..» — нараспев начал он, но сейчас же бросил. — Глупые стихи: спрашивает, спрашивает, а все без последствия, — разве дерево говорит?

В большую отдушину чулана влетела привязанная к крепкой бечевке большая картошка и вкусно чавкнула, ударившись об стену.

— Молодец Петька! — восторженно шепнул Жоржик и кинулся громоздить ящики, но из них с таким треском посыпалась всякая рухлядь, что из кабинета последовал новый окрик: «Еще раз, и ты ночуешь!»

— Обожди, Ершик! Он скоро гулять пойдет, — обнадеживал Петька.

Чтоб не терять попусту силы, Жоржик лег на спину и потушил огарки. Он очень любил так лежать в темноте. Глаза как будто переходили во внутрь затылка и уже оттуда смотрели, как в голове двигаются люди, вырастают какие-то большие красивые цветы или вдруг как на дне морском ворошатся чудовища. Кого хотел, того и пускал себе в голову; а глаза все видели, и еще лучше, чем днем.

Но сегодня он не хотел смотреть. Он из всей силы думал: как бы достать Сереже место, чтобы он не стал пить водку, как поручики из ночлежки?

Если бы не паучиха, отец дал бы Сереже денег. Отец добрый, только он не любит ни о чем думать, кроме своей службы. Вот люди, которые за порядком смотрят, — взяли бы они паучиху да и повесили! Но пока правильных книг нет, разве кто что-нибудь по-настоящему знает?!

— А если никто, значит и я: захотел — и повесил, — вдруг решил Жоржик и вслух, сидя на полу, уже с открытыми глазами, стал пояснять себе дальше. — С теми людьми, что невинного вешают, ничего не случается

страшного, — тем больше со мной, если я ее, виноватую?! Всем жить не дает: ябедничает, сахар, даже за чаем, считает; все, что любишь, отымет, Петьку живого ест... Вот еще!

— Петька! — забывшись, громко выкрикнул Жоржик, — паучиху нам необходимо повесить, слышишь?

— Что же, ее можно повесить, — без всякого удивления немедленно согласился Петька. — Твой уже матери двугривенный на булки дал; сейчас уходит. А тетку мы тут из чулана и вздернем! Она все в сундуках со свечой шарит. Скажем, будто сама удавилась, со злости.

— Нет, Петька, ты только подумай: мне в разбойники теперь невозможно, потому что разбойник — он душегуб, а мне старцев непременно выкликнуть надо. К тому же, как только они придут, я ихние книги сейчас разверну и про нее правду узнаю: сколько ей еще доживать на земле оставалось. Мы на тот срок ее снова из ада и выпустим!

— Тогда можно и выпустить, — опять подтвердил Петька, тоже наслышанный в кухне о старцах, — потому тогда Новый Ерусалим вступит, а при нем всякий злой человек уже без опасности!

— Так что же откладывать? — сказал Жоржик, — давай пробовать.

— Да чего пробовать! — сказал Петька. Разве она тяжелее воблы? От ехидства, гляди, давно вся усохла, вдвоем ужо справимся, а сейчас дерем, Ерш, за плотину, — твой не очень-то прохлаждаться любит.

Жоржик зацепил веревку за торчащий в стене костыль, немного застрял в отдушине и, весь испачканный мелом, спустил ноги Петьке на плечи. Потом легко спрыгнул на пол и, торопливо вытащив из кармана обгрызок красного карандаша, стал что-то писать на стене.

— Без приговора вешать не полагается, — деловито сказал он, — а приговор — «одно надругательство», уже Сережа наверное знает.

И на стене коридора, против веревочной петли, Жоржик крупными буквами вывел:

«Паучихе проклятой, пипе суринамской, жабе с бородавкою объявляем мы смертную казнь!»

Потом, из всей силы раскачав петлю, Жоржик кубарем впереди Петьки скатился по черной лестнице, на минуту

задержался у открытого погреба, напихал себе полную пазуху сырой картошки и, уже не оглядываясь, помчался по прямой линии через огороды предместья к глубокой, но быстрой реке.

III

— Жоржик-Ершик, ей богу, он! — обрадовались черноглазые мальчуганы с такими животами, как будто они только что проглотили по арбузу. — А Петька сказывал: ты на цепи!

— Сорвался! — сиял Жоржик. — А где же попович?

— Попович зазнался, — обиженно сказал старший: — мелочь вы, говорит, дураки, а я — второклассник...

— Ну его к черту, обойдемся! — прервал Жоржик и, быстро разувшись, влез в воду. Он не боялся больших черных раков и, держа в одной руке пук горящей лучины, шарил другой по глубоким норам. Обыкновенно глупый рак объявлялся скоро, разворачивал свою двупалую клешню и так крепко вцеплялся, что, только подпекая хвост, можно было высвободить руку. Если из пальцев при этом шла кровь, мальчики хвалили Жоржину храбрость, а он от гордости готов был целиком скормить себя ракам. Но сегодня, хотя вечер был теплый, осенний холод реки уже нагонял на ее жильцов предзимнюю дрему, и рак, забившись с своей рачихой вглубь темной норы, уже не шел, с любопытством таращa глаза на лучину, а упорно выставлял одну скользкую поджатую шейку.

— Под хвост не подкопаешься, рука онемеет, я уже бросил... — крикнул с берега Петька, — иди, Ершик, картошку печь! Может, который на мясо пойдет!

Озябший Жоржик с удовольствием растянулся у костра и стал внимательно наблюдать натянутые бечевки глубоко спущенных в воду круглых сачков.

Черноглазые мальчики и Петька носили хворост, изредка перекликаясь. Жизнь в городе, загнанная по домам, разделенная на часы, здесь, за заставой, разливалась почти с деревенским привольем. Шумело колесо водяной мельницы, и какие-то оголтелые ребятишки, крутясь в желтой пене, выбивали фонтаны. Успокоенно хрюкали свиньи, и беззаботные гуси, подходя совсем близко, щипали траву.

Осень надвигалась добрая, с материнской лаской, без ветра снимала с деревьев совсем желтый лист и тихой рукой, не крутя его в воздухе сусальным золотом, словно в вату, опускала на мягкую, коврами покрытую землю. Небо было все синее, без облачка, такое чистое, как будто там только и делали, что мыли полы и, как к празднику, протирали стекла.

— Отчего день бывает, отчего ночь? — спросил задумчиво один из черноглазых, поворачивая на палке сало.

— День бог сделал, — не задумавшись ответил Жоржик, — а ночь лучше всего мне нравится так, как я сам выдумал: она в трубах фабричных разводится. Ишь как пыхтят, небо пакостят! Это они все ночные часы выпускают. А когда солнце, совсем от них ослабевши, на корточки за конец земли присядет, черные часы все гуртом соберутся за небом, прорвутся сквозь синее и навалятся ночью на город. К утру уж они свою сажу за другой конец земли всю стрясут, а солнце, отдохнувши, снова во весь рост на небе встанет, только туловище его за голубым, — нам одна голова пока что виднеется... Ненавижу ночь; вырасту, на все как есть трубы печать наложу! — кончил Жоржик.

— А как же ворам быть, если без ночи? — раздумывал Петька.

— Вот попович... он совсем по-другому про это рассказывал, он как в книжке, — сказал самый маленький шустрый мальчик. — Он говорит: земля словно большущий мячик, а солнце у его бегает сзаду и спереду. Мы живем спереду, солнышко видим днем; арапы, те живут сзаду, и оно для них ночью.

— Ну и так говорят, что же с того? — покраснел Жоржик. — И то попович соврал, как всегда: не солнце, а земля бегает. А мне что за дело: пусть в книжке так, а я по-другому. Пока старцев нет, все равно наверное ничего и ровно никому не известно. Ну, а картошка сырая, еще не попеклась, — прокусил он закопченную кожу... — Дернем-ка пока что в тридесятое?

— В тридесятое, в тридесятое! — подхватили все мальчики, и хотя их после этого дела дома неизменно пороли, все с удовольствием пробрались за Жоржиком на самый верх чисто выполотых, аккуратных огородов с еще не снятой капустой.

Солнце уже чуть мигало из-за похолодевшей реки и все гуще разводило в воде свою дорогую красную краску. На песчаных обрывах, как рога огромного жука-оленя, совсем черными делались вывернутые корни деревьев. Ребята выстроились на горе, и Жоржик с загоревшимися глазами, почему-то шепотом, словно заклинание, стал скоро-скоро говорить, перебегая от одного к другому:

— Солнце разбежалось по небу и в океан, а мы за ним... И будто под нами не ноги, а кони. Понесут вихрем с одного конца земли до другого, через воду, через камни, через рвы — в тридесятое царство!

Мальчики заржали и стали в нетерпении сапогом, как копытом, бить землю, рвались бежать, а он, предводитель, их не пускал. Он все сильнее распалял словом и для каждого выискивал такое заветное из того, что читал, что слышал, что видел во сне... словно из костра брал горящие угли и бросал их в жадные, любопытные души.

В последний раз пыхнуло солнце и сковырнулось за дальний лес, за собой следом потянуло свою красную краску, а ночные часы принялись пробиваться сквозь небо, пока еще светлыми лиловыми чернилами.

— Геть, жеребцы, в тридесятое! — по-разбойничьи гикнул Жоржик и, распустив руки как крылья, первый стремглав ринулся вниз, по сине-зеленым упругим кочнам.

— Геть, геть! — подхватили мальчишки и, не отставая, понеслись за ним следом.

Свистел в уши ветер; сухо потрескивая отрубленной головой, скакала вдогонку капуста. Крепкие пятки разворачивали пышные гряды, и, уже бессильный остановиться, раскачав у самой реки обеими руками свое распаленное сердце, Жоржик словно его первое кинул в холодную воду, а за ним и все остальное, огнем разожженное тело...

. . . .

— А, купальщики, вот они где! — выскочил из кустов огромный кучер, Матвей Филимоныч. — И не раздемшись изволите. А папенька думает, вы утопли! Пожалуйте-с, Ершик, обратно.

И, обхватив Жоржика теплым пледом, Матвей Филимоныч вмиг спеленал его, как грудного, и взял на руки. От кучера так славно пахло конюшней, рыжая борода ласково щекотала горящие щеки, и голос был такой хоро-

ший, успокоительный бас, что Жоржик совсем не рассердился.

— Матвей Филимоныч, а ведь высекут? — почти весело осведомился он.

— Беспременно, Ершинька, — широко раздвинулись волосатые щеки, — сами небось понимаете: раз — за тетенькино посрамление, два — за свое промочение. Папенька сами уж и прут обломали, на тот случай, конечно, ежели вы не утопли.

— Милый, Матвей Филимоныч, пожалуйста, неси меня как можно подольше. А там пусть себе порют, я когда-нибудь все равно совсем проскочу в тридесятое...

И Жорж спокойно заснул на больших уютных руках.

1909

БОГДАН СУХОВСКОЙ

I

Мать Богдана, цыганка, привезенная большим барином Суховским из столицы в деревню, родив мальчика, не вылежала и положенных дней, стосковалась, ушла чрез окошко. Только ее и видали.

Смеялись мужчины, а дамы непонятно сердились:

— Кто бы мог, посудите, кроме бродяги привычной? Порядочной женщине и повернуться нет силы, а «такая-то» уж в окно.

Богдан выдался похож не на мальчика, а на беса, и чем дальше, тем хуже. Стыда не знал вовсе, любил бегать голым, брал, что нравилось: свое ли, чужое. Людским словам научился без всякой охоты. Свои слова надавал заново всему, что видал: по звукам, по цвету. Когда скоро не понимал, визжал и кусался. Зимой страшно зяб, забивался всюду, куда мог пролезть, не отзывался на посулы даже вяземских пряников, скулил что-то под нос или спал, как звереныш. Только под вечер, когда хваталась прислуга, зацепляли с двух боков колючими щетками и выдавливали, будто злого, опасного паука.

Зато летом с собаками не сыскать, набирался азарту! Пропадал в лесах, загрузал в черной тине, заночевывал в лужайках, облепленных будяком, купырем, беленой... высвистывал толстых ужей. Они, словно к брату, наползали к нему черным стадом, и, не брезгая, оборачивал себе ими Богдан и шею, и руки, и ноги. Плевался всякий,

кто видел, говорил нехорошее слово об его матери, беглой цыганке.

Но Богдана люди мало касались. Он был пока связан лишь тайными, древними узами с одной черной землей, с муравьиными кучами, с зверями и травами, с ночным смолкавшим небом. Так и рос, как крапива растет под забором.

Попозднее грамоте и задачам обучил дьячок за бутыли наливки, а французскому языку Аполлинария Львовна. Вообще она кое-как надзирала: причесывала кудлатую голову, целовала при встрече, находила, что он — «вот-вот итальянец с старинной брошки», и водила смотреть на закат.

Она была старая дева, Аполлинария Львовна, неудачно любила художника за границей. Художник целовал ее где-то в развалинах, а там и уехал. Заполнил воспоминанием сердце на всю ее жизнь до последних краев.

Так от развалин она и носила прическу с фальшивыми буклями по плечам, хотя даже в провинциях дамы причесывались кверху, очень много колец, и сама с собой говорила вслух по-французски. На закат с ней ходить было очень занятно. Охотно выискивала вместе с Богданом диковины в облаках, а если облаков вовсе не было и небо без разговоров, целиком упадало в огромное озеро, отчего оно делалось темносиним, Аполлинария Львовна неизбежно вспоминала другие озера, в заграничной стране, где каталась в лодке с художником. Богдан искусно наводил на подробности, хотя давно уже выучил их наизусть. И не то, чтоб роман ему был интересен, художник надоел давно до смерти, — выспрашивал из-за обстановки. Очень уже четко запомнила Аполлинария Львовна всякую колонну, и здание, и башню, на которых выделялся берет, зеленая куртка и особенный какой-то там нос и усы.

— Как сейчас вижу, Богдан, вот она, великолепная арка Тита... он так любил барельеф с семисвечником... как это взял он тогда, blanc et noir, с фигурами пленных евреев.

— Почему их пленили, куда их вели?

— Ах, совсем не в них дело, ты только послушай: досадного гида мы отпустили, и в бывшем храме весталок он поцеловал меня в первый раз.

— А что было кругом, что кругом?

— Но, Богдан, — огорчалась Аполлинария Львовна, — если я кое-что помню, так ведь потому только, что «он» там стоял. А на что мне смотреть было в сторону.

И, пришибленная, она умолкала. В сером платье, с очень длинным хвостом и причудливым гребнем вверху взбитых буклей — сиротливо подмокшая птица.

— Вы только поймите, — старался объясниться Богдан, — там и сейчас точно так же, хотя художника нет, — что о нем одном думать? Лучше поедем смотреть все, все места.

— Богдан, ах, Богдан! Это в тебе говорит кровь цыганская, ко всему жадная. А мне только и жизни, что любимый любил.

И она плакала. Плакала о красоте промелькнувшей и не вошедшей в жизнь. Плакала, что вот он не воротится, а сердце настойчиво своего хочет счастья.

Богдан смотрел внимательно, как краснел маленький и сквозь пудру сморщенный носик, как скоро-скоро перебирали тонкие пальцы заветные кольца, — ему ее делалось жалко и в то же время досадно, и тесно, и душно. Будто себе одной она забирала весь воздух.

Стремглав несся Богдан от нее на конюшню к любимому жеребцу. Заползал головой под волнистую гриву, нюхал жадно горячую конскую кожу и, взяв в зубы кончик уздечки, прохваченной крепко конским раздражающим потом, устремлял глаза в одну точку.

И в мыслях скакал он в безбрежных просторах, под нездешними солнцами, влекомый все дальше, все дальше неистовством бега в призывную даль сладкой тайны кочевья, заложенной прочно в цыганской крови.

II

Раз далеко вдруг послышался колокольчик. Ближе, ближе, умолк под парадным. В один миг взворошился и высыпал кучей на улицу нижний этаж: управляющий, поварята, приказчики. Вынули из коляски, внесли на руках кого-то громадного, без конца, без начала, обернутого теплыми одеялами. А вслед за громадным, покрякивая и гремя звонко шпорами, волоча за собой полусонную саблю, толстый рослый гусар.

— Валериан, старший братец, а под одеялами твой papá, — успела шепнуть на ухо Богдану Аполлинария Львовна и растеклась по всему дому, хлопоча о хозяйстве.

Люди высвободили из бесформенной груды и уложили на кресло с колесиками старика с перекошенным ртом и одним немигающим глазом. Другой глаз был умный, темносерый, с желтоватыми пятнами. И на кого он смотрел, этот глаз, на того выкидывал из зрачка прямо в сердце колючку.

Так впился и в Богдана: вдруг испуганный, сделался больше, и левая рука много раз как-то вздернулась, будто гнала прочь пчелу.

Брат Валериан тоже смотрел на Богдана в упор, не здороваясь. Вдруг расхохотался, без церемонии повернулся к Аполлинарии Львовне: это он цыганенка своего обознал. Ведь до сих пор его матери простить не может: все, бывало, он женщин бросал, ну, а уж эта его... Рокамболь!

Валериан очень часто, с особым нежданным рычанием, как морской лев в зверинце, вдруг кричал: «Рокамболь!» Казалось, слово, словно шомпол старые ружья, прочищает его сиплое горло.

— Эй, послушай, — подошел он к Богдану, — пока что обедай на кухне с людьми, я это дело налажу.

Через некоторое время приехал еще брат Василий. Этого за дерзость только что выгнали вон из училища, и хотя настойчиво он просился в университет, Валериан, опекун, за болезнью отца не давал ни копейки. Хлопотал по военным начальствам поместить в новое крепкое место и звал с презреньем: Спиноза-заноза.

Богдан притаился, высматривал братьев. Василий, болезненный, горбоносый, в очках, ему был непонятен, но очень понравился. Не суетился, даже когда пил чай, все раздумывал о чем-то своем и всякий раз клал печенье не на тарелочку, а так, прямо на скатерть, отчего Валериан раздражался.

Василий, по примеру старшего, тоже будто не приметил Богдана, но, идя мимо, с рассеянной лаской проводил по кудлатым, взъерошенным волосам.

Аполлинария Львовна тряслась в лихорадке, забыла на время художника, угодничала Валериану то коржами,

то бубликами и очевиднее чем всегда походила на подмокшую птицу.

Валериан, раскарячив кавалерийские ноги, распоряжался всем домом. Старых слуг сменил новыми, все больше девками, но Аполлинарию Львовну уважал за угодливость и французский язык.

— Эх-ма, цыганок, табак твое дело, — говорили Богдану на кухне. — Законные наследники въехали. Василий — тот ничего, буквоед, ну а старшенький в аккурате... хозяин.

Валериан, много дней после того как пропускал Богдана будто пустое пространство, вдруг о нем вспомнил, позвал к себе в комнату. Стоял такой красный, в расстегнутой серой тужурке.

— А ну подойди сюда ближе, чего зверем смотришь, говори сразу: знаешь, что я твой брат, а отец у нас общий?

— Знаю.

— Прекрасно... и разницу положений ты, надеюсь, уже разобрал? — говорил в нос, подражая своему командиру, и видно было: чувствовал тело свое, гордился им, крепким и жадным, стоял, расставив ноги, играл цепочкой. — Ну, так вот: обедать ты будешь со всеми, но прошу, любезный, веди себя крайне прилично. Разговоров чтобы никаких. Меня и брата зови поименно, но говорить будешь вы, а отца нашего для отличия — крестный. Ну, ты понял меня? Рокамболь...

— Да, я вас понял, — сказал спокойно Богдан. — Отца нашего мне звать надо крестным, а вас с Василием поименно, — и, вежливо шаркнув, он хотел отойти.

— Стой! — изумленно заорал Валериан, — и тебе не обидно?

— Мне не может от вас ничего быть обидно, — сказал Богдан, и так мудрено он сказал, что Валериан не сумел разобрать: посмеялся над ним цыганок или очень его уважает.

А у Богдана вышло просто так, как он думал. Валериан хотя много двигался, много кричал, казался ему не живым человеком, а расписною мишенью, вроде той, что повар привез из солдатчины и повесил у себя над постелью.

Вечером за обедом Богдан сидел отменно, бросал украдкой взоры на крестного, который тоже между ку-

шаньем смотрел на него, уже не пугаясь, как в первый раз, а с острым вопрошающим любопытством. Голова у старика была лысая. Рот Валерианов — толстогубый, цвета лежалой клюквы.

Богдан сравнивал, что́ у него похоже с отцом, чтоб из оставшегося представить себе, какая же была его мать. Пристально вечером смотрел себя в зеркало: продолжил мысленно кудри до плеч, пробрил ножичком сросшиеся брови, таращил глаза... только лоб был как срезанный. У Богдана ведь лоб был отцовский, а какой у матери, он не знал. От Аполлинарии Львовны совсем не годился. У нее был морщинистый, с темными ямками на висках.

Богдан вдруг придумал — пробраться в портретную со свечкой, выбрать лоб у какой-нибудь женщины покрасивее.

— Эй, цыганок! Плечо правое скорее вперед заворачивай, — крикнул в открытую дверь Валериан, которому денщик снимал сапоги. — Ну, что ты скажешь, доволен ты? — грузно шлепнулся в постель, поднял правую ногу. — Опускайся на колено, оруженосец, посвящаешься в первый сан, бери мою ногу и нянчи!

Он было вскинул на плечо Богдану, подошедшему близко, чтобы понять его речь, свою ступню в полосатом носке, но тут же вдруг бешено вскрикнул, кинулся с кулаками.

Богдан извивался огромной пиявкой под ударами Валериана, но, не зная как, вонзил в ногу зубы, уж не помня себя, не хотел их разжать.

Сбежались девки, Аполлинария Львовна. На Богдана ушат за ушатом вылили воду. Большой разозлившийся Валериан отодрал очень больно ремнями, скрутил руки, швырнул в темную комнату под бильярд.

Было особенно холодно в эту ночь. Так было холодно, что Богдан, то обмирая, то приходя в себя, стал просить, чтобы его прикрыли. Но никто не слыхал, никто не шел или не хотел идти, и тогда Богдан начал звать к себе бога. Доброго, очень сильного. Ждал, что вот-вот он войдет, так же просто, как входит дворецкий мазать мелом кии, развяжет порезавшие тело веревки. Бог возьмет к себе на колени.

Но вот уж пробило двенадцать, а бог все не шел, — и кругом всколыхнулися ужасы. С последним ударом

висячих часов — черные столпились в бильярдной. Стали катать не шары — черепа самых злых мертвецов. И уж конечно нельзя было больше звать бога. Черные стали бы требовать отречения, а Богдан так прозяб в мокром платье, что наверно отрекся бы. Веревки проели уж кожу, при каждом движении пилой драли тело.

И от сильного напряжения лежать неподвижно, чтоб черные его не заметили, Богдан начал бредить. Наутро он был совсем болен, провалялся немало в постели, а когда стал здоровый, то понял, что́ понять на земле надлежало.

Из богатого прежнего мира он вошел в дни недели, очевидные для других, научился говорить и держать себя так, как кругом было нужно, а свою кровь цыгана, с особым укладом, с тайным знанием вещи, и зверя, и трав, он загнал внутрь глубоко, для людей прикрыл сверху будто хитрою глупостью.

III

Скоро и внешняя жизнь у Богдана совсем изменилась. Заболела приехавшая со стариком Суховским из Петербурга чтица. Валериан немедленно ее отправил обратно, давно прикинув в уме, что тратиться на больную ему больше нечего. Узнав от Аполлинарии Львовны, что Богдан отлично читает, приказал ему днем высыпаться, а до двух часов сидеть с отцом ночью.

Днем со стариком что-то делалось страшное. Тискали из одной ванны в другую, терли пронзительной мазью, такой, что от нее чихали даже коты. Камердинера-немца заменил бывший кучер, и слыхать было часто из ванной будто удары по голому телу, а в ответ только слабый жалобный вой.

Всю ночь напролет старик не мог спать. Не слыша человеческих слов, ему было страшно сидеть одному, и так как говорить уже разучился, он рычал на весь дом ужасным звериным рыком, ворочал глазами, а свободной рукой отгонял одному ему видные ужасы.

Все три года, пока не умер старик, Богдан к нему ночью был словно прикован. Сразу пробовал убегать, но Валериан избивал до бесчувствия. Отец мешал ему по ночам.

Совсем уйти из дому Богдану в голову не приходило: людей не любил и боялся. Был уверен, что всякий, кто сильнее других, — Валериан. А в лес он откладывал, ждал чего-то, последнего.

Кроме того вышло так, что Богдан скоро сам пристрастился читать по ночам. С чердака снес все, что было печатного: тайны разных дворов, «Зрителя», «Ниву», Мельмота Скитальца. Последнего, как святыню, читал, перечитывал, прибавлял от себя еще и еще новые главы. Старик привык к его голосу, следил теперь всюду за мальчиком умоляющим глазом, из которого очень скоро, под опекою Валериана, вся вышла колючка и дрожали одни лишь покорно-трусливые слезы.

И Богдан просто-напросто не смог вынести этого жалкого глаза, разбитой повисшей руки, безутешного воя в одинокую ночь.

Аполлинария Львовна, увидав, что старик в доме — одна ненужная рухлядь, час за часом оттягивала сменять в чтении Богдана и, наконец, вовсе бросила. Тогда Богдан стал прикидывать, как бы выспаться днем, чтобы выдержать ночь до рассвета, и, глядя на лакеев, бутылками кравших у Валериана вино, догадался: в свою очередь стал таскать у лакеев.

Что ни утро — напивался, благо скоро хмелел, и уже спал непробудно, до вечерней зари. Потом обливал себе голову водой из-под крана, наедался на кухне и в кладовых, до темноты шатался по крышам, приманивал голубей. А чуть парень вкатывал в большой зал старика и зажигал огромную закопченную лампу, Богдан сам, без всякого зова, как дьячок над покойником, шел ему читать.

Старик оживлялся, дергался в кресле и тихонько ржал. Богдан перелистывал любимые страницы Мельмота, там, где дьявол особенно мучил непокорного гордеца, плакал, неистовствовал, предлагал громко черту в обмен за него свою душу.

Бабьи визги из комнаты Валериана сменялись безудержно пьяным хохотом или плачем, слышен был лязг битых стекол, густой звон пощечин.

Разгоралась лампа, фитиль выбрасывал огненные языки, красным заревом падал свет.

Бывает в монастырях, что на темной картине Страшного суда во всю церковную стену ярко горит только

в пасти дракона, где торчат беспримерные грешники; так и здесь, в этом зале в два света, с расписными стенами и мудрено наведенным потолком, чуть-чуть выходили из мрака грациозно грешащие на лужайках пастушки, и только грузный полумертвый старик и обезумевший в разнузданных грезах подросток пылали беспокойным огнем.

В старинные, часто насаженные друг на друга окошки гляделся и месяц, гляделись и звезды, гляделся далекий благоухающий рассвет. Его почуя, смолкали в подполье лукавые серые мыши, и на работу, кое-когда перебросившись словом, двигались медленно мужики. Ребятишки из дальних мест, не прожевав еще корки хлеба, с раздутой щекой мчались в школу, и солнце, проспавшись, пускало им в спину свой первый веселый луч.

Выходил к старику еще заспанный парень, увозил его в черную ванну.

Богдан, уже сильно хмельной от только что выпитой темной наливки, засыпал где попало, облепленный мухами, всего чаще в старых ящиках чердака.

Отвыкнув видать его днем, все о нем как-то забыли, даже постели своей теперь не было. Когда люди спят, он не спал, так что вместо него водворялись на ней Валериановы фаворитки. И был Богдан в этом доме как случайно приблудший, не ставший домашним, но и не прогнанный пес.

IV

Отец Макарий, живший рядом с усадьбой старика Суховского, не только слезливыми, многородящими бабами — самим владыкой признан был за человека святого. Добрый, тихоречивый и такой немудрящий, что когда съезжались к нему на именинный пирог окрестные батюшки и брат попадьи, городской протопоп, раскалялись все в разговорах о церковном своем нестроенье, — отец Макарий, боясь искушений осудить кого-нибудь, уходил незаметно в свою образницу. И, кроме положенных иерею молитв, долго бессловесно глядел глазами в глаза божьей матери.

Только б не отступиться!

Какой-то из молодых пробовал было сказать владыке, что юродив, мол, не речист вовсе Макарий, что никакого просвета от него, как от мертвого, темному люду.

Но владыке, умному, властному человеку, нравился послушный благообразный священник, и он без церемонии обрезал недовольных:

— Не речист, говоришь, своего разума не имеет, а у Исаака Сирианина не читал: безмолвие — удел веков грядущих... предвосхищен из вашей самоправной скверны Макарий! Христианину смирение — что девушкам белый цвет.

Мужики любили Макария за покладливость в требах, за скорую обедню, за то, что он не корил их ни пьянством, ни кражей, ни иным деревенским грехом. Бабы любили Макария за терпение, с каким слушал исповедь, причитанья и слезы, за то, что ребеночка погружал в купель бережно, и за то, что, весь тихий, красивый, кудрявый, похож был на светло-написанный суздальский лик.

А больше их всех, с тайной надеждой не только на помощь — на спасенье, любил отца Макария цыганенок Богдан.

Он, как увидал его среди всех, ровного, доброго, решил, что это и есть настоящий святой, только пока что скрывается и молчит, а когда придет время, обличит Валериана, вступится властно за всех их: за отца и за брата Василия.

Вот почему не сбегал в лес Богдан, не начинал мстить Валериану, вот почему, когда мимоходом при встрече иной раз благообразный тихоречивый батюшка клал на плечо ему белую руку и говорил: «Терпи, дитятко, Христос терпел», Богдан не целовал его белой руки, а, убежав на чердак, долго и радостно плакал.

Не целовал, от сильной любви и от скромности.

Все видит, все знает, чего-то последнего не допустит Макарий. А каждый день говорят одни обыкновенные люди. Святые молчат до срока.

Однажды веселый румяный попович, бессменно игравший на предцерковной лужайке, покрытой ромашкой, в городки или лапту, затащил его к себе в горницу.

Захватило дух у Богдана, едва вошел. Все показалось таким прекрасным, совсем другим, чем у себя в громадном загаженном барском доме.

Бальзамины на окнах, прозрачные занавески, два киота с лампадами, кипарисный дух, чистота.

Попадья молодая, приветливая, с голубыми глазами, перебирала полотна, отбросив крышку тяжелой укладки, сплошь облепленную вырезными картинками. И от старых полотен пахло тоже какой-то уютной травой-чебрецом или мятой.

Попадья собралась за покупками в город, и отец Макарий, в белом подряснике, еще как-то святей, чем обычно, сам принес с чердака саквояж и ремни, открыл шкаф и спросил:

— Тебе какое с крючков-то снять, Катенька: кофейное или с бархатной вставкой?

Богдан в восторге глядел на батюшку: ласковость, простота, белизна, запах в комнатах — все очевиднее убеждали его, что до времени надо терпеть, надо верить.

«О ее платье и то вон заботится, неужели меня так оставит? Сейчас молчит, а когда надо, он скажет. Уж он скажет».

Отец Макарий поставил на стол громадные чашки: поповичу с какой-то лиловой птицей, а Богдану придвинул улыбчиво голубка с бантиком, где написано было: «В день ангела». Богдан так был взволнован и так сильно пред батюшкой застыдился, вспомнив вдруг, как он крадет наливку и что нет такой пытки, какой бы в мыслях он не пытал Валериана, что, будто за упавшим платком, он опустился на четвереньки и умчался стремглав на усадьбу.

V

Внезапно, из последнего строгого корпуса снова выгнанный, приехал опять брат Василий. После бешеных криков Валериан, как и в первый раз, не дал ему денег, не пустил свободно учиться; ненавижу, кричал на весь дом, ненавижу шпака и гелертера! Когда так, иди по хозяйству.

Василий привез много книжек, пока непонятных, но Богдан надеялся, он ему разъяснит. Но тот, хотя попрежнему был рассеянно ласков, еще больше молчал или читал и раздумывал в темном саду. И вообще в большом доме двигалось одно его тело, а сам, настоящий Василий, был совсем в другом месте.

Только два раза увидел его Богдан, какой он есть, настоящий. Первый раз утром, когда Василий, попав для чего-то вдруг на чердак, наткнулся на него, спящего в стружках, а второй раз вечером за вечерним чаем в столовой.

На чердаке рядом с Богданом Василий нашел недопитую бутылку, растолкал спящего брата, спросил, такой строгий:

— Ты это что, давно пьешь? Верно крадешь вино.

— Краду у лакеев, а они у Валериана, — ответил Богдан. Он ни за что не солгал бы Василию. — Да ведь если не пить, днем не высплюсь, не выдержу ночи.

— Так это мне не послышалось... — запнулся Василий, — твой голос один до рассвета, никто не сменяет?

— Никто, — Богдан повернулся заснуть.

— Убить его мало... — вскрикнул Василий и полетел вниз по лестнице к Валериану. Сейчас дом будто дрогнул от бесовской возни.

Когда Богдан кинулся с чердака искать Василия, он увидал его в комнате старшого. На руках, на ногах, из опричнины Валериана, у него нависло по злобному парню. Сам, вытянув бледную шею, он надрывисто кашлял кровью, а Валериан одну за другой бросал щипцами в горячий камин его драгоценности — книги.

Когда сжег последнюю, язвительно поклонился: ваша мудрость, философ, в трубе. А вы свободны, на все четыре, и цыгана берите в пажи. Ни бумаги, ни денег. Воспользуйтесь чахоточным видом, разжалобьте дам, в чем успеха желаю.

— Эй, лакузы! Пустите Спинозу, он уже без заноз.

Василий, шатаясь, зажимая платком кровавые губы, прошел молча в сад, а Валериан не унялся, еще крикнул вдогонку:

— По привычке захочется почитать, так моя библиотека к вашим услугам. Том первый — «О хорошей болезни». Том второй — «Сорвать банк, или нет больше Монако!» Рокамболь.

Вот вечером этого самого дня Василий показал себя еще раз, уж в последний.

Сидели все в сборе, в столовой за чаем, его только не было. Валериан, как удав, поглощал сливки, булки, печенья, потом — принялся коньяк простой елисеевский

в бутылку Мартеля четыре звездочки переливать. У старика только вкус с осязаньем остались, и он жадно, перед тем как выпить, этикетку прощупывал.

— Скажешь старому барину, если заспорит, что это Мартель: вкус, дескать, у вас притупился. Пора, — усмехнулся Валериан, давая бутылку парню, дневному спутнику старика, — у меня, брат, по-военному: пусть сам движется навстречу событиям!

Старик в своем кресле окончательно задремал, открыл рот и посвистывал. И не видать было старого барина, когда-то на английский манер. Просто из хрестоматии тот убогий старик, которого сын не сегодня-завтра загонит за печку, выдаст песий паек.

И вдруг в передней смятенье. Неожиданный кто-то вошел. Казачок прошептал с изумленьем: «Батюшка!» Валериан дернул плечом, однако поднялся навстречу. Отец Макарий приходил только раз в год, и то по приглашению Аполлинарии Львовны, святить куличи.

— Чем обязан любезности...

У Богдана запрыгало сердце. После сцены с Василием лежало оно мертвым камнем, а тут вдруг понял: настало время, отец Макарий пришел. Пришел, наконец, сказать свое слово.

И как привстал на краю стола, где сидел, как привстал с сухарем в руке, так и остался стоять Богдан, поглощая всем существом своим малейшее, что потом совершилось.

— Извиняюсь, премного извиняюсь, — будто смущенный сказал отец Макарий, — потревожил за трапезой. Получил вот от вашего братца записку, а в чем дело, не ведаю.

Батюшка протянул Валериану бумажку.

— «Приходите сейчас, непременно, а то будет поздно», — прочел вслух Валериан, выругался, залился под белою кожею будто красным вином.

Аполлинария Львовна в замешательстве усадила батюшку у самовара, налила ему чаю, завела разговор об индюках, о какой-то траве почечуй.

Батюшка степенно поблагодарил за стакан, высоко его к себе поднял и, придержав рукой бороду, потянул чай неспешным глотком.

«И брат Василий отцу Макарию верит, и не сговаривались, вот радость!» — понял в восторге Богдан. Сердце

его уже ширилось счастьем разбитого одиночества, он уже знал, что возможно ему будет завтра не пить темной наливки, вдруг найти все слова, пойти в комнату к брату Василию, когда тот еще будет спать, и обнять его, и сказать...

Калитка из сада порывисто хлопнула, отцветавшие липы с перепугу сронили свой звездный цвет, и вошел скоро, скоро Василий. Глаза воспаленные, на щеках будто темные розы. Видать: много ночей он не спит. Подошел близко к батюшке, протянул было руки благословиться, но раздумал и сказал вдруг таким хриплым, давно не говорившим с людьми голосом:

— Не скажете ль вы, отец Макарий, здесь громко слова такого, чтобы жить можно было?

Привстал в ответ батюшка и за крест свой наперсный схватился.

— В четыреевангелии, — говорит, сразу оробел, весь дрожит, — в четыреевангелии всё найдете. Опять-таки жития святых... коликие Христа ради мученический венец принимали.

Василий, угрюмый, как расхохочется:

— За Христа умереть, эка штука! Если мученики всего-навсего умирать знали, христиане они только начерно. Потому что пора, чтобы *жизнь,* слышите все вы, чтобы жизнь наша стала прекрасной! Что смерть...

— Дурак! — гаркнул во всю мочь Валериан, — иди выспись.

Богдан чуть держался, плохо видел глазами, весь слабел от растянутого ожиданием сердца: вот-вот встанет батюшка, вот подымет голову, как на картине Николай-чудотворец, пресекающий палача. Вот скажет свое слово отец Макарий, вот...

Но молчал тихий батюшка, белой рукой теребил крест наперсный.

Подождал некоторое время Василий, скользнул взглядом по свисшей на грудь облысевшей голове отца, по мудреному гребешку в взбитых буклях Аполлинарии Львовны, чуть задержал глаза на замершем, как тигр пред прыжком, Валериане, вспыхнул, хотел было сказать что-то, но тут же раздумал, брезгливо поморщился, будто гадкого паука увидал.

Вот к Богдану шагнул. По привычке волоса рукой

тронул, в глаза глянул жаркими, жаркими взорами, вымолвил:

— Иди за мной следом, мальчик, лучшего на земле не придумаешь, — и пошел вон из комнаты.

Чуть за ним дернулся обеспокоенный батюшка, но, сильней законфузившись, опять вдруг схватился за чай, задрожавшей рукой поднял выше стакан, а другой придержал свою бороду.

— Не посмеешь ты у меня... — с кулаком ринулся Валериан и осекся — не окончил и не дошел.

Опять выглянул из-за двери Василий, белый как мел, глаза неживые, а в руке револьвер. Взмахнул им на Валериана. Нет, не выстрелил. Ухмыльнулся и приставил револьвер к себе.

Щелкнули железные челюсти жирный орех, и следом упал грузный куль отсыревшей муки.

— Лошадь! Доктора, станового! — заорал на весь дом Валериан и, не взглянув за двери, полетел на конюшню.

За ним следом, роняя букли и шпильки, Аполлинария Львовна. Отец вдруг проснулся, заерзал на кресле, с гневом стал объяснять своей свободной рукой: кто там смеет шалить пистолетом...

Священник сразу стал старый, облил себя чаем, и, беспомощный, он хватал то салфетку, чтобы вытереть лужу, то, тряся бородой, обеими руками цеплялся за крест свой наперсный.

И ни слова, ни слова не молвил священник.

Богдан постоял еще чуточку с сухарем, потом взвизгнул, взмахнул руками, на себя сдернул скатерть с коржами, вареньями, сливками, обвернулся в нее с головой, как в смехотворный саван, и, не переставая визжать, полетел гулко на пол.

VI

Валериан окончательно вышел в отставку, и безобразиям его уже не было меры. В Суховское не ездил никто из соседей; последний приятель, тоже бывший гусар, сам имевший Валериановы вкусы, полюбил вдруг стихи и стал звать свой недавний обычай «отжившими грубыми формами». Пробовал всячески утончать Валериана, но тот, слишком пьяный, предпочитал по-отцовски, по-дедовски.

И хотя кругом всколыхнулась вся давняя тина и забастовки, пожары, продажи с публичного торга добивали дворянский уклад, в своем отдаленном от фабрик имении Валериан все еще был царьком. С той только разницей, что за то, где отцы брали силой, он теперь платил деньги.

— Плюю я на твой декаданс, — кричал он, разругавшись с приятелем, — тех же щей, да пожиже влей. По мне — старая гуща вкуснее!

И скупал на деревне подростков, гонял голых на корде по громадной зале, как лошадей, заставлял лизать себе пятки...

Было особенно холодно в эту последнюю зиму. Так было холодно, как в ту ночь, что Богдан еще мальчиком пролежал под бильярдом. Теперь он почти был уж юноша. Старик после смерти Василия скоро умер. Кроме Богдана, никто не шел больше за гробом, и крест поставили не по приказанию Валериана, а потому, что протрезвившийся как-то парень, тиранивший старика, чтобы он не снился ему по ночам, пошел в лес и сработал.

Аполлинария Львовна уехала в эту зиму, а Богдану уже никуда не хотелось. У него будто срезана была вся макушка, и кто-то попеременно лил ему прямо на мозг то ледяную, то кипящую воду. Чувствовал сам, что уж болен глубоко, боялся всего: случайного шороха, собственной тени.

Особенно было холодно в эту последнюю зиму. Усердно топили одну Валерианову комнату, в прочих зуб на зуб не попадал. Богдан спал с собакой, а когда ходил взад-вперед в большой зале в два света, кутался в полосатое жесткое одеяло. После отъезда Аполлинарии Львовны комнаты сделались будто бы больше. Пустые, с расписанными потолками и стенами, они словно глотали Богдана. Под вечер густела в них какая-то мгла, и казалось, копошится в них население. Освещения Валериан не давал, боялся пожаров. Население в комнатах с каждым вечером распложалось все гуще. Богдан многих знал, как прислугу в людской: видел жирные головы с перепонкою на глазах, вязкие руки, слышал хлюпанье, чавканье, лязг цепей нераскаянных грешников, и со всех сторон навязывался дьявол, белый, как Валериан, только

не в рейтузах, а в козьих штанах. Дьявол щелкал большим отточенным ногтем по своей визитной карточке, требовал душу в обмен за пытки нераскаянных грешников.

Богдан упирался, дьявол хлопал в ладоши, в унисон ему лязгало, чавкало население, рвали в клочья, пекли в огне, драли кожу с живых.

Богдан не выдерживал, колол себя чем попало, резал ножичком руку, писал кровью расписку — принимал *«вечную гибель»*.

Зима была особенно холодная в этот раз. Слуг почти не осталось. Огонь потухал, не успев разгореться. Чуть смеркалось. Озверевшие девки подымали шабаш с напившимся Валерианом.

Как-то раз Богдану один на один встретился тихий, ласковый батюшка.

— Терпите, милый, Христос терпел.

Богдан захлебнулся, открыл рот, чтобы набрать больше воздуха, потом вдруг нагнулся, схватил для чего-то полные горсти земли и без злобы, равнодушным обрядом, как батюшка на покойника, в свою очередь бросил их обе на белый подрясник.

Дома особенно сильно кутил в эту ночь, посвящен был Валерианом в самый последний, еще не нужный разврат.

Еще дни кошмаров: ночью оргии, зверские облики, пока солнце — непробудная спячка. Совсем задернула, у самого горла сжимала свою неотклонную петлю судьба: либо вслед за Васильем, либо немедленно — чудесная смерть Валериана, бумага для свободного проживания, поправка у теплых морей, деньги, новая жизнь.

Только чудесно, только *немедленно* должен умереть Валериан. Потом будет поздно. Уже трогает лапами из населенного мрака стариково безумие. Уже раз Богдан сел на корточки и завыл его воем.

И умер Валериан, старший брат.

Как-то ночью Богдан не участвовал уже в привычных теперь развлечениях, забрался на чердак. В огромном ящике с белой сучкой Амишкой, кормившей щенят, просидел до утра и совсем трезвый увидел восход.

Увидел такое чистое, такое бледное небо, что попачкали его, казалось бы, малейшие облака. И они будто поняли, все попрятались, ни одно не смущало лазурной прозрачности.

Снег сверху был девственный, с прочной подмерзшею корочкой, без следов. И бодрящая свежесть рассвета, как легкое вино небесного погреба, полилась без усилия в душу Богдана, когда он открыл слуховое окно.

— Ты слышишь меня, а? Трудно как, слышишь? — сам не зная кого, спросил он. И, набравшись свободного, легкого воздуха, спрыгнул обратно в собачью ночлежку.

И еще, много раз, глядя, как щенки тупают розовой мордой друг в дружку и в мать, он упорно, настойчиво повторял:

— Ты слышишь ли, слышишь?

Еще медлил, еще слушал. Склонял набок голову.

Скреблись близко мыши, щенки взасос сосали разомлевшую мать. Раз, два ударили к ранней. Богдан увидал на девственном белом снегу широкополую шляпу священника, благообразную поступь. На ногах у него были большие калоши, будто черные гробики, и он ими глубоко продавливал нежную корочку чистого снега.

Богдан, что-то вспомнив, вдруг рассмеялся. Потом обдернул свою измызганную, гадкую куртку, провел пятерней по отросшей копне и не оборачиваясь, не колеблясь отправился вниз. Перешагнул через пьяные вповалку тела, через битые стекла стаканов, не глядя взял тихонько из-под головы бесчувственного Валериана подушку, ее положил ему на лицо, легко прыгнул сверху и в бешеной судороге затравленной хищной птицы привинтился, как гайка, к налитому вином разгрузшему телу.

Широко разведя ноги, он зацепился носком сапога за железо кровати, ловкими пальцами подвернул под его же тяжелую спину вялые кисти Валериановых рук, ухватил их там мертвою хваткой. А дышать — не давал.

. . . .

. . . .

Когда отвалился, старший брат ничего не пустил ему в голову. Лежал тихо. Лежал с подушкою вместо лица.

Богдан открыл двери, опять перепрыгнул через обнаженные влежку тела и никем не замеченный пробрался на чердак прямо в ящик к собаке Амишке.

— Мамочка, — сказал ей Богдан, — Амишка — ты мамочка! — и, отодвинув сердитого песика, сам приник к теплой сучке.

VII

Как ни задумался Богдан Суховской, башни Эйфеля он не мог не заметить. Вздрогнул, стал вспоминать ее изображенную на открытках, леденцом отлитую на тортах, заполненную одеколоном. Ему это в сущности ни на что не было нужно, но башня, застывшая в кружевном своем платье, как девица в гостиной, обозначала, что цель его путешествия вот тут, совсем рядом, и от этого Богдану сделалось страшно.

Он вышел из вагона и продолжал путь пешком вдоль заборов предместья, сплошь покрытых рекламами. Бессознательно создавая себе еще и еще проволочки, Богдан улыбался разноцветным, высоко вздернутым панталонам Пьеро, докучному пузырьку одола, который от бесконечных повторений важничал уже будто живой, чуть свернув набок голову.

Но, взглянув невзначай на номер ближайшего дома, Богдан еще отсчитал цифры дальше и вдруг понял, что именно в том, сером многоэтажном окончательно решится его судьба. Он совсем обессилел, сошел далеко с тротуара, сел под огромным, развесистым вязом.

Он умудрился сесть так, чтобы вовсе не видеть Парижа и башни, а одну лишь большую, сине-зеленую землю.

Оттого ли, что всегда перед минутой большого решения человек начинает видеть иначе, или просто потому, что было еще очень рано и тени особенно голубые, — Богдану показалось: твердой черной земли нету вовсе. Одни в неустанном движении разноцветные шарики, то собираются густо вместе, выводят на дымчатом небе деревья, то расползаются белоснежной вуалью, бегут тихим облаком. Все было как-то непрочно, похоже на сон, и, как во сне, сейчас могло свершиться невозможное.

И хотя по всему, что он слышал и читал о человеке, к которому сейчас должен был позвонить, он не мог ожидать от него ничего очень красивого и хорошего, ему так вдруг неудержимо захотелось, чтобы он был необыкновенным, святым человеком, чтобы с первого взгляда можно было стать пред ним на колени, отдать ему свою волю, сказать ему:

— Maître, oh maître...[1]

Богдан выговорил последнюю фразу по-французски неожиданно громко, услыхал свой голос, увидел себя смешным недорослем в стареньком русском пиджачке, рассмеялся и, встряхнув слишком черными волосами, пошел обратно к многоэтажному дому.

Трамваи то и дело выгружали разноцветные зонтики и людей из предместья, а лошади, кивая длинными мордами, в широкополых шляпах, смешно походили на каких-то жеманных старых дев.

— Писатель Алкмеон у себя? — позвонил Богдан.

— Алкмеон — это для печати, а дома всегда Дюмениль. А впрочем, говорят и Дюмениль-Алкмеон, — затверещал толстый консьерж. — Только сейчас нету, а вечером он едет в Лондон.

— Но я бог весть откуда приехал и не могу его не увидеть... — растерянно сказал Богдан.

— Та-та-та... — засыпал дробью консьерж, — если вы молодой русский, так для вас у меня вот тут карточка. Он приказал: если русский захочет, пусть меня вызовет из коллежа. Вы знаете: сегодня акт у так называемых «добрых отцов». Я сказал бы: у толстых отцов. Верно уже испекли сотню свежих католиков.

Богдан схватил большую крепкую карточку, где жирным шрифтом стояло: «Алкмеон-Дюмениль», а в углу маленький знак с странной буквой. Спросил адрес коллежа, помчался туда в фиакре.

«Что это он, на расстоянии видит, знал, что я к нему еду?» — думал он, очарованный трепетом старых испепеленных надежд. Но тут же, непрошенный, сморщился милой гримасой припудренный носик знакомой пани Пухальской: «Остановитесь, молодой человек, в Терминюсе, мой муж повсегда там стоял».

Подозрительно вспомнил, что книгу Алкмеона о священном числе, побудившую его ехать немедля в Париж, дала ему она, маленькая пани, правда еще не разрезанную тонкую книжку, зажатую невзначай между двух захватанных томов Пьера Лоти.

Богдан недоумевал. Впрочем, особенно ломать голову не хотелось. После того как он выехал из Суховского, он

---

[1] Учитель, о учитель *(франц.)*.

стал жить по-новому, не думая вовсе, ожидая, что принесет каждый день.

После смерти Валериана Суховское перешло дальним родственникам. Они на радостях уделили Богдану несколько тысяч, водворили его в ближайшем городе, где жила уже совсем ветхая Аполлинария Львовна. Она обрадовалась Богдану, и зажили вместе, в чистых, прибранных комнатах.

Настойчиво доискиваться о причинах Валериановой смерти было некому. Начиная от обиженных девок до управляющего и соседей все его ненавидели. Земский врач без задержки установил смерть от удара, с тем и похоронили...

Впрочем, кое-кто поговаривал. Но и те одобрительно, будто пособники.

Богдан долго метался, чтобы стать как все люди: вернуть телу крепость, привести распаленный кошмарами мозг к ясной трезвости мысли, хотел серьезно учиться... Все было напрасно, все было уж поздно.

Как насильно развернутый ранний бутон, сохраняя обманную форму цветка, лишь сорван — уж мертвый, так и Богдан в двадцать два года безнадежно сознал, наконец, что устроиться на земле как всем людям ему невозможно.

Он все чаще и чаще припоминал приглашение Василия идти за ним следом и сделал бы это без больших сожалений, не попадись ему в руки одна маленькая книжка французского писателя, взявшего себе псевдоним «пифагорейца Алкмеона». О том, что было написано в этой книжке, Богдан мечтал неустанно последних два месяца, и кончилось тем, что он уже не мог не поехать в Париж, чтобы проверить, верно иль нет понял он, что сулил между строк Алкмеон, говоря о «священном числе».

Коллеж «добрых отцов» оказался ослепительно белым зданием, окруженным ореховой рощей. Лилово-матовым серебром намечались большие стволы, и тени удушливо пахнущих листьев дрожали на прибранных желтых дорожках голубыми кружками.

— Вызвать вам Дюмениля сейчас неудобно, к тому же акт скоро кончится, — вы, быть может, войдете? — очень вежливый, поклонился монах, открыл тихо двери, указал пустой стул.

Впереди были отцы, матери и знакомые конфирмованных мальчиков, и за прическами, морем кружева, кисеи проповедник был виден всего вполовину.

Он говорил уже, видно, давно и заканчивал обнаженно — заученным тоном об искушениях в вере, которые ждут подростков в столице порока — dans cette Babylone.[1] Так назвал он Париж.

Цветы на великолепных прическах всколыхнулись, как в поле от ветра, припомаженные головы нарядных мужчин пригнулись к маленьким розовым, скрытым в буклях девичьим ушам, и мгновение — сдержанный смех карнавала спугнул чопорность пышной мессы.

А проповедник, чуть сжимая изящной рукой концы своей длинной веревки, неизменно ронял рядом с «папой» — «Иисус». И Богдану чудилось: сидят они где-то рядом, в одинаковых драгоценных тиарах, оба подняв грозный жезл вечной карой ослушникам.

— Каждый бессилен знать истину. За всех ее ведает только она, непогрешимая церковь. Кто мыслит иначе — тот с диаволом.

Окончив, доминиканец склонился перед человеком в лиловой сутане, с большой бородой — миссионером, приехавшим из Канады. За ним следом гуськом двинулись мальчики в коротеньких куртках с белыми шарфами и трогательной детской шеей в отложном воротничке.

На коленях, положив руку на библию, один за другим повторил: «Je renonce au diable, a ses oeuvres et faits...»[2] — а отец миссионер полной выхоленной рукой, чуть касаясь щеки ребенка, возглашал с красивым рыданием в голосе: «Reçois le soufflet du monde, mon fils!»[3]

Радостно, с чуть покрасневшей щекой, пошли разыскивать своих родителей мальчики, а монахи, вдруг ставшие милыми светскими господами, смешались с порочными вавилонянами и, оживленно болтая, направились к выходу.

Задевали Богдана широкими рукавами душистые женщины, ласково припадала к щеке его, тихой змеей проползала веревка монаха, он не шевелился, он ждал.

---

[1] В этом Вавилоне *(франц.)*.
[2] Отрекаюсь от сатаны и всех его деяний *(франц.)*.
[3] Получай пощечину мира, мой сын *(франц.)*.

Опять, как недавно под деревом, вблизи башни Эйфеля, непрошенным чудом поманил образ святого прекрасного старца, разбитый в детстве, но, как первая большая любовь, неизгладимо отпечатанный в тайниках сердца, и губы его прошептали:

— Maître, oh maître...

— Le mage noir! [1] — метнулись в пугливую кучу совсем старые дамы с багровым румянцем на обвислых щеках, как у иного листа поздней осенью.

Богдан встрепенулся, подошел вплотную к стене. Смотрел пристально в залу, дрожал от волнения. Все ждал.

Надвигавшийся на него плотный большой человек заслонил своей тяжестью прочих.

— Это вы, молодой русский, хотели видеть меня?

Люди с шепотом расступились. Господин взял под руку Богдана и с веселой усмешкой сказал:

— Разочарование — неизбежный удел мечтательной головы. Ну, не так ли?

— Вы написали о священном числе? — растерявшись спросил Богдан.

— Разумеется, я, — усмехнулся Алкмеон, — что же дальше?

Лицо его, простоватое, с неумным чувственным ртом, неприятно напомнило Богдану знакомого хирурга, который говаривал: «Отдавали б преступников мне для вивисекции».

— Я так много думал о вас, — почти с досадой сказал Богдан.

— И сильно огорчен, милый мальчик, что я не хожу в белой тоге, а просто-напросто плотный боном! — добродушно смеялся писатель и, не пуская руки Богдана, повел его за собою к фиакру.

Они шли по террасе, где за нарядными белыми столиками любезно суетились монахи, угощали гостей. Молодой проповедник протягивал чашку кокетливой даме и, не потушив блеска играющих глаз, перевел их на привлекшую всеобщее внимание пару: еще безусого тонкого юношу под руку с отлученным от церкви писателем Дюмениль-Алкмеоном.

---

[1] Черный маг! *(франц.)*.

И вдруг хохот, шум, извиненья... Проповедник не заметил, накренив чашку в сторону, расплескал шоколад. Кинулись мальчики чистить пятна на белой сутане, жеманились мило дамы, монах играл поясом и глазами.

— Вот она, эта жизнь из кусочков, бессвязно лепится анекдот к анекдоту, случайны начала, неведом конец, утомительна суматоха. Не правда ли, друг мой? — брезгливо проронил Алкмеон.

Богдан старался как можно меньше занять места в фиакре и, затаив дыхание, украдкой наблюдал Алкмеона.

Крупные черты отяжелевшего уже лица могли принадлежать обыкновенному рантье. И почти таинственно было, как могла грубоватая рука, в обтянутой желтой перчатке, как могла эта самая, обмакнув перо в чернила, писать такие удивительно важные вещи.

— Что вам нравится в моих книгах? — спросил Алкмеон.

— Последняя — о священном числе.

— О священном числе... — еще раз повторил Богдан, и, как имя любимой воскрешает все, что связано с именем, Богдан перестал сразу видеть и пеструю улицу, перестал видеть простоватое лицо Алкмеона с неумным чувственным ртом. Охваченный вдруг тем восторгом, когда, бывало, у себя на полу, в последнем прибежище, как верующий прижимает к сердцу распятие, прижимал к воспаленным губам французское издание маленькой книжки, он сказал мудрому старцу своей старой грезы: — Я молод, здоров, я свободен, и так вышло, что ничто на земле, кроме вашего знания, для меня не имеет соблазна.

— Посмотрите, вот жирные гуси, — спокойно прервал Алкмеон, показал на вагончики-клетки, из которых тупо кивали красноносые птицы. — Ну, а в России как, очень разводят?

Богдан, не отвечая, вдвинулся в самый угол, а Алкмеон, вынув книжку, себе в ней что-то отметил, положил руку на руку Богдана, заговорил неожиданно гибким чарующим голосом:

— Милый мальчик, когда вам по сердцу священные числа, то возможно ли тайно желать лишь того, что желает галерка?! Испытаний огнем, водою и воздухом, и непременно как в пирамидах. И неужто для вас,

единственного, которого ждал, мне еще опять надевать постылую белую тогу, в темноте ослеплять пентаграммой?

— Вы ждали меня? — насторожился Богдан.

— О, конечно, я ждал. Ждал того, кто придет ко мне после «Книги о числах». Я нарочно написал ее сухим, жестким слогом, без бутафории, в надежде, чтоб пришел ко мне тот, кто мне нужен. А у вас нежданно такой темперамент!

— Темперамент, — раздражился Богдан, вспомнив, как он постился и спал на досках из уважения к чистоте сильной мысли и как смешно с этим самым словом приставала Аполлинария Львовна, убеждая жениться. Он еще и еще раздражался, где-то втайне сильней оскорбленный, чем мог ожидать, что сотканный его желанием образ разбивается об определенные несложные формы, некрасиво посаженную голову, какой-то несуразный брелок, заскочивший в петличку жилета. Только в звуке голоса, молодого и очень красивого, была сила и обаяние, и, отвернувшись в сторону, Богдан слушал голос.

— Страстность необходимо в себе развивать, а не убивать, — продолжал Алкмеон. — Как кровь — жизнь организма, так темперамент — кровь духа. Одни невежды искали аскезы. Учителя мудрости, совсем напротив, не уменьшали силы бьющей струи, а, лишь задержав в одном месте, отводили в другое...

Фиакр остановился перед знакомым Богдану подъездом. Дверь открыл недавний болтливый консьерж, теперь почтительно молчаливый.

На пороге Алкмеон остановился и, улыбаясь, с понимающей иронией сказал:

— Милый друг, вы свободны войти. Милый друг, вы свободны уйти не входя. Хотя, как мне сдается, для свидания со мной вы сделали путь не из малых. Но автор книги, вас так поразившей, быть может, оказался для вас слишком толст?

Алкмеон чуть насмешливо поклонился и, не оборачиваясь, пошел вверх по лестнице.

Богдан Суховской, ко всему безразличный, поднялся за ним следом. У него про себя было твердо уже решено, если не получит чего ждал от писателя, не возвращаясь в Россию, последовать вслед за Василием, где-нибудь здесь, почему-то под башнею Эйфеля.

VIII

Обстановки в комнате Алкмеона почти не было вовсе. Вдоль стен лишь тянулись шкафы с книгами в старых, изъеденных переплетах, между шкафами копии с Сальватора Розы, обе темные, неудачные, обе с белым конем в пылу черной битвы. Под картинами — полка разнородных предметов: большие пустые флаконы, причудливой формы лампы, веера, абажуры, разрезные ножи.

Богдану окончательно сделалось стыдно, как мог он опять желать тайно чуда, как мог еще недавно чуть-чуть не молиться. Вспомнил снова знакомую пани, давшую книжку о числах, и чуть дерзко спросил:

— Вы оставили у консьержа визитную карточку, как могли вы узнать, что я еду, у вас есть знакомые в моем городе?

— Стоящий в центре видит все точки круга, — уклончиво сказал Алкмеон и, подойдя совсем близко к Богдану, не спуская с него острых зрачков, заговорил деловым четким тоном: — Хотя, милый друг, я с своей стороны сделал все, чтобы вам не понравиться, больше того, мне удалось даже вас рассердить, вы за мной все ж вошли. Мне сдается, вы не слишком брезгливы к руке, протянувшейся вам навстречу. Это значит, иными словами: вам терять больше нечего, в вашем прошлом есть нечто, сделавшее вам, может быть, невозможным возврат к жизни многих.

— Может быть, вы угадали.

— Очень рад, — подхватил Алкмеон. — Ну, так вот, что бы ни было: превысивший неокрепшую волю подвиг или, быть может, акт высшей гордости, преступление? Так бывает, мой мальчик, не правда ли, так бывает, что, сознательно совершив преступление, убийство насильника например, угрызений совести человек никогда не почувствует, но его схватит тоска, понимаете, цепенящей такой, мертвой лапой.

Алкмеон скрюченными пальцами хищной птицы сделал жест в воздухе, будто что-то поймал на лету, а Богдан, съежившись на диване, ответил:

— Я конфиденций вам делать не стану.

— Так я и думал о вас, — не удивился ничуть Алкмеон. — Конфиденций не надо. Но вот пока я здесь буду ходить, вы о своем анекдоте еще раз подумайте. Быть

может, и без моей помощи обойдетесь, моя помощь — последнее...

Сверхъестественного, разумеется, милый друг, нет ничего. Все — действие известных законов. Но пойми: когда будешь расплавлен и перелит в совсем новую форму, твоя старая, не скрою, мой друг, твоя старая, несомненно, уже распадется.

Видите ли, наука моя окончательно выведет вас вон из жизни, и назад будет трудно, мой мальчик! Все связи, привычки и чувства, все, что зовут люди «действительность» и что вяжет здесь всех по рукам, по ногам, все это будет оборвано.

И если захочешь вернуться и жить опять как все люди, — тебя ждет безумие.

Ведь ребенком, после того как впервые понял тайну рождения, уже как ни старался, не правда ли, ты не мог вновь поверить милой сказке об аисте? Так со всяким познанием, мой милый. Если окажешься недовольным своей новой квартирой, вернуться на старую уже будет некуда. Вы замечаете, мальчик, — развеселился вдруг Алкмеон, — у меня ну точь-в-точь в пирамидах; жаждущий трижды стучится, а ему тайный голос: «Обратно»! Ну, вы думайте, а я буду ходить.

Богдан машинально обвел взором опять кабинет, подивился вкусу художника к резким пятнам и однообразию замысла, посчитал, сколько труб выдвигалось под окнами, опустил голову на руку и задумался. Скорее не думал, а как кто-то совсем посторонний, будто в кинематографе, он просматривал снова все дни своей жизни.

Видел раннее детство: как, замечтавшись в своих сладких грезах кочевника, не понимал ни обид, ни холодного сиротства, а Валериан, случайный прохожий, неизвестно зачем потоптал сапожищами невинные игры. Неизвестно зачем задушила судьба доброго, умного брата Василия. Неизвестно зачем все молчал тихий батюшка... не заступился ни за кого: ни за отца, ни за мальчиков. Самое главное: божий служитель — не заступился за бога.

«Мог ли я не убить Валериана? — серьезно спросил себя Богдан. — Или лучше: какой должен быть человек, чтобы он на моем месте не убил Валериана?» И, подумав, решил, что убил бы всякий и потому именно, если он был человек.

— Ну, не правда ли, милый мальчик, — подсел Алкмеон совсем близко к Богдану, — не правда ли, как бы сознательно, как бы заслуженно, passez moi le mot,[1] ни убил кто-нибудь человека, не заметили вы уже: все события дальнейшей жизни становятся совсем серыми, будто кто их обвеял придорожною пылью?

Ах, как ярка, как богата ощущением минута отнятия жизни! Понимаете, в чем тут дело: сильнее, свободнее распорядиться по своей воле человеку здесь, на земле, уже невозможно. Да, да, милый мальчик, уже невозможно.

А хватившему раз полной грудью средний звук — жалкий шепот. Скучно, страшно скучно, не правда ли?

Но на месте стоять невозможно, таков закон. И не угодно ль дилемму: либо к богу направо, либо к так называемому черту налево.

Да, да, милый мальчик, после хорошего анекдота середина навсегда выпадает.

— Да, она выпадает, — согласился Богдан. Встал. Решительно подошел к Алкмеону и твердо сказал: — Я хорошо просмотрел. Дальше вас мне уж некуда. Переводите на другую планету!

Он еще хотел что-то сказать и не вымолвил, сел опять на диван, вдруг заплакал.

Никогда, даже в самую страшную муку, не грозил он кому-то незримому кулаком, не кричал ему грозно: за что? Царственность крови свободных кочевников налагала молчанье без стонов. Но крушение последней бессознательной грезы, грубоватый Алкмеон вместо древнего мудрого старца, — этого он почему-то не снес. К тому же был сильно голоден и утомлен.

Алкмеон рассмеялся, потрепал по плечу Богдана, сказал тоном славного парня:

— Ну, милый мальчик, мы оставим истерику женщинам. Поговорим лучше попросту, познакомимся. Ты спроси меня о чем хочешь.

Богдан, чтобы оправиться, спросил скорей первое, что пришло ему в голову:

— Зачем вы, отлученный от церкви, посетили доминиканский коллеж?

— Там есть умные люди. К тому же запомни пра-

---

[1] Простите мне это выражение *(франц.)*.

вило: чем упорнее сопротивление, тем большую оно представляет опору. В начале времен, как известно, причиной успеха был не кто иной, как Соперник.

Алкмеон говорил просто, держа руку Богдана, как хороший знакомый. И утомленный, поддаваясь невольному очарованию его голоса, Богдан отделывался от первого неприятного впечатления. Неуловимая гибкость и молодость звука создавала какое-то ощущение тепла. И вот уже стало казаться Богдану: он просидел с Алкмеоном целый вечер зимой, где-то в тихом уголке у самовара, в очень длинной душевной беседе.

Алкмеон не выпускал горячей руки Богдана из своих крупных спокойных рук и говорил, такой уравновешенный, умный:

— Разве не замечал, милый друг, так называемое настроение воспринимают не разумом, потому что ведь часто оно нелогично, а каким-то особенным органом, пока не имеющим своего имени? Главное, убедиться, что орган этот у нас существует, и разработать его в совершенстве.

Весь мир не что иное, мой друг, как вихрь настроений, и все дело лишь в том: они заберут и умчат вас в свой бег, или вы сгруппируете их вокруг себя и станете центром воли.

Действующие в мире законы — неумолимые жернова, и если ты не станешь мельником, милый мальчик, — будешь смолот зерном. Да, будешь смолот зерном!

Алкмеон закурил папиросу.

Ничего, совсем ничего особенного не было в том, как он чиркнул спичкой и опять вдруг похоже на неприятного хирурга стал пускать дым, поспешными, мелкими кольцами, как повернулся к Богдану, как с расстановкой произнес:

— Et bien, mon garçon? [1]

Но Богдану вдруг сделалось холодно, и, как в детстве, насмотревшись на Страшный суд, показалось, что стоит он перед большими весами своей собственной жизни и сейчас надлежит ему кинуть последнюю тяжесть, после чего одна чаша наверно опустится книзу.

И, не желая раздумывать, давно ненавидя свою молодую, безвозвратно искалеченную жизнь, свободный хотеть

---

[1] Ну что, мой мальчик? *(франц.)*.

что хотел, Богдан Суховской и не глянул, куда положил свой решающий выбор.

— Пока жив, не хочу быть послушным зерном. Лучше быть мельником!

— Bon! — докурил Алкмеон и не спеша встал, бросил в печку окурок. — Bon! Значит, можем начать испытания.

IX

Алкмеон взял с полки много разнородных предметов, выложил перед Богданом, а ему указал карандаш и бумагу.

— Вспомни, мальчик, наставления Флобера о стиле: ищите определений характера в одном слове. Художник — всегда бессознательный маг. И я скажу: научись только видеть последнюю сущность в окружающем тебя мире от великих законов до последних пустячных вещей, — et te voilà maître du monde! [1] Тот метод аналогий, которым я тебя поведу, учит раньше всего постигать пустяки. Впрочем, нет пустяков: солнце в небе, огонь в папиросе, подвиг героя, внезапный пожар — все одной, той же самой природы горенья. Той же самой.

Алкмеон начал снова безмолвно ходить от стены до стены, а Богдан с удивлением отметил, что впечатление от грузной фигуры и вульгарно посаженной головы, несмотря на совершенное отсутствие внешнего сходства, все ближе и ближе подводит к впечатлениям, которых он себе жаждет от воображаемого старца-учителя. Словно Алкмеон настоящий, выманивая из души его тайну мечтаний, насыщал сам себя этой тайной, обвивался желанием Богдана.

И хотя он попрежнему четко видел почти франтоватый серый костюм Алкмеона, неприятно блестящие прямые волосы, ощущение было — будто прекрасный философ старой греческой школы сходил со ступеней храма.

Носитель тончайшего из наслаждений — могучей творческой мысли, он был уже на площади, он раздавал щедро дары.

— Для мечтателя, постучавшего в дверь пирамиды, то, что я сейчас предложу, до обиды простодушные

---

[1] И вот ты властитель мира! *(франц.)*.

вещи, — улыбаясь, показал Алкмеон лампы, чашечки, веера, — но научись только, мальчик, прочитать их как следует, и получишь всю древнюю мудрость над вещью. Зацветет в твоей руке жезл Аарона, и в движении бровей ляжет власть Моисея над упорной толпой. Нет чудес, кроме чуда познания! Все, кто не мельник, все зерна... и люди как вещи. Впрочем, об этом гораздо позднее. А сейчас, милый друг, постарайтесь найти мне характер предмета, отделите все лишнее, в упрощеннейшем начертании уловите всю сущность, зарисуйте ее кругом, линией, как придется.

Алкмеон приложил на минуту Богдану обе руки на плечи, к глазам и к ушам, потом как бы с усилием от него оторвался и стал снова ходить взад-вперед.

Богдан с холодком наслаждения острой, внимательной мысли принялся охватывать, словно вбирать в себя каждый предмет. На минуту забывая дышать, бессознательно чутким прозрением почувствовав основное начертание, делал усилие, как будто сжимал свое сердце. С быстро вытолкнутой кровью отбрасывал лишнее, все, кроме одной первоначальной идеи — души предмета, и, поспешно водя карандашом, ни на что не глядя, он зарисовывал.

Странные получились у него начертания, порой вовсе ни на что не похожие, и вообще Богдан мало понял свою работу, он трепетно слушал одну необычно крылатую легкость, охватившую его существо. Казалось, пробудились и вновь заработали совсем новые органы. Смотрели глаза, но не эти, и всю радость напряжения воли, усилий победы принимало сознание, тончайшее, не мозговое.

Алкмеон, заметно довольный, разглядывал лист.

— Очень хорошо, даже лучше, чем я ожидал... ты угадал везде творческий принцип, мой мальчик, отличная у тебя голова! Только запомни скорей и надолго состояние, в котором ты был, когда делал работу. Когда будешь позднее самостоятельно в него приходить, да послужит тебе пережитое, как певцу камертон.

— Как? — насторожился Богдан, — разве сейчас я не сам это сделал?

— Дитя, — снисходительно улыбнулся Алкмеон, — всякое растение, конечно, растет своей силой, но только при солнечном свете цветок обращается в плод.

И опять Алкмеон стал безмолвно ходить, как бы вдруг позабыв о Богдане. В последний раз осветило белого коня Сальватора Розы, вспыхнуло ярко и успокоилось солнце, и в тревожных сумерках стало томительно, как в пустом зале театра, когда вдруг заметно убожество декораций.

Но вот Алкмеон заговорил, и в игре бенгальских огней раздвинулись горизонты.

— Слушай меня, ученик: слова все для слабых. Слова все для тех, что не умеют взойти на голубую вершину и вместо орлов имеют дело с гусями. Для сильного духом не надо слова, для сильного один только опыт. Я не обманул тебя в своей книге, я обучу тебя всему, на что намекал между строк. Всему, что ты угадал и чего не додумал. Но условие каждой науки всегда одно и то же: покорность учителю. Подчинение собственной воли. Оно будет временно, пока не осилишь предмет изучения, пока сам не станешь учителем. Но условие неизбежно; дай сюда руку и слушай. — И медленно, ударяя на каждое слово, как диктуют безграмотным, Алкмеон произнес: — Подобно тому, как ты делал для меня начертание предметов, к моему приезду ты зарисуешь всех выдающихся людей твоего города. Указания я пришлю. Будет сделано? — И, не дожидаясь ответа, поцеловал крепко в губы Богдана. — А сейчас пора ехать мне в Лондон, немного терпения, мальчик, я скоро приеду в Россию, и все, чего хочешь, ты получишь в избытке.

Уже безмолвные, они сошли с лестницы, пожали друг другу руки, разъехались.

X

Богдану, чем дальше шло время по приезде в Россию, тем стыдней было вспомнить странную власть над собой Алкмеона. И облегчающего разрыв шага он и ждал и боялся. Боялся письма от него, как он думал, с прямыми, властными буквами в повелительных наклонениях. Наконец пришло давно жданное: конверт с очень странным, разграфленным листом, и адрес написан машиной. Лишенное интимности почерка, безликое, оно как бы возвращало Богдану свободу, отстраняя досадную близость самого Алкмеона. Но при первом поверхностном взгляде

странные знаки таблицы показались лишенными смысла, даже почуялась в них будто насмешка. Но вот, возвращаясь к ним постоянно, Богдан все глубже, все упорней разгадывал скрытый их смысл и, когда разгадал, прошел в комнату Аполлинарии Львовны и решительно ей сказал:

— Я прошу никого не пускать, желаю учиться. И для всех я уехал, вы поняли?

— Ах, это дело, Богдан, вот дело! — обрадовалась Аполлинария Львовна, — университет, даст бог, окончишь, станешь человеком, будет чем жену обеспечить.

— Я жену, жена родит сына, сын снова заведет жену... качала-качала, начинай с начала! — расхохотался Богдан. — Слуга покорный: не только от людей — от вещей я желаю свободы...

И он выбросил из своей комнаты все предметы, большие и малые, кроме книжек и зеркала. В завершение, как старую бабушку в кресле, выкатил большую кровать с горой подушек, расшаркался перед Аполлинарией Львовной:

— Отныне я сплю на полу, смотрюсь в зеркало, из себя творю новый мир. А вы будьте здоровы и ко мне не пускайте гостей.

— Бог мой, — плакала Аполлинария Львовна, — наверное, это все то, что зовут темпераментом, ну что я понимаю в мужчине, я, девушка...

А Богдан посадил себя на хлеб и на молоко, прекратил общение с жизнью текущей и, смакуя огромную радость после долгих обманов открывшего клад, весь отдался работе.

На несколько групп разделена была вся вселенная лиловыми чернилами графленой таблицы. У каждой группы своя планета, свой цвет, и животное, и растение, и минерал.

Бесконечность, жизнь в днях недели и простые безмолвные вещи — все вмещалось в этом мудром делении. В заголовке начертано было: тайна каждого в цифре таблицы, ничего вне ее.

Все устойчивей воспринимал Богдан, что это так, это правда. Постигал, как в последнем подсчете, отбросив игру наслоений, в простом начертании зверя, растения и минерала можно выразить сущность каждого человека.

И уже прозревал он всю тайну неназываемой власти,

уже чуял, что если сумеет до последнего обнажить все, что создано, сумеет в свои руки взять нервы жизни, угадать начертания, он, назвав, подчинит своей воле угаданное.

«Ты получишь всю древнюю власть над вещами, в мановении бровей твоих ляжет тайная мощь Моисея...»

Не солгал Алкмеон. То, о чем намекал в своей книге о числах, стал давать из рук в руки преемнику.

Уже не мечтая о философе древней школы, позабыв все молитвы, Богдан обожал простой лист типографской бумаги с лиловыми странными знаками. Беззастенчиво срывая покровы, дивная таблица нецеломудренно обнажала механизм мироздания и была в то же время той желанной планетой, где разбивший свой челн в старом мире мог начать совсем новую жизнь.

Богдану по началу было совестно делать свои упражнения над живыми людьми, будто читать тихонько заветные письма. Но игра увлекала, да и жить было нечем после всего, всего пережитого. И вот понемногу он научился вызывать в своей памяти всех, кого знал: артистов, художников и ученых и просто совсем неприметных людей. Как хирург, безразличный к лежащему перед ним мертвому телу, равнодушен к интимным оттенкам лица, режет скальпелем прямо по черточкам, кому-либо особенно дорогим, недрогнувшей рукой пробирается сквозь разнообразие переплетшихся мускулов, обнажает твердую белую кость — незримую схему видимой формы, так и Богдан Суховской брал человека прямо с улицы, как он был, в котелке, в модном платье и с тросточкой, или художника отводил от холста в запачканной синей блузе, кому как привычнее, сбрасывал одежды, пытливо осматривал тело. И по одному только, как были пригнаны члены (а он в своей новой, углубляющей зоркости видел), уже по тому, как торчали лопатки, какой был цвет кожи, по грубому или тонкому скрепу колен угадывал многое.

Видел, какие животные силы руководят волей каждого, какого оттенка должны быть поэтому его вкусы и склонности. И он отбрасывал эти вкусы и склонности, трепетавшие случайной изменчивой жизнью, миновал и таланты, способности, дарования, большей частью все те же случайности, как случайность шестой, неизвестно к чему вдруг выросший палец.

И перед Богданом скоро, словно в давнем рисунке предка, завалявшемся на чердаке, выцветшей акварелью, проступало основное содержание людей. Две-три черты, большей частью ничтожные. Лишь у самых немногих сложность работы души и мышления распускалась невиданным цветом и требовала новых, не данных таблицею знаков.

В те редкие дни, когда Богдан выходил из дому, он тщательно следил за собой, чтобы не быть очень странным. Энергии, обращенной на работу внутри себя, не хватало на внешнюю жизнь, и впечатления, как волны о камень, доходили в распыленной, чуть осязаемой силе.

Богдан порой не был в силах сдержать, будто влюбленный или пьяница, раздобывший себе на похмелье, расслабляющей радости и все улыбался.

Нарочно, чтобы придать остроту ощущениям своей отделившейся жизни, и еще для проверки, не покажется ли она ему призрачной, он выискивал места, насыщенные испарением вседневности.

И там, где с одной стороны тротуара, в полутемных подвалах, казалось, прачки стерегли облака, украденные ими с неба, такой молочно-белый, густой там был пар, что когда сверх вертушки он прорывался на улицу, мальчишки ловили его, захлопнув ладонями, как мыльную пену, — там подолгу стоял одиноко Богдан. В портерную напротив, обнявшись и в одиночку, устремлялись в оборванных пиджаках уже пьяные люди. На углу полицейский очень крупно ругал то куму, то собаку. Кума стояла перед ним на мостовой, как забытая археологом каменная баба, а собака не по чину кусала прохожих.

В этом месте отрезвляющих буден Богдан любил вдруг подставить под испуганный свет фонаря неразлучный графленый листок Алкмеона.

— Эй, там! Не место читать, что читаешь? — обрывал полицейский.

— Алгебру! — переворачивал листик Богдан, радостный, что у людей жизнь идет, что у них все на месте, по-старому, по-обычному, а он вот, Богдан Суховской, двадцати двух лет, без высшего образования и особых примет, потихоньку строит ковы земле, прощается со старой постылой обманщицей. «Сейчас на аршин от нее, а там все выше и выше, а за собой протащу и других, осядем

где-нибудь новой туманностью с новым законом, уж мы распорядимся».

— Мы распорядимся! — заносчиво шептал, как безумный. — Обставим старуху, пусть она с своей мертвой шелухой, с трусливыми, жадными, лживыми, пусть пустая несется к созвездию Геркулеса. Нет границы познанию смелых!

И Богдан неустанно, без отдыха, без малейшего развлечения отдавался работе: как жуков, разбирал людей города, обобщал их характеры, пропускал сквозь тончайшее сито анализа, находил драгоценное последнее слово, его пригвождал своим острым вниманием под один из знаков лиловой таблицы. На улице, когда встречал этих самых людей, неотступно производил все опять ту же самую кружевную работу, проверял на живом свою память.

Зная инстинктом, что меньше всего солжет каждый там, где он не настороже, а, как зверь, совсем просто и естественно сделает свойственный ему жест, — Богдан все глупее, все неожиданнее начинал разговоры. И пока не задумываясь человек отвечал ему первое, что пришло ему в голову, независимо от того, кто он был — художник, ученый или поэт, Богдан, не глядя в лицо, настораживая только чуткость духовного уха, ловил звуки и сейчас их учитывал: расчет, трусость, чужое лицо. И проверка почти ничего не прибавляла к уже раньше угаданному.

За день до прибытия Алкмеона весь город, прикрепленный кнопками к обоям стены, висел у Богдана.

Люди все приведены были к семи знакам планет, к характерным зверям, к минералам, к растениям.

Известие о прибытии Алкмеона опять печатными буквами телеграммы принесла Аполлинария Львовна.

— Богдан, отопри, я по долгу родственницы, я как мать...

— Теперь можно, теперь сколько угодно, пожалуйста! — ответил весело Богдан.

— Вот телеграмма из Франции, может, приглашение приехать? — протянула она свою цыплячью лапку с бесконечными кольцами. — Развлекись, я с удовольствием дам тебе из своих сбережений, — Аполлинария Львовна положила на стол сторублевку. — Поезжай христа ради куда только хочешь, а то я ночи не сплю, так боюсь: вдруг убьешь себя, как убил брат Василий! Знакомые, и то

говорят: «Подавал надежды, а теперь такой странный». Ты, Богдан, у всех намедни одно и то же спросил и так глупо, извини уж меня: кто чем себе зубы чистит? Есть которые разобиделись, ты уж лучше проездись...

— Хотите я ко всем побегу извиняться? — засмеялся Богдан. — А уехать — уеду, не беспокойтесь, и так уеду, что с собаками не разыщите. Вовсе прочь с вашей глупой планеты.

— Ах, Богдан, в память старинной дружбы и моих забот, не убивай себя, — сложила руки Аполлинария Львовна.

— Убивать себя скоро станет бездарностью.

XI

С пяти часов утра Богдан уже был на платформе. Он неотступно глядел на убегавшие за деревья черные полосы рельс, хотел взорами скорей выманить поезд. С тем самым чувством, как в детстве боялся в театре пропустить поднятие занавеса, он теперь с все растущим волнением ждал минуты, когда вслед за сырыми хлопьями разорванного пара, тяжело охая, вкатится паровоз.

Сейчас чопорные, с французским говором, будут здороваться лица первого класса, и среди них одинокий, спешно оглядывая чуждый город, укрыв тайну под обывательской внешностью, появится Алкмеон-Дюмениль.

На минуту устав от напряжения, Богдан перевел глаза на встречающих и уперся в огромную фигуру Шерваля, богача фабриканта из Франции. Немудрящий пожилой человек так уж сильно поспел обрусеть, что хотя путал в речи подсвечник с священником, но вышитыми полотенцами и изделием кустарей украшал себе всю квартиру.

Рядом с Шервалем целым пожаром настурций на огромнейшей шляпе ослепляла глаза всем известная в городе пани Пухальская, та самая, что ему дала первая Алкмеонову книгу.

Пани держала в руке букет белых цветов, а Шерваль — одну пышную лилию, как архангел на образе благовещения. Эти цветы чем-то интимным обоих роднили.

Оба, радостно возбужденные, также высматривали паровоз. Богдан заподозрил, что они ждут приезда какой-то

устроенной ими свадьбы, и не желая здороваться, отошел ближе к рельсам.

Паровоз, как начальник, уверенный, что перед ним путь расчищен, рассеянно вкатывался под железную крышу платформы.

Шумное население третьего класса уже выперло в узкие двери свои цветные узлы. Из первого класса господин в бобрах выводил сановного дедушку, а тот упирался, беспокоясь о своих чемоданах. И видно было сквозь открытые двери: никого больше нет в вагонах.

Сердце Богдана уже стало неприятно пустеть, как вдруг чье-то всхлипывание заставило его обернуться. Он вздрогнул и не поверил глазам.

Огромный Шерваль, словно палку, зажав под рукой свою белую лилию, грузно плакал на плече Алкмеона, а пани Пухальская, смешно приседая с букетом, повторяла слова, как раз те самые, о которых стыдливо подумал Богдан и не смог произнесть Алкмеону: «Maître, oh maître, je vous salue!» [1]

Пламя настурций на ее шляпе волновалось на зеленых стеблях.

Алкмеон хлопнул ласково по плечу багрового от волнения Шерваля, взял любезно букет и, увидев Богдана, подошел к нему быстрым шагом.

— Милый мальчик, я по вас сильно скучаю, будьте вечером у этой дамы, — вы, конечно, знакомы?

Богдан открыл было рот, чтобы спросить, как могли знать другие о приезде Алкмеона и почему он не сказал ему ничего об общих знакомых в Париже. Но спросить не поспел, вдруг еще подоспели расфранченные дамы, все до единой с букетами белых цветов, и без затруднений они говорили: «Maître, oh maître...»

Богдан в отупелом забвении прошел к себе в комнату и до вечера пролежал на кровати.

Подозрения ползали в голове, как гадкие мокрицы по трухлявым отвернутым доскам. Внезапно утомленная воля раздраженно боролась с впечатлением чувства, желая себе одной чистой, независимой мысли. Но личность самого Алкмеона безразлично настойчиво, как бык, устремившийся к цели, стояла в воображении непрошенная,

---

[1] Учитель, о учитель, я вас приветствую! *(франц.)*.

разрывала своей грубой тяжестью все усилия быть перед ним сильным и свободным. И в то же время, точно как женщина, тайным инстинктом сознавшая, что сковала с собой ей одной свойственным качеством чем-то близкого человека, уверенный в исключительности своего положения, Богдан отдавался опасному плену разожженного любопытства.

— Куда меня приведет Алкмеон? Кто стоит за ним дальше? — с испугом шептал он. «Э, не все ли равно, даст забвение... — похихикивал голос. — Где тебе выбирать!»

Не в силах совладать с отвратительной внутренней дрожью, Богдан вскочил на ноги и тоскливо метнулся по сторонам, будто ища, за что бы ему ухватиться. Ничего не было: все давно вынес сам из своей комнаты. Как внутри, так снаружи, ужаснувшись безобразия, захотел пустоты. В обновляющей пустоте желал строить заново.

Голые, голые стены... Высоко в углу черный крест без распятого. Тогда же, после Алкмеона, нашел его где-то в Париже и повесил в своей пустыне как символ безыменных страданий. И громадное зеркало, в котором видел себя одного с головы и до ног. Подошел, присмотрелся к себе с удивлением, как к чужому: всклокоченный, с очень бледным лицом, не то грек — продавец губок, не то только что выпущенный из острога цыган-конокрад.

Только-то и всего, хоть бы росту еще на вершок! «А все-таки Алкмеон-Дюменилю веревки из меня вить не придется. Знания все возьму, а самого живо за борт, шалишь, брат!»

И, вытянув в стороны руки, Богдан начал делать упражнения для укрепления силы воли и свободной, независимой мысли.

Он представлял себе, будто грудью касался свежевзрытой могучей земли, и не волей, не разумом, а всем беззаветно отдавшимся существом стал переживать то, что значилось под графой: «практический опыт с священными числами».

— Нечет: пять, семь... — отчеканивая буквы, крикнул Богдан и почти без усилий, бесконечно проделавши трудный опыт, сейчас же с легкостью ощутил в себе все, что связано было с начертанием цифры: мужественную све-

жесть дорической школы, простоту и прекрасную цельность первоначальной колонны...

Он ставил мысленно обнаженные ноги на солнцем нагретый песок. До совершенной иллюзии ощущений осязал уже внутри себя будто твердый стержень, основу, кого-то подобного молнии, разрезавшего надвое душу, вознося ее без уклонов, вверх, вниз, по пронзившим и небо и землю вертикальным лучам.

— Чет: шесть, восемь... — шептал он, закрыв глаза, обессиленный вихрем, — начало женское, разлитое во множестве. — Последним усилием как бы выдергивал из-под ног основание, размахнувшись, ударом наотмашь дробил в прах колонну, распадался с ней вместе на миллионы осколков. Из мрамора плавился в жидкость, дробился как разбитая шалостью ртуть; размыкаясь, замыкался в чуть зримые круги, распылялся столбом цветной пыли.

Опять, подстерегая и вспугивая себя сам, произносил громко слова: «Нечет: пять, семь...», пока в пламеневшем мозгу не вырастал завершающий символ начала мужского, торжествующий, слепой столпник в желто-бурой пустыне.

Все победить, все в себе заключить, войти в дивный двойственный мир искрометной планеты Меркурий, в соединенную тайну разделенных начал.

Но внезапно, как острая льдина, вклинялась спокойная, трезвая мысль. Эти упражнения тебе указал Алкмеон, и кто знает, закаляют они волю и мысль или лишают последнего разума, готовят удобную почву его воздействиям...

Без мысли, без чувств он лег на холодные доски. Пролежал так до вечера, и если бы не идти к Алкмеону, пролежал бы и дольше, как будто в могиле, как будто сверху тяжелый-тяжелый, беспощадно расплющивший камень.

XII

В передней пани Пухальской навалена была груда верхнего платья. Дамские шляпы, создавая фигуры без шеи, зацвели на навешенных густо пальто. В полуоткрытую дверь видны были знакомые и незнакомые люди,

усаженные в несколько тесных рядов в большой зале, как для домашних спектаклей.

Богдан взялся с недоумением за ручку, но сама пани с огромной серебряной лилией на груди и числом семь, подвешенным на цепочке, зашептала ему прямо в ухо:

— Он приказал привести вас к себе перед началом.

— Ах, как мило, где это вы заказали? Священное число семь, — сбрасывая ротонду, сказала высокая темно-русая дама. — Знаете, как наш Алкмеон читал о нем лекцию еще когда-то в Париже, я вся трепетала... каюсь, своими словами рассказать не могу, но я вся трепетала.

— Число семь, оно ведь зовется — число без матери, как будто бы сирота... — потупилась пани Пухальская, опустив взоры на свою могучую грудь. Пудра, которою щедро, как сахаром сладкий пирог, присыпала она красные блестящие щеки, посыпалась ей на платье.

— Я тоже не совсем про него понимаю, но от слова сирота мне его как-то жалко. Вероятно, это символ одиночества.

— Какая вы тонкая-тонкая.

Дамы поцеловались раз, два, и хотя пани Пухальская уже двинулась с Богданом по коридору, она еще раз вернулась, чтобы сказать оставшейся перед зеркалом даме:

— Делал вовсе маленький ювелир, тут сейчас за углом.

Богдан шел к Алкмеону, сжав сознание пружиной, насторожившись, как человек, идущий на бой и который к тому же не раз бывал бит более ловким соперником.

«Я должен задать ему первый вопросы, чтобы он не поспел, как обычно, свернуть куда хочет...»

— Ваш секретарь, — постучала грациозно в дверь пани.

— Qu'il entre.[1]

Пухальская, сделав книксен пред закрытою дверью, удалилась, а Богдан, удивленный неожиданным званием, сдвинув брови, перешагнул чрез порог и изумился сильнее.

Алкмеон без сюртука и жилета делал ловкие упражнения с гирями.

— Иди ближе, мальчик, — весело крикнул он. — Ну что, недурен мой бицепс? — и, отвернув рукав тонкой ру-

[1] Пусть войдет *(франц.)*.

башки, напружил смуглую, как чугун, крепкую мышцу, потом не без шика выходящего на эстраду атлета взмахнул дико стулом и, схватившись одною рукою за спинку, другой за сиденье, легко перенес свое плотное тело на другую сторону. — Как из ванны!

— Я хочу, наконец, понять, — усмехнулся Богдан, — эта встреча вас с лилиями, все общие места нашего города в сборе... отчего не сказали вы раньше, что у вас здесь так много знакомых?

— Тише, мальчик, успеешь! Уже час ждут нас добрые женщины. Покажи скорей твой листок! Даю тебе слово, нынешней ночью я отвечу тебе на всякий вопрос, больше того — за тебя, укажу тебе сам на такие, о которых ты еще не подумал. А сейчас, милый, пока посмотрю все твои упражнения, выбери в той шкатулке мне галстук, я немного увлекся гимнастикой.

Алкмеон дал Богдану ключи и очень внимательно стал разбирать таблички с характеристикой людей города. На ней, как на географической карте, для человека, знакомого с местностью, в условном обозначении знаков воссоздается вся особенность разнообразной природы, так и для опытных глаз Алкмеона в классификации Богдана вставали живыми, в своей будто бы многосложности, по последнему определению, такие несложные люди.

Алкмеон был ужасно доволен.

— Очень хорошо, великолепно, неизмеримо остроумнее прочих...

— Как, и другие вам делали ту же работу? — рванулся Богдан.

— У нас целая ночь, целая ночь до рассвета, — взял его за обе руки Алкмеон, — а сейчас ищи, мальчик, галстук. Да выбери его поздних осенних тонов, а духи дай мне brise embaumée. Там все больше, наверно, увядшие женщины, незанятые, они на все бегут первые.

Алкмеон пошел одеваться за ширму, а Богдан весь горел раздражением. Всякий раз, как игрушечное заграждение, возведенное ребенком на дороге у взрослого, его воля пренебрежительно, как бы не глядя, отводилась в сторону устремлением Алкмеона.

Подавая за ширму духи и галстук, Богдан не сдержался и дерзко спросил:

— Пифагореец, маг и гимнаст, кто из них написал книгу о числах?

Ответа не последовало, но когда из-за ширмы вышел прекрасно одетый, чуть надушенный Алкмеон, он, сухо поклонившись Богдану, сказал:

— Бога своего толпа не узнала только потому, что он не надел заранее приготовленных для него одеяний, то же самое, полагать надо, ожидает и черта.

И, не задерживаясь, он прошел скорым шагом в зал к публике.

Чтобы лучше видеть, Богдан, не садясь, поместился под лампой. Он дрожал от досады, находя в мыслях десятки колючих вопросов, и не слышал приветствия, которое от лица что-то взаимно делавших обществ косноязычный господин в черном фраке говорил Алкмеону.

Когда все умялись поудобнее на местах и далеко со своих стульев, между широкими шляпами дам, продвинули шеи студенты, Богдан холодно, как актер, затаивший зависть к товарищу, смотрит его в бенефисном спектакле, стал наблюдать Алкмеона.

Он стоял за маленьким столиком посреди безвкусной, с обывательской роскошью обставленной комнаты, с плохими копиями в золотых рамах, с неизбежным бархатным гарнитуром, симметрично толпившимся по углам.

Опираясь своей толстой рукой с неприятно короткими пальцами о круглый столик, в другой он держал несколько белых листков. Начал речь Алкмеон суховато, спокойным эпическим тоном, не лучше, не хуже, чем обыкновенно начинают другие. Установив главное положение, что современное общество мучительно ищет примирения между запросами разума и внезапно проснувшейся религиозностью, он цитировал философов, широко брал историю мысли и в то же время быстрым, фиксирующим взором вбирал в себя всех по очереди. Изредка взглядывал на листки.

Богдан четко увидел знакомые цифры и таблички, аналогии начертаний. Но, кроме его работы, в руках Алкмеона было две-три работы других. Продолжая говорить слова, Алкмеон все быстрей, все настойчивей проверял присутствовавших по имевшемуся у него материалу.

Богдан еще не мог совсем ясно понять, что Алкмеон в сущности делает, но по тому только, как страшно делалось ему по мере того, как тот продолжал свою речь, он

догадывался, что паук ткал блестящие сети не для того, чтобы любоваться сверканием паутины на солнце, а чтобы заманивать глупых неостерегшихся мух.

Алкмеон говорил о страданиях, которые несет всякий в своем неизбежном стремлении к жизни духа. Богдан все еще мог холодно учитывать разумом, что если б стенографировать речь его, не оказалось бы никакой в ней решительно ценности, ни даже особенных знаний. Но уже осознал, что не в мысли и даже не в словах была Алкмеонова сила, а в том неназываемом, что он вкладывал в слово.

Опираясь на прозрачную тайну графленых таблиц, владея опытом глубочайшего обобщения, Алкмеон, восполнив работу учеников своим наметанным глазом, как управитель оркестра, освоившись с инструментами, мимолетным словом вызывал уж ответные звуки.

И чем брезгливее было Богдану, тем внимательнее, умиленнее делались лица у слушателей.

Богдан видел, как менялись они, эти лица; как будто тронутые электрическим проводом вздрагивали, насторожившись, отдельные люди по мере того, как Алкмеон называл именно их страдания. От простого, но всегда неутешного, неизживаемого ужаса опустевшей детской кроватки до горьких измен и падений. Алкмеон своей кованой волей касался тайн сердца, недоступных обычному опыту, он трогал страдания, от которых бледнели не многие.

Но тем пламенней была благодарность волшебному угадчику тайны.

Женщины не замечали текущих слез, мужчины, искусно введенные в область эмоций, не топорщились, что давно сдвинуты дерзостью Алкмеона с сторожевой башни кичливой логики, растерянные, будто влюбленные, отдавались мечтам погребенного романтизма. Были и такие, что жадно краснели, как от неиспытанных еще наслаждений.

Но все, все с восторгом смотрели на Алкмеона, благодарные за неожиданное счастье угаданной безыменно, безответственно разделяемой тайны их жизни.

Да, как огромнейший спрут, Алкмеон выбрасывал во все стороны щупальцы, обнимал ими бережно душу, проникал, выявлял ее сущность и, назвав то, что было в ней

скрыто больного у каждого, тем самым разбивал у иных отдельность страдания, у других усиливал жгучий зной извращенности. Всех надолго единил с собой колдовской намагниченной цепью.

«Так вот чему я помогал, вот на кого я работал? Гипнотизеру на дешевый успех...»

Богдан ярко вспомнил, как летом на одной из открытых сцен демонстрировал свою силу внушения заезжий немецкий «доктор». Он отнимал постепенно силу мышц у солдата и, обратив его из сильного человека в какой-то жалкий мягкий комок, выволок прямо к рампе и торжествующе крикнул в публику: «Смотрит, это был один раз шэловек!»

Богдан чувствовал прилив такой дикой ненависти к Алкмеону, что еще немного — и вот он при всех кинется, вырвет из похотливых пальцев листки. Быть может, ударит, потопчет ногами, закричит, что он насильник и обманщик. Быть может, расскажет о смысле табличек. «И что дальше, что? — горестно прерывал он себя. — Кто поймет? Кто поверит? Да и черт с ними всеми... Нет бога, значит, нет ничего!»

Богдан схватился за голову и выбежал в коридор.

Алкмеон кончил. Его окружили, его благодарили. Особенно женщины. Они обожали, они хотели одного: упасть тесным стадом под епитрахиль самозванного исповедника, сложить скорей с себя мысли и волю к подножию ног его. Пусть возьмет, как пустые сосуды, пусть заполнит своей дивной мощью.

И мужчины, забыв о всегдашнем соперничестве, помолодевшие, как в давние годы ученья, пленившись талантом учителя, окружали его.

Наконец Алкмеон, совсем запыхавшийся, красный, вырвался от поклонниц и прошел к себе в дальнюю комнату. Богдан кинулся за ним следом, все еще в высшей степени раздраженный.

Огромный Шерваль и еще две дамы с опухшими от волнения лицами выкладывали на стол целую груду золота. Захлебываясь от восторга, Шерваль говорил:

— Я прошу вас от имени всех несчастных, вы их отец...

— Кому, как не зрячим вести слепых? — с неподдельной глубиной чувства в прекрасных глазах говорила высокая немолодая дама.

— И поверьте, деньги пойдут только на благо людей, — так растроганно отвечал Алкмеон, что Богдану нежданно понравился звук его голоса, такого он еще не слыхал, простого и честного.

«А вдруг я ошибся: не гипнотизер, не обманщик, быть может исполнитель громадного плана, быть может правда то самое первое, что я почувствовал в его книге о числах?»

— Кстати, мой секретарь, — указал Алкмеон на Богдана и, подавая уже обмокнутое в чернила перо и какую-то бумажку, где написано было несколько строк, а над ними печать неизвестного общества — полумесяц, драконы и солнце, не меняя тона, ему приказал: — Подпишите скорее фамилию.

Богдан машинально, поглощенный работой внутри, подписал, даже в подписи сделал росчерк, и потом только порывисто выговорил:

— Мне сейчас необходимо немедленно наедине видеть вас.

— В полночь, мой милый, я сказал уже: в полночь. Поверьте, это будет впору как раз. Мысли надо уметь формулировать, а вы сейчас полны слепых чувств.

И, чуть-чуть улыбаясь, сложив аккуратно расписку, он вручил ее в руки Шервалю, сказав — документ о полученной сумме! Потом оба, надев шляпы в передней, в сопровождении взволнованных дам поехали куда-то в коляске.

Богдан глядел тупо на шкатулку, в которую Алкмеон запер золото и как будто оставил ему на хранение, понемногу отрезвлялся, приходил в себя. Подошел к окошку, мысленно сбежал вниз по распухшим весенним дорожкам к протекавшей вблизи дома речке, манившей расплавленной ртутью, и как-то вяло раздумывал:

«Алкмеон пишет, что его упражнения укрепляют волю, а что я сейчас сделал: зачем подписал? И под чем же я подписал?»

И, забыв, что он в чужом доме, сел на подоконник, чтобы, не двигаясь, сидеть неподвижно и один час, и другой час, и третий.

— Не возьмет ли пан валериановых капель, — не раз подходила к нему озабоченная пани Пухальская. — Это очень похвально, когда сердце так сильно чувствует. Пан,

верно, тронут речами великого Алкмеона? Или, может быть, пан примет cascara sagrada? Покойный муж ото всего принимал. А у пана, конечно, хотя видно нервное, но желудок очистить всегда хорошо! Ой, ой, секретарь такого великого человека повсегда мусит быть здоров.

XIII

Около часу ночи сам Алкмеон, вернувшись с какого-то ужина во французской колонии, разбудил Богдана, заснувшего на диване. Он щекотал его за ушами, дергал за волосы, был ребячливо весел, слегка будто выпивши.

Богдан это сразу увидел и, чувствуя себя особенно сильным после крепкого сна, обрадовался. Два-три вопроса, и кончено. Последнее наваждение разлетится, можно вслед за Василием. И вот, будто покончив земные все счеты, он отчетливо, не волнуясь, ничего для себя не желая, нашел в себе силу сказать Алкмеону:

— Ваша книга о числах оканчивается стихом Гиероклеса: «мужайся, стряхнув с себя тело смертного, ты подымешься в чистейший эфир, ты станешь богом». И в самой книге это дивное освобождение вы сулили еще здесь, на земле. А взамен вдруг убожество: дамы с лилией, ваша речь по табличкам, организованная ловля доверчивой рыбы. Что это? Или радость богоподобных все та же, что радость лакеев? Но такая, право же, мне ни на что не нужна.

Алкмеон молча, слегка осовев, сидел грузно в кресле — после плотного ужина обыкновенный рантье. Взглянув на него, Богдан пришел в ярость, сорвался с места:

— Как посмели вы заставить подписать меня ту бумагу, вы... шарлатан с летней сцены.

— Ах, как мальчик мил, как он мил! — захлебываясь, хохотал Алкмеон. — Да какой же он мальчик, он просто барышня с флердоранжем. Но, пожалуйста, пойдем говорить в мою комнату, а то здесь кругом чутко дремлют и видят меня в сновидениях восторженные женщины. Они только стали меня обожать, а вы вашей бранью срываете лавры! — Алкмеон взял в руку свечку и пошел впереди Богдана, смешно подымаясь на цыпочках и заносся ногу

в каком-то рискованном па из Moulin Rouge. — Char-la-tan... — нараспев повторял он. — Char-la-tan! Однако, — повернулся он с своей ужимкой славного парня, — на этом шарлатане ты, мальчик, ты, отважнейший Фаэтон, полетишь прямо в солнце... ах, как ты мил, ах, как мил! — Они вошли в комнату, отведенную Алкмеону, удаленную от всех прочих. — Вы позволите, я сильно устал, разговор предстоит очень важный. Вы позволите, я надену халат? — продолжая фиглярничать, спросил Алкмеон.

— Прекрасно, — усмехнулся Богдан, — пентаграмма и белая тога — последнее действие вашей программы! Только прошу вас скорее, еще сегодня я хотел бы уехать к приятелю.

— Вздор, мальчик, приятель твой — вздор, ты на днях со мной едешь в Смирну! — Из-за ширмы крикнул резким голосом Алкмеон. — И посмотри, как всегда ты торопишься предрешать и смеяться: ведь халат мне ужасно к лицу?

На нем была очень строгая тога, и своей голой воловьей шеей, отяжелевшим лицом он напоминал какого-то сильного волей, отлитого в бронзе проконсула, чуть-чуть Сократа, но смешон не был вовсе.

— Знаешь, мальчик, — подошел и сел рядом с Богданом на широком окне,— поверь мне, если я думал сначала соблазнить тебя очень прочно и вручить тебе крупное дело, после всех твоих выдумок я раздумал: ты нам мало годишься.

— Как, — против воли ужаленный, повернулся Богдан. — А ваши речи о том, что я единственный, которого вы так ждали...

— Да, мальчик, да, ты единственный, но для меня только лично. Ты мне нравишься, и всегда так нежданно. Я сказал бы: люблю тебя. Это великая роскошь во всех положениях жизни, а в моем — чрезвычайная. Но для дела ты глуп, и владеть собой ты не научишься.

— Вы хотите сказать, я разборчивей в средствах, чем вы того ждали?

— Нет, — спокойно перебил Алкмеон, — я говорю всегда исключительно то, что желаю сказать: ты, мальчик, не мельник и хотя не зерно, но...

— Слушайте, — оборвал Богдан, — мне от вас один только нужен ответ: возьметесь вы, как обещали про то в своей книге, вывести меня из действительной жизни в иное место, или, как проще я теперь понимаю, можете ль приятным мне образом свести меня с ума? Упражнения ваши мне очень нравятся, но применять их к вашим поганым делишкам я не желаю. Слышите вы, не желаю!

Богдан почти кричал вне себя от неразрешенного гнева, а перед ним стоял неподвижный, опять странно отяжелев, равнодушный Алкмеон.

— Слышу, слышу...

Его ярко заливала луна, и был он все тот же, в своей ослепительной тоге, с тяжелым осевшим лицом, старомраморный римский проконсул.

— Я уйду, — спрыгнул с окошка Богдан, — напишите, когда мне вас можно видеть, а сейчас, очевидно, занавес спущен, артист отдыхает.

— Стой, мальчик, — остановил за руки Алкмеон, — посидим до утра, все равно теперь поздняя ночь, ну а там хоть стреляйся. Сам револьвер куплю. Садись снова ко мне на окошко и выкинь глупости, что я пьян: у тебя на губах молоко не обсохло, как я перестал уже грабить себя алкоголем. Предоставил болванам.

— Слушайте, не заговаривайтесь, только о деле, только о деле... — капризно настаивал Богдан, всеми силами желая удержать свою волю. У него разбивалась голова, томительно слабело тело, и хотелось, покончив скорее с Алкмеоном, беспробудно проспать день и ночь.

— Утомлен очень... — заботливо посмотрел на него Алкмеон. — Знаешь что, ты приляг на диван, а я буду ходить. Даю слово, ты получишь самый красноречивый ответ на твои вопросы, потому что ответ ты увидишь. Ты его увидишь! — особенно твердо сказал Алкмеон, будто метнул незримую ловкую пулю в самое сердце Богдана. — Только терпение, мальчик, сперва надо кое-что подготовить.

Богдан с удовольствием лег на диван. Алкмеон для чего-то щелкнул в двери ключом, взял ключ себе, стал ходить по привычке взад-вперед.

— Чтобы ты ясно научился оценивать себя самого — начнем ab ovo. Видишь ли, как ни мни ты себя Люцифером, раса, страна, где родился, семья — всё условия мощ-

ных незримых влияний, вот как женщине первый мужчина неизгладимым остается навеки, все равно — любила она его или нет. Есть такие законы. И только освободившейся мыслью мы сможем разрушить оковы, мы сможем отбросить свивальник непрошенных нянек. Одной только мыслью. Ну так вот: ты родился в России, лукавейшей из всех стран...

— Нас ленивый не бил, — удивился Богдан.

— Ах, мой друг, право, битый — не худшее из всех состояний, а у вас таковым почитается. Элементарная философия рабов, только бы вам не работать. Ужасно, как не нравится вам всякий труд вообще, сила мысли, завершенная делом... вот хоть бы ты, для примера. Хочешь знаний, лежащих *за нормами,* а чуть шаг на пути: ах, мой беленький флердоранж, — забавник!

— У меня болит голова, — пробормотал Богдан.

— Ничего, потерпи, голова пройдет, вот уж скоро, — как врач, уверенный в действии данных лекарств, успокаивал Алкмеон. — Напряги еще волю, чтобы слушать; хорошенько устанешь, тогда отдохнешь. Итак, дальше: человек, чтобы вырасти в личность, должен обязательно определить себя сам. Нельзя пребывать целый век лишь в моментах. Кто человек, куй моменты в года, дай им имя, дай форму. Прими муки строительства, бремя истории... Но, славяне, вы бесконечно ленивы. И что хуже всего, для прикрытия своей лени вы лукаво передернули метафизику христианства и везде, где вам надо работать, лицемерно кричите: «Царство его не от мира сего, а мы народ-богоносец...» Ну и ловкие ж парни, pardieu!

— Не хохочите, пожалуйста, — простонал Богдан: — от вашего хохота по спине дерет.

— По всей спине до затылка или неприятно в одной какой точке? — насторожившись, подошел Алкмеон, присел около него на диван, наклонившись проговорил почти с грустною лаской:— Ну, подумай, мой мальчик, стоит ли рековечно все лгать, вековечно топтаться на одном только месте, никогда ничего не совершая? Не красивей ли, не остроумнее ли будет один раз хорошенько взвесить и уже не колеблясь идти к своей цели? Мели властно зерна, если хочешь быть мельником, или сам лезь под жернов. Все, что между решеньями, все лишь пошлость, уверяю тебя.

Алкмеон промолчал, прошелся раз-два, остановился опять над диваном. Богдан все лежал неподвижный, и лицо его, бледное с черными пятнами глубоко впавших глаз, было как у вот-вот в безлюдье потонувшего человека, уставшего от надсаженных криков.

— Если ты в тайне сердца еще веришь в бога, — торжественно и раздельно произнес Алкмеон, — твори волю его... — он медленным жестом простер кверху руку и от этого опять-таки не был смешон. Богдану показалось, говорил не он сам, а через него будто кто дальний, кто-то сильнейший. — Но твори волю бога отныне не как раб, что положено, крайнее, а как сын первородный с утра и до вечера, во все дни недели. Ибо выполнением, одним выполнением оправдается человек. Или, мальчик, не веришь? Ну тогда твори то же, но твори уже волю свою. Свою волю, слышишь ты? Но на то нужны деньги, нужна сила и власть.

И, внезапно переменив тон, опять фигляром, как давеча, пересыпая слова свои деланым хохотом, он сказал:

— А тебе, милый мальчик Фаэтон, мчаться в солнце на мне, шарлатане. Oui, char latent, мешает пословица, которую пел по-русски этот глупый Шерваль: «И хошетса, и колетса, и мамэнка не велит».

— Будьте прокляты, я вас ненавижу! — отозвался Богдан.

— Ах, ах, ах! — притворно испугался Алкмеон. — Ты значит, мальчик, уже не с господом. Завет его знаешь? Не ненависть, а любовь. Да, да, не иначе и не иное. И что это значит, пойми: высокомерие любви отстраняет навек справедливость, да, мальчик, да, атомы тела и духа врага твоего, гада мерзкого и насильника, вот к примеру такого, как ты удушил...

— О, боже мой, боже! — простонал Богдан, сел на диван, привстал идти, сел обратно, откинулся головой на подушку, закрыл глаза. — Я не в силах понять...

— Нет, ты должен понять, слышишь, должен! — встряхнул его крепко за плечи Алкмеон. — Своей собственной волей, сейчас делай выбор, чтобы потом не слыхать мне истерик, укоров и всякого вздора. Станешь любить меня, когда будешь мною вконец соблазнен и в сей жизни и в будущей?! Станешь? А если ты меня и сейчас ненавидишь, так зачем же за бога цепляться?

— Будьте прокляты! — снова вырвалось у Богдана.

— Ах ты мой близкий, мой милый, мой мальчик... — нежней, нежней матери зашептал Алкмеон, опускаясь перед ним на колени. — Если так, имей мужество выбраться в мир иной красоты, в мир иной дивной власти... Ну, пойдем рука об руку! Для прекрасных нет слов, для прекрасных — лишь опыт.

Богдан, все еще сидя, как сидел на диване, вдруг почувствовал, что Алкмеон стал входить в его душу, вливаться будто мощная большая река. Заполнил сердце, заполнил голову, ширил кости, растягивал кожу.

И так было странно и успокоительно-сладко от новой жизненной силы, входящей в больную, утомленную душу, что у Богдана закружилась голова, он утратил сознание.

И вдруг лучи... жаркие лучи очень южного полдневного солнца. Под ногами оранжевый раскаленный песок. Свернулся от зноя фарфоровый венчик цветка повилики. Приторный запах растертого миндаля... Черные ветви кривых барбарисов кораллами своих ягод обрызгали зелень. Амфитеатром у моря раскинулся город. Храм Нептуна белел в зеленых волнах...

С высокой горы от закрытой покрывалом Гестии в тихом ритме спускаются люди. Все прекрасны. Один выше всех, с золотой семиструнной лирой. Как белое облако, выступил он на середину, под горячее солнце, высоко воздел обнаженные сильные руки, чуть коснулся натянутых струн... вдохновенный пеан богу солнца!

Солнце в небе, солнце в желтом песке, теням белой одежды доверились повилики, раскрыли венцы. Несравненно круглился дорический мрамор.

Но за колоннами храма вдруг скрылся пропевший пеан.

— Иерофант... иерофант священной тетрады, — сам не зная, промолвил Богдан и с закрытыми еще веками двинулся быстро вперед.

— Мальчик, ты зрячий, ты наш! — в каком-то восторге разбудил его шепотом Алкмеон; он мгновение не владел собой, был растерянно счастлив, целовал руки и плечи Богдану. — Теперь иди, мальчик, спать и спи беспробудно до вечера, а вечером опять будем вместе, и я переведу тебя по ту сторону бытия, произведу над тобой то, что зовут посвящением. Но что нам слова? Ты запомни одно:

после этого воздействия моей воли на волю твою все привычки, все связи с землей у тебя будут порваны, и, добровольно расплавленный, ты примешь новую, совсем новую форму. А теперь до свидания, уж скоро утро, а у меня еще много дел.

XIV

Богдан, словно во сне, сошел вниз по лестнице, растолкал извозчика, уснувшего крепко на козлах, и двинулся к дому вдоль по аллее пирамидальных густых тополей.

Был конец мая, новорожденные листики все уже раскрутились и слабо пахли в предутреннем холоде. Тополя и яры, поросшие мелким кустарником, шелестели своей тонкой зеленью, и пока луна пряталась в черных тучах, они жили собственной жизнью, скромной, но совершенно своей; охраняли ветвями темное золото брызнувших на траву одуванчиков. Но вот ослабела, утончилась, разрыхлилась душная чернота большой тучи и прорезался яркий, на незримом теле, колдовской лик луны. Глянул мертвой, застывшей улыбкой. Медленно, неуклонно ширился круг этих лунных зеленых объятий, и все, чего только ни касались они, все теряло свой собственный цвет, свою жизнь, все сейчас было лунным.

— Как антихрист придет, сгребет в карман солнышко,— проговорил, показав кнутом в небо, извозчик,— вот и в книжках, чай, сударь написано: незакатная будет луна-то...

— Незакатная будет луна... — повторил Богдан, — так, старик, так. Она вытянет из живого живое, лицо каждого подменит ликом своим, пока все скорлупы не заполнит зеленой отравой. Только в книжках, старик, про нее так не пишут. Говорят, что планета, главный спутник земли... Ха-ха-ха! А вот мы догадались с тобой, кто она. Алкмеонов начальник, не правда ли, «он», старик?

Богдан неудержно смеялся, а какой-то парень с девкой, приняв на свой счет, глупо прыгнули из кустов и понеслись без оглядки к оврагам.

— Весна, ишь балуются! — укоризненно проворчал вслед извозчик. — Да и вы, барчук, видно тоже того... погуляли.

Богдан вышел у дома, но звонить вдруг раздумал, снова, бодрый от чистого воздуха, пошел по пустынным улицам за большие валы, через выгоны, к дальнему лесу.

Заметно слабела луна перед зарождавшимся солнцем, но в своем умиранье делалась будто еще ядовитее. Белые, сырые, из болотных туманов наползали на нее облака, и, поколдовав что-то с ними, она гигантскими ватными щупальцами разгоняла их вновь над лугами. Она дневные шалаши незатейливых пастухов превращала в своей лживой сказке в островерхие становища древних бриттов и лгала, будто дальше за ними не пустопорожние десятины, а свинцовые волны холодного моря, где вот-вот вдруг покажутся корабли, на кораблях блеснут люди в крылатых уборах, затрубят в рога храбрых викингов...

— Да, это он, Алкмеонов начальник, отец старой лжи... Наберет себе скоро силу, бросит давний свой выезд на черном козле, во все стороны двинет сторукие щупальцы, ловко высосет жизнь земли и, как в помойную яму негодный лимон, ввергнет всю в небытие. Тогда вместо этого невинного неба протянется низко над глупыми головами морозовский ситец, набивной, яркокрасный с зеленым горохом, с фабричным клеймом, а за ситцем фонарь вместо прежнего солнца. Если люди заслужат, Алкмеонов начальник засветит огарок, а не заслужат — он их выморит темнотой. Любопытно, будут стоять они на коленях, а? Будут просить? — спросил громко Богдан.

— Будут, будут, они всегда будут просить...

Он остановился, такое сильное сделалось вдруг сердцебиение, и почувствовал, что он больше не может, что если сейчас, сию минуту не взойдет опять солнце, не разгонит кошмар, он не вынесет сам себя, сойдет с ума, закрутит нелепо руками, свернет назад голову, прикусит язык и забьется в проклятой пыли на дороге, и до тех пор будет биться, пока не подавят копытами, не проедут колесами рабочие, провозящие из конюшен навоз.

Он прислонился к березе и стал упорно смотреть на восток. Широким трепетным веером развернулись на отравленном небе золотые живые лучи, а за ними легко выходило всегда светлое солнце. Оно вышло и расколдовало в мгновение все чары луны. Всего коснулось, вернуло всему, во всем усилило собственный цвет.

Богдан с радостью видел: кусками зеленого бархата разбросаны везде были всходы, из канав незабудки гляделись своим бирюзовым, росою протертым глазком. Красно-рыжие коровы, успокоившись насчет новой пашни, добродушно стояли как бы врытые в землю, бесконечно жуя свою жвачку.

Богдан, благодарный взошедшему солнцу, опять различал, что безликого, общего, совсем нет в природе, что даже в цветке земляники, уже облетевшем, по раздувшейся серединке виднелась уверенность, что и он теперь сам по себе, он не даром, что за цветком спеет алая, простеганная желтым семечком ягода.

И береза, к которой, встречая рассвет, прислонился Богдан, и береза, чуть прогнувшись под тяжестью сочных побегов, разбухших почек, залившихся сладким соком, в покорной истоме подставила солнцу свои мелкие желтые ветки, свой бело-матовый ствол, свои первые листья.

Богдан подумал, что вот уже завтра он будет свободен совсем от земли: от весенней цветущей, от осенней, роняющей цвет и от зимней, особенно незабвенной, с ее крепкою девственной корочкой. Он ощутил бесконечный переполняющий порыв нежности ко всему, что растет, ко всему, что живет в милом теле земли, и до последнего, вечернего, до Алкмеонова часа, все часы захотел отдать лесу.

Он пошел по веселым полянам с шелковисто-зеленой травой, с белоснежными звездами очень крупных ромашек. Шел, задыхаясь от полноты новых чувств, будто был пред причастием, начисто вымытый, благоговейно проголодавшийся мальчик. Не мог идти как всегда ходят люди, не замечая топтать сапогами цветы. Пригибался к ним близко, трогал трепетно пальцами их головки, иногда целовал.

Осело прочно на длинный, предлетний день в приютной синеве крепкого неба золотое горячее солнце, и развеселился окончательно пышный луг, полный белых ромашек. Засновали зверюшки по пригретой земле. Похудевшая за зиму мышь полевая еще проворнее комнатной мыши протащила в нору к себе что попало. Всюду плоские, с черным разводом на красной спине, в любовном чаду затолкались козявки. И вдруг муравейники, зеленоспинные ящерицы, умелый хозяин — медлительный крупный жук, вспорхнувшая радость расписных мотыльков...

Богдану казалось: он, негодный, заблудший сын, возвратился к заждавшейся матери. Далеко отец, и так уже сильно изранены ноги, чтобы искать отчий дом. Может быть, не узнает, даже если найдет. Давно, так давно уж как вышел... А она, мать, не стерпела, сама двинулась молча навстречу ему, без укоров. Не учит, не требует, сыплет дары свои сыну — она, мать.

— Мать земля.

И так как кругом не видать было вовсе людей, а нынче вечером, Богдан твердо помнил слова Алкмеона, у него будет порвано прочно с землей, он перестал вдруг стесняться и пустил себя любить все кругом, как любилось душе.

Осмотрелся на веселом лугу раз, другой и вдруг понял, что вся радость луга — радость детства его, не того, позади, кроваво-кошмарного, а радость детства не бывшего, но которое должно было быть.

Все, что должно было быть, удержано где-то, и здесь, на землю, падают тени. Одни, черные тени.

— Какое солнце твое, мать, ах, как светит... — прошептал Богдан.

И солнце, правда, было очень яркое. Лилось и не выливалось его пловучее золото, дождило лучами всю землю, обнимало и грело и не оскудевало в своем знойном избытке. Попадались Богдану всё елочки в скромных темненьких платьях. Как дворовые девочки в праздник яркую ленту, старались выставить они, как можно отдельнее, свою сочную голубовато-зеленую сердцевинку. Эти елочки, славные девочки, всё товарищи резвых, неигранных игр...

Богдан узнавал их теперь, подходил и здоровался.

На песчаном холме уцелел прошлогодний громадный будяк. В охране обступившей его мелкой поросли держалась не сбитая снегом порыжелая мохнатая шапка на его голове. Потешно замерли, раскорячив колючки, его блеклые крылья. Богдан рассмеялся:

— А ты все колдуешь, завидуешь, царапаешь бок корове, путаешь хвост лошадям. Брось, милый, брось. — Он погладил мохнатую голову будяка, прошел дальше.

Прилесок кончился. Невинность раннего детства сменилась тревогой грез отрока. Твердые блестящие листья каких-то высоких кустов врывались в пушистые ветви

серебряной ивы, беспокойно дрожала осина, чего-то ждал, не сгибаясь, заносчивый клен, и курили березовый дух стволы белые, тонкие — благодатные свечи, которые мать земля сама в лесу всюду ставила богу.

Богдан, пьяный воздухом, перепрелым листом, шел с полян на поляны, из редкого леса в лес частый, густой и дремучий. Он не чувствовал голода, он не ведал усталости. Как в пробужденного зверя очень ранней весной, когда ему еще негде взять себе плотной пищи, лес вливался в Богдана сам, своей скрытой мощью. От листа, от травы, от своего пышного царевича-анемона до последнего простодушного цветика посылал ему щедро насыщающий душу привет.

Так Богдан проплутал целый день в глуби леса, отдаваясь проснувшейся кровью своего странного дикого племени милому телу земли.

А когда кончился день и, потушив меж стволов все последние красные угли, ночь продернула черный бархат своих покрывал, Богдан лег заснуть под громадною елью.

Ель укрыла его, спустив ниже ветви, мягкий мох подостлался зеленой периной, и шальная блудливая белочка, обманувшись его неподвижностью, согреваясь и грея сама, невзначай прикурнула к Богдану.

А Богдан позабыл Алкмеона, позабыл перевод по ту сторону бытия, упражнения в безвоздушных пространствах, холод жизни, тоску...

Мать взяла к себе, скрыла сына. И он затих у нее, будто в чистой кроватке в канун троицына дня, когда от изголовья цветы и березки прогоняли все страшное, когда душистый томительный аир своим божьим ладаном обволакивал, умягчал тихий сон.

Алкмеон прождал тщетно Богдана и час и другой. Приказал взять извозчика, снести вещи. Еще подождал минут десять и отправился на вокзал. Он был сильно не в духе, запретил огорченным поклонницам провожать себя и не взял их букетов.

1910

ЗА ЖАР-ПТИЦЕЙ

I

Степоша, крестница старой барыни, была девушка тихая, работящая, но так собою дурна, что родной дядя, повар Мокеич, окрестил ее «мордоворотом».

Рябая, с приплюснутым носом, будто в детстве у нее кто на лице посидел, и ходила-то она не как люди: тяжелой уткой, с ноги на ногу переваливаясь, хромотой половицы продавливала.

И вот как уж дурна, а от женихов и отбою не видно.

Секрет в том, что великая была она мастерица на вышивки. Какой ей барышня вавилонистый узор из столицы ни вышлет, она все до последнего вавилона, на холсте ли, сукне или цветном бархате, безо всякой оплошности выведет.

Барышня будто за свое на столичных базарах торгует. Чистой прибыли себе больше, Степаниде поменьше, все каждый раз переводным листом отправляет. А для деревни и очень даже довольно.

Барышне в столице почет: рукодельница, хвалят старые дамы, то-то из нее жена мужу выйдет.

А Степоша знай себе деньги в копилку. Как до радужной доведет, сейчас с оказией в город. И на книжку запишет.

Вот набралась таким манером без малого тысяча, а деревенские бабы язычным чеканом живо к ней и вторую и третью добавили и пошли сыновей на невесту подзуживать: «Эка невидаль, что рябая. С лица, чай, не воду

пить, не удосужимся скорей тетку заслать, гляди, какой шустряк перед носом все ее рублики очекрыжит. То-то, три тысячных...»

Доняли старые сыновей. И зашмыгали в вечернюю пору к Степошиной горнице проворные свахи. Всю-то красную горку мелькали разводы бабьих воскресных платков, а, гляди, своего дела не сделали.

Слушает льстивые речи Степоша, глаз от работы не отрывает, изнеженными от разноцветного шелка руками узор подбирает. Помнит, крепко-накрепко помнит дяденькин «мордоворот», отчетливо понимает, что у парней в глазах одни ее денежки прыгают.

— Не охота мне в кабалу, — ухмыляется,— сама себе голова.

Но при одном имени отстраняла пяльцы, задумывалась.

Сохнет Иванушка Лапоток по тебе, девушка; уж какая-то мне, говорит, Степанида шелками утешная, рукодельница.

Иван Лапоток — так за бедность его обзывала деревня — был парень высокий, с бровями разлетными, с кудрями что у соборного дьякона, с задумчивым, ласковым видом.

К Степоше давно невзначай заходил, и, сдавалось ей, без задней мысли, словно бы вовсе не ради нее. Уставится в разноцветный узор и молчит. Бог его знает, что ему в стежках переливчатых замерещится; если спросить — не расскажет. То о жар-птице рассказ, в детстве слышанный, или сон какой радостный, или о царевне персидской.

Да больше всего о царевне. Барчук от безделья как-то раз прочитал и картинку ему расписную показывал: сама тоненькая, вся в ожерельях. Сидит на ковре, поджав туфельки, а с подушек на нее огромнейший басурман бородищу наставил, раскрыл рот и не дышит — заслушался. Вот Степошины шелка разноцветные будто сказки царевны. Лежат развитые мотки пушистыми взметами: золотые, небесные, зори летние с белоснежными облаками или листья багряные в предзимнем холодном лесу. Всех цветов шелковинки — о чем подумаешь, то из них подобрать сейчас можно.

Осмелеет Иван, понадергает разных по памяти, как расписано было о персидской царевне, переложит одну на

другую и ждет, когда солнышко мимоходом разожжет все цвета самоцветами. Постоит, повздыхает и молча прочь отойдет. И Степоша — ни слова, только вспыхнет, и цвет самый радостный ловкими пальцами подбирать скоро-наскоро хватится.

— Твое счастье, дурень, что неразбериха девками правит, — укоряла Иванова мать, — и посвататься сам не умеешь, — пень пнем. Заслать, что ли, тетку?

— А мне что, засылайте, — равнодушно согласился Иван, — как женюсь, она с собой пяльцы возьмет.

— У, дурень, дурень; на луну, словно пес неприкаянный, смотрит, цветы в поле ищет, только в деньгах Степанидиных все счастье твое, ишь барчуком уродился.

Всего разок побывала свахой Иванова тетка, и уже как невеста ходить стала Степоша на свиданье к Ивану в ольховый яр.

У барышни она для этого случая щипцы завивальные тихонько брала, вокруг изрытого лба барашков накручивала, красной помадой по губам проводила.

А Иван ничего этого вовсе не видел. С малых лет жил он совсем особенно от своих деревенцев. Ни дела ихнего, ни забавы он не любил, сам не знал хорошенько, чего ему надобно. Больше всего в лесу волком сидел, смотрел, как на небе тучи таскаются, чем одна трава от другой разнится, и не для лекарственного какого настою, а так себе, безо всякой причины.

А Степаниде, когда выходила в ольховый яр, для свиданья, так особенно весело становилось, будто для нее одной, для рябой, хромоногой, с неба чарые звезды смотрели, а в жасминах впервые соловей песню щелкал.

Совсем темно, как в безлунную ночь, было в ольховом яру под сплошною листвой, где Иван, зачарованный хмельным, теплым вечером, встречал не Степаниду, убогую хромоножку, а принцессу персидскую, всю в заморских шелках. Подхватывал ее сильной рукой, шептал в ухо заветное слово.

Но случалось, когда поутру, при дневном белом свете посмотрят один на другого, — Иван удивленно, как от совсем незнакомой, отвернет вдруг кудрявую голову, а Степоша, вся зардевшись, нахмурится и, проковыляв в свою чистую келейку, повернет в двери ключ.

Возьмет в руки зеркальце, поглядит на себя против света, постоит долго без дела, понурая, и вдруг будто радость забытую вспомнит: из железом обитого сундука вынет черную книжку сберегательной кассы, проследит пальцем цифры и тихонечко, так, сама себе, засмеется.

— Ой, Степанида, обдурит тебя парень, да, гляди, с другой свяжется, — упреждал дядя, повар Мокеич.

И на это Степанида не фыркала, а, как умная, внимательно сторожилась, а когда для свадьбы покупки в городе делала, для чего-то у нотариуса побывала.

Повенчались. Степоша попрежнему все свое время в мудреных вышивках проводила, а Иван, кое-какую домашнюю работу справив, у нее за стулом стоял, разноцветами любовался.

— Эх, кабы мне да учиться, я бы все, что ты здесь иголкой разводишь, все, что в лесу на заре мне мерещится, все бы это я в песню сложил.

— А мне что — неученый, ты мне люб кучерявый, — шептала Степоша.

Души она в Иване не чаяла, все, что зарабатывает, — ему на одежду. Сапоги чтобы без скрипа, как одни господа носят, на тонкой подошве, поддевка сукна аглицкого. Только в руки ему — ни копейки.

До времени Иван о деньгах ни гу-гу. Да и незачем; тут ему водка, тут ему и табак. Степоше радость самой за версту в монопольку сбегать: только выкушай.

И вдруг все как есть разлетелось, словно ветер на деревцо пышное налетел — одни голые сучья оставил. Без вихря никак не увидишь, если что не совсем крепко на месте. Так и в Ивановом доме.

II

На масленой бог весть куда и откуда, как птицы перелетные пестрые, понаехали за деревню цыгане. Вздернули кверху оглобли, понавешали цветных лоскутов, запалили костры. Черные косматые старухи железными вилками перемешивали хлёбово в чугунах, а молодые, красивые, нездешние бабочки суетились вокруг огней, одуряли неповоротливых парней.

— Радость тебе, милый, нежданная, кралю свою повстречаешь... — хватали Ивана горячие, тонкие пальцы.

— Отстань, он женат, — огрызнулась недовольно Степанида, выряженная в городскую желтую баску с огромной серебряной брошью на шее.

— Эй, кукушка рябая, на аркане сокола не удержишь, — послала ей вдогонку цыганка.

Кругом захохотали, а Иван, нахмурясь, повернул было домой, но вдруг остановился, застыл ошарашенный.

Прямо на него, сверкая разожженными в уголь глазами, звеня кольцами и бубенцами, неслась в дикой удали красавица Грунька. Сильное, гибкое тело извивалось под расшитой рубахой, самоцветом горели мониста, черные кудри взметались блестящими, жадными змеями.

— Э... эх! — взвизгнула Грунька и будто ужалила, чуть скользнув по Ивану своим круглым плечом, и помчалась дальше, дикая, легкая, как огонь, зажигающий сухую траву.

Казалось, конца нет неистовству бега... и понеслось затосковавшее сердце вслед за огнистою алою шалью.

— Э... эх! — еще занозистей вскрикнула Грунька, еще обожгла парня, уронила, тихо звякнув браслетами, руки и, побледнев, как потухшая в небе заря, вдруг запела: — Умчимся с тобой в край мой родной...

Иван смотрел и узнавал. Это была она, раскрасавица из мудреной персидской сказки, та самая, которую он вместо Степоши обнимал в ольховом яру. Бахромой своих пестрых платков, цепким волосом черных кудрей она вмиг повязала его по рукам, по ногам.

— Чего ты, Иван, уж пора вечерять, ну их, — досадливо потянула жена за рубаху.

— Щи не волк, из печи в лес не выбегут, — с неожиданным сердцем ответил Иван и протянул ладонь Груньке: — А ну-ка, скажи мне судьбу.

Он хотел сразу выговорить ей, как давно ее знает, как счастлив негаданной встрече, и только туповато настаивал: «а ну же, а ну».

Грунька тихонько, как кошка, схватив лакомый кусок бархатной лапкой, чуть выпускает когти, погладила его по ладони, оцарапала ногтем и, красиво раскрывая очень красные губы, сказала:

— Тебе, королевич? Нет, тебе я гадать не согласна.

Схватило сердце Ивану, понял, что Грунька видит его не впервые, что давно ожидает, давно вместо другого в мыслях где-нибудь тайно целует. Рванулся к ней, а язык суконный опять сам собой одни мужичьи слова вымолвил:

— Да мы, чай, заплатим не дешевле других.

— А не всякому, парень, за деньги, иному и за любовь, — пригнувшись, шепнула Грунька. — Как выйдет месяц, приходи к старому дубу над речкой.

Не успел Иван сразу деревенским, нераспаханным мозгом понять, от радости у него или горькой досады между двух камней сердце сдавило, как уж Грунька, звеня бубенцами, тряхнув монистами, понеслась опять с гиком, чуть касаясь примятой травы.

III

Вечером, как всегда, собрала Степанида поужинать, зажгла лампу с розовым круглым шаром, пододвинула Ивану графинчик.

— Что скушный? Али в таборе ночевать захотелось?

Отстранил Иван рюмку, долго так уставился на Степошу, будто рябины все ее сосчитывал.

— Может, песню ту, — вымолвил, — что цыганка пела, споешь?

— Очень надобно, — дернула плечом Степанида, — что, из песни рубаху тебе что ли шить! Доволен тому будь, что жена вышиванью обучена.

— А я? Чему я обучен... неграмотный... — вдруг нашел Иван слово для тайной кручины и, опершись на стол так, что вместе с лампой подскочила доска, налил в рюмку водки и пошел опрокидывать, пока душу огнем не схватило.

— Как завела Грунька голосом, — заговорил он наконец, радуясь, что язык называет как раз то, что нужно, — как завела она голосом, а мне вода вдруг нездешняя померещилась, зеленая... дно видать. А небо над водой си-и-нее, деревья белым цветут, кругом дух такой сладостный. А и где та страна — я не знаю.

Иван опять потянулся за водкой, а Степоша вдруг как зайдется, из рук рюмку выдернула, расплескала.

— Ой, смотри мне, Иван, возни с бабами не затевай. Чуть что, меня сейчас к себе барышня в Питер возьмет. А ты кому тогда, дурень безнадежный, надобен?

— Да разве я что, я насчет песни... — пробормотал Иван и осекся. Хотел сказать было, что в Груньке ему не баба, а царевна персидская чудится, и пусть они себе со Степошей хоть рядом сидят: одна песню поет, другая шелка разбирает.

— А что — баба? Баба ли, монополька ли, проглотил — а назавтра опять подавай. Бабою души не накормишь.

Но ничего этого он не выразил, опять язык засуконился. Помычал про себя, будто бык одиночный, и не раздеваясь на кровать спать улегся.

Утвердившись в Ивановой простоте, Степоша скоро уснула, а белый месяц, вдвинувшись прямо в окошко, рассмеялся в лицо Ивану: под темным дубом, над речкой цыганка сидит, свою песню поет...

Не поспел и раздумать Иван, как сами собой его ноги легонечко подняли, тихой поступью на улицу вынесли. И потек парень, как к приворотному корню, в черный лес за деревню. Идет и дивуется: будто и не он, мужик безъязычный, а самый тот королевич, что Степоша в пяльцах шелками недавно расшила.

Шапка лихо заломлена, алые сапоги с оторочкой, на плечах не поддевка, конюшней прохваченная, а камением шитый кафтан, рукавом бьет опущенным по ногам, кудри ухо щекочут, а в груди песня колотится, только одна беда — губы вымолвить слов не умеют.

Подошел ближе к речке, глядит-озирается, совсем в новое место пришел. И правда: где бабы день-деньской белье полощут и весь берег голыми пятками выдавлен — в густом тумане белые девушки вьются. Вот по лунной дорожке проплыли прямо к омуту, за собой, над рекой, протянули кисейные покрывала...

— Парень, аль ослеп, — зашептали листья, и горячие руки обхватили голову, задурманили.

Дрогнул Иван и, как медведь косолапый, голый пень обнял, а цыганка далеко отскочила, будто белка, на ветвях сидит, усмехается.

— Коли любишь всурьез, добывай от своей кукушки рябой билет четвертной. Песни все пропою — помилуемся.

И убежала. Одну минуту на пригорке остановилась, вся на месяце, как осинка, дрожит, руками вскинула:

— Умчимся с тобой в край наш родной... — И уже не видать ее, ушла в землю. Было ли что, иль привиделось?

Всю как есть ночь до рассвета Иван проплутал по лесу, и такое с ним вдруг сотворилось. Прежде хотя и задумывался, а все, глядя на дерево, помнил, что оно и есть дерево, случалось и глазом прикидывал: то погнутое на оглоблю годится, а из осины совсем пора уж корыта долбить; пропустишь срок — с сердцевины гнить примется.

А теперь у него, как у тронутого, вовсе из памяти выскочило, что деревья не люди. Ходит от одного к другому, листочки рукою разглаживает, говорит как с друзьями заветными:

— Ты скажи мне, береза пушистая, как в страну мне пробраться нездешнюю, скучно здесь, мочи нет.

IV

И пошло у Ивана с женой несогласье: и то и это не так. Рябины на лице ее все как есть наизусть выучил, глаза намозолили. В вышиванье ее, после Грунькиной песни, тоже нет ему живой радости. А Степанида попрежнему тишком да молчком, как мертворожденная, дни за днями обхрамывает.

И все чаще, все призывнее выманивал его ночью месяц. Спят, умаявшись, деревенцы, а за деревней в притихшем лесу бьется в речке обманное серебро. Девушки веют белыми покрывалами, туманят Иванову голову.

Скучно ему жить днем. Опостылела чистая горница. Все равно ему: клонит ли голову к василькам грузный колос или вертопрахом, пустой, глядит в небо. Все равно ему, кого мужики возьмут старостой. Все равно: не его иль его коровы у соседа в овсах.

Если б слово сыскать, сердце выразить. Ведь вот птица поет, откроет свой клюв, и идут переливы, а человека учить еще надобно. Иного из барчуков всю-то жизнь канифолят, один лак наведут; а у тебя хоть душа разорвись, запечатан, как есть. Безъязычный.

А Степанида сердится все, к цыганке ревнует, игла в ее пальцах мелкой дрожью дрожит.

— Не опомнишься, Иван, не возьмешься, как путный, за разум, поглядишь — беда тебе будет. От тяжелой работы поотвык, чай. Пораздумай-ка.

Стояла Степоша к Ивану спиной, сухую фасоль из мешка выбирала. Лица ее вовсе не было видно. Иван, не одну рюмку в себя пропустивши, вдруг осмелел и одним духом вымолвил:

— Степоша, друг милый, тоска мне всю душу изъела, отпусти денег двадцать пять рублей. Найду в городе Груньку, пусть мне все песни свои пропоет. Вот перед богом: вернусь к тебе. Дай душе передых.

Длинную минуту неподвижно стояла Степоша. Иван уже радостно всколыхнулся, а она обернется, вся белая, да так тихо, как змея потаенная, прошипит:

— Ах, какой умник великий. И деньги подай, и с благословением его к потаскухе цыганской пусти... — Да как взвизгнет, и изо всей силы, будто крупную дробь, Ивану в лицо полные горсти фасоли.

Вскинулся Иван, бык разъяренный, сдернул с Степаниды платок, скрутил назад руки, свалил ее на пол и, не помня себя, этой самой фасолью ей полный рот...

Пред глазами у него река вздулась. В молочных туманах плещут радугой дивные девушки, все поют песни... И все яростней Иван Степаниду душит, будто большой рыбе сорваться с крючка не дает. А она, от рожденья хворая, с перепугу совсем обмерла и вот-вот уже не бьется. Отпустил Иван руки, глаза застеклились, фасолью разнесло щеки; одно за другим пестрые зерна изо рта выпираются и с сухим треском о пол деревянный стукают. Один, два, три... девять. Считает Иван, и не жалко ему никого: ни себя, ни Степошу. Рот у нее растянулся огромный, поблеклою перепонкой, как у лягушки.

— Я этот рот целовал, — содрогнулся Иван и опомнился. Раздел мертвое тело и, как живое, уложил его в кровать.

А в окошко из-за плохо припертого ставня снова месяц рогатый смотрится, тот самый, что выманивал его ночью в лес.

Глянул Иван на месяц и как стоял, так и свалился. На полу до утра в каменном сне пролежал.

Поутру, как раскрыл глаза, вмиг все отлично припомнил и в страхе, чтобы потом не мерещилось, на постель и не глядел. Заботливо перед зеркалом причесался, и будто не своей, а чужой, такой тяжелой рукой. Подивился: откуда вокруг глаз черные круги как бы углем понамечены. Еще умылся и пошел к Мокеичу, повару, на усадьбу.

Как всегда, открыл дверь, помолился на образ и не торопясь вымолвил:

— А Степоша моя нынешней ночью долго жить приказала!

Как флюгер от крепкого ветра, крутнулся Мокеич, подбежал к Ивану, мышиными глазками насквозь пробуравил, потом под иконы метнулся:

— Царствие ей небесное.

— Я сейчас в город съезжу, — заторопился Иван, — покойнице гроб наилучший...

— Тебе, што ль, добро все отказано? — оборвал, будто пролаял, Мокеич. — Ну, ну, торопись к господину нотариусу, у нее после свадьбы там книжка лежала, а по книжке и деньги. Новому богачу — наше вам с кисточкой. — Усмехнулся, приподнял белый колпак. — А недолго, ой как недолго покойница прожила, — вдруг шагнул Мокеич к Ивану и еще зашептал ему прямо в ухо: — Ой, как недолго.

— Что поделаешь, воля божья, сам знаешь... — жалобно протянул Иван, слушая свой ровный голос, на минуту подумал: ну может ли какая тварь с человеком в окаянстве сравниться?

Весь длинный путь до ближайшего города Иван проехал как бы в бреду. Сверху жарило солнце, нанятая телега, запряженная спехом, неумолчно скрипела и подскакивала на буграх. Утомительно желтела перед глазами дорога, и казалось Ивану, он на раскаленном песке должен смести в огромную кучу вроде камней разбухшую, большую фасоль. Он сгребает, а она во все стороны, будто блохи... раз, два, три... девять. Считает Иван до одури, голова на части разламывается, а в глазах все рябая фасоль, неотвязная... рябая, как Степанида.

— Эх, скорей бы, что ль, Грунькина песня, в песне будто в реке искупаешься.

Перед самым трактиром, где указал дворник, временно жили цыгане; сердце у него так запрыгало под рубахой, что он не в силах был поднять руку, взять висячий звонок.

Из окна Ивана увидели, и какой-то чернявый нахмуренный человек сам открыл ему дверь.

— А, кукушкин супружник, — оскалил он белые зубы, — много ль Груньке гостинца принес?

— Про то Груньке и знать, а тебе что, — угрюмо ответил Иван.

— А Грунька-то чья, вся моя,— расхохотался цыган. — Э, простофиля. Думаешь, Груньку, как бабу, за билет четвертной купить можно?

— А ты почем знаешь? — удивился Иван.

— Что знать-то, что! И знать еще нечего. Всего-навсего было, что стойку над речкой, как пес одураченный, делал, — насмехался цыган. — Что ж ты, деревня, али не смекаешь, что без моего ведома Грунька на заработок никогда не пойдет. Дура только она, сама себе цену сбивает. Ты меня, парень, слушай: четвертной билет всего-навсего за одну песню. Хочешь все для себя одного — ровно вдвое. А в прочее и забираться тебе не советую, потому что, видишь... — цыган показал огромные черные кулаки. — Ну что, деньги принес?

— Нет еще... — опешил Иван, — да мне хоть бы с Грунькой два слова.

— Сухой поговор нам не ко двору, другой раз тебя просим милости. — Цыган без церемонии повернул Ивана к выходу и хлопнул за ним плотно дверь. За спиной его послышался женский хохот, и к освещенному окошку, видно было с улицы, прилипло лукавое лицо Груньки. Она постучала в окно пальцами и, качая головой, будто вымолвила:

— Эх, разиня ты, парень!

Тяжело взгромоздился Иван на телегу. И так ему сразу все, что знал, опротивело. Дома — деревня с прокопченными избами, неизбывные беды, убожество. Здесь — грязный город с базарами, дымной фабрикой, продажной песней.

— Возьму скорей деньги да один далеко по белу свету прохожу себе до смерти.

V

У нотариуса, плешивого, чистого старичка, Иван столкнулся с Мокеичем. Удивился. Не тому, что он оказался вдруг в городе, а что был в полосатеньком пиджачке, вроде старого барина, а не так, как привычно, в белом фартуке и колпаке.

— Вот, господин нотариус, с подлинным верно, удостоверьтесь, сколь покойница сметлива была, свою скорую смертушку чуяла, — значительно сказал Мокеич. — Если в случае, говорит, дяденька, я помру раньше года, притом в бездетности, все пускай вашей милости и отходит. Так, аль не так?

— Так, так, с подлинным верно, — улыбнулся нотариус и с интересом посмотрел на Ивана.

— А ты, сударь-губитель, без малого месяц не дотерпел, — подскочил к Ивану Мокеич, затряс злобною бороденкою. — Ручки-то у Степоши во как, горой вздуло, а фасолю и выбрать не домекнулся. Вещественное доказательство, так теперь та фасоль прозывается. То-то.

— Скоренько обознали,— сказал Иван и вдруг совсем равнодушно опустился на стул. — А когда обознали, призывай станового, определяйте куда ни на есть. Потому, скушно мне здесь, господин, — повернулся Иван к побледневшему старичку нотариусу, — мочи нет — скушно...

1910

НОЧНАЯ ДАМА

I

Тусенька уже много лет в институте «ночной дамой», или, как позвучнее по-французски, dame de nuit.

Каждую ночь, с десяти часов вечера, она, надев мягкие верблюжьи туфли и кутаясь в теплый платок, обходит дортуары, пока в четыре утра другая дама не придет ей на смену.

Тусенька, с запухшими от бессонницы веками, едва раздевшись, валится в постель и спит. Хотя в этот нижний сводчатый этаж, где отведена ей комната № 35, как в подводное царство, глухо падают звуки, — все же неустанное треньканье колокольчика и топот ног в переменку могли бы спугнуть менее крепкий сон, но Тусеньку не будит ни суета казенной жизни, ни редкое солнышко, наводящее ей сквозь шарик стеклянного пресс-папье радужных зайчиков прямо на веки. Спит Тусенька, пока не возьмет себе все те часы и минутки, что продает она заведению за пятнадцать рублей в месяц, за стол и комнату.

Только около часу дня, когда зимой в подвальном этаже уже снова темнеет и ламповщик бежит с лестницей зажигать висячие коридорные лампы, Тусенька встает и, взяв душистое мыло «Тридас», долго плещется в большом розовом умывальнике.

Соседка Акопова, «пыльная дама», dame de poussière, стучит трижды в стену, значит, время обедать, и Тусенька, приколов перед зеркалом последний бантик, идет в комнату рядом под № 36.

— Сегодня обед exquis, — радуется Акопова в праздник, — суп Жюльен, ломтик индейки с гарниром, а на третье фисташковый торт.

Будничный обед, с вечными котлетами, клопсом и форшмаком, не вызывает в ней особенных впечатлений, в будни Акопова приступает немедленно к одним известиям «по министерству внутренних дел».

— Как это удачно, ма шер, что по утрам девицы не при тебе одеваются, Агафье Ивановне вот нагоняй! Вообрази только: в умывальной ламповщик заправлял лампу, а медамочки без стеснения умывались, инспектриса входит, quelle honte! А они хором: ах, мы не думали, что он мужчина, — совершенно как в анекдоте. А Воробьева, знаешь, черная, в две косы, оставлена без приема, — ее с подоконным поймали.

«Подоконными» звались студенты, у которых со внутреннего двора на бечевке, спущенной из окна, девицы выуживали газеты, книги и халву.

Акопова и Тусенька обе с пятилетнего возраста не выходили из казенных стен. Оставшись круглыми сиротами, попали они в «обер-офицерское» отделение воспитательного дома, устроенное для детей павших воинов, а когда подросли, перешли опять вместе в другое сиротское место, «для малолетних», где, обучившись читать, писать, танцевать и плести косички жгутиком, переехали уже в последнее огромное здание, где при въезде около железных ворот сидело по тяжкой аллегорической группе. Справа каменная женщина, держа в коленях двух толстых детей, кормила их двумя грудями, и подпись значила «Милосердие», а слева та же женщина, обняв тех же, уже подросших, но все еще не одевшихся толстяков, держала пред их носами каменную книжку, и была она «Просвещением».

Вот как въехали в эти ворота Акопова с Тусенькой, так и просидели безвыездно все девять лет. Учились обе до того плохо, что пристроить удалось их только к должностям, где не нужно было ни иностранной сноровки, ни прочих наук: Акопова — пыльная дама, dame de poussière, Тусенька — ночная, dame de nuit...

У Акоповой в комнате хорошо: вследствие неустанной войны с пылью, налагаемой должностью, у нее как-то особенно чисто и все на местах. На большой лампе

бумажные розы, и свет из-за них разливается нежный, совсем как заря, так что желтая птица в клетке, как зажгут лампу, всякий раз обманется и запоет.

Акопова смеется: нам в лес бегать не надо, спичкой чирк — и готово.

По стенам у Акоповой висят группы выпусков, почетный опекун, картинки с конфетных коробок, открытки. Над белоснежной кроватью с тремя «думками» из золотой круглой рамки смотрит головка мальчика-итальянца. И хотя эта головка та самая, всем известная, намозолившая глаз на брошках, коробках и веерах, но в том, как любовно она повешена, кроется «тайна». Так вешают неудавшийся, близкий сердцу любительский снимок или страшную мазню красками «дорогого человека».

Так оно и было: итальянчик звался мысленно «Джузеппо-сынок мой» и попал в золотую рамку еще в те ранние годы «пыльной службы» Акоповой, когда она мечтала выйти замуж за старшего приказчика от Аванцо, красавца мужчину Альберти, знакомого одной из французских дам.

Альберти, по тайным расчетам Акоповой, должен был стать отцом «Джузеппо-сыночка», но хотя они и выпили несколько раз вместе чай у француженки, Альберти женился на барышне из парфюмерного магазина, и Акопова осталась век свой вековать в комнате № 36, с невоплотившимся «Джузеппо-сынком» на стене.

Много ли, мало ли потосковала Акопова, однако успокоилась, да и Альберти-то разве ей что обещал! Только и было, что усы крутил да черным глазом сверкал. Приспособилась Акопова к своей почти бездельной, строго размеренной жизни и стала понемножку толстеть. Важно плавая с утра до ночи по классам, в погоне за непорядком и пылью, она не без удовольствия покрикивала на горничных, жадным ухом впивала слухи и сплетни.

Впрочем, кроме маленьких этих радостей, появилась главная, неизменная. Акопова копила. Да, из своего пыльного жалования, пятнадцать рублей с вычетом, она умудрялась откладывать кой-что на книжку, про «черный денек». Уж и сейчас страшна была к старости богадельня с общей комнатой, без своего угла: «поставят кровать на юру, промежду двух старух, негде будет и группы повесить, а птицу, коли не сдохнет, и вовсе бросай...»

И что же, при бережливости и даже очень скопить возможно: стол, квартира готовые, ходить в гости некуда. Платье носи не сносишь, а белье с чулками не допускай только до больших дыр. И Акопова не допускала. Правда, в тот день, как приносили из стирки белье, она бывала грустней других дней, и вместо «внутренних дел» тихо плакалась Тусеньке: чулки фильдеперс куда в носке не спорки, фильдекосовые — гривенник набавь, а пятки-то двойные.

— Дешевле нет, как аршинами брать, — отзывалась Тусенька, — Агафья Ивановна где-то лавку открыла, по ноге резать да по ниточке стягивать, но только одна Агафья Ивановна так делать и может, ей ведь до comme il faut[1] безразлично.

— Агафье Ивановне подражать нам нельзя, — подтверждала Акопова, — она мещанка — мы дворянки, мы офицерские дочери, мы по аршинам чулок покупать не станем, нам это шокантно.[2]

Несмотря на свои не самые уже юные годы, Тусенька все еще мила пышными светлыми волосами, тонкой фигурой и ямочками на круглых, хотя потерявших румянец, щеках. Настоящее имя ее Зиночка, но пушистая голова напоминает зайчика, и как прозвали ее в маленьком классе Тусенькой, так и осталось.

Первые годы службы Тусенька жила что птичка: ни хлопот, ни забот, жалованье в первый же день все фу-фу — шоколадки, прошивки да цветы. Больше всего цветы нравились — орхидеи, нездешние, приезжавшие с юга в коробках с ватой, ах, как хотелось самой нарвать их там, у теплых морей.

Да, мечтательница была Тусенька; то-то Агафья Ивановна, та мещанка, другая «ночная дама», что покупала чулки аршинами, с первого же года предложила ей прочно установить часы дежурства: Тусенька с вечера до рассвета, а ей утро и проводы в класс. Хитрая, уже опытная в ночном деле женщина, о, она знала, что ночное дежурство гораздо труднее утреннего, да и следующий день весь пропащий. А встать рано — здоровое дело

---

[1] Как следует, порядком, прилично *(франц.)*.

[2] Не нравится, оскорбляет, унижает (от франц. choquer — оскорблять, унижать, не нравиться).

и нетрудно, за плечами уже первый сон, самый сладкий, потом с полчаса всего прикурнуть, а день-то весь твой. Глупенькая была Тусенька, даже обрадовалась предложению Агафьи Ивановны: ах, наконец-то я восход солнца буду встречать, памятны были ей еще объяснения учителя русского языка о том, что это самое поэтическое время дня. Помнила, как и сама в сочинении «радостные чувства при восходе солнца и грустные при его закате» восхваляла и пение птичек и «огненное светило, выходящее, как расплавленный шар, из серебряных облаков».

Глупенькая была Тусенька, совсем забыла, что казенное заведение стояло не в жарких странах, где светает, когда и не ждешь, а на болотах, где солнце в длинную зиму тусклей фонаря. Да, попалась, — а назад уж неловко, вот и шлепает туфлями из старшего отделения в младшее, пока не выгорит керосин, не запахнут лампы. Запахнут лампы, пойдет огонек примаргивать да кривляться — значит, время смены. А розовые зори да «светило», как смотрела она на них, бывало, перед тем, как писать сочинения, на картинках, так все там и осталось. Одну птичку живую у Акоповой в клетке только и слышит, ту самую, что ламповый свет с солнцем путает, да и птичка все что-то хохлится, вот-вот лапки протянет.

По началу пробовала Тусенька от молодежи не отставать, с девочками дружилась. Первые выпуски славные были, еще ее помнили взрослой, себя маленькими, секреты свои поверяли, поручали купить шпротов. Но вот все знакомые замуж повыпорхнули, а для новеньких она уж не Тусенька, а одна только dame de nuit, ночная дама, чуть повыше рангом Марьюшки — угловой, что за шалуньями бегает с мокрой тряпкой, не дает леденец в печке плавить. Новым девочкам не приходит и в голову поверять Тусеньке свои секреты, а над любовью ее к нездешним цветочкам они просто-напросто фыркают.

— Вот потеха-то, ночной крот, dame de nuit, желает, медам, в апельсинные рощи, а ну, покажем-ка ей «древнюю Грецию». — И ведь показали...

Как-то около полуночи, когда Тусенька, встряхивая пушистою головой, чтобы смигнуть первый сон, вошла в дортуар старших, она взглянула на тумбочки, громко вскрикнула и села на пол. Около кроватей в разных позах, наподобие греческих статуй, стояли девицы, совер-

шенно без всяких костюмов. У Амура игрушечный лук, у Венеры ленточка, а прочие с одним лишь античным телодвижением.

Не закричи Тусенька, все бы кончилось честь честью: ну, постояли бы олимпийцы, пока не иззябли, и все тут, а ей за доброту — почет и ласку. А тут на крик ее инспектриса из коридора откликнулась: «Qu'est-ce qu'il y a?» [1] и пришла в дортуар.

Олимпийцы, пока она шла, успели не только в кровати юркнуть, но и облечься в ночные рубашки и глаза закрыть в безмятежном покое, так что на повторенный вопрос: «кто кричал?» — потрясенной Тусеньке, вскочившей с пола, пришлось в смущении признаться, что это она сама.

Первая ученица, примерница с хорошей фамилией, бойко обратилась к инспектрисе с французской речью, сообщая в ней, что la dame de nuit очень нервная и вскрикнула от испуга, увидав неожиданно белую фигуру, так как, каялась притворная девочка, «я заснула, забыв помолиться, но меня во сне стала мучить совесть, и я вдруг поднялась, чтобы загладить свой грех».

— О, нельзя забывать молиться, — сказала инспектриса, а Тусеньке бросила снисходительно: — Вы бы лечились от нервов!

С этих пор девочки прозвали Тусеньку «кликушей» и старались всячески ее изводить. Особенно досаждали «авантажным мужчиной», — так звалась кукла, состряпанная из набитых тряпьем панталон, ночной кофты и большого усатого мячика — головы, привязанного к туловищу так, что едва тронешь — он вырвется и запрыгает. Тусенька кидалась от одного авантажного мужчины к другому, в нее летели мячики, думки, башмаки, пока на визг не приходило начальство и под всеобщее ночное сопение, опять не дознавшись виновных, делало Тусеньке новое замечание, что она не умеет держать в руках класс.

На воле у Тусеньки сейчас тоже не было много радости: первое время замужние подруги даже радовались встречам, охотно хвастались мужьями и пенюарами, а едва осмотрелись, едва заняли в обществе свое положение, заговорили уж так:

---

[1] «Что случилось?» *(франц.)*.

— Это воскресенье, ма шер, пропусти, у нас светские гости, ты понимаешь... надо быть одетой; или скрывай, ради бога, что ты dame de nuit, муж смеется, что это неприличная должность и так мизерно... у нас горничной дают больше.

И вдруг у Тусеньки в жизни событие — жених. Да не такой, как у Акоповой, из «воздушного замка», а настоящий — студент второго курса. Потанцевала с ним Тусенька на единственной своей вечеринке под Новый год, а он тут же за пушистые волосы прозвал ее «Маргариточкой» и пошел попадаться на улице. На улице в скором времени и предложение сделал. Убеждал сию минуту выходить за него замуж да поселяться в комнатке Еропанова дома, сплошь заселенного женатыми студентами.

Совсем было дело наладилось: уже Тусенька вспыхивала, завидев у входных ворот студента, уже всякий раз задумывала: если идет он под статуей Милосердия, она будет с ним счастлива, а если под Просвещением, то зараз счастлива и богата и поедет к теплому морю, будет рвать своей рукой орхидеи. Но студент такой непоседа, все бегал от одной аллегории к другой, и не разобрать, из-под чьих каменных ног вдруг выскочит, схватит за руку и потащит гулять. И была б свадебка, и поселились бы в доме Еропанова, и худая ль, а уж вышла бы новая жизнь, не вмешайся в это дело Акопова.

Вместе с Тусенькой и студентом сходила как-то Акопова в дом Еропанова, осмотрела будущую комнатку молодых — об одном оконце с упором в красный брандмауэр, сбегала на общую кухню, где как нарочно из-за кипятка сцепились крупно две чьих-то жены, а третья их разнимала. В тот же вечер, перед тем как Тусеньке идти на дежурство, Акопова до горьких слез потрясла ее разговорами о грядущей квартире в доме Еропанова. «Куда туалет свой, ма шер, ты поставишь? Там на двух места меньше, чем тут на одну. А пойдут дети, и на зеркальце пеленки повесишь, а придет студент пьяный, или за революцию его в тюрьму посадят... студентов всегда сажают. Во всяком случае орхидей тебе, извини, ма шер, за выражение, как своих локтей, не видать, и чулки покупать, хочешь не хочешь, а придется аршинами».

Тусенька, до утра шлепая туфлями, тихонько плакала, представляя себе красный брандмауэр у Еропанова,

студента в тюрьме, свару всех жен в общей кухне и, самое страшное, свои тонкие, маленькие ножки в уродах мешках, как ножищи Агафьи Ивановны.

Отоспавшись, Тусенька с особой любовью перетерла тонкой тряпочкой листья огромного арума, гордость ее девичьей комнатки, переставила цветущие гиацинты и, взяв карандаш и бумагу, с удовольствием перечислила блага, какие дает ей казна: жалованья, конечно, немного, но отопление, освещение, стол... перевести все на деньги, как раз вдвое больше того, что студент в лучший месяц имеет с уроков.

— У нас денег нет, как же мы будем жить? — спросила Тусенька жениха в первый же раз, как он схватил ее за руку, чтобы вести на бульвар.

— Голодать будем, вот беда, — засмеялся студент, а Тусенька надула губки, подумала: вот еще, мне совсем не охота. И стала его избегать.

Когда же студент как-то назвал ее «раскисляйкой», она окончательно обиделась: и отлично, я вам вовсе не пара...

Перестал студент поджидать Тусеньку под двумя аллегориями, перестала Тусенька загадывать о своей с ним судьбе и мало-помалу, совсем как Акопова, увлеклась «внутренним министерством». Правда, щемило досадою сердце, когда глаза нет-нет, а искали кого-то под каменными ступнями Милосердия и Просвещения, но едва Тусенька влюбилась по карточке в проезжего тенора, которого потом видела в «Фаусте», последняя мысль о студенте растаяла. Тенора скоро сменил клоун Дуров, потом фокусник Баб-эль-Эддин, дававший представление институткам в чалме и в восточном халате, потом Миклуха-Маклай, с скорбным тонким лицом, в пальто мехом кверху. Понемногу у Тусеньки все стены комнаты увесились разнообразными мужскими лицами, современными и бывшими знаменитостями. Девочки, пронюхав об этом, наперерыв вбегали гурьбой, чтобы выбрать себе «кавалера», как осенью, разбирая учителей на предмет обожания, и сейчас они ссорились и перебивали друг дружку:

— Мой лорд Байрон.

— Нет, я первая, твой Баттистини...

Однообразные Тусенькины годы, без солнца, день

и ночь с керосиновыми лампами, делали ее с каждым месяцем апатичнее, все чаще посещали мигрени, кололо в боку, и, как слабо тлеющие в жаровне угли гасит плотно надетая крышка, потухали ее мечты.

Новых фотографий заводить не хотелось, от театра пришлось отказаться, не под силу сделалось платить лишней бессонницей Агафье Ивановне за просроченное ночное время. А образ мужчины, которого втайне все еще встретить хотелось, как соткался из разных мужских лиц, так на том и замер: красивые локоны Байрона и Миклухи-Маклая спадали на высокий лоб Шекспира, глаза брюнета-баса, фигура Альфреда Мюссе в старомодном высоком галстуке. И не много б взяла теперь Тусенька от героя: букеты фиалок, конфеты и долгие tête-à-tête[1] без слов. Даже не это — теперь только бы встретить его, только б вот взял и вошел...

А между тем года шли, то и дело пломбировать приходилось зубы, волосы лезли и войлоком оставались на гребенке. По болезни приходилось нередко манкировать ночными дежурствами, и делалось страшно, что вот-вот откажут, не дотянет до пенсии и придется оканчивать дни в богадельне.

Как и Акопова, Тусенька теперь жадно копила про «черный день». Теперь уж не водилось у нее ни прошивочек, ни шоколадок, ни цветов — все на книжку. Без цветов особенно было скучно, да спасибо Акоповой, вместо дорогого удовольствия она придумала заменяющее его подешевле:

— Ты купи себе, ма шер, за гривенник яичко с духами, Брокар и К⁰ или Ралле, в аптекарском магазине большой выбор, каких хочешь запахов, чуть надушишь думочку, закрой глаза — и совсем как в цветах.

И вот как-то под весну, в ясный теплый денек надумалась Тусенька побаловать себя, пошла искать запахов. Весело вошла в магазин, со смешком стала рыться в плетеной корзинке, где навалены были кучей стеклянные яички с дешевыми желтыми и зелеными духами.

— Ежели сирень обожаете, нет лучше запаху, как ли́ла де перс, — говорит приказчик.

[1] С глазу на глаз, наедине (*франц.*).

— Вы советуете лила́ де перс, — поправляет ударение Тусенька и, подняв пушистую голову, сперва вспыхивает, потом бледнеет.

В дверь только что вошел тот самый студент, ее бывший жених, а с ним нарядная барыня. Студент, теперь плотный, холеный господин, тоже пристально взглянул на Тусенькины светлые волосы, признал былую «Маргариточку», подошел:

— Это вы? Неужто попрежнему там, ночной дамой...

— Да, я попрежнему, — задохнулась Тусенька и, не желая знакомиться с нарядной дамой, может быть его женой, положила обратно «лила де перс» и убежала из магазина.

Два дня Тусенька за обедом не говорила ни слова, несмотря на то, что один день такой был солнечный, что без ламп до вечера просидели, а второй день был царский, и Акопова, съев индюшку и фисташковый торт, особенно была нежна с подругой:

— Ты все ежишься, верно зябнешь, ма шер, что же делать, для серьезной причины тронь сбережения, купи себе новый пуховый платок.

— Зачем мне, не стоит, — промолвила вяло Тусенька.

II

Как-то в воскресенье зашла к Акоповой знакомая капитанша, всю свою жизнь пропадавшая в богомольях. И сейчас капитанша собиралась ехать в Евсеевский женский монастырь.

— И на холодном озере я побывала, где Николай-угодник матерь божью встретил, и у Тихона Задонского, отца Глеба видала, что святителев гроб стережет, перчаточку дал мне с ручки, а все не Евсеевский... в Евсеевском мать-игуменья, мать-казначея, обе роду дворянского, все сестрицы хорошего тону, у всех келейки прибраны, цветов — хочешь нюхай, хочешь букеты вяжи...

— Послушание у них, ма шер, тяжкое, — сказала неодобрительно Акопова, на службах пятки все отстоишь.

— Ах, не скажите, службы все сокращенные, часок ночью попеть, потом сон еще слаще. Вот ваша Тусенька ночи годами не спит, небось похуже, — заступалась

капитанша рокочущим баском за Евсеевский монастырь. — А хлеб у них, душенька, — объедение, я вам залец и в филипповском разыщу, а у них уж ни-ни, а пирожочки с повидлами, а просфорочки...

Тусенька вздрогнула, когда капитанша ее помянула, она все о чем-то теперь задумывалась, и вдруг сказала:

— Возьмите меня в монастырь, мне отпуск наверно дадут!

Акопова было всполошилась; очень необыкновенно показалось желанье подруги; сидела, сидела без выезда — и на тебе, вдруг... но, вспомнив, как жалостно кутается Тусенька в старый платок, идя на дежурство, как вечно кашляет да прихварывает, всегда благоразумная Акопова сказала:

— Что же, здоровье, конечно, дороже всего, без здоровья и пенсии не выслужишь, — и сама первая стала рассчитывать, во что обойдется проезд.

— Святое такое место, а ведь рукой подать, — чуть отодвинула от своего полного стана небольшие ладошки капитанша, — вторым классом два рубля, а за прожитие — у кого сколько щедрости. В кружку кладешь — и не смотрят. Одна барыня квитанцию заказного письма положила.

Ночную даму отпустили на богомолье. Заперев свой шкафик, Тусенька собрала пожитки в саквояж, расцеловалась несчетно с Акоповой и поехала.

— Правда ли, что у монашенок послушание, — своей воли совсем нет? — переспрашивала в сотый раз Тусенька капитаншу.

— Уж такое-то послушание. Не то что жить — умереть себе без игуменьи не позволят. Мучается иная, а отойти и не смеет: благословите, матушка...

— Из монастыря никуда им нельзя? — еще пытает Тусенька.

— По своей воле, что это вы, — обижается капитанша, — когда пошлют, тогда и отлучится. К одной рясофорной, чудная певчая, просто бас, письмо в сочельник пришло, что отец умирает, а мать игуменья говорит: «Давай-ка лучше помолимся, чтобы бог отложил отцу смертный час, ведь тебя заменить в хоре некому, неравно архиерей пожалует...»

Сама не знает почему, радуется Тусенька, что нет у монашенок своей воли, что так трудно им там за оградой, а она вот в первый раз как захотела поехать, взяла да поехала...

В обители капитанше и Тусеньке отвели светлую комнату угловую, в чистом флигельке. Одним окном келья выходила на поле, в другое можно было видеть все монастырские постройки: скотный двор, водокачку — башню с круглым образом, глазом-хранителем обители. За башней в белой оградке свое домашнее кладбище, с венками из свежего ельника, с неугасаемыми лампадами.

Капитанше почти все знакомые; то и дело вплывают в келью чинные манатейные да рясофорные матери, в высоких своих клобуках, или, не умея сдержать еще девичьей резвости, вбегают молодые послушницы — «ленточки», в черном кокошнике с хвостиком на спине.

Мать Вера, рясофорная, с белым лицом, с мягкими, легко вбирающимися в рот губами и глазами черными, без ресниц, завела длинную речь о случае в Козицкой обители.

— Стра-ашный был там, сударыня, бык, бодучий, на рогах у него доска, вот запутался как-то в цепи, а игуменья посылает сестрицу распутать.

— Боюсь, матушка, забодает...

— А святое послушание твое где?

Поклонилась сестрица низко, пошла. Едва быка распутала, он как хватит рогами, всю помял, потоптал...

— Сестрицы быка колотушкою оглушили... — морщась, как от боли, подсказала бледная послушница, чтобы скорее докончить рассказ.

Мать Вера недовольно пожевала губами и не торопясь продолжала:

— Оглушить — оглушили, ан монахиня все равно при смерти. Как на носилках ее мимо мать-игуменьи проносили, только силушки у нее и хватило сказать: «За святое, за послушание отдаю, матушка, богу душу».

— Вот уж истинно в светлый рай унеслась ее душенька, — отирает слезу капитанша.

— Благословите войти, — вдруг стучит в дверь и входит Катюша-ленточка, прислужница мать-игуменьи. — Матушка просит гостей чай откушать.

— До чаю времени с добрый час, — говорит ласково мать Вера Тусеньке. — Не пожелаете ль взглянуть на обитель?

Ей до смерти хочется, оставшись вдвоем с капитаншей, без стесненья посудачить о всех монастырских делах. Катюша-ленточка ведет Тусеньку по длинным коридорам, совсем как в институте, даже кельи-комнатки с нумерами: благословите, мать Манефа, войти, благословите, мать Марья...

Отворяются двери, к себе зовут монахини, то старые, с желтыми, окостенелыми лицами, то молодые, будто на час переряженные в клобук красавицы. Но и эти, даром что улыбаются земной улыбкой и растят с любовью герань на окошках, восковое вьющееся дерево и алоэ — лечебный куст, и эти уже не выйдут отсюда, уже не снимут клобук. Они ль жизни не приняли, она ль к ним повернулась мачехой?

— У мать Манефы муж застрелился, — шепчет, едва вышли, проворная «ленточка», — мать Ирину по судам затаскали, невинно обидели, а вот сейчас мать Олимпиаду увидим, так у нее трое деток сгорело... Только платочком носик заткните, в золотильной мастерской дух тяжелый. Десятый год сидит мать Олимпиада над своею работой, деревянную резьбу перманентом, тухлым белком да еще чем-то смазывает, под золото готовит, и все молчит...

Мать Олимпиада, полная, налитая нездоровым желтым жиром, какой бывает у отварной осетрины, сидит с кисточкой, склонившись над резьбой. Отвратительный запах ударил в нос, Тусенька покраснела и хватилась за платочек, а Катюша прыснула.

Мать Олимпиада подняла на обеих добрые старые глаза, в которых вдруг вспыхнула глубоко замурованная жизнь, и, с трудом ворочая тяжелым, отвыкшим от разговоров языком, сказала:

— Ничего, дух здоровый.

— Отчего вы не займетесь другим делом? — спросила Тусенька.

— Мне так лучше...

Мать Олимпиада потухла, опустила голову и принялась опять за работу, а ленточка-Катюша вывела Тусеньку на свежий воздух.

— Хотите в лесок, у мать-игуменьи чай пропустите, я вам ужо в келейку принесу.

Тусенька позабыла, что утром еще ее сильно лихорадило, оделась, и обе вышли по чистым, широко положенным доскам, через красные ворота, мимо башни с образом — сторожевым глазом, по тропиночке в лес.

Зима уже шла на убыль, морозные дни то и дело прорезал день весенний; и когда солнце плавило снег, лес казался вспомнившим лето. Хотя его деревья все еще были неодетые, но сквозь растопившийся снег зеленели куски прошлогодней травы.

На прогулку Катюша обвязалась платком, и лицо ее стало еще милей и моложе; присели рядком на большой пень.

— Отчего вы пошли в монастырь? — спрашивает Тусенька.

— Да я только на времечко, — смеется Катюша, — сейчас в миру ни к одному человеку нету мне веры, потому что себе самой я не верю. А как мне поверить себе? Двум женихам отказала подряд; полюблю — разлюблю, разлюблю — полюблю... вот тут в тишине, в послушании соберусь разумом. На денек привезла меня тетенька, а мне и понравилось, надоест — в мир уйду.

Катюша долго еще болтает, но Тусеньке неинтересно: как тогда, при рассказе мать Веры о бодучем быке, было ей радостно, что монахиням тяжело их послушание, так и теперь, наоборот, и досадно и словно обидно, что Катюша не только не жалуется ни на что, а все у нее просто, все весело.

И как только стало ей неприятно, сейчас почувствовала Тусенька, как сильно ей нездоровится, как кружится голова, как ко сну клонит.

К мать-игуменье пить чай Тусенька не пошла, сославшись на головную боль.

Говорливая капитанша ушла одна с матерью Верой, а Катюша-ленточка с рясофорной Пелагеюшкой принесли большой поднос с самоваром и печеньями в келью. Непоседа «ленточка» упорхнула, а Пелагеюшка села на диван. Здоровая, крепкая, печь-баба, зубы блестят.

— А вы как сюда? — одно знает Тусенька.

— А всего в мире повидела, — нараспев ведет Пелагеюшка, — в волюшку поплясала, кого любила, за того

замуж пошла, того и в землю сховала, и дочечку и матушку родную. Новый дом заводить неохота, а с родней раскардаш: тот советчик, тот наказчик, только здесь — душе весело.

Стелет Пелагеюшка постель, взбивает подушки, хвалит монастырскую жизнь: по силе работаю, и грамоте обучили, к шестопсалмию выпускают...

— Мне нездоровится, — прерывает Тусенька, — сейчас я усну, а к полунощнице вы постучите...

Заправила лампадку перед большой образницей в углу, ушла Пелагеюшка.

Тихо в комнате, мигает зеленой звездочкой огонь в лампаде, ближе придвинулись к окнам деревья, темно за деревьями.

Забылась Тусенька в лихорадке, и приснился ей сон.

Стоит она будто в классе опять институткой, в белом переднике с затертыми мелом чернильными кляксами и ждет со страхом чего-то, и все кругом, лиц не видно, стоят и тоже ждут. Посреди класса большой черный стол, отполированный гладко, и ламповые в нем огни, как в черном зеркале, отражаются, тоска тянет душу глядеть. И вдруг дверь настежь, и входит Страшный суд: начальница, покойная баронесса Враде, швейцар Телехов, эконом и ангел.

— Кто хочет в рай, берите свои кувшины, с кувшинами только и примут, — объявляет начальница.

— Чем полнее кувшин, тем больше и чести, — подхватывает эконом, такой же толстый, как был, почему девицы шутили, что он сырым пожирает все мясо, а им на второе блюдо велит поджаривать суповое.

А швейцар Телехов, за грязь выгнанный со службы и сейчас закапанный стеарином, пригласительно машет рукой: пожалуйте, барышни, те, что в рай.

Все, кто кругом, сами не видные, берут с полу кувшины и ставят их на плечи, как грузинки в «Демоне», когда идут за водой на Арагву. Всех Тусенька знает, все покойницы, только лиц не видать, одни кувшины к дверям движутся, а на кувшины два света падают: один серенький, утренний, из окон, другой желтый, от незагашенных ламп.

«Что в кувшинах? — думает Тусенька. — Такие тяжелые». — И ужас у нее от двойного света, тоска. А швей-

цар Телехов строго торопит: извольте, барышня, свой кувшин раздобыть, а то в рай не пустим.

А покойницы все уж проходят, самих не видать, серые кувшины одни тянутся мимо начальницы, эконома и ангела. Тронет ангел кувшин — и нет его, ничего нет, покойница в рай попала.

Мечется Тусенька по подушкам, огнем пышут подушки, а в душе холодно: не найти ей своего кувшина, не выпустит Телехов вон из класса, век придется стоять да смотреть на два света: на серый оконный да на ламповый, что отражается в черной доске полированного большого стола.

Заплакала Тусенька, проснулась, зажгла свечу, прояснело в голове, вспомнила, где находится. Вспомнила только что виденный сон, будто где-то уж раньше о кувшинах таких вот в книжке читала, и конец такой был: «а в кувшинах этих слезы...»

— Слезы, — повторила Тусенька и вдруг поняла: кто за свою жизнь кувшин слез не наплачет, того никуда дальше и не пустят, с чем прожил, с тем и сиди... — Да разве жил тот человек, который не плакал, жила разве я?

И, сжав руками тупо ноющий, еще не сморщенный лобик, она стала думать; в первый раз изо всех сил стала думать над своей жизнью.

Да какая жизнь? Один испуг только и был, а не жизнь: маленькая, боялась классных дам, черного коридора, учебника арифметики с какими-то фруктовыми фамилиями: «Малинин, Арбузов...», а кончив курс, воли испугалась: шумных улиц с трамваями, с пьяницами, с ломовиками.

Поперек перейти — раздавят, а комнату снять от хозяйки да искать занятий — вдруг ворвется кто-нибудь с улицы да изнасилует... мало ль в газетах написано.

Да, начиталась Тусенька ужасов в мелком шрифте, под рубрикой: «Происшествия», и с перепугу пошла в ночные дамы. Но что ж в этом занятии такого неприличного, чтобы Верочкину мужу смеяться. И никого, никого в целом мире, кто бы посоветовал: ни брата, ни тетушки — никого, сирота, из обер-офицерского отделения...

Тусенька подумала, что так вот вымереть всей родне, как вымерла у нее, прилично было бы разве в холерный год или в чуму, как это случилось со всеми в любимом

романе ее «Пугачевцы» графа Салиаса. Но едва подумала, сейчас же стало грезиться, что ее красное от жару тело вздувается в большие бобоны, верхушка чернеет, а Акопова, забыв долгую дружбу, с раздражением говорит: «Засыпьте ж ее в яме известью, она ведь заразная».

В дверь стучат, Тусенька вскрикивает.

— Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас... — говорит Пелагеюшка и входит с четками, в большом клобуке.

— На полунощницу пора... — припоминает Тусенька, — а у меня, Пелагеюшка, жар, мне страшное чудится...

— От страхов крест святой да свеча Николай-чудотворцу, он над бесами власть имеет.

Помогает Пелагеюшка одеться, шубу застегнуть; идти в церковь опять по доскам, мимо монастырского кладбища. Остановились на минуту: не страшно тут лежать, могилки, словно коврами, зеленой хвоей покрыты, везде лампады, скамеечки для сестриц, то и дело проведывают.

Совсем ясной на холоде головой думает Тусенька: «Немного и разницы вышло бы мне: здесь лежать или опять в ночных дамах жить оставаться; как здесь покойницы, и я, там у себя, солнца не вижу.

В церкви ласково поклонились знакомые рясофорные и опять за молитву: падают они на колени, вслед за широкими, сборчатыми шлейфами склонивших клобук до земли манатейных, все, все пришли сюда, мало ль чего испытавши, тяжелые кувшины принесли, понаплакались...

— Одна я без слез...

Украдкой, в земном поклоне, плачет Тусенька, вспоминая, как студента своего совсем было любить принялась, да любви струсила. Из-за общей кухни Еропанова общежития, да двойной чинки белья, да голодных дней.

А студент из всего из этого выскочил. Все Акопова, все она смутила.

Страшно Тусеньке, не хочет она об Акоповой плохо думать, ведь одна у нее подруга и есть за всю жизнь. Надо б любить хоть ее, страшно так, страшно умереть, никого не любя.

А голос какой-то, как живой, говорит: «Вот и не любишь ты вовсе Акопову, и теноров не любила, ни Миклуху-Маклая, ни Байрона, ни всех тех, кем себе стены

увешала, — все трусость одна да глупое баловство. Один и был только студент у тебя живой, настоящий, а студента этого ты и проморгала. Пустышка — вот она жизнь твоя».

Кончилась полунощница: прошелестели манатейные в своих черных мантиях, две из них свели под руки со ступенек высокого деревянного кресла мать-игуменью, былую красавицу, теперь согбенную благую старицу. Живей белок юркнули за спиной ее молоденькие «ленточки» досыпать прерванный сон.

— Сами ль найдете во флигель тропочку? — спросила на воздухе Пелагеюшка. — Мне время к коровушкам забежать...

— Найду, найду, мне от церкви полегчало, — улыбнулась Тусенька.

— Светать скоро станет, теперь на весну ночь убавило, — прикрывая зевоту белой рукой, сказала мать Вера другой монахине, и обе завернули в келью.

Тусенька взглянула на посветлевшее за темным еще куполом небо, и вдруг ей пришло в голову такое веселое и, как показалось, такое дерзкое, что она сразу сама себе не поверила и застенчиво улыбнулась: хорошо, что Акопова не узнает. Боясь раздумать и самой себя вдруг испугать, она ускорила шаг и вместо чистого флигелька направилась прямо в лес к зеленой калитке, которую, помнилось ей, Катюша защелкнула только задвижкой, когда они возвращались с прогулки.

Так оно и было: Тусенька открыла калитку и вошла в лес. Она шла, пока знакомая уже тропинка не оборвалась спуском к озеру, чистому от зимнего льда и, как девичья постель покрывалом, прикрытому белым туманом.

Тусенька выбрала камень под елью, откуда далеко шел простор, а на небе по наметившемуся желтоватому кружку понять можно было, где должно появиться солнце. Она подняла воротник шубы, почувствовав большую слабость от охватившего ее с новой силой озноба, прижалась спиной к широкому стволу ели, ноги поставила в мягкий распухший от сырости мох и стала смотреть в небо.

Озноб перешел в жар, и это было приятно; сидеть под елью стало удобней, и никогда не бывшая, какая-то детская радость запрыгала в сердце. Провалились куда-то

года, проведенные в ламповом свете под № 35, и вот сейчас, с этой самой дурашливой встречи солнца в монастырском лесу, началась интересная жизнь.

Тусенька догадалась: до сих пор была она кем-то туго спеленута, а тут взял другой кто-то и распеленал. Такие веселые пошли мысли: вот вошла она как-то вечером к швейцарихе: купает швейцариха младенчика. Лежит он красный, брыкает ручками, ножками, а швейцариха, пробуя локтем воду в ванночке, любовно ему говорит: «Ослобонился, собачий сын».

Тусенька знает, что теперь уже ни за что больше не вернется обратно, в ночные дамы. Уж что-нибудь она да придумает, и будет у нее, как у людей, день днем, ночь ночью. И жених опять будет. И она, как Катюша-ленточка, — захочет его полюбить — полюбит, а не захочет — и так проживет. Цветов разведет много на окнах, таких вот цветов, какие сейчас горят в небе, вон там золотом протянулись над облаком.

— Ноготки, настурции, циннии... какие еще желтые есть цветы?

Смотрит Тусенька в небо, кружится у нее голова, в голове кружатся яркие небесные цветники. Уж не на камне сидит она, а съехала телом в сырую перину, в зеленый частый мох. А глазами хоть хорошо видит, а путает: где земля, где небо, над головой ли, под ногами ли пышный сад зацветает?

Тепло и мягко в зеленой перине, щебечут в ветвях воробьи. Уплыло в свой облачный дом последнее облако, розоватыми незабудками занялся край неба, а на нем золотое, как в жаркий полдень подсолнечник, поднялось вдруг «светило». То самое, о котором Тусенька писала с чужих слов в сочинении, то самое, что долгие годы, устав от ночного дежурства, просыпала она в своем № 35.

1912

БЕЛЫЙ СЛОН

I

На самом выезде, почти рядом с вокзалом, были в городе номера «Гельголанд». Внизу комнаты в рубль, повыше в полтинник, а над ними во всю ширину дома шла одна большая подчердачная комната, разделенная перегородкой на мужскую половину и на женскую; углы от окошка в этой комнате шли подороже, углы черные — подешевле.

— Не рушь стенок, Дунюшка, не бесчесть балкон гадами, голыми девками да зверьем, — наказывала, умирая, старой девушке Евдокии Вараксиной ее маменька. И вот, как ни разбегались у Евдокии глаза на так называемый «стиль модерн», которым наперебой расцветился весь город, как ни соблазнял соседний балкон с богом моря, занесшим трезубец над головою прохожего, она не рушила воли покойной. Только всего и перемены, что по совету Арсения Половенского, почти архитектора, ученика местной школы, дом пущен под номера с названием «Гельголанд».

Арсений уверил, что так было и образованно и не навязло в ушах, как разные там «Метрополи» да «Гранд отели».

Две громадных рекламы: калоша летняя и калоша глубокая, зимняя упирались с обеих сторон прямо в крышу гостиницы, а кругом шло свободное поле с высокой травой, с неподвижными, будто врытыми в землю коровами и барашками, похожими издали на дешевые

игрушки. И рядом с бакалеей, с двухцветной портерной и с трезубцем, нацеленным на прохожих, «Гельголанд» был так особенно мил своею скромностью, что жить в него попадали все люди хорошие: если мужчина — значит, непьющий, а женщины средних лет, без малейшего визгу и сплетни.

Внизу, кроме самой Евдокии Вараксиной, две вдовы капитанши; обе живут на пенсию. Дальше бывшая классная дама столичного института, мадемуазель Топоркова, занимала одна с обезьянкой и горничной целых три комнаты.

— Я того мнения, — говорила она, — что даме из общества несравненно приличнее держать при себе не собачку, а обезьянку: обезьянка по улице бегать не станет, обезьянка всегда прикрытая, в красных штаниках, в безрукавке, только хвост голый...

Евдокия Вараксина как нельзя больше довольна этажом благородных; и деньги-то во-время платят, и при встрече приветствия: каково поживаете, как ваше здоровье!

А старичок чиновник, который приходит пить чай в гости с собственным вареньем, тот к Новому году из засушенных цветов абажур склеил да со стишком и поднес:

Представьте, что сам амур сей склеил абажур...

Но что чиновник. В этаже благородных мастерская самого Арсения Половенского: красивый, стрижется бобриком и кончает с золотой медалью. Предложение недавно сделал: «Это, говорит, ничего, что я молод, я умный; мне, говорит, здание строить надо, мне не по ветру ваши деньги пускать»...

Этаж приезжающих тоже неплох: и купцы, и священники, и помещица с дочкой, одни уедут, других вместо себя пришлют.

Зато подчердачные, мужская половина и женская, — одни страхи: а вдруг крышу сожгут, а вдруг деньги просрочат, а вдруг дебош какой сделают. Им терять нечего — голытьба.

В подчердачной комнате пока было немного жильцов: на женской половине белошвейка Липочка с теткой Егорьевной, да бухарец Абдул-Ахмат, да газетный критик Вербинский.

Этот Вербинский еще не так давно помещался гораздо приличнее; тогда он писал по столбцу в газетах о том, как играли в театре и что такое случилось на улице. Но с тех пор, как Вербинский замыслил писать свою собственную книгу, его столбец появлялся в газете все реже и реже, сам он из хорошей комнаты перешел в худшую, а там, глядишь, попал и в углы, как раз против бухарца Абдул-Ахмата, который всю свою жизнь, до одного несчастного случая, был поводырем при слонах. Как иные собаки, оттого что они долго живут при людях, в конце концов человечатся, так и этот бухарец будто бы ослонел: из-под тюбетейки алого бархата у него торчали огромные уши, карие глазки терялись в жирных морщинах, а над чахлой бороденкою огурцом свисал нос.

Самая богатая в подчердачной комнате была Егорьевна: она владела большим самоваром и чайной посудой. Днем, набегавшись с утюгами, разглаживая работу племянницы, старуха любила в вечеру побеседовать и собирала всех угловых к деревянному, чисто выскобленному столу.

— Размотай с себя тряпки, с лимоном чай нонче, — кричала она в угол бухарца. — И ты, Липочка, и вы, сударь, пожалуйте.

Вербинскому Егорьевна наливала первому, подавала с поклоном, а бухарца хоть и жалела больше всех за то, что зяб, — когда с ним говорила, все будто ругалась; и не от злобы, а так, больше для порядку, чтоб, разленившись, на шею не сел да чтоб клопов не развел.

Абдул-Ахмат, с тех пор как переселился в «Гельголанд», чтобы как-нибудь прокормиться, таскался с мешком в подворотни и кричал не своим голосом:

— Халат, халат, стары вещи!

Но в холод и вьюгу с больными ногами ходить было трудно, и, кутаясь в свои непроданные тряпки, бухарец сидел в углу пестрым чучелом, охая от ревматизма. На призыв Егорьевны он оживлялся, бережно раскручивал с себя «товар» — несколько пар военных брюк — и, сложив их в хламовник, бежал рысцой, шлепая туфлями, к самовару.

Сегодня все были в сборе; худой Вербинский с нависшим чубом молча глотал чашку за чашкой, а Липочка сидела в единственном мягком кресле, вытянув на колени

свои тонкие, иголкой поколотые пальцы, и смотрела в окошко на звезды. У Липочки голубые глаза и волосы русые, гладкие, на ряд; когда не работает, она всегда так сидит и молчит; если ж заговорит, то негромко, протяжно, словно дитя баюкает.

— А для вас приятная новость, Абдул-Ахмат, — сказал Вербинский. — Проездом здесь новый зверинец, и хозяин ищет поводыря.

— Слон? — спросил хрипло бухарец.

— Два из Африки, с кенгуру и пантерой.

— Зачем из Африки слон — говоришь, Африка нет слон, Африка серый свинья, только Индия слон... Балабаш белый был, слон был.

— Белый слон — животная млекопитающая, и серый такая же, — вмешалась Егорьевна. — Не все ль тебе равно, за каким подбирать.

— Как все равно, совсем разница, — огорчился бухарец. — Балабаш родной был, старший брат был... совсем болен, а хобот змеей, к себе обнял, у сердца держал, как человек: прощай, Абдул-Ахмат, говорил...

— Отчего сдох Балабаш? — спросил Вербинский.

— Я на родину немного ехал, хозяин слону немца брал; что немец слону. Дрова крал, не топил, простудил... Хозяин убытки понес. Теперь серой свинье отопление, — а она что за это? Хвост шатать, нос подымать.

— А все-таки тебе было грех животную обижать, — прозудила Егорьевна.

— Чего обижал! Подмету — веник брошу, свинья не чихнет, прочавкает, еще под клыки навернет, запас делает. Отчего Балабаш веник не кушал! Я раз уснул — свинья сапоги посымала, закинула, тюбетейку сжевала, на морду мне наплевала. А Балабаш когда выдал? Ну, водку выпьешь — Балабаш сеном покроет, хозяину разбудить не дает... Ох, ох, какой слон. Белый слон.

— Балда ты, бухарец, право, балда, — покачала головой Егорьевна. — О животном позабыть не можешь, добро бы иное что, как у Липочки у моей в Соловецком. — Старуха подмигнула Вербинскому. — И сейчас небось о том думает...

— Красиво в Соловецком, — повернулся к Липочке Вербинский.

Липочка с удивлением посмотрела на него, будто только проснулась, но сейчас же охотно ответила:

— Там травы-цветы, каких нигде не увидишь. Я тропиночкой в церковь иду, промеж них заблудилась, а тут странничек: как, говорю, отче, в церковь пройти? Звон слыхать, купола видать, за цветочной стеной хода нет, а цветы топтать жалко. А мне странничек: «У нас не потопчешь, у нас молитвы кругом, золотая, молитвою воздух сильный, опять к небесам цвет подымет. Вот по цветикам ты пройдись-обернися». Ну что ж — цветы в рост мой, щеки щекотят, назад глянула — друг за дружкою поднялись, словно колос, когда ветер идет по овсам.

— Да ты что про цветы, ты бы, Липочка, про монаха, — напомнила Егорьевна.

Липочка вскинула глаза на тетку и, закрасневшись, продолжала:

— Старичка того уже нет, а предо мной церковка небольшая с площадкой; земляные сиденья на площадке устроены, в них старцы-монахи сидят, посреди кресло красное, там игумен. А перед всеми, как в поле березка, монашек такой тонкой из древней книги читает житие. Сам молодой, от молитв да постов лицо белое, а волосы из-под бархатной шапочки зонтиком, зонтиком... Я как глянула — он мне в душу и въелся: стою — не дышу. И он глянул, взмахнул веками и опять в свою книжку; покраснел сам, а в руках лист древний так и дрожит... Чтение это у них такое мужское, женщинам невозможно на него приходить. Залился монах краской и выдал меня; все как один клобуки обернулись. И не смотрят старцы, а будто насквозь видят. Слова мне ни один не сказал, так одними глазами прогнали. Стыдно мне сделалось, сжалась комочком и вон — уж бежала, бежала...

— Это тебе так привиделось, милушка, — сказала Егорьевна. — Старцы — совет да порядок, а молодой — искушение.

— Забыть его мне нельзя. Вот что главное, — вздохнула Липочка. — В сердце мне въелся. Швейцар Максютин сколько сватался, а я не могу...

— Монах сюда не приедет, ты к монаху не поедешь, другой раз не встретишь — забудь, — сказал ласково Абдул-Ахмат.

— Ишь советник, — проворчала Егорьевна. — Сам слона тычет каждому, не забудешь небось, а тут у Липочки человек... А и не было его вовсе, того монашка, верь мне, девушка, верь старухе. Тятенька покойный в Соловецкое тоже ездил, так совсем про иное рассказывал. Повели их пред всенощным бдением в коридор, значит к схимникам... так им эта схима потом и мечталась — всех грехов отпущение; только нет, в своем в мучном лабазе скончались, царствие им небесное. — Егорьевна перекрестилась. — Да, так коридорчиком повели, а он узенький, тучному, без сомнения, в нем застрять. «Слава богу, говорили тятенька, что я с тела спал, напостился перед богомольем, а то быть бы скандалу». Ну, а в коридорчике, конечно, окошки справа и слева: что ни окошко, за ним петух в клетке и схимник. Так и пищу дают обоим разом: петуху монах зерна сыплет, а уж схимнику просфору... Как петух закричит — схимник шасть на колени, за Петра за апостола молится да свои, если который не забыл, прегрешения поминает, — старцы ведь.

— Чего старику в клетке петух, а не курица? — спросил бухарец. — Курица неслась бы ему, яичницу кушал бы.

— Курицу да в монастырь! Ах ты... — рассердилась Егорьевна, — мусульман. Ишь, в халатах взопрел, ложись к себе в угол, керосин даром травите...

II

Вербинскому было скверно. Уже из третьей редакции приятель брал непринятую рукопись и заказной бандеролью высылал ему обратно.

— Черт знает, — ворчал Вербинский, шагая по городу, — хоть бы учащейся молодежи прочесть, только где же? В гимназию и соваться не стоит; с улицы не возьмут, да и пиджака нет приличного, да и сюртук давно съеден в нормальной столовой.

Вдруг Вербинский припомнил, что на том конце города ему как-то на днях метнулась в глаза яркозеленая вывеска с красными буквами: «Универсаль — заведение американского типа».

«Быть может, предприимчивый культуртрегер, — подумал Вербинский, — быть может...»

Парадную дверь неказистого дома открыл ему сам Скоробеев, учредитель «Универсаля». Был он в черной рубахе, подпоясан ремнем, и, прежде чем впустить позвонившего, выставил волосатую голову и улыбнулся: чего вам?

— Я по искусству, я критик, — смутился Вербинский, — хотел бы прочесть у вас лекцию...

— С величайшим удовольствием, дорогой мой, с величайшим, пожалуйте!

Вербинский вошел в переднюю, а Скоробеев нажал кнопку и крикнул:

— Вивия Ивановна, Вассушка, Петр Вавилыч!

— Для чего кричите-то? — появилась грязно одетая босая Вассушка. — Переплетную в рисовальную повернуть не успеем, нагажено всюду.

— А рисовальный художник сказали, — процедила сквозь длинные желтые зубы другая, «чистая» горничная, Вивия Ивановна, — они сурьезно сказали, ежели будет анти-са-ни-тар-но, они совсем от вашего заведения уйдут...

— Вздор изволите говорить, — покраснел Скоробеев, — вы бы лучше, сударыня, натюрморты поставили: лук, морковь, бураки... У нас, знаете, все живое, — повернулся он к Вербинскому, — у нас символы к черту, у нас Зевс метафора...

— Натюрьму всю ребята пожрали, — прервала простодушная Вассушка, — от морквы один хвост.

— Но где Леонид, где надзиратель, — закричал Скоробеев. — Чего он смотрит!

— В полпивной ваш Леонид, — буркнул из закрытой двери чей-то сердитый голос.

— Ученый столяр, Петр Вавилыч Глотай, — прошептал Скоробеев Вербинскому, указывая на закрытую дверь.

«Ну, здесь лекции не прочтешь», — подумал Вербинский и схватился за шляпу.

Но Скоробеев умоляюще посмотрел сквозь очки большими добрыми глазами и заговорил, прерываясь и кашляя:

— Разумеется, мой нежданный ценитель, дело у меня молодое, оно не налажено, но идея-то — «ремесло и искусство»...

— Нельзя ли куда-нибудь двинуться из передней, — сказал Вербинский.

— Ах, простите, бесценный, бога ради простите, как это я упустил...

Скоробеев ухватил руку критика, улыбался ему в лицо и опять суетился, подтягивая свисшие брюки.

— Пойдемте, голубчик, пойдемте.

Вербинский дал себя протащить по пустым комнатам, где навален был разный хлам: подрамки и ноты, кадочка с глиной, токарный станок и разбитая тыква.

— Должно быть, «натюрьма», — улыбнулся невольно Вербинский.

— У меня тут отделы: столярный, орнамент, еще бухгалтерские, фотография и счетоводство, — торопился Скоробеев.

— Чудеса! — удивился Вербинский. — Где ж это все помещается?

Скоробеев, так же внезапно, как все, что он делал, выпустил руку Вербинского, подошел к шкафчику, достал графинчик и налил две рюмки.

— Где это все помещается, желаете знать. Иными словами, отделов без счета, а комнат кот наплакал. Э-эх, выпьем, родимый.

Вербинский заметил, что у Скоробеева сильно дрожит в пальцах рюмка, что помято и припухло лицо его, а непрестанно спадавшие брюки кончаются бахромой, и с тоскою подумал: «Ну и Америка ж, черт побери».

— К чему ж у вас вывеска? — не удержался он. — Красные буквы «Универсаль — заведение...»

— Усмиритель змей, он же огнеед, — подхватил Скоробеев. — Видали, друг, объявление в балаганах на вербе, ха-ха... вот и я, как они, — «Универсаль». Но, скажите, любезный, где же имя у Онисима Скоробеева? Где миллионы его? Была тысяча для начала, да и вся сплыла. А не крикнешь, родимый, — пес не залает. Вот и вышло: Америка здесь, вход двугривенный... Но ведь какая идея, какая, милейший!

И, шагнув к гостю, усевшемуся, наконец, на подоконнике, Скоробеев выкрикнул:

— Не американская, друг, она, а бездонная, мировая идея. Оздоровление проболевшего человечества, вот что зовется «Универсаль».

Вербинский смотрел на оконные переплеты, на фонари, которые, будто любопытные мальчики, заглядывали в окошки, и было ему как-то все, все равно: больше посылать рукопись некуда, а до учащейся молодежи когда там еще доберешься. Но уходить не хотелось: Скоробеев чем-то понравился, и теплей у него, чем в подчердачной комнате «Гельголанда».

«Может, от водки, — подумал Вербинский, — давно не пил».

И чтоб заставить еще говорить Скоробеева, а самому сидеть молча, он спросил:

— Чем же думаете оздоравливать современное человечество?

— Трудом, друг, продуктивно-разнообразнейшим, — загорелся немедленно Скоробеев. — В этом физика, метафизика и пророки, — да, да... ибо незнакомство с здоровой действительностью есть главнейший провал человечества, а России особенно. Отсюда пугливо-позорное начало нашей истории: «придите владеть и править нами», отсюда самоубийства, безумия и мало ли что. Но после «Универсаля» — долой катары, курсистка не выпьет эссенции. Нет уроков — сошьют чемодан, настругают комод. У меня, друг, в каждой комнате кинематограф: ученый сапожник, переплеты, столярное, сейчас вот художник. Эх, друг, если б не бедность! Взять бы домище страшенный, до самого неба, и всем двери настежь — только пожалуйте: и пригород и деревня.

Треск неистовых звонков прервал Скоробеева.

— Бог мой, публика, ученики... — схватился он за голову, — а в большой комнате лужи; сдуру я белошвеек пустил, старинные кружева мыли. Натюрморты поедены, воздух хоть топор повесь... Да где ж я им, черт побери, кислороду добуду? Батюшка, пособите, дело новое, не налажено, но идея-то — «Универсаль»!

— Идея хорошая, — сказал Вербинский, — только, право, не вижу, чем могу вам помочь?

— Да вы пиджак-то снимите, родимый, работа ведь черная.

И, всунув в руку Вербинского тряпку, Скоробеев провел его в комнату, которой тот еще не видал. Там на подставках, какие употребляются для вышивания в пяльцах, стояли небольшие корытца с грязной водой, на полу были лужи, а у стенок помойные ведра.

Вербинский спустил на пол тряпку, тряпка вобрала в себя лужу, стала сразу тяжелая, и он не знал дальше, что ему с нею делать. Вербинский позабыл о своих неудачах и думал только о том, как бы не вымочить панталон.

А звонки, отдохнув, подняли новую трескотню.

— Вассушка, Вивия Ивановна, Леонид, — надрывался Скоробеев.

Дверь в комнату столяра приоткрылась. Из-под нависших бровей глянули острых два глаза, а рот, оставшийся за дверями, пробасил, беспощадно чеканя слова:

— Леонид в пол-пив-ной, де-ви-цы на улице.

Звонки вдруг замолкли, но взамен их послышались в дверь такие удары, будто ломился рассерженный конь.

— Откройте им, батюшка, ох, откройте, двери с петель сорвут.

Вербинский пошел открывать, почему-то волоча за собой набухшую тряпку.

Молодежь ввалилась в переднюю, смеясь и толкая друг друга: гимназисты, реалисты, барышни с косами, с муфтами...

Взглянув на Скоробеева с корытцем в руках, на Вербинского с мокрой тряпкой, так и взвизгнули; кто бухнулся на пол, кто шлепал по лужам, кто брызгался мыльной пеной. Впрочем, радостно и немедленно освободили от корыт Скоробеева.

А он улыбался и, все еще раздвинув руки, будто держал в них свое корыто, говорил растроганный:

— Дорогие мои, дорогие...

Через неделю Вербинский опять подходил к «Универсалю». Он так сильно наголодался, что решил было окончательно бросить мечты о своей собственной книге и писать снова в газетах — о том, кто как спел и сыграл и что такое случилось на улице. Но, вспомнив о Скоробееве, он подумал: «А что, если интеллигенция отозвалась, если расширено помещение, если подобрались идейные помощники?.. Затея-то ведь хорошая. И чего доброго та

самая молодежь, что недавно смеялась над моей тряпкой, с интересом прослушает «Стиль и религия».

И Вербинский снова шагал в другой конец города к Скоробееву. Вот уже близко, вот уж должны бы порадовать глаз красные буквы зеленого поля — «Универсаль — заведение американского типа». Но вывески над дверью нет, ее, снятую и перевернутую наизнанку, держат ученый столяр и сам Скоробеев. Столяр нахлобучил лохматую шапку на брови, а брови на глаза и выкручивал застрявшие в дырках винты, а Скоробеев был как опущенный в воду.

— А, художественный критик, мое почтение, — протянул он руку, подставляя под вывеску колено, — мой «Универсаль» ведь того... прогорел.

— Что так? — смутился Вербинский.

— Материальная сторона, что поделаешь! Ну и сотрудники... Леонид-то, представьте, руководитель отделов, все пособия прокутил.

— Пойдемте, — сказал хмурый Глотай.

— Куда вы? — спросил Вербинский.

— Вывеску тут к старушке к одной занести, а сам-то уж и не знаю, родимый, самому будто некуда.

— Приходите ко мне в «Гельголанд», — нечаянно сказал Вербинский, — проживем как-нибудь, только, собственно говоря, целой комнаты нет; кроме нас с вами, там уже есть бухарец, а за перегородкой две женщины...

— Иными словами, углы, мой милейший, — прервал, повеселев, Скоробеев, — ну что ж, углы так углы, вот только вывеску отнесу. Слыхали, Глотай, углы в номерах «Гельголанд».

— Идемте, — сказал угрюмо столяр, — там на ночь глядя не пустят, не ваш, чай, базар.

— Я иду, я иду, — подхватил свой конец Скоробеев. — Но все-таки почему столь необычно: «Гель-голанд»?

Столяр решительным шагом завернул в переулок. Скоробеев, не попадая в ногу, кому-то кланяясь и спотыкаясь, семенил за ним слабым шажком, и казалось, он только держался за вывеску, а нес ее один Глотай.

Вербинский смотрел им в спины, пока они не исчезли в какой-то подвальной квартире, и тихо поплелся домой.

III

Скоробеев как нельзя более подошел к подчердачной комнате «Гельголанда». Угол взял он себе темный, против Вербинского, но бухарец охотно пускал и к окошку. А своим собственным чаем до десятого поту поила Егорьевна, которой Скоробеев напоминал чем-то папеньку, того самого, что на Соловках взыскан был схимником.

И Абдул-Ахмат полюбил Скоробеева; целый день говорил ему о слонах, о мечте своей попасть снова к белому, а не к слону свинской, африканской породы.

И Скоробеев до того увлекся бухарцем, что послал письмо о нем в консульство, с прибавкой в постскриптуме от себя: Абдул-Ахмат поводырь-идеалист, а это в стране Брамы и Будды не должно быть безразличным...

Липочка рассказала про своего монаха и про то, что к ней сватается вот уж который месяц швейцар из соседнего дома, где под балконом бог моря держит трезубец, а у нее все сердце ждет такого, как вышло раз в Соловках.

— Сам монах, дяденька, тот высокий, лицо бледное, а волосы зонтиком, зонтиком...

— И жди, девушка, жди, — говорил Скоробеев, — когда еще раз случится такое, ну тогда что ж, иди... а не случится — не надо, и так проживешь. А швейцара того гони, девушка, в шею.

Как-то бухарец вернулся нахмуренный, в халат кутается.

— Опять к слону нанимают, с кенгурой и с пантерой...

— Нешто белый? — оживилась Егорьевна.

— Серый слон, свинский слон, из Африки слон, десять рублей, с нею спать, харч хороший...

— Не иди, если серый, удержись, бухарец, — сказал Скоробеев, — возненавидишь опять, разве что Балабаша забыл.

— Кто забудет — я помню, — огрызнулся бухарец и пошел скорей в угол, не в свой светлый, а в скоробеевский темный, сел на матрац, поджал по-своему ноги.

— Если насмешки над ней будешь строить, ведь грех, — сказала Егорьевна, — бессловесная ведь она, млекопитающая... А у тебя сердце к белому.

— А нам без сердца-то крышка, — прервал Скоро-

беев, — только этим и держимся. Мне, братец, можно место достать одно и другое, а не жажду. «Универсаль» в голове. Вот Вербинский — он свой грабежный столбец послал к черту, у него, братец, «Стиль и религия», — ну что ж, терпим, и ты потерпи.

— Нет у меня сердца к серому, ах, нет сердца, — ворчал в углу бухарец и, пугая тараканов своей подвижной черной тенью, долго качался на пятках, не то жалуясь, не то шепча молитву.

Вечером пришел столяр Глотай, как всегда мрачный и чисто одетый; вынул молча из кармана бутылочку, пяток яблок, положил за самоваром.

— Спасибо, милейший, — расплылся Скоробеев, — спасибо.

— Не всем раздевать вас, — буркнул Глотай.

Егорьевна степенно исчезла на своей половине, вынесла рюмку и кружечку: и мы не без посуды, дескать...

Но столяр как внезапно явился, так и пропал.

— Мне нельзя пить, — сказал бухарец, — на меня нет закона, чтоб пить.

— А тебе хочется? — спросил Скоробеев, опрокидывая рюмку. — Говори правду, бухарец, раз про закон помянул — значит, хочется.

— Сам знаешь, — сказал Абдул-Ахмат, — вино большую силу имеет. Выпьешь, неприятность сейчас позабудешь; я из-за серой закон нарушал. Бутылочку выпьешь, она побелеет, вторую возьмешь — Балабаш станет. А все ж грех оно.

— Ох, бухарец, — сказал охмелевший уже Скоробеев, — есть грех и грехи... нельзя, братец ты мой, целиком удержать всей души, невозможно сие человеку, что-нибудь да взорвет и свершишь. Кто же всю душу удержит, тот неподвижность безгрешная, бревно святое, не про того сказано: ты судить будешь ангелов, ты, человек грехопадший!

Скоробеев хотел продолжать еще, но вдруг встал Абдул-Ахмат и, не выпуская из рук только что выпитой рюмки, страшно волнуясь, сказал:

— Не надо десять рублей, не надо слон из Африки... Пусть лучше совсем похудею.

— Ур-р-ра... — закричал Скоробеев и схватил за руку Абдул-Ахмата.

— Молодец, бухарец, — побледнела Липочка, — я вот тоже надумала: не пойду за швейцара Максютина. Пока не подступит к душе, как господь дал в Соловках, вот и буду сидеть девушкой...

— Да здравствует «Гельголанд»! — еще громче прокричал Скоробеев.

— Человек ты душевный, — сказала вдруг Егорьевна, — зачем водку пьешь?

— Оттого пью, родимая, оттого пью, милейшая моя тетенька, — начал Скоробеев, не выпуская из рук бутылку, — что мне надлежит судить ангелов. Иными словами, удержать надо в сердце одну чистую точечку-с, преединую. И заметьте, милейшая, оно вполне безразлично, как именно сия точечка именуется: у вашей Липочки — монашек из Соловков, и волосы у него зонтиком, у Вербинского «Стиль и религия», Колумбу — Америка, Галилею — e pur si muovo, [1] — а все вместе — не что иное, как белый слон Балабаш, из-за которого голодный бухарец не идет жить к слонихе. И да здравствует Балабаш!

— Великолепно, — сказал Вербинский, вышел из своего угла и остановился перед Скоробеевым. — Белого слона и я принимаю, только вот ведь история — кушать хочется.

Он вывернул пустые карманы.

— В одном вошь на аркане, в другом блоха на цепи, — засмеялась Егорьевна. — Уж бухара как-никак мы с Липочкой до его до индейских слонов посодержим, в гостинец шаль обещается, ну а уж ты, батюшка, извини: никак с собственной дури-то обнищал? Из газет в шею не гнали, ты б писал да писал.

— Легче, тетенька, легче, его белый слон для вас недоступен. Идите себе по хозяйству, — сказал Скоробеев. — У меня, друг, рубли и копейки; предостаточно на двоих, а если вывеску продадим — целый месяц роскошного содержания. Потому выпьем, друг.

Вербинский и Скоробеев опрокинули рюмку за рюмкой — последнее содержимое столяровой бутылки.

— Людоедного вида Глотай мой, а парень-рубаха, — сказал Скоробеев и, окончательно опьянев, вспрыгнул на

---

[1] А все-таки она вертится *(лат.)*.

стол, всплеснул руками и закричал, как кричат на улице караул:

— Да здравствует белый слон, хвала углам «Гельголанда»! В честь белого слона дернем старинную немецкую камерун-польку. Эй, бухарец, подхватывай, прямо в хобот твоей африканской слонихе:

Wir brauchen keine Schwieger-ma-ma-ma,
Wir schicken sie nach Afri-ka-ka-ka... [1]

И Скоробеев запрыгал на столе, дирижируя пустой бутылкой.

— Ах, боже мой, до чего неприлично!

Курносая дама открыла дверь в подчердачную, выставила необъятную шляпу, но сейчас же подалась обратно, а вместо нее вошел в комнату сам Арсений Половенский, почти архитектор.

— Милостивые господа и вы, сударыни, — сказал он не без светской иронии, — мадемуазель Вараксина, владетельница отеля «Гельголанд», честь имеет просить всех вас о выезде. Да-с. Ибо дом подлежит перестройке окончательной, в новом стиле-с, и эти углы, в своем роде простодушнейший анахронизм, заменены будут «мансардами», как в Париже. И вообще мадемуазель Вараксина выходит за меня замуж, а я — архитектор. Вы поняли, я надеюсь?

— Чего не понять, — сказал Скоробеев и, соскочив со стола, подошел к архитектору:

— Может, вы нас и с новым стилем оставите, а? Мой совет, голых баб налепите снаружи — вот вам и новый стиль, а углы будем звать в нос, хоть по самому распарижскому: ман-сарды.

Скоробеев вдруг вспыхнул, подхватил кверху брюки, крикнул:

— А съезжать нам, сударь, не-ку-да!

— Как вы смеете, — взвизгнула девица Вараксина, раскрывая двери, — я не такая, чтобы украшать свой дом голыми... Арсений, скажите ему, у нас будут богини, я забыла какие, но скажите ему, они обе одетые, скажите ему...

---

[1] Ни к чему нам теща,
Ее мы в Африку пошлем *(нем.)*.

— Успокойтесь, моя дорогая. — И решительно, совсем хозяином, архитектор еще раз твердо сказал: — Попрошу всех о выезде.

Арсений Половенский с Евдокией Вараксиной спустились под ручку вниз по лестнице «Гельголанда».

— Вот те и белый слон, — сказала тихо и злобно Егорьевна Скоробееву, — наплясал нам беду. Жили тут без тебя все непьющие, не скандальники. Накричал, наплясал. Куда выбраться, куда тормошиться? В ночлежных клоп съест, обжились тут...

И Егорьевна заплакала слабым старушечьим плачем.

Вербинский молча ходил взад и вперед от окна до окна. Липочка, вытянув на колени свои руки и тонкие, иголкой исколотые пальцы, смотрела на черный пустырь.

— Придет ваш монах, черта с два, — сказал ей Вербинский и, схватив шапку, выбежал.

— А и не было его вовсе, все привиделось, все приснилось, — сквозь плач скрипела Егорьевна. — Куды выбраться, куды тормошиться? В ночлежных клоп съест.

— Клопу порошок сыпать можно, — сказал Абдул-Ахмат. — Порошка нет — раздавить можно. С одного места гонят — на другое уходи...

— Бухарец, — сказал Скоробеев, моргая пьяными умиленными глазами, — бухарец, вы — и-де-а-лист.

1913

СВОИМ УМОМ

— Вставай, Вачьянц, вставай, — толкают черноволосую девочку, которая спит, запрятав голову под подушку, чтобы не слышать звонка, — ведь сегодня немецкое.

В институте особенно тяжело по утрам. В дортуарах еще догорают ночные лампы, от них на потолке дрожат черные круги, а за окном и не поймешь сразу что: сумерки, или рассвет, или просто натянули за стеклами серый коленкор.

Трясет швейцар что есть мочи звонком, холодно от этого звонка под ложечкой, холодно вылезть из теплой кровати и натянуть на ноги белые чулки, где помечены красным крестиком класс и номер. И, как нарочно, под утро лучшие сны снятся, вот Вачьянц свои горы увидела: вдали снежные, вблизи пестрые от цветов, а кругом облака, будто сбитые сливки. Только собралась бежать на гору, а тут звонок лезет в уши.

— А вот ей мороженого, — говорят уже одетые в зеленые камлотовые платья девочки и стаскивают с Вачьянц одеяло.

Из-под подушки ныряет злая косматая голова, рука хватает башмак и бьет им кого попало. Валятся на пол, визжат...

— Вачьянц, одевайся, — испуганно разнимают дежурные, — Цвибель бьет пестиком.

В стену яростно стучат; это сердится немецкая классная дама, — ее комната смежная с дортуаром; когда шумят не очень громко, она бьет в стену своим костлявым

кулаком, и тогда дело может обойтись замечанием. Но после «пестика» наказание уже неизбежно.

В один миг девочек на полу будто не было. Мелькают тесемки, гребенки... проворные пальцы, не путаясь, заплетают косички и ленты, вот только умыться нет времени; в дверях яркосинее платье:

— Wer hat geschrien? [1]

— Guten Morgen, Гортензия Карловна, — вместо ответа говорят девочки хором и окунаются в почтительном реверансе.

Зорко прощупывает классная дама глазами все пары, по трепаному виду Вачьянц угадывает, что в беспорядке виновата она, и для проверки приказывает:

— Покажи твои ногти.

Вачьянц вытягивает руки, закрывая грязные пальцы чистыми, но Гортензия Карловна обнаруживает зажатые кляксы и торжественно говорит:

— Ты не умылся, du hast geschrien, и ты захотел оболгать... А кто захотел оболгать, тот способен и на украсть, ja, der kann auch stehlen. А укравший ходит в Сибирь... Вот здесь, — тычет она маленьким сухим пальцем в спину Вачьянц, — вот здесь у тебя будет один бубновый туз, вот здесь.

— Я не воровка, — говорит Вачьянц и злобно смотрит на Цвибель.

— Опусти глаза, смотри на меня с одним добрым сердцем, du, die Pest der Klasse! [2]

Цвибель круто поворачивает свою синюю плоскогрудую фигуру с длинной талией, вместо сердитого лица с красным носиком показывает классу напомаженный белесоватый крендель волос и ведет всех в столовую.

— Будет теперь придираться, пока не разревешься, — шепчут сзади, — запиши Цвибель за упокой, она сбежит в лес и удавится.

Вачьянц вспоминает, как одна маленькая, рассердясь на Цвибель, записала за упокой после своих родных настоящих покойников и «новопреставленную Агриппину», — так сообща перевернули Гортензию на православ-

---

[1] Кто кричал? *(нем.)*.

[2] Ты, чума класса! *(нем.)*.

ное имя. Записала, а сама испугалась чертей и просидела свободное время в шкафу, а с Цвибель так-таки ничего и не случилось.

«Вздор, — думает Вачьянц, — все это вздор, вот самой бы убежать отсюда».

Уже третий год, как ее привезли в эти черные длинные коридоры, сменили домашнее платье на зеленое казенное — «лягушку», стали звать не по имени, а по номеру и фамилии, а тоска по Кавказу не проходила. Писала Вачьянц родным заказные письма с рисуночком: орел в клетке, а за решеткой Казбек, просила взять хоть один раз на лето. В ответ присылали два рубля и каракули непривычными русскими буквами: «Ты сирота, веди себя; на Кавказ далеко ехать, на Кавказ дорого ехать...»

Еще зимой удавалось кой-как прожить в институте. Зима здесь совсем новая, ничего не напоминает, даже можно думать, будто живешь как в сказке жил мальчик Кай в царстве белых снегов, ну, а весной уже ничего не придумаешь. Ведь весной, когда здесь еще дождик, а солнца чуть-чуть, там, на родине, и фиалки с тюльпанами, и ослы на зеленом лугу, и под вечер лезгинка на крыше духана, и мало ли что...

Весной нападает такая тоска, что, приди смерть с косой и оскаленным черепом, и пусть ее, пусть скосит голову...

Сейчас идет урок закона божия, а Вачьянц закрывает глаза, и опять ей горы чудятся, те самые, что во сне увидала, вдали белые, будто сахар, вблизи пестрые от цветов.

— Schlaf nicht, du! [1] — грозит пальцем Цвибель.

Вачьянц вздрагивает и переводит глаза на батюшку. Батюшка — красивый старик с белыми волосами и бородой. Он написал когда-то даже учебник, а теперь будто все позабыл. Рассказывает своими словами только про одно грехопадение, а про прочее, не мудрствуя лукаво, читает вперед просто по книжке.

Устал батюшка от людей в своем приходе и попал в институт, будто в рай. Все ему кажется правильно тут, чисто, отдохновенно, а каждая девочка внучкой. Вызовет

---

[1] Не спи! (*нем.*).

какую-нибудь отвечать и, пока та идет, чтоб лишний раз над журналом ему не гнуться, заодно выследит пальцем клетку и против фамилии поставит двенадцать.

У батюшки на белой голове бегают радужные зайчики, может, они от стеклянной чернильницы, а может, кто и навел зеркальцем с задней скамьи; батюшка не такой, чтобы доискаться. Кротко заслоняет от зайчиков желтыми длинными пальцами глаза и говорит:

— Ну-ка, Кутинова, почему бог создал первых людей?

— Единственно по великой своей милости.

— Ну, а согрешили они почему?

— Единственно по причине своей злой воли, — как дробь сыплет Кутинова.

— Так, так. Почему и изгнаны, почему и прокляты. Каково проклятье-то?

Вачьянц больше не слушает, к ней пришли мысли: бог, всеведущий и всеблагой, ведь знал, что согрешат люди, что будут вечно страдать, — какая ж тут благость? Или не знал — тогда не всеведущ. Зараз и всеблагой и всеведущий — не выходит. Или, может быть, про бога совсем не нужно, нельзя говорить словами, тогда к чему катехизис? Спросить разве у батюшки. Стыдно, не принято, у него ничего не спрашивают.

А батюшка уже утомился короткими ответами и вызвал примерную ученицу по ветхому завету.

— Случилось так, что при входе в Вефиль пророка встретила толпа детей и смеялась над тем, что у него на голове нет волос, — без заминки, словно воду льет первая ученица. — Елисей оглянулся и осудил поступок детей именем господа; тогда вышли из лесу две медведицы и растерзали сорок два мальчика...

Вачьянц уже не думает, а будто все видит своими глазами: идут дети толпою из школы, им весело, все шалят, тоже горы у них, как на Кавказе, Синай...

И вот старик, череп голый, совсем колено. Обидеть старика не хотели, просто смешно стало им, не сдержались, а он руки к небу, имя господне... и вот две медведицы злые, косматые. Детей рвут на части, кровь, крики... а дома-то и не знают. И никогда этим детям не бегать, не есть булки с вареньем, а пророк преспокойно ушел и про него написали, — он праведный.

— «Die Tabakspfeife» auswendig![1] Будешь у меня на уроке спать, — почти громко говорит с своего стула у стенки Цвибель и записывает Вачьянц в штрафной журнал.

А у Вачьянц в глазах потемнело, кровь бросилась в щеки, и нежданно для себя самой, незваная, она вдруг идет к кафедре.

— Батюшка!

Весь класс в волнении, неистово сморкаются, чтобы заглушить хохот, блестят глазами от радости, от ожидания «штуки»...

— Батюшка, объясните, пожалуйста, почему пророк Елисей считается праведным, а не жестоким, разве это то же самое?

— Что вы, что вы. Садитесь, — машет испуганный батюшка желтой рукой в широком лиловом рукаве, — садитесь. Разве мыслимо так рассуждать, ах, как неблагонравно. И откуда сие, откуда!

— Ее примерно за это накажут, — подлетает багровая от гнева Цвибель.

— В старших классах обо всем услышите, обо всем, — говорит примирительно батюшка, — а покуда довольно того вам, что в книжке написано, рассуждать же отнюдь не годится, неблагонравно-то как, — и, вздыхая, сморкается в большой красный платок и уходит на переменку в учительскую.

— Вачьянц, komm her, — говорит, едва владея собой, Цвибель, — ты неприличная, du bist unanständig gewesen,[2] смотри мне, не гнешься, я умею один раз и ломать. Начальнице расскажу...

— Фрейлейн Цвибель, фрейлейн Цвибель, — запыхавшись, прерывают две старшие, выбегая из коридора, — к вам сейчас будет maman и барон, почетный опекун.

Цвибель меняет раздраженное лицо на озабоченное, вытягивает ушедшие в рукав манжеты, поправляет свой кренделек на макушке и, как командир перед парадом, напрягая во всю силу голос, кричит:

---

[1] Название длинного стихотворения, которое в наказание заставляли учить наизусть. *(Прим. автора.)*

[2] Иди сюда... ты вела себя неприлично *(нем.)*.

— Реверанс, все зараз, liebenswürdig, anständig.[1]

И, подойдя близко к Вачьянц:

— Смотри ты, по-своему не выдумывай, будь приличной, будь anständig, будь как все...

Двери распахиваются, выплывает maman в синем шелковом платье с кружевным хохолком на осанистой голове. За ней, как автомат, передвигает свои ноги в белых камергерских панталонах барон, почетный опекун; нажмет у себя будто где-то пружинку, одна нога отделится, нажмет другую — другая.

Барон такой дряхлый, что природа его держится только при помощи искусства. И говорить ему трудно, да и не говорит он вовсе, только мычит с французским прононсом. Из года в год барон задает одни и те же вопросы, а ответы на них преемственно передаются.

В младших классах барон произносил: «Хорошо ли вас, дети, кормят?», — не предполагая по невинности возраста иных интересов. В классах постарше он считал приличными уже чувства патриотические и, останавливаясь много раз, чтобы набрать воздуха, кое-как выговаривал: «Какое историческое событие волнует наиболее ваши юные сердца?»

На выбор имелось: Полтавская битва и двенадцатый год.

Дойдя вслед за начальницей до средины класса, барон обвел девочек тусклым взором: «Eh bien, хорошо ли вас... мм... м... мм...»

— Nous vous remercions, monsieur le baron, très bien,[2] — догадываясь, что это о пище, прокричал класс хором.

Барон как-то разом опустился на стул, словно сложился пополам, и задумался. Губа у него отвисла, и, уставившись на золотое шитье своего рукава, он, казалось, забыл, где находится.

— Дети, кто желает сказать барону стихи, un morceau de poésie, — проворковала начальница.

Встали две девочки, будто невзначай, на самом же деле именно им было назначено уже добрый месяц тому назад встать и сказать с рыданием в голосе, одной за

---

[1] Любезно, прилично *(нем.)*.

[2] Благодарим вас, господин барон, очень хорошо *(франц.)*.

Пушкина, другой за Филарета: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — и дальше в ответ: «Не напрасно, не случайно...»

— Сколь трогателен, — вздыхает maman, — cet обмен мыслей entre le владыка пера et le владыка духа.

— A-dmi-rable! [1] — одобряет барон и, нажав свою пружину, выпрямляется, шаркает камергерскими ногами, благодарит от лица Петербурга за ее материнскую заботу облагородить души сирот.

— Est-ce qu'on danse? [2] — неожиданно внятно спрашивает он у класса.

— Oui, monsieur le baron, les grandes, [3] — говорит дежурная. Барон заметно оживляется и быстрее несет свои ноги к выходу. У двери он вспоминает, что это не самые маленькие, и говорит: — Русская история... юные сердца...

— Изгнание французов, Полтавская битва, — гремят хором.

Уже раскрасневшаяся дородная maman с успокоенной душой, что все обошлось хорошо, выплывает из двери, уже лицо барона принимает выражение человека, который выполнил все, что мог, уже Цвибель, идя бочком за maman, подобострастно изгибаясь, благодарит за приглашение на чашку чая, как вдруг чей-то отчетливый дерзкий голос выкрикнул:

— А мне больше всего нравится французская революция.

— Как, comment, кто бунтует? — повернулся барон на каблуках.

Словно коршун цыпленка, Цвибель выхватила Вачьянц из пары и подвела к барону:

— Это ужасная, испорченная ученица, и я буду просить наказать ее в пример всему институту.

Барон посмотрел на освирепевшую классную даму, на маленькую взъерошенную девочку, на maman, которая напрасно старалась удержать материнское выражение на покрасневшем лице, и вдруг захохотал на весь класс неожиданным густым смехом:

— Ха... ха... бунтуют.

---

[1] Восхитительно! *(франц.)*.

[2] А что, танцуют? *(франц.)*.

[3] Да, господин барон, старшие *(франц.)*.

— О, она большая шалунья, — немедленно улыбнулась maman и, подойдя к Цвибель, одним недобрым острым взглядом поясняя значение своих слов, сказала: — Вечером приведите ее ко мне.

Когда после обеда все пошли в класс учить уроки, Цвибель, как труба Страшного суда, прогремела:

— Вачьянц, следуй за мной к начальнице.

Квартира начальницы была в нижнем этаже; чтобы до нее добраться, много надо было пройти длинных коридоров, выложенных чугунными плитами с выпуклым орнаментом. Рисунок был знаком Вачьянц до мельчайших подробностей, и она все свое внимание устремила на то, чтобы попадать ногой в те же самые завитки: ей было страшно.

Цвибель с плотно сжатыми губами шла впереди, и каждый шаг ее твердо ступающей ноги, гулко отдаваясь по бесконечным плитам, казалось, говорил: вот тебе, вот тебе...

В большие окна мелькнуло золото куполов, пронеслась мутная река, уже снявшая зимний свой лед, скорой весной зачернели бульвары...

Вачьянц подумала, что вот там, на свободе, такие же подростки, как она, веселой гурьбой играют в мяч, бьют калошами пузыри по канавам, заходят в кондитерскую за пирожным, и еще внимательнее стала целить глазом середину орнамента, чтобы попасть сразу в звезду.

Цвибель позвонила у двери maman. Дверь беззвучно открылась, и классная дама, оставляя девочку у дверей, прошла к дивану, где, при свете нарядной лампы, крупная фигура начальницы сливалась с обивкою мебели и давала на стене тень бегемота.

В уютной, давно не виданной домашней обстановке Вачьянц стало так приятно, что она забыла, где и зачем находится, и двинулась было к стене рассмотреть, какое лицо у Авраама, когда он выгоняет в пустыню Агарь с Измаилом, но из тени бегемота раздалось:

— Пойди-ка поближе.

Вачьянц вздрогнула и привычным движением положила правую руку на левую, потому что в классе знали наверно, что правая сторона от ангела-хранителя, а левая

чертова, и если правая рука на левой — ангелу легче прийти на помощь.

— Прежде всего, — начала речь maman своим барским говором, растягивая слова, — как осмелилась ты ответить барону «французскую революцию»? Молодые души должны гореть одним тихим пламенем послушания, и если la grande révolution [1] нельзя, к сожалению, выкинуть из программы, то восхищаться тебе, воспитаннице сиротского института, решительно нечем...

— Я слышала, что там люди боролись за свободу, и мне это понравилось...

— Люди боролись за свободу, — презрительно протянула maman, — но какие люди? Des sans-culottes, которым и терять было нечего. Не повторяй больше этого вздора: свободы ищут самые последние, потерянные люди. Les personnes comme il faut [2] любят границы...

— А ее вопросы батюшке, — напомнила Цвибель.

— Да, да, et quelles questions! [3] — начальница откинулась в ужасе на вышитые подушки. — Ce prophète... он святой, кажется, про него напечатано в божественной книге, как же ты смеешь о нем рассуждать. По слову его сам господь послал des animaux féroces, [4] а у тебя мысли.

— Я не верю, что Елисей праведник... — прерываясь от волнения, сказала Вачьянц, — вот я про Сократа читала, так он святой, он ради одного добра выпил чашу яда и никого не проклинал.

— Hein, — дернулась с подушки maman, — Сократ язычник, un païen! И это в вашем примерном классе, Гортензия Карловна, — maman слегка всплеснула белыми кистями рук.

Цвибель протащила Вачьянц в дальний угол и стала говорить что-то шепотом по-немецки, пригнувшись к уху начальницы.

— Не принято... что скажут в Петербурге, — как сквозь сон, слышит Вачьянц неуверенные возражения maman. Но ей неинтересно, что там о ней решают. Она полна гордостью первой борьбы, ей уже чудится, что она не уче-

---

[1] Великую революцию *(франц.)*.
[2] Порядочные люди *(франц.)*.
[3] И какие вопросы! *(франц.)*.
[4] Диких зверей *(франц.)*.

ница пятого класса, которую не берут домой на лето, а сама Жанна д'Арк или кто-нибудь в таком роде, кого еще не было.

Большая начальница со своей тенью бегемота и крикливая Цвибель, они где-то там, далеко, а сейчас здесь старинная площадь, средние века, духовенство в облачении, посредине костер, у палача в руке факел. Надо отречься от того, во что веруешь, а не то сожгут.

— Вот что, моя милая, — раздается из толпы голос, странно похожий на голос maman, — если ты сейчас не раскаешься и не поверишь в господа бога с обещанием не задавать больше вопросов, то тебя высекут.

— Высекут, и немедленно, — поддакивает Цвибель, — только девушек позвать с розгами. И хоть этого ни с кем не случалось, с тобой, da du ganz und gar verdorben bist [1] и имеешь одно злое сердце, с тобой сделают.

— Прекрасно, Гортензия Карловна, я так в Петербург сообщу: une exception, [2] в виду крайней испорченности.

Перед Вачьянц все завертелось. Из-под ног ушла площадь с костром, опять на стене Агарь и Измаил, опять maman с кружевным хохолком и бегемотовой тенью. Maman глядит в упор недобрыми круглыми глазами, и от глаз этих стынет душа.

«Высекут... это не то, что сгореть при всех на костре... это розгами, по стыдному месту. Девочки, наверно, узнают и уж никогда не забудут. Будет елка, будет на масленой фокусник, поступят новенькие, и каждой прошепчут: это та, которую...»

— Что ты стоишь как чурбан? — говорит строго Цвибель. — Не раскаешься — высекут.

«Если высекут... — опять перебирает в мыслях Вачьянц, — надо будет повеситься на печной трубе, язык вывалится, лицо черное, а в гробу черви...»

— Видно, она закоренелая, — говорит maman, — можно и девушек позвонить.

У maman глаза теперь совсем злые и круглые, как у совы, а от породистого двойного подбородка до белого ряда гладких волос пошли красные пятна.

---

[1] Так как ты насквозь испорчена *(нем.)*.
[2] Как исключение *(франц.)*.

— Eh bien,[1] я звоню! — и она подвигает к кнопке маленькую усыпанную кольцами руку. — Eh bien, веришь ли ты au bon Dieu[2] так, как надо?

Вачьянц уже видит, как горничные позорно поднимают ей юбки, и забывает про мучениц, про Жанну д'Арк, про все на свете.

— Maman! Простите меня, не секите, я уже верую, я так, как надо.

. . . .

— Кто не гнется, того один раз надо ломать, — говорит с убеждением Цвибель и почти ласково подпихивает Вачьянц к руке начальницы.

Вачьянц нагибается и видит прекрасные ногти и кольца с зелеными, красными, синими камнями, слышит запах духов и вдруг чувствует, что если поцелует, то тут же и куснет изо всех сил эту мягкую холеную руку.

Но maman, которой давно хочется ужинать, неожиданным легким движением сама проводит рукой по губам Вачьянц и так же, как и Цвибель, говорит успокоенным, доброжелательным тоном:

— Eh bien, mon enfant, я надеюсь, раскаянье твое прочное; советую тебе, молись le bon Dieu утром и вечером, чтобы он смягчил твое строптивое сердце, а не то помни...

Лицо у maman уже не страшное, голос добрый, она грозит на прощанье Вачьянц пальчиком и, довольная, что неприятное дело уладилось, уходит в столовую ужинать.

Вачьянц отправляется в дортуар по одному коридору, по другому, по третьему. Ей не страшно сейчас, что они черные, что под ногами чугунные, будто могильные плиты, что на потолке дрожит черный круг от висячей мигающей лампы, что на лестнице выпрыгнет привидение, которого все боятся, — теперь ничего не страшно...

Где-то было весело, где-то сама плясала лезгинку, где-то читала про Жанну д'Арк, про философа с чашей яда. Они оба умерли, не отреклись... и она умерла, только перед этим просила прощенья, целовала руку.

---

[1] Ну что ж *(франц.)*.
[2] В бога *(франц.)*.

В дортуаре уже все в постелях, все спят. Одна только старушка, «ночная дама», дежурная за порядком, в мягких туфлях подходит к постелям и лепечет:

— Девицы, на правый бочок. Девицы, пожалуйста, не на спинке.

Прошло два года. Вачьянц была теперь совершенно как все: и приседала, и улыбалась, и вопросов никому никаких. Даже когда интересный учитель истории спросит: «Какое ваше мнение о крестовых походах?» — Вачьянц пожеманится и скажет только то, что написано в Иловайском.

А Цвибель радуется, то и дело говорит с своей немецкой улыбкой:

— Вот видишь, я права была, тебя один раз надо было ломать.

Все свободное время на танцах и на гимнастике у Вачьянц идут теперь романы с Онегиным, с маркизом Позой или еще с кем-нибудь. Приключения берет из «Трех мушкетеров», а конец уже свой, все больше смерть и разлука. Конец всегда грустный, для того, чтобы перед сном поплакать в постели; неизвестно почему, очень хочется плакать.

К тому же, если день обходится без романа, то, проходя мимо окошек, за которыми видна речка, и город, и лиловый лес, нужно собрать все силы, чтобы не съездить кулаками по стеклам, не съехать верхом по водосточной трубе вниз на землю и не бежать без оглядки куда глаза глядят: хоть помереть, а увидеть бы горы.

И вот то и дело в музыкальной селлюльке Вачьянц становится на колени и, путая русскую речь с немецкой, пишет ревниво Позе про Карлоса:

«Sein Herz ist gar nicht so feurig, wie seine Seele, [1] но есть душа, способная глубже вас оценить...»

— Кому амуры, — шепчет, подкравшись, Маша-коровка, — он студент или юнкер?

— Маркиз Поза, Шиллера, уходи...

— Но ты, Вачьянц, сумасшедшая, — говорит Маша-коровка, — ведь его ж совсем нет, он в книжке. А книжку написал Шиллер, а Шиллера съели черви...

---

[1] Его сердце совсем не так пламенно, как его душа *(нем.)*.

— Врешь ты, Поза живой, — кричит Вачьянц, — и Шиллер тоже живой, а ты иди к черту.

Но все-таки у Вачьянц с Машей-коровкой не то чтобы дружба, а так себе — разговоры. Коровкой Машу прозвали за то, что она рыжая, толстая, с голубыми глазками, затерянными в больших нежно-розовых щеках. Ей легко прожить с утра и до вечера каждый день, и все ей равно: идет ли дождь без просыпу или солнце на небе. Где сидит, там ей и нравится. Веселая она и домой ездит. Берут ее все какие-то очень богатые господа, у которых единственная родня Маши, тетя Изабелла, была долгое время гувернанткой.

Вачьянц нравится, как Маша рассказывает день за днем, не забывая ни одного пустяка, и про брюнетку, которая ездит на бал почти голая, и про юбку цвета mauve с кружевами, и про штатского Жоржа, совершенного «демона».

Перешли в старший класс. Многие девочки уехали на лето домой с красными обезьяньими руками, а вернулись в корсетах, с душистым мылом и пудрой. Шептались о чем-то попарно в углах, напевали, писали в альбомах:

Давно готова лодка,
Давно я жду тебя,
Приди, моя красотка,
И обоймы любя.

Маша-коровка сейчас же, едва поздоровалась, объявила Вачьянц, что она влюблена и что в нее тоже влюблен Жорж, тот штатский, похожий на «демона».

— Как скосили сено, мы с ним зарывались в копну и там целовались...

— Целовались? — удивилась Вачьянц. — Что же, он пишет стихи?

— Вот еще, — засмеялась Маша, — он говорит: стихи глупости, просто целуется.

Вачьянц целовалась с Онегиным и Позой только в самом конце, перед взаимною гибелью, и то, что Маша, без всяких подвигов и злоключений, на самом деле проделала это со своим штатским, было ей и немного завидно и вместе с тем так не понравилось, что она перестала с ней разговаривать...

Как-то вечером, после рождества, Маша подошла к Вачьянц и сказала:

— Разве это хорошо: за то, что я с тобой была откровенна, ты меня презираешь.

— Я к тебе попрежнему... — смутилась Вачьянц, увидя заплаканные глаза.

— А если попрежнему, — Маша сложила совсем подетски небольшие пухлые ручки, — если попрежнему, то будем сегодня ночью разговаривать, мне надо сказать тебе страшно важное.

Ночью, в дортуаре, сделав на кровати чучела из белья, чтобы ночная дама их не хватилась, девочки надели одни розовые блузы и убежали тихонько в самый дальний au coin. [1]

Там уселись они на широкий подоконник вплотную к окну.

— Ну? — спросила Вачьянц.

Маша, красная до слез, молча крутила пальцем вокруг своей рыжей косы; чтобы дать ей оправиться, Вачьянц стала смотреть то вверх на небо, то вниз в глубокий четырехугольный двор.

Там, стриженая бобриком, шла такой плотной стеной аллея акаций, что, казалось, по верхушке ее можно бежать, как по твердой дорожке; на самой середине двора, защищенный от северных ветров пятиэтажной постройкой, вырос пирамидальный тополь, ровный и пышный, каким мог он вырасти только на юге. И, глядя на тополь, Вачьянц почудилось, что он тот самый, родной, что стоял на лужайке за домом дяди Давыда. С этого тополя прыгали через забор к генералу фон Зуппе за сливами; с собой ее брали мальчики, женой атамана-разбойника...

Грузно шлепаются о землю толстые сливы, душа мерзнет от страха, а сквозь листья звезды мигают, ведь так низко чудятся звезды, когда сидишь на дереве.

Вачьянц дернула головой, не хотела больше смотреть, со злостью крикнула Маше:

— Если есть что сказать, говори, а то спать пойду.

Маша всхлипнула, колыхнулась и, подняв свое запухшее лицо, все в размазанных слезах, сказала:

---

[1] Туалетная *(франц.)*.

— Еще в начале лета, когда я с Жоржем, тем штатским, зарывалась в копне, он со мной сделал такое, что у меня теперь будет ребеночек.

Вачьянц дернулась что-то сказать, но Маша не дала. Тем самым своим обыкновенным голосом, каким говорила всегда про блондинок с брюнетками и юбку цвета mauve, только захлебываясь иногда от плача, она рассказала:

— Тетя Изабелла вчера была на приеме, я ей будто бы из романа про себя всю правду... и что, спрашиваю, после этого такой несчастной девочке делать? А тетя как рассердится: в воду, говорит, мало броситься! Порядочные родные, говорит, такую-то со двора... проклянут. И ты помни, говорит, смерть куда лучше такого позора. Это ведь зовется позор... по-зор, — протянула с ужасом Маша и опять открыла рот говорить.

— Молчи ты, молчи! — закричала в отчаянье Вачьянц. — Какое мне до тебя дело, ну зачем именно мне ты сказала?

— А кому мне сказать? — отозвалась тупо Маша.

Вачьянц заметалась по комнате из угла в угол, откручивая длинными пальцами одну пуговицу за другой с своей розовой блузы.

Маша подобрала пуговицы и положила их в свой карман:

— Я тебе завтра пришью.

— Ему, штатскому, ты написала об этом? — спросила, словно пролаяла, Вачьянц.

— Написала.

— Ответил?

Маша вдруг расстегнулась, обнажила свои круглые плечи здорового, рано развитого подростка и стала тормошиться в бесчисленных ладанках и образках, висевших на тонкой цепочке на шее. Тут был и Пантелеймон-целитель, и святой Сергий, помогавший по арифметике, и подушечки-ладанки с ваткой от Иверской.

Маша путалась за пазухой, доставая конверт, а Вачьянц, будто в первый раз ее увидала, смотрела на плечи ее, такие же белорозовые, как и щеки, на шею ее с перехватами, как у маленьких толстых детей, смотрела

на синие глазки в заплаканных веках и думала: «Ну, как это ей умереть, Маше-коровке».

В том же, что Маша должна умереть, Вачьянц не сомневалась ни минуты, так как во французском романе, очень всеми любимом, героиня, четырнадцатилетняя Сидони, умерла от родов, а знаменитый доктор, приехавший слишком поздно, говорил над трупом в последней главе: «On en meurt a quatorze, on en meurt!» [1]

А Маше, как и Сидони, было недавно четырнадцать.

— Вот письмо, — подала Маша бумажку, а сама, вынув из блузы большой казенный платок, прозванный за черное клеймо «каторжник», долго и громко в него сморкалась.

«Читать плохие романы вредно, упражняйтесь лучше в науках, а я уезжаю за границу и на переписку с институтками времени не имею».

Письмо было написано на машинке ровными лиловыми буквами без обращения и без подписи.

Пока Вачьянц читала, Маша ловила на стекле муху и, когда поймала ее, стала зевать. Вачьянц все еще стояла неподвижно, с письмом в руке. Маша дернула ее за рукав:

— Что ты стоишь как чурбан, пойдем спать.

— Быть может, тебе все почудилось, — с неожиданной надеждой сказала Вачьянц, — или ты нарочно.

Вместо ответа Маша-коровка положила руку Вачьянц на свой слегка выпирающий живот и не то всхлипнула, не то хихикнула:

— Он уж прыгает.

Вачьянц захотелось оттолкнуть от себя Машу и кричать во весь голос, кричать долго, не давая времени ни одной мысли обозначиться в голове, но вместо этого она изо всех сил обняла Машу, а та прижалась к ней всем своим толстым телом.

Проносились по небу, то открывая, то закрывая луну, облака, верхушку пирамидального тополя шевелил утренний ветер, на темном еще небе прорезалась оранжевая полоска, и высокие трубы на крыше позолотили свой край. В противоположном окне погас огонь; это в свой

---

[1] «От этого в четырнадцать лет умирают, да, умирают!» *(франц.)*.

последний обход, под утро, дежурная ночная дама прикрутила лампы у старших.

— До чего есть мне все хочется, — сказала Маша, — и то кислого, то соленого.

Вачьянц перестала совершенно читать; она боялась забыться хоть на минуту и не думать о Маше, тем более что та после первого ужаса вдруг освоилась со своим положением, как-то отяжелела и, не собираясь бороться, только и делала, что просила поесть.

Уроки шли уроками, все будто одинаковые, все будто серые крестики по лиловой канве. У Вачьянц одна мысль гвоздит, буравит душу: спасти надо Машу, надо придумать...

Конечно, лучше всего, если бы кто-нибудь из учителей в нее влюбился, как у Гаршина умный человек в Надежду Николаевну, и увез бы ее из института. Ведь Маша теперь почти как падшая женщина, и умному человеку можно бы ее полюбить. Но учителя все женатые, да и на четвертый класс глядят как на маленьких.

Классной даме сказать. Французская очень добрая, не то, что Цвибель, только чем она сможет помочь! К себе в комнату Машу не спрячет, а если начальнице не донесет, ее же и выгонят, когда все откроется.

Одна надежда — спросить совета у Ксенечки Марковой, пепиньерки. Эта Ксенечка самая умная в институте, зовут ее «звездой института», и курс словесности та знает не только по учебнику, а по разным «источникам».

Встречая постоянно Вачьянц в коридоре уткнувшей нос в книгу, Ксенечка как-то подняла свои узкие брови и спросила:

— Вы отдаете себе отчет в том, что такое романтизм? — И стала излагать гораздо подробнее учителя, а прощаясь, сказала: — Напишите мне это своими словами, мне надо знать, понятно ли я объясняю.

Из-за Машиного дела Вачьянц забыла о романтизме, но о самой Ксенечке думала очень много и, наконец, решилась с ней говорить.

— Натрись подвязкой, Вачьянц, — сказала в этот день Маша, — ты стала такая зеленая, вот-вот сведут тебя в лазарет, что ж я тогда буду делать.

В институте была мода носить красные подвязки, которые, если их послюнить, отлично румянили щеки. Это делалось, когда хотели стать покрасивее или подделать жар, чтобы сбежать от урока.

Вачьянц натерлась перед зеркалом так, чтобы везде было ровно, и в большую перемену побежала к старшим.

Она так часто мысленно говорила с Ксенечкой, что сейчас, когда столкнулась с ней в коридоре и Ксенечка, подняв по привычке брови над умными серыми глазами, спросила:

— Ну, как романтизм?

Вачьянц схватила ее крепко за руку:

— Поговорите со мной...

— К чему же фамильярность, — сказала с сдержанной улыбкой Ксенечка, «звезда института», привыкшая к обожанию, и вынула из-за пояса золотые часики. — У меня для вас ровно десять минут. Ну, о чем же сегодня, поэзия или проза?

Вачьянц стояла багровая от растирания подвязкой и от слез в горле:

— Ах, если бы вы знали. Мне надо так, чтобы никто нас не слышал...

— Какие у меня могут быть с вами секреты, — пожала плечами Ксенечка и, пристально взглянув на Вачьянц, вдруг сморщила губы в презрительном гневе: — Какая гадость, у вас накрашены щеки, это делают только ничтожества, и я жалею, что потратила на вас свое время.

Круто повернувшись, Ксенечка пошла в свой класс, Вачьянц захохотала, высунула ей вдогонку язык и закричала изо всей силы:

— Мне наплевать на ваш романтизм, на-пле-вать.

— Qu'est ce que cela veut dire, — ces manières? Et encore en russe, le joli [1] «наплевать», — остановила строго чужая классная дама. — Ступайте в свой класс.

В классе Вачьянц села смирно на место и уставилась в огромные окна. Сосчитала все стекла, за стеклами воробьев, за воробьями золотые макушки церквей. Уроков не учила, а нарочно, как самые глупые девочки, играла сама с собой в крестики-нолики и колечки. Так хотелось

---

[1] Что это значит — подобные манеры? И это прелестное русское... *(франц.)*.

забыться, опять сделаться маленькой. Разноцветные бисерные кольца надевала на пальцы и сбрасывала поочередно на черный покатый стол: ляг собачкой, ляг змеей, ляг лягушкой, ляг свиньей.

Пусто в голове, а в душе один гвоздь: надо спасти Машу, надо выдумать что-нибудь.

Дни не были длинные, как в то время, когда Вачьянц и утро и вечер видела перед собой горы; теперь дни в один миг проглатывал чей-то черный рот так скоро, как в любимой игрушке «повар-обжора» глотал пирожные.

— Вачьянц, я толстею, — говорит Маша. — Вачьянц, что же это будет-то?

В субботу, перед всенощной, Вачьянц проскользнула в галерею, которая вела к церкви, и забилась в угол, против портрета графа, давнего благодетеля института.

Она поджидала батюшку, не того, с которым вышла у нее история в маленьком классе, а другого, академика, с умным шишковатым лбом и больными глазами. Ему не стыдно сказать, он очень умный, все говорят... Он священник, он поможет. Ведь должен помочь кто-нибудь.

Как и что сказать батюшке, Вачьянц думает и не может придумать. Давно она недоедает, половину порции дает Маше, и почти всегда теперь голова кружится, а какая слабость... уснуть бы. Она таращит глаза на портрет. Граф в рыжем шлафроке с лейкой в руке собирается поливать бурые георгины, которые художник насадил ему за окном. Дрожит в глазах картина, вся в черных точках, будто в летний вечер, когда мошки «ткут мак», так и мелькает... и вдруг нет уж ни мошек, ни графа, только зеленая лужайка, та, что вблизи дома дяди Давыда, и не георгины на ней, а тюльпаны желтые, и опять мальчики с черных дворов и уселись в круг, играют; намнут в пальцах листик тюльпана, надуют его пузырем и хлоп по лбу, кто громче.

Вдруг шаги... Кто-то идет в галерею. Вачьянц очнулась, смигнула веками сон, перекрестилась несколько раз, не доводя руку до лба, на одной только подложечке, выскочила из своей засады, благословилась у батюшки и выговорила одним духом, будто прыгнула в прорубь:

— Батюшка, если человек скажет вам, что в отчаянии, что он убьет себя, если вы не дадите ему сто рублей, если вы не возьмете его в свой дом, вы не откажете, батюшка? Не откажете?

То, что Вачьянц так близко видела умное лицо батюшки, его отеческие благословляющие руки, темную рясу, сразу умилило ее и наполнило доверием.

— Ведь не надолго, батюшка, а потом вы дадите ей сто рублей, чтобы она могла стать хоть портнихой.

— Но что с вами, дитя мое, про кого вы? — с изумлением произнес батюшка и отступил, поправляя очки.

Как только Вачьянц услышала звук его голоса, она поняла, что батюшка совсем посторонний, незнакомый человек, ей стало страшно до холода, и, не найдя больше слов, она стояла бледная и шевелила губами.

— О чем вы просите, дитя мое? — еще раз повторил батюшка, внимательно щуря больные глаза.

Вачьянц вдруг показалось, что она уже выдала все про Машу, назвала ее, а батюшка сейчас пойдет к начальнице и расскажет. Сердце закололо в бок острым гвоздем, а рот, безобразно кривясь, наконец выкрикнул:

— Ах, не надо, не надо...

Священник налил воду из стоявшего на окошке графина, припасенного для слабых, выходящих из церкви, и сказал:

— Все, что волнует вашу юную душу, вы должны первым долгом поведать одной из ваших воспитательниц, они, естественно, стоят к вам ближе, заменяя мать сиротам.

Батюшка говорил ласково, отстраняющим назидательным голосом, то и дело поправляя золотые очки.

— Надо сдерживать себя, дитя мое, преувеличивать чувства очень вредно и лживо, а ложь, как вы сами знаете, грех против бога, осквернение своей души; а эта последняя, как сказано у апостола, есть не что иное, как храм божий.

Пока батюшка говорил, Вачьянц справилась с собой, сделала почтительное казенное лицо, нагнула голову и сказала:

— Простите, батюшка, я все это нарочно придумала.

Батюшка повторил еще о грехе лживости, сделал обычное благословляющее движение рукой и, шурша шелком рясы, прошел к себе в церковь.

Ночью у Вачьянц с Машей было опять длинное свидание в au coin, у окна.

— На, съешь, — сказала Вачьянц, доставая из кармана котлету. Но Маша не обрадовалась, как всегда сжевала молча и, вытираясь платком, сказала:

— Что ни съешь, все равно один конец. В субботу баня, и теперь все заметят. Прошлый раз банщицы приставали: «Что у вас, барышня, в животе, черный хлеб, что ли, стал комом?» А теперь не отвертишься, сведут в лазарет. Завтра пятница, послезавтра суббота, боже мой, боже мой.

— А я, что я могу? — в отчаянье сказала Вачьянц. — Ничего мне не удалось, Ксенечка обругала, батюшке дела нет, к кому сунуться, разве знаю я. Никто ко мне не приходит, сижу тут как в тюрьме, а ты сон мой украла, ты кровь мою пьешь, ненавижу тебя, слышишь ты! — крикнула она в гневе, в горечи, в бессилье ребенка, на плечи которого взвалили непосильную тяжесть и злой плетью стегают — иди.

Маша с перекошенным от страха лицом, таким белым, что похоже оно стало на большой серый мячик, обеими руками ухватилась за плечи Вачьянц и зашептала ей в ухо так часто, что слышен был один свист:

— Не оставь, не оставь...

И так же шепотом, так же бессмысленно долго, как дятел долбит кору дерева, зашептала в ответ ей Вачьянц:

— Нет, нет, не оставлю.

Так, тесно обнявшись, пришли девочки в дортуар. Там Маша вынула из ночного столика белый лоскут и стала прилежно ковырять иголкой.

— Что, Маша, шьешь? — окликнула Вачьянц, лежавшая рядом, и сейчас же догадалась по выкройке, что это детский чепчик.

— Мне так захотелось, Вачьянц, мне так захотелось сшить своей девочке чепчик. Я сделаю с розовой лентой, ведь, наверно, это девочка. Так всегда бывает, я слышала, когда мать любит больше, чем отец: а Жорж ведь меня ни чуточку не любил. Ведь он знал, что в четырнадцать лет умирают...

— Сидони умерла, а ты будешь жить,— сказала в утешенье Вачьянц.

— Ах, нет, ты помнишь, знаменитый хирург говорит: «on en meurt à quatorze, on en meurt», да и что мне за жизнь! Тетя выгонит, здесь скандал, куда деться из четвертого класса, разве в горничные...

— Сделайся, Маша, падшей женщиной, — сказала вдруг Вачьянц, — тебе легко теперь это сделать, и когда ты встретишь такого, как Гаршин, выходи замуж. Ведь ты читала «Надежду Николаевну».

— Ты с ума сходишь, Вачьянц, — зашептала Маша в испуге, — ведь падшие самые позорные и умирают на улице, я слыхала... И не надо говорить, ничего не надо. Вот если бы умереть до скандала и так, чтобы не больно. Я уж окошко наметила, только боюсь выпрыгнуть, а большущее, кабан в форточку влезет.

Маша представила себе, как лезет кабан, засмеялась. «Она так и в гробу вспомнит смешное и засмеется», — мелькнуло у Вачьянц, и, не желая думать о Машиной смерти, чтобы сказать что-нибудь, она сказала:

— А вот у девушки Тани недавно подруга одна на жениха рассердилась, взяла иголки номер двенадцать, знаешь, те, что мы бисер вяжем, их залепила в мякиш да проглотила, сказала только: ах, и — конец, ничего не страдала, и такая осталась красивая...

— Только: ах, и — конец, — повторила Маша и, подумав, прибавила: — В черный мякиш залеплять надо, он лучше держит, у тебя иголки-то есть?

— В кармане, — сказала Вачьянц и показала темную пачку коротких тонких, как волоски, иголок.

Маша, оттопырив губы, пришила к чепчику розовый бант, насадила его на кулак и, причмокивая языком, по-институтски разбивая слова на слоги, стала припевать:

— Ну чеп, ну и чик.

Потом пересела на кровать Вачьянц, сняла с шеи свою цепочку с образками и ладонками и, по своей привычке сложив пухлые руки, попросила:

— Разыщи когда-нибудь Жоржа, отца моей девочки, передай ему чепчик и образки.

— Я убью его...

— Ах, зачем же? Ты только скажи ему так обо мне, чтобы ему меня стало жалко.

— Я сама скоро умру, — сказала Вачьянц, — у меня будто жар, и в голове все звенит...

— Вот хорошо, будем вместе в лазарете, — обрадовалась Маша и, уже больше не разговаривая, заснула.

В субботу утром девочки еле добудились Вачьянц, и так как она ни за что не хотела попасть в лазарет, чтобы жар не был виден, напудрили ее зубным порошком.

Когда шли в столовую, Маша шепнула ей:

— Сделай шарик.

Лицо Маши было внимательно, озабоченно, но, как всегда после сна, розовое, с блестящей кожей, покрытой пушком.

— Смотри, не белый, черный мякиш бери...

По дороге из столовой в классы Вачьянц, воспользовавшись тем, что французская дама заговорилась с другой, вышла из пары и пошла с Машей рядом.

— Я ведь только на всякий случай, — сказала Маша и протянула руку, — только не заболей раньше меня, одной так страшно.

Вачьянц на минуту замешкалась в длинном казенном кармане, среди перьев, кусков сахара и веревочек нащупала два ровных, только что зализанных шарика и опустила их в протянутую руку.

— Все в один не вошли, — объяснила она, вернулась на свое место в первую пару и стала подниматься по лестнице в класс.

Перед самым порогом Вачьянц вдруг поняла, что если Маша проглотит шарик, то ведь она умрет, и что это в самом деле, что возврата нет...

Вачьянц опять вышла из пары, хотела бежать к Маше, хотела из рук ее вырвать шарик, хотела крикнуть всем громко, чтоб удержали ее, чтобы спасли, но вместо всего этого она только взмахнула руками, как на гимнастике, снизу вверх и больше не помнила, что случилось. Ничего не помнила...

. . . .

Когда, наконец, в лазарете Вачьянц пришла в себя и, бритая, в шерстяном черном чепчике, от слабости еще держась руками за стенку, пошла бродить по палатам, она узнала, что Маша давно умерла.

— Кто был, когда хоронили?

— Ни тетки, никого не было, — ответили девочки, — даже денег с нас на цветы не сбирали, какая-то смерть у нее была не как следует, а наверно узнать ничего невозможно.

Вачьянц больше не расспрашивала: кончено с Машей, и все тут.

После болезни она совсем отупела; в своем черном чепчике и теплой пелерине пуганой птицей сидела в углах. Учиться стало трудно, читать не хотелось, приятней всего играть, как играли глупые девочки, в крестики-нолики да в колечки: ляг восьмеркой, ляг змеей, ляг собачкой, ляг свиньей.

— На второй год останешься, — язвит Цвибель, — Gott sei Dank,[1] с моих рук долой! То шла из первых, поведением неприлична, endlich anständiges Mädchen,[2] и оказалось, du bist ein Dummkopf.[3]

А Вачьянц до смерти хочется одного: взяли бы домой на лето хоть на этот единственный раз. И не для того, чтобы горы увидеть; теперь уже все равно, пусть стоят, где стояли... теперь только наесться бы очень много за обедом, досыта, до отвала, как здесь никогда не приходится, да взять бы с собой толстого щенка и зарыться бы в высокой траве на лужайке недалеко от тюльпанов и все спать бы и спать, не видеть ни дня и ни ночи.

О том, что она помогла Маше убить себя и что это был «грех», Вачьянц не думала вовсе. Все равно ведь Маша должна была умереть. Теперь же она поспела сказать только: ах, и — готово.

А греха не было никакого; грех — это когда хочешь сделать кому-нибудь злое, — а разве она хотела? Сколько мучилась из-за Маши, не спала и не ела...

Был пост, когда Вачьянц вышла из лазарета. Класс Вачьянц исповедовался на четвертой неделе, самой любимой из всех. Стоянье не бесконечное, как на первой и седьмой, да и в церкви не мрачно: посреди аналой, весь в фиалках и ландышах, а в цветах серебряный крест; как приложишься, холодок на губах, будто выпьешь студеную воду в горном ручье.

---

[1] Слава богу *(нем.)*.

[2] Наконец стала приличная девочка *(нем.)*.

[3] Ты дурочка *(нем.)*.

Перед тем как идти в церковь, строятся в зале рядами просить прощенья у начальницы.

Красивая, пожилая, с белым платочком в одной руке, с флаконом английской соли в другой, она говорит по-русски, растягивая слова:

— Милые дети, хорошо ль вы подумали о грехах?

— Мы постарались подумать, maman...

— Может быть, у кого-нибудь есть особенный тайный грех, — maman медленно нюхает соль. — Может быть, mes enfants, кто-нибудь солгал или скушал чужое. Скажите мне, как своей матери...

Maman минуту держит девочек под подозрительным острым взглядом, но у всех лицо как одно, ноги в первой позиции; maman слегка простирает полные руки, одну с английской солью, другую с флаконом, и как-то изнутри растроганным голосом дает отпускную.

— Que Dieu vous pardonne, mes enfants. [1]

— Nous vous remercions, chère maman, [2] — приседают девочки, идут в церковь.

В церкви страшно сегодня, там смеяться перестают. В глубоких нишах каменного свода стоят зеленые ширмы, а за ширмой по батюшке, исповедуют.

Входят девочки по одной, остаются минутку, на аналой кладут свечку, выходят. Грехи у многих записаны на бумажку и выучены наизусть. Говорят девочки скоро, грех за грехом, чтобы батюшка не поспел им задать интимных вопросов. Никто не любил говорить про дом, про свои чувства, и если батюшка спросит, его сейчас прервут: «Я, батюшка, сомневаюсь, как мог кит проглотить Иону...» или про Троицу, про Лазаря. А солгать прямо нельзя, боятся: если солжешь за причастием, выползет изо рта змея или язык вспыхнет углем.

Вачьянц, не выходя из своего туповатого равнодушия, идет за зеленую ширму, спокойно говорит батюшке на все вопросы: грешна, грешна, и кладет на аналой восковую пятикопеечную свечку.

Но под епитрахилью становится жутко: вдруг кажется ей, что нельзя брать от батюшки отпуск, что надо бы все рассказать. Только что рассказать?

---

[1] Да простит вас бог, мои дети *(франц.)*.

[2] Благодарим вас *(франц.)*.

— У вас есть особенный грех? — спрашивает с беспокойством батюшка, тот самый академик с сощуренными больными глазами, которого Вачьянц просила за Машу.

— Все ей отдала — и сон, и еду, и здоровье... — и, взглянув на очки батюшки, на его умный шишковатый лоб, Вачьянц твердо говорит: — Нет, батюшка, нет у меня особенного греха, нет.

Батюшка подал крест, она приложилась и скорым шагом вышла из-за ширмы.

После исповеди всегда водили в баню, туда, глубоко, в нижний этаж. Первый предбанник с пещерными сводами, мрачный, второй — громадный, еще мрачнее, а дальше горячая баня.

С шайками, полными взбитой пены, ждали девочек банщицы, все три Саши: Саша толстая, Саша черная и Саша-ворчуха. Больше трех девочек мыться не пускают, остальные играют во втором предбаннике в скачки.

На полу, посреди комнаты, сгребли в кучу грязное белье, а вороные и чалые лошади выстроились у стены. Счесали, как гриву, на одну сторону волосы, топочут ногами, стараются ржать...

После каждого прыжка громадную кучу взбивают все выше, а судьи на полу около своих ставок, белых кучек сахара, зорко высматривают, чисто ли прыгает лошадь.

Вачьянц, горячая, дрожит сухим телом в нетерпенье бежать. Рубашку в последнюю минуту надо сбросить, чтобы ничто не мешало прыжку, и вот кажется ей, когда стоит она голая и свободная, как будто нигде не живущая, что она совсем другая, не та, что дала Маше съесть черный шарик, не та, что целовала руку maman, не та, что не ездит на лето домой.

В голове мыслей нет, кровь бьет в виски и в ладони. Взлетает Вачьянц над кучей, несется через теплый предбанник в горячую баню и обратно. Стучит пятками в деревянные половицы и, счесав заново на ухо черную гриву, снова ржет, снова прыгает.

И любо и радостно ей забыть все слова, визжать позвериному, взметывать гривой и, оттолкнувшись в последний раз, взлетать всей силой кверху, как мяч.

— Ура, Арапка, ура! — кричат девочки.

— Гет, гет! — визжит Вачьянц, берет все призы, лягает других лошадей, разметывает по полу кучки белого сахара.

— Взбесилась Арапка, лови ее, лови, — кричат судьи, кидаются на Вачьянц, валятся кучей в бане, сшибая с ног Сашу черную с шайкой.

— Табун, а не барышни, сущий табун, — и другая Саша, ворчуха, обещается звать классную даму, если все сейчас же не сядут мыться.

Вачьянц идет к Саше толстой и покорно отдает ей под мыльную пену свою голову; она все еще тяжело дышит, и все еще ей и любо и радостно.

Вспоминаются лихие джигитовки казаков за городом на большом пустыре, и кажется ей, сейчас только сама она была этим джигитом, с перетянутой талией, с кинжалом носилась на взмыленном жеребце, а навстречу ей степной ветер, да копчик, да синее небо...

— Ишь, барышня расскакалась, — говорит добродушная Саша-толстуха, — одни теперь скачете, а то все было с подружкой, все с Машенькой. Никак самой светлой была она у вас лошадкой-то, царствие ей небесное. — И Саша перекрестилась правой рукой, продолжая левой теребить волосы.

— А правду ли говорят, будто она... — начала и запнулась Саша-ворчуха.

Саша толстая, больно впившись в косы Вачьянц, откинулась вся далеко назад и зашептала, но так громко, что все было слышно:

— На пятом месяце, как резали ее, так после смерти все и обозначилось, мальчик ведь был.

«Значит, на чепчике бант менять нужно, — подумала Вачьянц, — это у девочек только розовые, у мальчиков голубые».

И еще стихла, еще сжалась комочком, чтоб Саша о ней совсем позабыла.

Банщицам запрещено было говорить друг с другом при девочках, но безмолвно вымыть десять голов ни одна не могла, и кончали тем, что выкладывали одна другой всякие новости.

— Мучилась она, говоришь? — уже не шепотом, а громко спросила Саша-ворчуха.

— Ой, мучилась, ой, не дай господи, — заохала Саша толстая. — Язык вздулся, говорить что-то хочет, позвать кого, а кого — не разобрали.

— Меня звала, меня, — прошептала Вачьянц, и под теплой пеной ей вдруг стало так холодно, что она задрожала всем телом.

— Ну, затушили, всему, значит, крышка, и нам приказан молчок, только в городе и без нашего языка-то собаки гавкают.

— Такое-то дело что воробей, лови, — подтвердила Саша толстая, — долго ли билась-то?

— А как снесли ее под вечер, аккурат в предбанное время в субботу, так вот три дня и три ночи, ровно рыба с крючком — не дохнуть. Глаза выпучены, язык весь искусан, ногти обломаны... уж и в ванну ее и в одну и в другую, а все помощи не видать. Орест Федорович, доктор, сестре милосердия говорил: у бедняжки все кишочки продырявило, целую, говорит, мелочную торговлю иголок глотнула.

— Ишь ты, мелочную торговлю, — повторила Саша черная, и не для острословия повторила, а жалеючи, и со слезами перекрестилась: — Царство небесное.

Вачьянц не переставала дрожать, так что Саша толстая, наконец, это заметила и, нагнувшись к самому уху ее, зашептала:

— Барышня, милая, не сказывайте никому, что слыхали, а о подружке Машеньке вам не надо горевать, посудите только: что бы ей тут за радость была?

Вачьянц оделась и, по внешности ничем от других не отличаясь, пошла в своей паре к ужину. Ела — как всегда после бани, с большим аппетитом и, как только легла в постель, уснула. Но часов в двенадцать будто кто толкнул ее, она испугалась и села.

— Прежде надо все разузнать... — сказала Вачьянц и тут же переспросила сама себя: — Прежде чем что? — Но словами ответить не сумела, знала только наверное, что очень важное.

Очень медленно, потому что руки не слушались, а были будто свинцом налитые, ленивые, Вачьянц оделась. Все по порядку надела, как никто ночью наспех

обыкновенно не одевался. И чулки надела и подвязки; поправила перед зеркалом волосы, чтобы не были трепаные. Потом, посмотрев среди длинного ряда кроватей недавно поступившую девочку, Фросю Тарутину, у которой, все знали, тетя была акушеркой, стала ее тихонько будить.

— Пойди со мной в au coin: я одна боюсь.

Тарутина, покладливая девочка, сейчас же надела блузу и сказала:

— Ну, пойдем, только это взаймы, когда мне надо будет, тогда я тебя разбужу.

И обе вышли в коридор.

— Слушай, Фрося, — сказала Вачьянц, — ты про «это» больше всех знаешь, — можно родить в четырнадцать лет?

— Можно и в двенадцать, все зависит от широты таза, разве тебе не известно? — сказала с снисходительным удивлением Фрося. — Все таз, какой он ширины, вот настоящая, — и Фрося расставила руки.

— Так что, — запнулась Вачьянц, — если правду говорят про Машу-коровку... — она свернула набок голову, будто ища что в кармане, — ты про смерть ее слышала?

— Еще бы не слыхать, тетя из первых рук знает от доктора и фельдшериц, — охотно сказала Фрося. — Мальчик ведь был. И тетя еще говорит, родила бы его Маша здоровехонько, этакая бабища была. У нее иголки в кишках нашли, знаешь, номер двенадцать, что мы бисер нижем.

— Самоубийство? — чуть слышно спросила Вачьянц.

— Что? — удивилась Фрося. — Нет, какое там самоубийство! Она ведь дура была и трусиха, куда ей, рука б дрогнула. Тетя говорит, вернее всего она истеричка, знаешь, истерички такие есть, они чего-чего не проглотят.

— Так, так, — будто чему-то обрадовавшись, поддакнула Вачьянц, — у самой Маши рука бы дрогнула. Она бы сама ни за что шарика не сделала...

— Какого шарика? — опять удивилась Фрося.

— А из черного хлеба, — все так же, будто радуясь, продолжала Вачьянц, — чтобы иголки-то проглотить, ведь их залепить надо в мякиш.

— А ведь и правда, — согласилась Фрося, — но все-таки Маша дура, что умерла.

— Чем же дура, — возразила Вачьянц, — осталась бы жить, ну родила бы, что же дальше-то? Куда деться ей из четвертого класса! А из дому тетка прогонит.

— На улице не осталась бы, — равнодушно ответила Фрося. — Вон доктор Орест Федорович чуть не плакал, тете жаловался: «мерзавка девчонка». Он всегда ругается, хотя очень добрый и такой смешной: «мерзавка девчонка, говорит, он бы ко мне приходил, я б его скрыл, я бы к себе дочкой брал, а маленький был бы мне ein kleines Söhnchen, [1] я ведь, говорит, одна голова, старый колостях...»

Фрося еще раз передразнила Ореста Федоровича: «старый колостях», засмеялась...

— Врешь, скажи сейчас, что врешь, — закричала Вачьянц и притиснула Фросю изо всех сил к стене коридора. — Врешь, врешь! Немец злюка, немец не спас бы Машу.

— Сама ты злюка, — вырвалась рассерженная Фрося, — убирайся, я тебя знать не хочу. Сумасшедшая!

Фрося, сердито шаркая туфлями, повернула обратно в дортуар, а Вачьянц бегом домчалась до дальнего au coin, до того самого, где по ночам говорила с Машей-коровкой, и, сев на подоконник, стала думать.

«Доктор Орест Федорович взял бы к себе Машу дочкой, — отчего же не знали мы этого? А как молились-то. Отчего же не пришел ангел с неба, отчего не сказал нам: идите к Оресту Федоровичу. А я бегала к Ксенечке, я полезла к батюшке... Они не поняли, и вот я Маше сделала шарик: думала, она скажет: ах, и — умрет. А она мучилась. Три дня и три ночи мучилась. Боже мой, боже мой!»

Вачьянц огляделась кругом, нет ли кого-нибудь. Все равно, кто бы ни был, все равно, только бы человек, чтобы ему рассказать.

Уже больше нельзя было молчать, уже кто-то сжимал в ледяных руках сердце с такой силой, что делалось страшно и больно и нельзя было двинуться с подоконника. И все ясней становилось, что тут вот у окна сейчас все-все и должно решиться.

— Что все? — спросила Вачьянц и стала густо и тяжело дышать на стекло рамы, пока оно не сделалось матовым. Тогда, аккуратно выводя буквы, она написала

---

[1] Маленьким сыночком (*нем.*).

указательным пальцем: «Я убийца Маши Радугиной». Стерла ладонью и, представив себе, что на этот раз уже кто-то посторонний говорит про нее, быть может сам ангел-хранитель, указывая богу на книгу ее жизни, она опять надышала на стекло и написала уже про себя в третьем лице: «Она убийца».

И, засматривая на стекло то с правой, то с левой стороны, опять и опять удивленно шептала: «она убийца?»

— Ну, а дальше-то что, — прервала себя, — как дальше-то, если все оказался обман и я Машу убила иголками?

Она открыла с усилием окно: зимняя рама была вынута, замазку девочки давно соскоблили и съели, и хоть не позволялось открывать окно, они открывали.

Опять луна, как и тогда, в ту ночь, когда Маша-коровка сказала: «убивать себя надо». Точно так же легко и прозрачно пробегали над трубами облака; через двор видны были огни ламп в дортуаре у старших, качал ветер верхушку пирамидального тополя. Только на земле от ствола этого тополя до белой стены института были сложены ровными рядами красные кирпичи для починки фундамента.

— Да, совсем даром, на веки вечные я сгубила свою душу, — громко, почти с удовольствием сказала Вачьянц и, далеко выгнувшись на подоконнике, стала деловито и внимательно смотреть вниз.

Совсем хорошо видна была при светлой луне еще не частая щеточка молодого газона, видны были лужи недавних дождей и белый заборчик прошлогодней клумбы.

Вачьянц отцепила носки башмаков от водопроводной трубы, за которую держалась, и спрыгнула из окна на красные кирпичи под пирамидальный тополь.

1913

ШЕЛУШЕЯ

Так жили они там на горе: отец и сын. Дом был не то чтобы очень стар, а расхлябанный. Осел до перекошенных окон в землю, весь в подтеках, с синяками. Крыша, как черный захватанный чепчик на очки старой барыне, сползла на оконные стекла. Комнат было шесть — восемь, но жилых всего три: старикова, сыно́вья и кроличья.

Пустил старик как-то парочку кроликов — черного с беленьким — посмотреть, как в приплоде краски смешаются, а они навели вдруг бог знает какой разноцветности: серо-желтые, бурые, а то просто-напросто зайцы — ни капли не кролики.

Приличного хода в дом не было, хотя и выдвигался навес, а под ним две колонны с широкою дверью, но крыльцо не достроено.

— Антресоль у нас без последствий, — говорил хриплым голосом Заведей-дворник. Говорил он вприкуску, будто слово слову костыль подавало, сам запухший, глаз не видать. Если не было дела, закрывал себе голову Заведей шубой и спал.

Вот он да глухая одноглазая Аннушка сторожили дом на горе. Аннушка — старуха, в молодости носила юбку зад наперед, полосатые чулки шерстяные наизнанку, а к старости все позабыла, только печку истопить да щи с кашей сготовить.

Старик, живший в доме, был почти знатного рода. Если б какой-нибудь любопытник хорошенько пошарил под толстой кроличихой Секлетеей, он воочию мог бы убедиться.

Родословная хоть куда: на гербе два забрала тевтонского рыцаря, девять графских шишечек и еще что-то. Понадобилось под заболевшую Секлетею дать помягче подстилку, старик заодно сгреб с ветошками родословную, от времени вся она стала мягкая, просырела.

Другие бумаги, где написано было на французском, немецком и английском языках, как с успехом старик обучался, сама Аннушка истребила на домашние нужды.

И так жил уже дальше старик на горе без бумаг, с одним своим человеческим видом. Хотя в полиции был он прописан с обозначением немалого чина, но когда случалось ему выставлять в форточку голову, круглый год выставлял ее просто-напросто так, без шапки. Город был в верстах трех, а старик и за дверь не выглядывал, так что когда одежа сносилась, одеваться придумал в самокрасные ткани. Собирал он мешки, окунал их в корыто с темносинею крепкою краскою, Аннушка кое-как портачила.

Жили в доме на пенсию, которую по доверию старика получал Заведей-дворник, а занятием старика были чучела. Вся его комната со съехавшим полом заставлена была зверем и птицами. Под кроватью оскаливал зубы маленький крокодил. Марабу стоял твердо на крепкой ноге, а на другую, поджатую, Аннушка вешала сухие грибы, лук, чеснок. Нахохленный, злой какаду держал в клюве перец, и старик говорил ему тихонько, нараспев:

— Да, какаду, делал все на ходу, оттого ты печальный!

Или выдвигал он крокодила из-под кровати:

— Крокодил, крокодил, плодороден твой Нил, ах ты, братец крокодил...

Как только размножились кролики до числа двадцать пять, старик прошел в крольчью и сказал громко родоначальнице Секлетее:

— Слушай, матушка, прекрати, из *числа мне* — ни шагу!

Но Секлетея и в ус не подула, навела бог весть откуда опять разноцветных, белоснежных с красноватым дрожащим зрачком, желтых, бурых, а то просто-напросто зайцев — ни капли не кроликов.

— Секлетея, Секлетея, никуда твоя затея! Вот я, рыцарь плодороднейшей, охранитель числа двадцать пять, принужден взять секиру!

Старик выбирал кроликов мужского пола и проносил

их за длинные уши через комнату сына. Кролики забавно опадали на задние ноги, будто делали гимнастические упражнения, и бубнили губами.

Сын отрывался от своей тетради и с мукой в глазах говорил:

— Снова резать?

— А на что беспорядочит? Родила — из числа выбилась. Нету выхода из числа. Не должно быть.

Комната сына была поприличнее стариковой: цветы на окошке — герань и зеленые листики чьи-то, без цвета.

Каждый день, как вставал, сын стирал пыль с окна, брал в стакан воду, с терпением обмывал каждый листик, а цветы долго нюхал. У сына — стол, стул. На столе много белой бумаги, перо, чернила. И сын все писал и писал. Для домашней нужды не давал ни клочочка исписанного, хранил на запоре.

Весной сын писал очень мало, больше короткими строчками, часто пропуски, а за пропуском черные точки. Вскакивал со стула, подбегал герань нюхать, рукой трогал листики.

Зато зимой перо скрипело с утра и до вечера, иногда ночью, иногда целую ночь... Старик в своей комнате сердито покрякивал: Секлетея зимой не плодилась, и делать ему было нечего. Сидел день-деньской на постели, выдвинув под ноги, как скамеечку, крокодила:

— Какаду, какаду, делал все на ходу, оттого ты печальный!

Иной раз сын, исписав все чернила, начинал вдруг кружиться по комнате, легко прыгая с носка на носок, плеща руками с радостным выкликом.

Старик отворял дверь, выставлял в нее оскаленную пасть крокодила:

Посмотри-ка, — крокодил,
Плодороден он, как Нил.

Заливался сын алой краской, подскакивал к старику, смотрел ему в глаза с вызовом, будто проглатывал.

И когда они были рядом, они были очень похожи. Такой же лоб крутой и высокий у сына, закрыт пока русыми волосами, а у старика поголее, с морщинами. И глаза те же самые: у сына ясного голубого неба, у отца цвет пожиже, стеклянный, а все то же лицо.

У сына в комнате грязи как-то само собой не накапливалось, хотя Аннушка убирать никогда не ходила; зато у старика и у кроликов — хуже конюшни.

Аннушка птичьи чучела повернула под вешалки для припасов, а на зверей для просушки расстилала белье.

В дом никто не ходил. Заведей-дворник, если нужно что, стучал старику в окошко.

Обед готовила Аннушка в русской печи каждый день, что умела: щи, кашу. И отцу и сыну лила поровну в миски, набуривала в щи кашу вулканом, сверху в ямочку клала масло.

Сын съедал спехом, кое-как, чтоб отделаться, и пока Аннушка еще доковылять не поспевала до двери, кричал ей брезгливо:

— Забирайте обратно!

А старик ел медлительно и всегда до конца, но посуду не любил чтобы брали тотчас. Говорил:

— Пусть стоит: завтра снова обедать.

Кругом дома ходили и хрюкали свиньи, кудахтали куры, все взапуски множились как умели. Если хотели, они могли видеть синие дали, буерак, весь поросший кудрявым кустом, бурливую речку и мельницу.

Старик же и сын ничего никогда не видали. Старик говорил:

— Все, что человек может видеть, я уже перевидел!..

И даже после того, как вспухали весенние грядки и в стекло бил крылом майский жук, норовил он днем прикрыть свои ставни.

— Это весна, — говорил он, — а я видал весну ровно восемьдесят восемь уж раз. Все то же самое!

И сын не любил, чтобы окно отворяли.

— Через стекла мне легче представить, как я хочу чтобы было, а не так, как оно в самом деле.

Так вот и жили они на горе годы.

Старик делал чучела, сын писал. Все реже старик приносил к себе за уши кролика, все ленивее сын приотворял к нему дверь.

А когда сын скрипел по бумаге весь день до заката и, покрутив лампу, надышавшую вокруг черным пеплом, собирался еще проскрипеть до утра, старик в свою очередь входил к сыну, ощупывал ему голову.

— Спи лучше, спи! Сон сокращает дни жизни. Все, что могли написать, уже написано.

Сын понемногу писать перестал. Кое-что иногда перечитывал, по привычке клал опять под запор, но чернил не требовал. Все больше лежал на постели.

Пауки оботкали все ножки стола, герань завяла, и растение без цвета стало тусклым коричневым прутом.

По сыну бегали мыши: со лба по всему телу до носков сапога и обратно. Он не двигался, улыбался, терпел щекотку, приучал себя к ней.

Старик не набивал чучел. Новых кроликов не рождалось, так что оберегать число больше не было надобности. И старик все сидел на постели, спустив ноги на выдвинутого крокодила, как на скамеечку:

— Какаду, какаду, делал все на ходу, потому ты печальный...

Теперь, когда сын ел свои щи и кашу, он не кричал уже Аннушке: «уберите скорее!», а так же, как и отец, оставлял свою миску до завтра, только б лишний раз рта не открыть.

И вот случилось.

Старик вошел как-то с миской в комнату к сыну, сел на стул пред столом:

— Неприятно мне с нею вдвоем, не привык.

— К кому не привык? — спросил сын.

— Да к Шелушее. Завелась у меня там в пыли, слышу, все ворошится да растет. С каждым днем в тело входит. Уже действует, у Аннушки шаль забрала.

— Вы больны, — сказал сын, — а я было думал: крепкий старик. С меня, думал, начнется.

— Ты пойми, — оживился отец, — все, что есть, — уже было, а она, Шелушея-то, новенькая. Из меня одного завелась. Да вот, если против ничего не имеешь, познакомиться б. Втроем как-то лучше оно — веселее.

— Пусть ее входит, — согласился сын.

— Мадам, пожалуйте-с, ангажирую! — сделал ручкой старик.

Из соседней комнаты протянулась по полу, будто грязная пуховка от пудры, пыхнула к стулу, разрослась — Шелушея.

Аннушкина шаль на плечах, ее же праздничная кика на голове. Лицо все пуховое, серой клочковой пыли,

в глазах пуговицы с давнего старикова жилета. Там, где рту быть, — окурок, а носа нет вовсе. И ни рук и ни ног.

— А! — сказал сын, — это очень приятно.

— Вот от чучел моих завелась, крови кроличьей да что комнату убирать не даю... — топотался старик вокруг Шелушеи.

— Дождался-таки, дождался, а теперь и помереть. Вот он каков человек, когда дураком быть перестанет!

— Когда быть перестанет... — продохнула чуть-чуть Шелушея.

Изо рта папироски она не выпускала, говорила с развалом и одышкой.

— Верно, и из меня что-нибудь завелось, — сказал сын, — бумаги-то что исписал. А думал... все тут, окошек не открывал.

— Не открывал... — продохнула опять Шелушея, привстала, поклонилась кому-то за сыном.

— Мадам, вы кому? — оживился отец.

— А Индрыга бумажная, — мне одной пока видно. От молодого негустой дух идет, пусть еще полежит. Индрыга окажется.

Скоро стали жить на горе вчетвером: сын, Индрыга, старик, Шелушея.

Сын с кровати уже не вставал, сломал перья, все выбросил. Аннушка печь подтопила.

Индрыга бумажная, как лапша в большом сгустке, бледная, с морковными волосами все смелей шмыгала, юркала в комнате, с Шелушеей встречалась за кушаньем. Макала в борщ пальцы, тоже белые, вермишельные. От теплого делались пальцы тряпками, кисли, их Индрыга сосала. И вся она ерзала, дергалась, а Шелушея сидела комочком.

Аннушка старая окривела еще на второй глаз: чулочной спицей в полусне наколола. Заведей-дворник распух и забыл все слова, даже в город за пенсией не ходил; для кого-то она там копилась, а дома съедали запасы.

Что ни день, Шелушея с Индрыгой набирались нахальства, хватали горшки прямо с печки, жрали первые, старику с сыном — донышко. А те чуть глотали, безмолвные. Шелушея ругалась, толкала в бок Аннушку, а та только: «барыня, барыня»...

Съели они кроликов, кур, индюшек, пошли жевать

чучела. Крокодилом Шелушея совсем подавилась, уж Заведей-дворник под ложечкой разминал. Растолстели они, нагуляли себе руки, ноги, на лице брови людские, кое-где бородавки и родинки: чем не барыни?! Одна — Шелушея — полнокровная, в теле. Другая — поджарая, крови легкой — Индрыга бумажная.

Старик пошел чахнуть, заскучал по своем крокодиле. Ноги спустит, а выдвинуть нечего. Когда у Шелушеи бородавка надгубная пустила вдруг волосы, стариковы седые разлетелись по комнате: моль у них корни подъела. Стариков же костяк так и остался сидеть на кровати, и Аннушка, как раньше на марабу, теперь уже на него вешала лук, чеснок, красный перец.

Сын не сох как старик, а все мякнул. Скоро вовсе пошел вермишелью, как была по началу Индрыга. В простынях его — чуть-чуть — кот наплакал.

— Нехорошо у вас в комнате, милая, сырость... — морщила нос Шелушея.

Она с каждым днем все важнела, Индрыгу повернула своей приживалкой. У Заведея-дворника нашла календарь, приказала читать себе вслух от доски до доски, про людей, их обычаи, кушанья, правила жизни. Выучила все наизусть. Вдруг надумалась, укрутилась в ковровый платок, а на плечи надела салоп, крытый бархатом, еще давний, стариковой жены — Аннушка в табаке сберегала от моли, — и ушла себе в город за пенсией.

Домой, на гору, Шелушея уже вернулась с покупками, на извозчике.

Приказала прибить на стене между окон железную доску, а на ней красной краской написано: «Сей дом купчихи Шелушеевой» крупными буквами, а помельче: «и девицы Индрыгиной».

— Эй! — крикнула громко, — Заведей-дворник, чтобы выбиты были матрацы!

Заведей-дворник, запухший, забывший слова, снес на улицу обе кровати. С отца снял мешки, а костяк его продал студенту всего-навсего за два с полтиной. А сын в простынях развелся, так себе, зеленоватой водой. Ни застирать его, ни можжевелевой кислотой вывести. Думала, думала Аннушка и порезала в кухню на тряпки.

1913

БЕЗГЛАЗИХА

Накануне густо клубились туманы. Молочными хороводами тянулись они между сосен, плыли над цветущими травами, а в низине, у желтых дач, осели серым сбившимся облаком. И казалось — это большие седые старухи в белых саванах тесно прижались друг к другу, сучат пальцами белую вату, паутинной фатой убирают кроваво-заходящее солнце.

Грузные седые старухи как плюхнулись в низину у желтых дач, так и сидят там глубокою ночью, не двинутся, не моргнут безвеким глазом-бельмом, не шелохнутся. Даже под утро не рассеялись они легким паром, а мокрыми жабами ухнули в глубокие лужи, в вонючие канавы с бурой водой, где кишмя кишат головастики, а кухарки дачников полощут кухонные полотенца.

Самая большая старуха — Безглазиха — съехала из низины по мокрой глине прямо в громадную яму, которую вырыли, когда строился Никаноров дом; там под бережком, в корнях нависшей над ямой березы, увязла Безглазиха на дне, в желтой глине, и пошла сучить, как сучила туманы, мочальные корни размытой травы.

Сидела Безглазиха дремотная, хлюпала тину беззубым ртом.

. . . .

Никаноров дом, желтая крайняя дача, только-только поспел к весне. Внизу жили сами, а верх сдали дачникам. Перед верандой окопаны клумбы: одна круглая и две завитушки; дачники насадили бархатцев и левкоя. В углу, как полагается, — гигантские шаги.

В этой местности, на каждом участке, раньше чем дом строить, ставят два столба: один для гигантских шагов, другой с дощечкой: *«Сея земля арендована, ходить воспрещаеца»*. Если пойдешь — откуда ни возьмись босая девчонка-сторож — и прогонит. А гигантские шаги издалека чернеют железной своей головой, первые выслеживают чужого человека, будто стали они тут при дачах вроде домашних животных, каких-то новых собак, что ли.

Помойных ям владельцы дач не устроили: и так, дескать, сойдет; жильцы не генералы какие, пусть себе льют на соседний участок! Да и ров около дома нигде не засыпан — как выкопали его, чтобы глину брать для построек, так и бросили.

У Никанора такой ров сильно дожди размыли, зеленой водой полным-полно; да, верней сказать, и не вода там вовсе, а кисель гороховый.

В этом-то киселе сейчас старуха сидит, Безглазиха, губой шлепает, рукой корешки сучит, а на поверхности от нее пузыри толстые: буль-буль...

Не знает Никанор, что в его глиняной яме старуха сидит; он с утра и до поздней ночи все в городе: там у него ямской двор, десять извозчичьих лошадей, десять пьяных извозчиков — дело не плевое, скоро с ним не управиться.

Не знает ничего о старухе и жена Никанора, Авдеевна: распустёха она и ленивая; в участке своем — ни лопатой копнет, ни веником подметет, — так и копится у нее мусор кучами. Картошку во мху печь задумала — пожару наделала; сколько березок да елочек топором уложили, тушивши-то! Такая-то, как она, ни за чем не досмотрит; такая-то ничего не увидит — только у крыльца знай себе семечки лузгает.

Не знают ничего про старуху и мальчики; а много их здесь на участках. У Авдеевны — двое: Коля да Ваня, оба босоногие; у верхней жилицы — Бобик, этот в носках и в сандалиях; а соседних не счесть: Гаврик, Минька, Санька, и кто их там знает. Летом все стриженые, все загорелые, даже матери путают.

День-деньской играют мальчики в рюхи, в попа-загонялу или дерут штаны на гигантских шагах. Веревки — длинные, бежать неохота, то ли дело носиться на «звездочке» или «на казенный счет» плавать! А проедутся раз-другой по песку — продырявятся. К полудню перессорились

мальчики из-за рюх и попа, набегались досыта на шагах и пошли обедать. Соседние так и не вернулись; должно быть, матери поставили их на работу или сами в лес ушли: черника кое-где поспела...

После обеда Колька, Ваня и Бобик втроем бегали вокруг желтых дач, пароходами.

Впереди Бобик, приличный, в вышитом фартучке и сандалиях, старался пыхтеть так, как, он слышал, пыхтел на море броненосец; за Бобиком Колька, не видевший никогда броненосца, пыхтел, по доверию к Бобику, на его манер; а сзади них, отставая, подхватывая сам себя, захлебываясь и выбрыкивая без всяких уж правил, в одном только диком восторге, месил пятками пятилетний Ванька. Завидя булочника, разносящего дачникам хлеб и пирожные, Ванька стремглав ринулся к матери за копеечкой.

По копейке дала своим мальчикам Авдеевна, пятачок кинула сверху Бобику высокая дама, его мать. Ничего другого на копейку, кроме черных ломтей из ржаной муки с медом, бычьего языка, не дал булочник Кольке и Ване, и Бобина мама, глядя, как жадно они ухватили их грязными руками, косясь на пирожное Бобика, вдруг испугалась чего-то, позвала бонну и сказала:

— Скорее, скорее ведите моего мальчика за цветами.

И пока дети жевали купленное, щеки их сверху казались особенно толстыми, высокая дама не унималась торопить бонну.

— Keine Ruhe...[1] — ворчит бонна, протыкая булавкой тугую шляпу, и тянет за собой упирающегося Бобика. Он хочет быть еще с мальчиками, он еще чувствует себя пароходом и, уныло покоряясь увлекающей в лес руке, шарпает сандалиями по песку и вздымает пред собой тучи пыли.

— Боже мой, боже, — шепчет высокая дама, капая себе в рюмку валерьяновых капель, — опять мне так страшно, — к несчастию это или к грозе?

Колька и Ваня, не переставая быть пароходами, протопали за желтую дачу, за погреб и за дрова, прямо ко рву, из которого брали глину.

— А ну, поплывем! — придумал Колька.

— Агу... — согласился радостный Ванька.

---

[1] Никакого покоя *(нем.)*.

— Будет Бобик от нас убегать, будет Бобику кукиш с маслом! — приговаривал Колька, спуская в воду полена: одно себе, другое Ваньке.

Кругом дачного места и реки и озера, но дети туда одни не ходили: кого напугали матери водяным, кого утопшим с черными раками, кого просто повели с собой полоскать белье да, погрозив скрученным полотенцем, сказали: смотри мне, один побежишь — дён пять не присядешь!

И не бегали дети к большой воде; ну, а лужами никто не стращал, луж они не боялись. Этот ров с глиною свой был ведь, домашний. Сам отец его выкопал, батраки глину брали на глазах у всех. На глазах у всех ливмя лили дожди и заполнили ров до самого края, и хоть должен быть он глубок, а не кажет таким, и не страшно его ничуть. Привыкли.

А про то где детям узнать, что под утро ухнула в ров из туманов Безглазиха, притаилась в корнях мокрой жабой, распустила лапы и ждет...

От жары, что ли, или просто тяжелая густая вода ее притомила, только не сучит она больше пальцами корешков, расставила свои пальцы и ждет, шевелит толстой губой... Чего ждет старуха?

— Седлай свою коняку! — кричит Ване Колька; сам он сидит уже по пояс в воде на бревне верхом, а руками держится за березу.

— Я бу-юсь... — и Ваня босой ногой осторожно давит бревно; страшно ему и нравится, что оно погружается в зеленый гороховый кисель, в густую воду.

— Эй вы, примите в игру! — вдруг сбежались со всех сторон, как воробьи на кусок, Гаврик, и Минька, и Санька.

Ванька видит знакомых мальчишек, ему уж не страшно, а чтобы не перегнали — скорее хлоп в воду, хотел верхом на полено — да не вышло, брыкнулось под ногами полено — да в сторону, и угодил Ванька с головой в теплый кисель.

Ой, темно; крикнул бы, да нет крику, — залепило рот тестом, глазам зелено, чьи-то лапы тянут в глиняную перину... буль-буль...

Буль-буль... вместо крика на дне издает Ваня; ручонками раз-два дерг — и затих. Держит его крепко

Безглазиха, к себе под корни втянула, зеленой глиной обмазывает.

В последний раз трепыхнулся Ванька, как крик Колькин услышал и самого его сквозь зеленую воду увидел. Раскорякой на дно летел Колька, глаза выпучены, руки раздвинул, будто кого схватить хочет, и... рраз!.. — глубже втиснул Ваню в подол к старухе, в жидкую вязкую глину, а сам сверху камнем налег.

Последней мыслью мелькнуло пред Ваней пирожное, бычий язык, и все стало темно. Окончены Ванины дни.

. . . .

Рядом с полустанком и лавчонкою «Детские вещи», около самого узкоколейного пути, стоит парикмахерская для дачников. На вывеске гребешок, щетка, мыльница и прейскурант стрижки:

По-немецки	15	коп.
Голова с бородой	25	»
Эжиком . . . . . , . .	20	»

— Не дело это, Пал Иваныч, — говорит парикмахеру мещанин в красной рубахе и черной жилетке, — не дело это, что у вас «эжиком» значится «бобр». В Москве оно и господам не обидно, и на двадцать на пять копеек проставлено, а пишется «бобрик»...

— Одним безрассудным обида может быть в эжике, — цедит сквозь зубы напомаженный Павел Иванович с бараньею белокурою головой, — безрассудным и малообразованным: кто хорошо образованный — знает, что и эжик и бобр равно российские звери, и ежели стрижка по их оперению...

— Эк сравнил, Пал Иваныч! Бобр — богатеющий зверь, а эжик, можно сказать, — дерьмо...

Авдеевна распустёха, полный фартук у нее покупок, только собралась полюбопытствовать: кто такой эжик, кто бобр, как из переулка ринулись на нее Гаврик и Минька с Санькой:

— Ванька с Колькой в луже утопли!

Мальчишки крикнули радостно, как на пасху «Христос воскресе!», и промчались дальше голопятым табуном. Так неслись мальчишки и кричали в лавочки, и в сады, и просто в чистое поле: Ванька с Колькой утопли!

И видно было: нельзя остановить их ураганного бега, так уж им надо сейчас бежать да кричать: бежавши-то легче размыкают, что у лужи видели.

Всплеснула руками Авдеевна, разбросала покупки, сразу поверила. Еще бы не поверить! Каждый ведь год так-то вот в глиняном рву кто-нибудь тонет!

Поохают, покричат, а места забором не обнесут.

Бежит Авдеевна, спотыкается, падает... Посидит минуту, разбросав широко голые пятки, и опять бежит. Рядом с ней Павел Иванович с напомаженной бараньей головой, мещанин в красной рубахе, да дворники, да девчонки.

Причитают бабы, ругают мужчины хозяина лужи, ругают Авдеевну, что недосмотрела, ругают мальчиков, зачем утонули...

— Православные! — кричит Авдеевна. — Православные, кто в бога верует... — и падает, расставляя голые пятки. Скоро ли добежит, век бежит...— Вот она, лужа-то, своя ведь, домашняя, Никанор копал, прыгайте, православные, прыгайте!

Синее без зазоринки небо; раскалилось на нем солнце за день, без прохлады, без облачка плавая, и яркозеленая от этого солнца трава на земле. Отражается это солнце ясным кружком в тихой воде глубоких синих озер, дрожит оно разбитой зыбью на быстрой реке, на больших водах, куда без старших боятся, не ходят малые дети.

В одной этой поганой зеленой луже не отражается как есть ничего. И всего в ней размеру — квадратная сажень два аршина, а вот по краям вопят люди, сидит черная мать, из-под синей юбки с букетами расставив худые, желтые ноги. Уже совсем встать не может мать, знай качает руками вверх и вниз:

— Прыгайте, православные, прыгайте!

Разделся медлительно рыжий мещанин, серебряные часы сдал на хранение Павлу Ивановичу, сам прыгнул в воду, и стала вода ему по рыжую бороду. Ничего не видно в гороховом киселе; где толкнется о дно, там только ногою и шарит:

— Где утопли-то?

Кто же знает где? Лужа всего квадратная сажень два аршина, только не видать в ней ни зги. А бежит

время: минутная стрелка за секундной, бегом мчатся часы...

— Сколько минут, как они утонули? — тихим голосом спрашивает высокая дама, Бобина мать.

И, глядя на доверенные ему большие серебряные часы рыжего мещанина, стучит зубами весь бледный Павел Иванович.

— Пят-надцать минут, как мы здесь.

— Доктора... первую помощь... — стонет высокая дама и дает белой рукой направо и налево деньги.

Молча берут деньги и не двигаются. Словно врытые, стоят и смотрят не отрываясь, как толчется в яме рыжий мещанин.

Павел Иванович опять открыл часы и торжественно говорит:

— Восемнадцатая минута.

Потом он становится на колени и, обхватив березу для чего-то, мочит правую руку в воде.

Вдруг Павел Иванович вскрикивает, бледнеет до зелени, вытаскивает за белую рубаху Кольку. Рыжий мещанин помогает ему снизу.

У Кольки — вниз голова, зализаны волосы по самые брови, ручьями стекает вода с упавших рук и ног.

На берегу подхватывают Кольку на старое одеяло и хотят качать, но высокая дама с лечебником гомеопатии ложится всем телом на утопленника и, потеряв голос, шепчет то, что запомнила:

— Очистить рот от слизи... — и лезет пальцами Кольке в горло.

— Ваничкю-ю, православные, Ваничкю-ю! — кричит мать, хочет встать и не может... — Меньшень...кой.

Рыжий мещанин пропадает с поверхности лужи и через минуту подает на берег совсем будто ком глины с увязшими в нем чьими-то ногами.

— Ваничкю... — мать летит птицей, смывает глину, целует. — Жив, жив!

— Еще нашатырного... — шепчет Павлу Ивановичу высокая дама и трет вздохнувшему Кольке виски.

— Православные, ох! Говорите, жив Ваня, жив?!

Качают, как вздувшийся парус, полосатое ватное одеяло, перекатывается от края к краю посиневшее Ванино тело, мелькнет то черным волосатым затылком,

то неподвижным лицом со стеклянным подводным взглядом, с прикушенным толстым языком.

— И ему прежде всего очистить рот от слизи... — задыхается высокая дама по лечебнику гомеопатии и силится остановить раздувшийся ватный парус слабыми руками.

— Не извольте-с беспокоиться, — говорит вежливо Павел Иванович, — в простонародье первое средство откачивать-с, и, случается, не безрезультатно-с.

Приводят доктора, больного, усталого человека. Он скрылся сюда от пациентов, и сам чуть жив, бритый, с синими кругами вокруг глаз; он щупает Ваньке пульс, берет сжатые кулачки; раз-два — искусственное дыхание...

— Ой, плечико вывернет, — стонет мать, — покачать бы верней, православные.

— Уведите ее! — машет утомленный доктор рукой.

— Мать она — как увести ее? Мать...

И никто не уводит.

Тянет доктор щипцами Ваньке язык изо рта, колет шприцем, слушает сердце — качает головой.

— Поздно...

И доктор тихо отходит к ожившему Кольке:

— Этому горячую ванну, горчичники...

— А тому, Ваничкю? — очнулась мать.

— А тому... все равно.

Слышит мать и не верит, не хочет поверить:

— Качайте, православные, ох, качайте!..

Перенесли обоих в комнату, навалились люди. Жарко, нечем дышать. А мать еще созывает в окно новых людей, еще не выпускает из рук окоченевшее тело, кричит:

— Православные — жив, жив!

Возится доктор над ванной, сыплет сухую горчицу, бредит оживший Колька, орет не своим голосом:

— Караул, тонем!..

Садится за лесом солнце. Последним лучом бьет по стеклам, а к стеклам без счету прилипли глаза: голубые и карие, глаза стариков и младенцев, что поглазеть на чужую беду с собой взяли матери.

Машет Авдеевна голым трупиком, уже с хрипотой умоляет:

— Православные, жив Ваничкю, жив...

И открываются рты, и младенческий и тот под седыми усами, беззубый, — стоит стоном вокруг желтых дач: жив, жив!

. . . .

А едва скрылось солнце и потянул между сосен туман, из поганой глиняной лужи вышла Безглазиха, прокатилась в траву, стала пухнуть, белеть и грузным облаком села в низину. Безвеким глазом-бельмом смотрела Безглазиха на желтую дачу, не сучила в нитку туманы, а дышала спокойная, будто бы сытая, шевелила толстой губой.

1914

ИДИЛЛИЯ

В натурном классе крепко почитали «батьку» — немолодого плешивого ученика, и без него ни шагу. Зюзя Белянская замуж задумала выходить, так, одного за другим, двух архитекторов к нему приводила: посмотри их, батечко, как там они...

Про первого батька сразу сказал: «Брось да наплюй», — а со вторым торопил: «Кончайте швидче, хиба в храме, хиба так, под кустком; смаринуетесь — плакать будете!»

И сам обвенчал Зюзю: напрокат брал черный фрак и штаны чрез «фигурного» Лейзика, с большой скидкой, у отца его, портного «Лейзик и сын».

Ну, а уж после истории с грузином Токайшвили, или, как батько прозвал ее, «обоюдная встреча двух кораблей», батькино слово — топор: рубнет — либо слушай, либо проваливай!

Школка была небольшая, провинциальная, заведовал ею «старый Петренко», а деньги давал меценат.

По стенам висели копии с итальянцев или народный жанр, все подарки дяде Петренку от товарищей, еще в те поры, когда сам он, не хуже других, смазывал усы гонгруазом и ходил в бархатной куртке а ля Брюллов. Тогда же Петренко и пожал свои первые лавры за «Хату в Украйне», которую купил у него и ею украсил себя один из музеев.

Правда, это была первая и последняя задачливая хата, хотя после успеха, не утруждая себя иным вымыслом, Петренко накрасил их столько, что — если бы засе-

лить их земляками — не хватило бы целой Полтавской губернии; но чтоб хоть одну продать в хорошие руки — так нет же, не продал!

Вот и пришлось покрыть хатами коридоры да стены классов в собственной своей школе.

Ну и в добрый час! Школа сразу пошла хорошо: учеников — пруд пруди; многие за полугодие вперед вносят, а за даровых меценат пополняет. В первый же год Петренко растолстел, брюлловскую куртку сменил украинской рубахой, чтоб нигде ему тело не жала, а жена его, Анна Макаровна, сшила себе шелковое пюсовое платье и на толстой, будто собачьей цепи завела на шее лорнетку.

Учить рисованию дядя Петренко считал совершеннейшим предрассудком и на вопросы новичка, не понявшего обычая школы, складывал руки на животе и говорил с грустным укором:

— Чему же учить тебя, хлопче? Умней, чем мать тебя родила, ведь не станешь? Сколько добра на твой пай господь бог отпустил, столько его у тебя и окажется! — и, тяжело ступая, увозил свои опухшие от подагры ноги, обутые в мягкие суконные коты, в свою мастерскую.

Там дядя Петренко заканчивал для продажи очередную свою хату, а чаще, лежа на диване и кому-то подмигивая, читал себе вслух «Энеиду»:

А та ж Юнона, сучья дочка,
раскудкудахталась, як квочка...

Впрочем, при приеме хорошего ученика или девицы, приведенной зараз обоими родителями с условием, чтобы давали писать ей натуру только «до пояса», дядя Петренко оживлялся и на приемном экзамене обнаруживал, как ему казалось, самое ясное и художественное руководство.

Он вытягивал правую руку и так нажимал большим пальцем в воздухе, словно давил клопа:

— Тут ударить, там ударить, да пятнышком, да планчиком, да щоб оно взыграло...

Самыми младшими, «носовиками», и постарше, «фигурными», заведовала Анна Макаровна.

Она смотрела, чтобы кто не пачкал гравюру, пририсовывая чего там не надо, а по субботам заставляла всех чистить бывшие за неделю в употреблении гипсовые

глаза, носы, уши и обметать пыль со статуй. Она же извлекала из среды даровых подходящих мальчиков в натурщики, в видах экономии школьных сумм.

Анна Макаровна, сухая и маленькая, одной рукой держась за цоколь статуи Дискобола, другой лорнировала класс и звала тоненько:

— Даровые, идите сюда.

Мальчики обдергивались, слизывали с пальцев уголь и гуськом строились перед классом.

— Подыми голову, повернись, пройдись... — отбивала Анна Макаровна по голой ноге Дискобола, ошаривая беглым хозяйским глазом каждого мальчика, словно выбирала его себе на жаркое, и хлопала, наконец, лорнеткой двух лучших. — Ты для красок, ты для угля, оба — Иоанном Крестителем. Да прежде всего — марш койкуда... Чтоб мне с сеанса опять не просились! Сейчас хорошенько дела свои сделать, раздеться за ширмой и ждать; кресты и шкурки я сама принесу.

И она уводила жертвы.

Натурный был небольшой, но самый светлый класс. Кроме Петренковых хат, на стене висел хороший холст: «Саул и Давид». И странно было изо дня в день видеть, как короткий меч, пущенный страшным Саулом, все летел да не мог долететь, навсегда повиснув в воздухе перед маленькой смуглой рукой, которою Давид защищал себя от удара.

Висел и прибой лазоревых волн знаменитого мариниста, которым перед гостями очень гордилась Анна Макаровна, а ученики без церемонии звали: «его яичня», так как знаменитый маринист, посетив проездом школу, не переставая рассказывать свои «воспоминания», сделал заученной кистью всю картину всего в пять минут. Висел в натурном классе и задумчивый юноша с голубями под кличкой «кормилец», потому что в голодные дни с него ученики делали несчетные копии, которые нарасхват разбирались офицерскими женами и жандармами, между тем как «яичню» охотней заказывало духовенство, никогда не видавшее моря.

Весной натурный класс бесился. Натурщиков писали дрябло, с вязигой вместо костей, ссорились, пропадали в этюдах, а придя в класс, пахли водкой; весной даже плюгавеньким ученицам клали в муфты записочки и

фиалки, а если кто начинал врать про Италию, мечту целой школы, его не обрывали, только бы врал хорошо: уж очень хотелось всем яркого солнца и необыкновенных каких-нибудь приключений.

Батько строго держал свой натурный: чтоб ученики с ученицами а ни-ни!

— Было б, дурни, времени не терять носовиками да в фигурном. Здесь уже все художники, друг дружке помощники, здесь — Академия на носу... А-ка-дэмия!

Плешивый батько поспел уже окончить университет и где-то еще там далеко побывать... а где побывал, там и насмотрелся на закаты с восходами да с зорями и со всем прочим, что бог человеку на землю послал, а человеку без понуки и рассмотреть недосужно.

Поздно спохватился батько писать, да зато и ладно же пишет: рисовать — черт, а цвета видит, как старый Петренко про него верно сказал, «с малиновым звоном и с самой святой пасхой», где хватит — там жаром горит.

И других за собой батько со строгостью тянет: осенью в Академию ехать, так чтоб провалу не вышло! Назад в провинцию — все равно что в трясину: как насядут на беднягу родители, взвоет тетка, жена: провалился, так будь же как люди, содержи себя, зарабатывай...

У художника сердце нежное, нрав податливый, вот и забегает он по урокам.

А забегал — крышка. Потом одно место — плакаться в кабаке да кричать с пьяных глаз: «Какой там Врубель, вот у меня так были композиции».

И под строгим батькой в натурном классе всем было жить хорошо: учились друг у дружки, смотрели Рембрандта, аж глаза на лоб вылезут; черепов накупили у могильного сторожа; чуть анатомию развернут, сейчас уж и щупают друг у дружки мускулы.

А сердечные дела, хоть у каждого были налажены либо в фигурном, либо вне школы, как возьмутся за краски, ей же богу, все позабудут; кого угодно забудут и со всеми подробностями... Академия на носу!

И вот, в такое-то время, весной, грузин Токайшвили безнадежно влюбился в Зюзю, а когда батько перекрутил ее на Красной Горке с архитектором и отпустил на месяц в свадебный круг, Токайшвили писать забросил и пустился спасать одних падших женщин.

Поспасал немножко, да и запутался.

Пришел как-то на вечернего натурщика бледный, глаза, всегда круглые, как у попугая, со слезой смотрят, нос еще ниже свис над черными, свисшими, будто две лошадиных пиявки, усами.

— Я, господа, жениться обязан... — панихиду завел Токайшвили.

— Эге... — крякнул батько, не отрываясь от дела, — а може, еще откупишься. Как она прозывается — Каролина?

— Каролина, — проплакал Токайшвили.

— Уппокой гос-споди... — хватил класс.

— Э-эх, дурню, — протянул батько, — да такую от чего же собственно ты спасал?

— Да я с ней только раз об Лифляндии и говорил, а она уж ко мне и переехала. Сундук свой поставила, да на письменный стол — подсвечники, да два зеркала... все в пудре и черт знает в чем, чай пить — тошнит.

— Давно она у тебя? — прервал деловито батько.

— Уж третью неделю... — сконфузился Токайшвили, — и вот оно вышло, что я должен на ней жениться. Подробностей касаться не стоит, но дело в том, что незаконных детей иметь я считаю бесчестным. У меня отец ни одной женщины не обидел и мне не велел...

И пошел Токайшвили про отца: какой он там у него необыкновенный человек, на горе давно живет, богу молится, козу доит, словом — сплошная высокая материя: «не могу, дескать, я, подлец запятнать его седину»... ну, и всякое тому подобное — ни дать ни взять Гамлет про свою «тень отца».

Дал батько Токайшвили выплакаться, положил уголь и говорит:

— Хлопцы, дело тут наше, семейное, из избы сора никто не вынесет: много ли тут вас, кому на третьей неделе Каролина то же самое говорила?

Не успел батько кончить, как гаркнули хлопцы:

— Всим, батько, всим!

— Видишь, у нее это такая уж бабья повадка, — сказал батько печальному Токайшвили. — Она знает, что товарища выручат; к тому ж, надо быть, ты ей, друже, крепко надоел. Ну, кто во что художника ценит, я ложу пять карбованцев.

Батько снял со стены еще не запачканную палитру, положил на нее золотой и пустил по рядам. Набросали у кого сколько было.

— Тридцать один рубль и тридцать пять копеек — добре! Ты же дороже пока и не стоишь. На, отдай Каролине, пусть увозит сундук и подсвечники.

— Не могу, я сам все должен проверить, — бурчал Токайшвили, схватившись за голову.

— Э, дурной, — рассердился батько, — пока проверять будешь, она тебя с кашей поест.

Подступили всем классом: Каролину целый год содержать обещались, только чтоб испытуемый срок Токайшвили не с нею сидел, а поочередно у всех укрывался.

— Все поздно, погиб я! — закричал грузин, заворочал глазами и выскочил вон из класса.

Долго злой сидел батько, но вдруг ухмыльнулся, затеребил свой запорожский ус и спросил для чего-то:

— Сколько ходят письма в Тифлис?

Около Тифлиса как раз этот необыкновенный Токайшвилин отец жил, что на горе козу доил и богу молился.

Прошла неделя; не видать Токайшвили; собрался гурьбой натурный класс, ученики да ученицы, узнавать прямо к нему на квартиру. Там пьяная какая-то компания хозяйничает: «невеста», Каролина, едва позвонили, слыхать, гикает, чтобы притаились. В переднюю вышла — всю собой заполнила: огромная, юбка одна — памятник тысячелетия России, рука в обхвате — как раз Токайшвилина грузинская талия, браслетами гремит, лицо красное, голос — бас. Польстило ей, что ученицы пришли, сложила рот бантиком и затянула томно, как барыня, в ручищах платочек комкает: «Мой Bräutigam на родину уехаль, у него родной отец умираль, лучше время не умель себе выбирать...» и приглашала всех зайти «на одну чашку кофе».

Шарахнулся натурный к батьке:

— Да ведь она Токайшвили кулаками убьет!

— Каролина... — зарычал батько, — как, она еще не выбралась? — И пошел сам.

Что он там с ней сделал, неизвестно, но, выжидая события за углом, все хорошо видели, как батько очень скоро вышел обратно, крикнул двух извозчиков и, не отходя от подъезда, затянул свою трубку; а огромная Каро-

лина, без всякой посторонней помощи, принялась таскать на извозчиков свои узлы и всякий раз мимоходом делала книксен перед безмолвным батькой и говорила ему:

— Augenblicklich, Herr Professor, aber augenblicklich... [1]

Но вот еще беда была, когда Токайшвили из Тифлиса вернулся. Телеграмму-то о смерти отца он получил, а самого живехонького встретил: попрежнему козу свою доит да богу молится. «Смерть отца», да ведь это батько придумал, чтоб из Токайшвили клин клином выбить. Он же самый одному бывшему ученику в Тифлис написал и приказал по приложенному тексту телеграмму послать.

От этого ученика Токайшвили всю батькову штуку узнал да первого его же, предателя, и избил.

И то сказать: мало ль чего человек передумал, пока к мертвому отцу трое суток в вагоне ехал!

Ну, влетел в школу ястребом; сейчас с кулаками к батьке кричит:

— На дуэль, моя честь задета...

Весь натурный Токайшвили оттаскивает, а батько один, не моргнув, берет с палитры краску и знай себе пишет, как допреж того писал.

— Теперь, единственно на зло всем вам, возьму да женюсь... — кричит Токайшвили.

Только и опомнился он, когда, разыскав Каролину, увидал, что она отлично устроилась и уже какого-то там адвоката уверяла в том же, в чем и его. Только адвокат, как видно, виды видал, и хоть жениться и собирался, но — не на ней, а на полковничьей дочке.

А Токайшвили Каролина с ругательством выгнала и вдогонку чем-то нехорошим плеснула.

Ну, и задали ж у батька пир в честь расторжения «обоюдной встречи двух кораблей»!

Земляки свою сливянку принесли да коржей с маком, с Токайшвили не малой мерой кахетинского стребовали и всю ночь гопака гнули, пели «Виють витры», «Зозулю» и прочее.

Токайшвили тянул под зурну свои грузинские песни, будто грустно икал на одной ноте, а потом, чтобы угодить батьке за всю катавасию, сказал с ужасным своим

---

[1] Минуточку, господин профессор, минуточку *(нем.)*.

выговором, но от полной души две «Думки» «незабутнего Тараса».

В заключение все целовались, и школа прозвала Токайшвили «Двохбатьковый»: один батько у него на горах козу доит, а другой — общий, плешивый, из натурного класса, что от лихой жены в пору спас.

Вот и плешивый, а уж с этих пор как скажет — топором рубнет: либо слушай, либо проваливай.

1914

КАТАСТРОФА

К августу их в санатории было немного: кто по нисходящей линии шагнул в сумасшедший дом, а кто, нагуляв себе недостающее для равновесия духа количество фунтов, пошел снова тянуть свою упряжку.

Новых больных сейчас не брали, потому что старший врач уехал за границу, а санаторию перестраивали и расширяли под руководством младшего врача, Аггея Ивановича.

Здание вырастало огромное, но пока отделан был только нижний этаж да «висячие сады Семирамиды», — так звал Аггей Иванович большую террасу над парадной дверью, хотя, по собственному его выражению, самого в ней висячего был турецкий боб, сползавший красными цветами по каменным столбам до земли. Здесь после раннего обеда вытягивались больные и всеми порами глотали солнце.

Сейчас, поджав ноги под серую юбку, качалась в качалке учительница-неврастеничка, а подальше иссохшая барыня с желтым лицом и огромными глазами, разрезанными шире, чем вообще бывают разрезаны глаза у людей, с одной яркоседой прядью волос над прочими иссиня-черными.

У этой барыни под ложечкой лежала грелка, напоминавшая свернувшегося спиралью гигантского стального червя. Открывая глаза во весь их необыкновенный размер и, должно быть, страдая, она говорила толстому дьякону:

— Расскажите мне что-нибудь, ну, скорей...

Дьякон Вавила в парусиновом подряснике, облегавшем, как трико, его самоварный живот, сидел на тумбе, под деревянной вазой с настурциями и, по-женски, ловко перебирая пальцами, вплетал в жидкую белесую косицу красную ленточку.

— Только всего и осталось от дня свобод... — хихикнул дьякон, — а ведь тоже петицию подавал.

— Главное, с такой окраской физиогномии не гоняйся, дьякон, за лентой; у тебя приливчик, — изволь, брат, прилечь, — добрым, настойчивым баском сказал Аггей Иванович и сам придвинул кушетку.

— Не привыкну при дамах... — конфузился дьякон и прикрылся газетой так, что наружу торчала только борода лопатой, такая же полинялая, как и волосы, да бугристый красноватый нос.

— Ну, расскажите же, ну, скорей... — повторила опять желтая барыня, прижимая к подложечке грелку. — Болит, доктор, болит и болит... — злобно крикнула она Аггею Ивановичу, который, подойдя к ней, еще не успел и рта открыть.

— Голубонько, — сказал он, — да оно же перестанет!

И наложил свою большую руку поверх грелки с таким видом, будто из руки его должно было заструиться какое-то особенное целебное тепло.

Хотя желтая барыня чувствовала попрежнему, будто злой голодный рак то и дело впивается изо всей силы клещами в ее желудок, а от боли у нее мурашки бегают по спине, она вдруг успокоилась, как успокаивался всякий, к кому подходил Аггей Иванович.

Его близость возвращала какое-то первобытное колыбельное доверие, и сразу делался он больному доброй няней и сильным, готовым на защиту отцом.

А дьякон поморгал сочувственно на желтую барыню небольшими добрыми глазками и с передышкой заокал своим тверским говором:

— В городе-то у нас собор огромный и два иерея, отец Геннадий да отец Стефан, а ссорятся — господи боже мой! Геннадий в меру дороден, румян, ногти чисто содержит, зубочистка всегда при нем, и, между всем прочим, душится; отец Стефан пониже ростом, военного настроения. Сочинение в синод изготовил: «О потешных духовного ведомства». Да, не поделят собор иереи, а евхари-

стии предстоят. Читает Геннадий: «Христос среди нас», а Стефан ему: «ан не был и не будет». Стефан владыке донес на Геннадия: зачастил, дескать, в кинематограф на прелюбодейные зрелища, инкогнитом переодетый певицу Вяльцеву слушал и прочее... А Геннадий на Стефана встречный владыке: сквернослов, мздоимец, дьяка заушает. Провели в собор электричество: Геннадий приказал, чтобы при возгласе: «свет Христов просвещает всех!» разом пыхнуло для прообраза, а сам в облачении возлег на жертвенник, власы серебром, руки воздеты, очи в горнее... Барыни так и ахнули, а Стефан Геннадию: «В уставе сего не значится, почто актерствуете?» Сцепились, беда!

Дьякон прыснул и закрыл рот рукой, но вдруг притих, повел с жалобой потухшими глазками и сказал, понизив голос:

— В этот-то вечер впервые его я увидел. Ка-ак прыгнет меж Геннадием да Стефаном, мохнатенький, голова — орех кокосовый, все волосы на морду начесаны...

— Что вы, отец дьякон? — вскрикнула барыня.

Учительница привстала на локтях и уставилась в дьякона испуганными глазами, доктор снял с грелки руку, соображая, что ему дальше делать, а дьякон продолжал, уже ни на кого не обращая внимания:

— Ну, понял я черного как некое указание, пошел к Федотычу-псаломщику: «пошлем, говорю, купно владыке плач о нашей мерзости запустения, напомним ему, что́ есть истинная церковь Христова»... Однако меня в сумасшедшие, и дьяка к Макару трезвонить... А семья у него, господи боже мой: Степанида, Анюта, близнят двое, да Паша, да одно в пеленочках...

Дьякон всхлипнул и развел руками: газета съехала с него, шурша, на пол и осталась стоять там шалашиком.

— В добрый час разговор завела, нечего сказать... — отвернулась желтая барыня от дьякона и так прижала к себе грелку, что, казалось, она вот-вот продавит ей тело и проскользнет внутрь.

А дьякон, пузатый, с красным бантом в белесой косице, сидел на тумбе и бормотал:

— Господи боже мой, близнят двое, одно в пеленочках... Эх, черный-то, черный попутал!

— Вздор, дьякон, — пробасил Аггей Иванович, — черный с чертями и водится, а над тобой, дьякон, солнышко, над тобой скоро воздушный корабль пролетит. Читал газету? Сегодня, брат, состязание аэропланов. Путь им прямехонько через нас.

— Аггей Иванович, — сказал робко дьякон, — я к себе лучше пойду... Уж вы простите, — поклонился он желтой барыне, — хотел вас позабавить, ан силушки нет. Пойду я, Аггей Иванович...

— Э, дьякон, свинтить тебя некому... — врач крепко обнял дьякона и, подталкивая его всем своим громадным туловищем, увел вниз.

— И для чего трепать было человека? — ни к кому не обращаясь, сказал румяный, непонятно зачем находившийся в санатории юноша, которого все звали Петенька. — Ведь известно, что про соборные дела ему поминать нечего.

— Кто же знал, что он чертей видит? — недобро улыбнулась желтая барыня. — Мне их хоть с сотню давайте, только бы боль отпустило; это он, что же, после белой горячки?

— Он непьющий... — сказал Петенька. — Просто был честный верующий человек, огорчился за бога: слыхали, петицию подавал? Да вот от жары, что ли, всю ночь опять скрипит половицами: вчера ко мне пришел, я тоже не сплю, лежу, в потолок плюю. Сел дьякон на кровати и завел свою канитель... Поспотыкался на текстах, однако добрел-таки: «Если черт, говорит, нервное лишь расстройство, то и господь бог таковое же самое... За кого же тогда, плачет, вступаться я пробовал, петицию подавал, дьячка загубил?..» А тень от него на стене — сущий бурдюк с хвостиком.

— Не пойте, пожалуйста, Лазаря... — прервала желтая барыня, — все мы тут плачем сами, кто от чего... У вас, однако, Петенька, щеки как кровь и нигде не болит...

— У меня щеки такие от неправильного кровообращения, — сказал румяный Петенька, — а в роду у нас по отцовской линии все на двадцать пятом с ума сходят. Мне их двадцать четыре, и для увертюры крохотная idée fixe.

— Если не скучная, изложите... — усмехнулась барыня.

— Почему же скучная, я с ней день и ночь, можно сказать, в интимнейшем аллиансе, и ничего, даже с места не двигаюсь.

— Да, это ужасно негигиенично, как вы проводите ваше время, — отозвалась учительница, — гуляете только когда вас под руку тащит Аггей Иванович, а то все лежите у себя на кровати или вот здесь... Хотите, я дам вам хорошую книгу?

— Не хочу, — Петенька не взглянул на учительницу, заложил под голову руки и расправился поудобнее. — Книг я много прочел, наукой интересовался, при университете оставлен, профессор мной хвастался и за границу на свой счет посылал. Да и сам я сдуру целых два дня ходил пырином... Так у нас в Владимирской губернии индюков прозывают, а мы оттуда столбовые дворяне... Так вот-с, походил пырином — я, дескать, надежда Российской империи, а потом вдруг и лег на кровать в собственной комнате: задрал ноги вверх на железку и стоп... кончен бал. Должно быть, на отцовскую кровь свернуло.

— Вы обещали про idée fixe, — прервала жестоко барыня.

— Ах, пусть его говорит, как ему хочется: ему станет легче, — вставила робко учительница.

— Idée fixe! — вскрикнула, словно ругнулась, барыня, а учительница, вспыхнув, сжалась комком в серой юбке и, скрывая слезы в обмотавшем голову белом шарфе, стала думать о том, что никогда, никогда не полюбит ее тот, по ком и здесь она сохнет и, несмотря на все усилия Аггея Ивановича, не может прибавить в весе.

А румяный Петенька равнодушно продолжал:

— Idée fixe, — ну, извольте: расплескать сдуру силу, как иные прочие, желторотые, я не желаю, но и сделать выбор мне невозможно, ибо все под луной равноценно... Вот и существую: лежу, пью и кушаю.

Петенька засмеялся и долго не мог остановить своего смеха, делая вид, будто он так хочет; но брови его мучительно дрогнули, по ним видно было, что он делает усилия перестать, но сразу не может.

Заплаканный глаз учительницы выглянул из-под белого шарфа и скрылся в нем снова. Желтая барыня привстала и, зажав тонкими длинными пальцами, будто нож-

ницами, стоявшую в бокале около нее прекрасную розу, заговорила взвизгивающим и вдруг опадающим голосом:

— Но почему же эта роза такая? Почему у каждого лепестка свой рисунок, каждый выражен до конца, благоухает, живет, и даже ничего грустного, что увянет... а мы? Боже мой, до чего мы безобразны! Один жить боится, другой умереть — ужас, ужас...

— Один ужас и есть, что ни в чем нету ужаса, — сказал Петенька, совладал со своим смехом и раскрыл на барыню умные, добрые глаза, — ведь все, решительно все равноценно...

Учительницу вдруг подхватило, будто ветром, снесло с места, и, подбежав к Петеньке, она закричала:

— Я уеду из санатории, если вы не откажетесь от ваших слов! Это добро и зло равноценны, да? Защитить или самому всадить в сердце нож — равноценно, да?

— Охотно отказываюсь от всяческих слов, — сказал Петенька и закрыл глаза.

— Родименькие, они же без старшого поцапались! — сказал доктор, входя на террасу. Он обмахивался большим белым платком, был красен от жары и радостно возбужден. — Господа, я сейчас узнал по телефону, что первым летит Петров второй; он через полчаса будет здесь над нашими головами!.. Торжество, господа, а? Победа героев над воздухом, смельчак стал крылатым!

— Я буду приветствовать его белым шарфом, — взволновалась учительница.

— Сейчас только, родимая, ни гу-гу, — подхватил ее доктор и снес на прежнее место. — Голубчики, всем лежать, всем молчать, силенку собирать, чтоб его, молодчину, воздушного гостя, как следует поприветствовать... А я сбегаю за подозрительной трубкой.

И доктор неуклюже, как торопливый медведь, побежал опять вниз по ступенькам.

Подзорная труба оказалась негодной: по небрежности пациентов затерялось выпадавшее стеклышко; неодобрительно пощелкав языком, Аггей Иванович снял парусиновый пиджак и стал вытирать одеколоном багровую толстую шею.

Было очень жарко, и он, грузный, очень потел. Очень хотелось ему все эти дни сбегать на речку выкупаться, да все было некогда.

Аггей Иванович сел в кожаное кресло и задумался. Его сильно взволновало то, что сейчас над его санаторией пролетит авиатор.

Живя уже многие годы здесь, вдали от столицы, он не видал аэропланов и знал только по газетам, как быстро, словно в сказке, развивалось воздушное дело.

Аггею Ивановичу всегда доставляло невыразимое наслаждение думать о завоеваниях человеческой силы и мысли, и вместе с тем делалось стыдно и горестно, что сам он тут совсем ни при чем. Вообще втайне Аггей Иванович ощущал себя всегда недаровитым лентяем и стыдился, что заполняет такое, несоизмеримо своему значению, большое пространство.

Тщеславие, правда, было чуждо Аггею Ивановичу, но ведь не было и настоящего научного интереса, который почитал он превыше всего и полагал, что он-то именно и руководит его коллегами, почему не моргнув выносил несправедливости старшего врача, известного теоретика и плохого человека.

— Эх, освободиться бы годика на два, написать диссертацию... — вздохнул было Аггей Иванович, но тут же подумал, что невозможно ему и на день уехать из санатории: вон дьякон опять чертей видит. Петенька гимнастику не делает, захлестнули его мысли, вот-вот не выдержит, скрутит полотенце и вздернется где-нибудь, в ожидании своей четверти века и несчастного жребия.

А ведь бывали случаи, проходил кризис.

Телосложение у Петеньки геркулесово, подпереть его малость здоровой волей, протащить на своей спине, гляди, и перевалит через Сциллу с Харибдой, станет на ноги... А барыня с грелкой? А учительница?

И, став на обычные рельсы забот о больных, испытывая к ним неотпускающую жалость, не забиваемую ни годами, ни практикой, Аггей Иванович надел пиджак и двинулся в «сады Семирамиды».

На террасе все молчали. Все так же, как и доктор, должны были в первый раз увидать авиатора и, как и он, волновались. Измученные бессонницей, страданиями и злыми думами, больные почувствовали облегчение при мысли, что такой же вот, как они, человек может стать легким, свободным и подняться над землей... Они даже не завидовали ожидаемому авиатору, как завидовали

всем обыкновенным здоровым людям. Незнакомый, но уже всем близкий смельчак был каким-то радостным символом, был той нашедшей себе выражение надеждой, о которой хоть робко, но помнит сердце даже в самые черные дни. Помнит, пока бьется жизнью.

Все молчали. Слышно было, как жужжала, забившись в настурцию, пчела, дрожа мохнатым брюшком.

Снизу доносился разговор санаторской горничной Груши и экономки Власьевны.

Груша, в розовом платье с белой оборкой вроде пирожного безе, на высокой привеске держала на руках лохматую собачонку Финошку и, веселая от предстоящего зрелища, задирала проходящих с француженкой дачных детей:

— Деточки и мадмазель, полюбите маво собачонку?

— Мы его не любим, — ответила угрюмо девочка.

— Чего ж та-ак? — протянула Груша. — Он красивей вас.

Мальчик рассмеялся, а француженка крикнула на детей, чтобы они скорей проходили.

— Ишь, французинка носик призадравши, тюрнюр привязавши... — пропела вдогонку Груша.

— Ну тебя, со смешками шара́ пропустим, — заворчала Власьевна. — Воздушным летит, а прозывают по-новому, не упомню.

— Аэроплан — это совсем не воздушный шар, — поправила Груша, — шары теперь, тетенька, в моде только на клумбах. Как плешивые барины понаставлены. А чего ж это он не летит?

— Небо как небо, — зевнула Власьевна, — и вороны не видно... Я чему вот дивлюсь: и немного у нас теперь душ за столом, а сколько им ни подай — все чисто схлямают. Вот намедни...

— Ой, летит, — взвизгнула Груша, увидев черную точку, и, бросив Финошку, сломя голову ринулась в поле.

— Господа, аэроплан приближается! — загремел на террасе Аггей Иванович. Он хотел сказать, как всегда, грубовато-весело, а сказал взволнованным торжественным голосом.

Черная точка на порозовевшем закатном небе с каждой минутой приплывала ближе, росла и меняла свои очертания. Вот она уже — голубь, вот — мальчишками

пущенный змей, а вот уже видно, как буравит воздух пропеллер и между крыльев легкой чайки-Блерио сидит какой-то рыжий кожаный человек, житель будто иной, не нашей планеты.

Радостно позабыли себя и весь мир больные. Как и доктор, приковавшись глазами к пилоту, они чувствовали одну гордость за человечество, дающее вот таких смельчаков, а с ними победу и торжество.

Машет белым шарфом и плачет учительница-неврастеничка; превозмогла свою боль желтая барыня, сияет нечеловеческими большими глазами; повернул к небу доброе и умное лицо румяный Петенька; притрусил из своей комнаты дьякон, как ребенок раскрыл рот, удивляется.

— Герой летит в воздухе.

Проплыл аэроплан над санаторией, перегнул через крыши, вот держит ниже, вот совсем сейчас сядет; под ним кусты, под кустами чернеет широкая придорожная канава. Вдруг пропеллер дернуло, пилота нежданным толчком стряхнуло в канаву, и, дрыгая крыльями, аэроплан сел на землю.

Аггей Иванович вскрикнул и побежал к месту падения авиатора. Вскочил и кинулся следом румяный Петенька, вдруг забыв, что ему незачем тратить силу, пока не сделано выбора. Бежала, спотыкаясь, малокровная учительница, и, задыхаясь, брели как могли и толстый дьякон и желтая барыня. Останавливаясь, чтобы передохнуть, барыня изо всех сил махала своей грелкой, как бы желая пробудить снова жизнь в недвижном пропеллере.

Бежать пришлось с полверсты. Уже было под вечер, но еще ярко белели ромашки, горько пахла готовая свернуться на сон повилика, и в ушах звенел всенощный колокол.

Садилось солнце, и, задержавшись над ним, страшное облако, похожее на ихтиозавра, вытянувшего ящерную голову, стало пурпурным.

Аггей Иванович, привыкший на закате загонять больных в комнаты, подумал было, что им вредно так бежать, когда вот-вот потянется сырость, но аэроплан был совсем недалеко, и, оглянувшись на отставших Петеньку, дам и дьякона, Аггей Иванович решил, что пусть их бегут, пусть их, больные, с развинченной волей, наберут себе силу в сочувствии смельчаку.

И, больше не думая о больных, Аггей Иванович все свои силы направил к упавшему авиатору, быть может раненному тяжело...

Вся машина со своей передней частью, скрытой в канаве, отчего белые крылья были слегка приподняты, показалась Аггею Ивановичу громадным злым насекомым, присевшим к земле, чтобы лучше кинуться на добычу.

К месту падения уже съехались десятки автомобилей с родными, знакомыми и просто любопытными, сопровождавшими Петрова второго от последней его остановки к цели путешествия.

Заслоняя глаза от поднявшейся пыли, Аггей Иванович пробирался между шелковыми манто в сборках, белыми английскими костюмами, шляпами в перьях и господами, у которых по выпуклому жилету шла в обе стороны золотая цепочка.

У всех этих людей были лица, которым как-то не шло заплакать, а между тем Аггей Иванович невольно заметил, какую свежую дорожку сделала слеза на запылившейся щеке близстоявшего толстяка.

— Федор Сергеевич, Феденька, куда ранен?

Петров выбрался из канавы. Он нигде не был ранен, только страшно бледен и перепачкан грязью. Пока его щупали, дергали и целовали, он все лил в платок из серебряной фляжки воду и вытирался.

Аггей Иванович взглянул на лицо его, бритое, мелкое в чертах, одно из тех, которые ни за что не запоминаются, и подумал, что это совсем другой человек, чем тот, который почудился ему там, в небе, над санаторией.

Дальнозоркие, чуть косо посаженные глаза Петрова продолжали смотреть вперед, не опускаясь ни на чье лицо, с той злобной упрямой пустотой, с которой он, должно быть, смотрел перед собою во время полета.

Придя окончательно в себя, он рванулся к своему аппарату и, убедившись, что порча его поправима, закричал вдруг неприятным, пронзительным голосом:

— Техника, черт побери, техника и бензину... — и, несмотря на присутствие дам, он стал злобно и неприлично ругаться.

Бритое лицо с мелкими чертами побагровело, жилы на шее напружились, и казалось, вот-вот они не выдержат крику и лопнут.

— Долетишь, Федя, первым, — успокаивал толстяк с бакенбардами, — тут завод и аптека рукой подать, а ты ведь все равно hors concours. [1]

— Да, да, Кочетков сломал ногу, Вировский давно в болотах... — не скрывая своей радости, прервал авиатор, и, очевидно не в силах отойти от самой главной своей мысли, он пронзительно выкрикнул, как недавно ругался: — Тысячи, брат, на полу не валяются.

Аггей Иванович, не сводя глаз с авиатора, вдруг брезгливо сморщился, вспотевшее лицо его выразило страдание, и, отвернувшись всем большим телом, он замахал руками на своих больных, чтобы они шли обратно домой.

Но больные поняли восклицание доктора как сигнал, что все уже кончено. Барыня всплеснула руками и упала в траву. Петенька стал сразу каменным. Дьякон, трясясь, сел на землю. Только учительница, помахивая попрежнему белым шарфом, неслась сломя голову и кричала: «Ката́строфа, ката́строфа!»

Аггей Иванович поймал учительницу за шарф и за руку и, тряся изо всей силы и пугая ее своим непривычно злобным лицом, прошептал:

— Жив он, мерзавец, живехонек!

Потом, выпрямившись во весь свой огромный рост, окинул глазами, как примялась трава под телом упавшей барыни, как недвижно стоял Петенька и колотился в рыданиях дьякон, — схватил себя за голову и простонал:

— Осел... безнадежный, подлый осел!

— Чего вы, ведь авиатор не ранен, — тронула доктора за рукав дама с перьями.

Аггей Иванович открыл лицо, и вдруг, должно быть неожиданно для себя самого, он шагнул к Петрову второму.

Авиатор, ожидая поздравлений, обернулся с самодовольным видом; автомобильная свита его расступилась перед видной фигурой Аггея Ивановича, а он, занеся пред собой волосатые страшные кулаки, забасил на все поле:

— Пр-рахвост... воздушный!

1914

---

[1] Вне конкурса *(франц.)*.

НА ЧЕРНОМ ДВОРЕ

В чистый двор, с воротами на улицу, выходили квартиры богатых жильцов: чиновника, дьякона и подполковницы. У них посредине был общий палисадник, с сиренью, жасмином и тремя шарами на желтых столбах.

Детям черного двора в этот садик не было ходу; богатые жильцы опасались их: кто за то, что выдернут с корнем махровые маргаритки, кто за то, что вспашут тяжелыми сапожищами золотой песок ровных дорожек, а самое главное, каждый опасался, что разобьют его шар.

Дьяконов был темносиний, подполковницын желтый, а у чиновника как будто из чистого серебра.

Вот почему, когда однажды утром Сима, конюхова племянница, и неразлучный с ней мальчик Туфтя стали наклеивать на стену, против дьякона, белый лист бумаги, подполковница открыла окно и крикнула:

— Чего вы тут топчетесь, марш на свой двор!

Сима не испугалась и, таща за собой Туфтю за руку, прошепелявила:

— Шпиктакель клеим!

Подполковница, не выпуская из одной руки чашку чая, а из другой книжку, — она любила делать два дела зараз, — вышла в лиловом капоте посмотреть, что случилось. От Симы и Туфти уже след простыл, а на стенке была приклеена слюнями афиша следующего содержания:

1) Путешествие на три полюса: холодный, умеренный и южный.

(Сильно комическая, или море смеха.)

2) Чудеса китайского колдуна Фу-ты-Ну-ты.

(Захватывающий интерес.)

3) Похищение индейским племенем «Черный зуб» малых детей.

(Нельзя не плакать.)

— Драть их некому, — покачала головой подполковница, — без штанишек бегают, а туда же: «сильно комическая!» Для кинематографа небось находится гривенник...

Но, прочтя самые нижние строчки, подполковница смягчилась. Там стояло в скобках: «Милосердные господа, придите на представление, потому что Петруше нужны два учебника — по русскому и по арифметике, часть 2-я».

Петруша был старший племянник конюха и в сущности главная опора всей семьи. Игнат, второй конюх при генеральских лошадях, женат не был и все заработанные деньги пропивал в кабаке.

Когда померла его единственная сестра, оставив сирот: Петрушу, Симу и Туфтю, он взял их к себе частью от доброго сердца, частью в надежде, что заботы о детях отвлекут его от водки: уже давно самому надоело, что люди срамят, да и в голове чад стоит.

Только не вышло оно вполне по-Игнатову. Сироток он пожалел, а от водки совсем оторваться уже не было силы, и скоро повернулось дело так, что заправилой в доме оказался двенадцатилетний Петруша.

Мальчик навострился так ловко подстерегать, когда дядя свое жалованые получает, что в доме теперь не переводились мука, крупа и все самое необходимое.

Сам себя Петруша и в городское училище определил. Выждал, когда дядя был в самом своем трезвом виде, упросил его надеть новый пиджак, волоса смочить квасом и повел за собой, как говорил всем на черном дворе, единственно для «точки опоры».

Дядя упорно молчал и топтался на месте, Петруша объяснялся с начальником сам и после экзамена принят был в школу бесплатным.

А грамоте Петруша научился, как говорил дядя Игнат, «побирушкою». У знакомого гимназиста буквы повыспросил, у другого букварь выменял за обрезки вожжей, а там и пошел себе упражняться по вывескам да по газетам,

и глядишь — вечером в подвале лампа горит, Игнат сапоги себе чинит, а Петруша, ровно шмель, гудит да гудит себе по складам. Так вот к школе и подготовился.

Одна теперь у Петруши забота: от платы освободили, а учебники знай покупай. То-то он и надумал спектакль поставить.

На черном дворе актерами хоть пруд пруди. Пашута, косоглазая нянька у главного кучера, девчонка такая шустрая и отлично поет. Она со своей мелюзгой, кучеровой тройкой: Гришкой, Мишкой да Сашкой, изображать будет умеренный полюс. Толстый Туфтя с кривыми ногами и курчавою головой — южный полюс.

Петруша географии еще не проходил, а слыхал от своего гимназиста, что есть на земле разные пояса и разные полюсы, чего-то из них три и чего-то два; спросить сейчас некого весной, в свободное время знакомого гимназиста с собаками не сыскать. Как вспомнилось, так на афишу и поставил — сойдет. Одно известно наверное: на южном полюсе жарко оттого, что он на юге. А там, где очень жарко, тоже наверное известно, живут татары. У татар от верховой езды ноги кривые, у Туфти — от английской болезни, — значит, ему и быть татарином. И весь спектакль Петруша в таком роде придумал: сразу будто и странно, а как подумать, так даже очень разумно выходит.

А все-таки страшно волновался Петруша, места себе не находил до самого вечера, а когда сквозь дырку занавеса вдруг увидал на садовых скамьях и на ящиках всех соседних кухарок и дворников, так и захотел совсем провалиться сквозь землю.

Кроме того, у дверей стояла подполковница с вязаньем в руках и мопсом подмышкой.

Но отступать было уж поздно.

— Занавес! — крикнул дрожащим голосом Петруша, и две старых лошадиных попоны разъехались пополам...

Первая декорация изображала южный полюс.

На заднем плане стояли четыре искусственных пальмы в рыжих горшках. Эти пальмы дяде Игнату давно подарил знакомый буфетчик, и теперь, к спектаклю, старик их собственноручно подновил зеленой краской, оставшейся от крыши, и привесил к ним на нитках пустые апельсины. У подполковницы делали по воскресеньям апельсинное желе, и Петруша убедил кухарку, чтобы она вычистила

половинки, не портя кожи, и подарила их ему для пейзажа, за что он ей тут же вымыл посуду.

Дядя Игнат все свободное время провозился, мастеря из пустых половинок снова целые апельсины, не успел поэтому ни капельки выпить и сидел теперь совсем трезвый, страшно гордый собой и своими апельсинными пальмами.

Перед самой публикой на столе, покрытом зеленой тряпкой, изображавшем высокую гору, стоял раскорячившись крохотный кривоногий Туфтя с огромными наведенными углем усами.

Туфтя держал себя двумя руками за широченные чужие шаровары и выкрикивал по складам пронзительным голосом, будто его давили за горло:

В Кры-му живут та-та-ры
И но-сят ша-ро-ва-ры.

Публика хохотала:

— Ловко, малый! Ишь ты, сам, а с усам! Где апельсинов-то стибрили?

— Не зевай, Туфтя, дальше... — крикнул из-за пальмы Петруша.

Туфтя полез в необъятный карман, вытащил из него какое-то чучело с петушьими перьями и, важничая и надуваясь, сказал:

На южном полюсе так жарко,
Что от жары там дохнут галки.

Потом Туфтя сел на высокую гору и, свесив с нее ноги, выговорил, не переводя духа:

— Сии оба стихотворения сочинены учеником старшего приготовительного класса городского училища Петром Евстигнеевым.

Петруша вышел из-за апельсинных деревьев и раскланялся под аплодисменты публики.

— Господи, вот привелось-таки дожить, — шептал растроганный дядя Игнат.

Черная попона сомкнулась, и через минуту, в ответ на крик, занавес вновь разъехался, трепыхая нашитою внизу бахромой.

Теперь в щели пола были вставлены совсем еще голые прутья с набухшими почками, и над ними билетик с над-

писью: «Это лес». Направо и налево перед лесом на четвереньках стояли все дворовые дети.

— Рекомендую почтеннейшей публике, — сказал из-за кулис голос Петруши, — под нераспустившимися еще деревьями умеренного полюса сидят направо животные, прирученные человеком, так называемые домашние, а налево — главные хищники, бичи умеренных стран — волки и медведи. Эй, звери, крутите хвостами в знак приветствия почтеннейшей публике.

Звери подняли вверх одну ногу и подрыгали ею в воздухе.

Косоглазая Пашута вышла из скрывавших ее прутьев, поклонилась публике и запела тоненьким голоском, обращаясь к домашним животным:

Где же ты был, мой че-е-ерный баран?
«Муку молол, муку молол...» — сказали домашние,
опустив хвосты.
Как же тебя били, мой че-ер-ный баран?
«И метлами и швабрами. Ме-ме... ме-ме...»

При этих словах хищные звери кинулись на домашних, вооруженные кто чем попало, и все сбились в кучу. На этой борьбе за существование в умеренном полюсе падал занавес.

Дальше представителем холодных стран уже явился один Петруша в вывороченном полушубке. Он благополучно выехал на собаках Мухтаре и Бобике, посреди сцены сказал им: «тпру...» и вылез.

Но едва поспел он раскланяться с публикой и начать им свою остроумную речь:

— Милостивые государыни и государи, я самоед, но, как видите, сам себя я не съел...

Вдруг Мухтар злобно зарычал на мопса подполковницы, а тот спрыгнул с рук своей госпожи и с пронзительным визгом, устремившись на сцену, впился в Мухтара. Подполковница, бросившись вслед за собакой, потеряла в публике свое вязанье и, боясь быть покусанной, кричала на Петрушу:

— Ах ты, шалопай, шалопай!

Собак растащили, рассерженная подполковница ухватила подмышку мопса и унесла его домой, однакоже выслала с горничной Петруше полтинник. Представление

продолжалось, перейдя сразу к следующему номеру, чему Петруша был в сущности очень рад, так как не знал, что ему дальше сказать про холодный полюс. От гимназиста, кроме самоедов, он про север больше ничего не слыхал. А китайских фокусов знал зато целых два: «Чудесное исчезновение» и «Платок изрезан, но цел».

— Почтеннейшая публика, — сказал Петруша, одетый китайцем, в синем кучерском армяке и с привязанной сзади мочальной косой, — не может ли кто одолжить для опыта свой несморканный носовой платок?

Носового платка у хороших знакомых Петруши не оказалось вовсе, а приказчик из мучного лабаза сказал:

— У меня хошь такой есть, да не про твою, китаец, честь, издырявишь — нос в дырку пролезет!

Рассердился Петруша и вместо двух показал всего один фокус — «Чудесное исчезновение».

Петруша-китаец широко раздвинул руки с белой простыней, перед которой стоял маленький Туфтя, так и оставшийся в своих широченных шароварах.

— Почтенная публика, перед вами общеизвестный ребенок Туфтя, вот он всем виден с головы и до ног! — кричал Петруша страшным, не своим голосом. — А сейчас:

Колдун Фу-ты-Ну-ты пройдет перед ним,
И Туфтя исчезнет как дым!

Петруша, не опуская простыни, прошел перед Туфтей, тот ловко вскочил ему на плечи, и, пятясь спиной к выходу, не опуская простыни, Петруша ушел с малышом за кулисы.

— Обошел публику, ай, ловкач! — смеялись на скамейках.

Настала чувствительная сцена похищения детей.

Те самые четвероногие, которые изображали домашних животных, сидели теперь вокруг своей матери Пашуты, в шалаше, покрытом разными тряпками. Едва раздвинули занавес, дети принялись изо всех сил дрожать, указывая пальцами на индейцев.

Петруша, Гришка, Мишка и Сашка, скрипя черными зубами, натертыми для этой цели углем, выставили

утыканные перьями татуированные головы из-за дверей и показали детям по апельсину, связанному нитками.

Петруша, делая ужасные рожи, запел:

Кто хочет быть мне добрый сын,
Тот скушай вкусный апельсин!

А свита Петруши, ударяя о пол деревянными копьями, воскликнула:

Тот будет носиться на борзых конях
И драться с врагами в веселых боях!

Дети один по одному протягивали руки за апельсинами, воины их хватали и, завязав тряпками рты, налагали на руки и на ноги бумажные цепи, которые дядя Игнат склеил еще зимой на елку.

Когда все плененные дети выстроились в ряд перед публикой, с заткнутыми ртами и в разноцветных цепях, их мать, косоглазая Пашута, которая до этого времени благополучно спала, чтобы ничего не увидать раньше, чем нужно, хватилась детей, стала плакать и по-бабьи причитать.

— Ишь, бедная, убивается, — жалели кухарки.

Но вот Пашута оправилась, очень хорошо спела старинную песню: «Уж я золото хороню, хороню»... и тогда только выглянула из шалаша и, всплеснув руками, повалилась в ноги вождю «Черного зуба».

— Без выкупа пленных не отпускает вождь «Черного зуба», о женщина! — сказал ей гордо Петруша.

Дети стали потрясать цепями и оглушительно визжать, а Пашута, взяв двумя пальцами кончики фартука, вышла к публике и пропела:

Почтеннейшие, выручайте...
На выкуп сироток давайте!

Все засмеялись и пошли бросать медяки, кто копейку, кто две, кто пятак, а приказчик и дворник по целому гривеннику.

Все дивились затейнику Петруше, поздравляли дядю Игната с смышленым племянником и, щелкая подсолнушками, разошлись по домам.

А Петруша с актерами подсчитал выручку: оказалось без малого два с четвертью. Он высчитал то, что следовало на учебники, а на остальные деньги купил в лавочке всех гостинцев, которых дают побольше: стручков сладких, карамель «Шура», пастилы, мармеладу, и поделил поровну всем актерам. А Мухтару и Бобику купил в мясной лавке на пятак легкого. Вся труппа ела и хвалила Петрушу.

1914

ФАРАОНОВЫ ЗМЕИ

Девочки по утрам убегали в гимназию, к Мишеньке приходил репетитор, который, наверное, был сродни людоеду, потому что за завтраком, не подымая глаз от тарелки, он мог съесть одну за одной очень много котлет. Молча прокалывал вилкой, клал к себе на тарелку, делил надвое и глотал.

Степе очень обидно, что в гимназию он не ходит, а репетитор к себе в комнату даже тогда не пускает, когда делает с Мишенькой фонтан. Репетитор говорит с большой важностью, будто этот фонтан какой-то там «физический опыт», а Степа в щелку подсмотрел и знает, что ровно ничего ученого нет, одни глупости!

Поставили обыкновенный кувшин с водой на шкап, а из него рыжую кишку спустили в таз на пол. Репетитор снял палец с дырки, держит кишку кверху, а из кишки вода бьет... Да за такие дела маленьких наказали бы!

«Вот и я что-нибудь сделаю, — думает Степа, — уж такое... а скажу: «физический опыт». Уж я сделаю...»

И Степа ищет.

Няня Лукинична завозилась на кухне; варит себе постный борщ. Степа один в детской, он это любит. Можно перетрогать все вещи у девочек, никто не взвизгнет, не щипнет больно за ухо.

На полке у девочек всегда то же самое: на столике пред диваном куклы, Нелличка и Аглая, а пред ними пустые тарелки и блюда с сделанной ветчиной и пирожным. Куклы смотрят на них, выпучив круглые глаза, а съесть не могут.

Степа отколупал ножницами ветчину и пирожные, поделил куклам поровну на тарелки, а раз уж ножницы под руку попались, отстриг заодно Аглае и Нелличке косы.

«Если б девочки были умные, — подумал он, — они бы должны теперь обрадоваться, потому что куклы у них стали новые».

Но, вспомнив, как больно девочки щиплются, с смущеньем отвернулся от остриженных кукол и стал смотреть в окно.

Уж вставлены были двойные рамы, и между стеклами положена разноцветная вата, с зеленым мохом, с цветами бессмертниками; глядя на них, вспомнился лес со своими лужайками, с земляникой, с грибами, и сделалось грустно, что еще не скоро в него попадешь.

— Чувик-вик, — сказал щегол над головою у Степы.

Когда девочки дома, к этому щеглу Степе совсем нету хода: только палец просунет в клетку, сейчас кричат девочки: «Пошел, пошел, ты задавишь!»

А Степе давно надо узнать, сколько раз в минуту у щегла сердце бьется. Вмиг забыл о грибах и лужайках, открыл дверцу клетки, растопырил руку, а щегол не дурак — смазал его крылом по носу и порх! Сидит на печке, клюв чистит, лови его, кому охота.

— Я тебе покажу! — погрозил щеглу Степа, однако ловить не полез; вдруг заметил — около клетки лежит, в серебряной бумажке, кусок шоколада. Развернул его, понюхал, лизнул раз-два и стал думать:

«Спрятали девочки шоколад нарочно или просто бросили, оттого что наелись? Если нарочно бросили, съесть не стыдно; ну, а если спрятали...»

Помучился Степа чуть-чуть и вдруг просиял:

— От сладкого может сделаться золотуха, пусть лучше делается не у девочек, а у меня...

И он, не теряя уважения к себе, проглотил с удовольствием шоколад. Но едва слюни из коричневых стали белыми, Степе сделалось скучно-прескучно, и для того чтобы не заплакать, он опять начал думать о физическом опыте.

Вытащил из няниного тайника за зеркалом припрятанную коробку спичек, обрезал спичкам головки, уложил их на пустое фарфоровое блюдце из щегловой клетки

и зажег. Фук!— вспыхнул длинный огненный язык, и опять ничего. Опять скучно.

— Эге, мы запалим хороший костерчик, — топыря губы, сказал басом Степа, точь-в-точь как летом говорил кучер Петр на рыбной ловле: «Эге, мы устроим знатный маяк...»

Степа выгреб из печки горячей золы, умял ее в блюдце так, что вышла порядочная гора, вставил в середину карандаш, и чтобы он стоял крепче и больше походил на маяк, который Степа видел в Крыму на скале, он обложил карандаш внизу твердыми белыми лепешками «эмс», которые лежали тут же на комоде, так как мама дала их няне от кашля.

Когда все было готово, Степа взял у девочек одеколону и, облив им всю историю, чиркнул спичкой.

Отличным голубым пламенем вспыхнул маяк и стал похож на тот огненный столб, который вел в Ветхом завете евреев.

Но что это! Какой ужас!

Из пепла выползают вдруг черные толстые змеи, вздуваются кверху, свиваются кольцами, ползут вон из таза... Да они живые, они ужалят.

Степа заорал благим матом и кинулся в дверь к репетитору.

— Змеи! — мог только выкрикнуть он и шмыгнул Мишеньке под постель. Репетитор вытащил Степу, взял его на руки и, как тот ни отбивался, понес его в детскую. За ними следом Мишенька с циркулем, мама с вязаньем, испуганная няня прямо из кухни с засученными рукавами, девочки в ранцах и шубках...

Маяк догорал, а из блюдечка во все стороны болтались черные распухшие змеи, похожие на тех, что продаются в яичках на вербе.

— Ура, фараоновы змеи! — сказал репетитор. — Степа сделал открытие, да струсил, эх ты, горе-Колумб! Признавайся, бросал в золу лепешки от кашля?

— Бросал... — прошептал сконфуженный Степа, глядя, как девочки, хохоча, захлопывают в ладоши черных змей и они легким пеплом разлетаются по комнате.

Репетитор подсыпал свежих лепешек, Мишенька зажег одеколон.

Змеи снова закорчились, девочки завизжали от радости, нянюшка охала, мама забыла побранить Степу за шалости со спичками, и всем было очень весело. А Степа весь вечер ходил, выпятя живот от важности, что сделал открытие. Даже не моргнул, когда девочки щипнули за выпущенного щегла и за остриженных кукол.

1914

ЖЕНА ХАМА

— Милая Гого́, — говорила тетушка, сидя по воспитанию своему в кресле прямо, не прислоняясь к спинке, — будь моя воля, я бы с тобой не рассталась, но вот письмо... — она махнула синим конвертом с твердыми буквами, — сын Андрей вызывает. — Тетушка понизила голос, стесняясь, как это делается, когда говорят слегка позорящие, но неизбежные вещи: — Ведь тебе, моя душенька, придется зарабатывать!

Евдокия Ивановна, или, как родные все еще звали ее, Гого́, вдруг поняла, что и для тетушки, как для всех, она, после смерти отца, из балованной, богатой девицы стала нищей, заплакала и беспомощно вытянула свои тонкие пальцы.

— Но чем же, ma tante? Я ведь домашнего воспитания, у меня нет диплома.

Тетушка взяла пальцы Гого́ в свои усыпанные кольцами руки, улыбнулась подрисованными губами и сказала с весом, как некто, хитро обдумавший дело:

— Ты будешь, душенька, давать уроки лепки, сейчас это очень принято в самых лучших домах. К тому же ты, слава богу, не курсистка какая-нибудь или там суфражистка, тебе и Григориани и Петровские поручат своих малышей.

— Но, ma tante, — изумилась Евдокия Ивановна, — я ведь скульптуре нигде не училась!

— Полно, милая,—брезгливо поморщилась тетушка,— какие там науки! Маленькие создания тебе налепят уродцев, а ты слегка критикуй, щади самолюбие. Слышала я

фребеличку: «Лепите, детки, кошечку на подушечке, у кошечки лапки спереди, хвостик сзади». Я не стерпела: «Вы бы им, говорю, мадемуазель, показали, поправили, неприлично, если дети таких монстров родителям поднесут». Так ведь огрызнулась: «Это в ваше время за детей учитель работал, а у нас, по новой системе, развитие самодеятельности». Да с этакой, душенька Гого́, самодеятельностью можно преподать что угодно и кому угодно, благо мода.

— Мне стыдно, ma tante.

— Брось, брось! — и, привстав, тетушка обняла Евдокию Ивановну за плечи. — Бесспорно, что приличней всего, душенька, когда женщину содержит мужчина, но для этого, извини меня, ты все сроки пропустила; и к тому же сейчас у тебя, как это говорится по-русски, ни кола, ни двора, а потому совесть ты свою успокой. В преподавании лепки решительно ничего нет против морали и религии; ведь до греческих, голых богов не долепитесь?

Тетушка долго еще говорила с большим знанием жизни, и Гого́ не могла не признать, что лучше в хороших домах учить детей, чем, как выражалась тетушка, бог знает с кем стучать бок о бок на машинке.

— А в заключение открою сюрприз, — добавила тетушка, — у Григориани и Петровских уроки налажены, идем завтра вечером и помни: твой час дорогой... Твой папа ведь был сослуживцем министров...

Евдокия Ивановна, оставшись одна, долго ходила по комнате, ломая руки; осмотрела сундучок, заветную шкатулку с былыми драгоценностями; все давно продано, еще за болезнь отца, в сундучке пустые футляры да тряпки. И в зеркало посмотрелась; ну что же: когда-то пикантное, сейчас просто увядшее личико, испуг в глазах, а ведь было все, и как было-то. И молодость и возможности...

— Жених к нам, что муха на сахар; чем тебе, Гогушка, не угоден? — говорила няня. — Выбирай, этот князь, тот помещик. Смотри, ты девица — что ягода: ягоду в вёдро не сымешь — она тебе в дождик скошлатится...

Не князь, не помещик — учитель русского языка, Сергей Иваныч, один он нравился, за одного Сергея Иваныча хотела Гого́ замуж. И чтоб достойной его учености быть, как отца ни боялась, осмелилась:

— Не хочу выезжать, хочу учиться, знать хочу...

— Замуж выскочишь — все, что надо, узнаешь; ты не рожа какая-нибудь, чтобы синие чулки собой множить.

Учителю в тот же день отказали, и скорехонько он и вовсе из города улетучился; Евдокия Ивановна, не встречая Сергея Иваныча на улице, ведь в адресный стол бегала узнавать квартиру. Там пошушукались, этак боком глянули, и один низколобый брякнул:

— Выслан, неизвестно куда...

Евдокия Ивановна заболела, в бреду все про записку твердила: «Милый друг, приезжай». Это, ей чудилось, от учителя из далекого края.

— И пойду, — кричит, — на край света пойду...

Выздоровела. Записочки никакой не было. Женихам даром свататься надоело, да ведь и она уже не прежняя хохотушка Гого́. Поплакивает старая няня, свое шепчет:

— Девица — что ягода: ягоду в вёдро не сымешь — она тебе в дождик скошлатится.

— Скошлатилась... — стоя сейчас перед зеркалом, сказала себе Евдокия Ивановна, — теперь одно осталось: у кошечки лапки спереди, хвостик сзади...

Верная своему обещанию, на другой же день тетушка повела Гого́ и к Григориани и к Петровским. Вышло все как по маслу, не боги, в самом деле, горшки обжигают. В обоих семействах поминали общих знакомых, бабушек, тетушек, пили чай с кексом, потом шутя, словно играя, Гого́ лепила с детьми уродцев. Дети часа два не капризничали, молча сопели над глиной, всем в доме был отдых.

Благодарили тетушку, благодарили Гого́ за то, что она «совершенно своя», и нехорошо вспоминали прошлогоднюю фребеличку, которая так нелюбезно сейчас после урока бежала на следующий, отказываясь всякий раз выпить чаю.

Тетушка подарила Гого́ руководство по лепке одного немецкого педагога, наняла ей комнату у приличного вида женщины, правда сектантки, не православной, но что поделаешь, зато наверное не пьяница и не воровка.

Тетушка, пролив слезы, уехала к сыну, а Гого́ взяла себя в руки, один за другим изучила все три тома немецкого руководства и на последние деньги купила «Героев Эллады», справедливо припоминая, что скульптура главным образом пошла от греков, почему хорошо время от времени назвать их на уроке, и вес придаст.

Действовать по руководству «Детский рай» сначала было как-то стыдно. Но немец-составитель во всех трех томах так важно верил в свой метод, что и Гого́ поверила:

«Учитель должен войти каждый раз в класс отменно веселым и радостным и рассмешить детей вопросом: «Кто видал апельсин? Кто летал, как ворона? Кто то, кто другое?» Дети должны засмеяться, и урок должен идти весело.

Гого́ напрактиковалась дома над безделушками своей этажерки: выбирала какого-нибудь «слона в чепчике» и веселила им юных скульпторов. Потом она предоставляла им «самодеятельность». Пока дети налаживали слонам хоботы, Гого́ говорила о героях Эллады. Родители и дети были в восторге. А скоро и самой Гого́ стало не на шутку казаться, что веселый метод, усвоенный ею от немца и сдобренный древними греками, дает ей настоящее право обучать кого угодно и делает это она не хуже других.

Словом, первое время новой жизни, несмотря на отъезд тетушки и одиночество, тяжелым не было. Беготня по урокам, непривычное напряжение мысли утомляли приятно, родители обучаемых помнили отца ее, которому, по словам тетушки, должны были суммы. А люди всегда ласковы, когда отдают много меньше, чем взяли.

Но вот Григориани уехали за границу, одних Петровских не хватало на жизнь, пришлось идти к совершенно чужим, богатым Полуботкиным.

Хозяйка, миловидная блондинка, с изумрудом в розовых ушах, при первом свидании задала Гого́ те свои два вопроса, которые она считала приличным задавать всем вновь поступающим педагогам: где вы кончили и давно ли даете уроки.

Гого́ вспыхнула до слез, начала в чем-то оправдываться, что-то доказывать, ведь она нигде не кончала.

— Извините, я должна сейчас выехать, — прервала Полуботкина, — значит, для гимнастики первый утренний час.

— Но я гимнастику не берусь, — испугалась Гого́, — я скульптуру...

— Ах, почему, ведь это, кажется, проще скульптуры,— досадливо поморщилась Полуботкина, — и гимнастика также всюду теперь принята как искусство; неужто мне

еще хлопотать, еще нанимать новую? Надумайтесь, плата та же.

Но Гоѓо не надумалась, вдруг вспыхнула и как отрубит:

— Никаких уроков я у вас не желаю, — повернулась и вон. Полуботкина не поспела лорнетку к глазу приставить, вслед посмотреть.

Гоѓо сидит у себя в комнате, в кресле с высокой спинкой, огня не зажигает, боится встать, боится глаза отвести от той точки, куда они попали и глядят не мигая. Отвести глаза — пустить в голову мысли, а мыслей нельзя пускать, потому хотя бы, что делать с ними нечего, только ночь будет бессонная, а назавтра уроки...

Опостылели эти уроки до отчаяния, больше того, так вдруг сделалось стыдно, так нестерпимо.

И Фидия с Праксителем язык уже не повернется поминать после того, что на днях случилось на улице.

Словом назвать — ровно ничего не случилось. Шла Евдокия Ивановна по тротуару, перед ней шел человек, широкие плечи, пальто потертое, но чистое, на шее белое кашне; шляпа, несмотря на продвинувшуюся весну, еще зимняя — войлочный пирожок.

Вот забилось-то сердце. Ну точь-в-точь как тогда, много лет тому назад, когда, выскочив в переднюю, видела, как швейцар ровнял наспех брошенные, стоптанные большие калоши; учитель, Сергей Иваныч, значит, пришел, сидит в классной.

Этот человек не он, конечно; но чем-то родной тому. Зашла Гоѓо вперед, обернулась; усы, бородка клинышком, глаза умные, перед собой не видят, а ноги бегут, бегут. Так и тот вечно бегал, на улице не узнавал.

Пронесся человек, о чем-то своем задумавшись, Евдокию Ивановну и не приметил, а у нее и пойди все вверх дном. Чудится: учитель Сергей Иваныч здесь рядом, все знает, что она делает.

Вот из-за него перед Полуботкиной вспыхнула, от гимнастики отказалась, из-за него Праксителя с Фидием поминать больше не будет, да и вовсе, кажется, на урок не пойдет. Стыдно, самой бы учиться надо. А поздно учиться...

Ресницы смахнули слезинки, однако скрепилась Евдокия Ивановна. Твердо, как в чужом месте, в враждебном,

оглянулась вокруг; вещи фамильные на местах: комод жакоб, стол ореховый, безделушки на старинной горке.

— Осколки былого, осколок и я, — кто это меня жить послал, а из рук жизнь всю и вытянул?

И мерещится, как, бывало, в летний день присосется муха к сахару, а ее кто-нибудь — хлоп — и накроет: полетайте, мушка, под колпачком.

Под таким колпаком и детство, и юность, и до сих пор...

На ночь заплетая тонкую длинную косу и, как живому, улыбаясь нежно учителю Сергею Иванычу, Го́го дает ему слово стать очень честной, обещает «сеять разумное, доброе, вечное».

— Повторю грамматику, географию, это науки точные.

И тут же — ах! — и даже ушки красные. Ведь намедни по точнейшей науке-то как осрамилась? Вздумали дети словно заданный урок повторять, а на самом деле как-то там на разные лады браниться озером «Титикакой», а Евдокия Ивановна, педагог уж в себе уверенный, и оборви со строгостью:

— Болтать болтаете, а где озеро, где?

— В Южной Америке.

— Хорошее дело: Америку с Африкой спутали.

— Да это же вы, это вы сами!..

И визжали, и в ладошки, и друг другу на голову глину шлепнули. А ее тут же навеки: «Титикака курносая».

В прежние трудные минуты очень помогло бы Евдокии Ивановне дешевенькое издание «Жизнь мудрецов». Демосфен, с полным ртом мелких камешков, побеждающий косноязычие, или спартанский мальчик с лисицей, опять-таки Муций Сцевола...

Прочтет Евдокия Ивановна про чужой героизм, корсет потуже стянет, пристегнет тугой белый воротничок, словно воин доспехи наденет, а с ними и мужество протащить бодро день.

А вот после этой встречи на тротуаре, как встал почти забытый Сергей Иваныч опять живой перед глазами, уже ни мудрецы, ни герои, ни тугой воротничок — ничего не помогает. Проснется утром в постели — так бы до вечера и осталась.

Однако, пока живешь на земле, есть-пить надо; заставила себя встать, одеться, идти на урок. Вот и мостик над

здешней рекой и фонарь; очень похоже на канавку, где в опере «Пиковая дама» героиня бросается в воду.

Подошла Гого́ к перильцам, засмотрелась, как качаются в воде золотые чешуйки — весеннее солнышко шутит, купается. «Ах, истомилась, устала я!..»

Это не тенор обманул в опере контральто: это Евдокию Ивановну вся ее жизнь обманула. Была Гого́ хохотунья, сейчас «Титикака курносая» — скошлатилась. А главное: гнилая, душная ее жизнь. А как попасть в ту, настоящую, которой живет он, Сергей Иванович, не знала она и не узнает. Что же ей остается? Да вот прыгнуть в эту воду, на золотые чешуйки.

Улыбнулась Гого́, будто Сергей Иваныч тут рядом стоял, и в первый раз в жизни улыбнулась ему этак гордо, как равному, даже несколько свысока: не позвал, дескать, на край света, а теперь уж и не надо, теперь сама себе место нашла.

Евдокия Ивановна перекрестилась, прикрываясь муфтой, перегнулась низко и покорно ждала, когда закружится голова, без сопротивления, само собой, легко перекинется тело через перилы и булькнет в золотые чешуйки.

— А вы на это дело наплюйте, ей-богу,— сказал вдруг кто-то сзади и взял крепко Евдокию Ивановну за плечо. Она вздрогнула, обернулась и, как в сказке, ну, право, увидала того, с рыжей бородкой, в шляпе войлочной пирожок, — словом, единственного, кого бы ей увидеть хотелось.

— Мой приятель Касперович это самое пробовал, и представьте — на этом самом месте, — сказал человек, — и, к счастью, столь же неудачно, как, надеюсь, и вы. Сейчас Касперович — мой сотрудник, сообладатель ковчега и носорога и прочее, а ведь там-то, в воде, всего бы навсего рыб накормил. Касперовича я пресек. Но от времени до времени сворачиваю сюда в качестве инспекции на счет случаев однородного, так сказать, пафоса. Должно быть, фатальная декорация из «Пиковой дамы» — людей прыгать тянет. А знаете что: не зайдете ли к нам?

Евдокия Ивановна съежилась, и стыдно ей, и слезы вот-вот, прижалась лицом к муфте, не пошла, побежала.

— Вам налево и мне налево, — не отстает высокий человек и вдруг строгим голосом: — Куда бежите? Успеете. Послушайте, что скажу; может, это сама ваша

судьба говорит с вами. Читали Уэльса, «Калитка в стене»? За гривенник продают на вокзалах.

— Не читала...

— Там аллегория. К черту аллегории, терпеть не могу, бессилье ханжей, которым живая жизнь не по зубам, но здесь исключение, здесь, представьте, какая-то истина затесалась. Да я вам своими словами расскажу, вот послушайте: человеку всего-навсего надо было толкнуть калитку, чтобы войти в сад настоящей радостной жизни, а он все себе врал, все тянул ненужную лямку. Вот и вы: минуту тому назад здесь над водой задумались, а сейчас опять уж на старые рельсы. Да вы хоть по сторонам гляньте, другого пути поищите, ведь не все пути к черной воде! Самого страшного не боитесь, а шоры с глаз снимать жутко?

Евдокия Ивановна, наконец, нашла в себе силу взглянуть на высокого человека. Да, это тот, почти Сергей Иваныч, лицо простое, умное, шляпа — войлочный пирожок.

— На шляпу смотрите, не по сезону, точно. Вздор, скоро с перьями купим. В Италию с Касперовичем дернем, с целым петушьим хвостом купим, этакими берсальерами загуляем. Видали берсальеров?

— Видала, — против желания сказала Гого́, — мне налево.

— И мне налево, — свернул вслед за нею незнакомец. — Зовут меня обыкновенно — Иван Иваныч, фамилия разная, сейчас Феденко, потому что едем с Касперовичем в Малороссию, там впервые «Ноев ковчег» покажем, здесь, на севере, народ не смешливый, катары у всех, черт их проймет, того гляди полицию кликнут и в узилище сволокут.

— Что это за «Ноев ковчег»? — спросила робко Гого́.

— Предприятие... в двух словах не расскажешь, вот зайдите. Тут за переулочками, хоть и не близко, а добредем. Касперович сейчас дома, завтрак стряпает, нас рассмотрите, мы ребята простые, может и в предприятии участие примете. Ей-богу, насчет вас пришло в голову...

Иван Иваныч улыбнулся, отчего глаза стали совсем молодыми, но, внимательно взглянув на Евдокию Ивановну, взял ее под руку и крикнул извозчика:

— Устали вы, давайте ехать!

Евдокия Ивановна, дивясь самой себе, будто всю жизнь знала Ивана Иваныча, беспрекословно села, и он, как ни в чем не бывало, опять за свою болтовню:

— «Ноев ковчег» — антреприза, имеет будущее, но что поделаешь, зверей всего один насорог — молодчага, два аршина с половиной длины. В игрушечном магазине двадцать пять рублей плочен. Его Касперович у своего племянника выудил, за что ему теткой от дома отказано. А для «Ноева ковчега» у нас древний сундук, гробового вида. Касперович проектирует носорога этого поперек лесенки ставить. А лесенка в ковчег — вроде пароходных мостков для циркуляции в ковчег, — вы понимаете хитрость? Зверей у нас больше, натурально, никаких, а запинка всей циркуляции якобы из-за упрямицы — носорога. Вдруг гром и молния и божий глас:

Отгоните от порога
Эту сволочь... носорога!

Рассмешили публику, — увертюра! А дальше деятельность, ну, ей-богу же, просветительная, — смеялся Иван Иваныч, засмеялась Гого́.

— И вот если бы вы захотели... да нет, вы рассердитесь!

— Не рассержусь, скажите, — очень тихо сказала Гого́.

— Кроме носорога еще персонаж один очень нужен. Костюм — зеленая юбка в блестках, корсажик, парик в буклях. Местожительство — дно сундука, только на время действия, разумеется. Социальное положение — как бы это поделикатнее сказать...

— Да уж скажите, — совсем повеселела Гого́.

— М-м... не блестящее: жена Хама. Прочих жен трогать нельзя, найдут, что кощунственно, ну, а этот сын Ноев довольно скомпрометирован. Так вот-с, первый наш ресурс — носорог, второй — жена Хама. Бок сундука откидной, жена Хама возлежит на дне и публике эдак ручкой. Ничего более. И на юге, и на севере, и за границей — только ручкой. Хотите с нами? — совсем серьезно спросил Иван Иваныч.

И только подумать: у Гого́ в ответ такой радостью сердце... Ну вот, будто записка та, всю жизнь жданная,

пришла-таки от учителя Сергея Иваныча: «Милый друг, приезжай».

— Поеду, — шепчет Гого́, — поеду куда хотите.

— Вот и «Ноев ковчег», пожалуйте в поднебесье!

Иван Иваныч помчался вверх по крутой лестнице и забарабанил кулаком в дверь. Открывающий проворчал:

— Чего это тебя в такую рань принесло, я еще котлет не нажарил...

— Касперович, — сказал торжественно Иван Иваныч, — жарь на радостях вдвое, у нас, братец мой, комплект полный. Ковчег двинем в плавание, ибо рекомендую — жена Хама! А ты, братец, больше не сирота: рекомендую — носорожище!

Все взялись за руки перед мордастым зверем из коричневой бумазеи и пропели:

Отгоните от порога
Эту сволочь... носорога!

1919

МАРСЕЛЬЕЗА

Когда лавочнику Гордею Карпычу прислали из Москвы наложенным платежом посылку, он сейчас же погнал мальчишку за полицейским Сверчуком. Сверчук был приятель Гордея Карпыча, такой же, как и он, любитель музыки, и распаковывать без него долгожданные кружки граммофона было бы не по-товарищески.

Сверчук с утра был на любимом своем базарчике против станции, и так как дело вышло между двумя поездами и его Дунька не торговала, — оба сидели рядком на пустом ящике и наперегонку лущили семечки, ставя на заклад карамель «Иру» тому, кто шелуху сплюнет дальше.

— Ой, врешь! — вскрикнул радостно Сверчук, когда запыхавшийся мальчишка передал ему поручение лавочника, и, не глянув на Дуньку, зашагал в лавку, придерживая рукой тяжелую шашку.

Толстый Гордей Карпыч, держа наготове большие клещи, увидя приятеля, заколыхался веселым смешком:

— Дражайшие гости, Сверчук, самоличнейше из Москвы... дьякон Розов, Федор Иваныч Шаляпин....

— Давай я, ты еще их царапнешь, — сказал, бледнея от волнения, Сверчук, взял клещи из белых, пухлых пальцев Гордея Карпыча, похожих на личинки майских жуков, ловко вывернул гвозди и бережно высвободил кружки граммофона из бумаги.

— Боже мой, боже мой! Певица Вяльцева, два Шаляпина, румынский оркестр... — жмурясь, как толстый кот, стонал Гордей Карпыч, — столица, Сверчук, вся столица!

— Дьякона Розова нет, что ж это ты, — сказал вдруг с такой обидой Сверчук, что Гордей Карпыч спустил с лица улыбку и, подгребая к себе кружки, стал озабоченно класть их стопочкой, как блины:

— Десять чернушек, Сверчук, как заказано; тут дьякон Розов, тут он!

— Нет дьякона! — и, отойдя к бочке с солеными огурцами, Сверчук продолжал, горячась: — Не ожидал я от тебя такого афронта, Гордей Карпыч, — десять мы их и выписывали... Будучи знаток в музыке, я тебе рекомендовал стоящие кружки, но писал ты один, помни это, — значительно подчеркнул Сверчук, — я — должностное лицо, я бы себе не позволил... да я и забыл, как она называется, сейчас только и припомнил.

— Царица небесная, — неожиданным бабьим голосом пискнул Гордей Карпыч, — ничегошеньки в толк не возьму!

Сверчук подошел опять к стойке, пошарил в черных кружках и, отделив один, поднес его Гордею Карпычу:

— Вот за эту сам ответ и неси, дело мое — сторона, я, братец мой, — должностное...

— «Мар-се-льеза», — прочел с изумлением лавочник, — ей-богу, Сверчук, впервой слышу, должно, в Москве подшутили аль перепутали. А что ж она, разве того... непотребная?

— Хуже, — сказал все еще недоверчивый и раздраженный Сверчук, — она — запрещенная.

Однако сердце не камень, приятели помирились. Гордей Карпыч так жалостно причитал, складывая на толстом животе белые пухлые пальцы, с таким трудом выговаривал незнакомое слово, что пришлось Сверчуку поверить в его невинность. Кружок решили отослать обратно, взамен требуя дьякона Розова.

Агафоклея подала приятелям самоварчик, красную пастилу и лимон; выпили, размягчились, пустили в первую голову Вяльцеву. «Умчи-мся в края...» — выводит Вяльцева, и мечтают приятели. Гордей Карпычу чудится: идет он мальчишкой с покойной матушкой, странницей-богомолкой, идет, простор кругом, вечереет, огоньки табора красным маком цветут, цыгане оглобли вздернули, кулеш варят; у цыган этих и заночуют, а назавтра дальше.

Легко, привольно, словно крылатый идешь, и все тебе праздник, все радость.

— Бож-же мой, бож-же, — томится Гордей Карпыч сладкой болью о минувшей свободе, и жалко ему себя, теперешнего, закрепощенного в лавке, оплывшего, старого человека.

Сверчук, красный от чая и от разнежившей музыки, смотрит в окошко на пылающий под закатом лес; скуластое молодое лицо его подрагивает, и поволокой берутся глаза. Припоминаются ему разные барыни-пассажирки, каких за два года своей службы на станции удалось ему увидать, иной раз оказать услугу; видится их походка, в перчатках ручки, духи, кружева, и знает он сейчас, что влюблен он не в базарную Дуньку, а вот в такую шикарную, и она — в него. Это — не Вяльцева в граммофоне, это — шикарная барыня, обмахиваясь кружевным веером, как одна летом в купе, поет ему, Сверчуку: «И будем мы там делить пополам и мир, и любовь, и блаже-енство».

После Вяльцевой переживают каждый по-своему вальсы, марши, «На земле весь род людской». В конце ставят «Дубинушку».

«Мой ве-ли-кий наро-од», — не жалея богатства, как царь, покрыл Шаляпин голосом хор, хрип граммофона, гам улицы. Дрогнул и прослезился Гордей Карпыч, не снес и Сверчук: выпятил грудь, да как хватит заодно с хором: «Эй! дубинушка, ухнем».

— Ах, нет, Сверчук, — говорит слабым тенором Гордей Карпыч, — другой раз ее последней не ставь, так душу всю и расперло... нехорошо к ночи, не уснуть... «Дунайские» вот «волны», — их лучше нет в конце: лад ихний забирает с поверхности, полегонечку, плывешь — ровно в зыбке дитё, — ни тебе расстройства, ни жалости...

— Я программочку дома составлю, по номеркам, — обещает Сверчук, — ну, до завтрашнего, до приятного!

И приятели целуются.

Так каждый вечер лавочник Гордей Карпыч и полицейский Сверчук обогащали свою бедную событиями жизнь, вкрапывая в однообразную ткань ее, как великолепие радуги в дождливом небе, волшебные кружки музыки, пробуждая ими все грезы и порыванья своей души.

Но когда кружки граммофона были переиграны бесконечное число раз, а вызываемые ими образы

не пополнялись в воображении приятелей новыми, — оба из творцов стали просто слушателями и заскучали. У Сверчука радостное чувство через край бьющей жизни сменило всегда ему нестерпимое ощущение безделья; а Гордей Карпыч, прохладно хваля певцов и оркестры, опять привычно и тяжко стал носить в душе своей всю невыплаканную неудачу своей жизни. И, не умея разобраться и назвать, что случилось, оба просто зараз догадались:

— Надо бы новых кружков!

— Скоро ль пришлют, Гордей Карпыч, дьякона Розова? — спросил полицейский.

И, замявшись, промямлил лавочник:

— Да пришлют ужо!

Сверчук глянул на приятеля и понял, что «Марсельезу» тот все еще не послал.

— Ежели б я — не должностное лицо... — начал Сверчук раздумчиво и вдруг запнулся; припомнил, как урядник еще недавно наказывал ему особое наблюдение за двумя там какими-то: «Без чемоданов приехали, на керосинке обед сами стряпают, в лесу, где подальше, сойдутся, «дела» обделают, «Марсельезу» горланят...»

«Мар-се-льеза», — долго учил примету поднадзорных Сверчук, и понравилось слово, жалел даже, когда позабыл; ан тут слово нежданно само подвернулось.

— Я — лицо должностное, — твердит, сам от себя защищаясь, Сверчук, а уже в пальцах запрещенную чернушку вертит: нацарапано на ней все, как на прочих, слова, видать, французские, — как звучат-то? Должно, на тех барынь шикарных похоже...

— Что ее отсылать-то, Сверчук? — набирается храбрости Гордей Карпыч, — она лежит — есть не просит, может, когда пикничок состряпаем, в лесу ее дерганем. Кто в лесу слышит?

— В лесу хулиганье всякое, — злобно вспоминает Сверчук поднадзорных, — хулиганье эту саму как раз и горланит...

— Ну, ну, отложим, — покоряется Гордей Карпыч, — приторгую скоро опять на свежий десяток: новых чернушек выпишем, эту кстати в обмен.

Человек предполагает — бог располагает; не пришлось Гордею Карпычу скоро выписать новых чернушек. Грянули такие события, — до чернушек ли?

Сверчук, озабоченный, но словно повышенный в чине, то метался по станции с красными призывными листками, то нагружал на поезд запасных, то срамил на всю базарную площадь какого-нибудь опоздавшего насчет трезвости:

— Такие ли дни сейчас, чтобы от тебя, такой-сякой, ею пахло?

— Етта старрая пахнет... — божился, пошатываясь, человек, — всю-то жизнь ее пил, а она штоп тебе сразу... и выдохлась!

Гордей Карпыч в своей тоске и ожирении нездорового человека с трудом понял, что случилось, и пугаясь, что от кого-то ему будет плохо за то, что, зная о великих событиях, он попрежнему ест, пьет и торгует, — с тяжелым развальцем подходил к каждому поезду с запасными, и мальчик нес за ним жертву: муку, чай и сахар.

Маленькая станция в несколько дней совсем изменилась: на базарной площади то и дело стояли кучками запасные — вчерашние всем знакомые деревенцы, кричали бабы, плакали дети. У самого Гордея Карпыча и в соседней, только что отстроенной лавке — те же запасные, уже с голубыми походными чайниками, покупали в дорогу припасы; лавочница, Авдотья Васеевна, маленькая блондинка, с очень толстыми боками, выпиравшими, как подушки, из модной, обтянутой юбки, не поспевая отпускать, смеясь и плача, говорила запасным:

— Уж вы себе сами, родимые, отпускайте, хоть и обвесите, чай, вам в последний!

Запасные, чувствуя себя героями, не чинясь, клали гирьки и долго и внимательно проверяли чашки весов:

— Блинкин и Робинзон, один фунт и с четвертью...

— Господи боже, владычица, — причитала у дверей старушонка, — враг-то уж в Ладоцком, весь ихний флот, пальбу слышали...

— Ежели в Ладоцком, тут ему крышка, рукой взять, что раков...

— Да Ладоцкое ж, братцы мои, озеро, — гогочет запасной, — ну и тетки — образование!

— Поезд везут! — крикнули на улице.

Запасные схватили карамель с весов, стремглав слетели с крыльца, за ними поспешили к платформе провожающие, дачники, торговки с корзинами яблок.

Из-за леса, над макушками сосен, словно выдыхаемый великаном из трубки, толчками всплывал густой белый дым, и слышался тяжкий вздох паровоза.

Молодцеватый Сверчук, кое-кого трогая ножнами черной шашки, вежливо, но твердо прокладывал сквозь толпу путь запасным:

— Расступитесь, господа, дело службы.

Толстая вдова пристава, в бордовой вязаной кофте с желтыми пуговицами и хлястиком выше талии, стоя отдельно на приступочке, держала пред собою белый платок с таким решительным и угрожающим видом, как будто каждый глаз ее готовился не пустить слезу, а вдруг выстрелить.

Откуда-то появилась толпа гимназистов и барышень с французскими и русскими флагами.

— Вот, Лялечка, наши соседи-то труса празднуют, — говорит один рыжий барышне с голубым шарфом, — свою дачу бросили, след простыл, а вывеску «Waldesruh» заменили «Родимой отрадой».

— А наши знакомые из Стендеров — вдруг Подставкины...

Паровоз, покряхтывая, выставляя узкую куриную грудь и словно хлопая себя по бокам, встает перед станцией. Бесконечные вагоны, уходя за дрова, кажутся многорукими, еще не бывшими чудищами: в глубине голова на голове, наружу — защитного цвета руки машут фуражками...

— Ур-ра! — голосит станция, барышни веют шарфами, гимназисты швыряют вверх шапки, старушки крестят воздух, и, приветствуя поезд флагами, поют гимназисты — кто гимн, а кто «Марсельезу». Блестят зубы на загорелых, летних лицах солдат; они уже привыкли к восторженным встречам и с преувеличенной важностью кивают в ответ публике, как кланяется в свой бенефис заслуженный, слегка утомленный артист, и только один, высокий, с рябоватым добрым лицом, стоя на площадке, всхлипывал и, широко разводя руки, как баба, когда загоняет на ночь цыплят, говорил:

— Всё значит тут, всё... и больше ничего!

— Ур-ра! — кричали опять на прощанье, — ра... ра, — катится в поле, из поля в сосенник и словно ухает с откоса в речку. Паровоз сдвинулся и пошел. Замахали на

платформе шарфы, а им из окон вагонов ответно фуражки защитного цвета в руках.

Босой мальчик Сенька, в розовой рубашке, вдруг обезумел от криков, гимнов, солдат, припустился бежать, на ходу прыгнул на подножку вагона и, не зажимая рта, махая трехцветным флажком, сорванным с древка, орал и мчался бог весть куда.

— Нн-у, Гордей Карпыч, и дела... — сказал, входя вечером в лавку, запыленный и красный как из бани, Сверчук, — дела-то какие! Восемь держав уж воюют, и еще, почитай, столько же к войне готовятся; водке крышка пришла, поднадзорным я нонеча честь отдавал, обои прапорщиками...

— Предпоследние дни, — сказал, вздохнув, Гордей Карпыч, — секира у древа.

— А что, Гордей Карпыч, — подошел к граммофону Сверчук, — продохнуть хоть разок, вставь иглу новую, на чернышку, на ту... запрещенную, она сейчас уже — союзный гимн.

— Поди ж ты! Долежалась, — усмехнулся Гордей Карпыч, поставил иглу, насадил пластинку, смахнул пыль с желтой трубы граммофона и, прижимаясь к ней всей своей жирной щекой, насторожив ухо, чтобы не пропустить звук, он пустил «Марсельезу».

И Сверчук в ту же минуту почувствовал себя на коне командиром несметной армии, ведущим полки в наступление, и когда попадались слова, похожие на русские, он выкрикивал их, как приказ к атаке:

— Лапа-три! Тир-они!

1923

КОРРЕКТИВ

Игнат, в первый раз после революции, надел длинный суконный армяк, взнуздался шелковым, с разводами, кушаком, расчесал золотую бороду не перед осколком, как в старые времена, а перед «трюмо̀м» — зеркалом из социального обеспечения.

Широкозадый, он привинтился, как монумент, к козлам. Перебрал вожжи, жеребцу гаркнул:

— Пшел-л!..

А вот не радостно, как бывало...

Ведь если катить опять на резинах, так пускай уж и Невский как Невский! Светло чтоб как днем. На углу, в небе не буквы — звезды: О М Е Г А! Вспыхнут — потухнут. А бриллианты в витринах! И сами кружатся и голову кружат. А лошадей, а трамваев! Без водки пьян!..

Сейчас — ни два ни полтора. Оно, конешно: слыхать и румына из хорошего заведения, и рыбина, почитай, во все стекла глядит из окна Елисеева магазина, и на лихача лимонщиков сколько угодно, а вот, поди ж ты, нисколько не лестно.

— Гражданин лихач! — разбирают Игната за рост, за посадку туда-сюда...

Как монумент, не шелохнется, чуть свернет бороду, через плечо бросит:

— Три, четыре.

Довезет. Заплатят. Спрячет бумажки в мешок. От дензнаков нет в мешке звона, как от прежнего серебра, нет и интереса: «на чаек с вашей милости» теперь не попросишь, потому — гражданин. Разговоров седоки не ведут,

жеребца не хвалят, скучно ездят новые люди — лимонщики.

И к вечеру захлестнула Игната тоска, нашли думы.

На Аничковом на мосту, бывало, ротмистр Шебукин скажет: «А что, Игнат, ведь к четырем лихим коням твой Огневой — пятый». Огневой — жеребца звали.

— Э-эх, упустил, брат, огонь! — качает Игнат на припадающую заднюю ногу. Передние — точеные, в белых чулках, Огневой выносит попрежнему весело, легким бравым аллюром, а задняя левая дрейфит. Чья-то засела в ней пуля. Не раз в эти годы забирали у Игната коня, большим выкупом, с хитростью вызволял. Просадил на коня и свои и ротмистровы доверенные вещи. Овес по фунтам ведь, как кофей, ценился.

До сих пор, после того как прохозяйствовал последние ротмистровы сапоги, как о нем вспомнит, сейчас рассердится:

— А ну его к черту! — И привычным скрепит газетным: — белогвардейская сволочь...

А надел «лихача», пригвоздился к козлам и, поди ж ты, и о Шебукине узнать хочется. Где он там? Истратился аль сохранился? Лихой был ротмистр, и потехи же с ним!..

Пьян как-то напился, большой заклад положил, что, как мать родила, нагишом на коня черного на Аничковом сядет.

Ей-богу, сел. Огневой этот самый его вызволил: рядом на Фонтанке стоял; чуть полиция показалась, сволокли свои со статуи, в николаевку обернули — умчал жеребец!

— Эх, брат, не возьмешь прежней рыси! Не сел бы на тебя нонче ротмистр Шебукин, только плюнул бы да сказал: «Не суйся в волки, коли хвост собачий!» А эти... разберут статьи!

И, презирая нового седока, Игнат накидывал, наконец, лимоны и в ответ на протесты нагло выбрасывал из рыжей бороды:

— Не по чушке желудь — так пей воду: чай, не барского роду!

К ночи круче захлестнула тоска: напиться бы! Заехал к куму, домкому в ученом одном учреждении. Огневого в бывшее великокняжеское стойло поставил, сам в розовый штофный кабинет пришел.

Выпили с кумом. С ученых препаратов он каких-то сливал, для духу перец клали, ничего, дух забористый.

Повеселел от спирта Игнат, стал на ночь у «Буффа». Стояли и другие.

В подъезд входили запоздавшие парочки, шло представление.

Слезли извозчики с козел, отвернули за кушак тяжелые синие полы армяков, закурили. Подошла дежурная милиция, двое.

Один, мелкий такой солдатик, шлем — будто с чужой головы — осел складкой, как бабий капор. Прикурил у Игната.

— Ну и служба, — не выдержал Игнат, — спринцовка у тебя на башке, и та словно порожняя: а сам — карлой.

— И куда вам против прежнего калибру? — ввязался другой лихач. — Прежние как дубок: один к одному стрижены. Павловец был, к примеру: весь полк курнос, душа в ноздрю смотрится! А гренадерские...

— Захвастался, да и расхрястался! — кричит второй милицейский, покрупнее первого. — Вы-то сами прежние, што ль, лихачи? Прежний, как сядет идолом, до конюшни не встанет, не по-вашему: задрать полы да табашничать!

— И бессознательный народ! — осмелел мелкий милицейский. — Ведь и медведя плясать учат, а на них хоть и выбито и вытолочено — все травы нет, одна контрреволюционная платформа!

— Ты один в штанах ходишь! — огрызнулся Игнат. — Я не кого-нибудь, я самих генералов от инфантерии собственноручно в агентуру водил, а тебе впору в своем лишь кармане вошь на аркане да блоху на цепи держать. Вот скажи лучше, коль грамотный, чего эта самая нэпа на старое сворачивает, да не доворачивает? Лихач разрешен, а жеребец ими же спорчен?! Это по-нашему: огурец в зубы, а водку свищи! Нового жеребца обязаны, ежели нэп.

— Насчет нэпа, товарищ, вы действительно бессознательный, ведь если правительство, по необходимости внешних причин, нэп вводит, так это, понимать надо, отнюдь не по-старому. Это — то, да не то...

— Ему щенка, вишь, да чтоб не сукин сын! — крикнул Игнат, и все загрохотали.

А милицейский Игнату:

— По бороде знать, что лопатой звать.

И сейчас же за ним лихачи:

— Известно — деревня, — голова тетерья!

От всех несет водкой, не самогоном, лоснятся отъевшиеся щеки, уже привыкли с недавнего недоеда опять к былой жирной еде. И почетно им, как раньше, без мысли, без дела топтаться вокруг своих экипажей перед дорогим заведением.

И милицейским празднично от блестящих сытых коней, нарядных лихачей, от Фонтанки, по-летнему колыхающей огни и редкую черную лодочку.

Взаимное острословие не перешло в брань. И крупный милицейский стал разъяснять извозчикам, почему нэп это — то, да не то.

— При нэпе к каждому отдельному случаю революционный корректив полагается. Сумей попасть в точку, и будет тебе и водка и закуска. Жеребцов новых заведете.

Наперли извозчики на милицейского:

— Нового жеребца! Пострел тебя возьми, да как же оно применительно к нашему делу?

— А применительно к вашему делу так: предрешай своевольно — кого везешь? и откуда — куда? и зачем ему ехать?

— Рядиться, скажем, по седокову нраву, а в пути предрешай специально, помимо уговору? — понял Игнат. — Предрешай, говорю, с новым революционным сознаньем, у кого какое... ежели седок по делу службы или на предмет перевоза болящего, брать как рядился. А ежели седок из тому подобного заведения, из театров и прочих белогвардейских аттракционов, то по предрешению и информационному выводу различной важности буржуазных пережитков. Поняли?

— Чего не понять, все понятно, только как с его взять? Седок не рак, голой рукой не ухватишь...

Из «Буффа» послышались свистки. Случился скандал. Кто-то бил кого-то. И вой и гвалт, будто резали поросенка.

Милицейские кинулись к двери. Публика гурьбой повалила из дверей. Разбирали лихачей не торгуясь.

— Угол Мойки.

— Три! — бросила Игнатова борода.

Один посадил другого, совсем уже готового.

— Увези!

Вмиг принес Огневой к Полицейскому мосту. Тут — темно; Мойка чернилом течет, чуть ворча, выплескивает на себя канаву. Захромал Огневой, вдруг осел клячей. Недолга его нынешняя прыть. В зелени белой ночи — не чугунный он конь, а как есть старая водовозка.

— Разорена лошадь...

Нож в сердце Игнату. И номер забыл, где ему пьяницу выгружать.

— Гражданин, а гражданин!

Сопит, укачался седок.

— Эй, зюзя, номер? — потрогал кнутовищем Игнат седока.

— Второй дом направо...

Подвез.

— Выгружайся!..

Седок толстый. Золотая кольчатая цепь качелями по самоварному жилету. Вынул тоже толстый бумажник, отслюнил три красных. Качается.

— Что вина тобой выпито, чай и не помнишь, — говорит презрительно Игнат, и вдруг слез с козел, вожжи из рук не пускает, монументом отлился перед дверью. Седоку путь кнутом преграждает. — Что вина тобой попито, а я, трудящий класс, по прейскуранту облизывайся! Выкладай, гражданин, прибавку, десяток лимонов!

— Что ты, да как смеешь! — протрезвел вдруг седок, машет рукой, испугался.

— И лучше тебя видал, да и то не мигал! — Игнат ему сквозь бороду. — Выкладай, говорят.

— Теперь не грабеж, теперь по-старому, по уговору, теперь нэп.

— Нэп — нэпой, а про предрешенье слыхал? К каждому отдельному случаю по собственному революционному усмотрению... Думаешь, как при царе, за что подрядился, и никаких гвоздей! А ежели тебя к ответу: откуда куда едешь?.. И на какой предмет тебе передвижение?

Седок было изловчился вставить два пальца в рот, чтобы свистнуть на помощь, но свистнуть не успел. Игнат заклещил его руки в своих огромнейших лапах. Сказал ласково:

— Дурья твоя голова, я ж никакой грабитель! Чепка при тебе золотая, а я твоей чепки не трону. Я по платформе. Что вина тобой выпито, рассуди, а я трудящий класс...

— Сколько тебе?

— Да для почину десять набавь. Только, как отпущу, не свищи. Тебе ж хуже будет. Как еще в милиции на твое дело посмотрят? Для уравнения классов там с тебя, может, и чепку изымут, — там, знаешь, платформа построже...

— Не свистну, пусти...

Игнат отпустил. Дрожащими руками седок отслюнил все бумажки. Не сразу попав ключом в дверь, едва открыл, юркнул внутрь и, захлопнув за собой, повернул звонко два раза ключ и стремглав кинулся дальше. А Игнат не спеша влез на козлы, не спеша поехал домой.

1923

ДЛЯ БАЗЫ

I

— Дьякон-то наш, из Дубовой Луки, дьякон Мардарий, живцом стал! Как же, и Марфа Степановна, и управдом Сютников, и Петька Козырь — все выследили, все удостоверились, — переодевается.

Едва на столбцах афиши: «Совместное выступление»... звезды первой величины — один протоиерей, другой протоиерей, а приглашенные — шрифтом помельче, — дьякон сейчас — пиджачишко, полугалифе, самоделку с ушами и по черному...

И в указанной зале собрания со всеми вотрется.

Однако Марфа Степановна способ нашла, как особу духовного звания и в перелицовке признать. Гриб-подосиновик, хотя в какой гущине, а изо всех краснеет, так и церковники из живцов. Кто к длиннополой одежде привык, как обкорнается, сейчас норовит колени ладошками прикрывать; то ли ему поддувает с непривычки, то ли конфузно ему — не иначе раздетый.

Вот по этой ручной замашке и ловили прихожанки переодетых церковников, без обману. А поймают — раскалятся. Они и сзади подберутся гвоздить и вдогонку ему шепотком: живец, балтист, подосиновик...

Раз Петька Козырь с другими зефирщиками с Васильевского острова до самого до дому затеяли дьякона потравить, да на пути другой секрет его и открыли.

Дьякон-то ведь не домой, а в кафе «Козерог» как стрельнет!

— Эге, выследим, — сказал Петька другому зефирщику, — а пока что папиросками торганем.

— Сафо толстая, Зефир трехсотай, Гражданс-ки-я!

Часа два надсаживались, чуть дьякона не зевнули.

Да полно, дьякон ли это Мардарий? Глаза углем обведены, на щеках красные пятна, как у клоуна в цирке, в воротник бороденкой ушел, нахлобучился поскрытней, и по-заячьи...

Визганул Петька Козырь, и с зефирщиком к Марфе Степановне:

— Готовьте, буржуйка, сахару — сообщение первой важности! Дьякон Мардарий в кафе «Козерог» нумера распапашился выполнять.

Эх, яблочко да мелко рублено,
Не целуй, клеш, под нос, я напудрена.

— Врешь, Петька, это уж обязательно врешь, — и в радости Марфа Степановна к дверям, у дьяконицы распытать.

— А ты, Петька, иди, иди! Пока не украл!

— Скажи курице, она сейчас улице, — огрызнулся Петька, — а сахар-то где? — И за дверью: — буржуйка саботажная!

А когда в темноте, нахлобучившись, бороденка в воротник, дьякон, как тать, пробирался к себе, на все этажи свистнул Петька с зефирщиком:

— Дьякон-живец, твой антихрист отец!

Выпуская гостя, управдома Сютникова, вышла Марфа Степановна за порог своей двери, плюнула перед дьяконом, растерла калошей, хлопнула с сердцем задвижкой, насадила крючок и дважды с музыкой щелкнула ключом — будто от громилы, оборонялась от дьякона. А гость ее, управдом, он же богоспец Сютников, отступая на шаг и пряча за спиной руки, сказал:

— Дьякон, дьякон, как дошел ты до жизни такой?

Дома дьяконица, с обвязанной щекой, бессонная над больной пеленашкой, жадно схватила протянутую дьяконом распухшую от обращения красную столимонку, положила ее на стол и притиснула сверху холодный утюг. И молчала дьяконица. Молчал и дьякон.

II

Дьякон Мардарий в Дубовой Луке и родился, и на лето из семинарии приезжал, и женился, и с дьяконицей своей двух детей народил. Одно в военное время, другое под Временным — оба вскормлены как у людей: на материнском молоке да на коровьем. И лишь только третье — окончательно революционного времени — подымалось на сгущенном и на белой крупе из посылки «Ара».

Не любят получающие арийцы стекловидную эту крупу, ею рынки завалены, она ходит дешевле пшена.

Родилась эта третья дьяконова пеленашка в столице. И совсем бы ей при такой бедности не родиться! Что поделаешь: от абортной ориентации скромная дьяконица в стороне, а многоплодие в духовном кругу как было, так и есть — статья не поддекретная.

Но зачем было дьякону из Дубовой Луки да в столицу?

Жил он на селе, немудрящий, мужиками любимый. И дед и отец Мардария в той же Дубовой Луке были священниками.

Чудной народ мужики: деда Мардариева, хмельного попа и ленивого, так любили, что перед благочинными за него распинались, когда, бывало, по пьяному делу между ектеньями он не такое словечко ввернет, а доносчик растебенькает. Запрутся на опросе, покроют: окромя божественных, не было слов...

А вот на отца Мардариева, на академика, на постника, как снег — челобитная: не продохнуть от попа, убери его, владыко!

Развел благочинный руками: старому пьянице потакали, а тут ака-де-мик...

— Старый поп деревенцами не гнушался, службу скоро правил, грехов не тянул. Этот же после обеденки еще «слово» норовит, а что не пьет — кишка у него тонка, нам это даже совсем не угодно.

Мардарий весь в деда: и хохотун, и простец, и с ранних лет, на свадьбе ль, на хресьбинах ли — любит стаканчик глушить.

Приятель и кум, Захар-винокур, бывало, сахару в водку сыпнет, перстом размешает, в чайной чашечке поднесет: пей сладимую, слаще жить!

С Захаром и с другими парнями хаживали в Ордынок-монастырь.

Пели поминаньице, родителей за копеечку, родню за денежку.

Заводил тонко Мардарий:

Папеньку родного.
Маменьку родную.
Папеньку хрёстного.
Маменьку хрёстную...

Весь день собирали, ввечеру пропивали. Нравилось вечером в реке раков ловить на лучину. Река от заката — плавленное золото, задолго придешь, любуешься. Монастырь нравился: тихий, рабочий, с диковинно расписанными образами.

Во всю стену хватил художник от Матфея главу седьмую: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата своего...»

И бревно из глаза осудителя — агромадное, четверо надуваются, еле держат. А другой образ радостный: «и взыграше младенец». Чрево у Елизаветы взято в разрез, и нагой младенец в нем на скрипке играет.

И вот эти два образа — вся наука Мардарию. Умом не хитер, сердцем берет. А для сердца тут все: от Христа ему радостно, как младенцу во чреве. А урок его главный-то: к брату, к ближнему — свое бревно помни, другого не ешь. И оттого что Мардарию вся мудрость тут, на ордынской стене, по книжкам в семинарии шел плоховато, уж куда в академию!

Отец умер, и Мардарий в той же церкви стал дьяконом. Женился, обзавелся хозяйством; и век бы ему, как отцу и как деду, тут вековать. Хотя бы и революция? Что ж особенного! Перемена правительства — другое поминовение, а служба та же и тот же храм. А хоть волнения кругом не избыть, тому, кто смиренно сидит и об одном иждивении рук своих промышляет, тот и сыт, тому и хлопот больших нет. К тому же Мардарий — всего дьякон, и за все про все в ответе не он, а священник.

И вот опять: зачем дьякону в такое-то внезапное время из насиженной Дубовой Луки да в столицу?

Еще было начало революции. Еще кричали по России приказы: «Я, Керенский, я...»

Еще могли быть и такие и эдакие мнения, а по железным дорогам шла демобилизация.

Первоначально дьякон Мардарий втиснулся в туго набитый вагон без всякого особенного мудрования, по одной лишь фамильной надобности: поехал в уездный город к собственной теще, на предмет обмена сырья на мануфактуру.

И ничего с ним в вагоне и не было, кроме обычного в такое время разнообразия разговоров, а вот поди ж: поехал один человек, воротился другой.

III

В вагоне, на нижнем диване, друг против дружки — собеседники. Один говорит, другой слушает; от него видно дьякону на лоб свисший чуб, усы, бородка; другой с побывки едет опять на собор — он виден весь. Небольшого роста, судя по широким плечам недавно еще плотный, сейчас страшно измученный, почти больной человек. Речь его для дьякона необыкновенна. Не столько словами, а как-то всем существом, движением коротких пальцев, напряженным, вдаль глядящим взглядом — вызывает он, показывает то, о чем говорит.

— Владыко воронежский, владыко тамбовский... — и замрет.

— Ну что ж, зазорного в этом владыке нет ничего: роста крупного, крест над кафедрой золотится, голос — бас. И хозяин... по докладу видать. Главное дело — хозяин.

— Ну, владыко такой-то...

Помолчит. Словно ищет в новом имени то драгоценное, чего не назвать ему словом.

Дрогнули губы, короткими пальцами скорбно развел: на нет, дескать, и суда нет. Другой, напротив, подперся, чуб свесил, сокрушен, как от тяжкого горя:

— Что ж, и в этом зазорного ничего. Ростом пониже, не ходит — бегает, и к молочникам лют.

Смешлив дьякон, как прыснет:

— Молочники! Это те, что в пятницу чай с молоком?

На минуту обернулись оба на дьякона.

— Извиняюсь, — сказал по-новому Мардарий, — я из Дубовой Луки, мы там в темноте, насчет хода событий...

— Какие события, одна ябеда: «крючки» в буфете шмыгают, особам наушничают, а особы нас, профессоров, этак с занозой: «достопочтенные...»

Долго, истово, со страшной внутренней напряженностью и оттого как бы внешней бедностью, необыкновенно ведется рассказ. И верит дьякон рассказчику; не только видит, как видел тот, но вместе с ним и сам скорбит о чем-то таком заветном... а о чем? И не назвать.

Дивится Мардарий: вольный человек, а поди ж ты, как за наше, церковное, болеет душой.

Осмелел, говорит:

— И как это вы все упомнили: и про главное и про околичности?

— А это душа уж сама затаила, чтобы честной памятью проверять на досуге. Задача-то ведь какая? Ради нее и жить и помереть: Христову правду выразить!

— А на деле-то, а на деле!.. — прервал тот, чубатый.

— А на деле пока так: в этом всероссийском соборе, за немногими исключениями, определял средний уровень не огонь, не дела веры, а вот этот скорбно-комический минимум: зазорного нет ничего. И у многих, знаете ли, в руке, благословляющей какую-нибудь персону, — непроизвольный изгибчик и грация этакая, дореволюционного времени.

— А они всем вершат. Создают форму и норму... Мертвый собор.

— Так история и запишет: первый московский всероссийский мертвый собор!

И опять, как сокрушенный тяжким горем, подперся чубатый, ниже свесил чуб:

— Столь угашен у нас дух, иных вдохновений, видно, не стоим.

Религиозная форма и норма.

Вышли соборники на пересадке, и такое у Мардария за них беспокойство: сядут ли дальше, куда им надо, или, приткнувшись на корзины, пропуская все поезда, снова пойдут особо перебирать за владыкой владыку.

Чувствительно дьякону: не специально духовные люди, а как про духовное говорят!

— Христову правду, вишь, выразить, а за это им и жить и помереть!

И не слыхал в своем-то кругу.

Обмозговать дьякону охота, — а где тут обмозгуешь? Опять новые люди, опять — смотри, слушай!

На месте соборников внизу примостился только что выбранный товарищами себе в начальники солдат. Зовут его все — господин офицер.

Офицер держит крепкой ладонью серебряный подстаканник с надписью: «От роты уважаемому товарищу».

В подстаканнике тонкий стакан баккара и ложечка. Офицер командует в гущу серых шинелей:

— Кротков, на следующей станции возьмите нам в окно две бутылки ситры. Безразлична ее стоимость. Кротков, себе вы возьмите одну четвертую часть, а прочим мы угощаем.

— Какая часть двух бутылок — одна четвертая?

— А кто ж ее знает, — как шмель, сонный бас.

— Вы, Кротков, должны знать, когда вы сознательный. Я вам толковал.

На остановке чья-то рука, должно быть Кроткова, подает две бутылки. Рыжий солдат при передаче легко подбрыкивает одну на ладони.

— Почитай, целую облегчил.

— Кротков-то сознательный.

— Кротков, идите сюда, чай будем пить! — Кротков медведем пробирается к чайнику. Щеки у него — два арбуза, усов еще нет, и ему все ровно.

— Кротков сюда, с нами рядом!

Офицер сжимается на своей корзине и далеко вперед выносит руку со стаканом баккара.

Офицер волнуется. Он знает, что за ним все следят. Дело его тонкое: и себя не уронить и новое революционное сознание между офицерами и нижним чином выявить: равноправие.

— Кротков, вы мне лейте воду, а я вам обратно лью чай!

Одновременно наливают друг другу.

— Кротков, через час времени вам пересадка! Дальше едете вы отдельно, на северо-на-восток. Захлестнитесь потуже: вспомните, я вас научил, что́ на северо-на-востоке?

— Известно что — Вятка. Домой в Вятку еду.

— Вятка есть ваша родина, а я вам доказывал по учебнику, что на северо-на-востоке обязательно холодней. Опасайтесь простуды.

Офицер и Кротков допивают чайник. Офицер бережно обворачивает тонкой тряпкой стакан баккара и прячет в корзину, доставая взамен старую карту России. Водит пальцем по карте.

Все склоняются, двое светят огарком, любопытствует дьякон, вытянув шею, а Кроткову все равно, и не склонился толстым лицом, так стоит.

— Вы скажете дома, Кротков, вы скажете... — голос у офицера крепнет, а сам он гордый, как на коне. — Вы скажете: «Я ехал через четыре республики — Украинскую, Польскую, Литовскую и, собственно говоря, нашу, именно — Великороссийскую...»

На большой станции, где, помирившись после крутого боя, враждебные стороны выпили все самовары и пассажиры, не раздобыв кипятку, страшно ругали и своих и чужих, офицер целовался с Кротковым и, выгружая его, вдогонку кричал:

— Захлестнитесь потуже, на северо-на-востоке обязательно холоднее! И республики упомните...

Не дошел в ответ бас Кроткова, и уж, верно, подернул плечом:

— И кто их упомнит...

А внизу еще новые: «Центрофлот» и почтенный георгиевский кавалер.

Щека у кавалера подвязана, на рукаве три нашивки, три, значит, раны.

— Щека эта — еще в тысяча девятьсот четырнадцатом году, вверху горы пуля въелась. Зажав рану, сел, извиняйте, на себе собственно вниз и съехал. Другой рукой штыком правил, что рулем. Сам вольно пошел. А в прежние войны еще два раза ранили, и все за нее, за Россию. А нонче-то, нонче, выходит, задаром!

И ничего другого кавалер не говорит. Подопрет крепче щеку, ломит кость к погоде, вздохнет: «Э-эх, все задаром!» А наискось матрос, круглое лицо, темное. Как повернет голову, сверкнет белками и золотом букв.

Спорит матрос с голосом верхней полки. Из-за чьих-то вещей явственно — голос, как диктант диктует.

У голоса выучка, и он с цифрами:

— Обманщики они или обмануты сами. Не встанут в Европе, вы только допустите...

Не допускает матрос:

— Все как надо, весь мир Россия спасет, весь зажжет! Читали: в Кельне... И допустить не хочу!..

Весь день матрос не допускает. Наутро побледнел, осунулся.

И ночь ведь всю спорил. Голос из-за вещей прочел вслух газету.

— Ну, сущие пустяки в Кельне-то!

И с новыми цифрами на матроса...

И к полудню отвечает матрос, глядя в окно на снега, уходящие к самому лесу, чтобы упасть на него белым мехом; говорит матрос будто не людям, а снежному пустырю, а этим верстам мелькающим:

— Ну, хотя бы и обман! За такой и за обман помереть не жалко. Бывало, баранами мерли...

А внизу кавалер тугоухий:

— Это вы верно, матрос! Мы за свое мерли в свое время, вам теперь за ваше. Если человек в полном чине, за что ни на есть, а сложить ему голову надо. Не то воши, воши живого съедят!

IV

Вернулся дьякон и провизию привез и все, как полагается.

И вот затосковал. Церковники те, офицер, солдат да матрос из ума не идут. Всех будто раньше видал, а вот, поди ж ты, — новые они дьякону люди.

Чем новые? А тем, что всем им до чего-то есть дело такое, хоть бы за это и помереть. А ему вот, Мардарию, ни до чего такого нет дела. Его, значит, воши съедят. Не умеет дьякон, не привык думать, зато с юности полно сердце волнений: от спелой нивы, от облачных в небе барашков, от белой змеистой дороги, по которой ходили, бывало, в Ордынок, от молитвы иной, от своего служения дьяконского — как препояшется орарем под нехитрое пенье всем миром молитвы господней...

И теперь чаще мнится Мардарию: не пустой он обряд совершает, а благодатно препоясался в путь, как посланец высшей воли, возвестить ее людям.

А какой воли и что именно возвестить — и не знает дьякон.

Но крепко вошло в него новое: найти надо, за что сложить можно душу, чем сан оправдать! Но и страх с этим новым: прилично ли ему, духовному лицу, иметь хотя бы мечтательное участие в общей революции?

Прилично ли даже желать в своем ведомстве перемен?

Летели дни, и наступили времена, когда сроки обыкновенных счислений уже так сгустились, что иной день человек проживал годы, а годы шли за столетие той медленной, неухабистой жизни, что прозывалась «культурной».

Как рыбе из моря на суше один конец — либо научиться дышать по-иному, либо пропасть, — так и человеку в эти годы: либо гони себя в рост на курьерских, либо оседай, иди плесенью...

И вот окончилась война, не стало фронта, пошло устроение домашнее.

Встрепенулся дьякон при «изъятии ценностей» и при слухах о новом церковном движении. А может быть, оно — вот то самое, что он ждет, не умея назвать, — оправдание сана в его чине ангельском?

Денно и нощно — в мечтах Мардарий: как бы ему да в столицу попасть? И вдруг перст судьбы: письмо оттуда. «Овдовел, бездетен, дьяконицу-сестру с мужем и с ребятами приглашаю — вместе легче продержимся».

Дьяконица брата любила и покорная, своей воли нет — Мардарий ей закон. А Мардарий одно:

— Перст это, перст!

И попали из своей Дубовой Луки да в столицу. Дьякон в тихом приходе устроился, не в центре, конечно, но и не совсем на окраине. Да беда: новый перст судьбы, на этот раз не обольщающий, а как бы «первое предупреждение» дальнейших бед. Шурин тиф прихватил, поболел и помер. Осталась квартирка, а половины доходов ищи! Спекуляцией шурин накручивал — валютчиком. А тут дьяконица родила. Самой кормить нету силы, а коровьему молоку здесь возможно поверить, когда сам

корову подоишь. В таком роде и было: первые месяцы дьякон дважды в неделю к чухонке за город ездил, бидоны возил, за них чухонке в обмен то лампу, то зеркало.

Проглотила к полугоду дьяконова пеленашка, почитай, всю обстановку, и, отдав за бидоны стол ломберный с зеленым верхом, дьякон решил перевести дитя на сгущенное. А за сгущенное — денежки. Да болеть пошли и дьяконица и ребята. Сразу — все без подметок, и дрова... топились, топились — ан нет больше дров!

Приход дьякона бедный, из «мертвой церкви», а тут «совместное выступление» и мода на живцов. Еще бы не мода! Один среди церкви служит, другой с органом, третий с женщиной вместо дьякона. Тот стихи Блока между ектеньями с телодвижением говорит. Еще на отлете и такая община завелась, что не то студента, не то курсисточку-медичку всем миром поставили да без образов, с одними лишь портретами русских классиков, всенощное бдение правят.

Взорвалась твердость прихода, вот-вот все рассыплется.

Дома Мардарию дьяконица душу мотает. К ней соседка Марфа Степановна с вычислением приходила: все проценты в сгущенном молоке совсем не молочные, а из чего-то, бог знает из чего. Без чухонки дитя пропадет. А чухонке дать что? Старшенькие — первая ступень — окончательно без башмаков. Дьяконица себе к летним туфлям пришила рукава старой шубы, не ноги у нее, а трубы самоварные, ночью только и выйти. Ну что, спрашивается, дьякону Мардарию делать? К пану Ступаковичу поступать?

Пан Ступакович давно, как бес, вокруг дьякона ходит, к себе, в кафе «Козерог», номера петь зовет. Губа не дура у пана Ступаковича, и расчет его без просчета: дьякона и дьячки отощали, голоса у многих не хуже, чем у вольных артистов, а по духовному положению своему возьмутся за дело сходнее. Особливо из «мертвых», так как мода сейчас на живцов.

Вот и пошел с дозором пан Ступакович по церквам, отмечает в блокноте хорошие голоса. Знакомится деликатно, и предложение выступать в номерах с частушкой, с характерной песней «Лапотник», словом, по сезону — с чем придется.

— Гонорар разовой, без заминки, одно условие — не опаздывать. Дело живое, проточное: посетитель, особливо подвыпивший, обожает быстроту и коловращение.

Голос у дьякона Мардария записал в блокнот Ступакович — tenore di grazia, а как при знакомстве узнал, что в селе с своей песней славился, — ну, как клещ.

Пан Ступакович не отстает, дьяконица с бидонами пристает, — как удержаться Мардарию?

— При моем сане зазорно, ряса на мне!

— Вы не в рясе будете петь, — говорит Ступакович. — Вы рясу в общей уборной на гвоздь повесите, а с чего ряса на гвозде спаскудится? Никак. Вы петь будете в самом наиладнейшем лапотном уборе, и заметьте себе: плисовые шаровары — досконально прежняя роскошь.

Дьякону отец вспоминается — строгий, с академическим значком. А Ступакович свое: гонорар наивысший, разовой, без заминки, один уговор — не опаздывать. Дело живое, проточное.

— Как, неужели и в субботу? Сейчас после всенощной, и грим положить не успеешь?

— Грим? Пустое дело, — сказал Ступакович, — зеркальце выньте да хоть себе в алтаре цветным карандашом тут, там.

Шапку нахлобучил, бородой в воротник, и — хотите на пару пива? — никому не узнать.

Дьякон Мардарий руками замахал:

— Такой грех в моем сане!

А пан Ступакович:

— Почему вам грех, когда у меня полный духовный ансамбль! И не какие-нибудь безработные, а сплошь живая и мертвая церковь. Теперь никто ветер себе в голову не впускает — совместительствует. А вы хотите состроить исключение?

— Сан духовный...

— Я же сана, боже храни, не отгнетаю. Сан вам остается для базы. А кафе «Козерог» — отхожий промысел. Ну, не коротко и не ясно?

— Сан для базы! Духовный мой сан?!

Не спал эту ночь Мардарий и, как дятел, одно: «Ехал сюда, чтобы свой сан оправдать. А сан-то... для базы».

V

Дьякон Мардарий в столице больше слыхал о том новом, что творилось в церковных кругах, но, как в Дубовой Луке, это все были злые сплетни, а сам он приблизиться к делу не мог.

Приход его был из «мертвых», и батюшка в проповедях норовил завернуть про последние дни и печать антихриста. Конечно, все это с указанием на далекое прошлое Византии и гонение императора-арианина.

Но преотлично все знали, где сия Византия и кто будет сей арианин. А управдом Сютников, между всем прочим и богоспец, он проведал всю платформу живцов: и кому будут давать красные митры, и кто замечен в «сокрытии ценностей», и сколь много вдовых попов с разрешения ВЦУ поженились.

Он же приносил живцовский «Журнал для всех» с подсчетом на полях, сколько раз упомянуто слово «эксплу-а-та-ция» и прочие советские митинговые слова, вместо прежних слов — божественных. А последний листок богоспец Сютников вырезал и наклеил на твердый картон.

Это было объявление о дешевой продаже плащаниц, подсвечников и хоругвей с плагиатным от Гостиного двора выкриком, вроде рекламы крест-накрест: «Все для церквей!» Сютников, злорадно хихикая, берег этот листок для каких-то иных времен.

А дьякону Мардарию одно любопытство: самому поглядеть, удостовериться, точно ли живцы антихристы?

Прочтя как-то раз о «совместном выступлении», все дела неотложно бросил, в партикулярный свой костюмчик оделся, волосы шарфиком обвязал. Хоть и модны «стрижи», а не всякому просто поднять руки на волосы. Молитва над ними.

Тайком ускользнул на заседание Мардарий — и в самую точку попал. Главный один доказывал, как именно вышел в церкви раскол.

Мардарий не отрывался от главного.

На эстраду перед несметным народом тот выбежал и стал говорить. Разве словами? Нет. Будто — чирк — подожжет, и взорвется ракета, и вокруг огнями цветно... А он им упасть не дает, еще и еще...

Сразу Мардарий не понял смысла слов, боялся понять. Все, о чем он сам при царе еще не то что подумывал — куды, не сумел бы...

А скорее все то, от чего и стыдно и больно бывало, — вот про все это проповедник, как по самой умной книжке.

А войну-то, войну как разделал! Пушки чугунные, неодушевленные орудия, говорит, святой водою окропляли, чтобы им без промаха бить людей. Про все это таким ураганом взметает вверх, в стороны руки, сверкают глаза, весь бледный, яростный...

— Божья гроза, — шепчет Мардарий, — божья гроза.

Как девушка, скромный дьякон вовлекся в вихрь проповедника и весь замер в одном: за что скажет, за то и помру.

А говорит проповедник слова: социализм, революция... примем гонение и смерть за новое религиозное сознание! Мардарию вспоминается, как тогда, в вагоне, он взволновался от всего, что видел, и как потушил в себе новый интерес, не зная, смеет ли он, духовное лицо, сопричтись революции. Теперь он видит, что смеет и как это надо.

— Кто принадлежит к прогрессивному духовенству, кто знает, что церкви нужен сдвиг, идите к нам!

Трепещет и стыдится Мардарий: неужто он сам и есть прогрессивное духовенство, — ведь двух слов связать не умеет.

И хоть слышит сзади, не понимает насмешливых возгласов:

— При царе войну бы и корили!

— Задним числом дешевле стоит...

А тот на эстраде рассказывал, как они, несколько человек, сделали церковный переворот и как теперь все в церкви по-новому: в одной любви Христовой и в строительстве праведном...

Как только этот проповедник кончил, Мардарий других и слушать не стал, побежал домой.

Скрипит чуть подмерзший снежок, белая улица, и вдруг радость от нее, как от белой дороги, когда с парнями ходили в Ордынок. Молодость воротилась и вознесла. Сейчас сказал бы тем, профессорам, соборным, и кавалеру, и флотскому: «Я вам родня. Я, дьякон Мардарий из Дубовой Луки, тоже знаю, за что собственно мне помереть. А за новую, за живую церковь!»

Тихо пробрался в свой коридор дьякон Мардарий, тихо отпер ключом. Не раздеваясь, взял со стола ножницы и, сияя детскими веселыми глазами, отрезал целиком свою забранную в кулак косицу.

Дьяконица проснулась. Замученная, безброво и тупо смотрела на мужа. Потом она глянула вниз на половицу. На половице, свернувшись кольцом, как змея, чернела густая дьяконова волна.

— Остриг...

И, как по каменным, по ее серым щекам съехали вниз две слезы.

VI

Решающие наступили для Мардария дни. Не в словах указать — оживлять жизнь делами, «новым религиозным сознанием», вместе с ним, с проповедником. Из-за этого с дьяконицей своей голодает.

Что ж ему, как начать? Попроситься в прогрессивное духовенство?

А какой он работник? Косноязычен он и немудрящ.

Вот если б, для примера, за что помереть надо бы, это он может.

Детей люди добрые не оставят...

А духовенству, как и всем, надо правду свою выразить: из-за чего собственно оно, духовенство-то, есть именно особое ведомство?

И мечтается дьякону: в обиде тот проповедник, что ему душу пронзил, готовится к ссылке, и на все его дело — гонение. А он, дьякон Мардарий, в ноги ему: пострадать хочу с вами за все собственно, о чем вы давеча с кафедры!..

Революция в России: кто умер, а кто узнал, за что ему умереть стоило бы. Ну, а кто и сейчас не узнал — того воши, воши съедят.

Узнал дьякон Мардарий: ему за живую церковь.

На другой день ввечеру пошел Мардарий к управдому Сютникову деликатно выспросить, как и что ему сделать, чтобы вдруг запринадлежать к прогрессивному духовенству, да обиняком допытать, как это в живцы вписываются.

А управдом, он же и богоспец, Сютников его вдруг, как медведя охотник, — по черепу — наповал:

— Живцы твои, дьякон, живцы каковы! — И нумерочком газеты меркает. — Гляди-ка в столбец. — Глазам дьякон не верит. — Отбирать у духовных лиц подписку о признании ВЦУ. А тех, братец, что заартачатся, вон из прихода, за пределы епархий. По старинке им нравится, и тут видать: щука съедена, а зубы-то, зубы остались. Хе-хе... за преде-лы!

Пришел дьякон домой, не спросил ничего, что хотел. Дома узнали, — всполошенный дьячок прибегал, — завтра утром церковный совет у батюшки на дому.

— Уж ты не прекословь живцам-то, — ноет дьяконица, — с ними не шутки. Отца Павла прихода лишили, а благочинный от Троицы сам «покраснел», с амвона грозил, коли кто не подпишется.

Кричит пеленашка, у нее режутся зубы, и рожок со сгущенным молоком она злобно толкает крепкими кулачками. Наливается красная, выпинаясь замотанным телом, как рассерженный рак.

Марфа Степановна просунула в дверь ядовитую свою голову в холодной завивке и прошипела:

— Успокойте ребенка!

— Снесу ее к доктору, —прошелестела дьяконица белыми губами, встала, пошатываясь от бессонных ночей. Двух старшеньких только что свезла в скарлатине в больницу.

Сидит один дьякон, топит времянку. Дымит она. Дым глаза ест. От него, что ли, плачут глаза. Темен умом дьякон, а сердце простору просит. Ну ради чего революция? И собственно для духовного ведомства? Прочие ведомства все узнали, ради чего стоит жить и помереть. Ну, а духовенство? Ужели ради власти? И к кому пойти Мардарию, когда он и слова не знает и про свою православную веру, как в семинарии учил, чисто все позабыл. Одно помнит: образа на стене монастырской — «взыграше младенец во чреве» и бревно в глазу осудителя. Да, вот еще недавно узнал: пока жив, найти каждому надо, за что именно ему помереть. Найдешь — в полный чин вступишь, оправдан и сан. А пан Ступакович-то? Сан — для базы. Да неужто и весь тут ответ? А Ступакович легок на помине, стучится. Его стук дробинками бьет, а голос с игрой:

— Ваше преждеосвященство дома?

Молча дьякон впустил.

— Ой, и дымно у вас, — говорит пан Ступакович, — совершенные облака! А топить настоящую печь нету дров? Что? Ведь дровец-то в обрез?

— Мешками берем.

— Срам дрова брать мешками, ведь это не восемнадцатый год, это ведь, слава богу, нэп! А при нэпе одни бездельники не устраиваются. Ну, хотите, завтра же березовых? В счет гонорара. Прямо с вокзала два воза: один мне, другой вам. И чухоночку пришлю — честнейшая; если что подливает, так одну только невскую воду. Затушите ваш огонь и пойдемте. Ну?

— Обмозговать надо...

— Ну, за парой пива обмозгуете. Ставлю. За сегодняшнее разовое выступление — неподдельную красную столимонку. А дрова это в счет; подмахнете контракт на сезон — и топите себе на здоровье! Гарантирую: как бездымный порох, без дыму, сразу жарища. Грим вам для первого раза я сам наведу, а уж вы завтра карандашики и футлярчик в тайный карманчик.

Зеркальце вынул, тут штрихнул, там штрихнул — красавец мужчина!

Дьякон ходил по комнате, трещал молча пальцами. Постучали в дверь. Дьяконица.

— Ну? — спросил дьякон.

Дьяконица с трудом подняла бессонные глаза и сказала, кладя на постель пеленашку:

— Скарлатина. В тепле держать надо.

— Тепло — первое дело, — подхватил Ступакович, — первое дело: тепло и легкий питательный стол.

— А тех в больнице на свое молоко перевели.

Голос у дьяконицы шел издалека, будто не она говорила, а в нее, как в трубу, шел откуда-то звук.

— Ну, пойдем! — сказал Мардарий пану Ступаковичу.

VII

Дьякон Мардарий, с подведенными углем глазами, отчего они словно кому-то фривольно подмигивали, с пятном румян на щеках, сидел в комнатушке за открытой сценой, за столиком, против пана Ступаковича. И, как

давно ему не случалось, он глушил одну за одной настоящую прежнюю водку.

Он одет был для выхода в лапти и в онучи, перевитые черной тесьмой, и в рубаху с красными ластовицами, чтобы петь номера.

Пан Ступакович щедро подбадривал из бутылочки. Выпил и сам. И вдруг стал невеселый.

— Моя панна Ванда вон из города в Павловск, и из-за чего? Из-за подлой книжонки. Слыхали, психоанализ Фрейда?

— Нет, — сказал дьякон, — я ученых книг читать не могу.

— Зачем она ученая? Никак. Эта книга паскудней шпика-подлюки. Это такая книга... она вас укусывает, как собака, когда вы совершенно не ждете. Подумайте, жена меня так себе, с лаской спрашивает: «Ну, что вы, мой кохане, какие мечтания в снах имеете? Имеете вы мечтания об озере, будто в лодке плывете, а кругом цветы?» Ну, скажите, может ударить вам в голову, что это же вовсе не озеро, а мышеловка, куда мышку хлоп — и пожалуйте! Ну, и мне не пришло. «Как же, говорю, моя кохана, бывает, и озеро мне мечтается в сонной мечте, но чаще, откроюсь я вам, по прежней моей канцелярской работе, что убираю в шуфлятке или в ящиках роюсь...» Вдруг жену, прошу пана, как скарпий ужалил. Позеленела и с кулаками кричит: «Ваши сонные мечтания обличают наяву самые с вашей стороны последние похабности! И с кем вы их поважаете делать, я помру, а дознаюсь!» И вон тогда из дома. А дом-то ее... И ведь это она не с своей головы, а с напечатанной книги: психоанализ Фрейда. И такой этот советский толкователь снов, чтоб ему...

Прозвонил колокольчик. В маленькую дверь глянул такой же, как дьякон, «лапотник» и сказал:

— Ваш выход!

Пан Ступакович с лаской взял дьякона под руку, прошептал:

— Вы не считайте за урон гонору, что сегодня не высший духовный ансамбль! К той неделе подравняю вам сплошь дьяконов. Хотите «живых», хотите «мертвых».

На спевке Мардарий узнал своих партнеров — трех многосемейных дьячков из недальних приходов, и дьячки узнали Мардария.

Но все поздоровались как незнакомые, когда пан Ступакович представил их друг другу под чужими фамилиями.

— Первым номером сезона — «Яблочко». Публика обожает. Ну, адье — жирофле! — Подвыпивший пан Ступакович сделал ручкой.

Через минуту все четверо «лапотников» стояли на открытой сцене, и дьякон Мардарий — запевала, — выворачивая пятки, ерепенясь, с уханием выводил:

Эх, яблочко да покатилося,
Генуэц-конференц да провалилася!

1924

БЕЗ СИГАРЫ

I

«Я хожу без брук, без пинджака, не оставьте, дорогой товарищ, хоть какими-нибудь бруками, я буду от души рад вашей лептой. Известный вам Кобелев».

В прошлый запой Кобелев просил «головное убранство», и Клест дал ему гейдельбергский берет со стебельком из макушки, — но брюки?

Брюки у Клеста одни. И брюки ли?

Сшил их не портной, не портниха, а Сашка Перевертон — человек неизвестного прошлого. Он приспособился перевертывать из одного «что угодно» в другое «что угодно». Клесту джутовую клетчатую попону — в галифе.

— Оно бы соответственней в юбку! — И Перевертон, не освободясь от женского вида материи, так припустил в талии, что Клест обиделся:

— Не собираюсь быть в положении.

— И мужчине доступно законно пузеть, — сказал Перевертон. — Было время — пузели от чина, сейчас — натуральней от голода. Чуть опухнете — прибавка в экветоре.

И типун ему на язык — напророчил!

Клест опух и заполнил собою все брюки, как раз в тот день, когда Кобелев, судя по записке, остался без брюк.

У Клеста знакомство с Кобелевым еще с тех дней, когда он бечевкой вязал свой пайковый табак и, увешанный им, как грек губками, шел на рынок.

Клест стоял между бабами с бакалеей. Селедки, мыло и спички — товар-мелочь, но требует зазывания, родит свару и шум. Здесь недвижный человек в яркоклетчатом галифе, как маяк в бурном море, — приятен. Покупатель повертит осьмушку, подбросит на ладони, понюхает, сойдется в цене — Клест отцепит. Не сойдется — все так же без слов укроет товар свой ладонью — не тронь! Махорка легко превращалась в «продукты питания», а чего не хватало, на то Клест дорабатывал своими сонетами и терцинами, которые писал он по старинной манере об одних наслаждениях за гробом.

Один фрондирующий редактор, от школьной скамьи памятуя: «Суровый Дант не презирал сонета», противопоставлял эту форму стихов существующей власти и хоть по обстоятельствам, от него не зависящим, не печатал, но копил материал в своей папке. А платил он «на глаз», что́ хоть было немного, но все-таки было. Сейчас доходы все рухнули. Стоять на рынке с махоркой, как раньше, — нельзя.

Ни самодельных сапог, ни рукавиц из обмоток. Клетчатые клестовы галифе и мягкая шляпа, когда-то gros bleu, сохранявшая ему вид поэта, — сейчас просто срам.

И то сказать, на этой ведь шляпе, как на мягчайшем предмете, положенном на пальто, Клест давно уже спит, съев подушку. Что же до сонетов... никто не печатает. Того редактора посадили, а из одной редакции, красной, вернули с припиской:

«Настоящая брошюра безусловно является лишним балластом в общей гармонии пролетарского творчества, пережевывая старое, отгнившее, и появлением в свет, безусловно, не нуждается».

Однако какая превратность! Сейчас, когда в магазинах явилось решительно все, что бывало раньше, единственно кроме бананов, — поэт Клест голодал, как собака. Он, не пухнувший в голоднейшем восемнадцатом, распух в году нэпа двадцать втором. Но поэт Клест без уныния. Он подвержен уносящим из жизни мечтам и влюблен... и влюблен беспрерывно.

Правда, и тут нелады: свой нежнейший предмет, некую Катю Грамматикати, он то и дело зовет разными

женскими именами, ничуть не похожими на имя ее. Клест погружен с головой в поэзию всех времен, всех народов. Так-то оно так, но у Кати Грамматикати ведь тоже свой нрав.

Ее мечты Клеста обижают сильней, чем обидело бы имя соперницы.

Сегодня утром Клест ей сказал:

— Сейчас светит солнце, и, милая Лотта, вас верный Вертер зовет в Летний сад.

— Как вы опустились, до школьного плагиата! — И гневная Катя, по убеждениям ницшеанка, метнулась бешено взором по комнате, проскочила с разбегу глазами в окно, в застывшую маску, подпиравшую теменем и руками верхний этаж. И крикнула Клесту:

— Вы... кариатида! Вон, вон...

Поэт Клест схватился за сердце и стал делать движения ртом, как глубоководная рыба, у которой на суше выпадает пузырь. Потом он кинулся вниз по лестнице, по тротуарам, переулкам и в третий двор и такой же этаж, к рослой Вере Лимонкиной, которая — знал он — Брунгильда. Но, боясь профанировать это знание, Клест звал Веру проще, по Ибсену:

— Вы поймете... одна, Гедда Габлер!

— Но я Вера Лимонкина. — И сверкание голубых глаз, как за минуту сверкнули те, черные.

Вдруг захлопнулась мышеловка. Раздался жалобный писк.

— Мышь! — вскрикнул Клест. И, прижав опять руки к сердцу, с заострившимся профилем, в своих галифе, он встал, как трагик:

— Пустите мышь... на свободу!

Вера Лимонкина мощно, не женской рукой, выбрала мышь из мышеловки и бросила в форточку на голову проходящим. А Клесту сказала:

— В «Петербурге» Белого уже некто Дудкин бледнеет от мыши. Мне вас не надо, в вас нет первотворчества!

Поэт Клест опять летел вниз по лестнице, в переулки, в дверь, в свою темную, от сырости мозглую комнату.

II

Всю ночь Клест писал два сонета о двух поражениях. В перерывах искания рифмы поэт Клест глупо ходил из угла в угол по комнате, как влюбленный паук, забывший, как ему ткать паутину.

Он жил в общежитии с коридорной системой, где в номерах развелись сплошь прозаики и поэты. Когда рифма не шла, Клест ловил коридорные шумы.

Вот в четыре утра «в четыре шага» стучит к себе поэт Яблонный. Он высокого роста, идет широко. В его мужской шаг, не однажды воспетый им собственной лирой, как прочее все свое, дважды вызванивают мелкий шажок каблучки его дамы.

Отсюда ядовитый Вас Васыч пустил свое меткое слово:

— В четыре утра в четыре шага ходит Яблонный.

И поздравляли наутро с уловом.

За другой стеной у Клеста старушка, жена знаменитости. Под ночной бесконтрольностью, вставив штепсель, старушка нарушает декрет. Разведя запрещенную плитку, она буржуазно эксплуатирует электричество.

В шесть утра из щелей от старушки в щели клестовой двери зазмеились вкуснейшие запахи. Клест не выдержал, встал, краснея, стучит:

— Прошу взаймы хлеба!

Старушка в испуге сняла с плитки кастрюлю, накрыла плитку скатертью, положила на скатерть альбом, на альбом группу рабоче-крестьянского правительства и лишь тогда, переменив собственный тонкий голос на бас, сказала в дверь сама про себя:

— Моей сестры, Дарьи Ивановны, нету дома!

Поэт Яблонный на стук Клеста приоткрыл дверь рукой, голою по плечо. От рубашки у него остался один воротник, а все прочее на день скрывалось толстовкой. Поэт Яблонный отдал Клесту свое сбереженье от барышни — один мятный пряник.

Клест схватил у себя с книжной полки двадцать второе издание «Подарок молодым хозяйкам» Елены Молоховец и часа два предавался кулинарному блуду.

Он ел вперемежку: пельмени по-сибирски, бабу тюлевую, бабу для приятелей, каштаны протертые, утку

с рыжиком, борщ по-малороссийски — в-четвертых, и просто борщ, в-пятых...

Пробило восемь. Желудочный сок, познав провокацию, не встречая работы, вдруг загрыз, как бульдог, желудок поэта.

Клест не выдержал — кинулся вон, хоть на улицу!

Клест шел, пока ноги несли. На паперти большой церкви, что против вокзала, он в изнеможении присел.

Торговки кричали: «Пирожки по-филипповски»... Носильщики у вокзала опять в белом фартуке, опять, как бывало, ждут хорошего пассажира.

Обученный одним оккультистом могуществу воли, Клест собрал свои мысли на конце безболезненном и приятном. Он посадил себя в теплую ванну, приказал рабу вскрыть себе вены и стал медленно умирать.

Но и предсмертные радости Клеста были прерваны резким криком Вас Васыча:

— Отрости у меня хвост, если вы, Клест, не голодны как собака!

Вас Васыч в покупках. Он ехал в село... ныне Детское, и не в Павловск, а в Слуцк.

— Клест, мужайтесь! Я вам дарю знаменитый обед!

Вас Васыч взял в зубы то, что было в руках, порылся в блокноте, вырвал страницу. Ее он дал Клесту: «Идите в шесть вечера — Антонина Евгеньевна Вяткина, зубной врач».

Поэт Клест приказал рабу зажать вены, вылез из теплой воды и спросил, держа в пальцах бумажку:

— Что мне с этим делать?

— Обедать. По-старому: водка, закуска, сиг свежий, ликер и сигара. Звали меня, а сходите вы. Смотрите, не роняйте престиж! У вас десять томов увлекательной прозы! Дает право цедить вам сквозь зубы. Непристойностей ни-ка-ких... Но водку вы загадочно отольете в заготовленный пузырек. Измышляйте, держите пари, интригуйте, целуйтесь, — но чтоб водка была отлита. Да смотрите, не выпейте. Сиг, сигара и прочее вам, комиссионные мне — водка.

— Как же мне вместо вас? Вы и ростом побольше.

— Вздор, войдите на цыпочках. Здесь важен не рост, а писатель. Ну, мне некогда!

Сунув Клесту записку, Вас Васыч пустился бегом.

Клест понюхал записку — духи. Бумага слоновая, толстая. На последней строчке обрыв, но прочесть можно конец: «...а после обеда сигара». Слово «сигара» кокетливо, будто грассируя, было поставлено так: си-га-ра!

Подпись тоже с игрой: «Кухарка за повара, восхищенная вашими книгами Антонина Вяткина».

III

Антонина Евгеньевна Вяткина гордилась своим выпуском.

Мы, врачи-дантисты нормального времени, должны держать головы нынешним, ненормальным...

И она держала: была еще не стара, быстроглаза. Сумела сохранить приемную с кожаными креслами, инструментами и огромным запасом разноцветных пломб. Теперь ей хотелось одно: выйти замуж. При своей очень хорошей практике она боялась прочного мужа: кто его знает какой, женихи все хороши! И советский брак соблазнял своей легкостью расторжения. Отчего не попробовать?

У Антонины Вяткиной греза... с писателем!

Под действием бормашины эта мужская разновидность была ею меньше изучена, чем все прочие.

Запускал ли писатель зубы по неряшеству или просто был беден, для Антонины резон здесь один: писатель во враче-женщине нормального времени, конечно, видит «Прекрасную Даму» и потому ходит лечиться к мужчине.

Впрочем, не поэты — прозаики были отмечены Антониной. Она говорила подруге Коточке:

— Прозаик гораздо глубже и непременно с общественной складкой, а у поэтов чаще одна складка, — и обе смеялись, — панталонная.

Антонине Евгеньевне нравились книги Вас Васыча. В них основой взята была сказка; но, трепеща от социальной неправды, Вас Васыч умел в сказке вскрыть истину. В машинистке из плохо проветренных помещений, в скромной швейке с вывеской «принимаю», у него была всегда одна лишь — бессменная Золушка. И он сам, автор, или лично, или через героя непременно в конце на описанной девушке женится. Но советский

Вас Васыч, по справкам Антонины, был еще не женат ни церковно, ни с комиссаром.

Антонина ходила на чтение Вас Васыча. Высокий, нахмуренный, несомненный обладатель неразделенных страданий, он ей нравился, и она написала ему, как Татьяна Онегину, но в чертах бытовых. Если он в швейке умеет видеть Золушку, тем больше Татьяну во враче-дантисте нормального времени.

Ведь у нынешних нет романтизма.

Антонина Вяткина из духовной среды трудно выбилась, знала прозу жизни, и так ей хотелось, чтобы сделалось вдруг все не то: и она — не она, а как в греческой мифологии. Но превращение не должно было касаться ни подъемного кресла, ни разноцветных пломб, превращение — в иных комнатах.

Если б людям был дан сказочный дар видеть все как оно есть — лучшего дополнения, чем поэт Клест, Антонине Вяткиной и не надо бы. Что из того, что она в белом фартуке, как заплечных дел мастерица, с десяти до пяти в своем месте пыток. Сердце и рука у нее нежные, здоровый ум, простая душа — словом, все то, что так жадно искал бедный Клест, путая женские имена.

Ну что же, они встретились. Но как они встретились?

IV

Подруга Антонины Вяткиной, Коточка, поставила в будуаре на маленький столик темную бутылку бенедиктина, три рюмочки и сказала в соседнюю столовую:

— А сигары ты, Тонечка, предложишь сама, когда мы, пообедав, сюда перейдем.

— Так ты думаешь, он здесь и закурит сигару? Знаешь, говорят, что во французских романах автор никогда не забудет сказать, что́ в мужчинах его героиню особенно porte sur la peau.[1] Этого и с диксионером перевести невозможно, но мне объяснили: оно будто бежит по спине...

— Как муравей? — спросила Коточка. Она была толстенькая и очень покойна.

---

[1] Возбуждает *(франц.)*.

— Ах, нет, это внутреннее! А за этим сейчас же любовь! У меня «бежит по спине» от сигары. Если в разговоре двумя пальцами, в угол рта... так изящно, так по-мужски. Клубы дыма, и он говорит... Он зовет меня Изабелла!

— Этого я не понимаю, — сказала Коточка, — мне нравится, чтобы меня звали как меня зовут.

Но Антонина Вяткина упорно хотела как раз того, что поэт Клест с двумя другими так неудачно проделал не далее как вчера.

— Ах, нет, — это мое лучшее: Иза-белла! Однако он запоздал. Писатель, написавший десять томов, будет со мной обедать и пить ликер. А что, если я ему показалась нескромной? Ведь я напомнила в письме миф Платона, я привела эти строки... — Антонина обняла Коточку и сказала:

Я верю, человек — тот плод,
Который бог, разрезав, бросил в мир;
Чтоб счастлив быть он мог,
Он должен на пути своем неясном
Найти другую часть свою;
Но случай безучастно
Его ведет на жизненном пути;
Друг друга редко им приходится найти,
А если б встретились — они б любили!

Раздался робкий звонок. Антонина Вяткина вспыхнула.

V

— Здесь гражданка Вяткина, зубной... врач? — спросил с заминкой голос, и поэт Клест вошел.

За весь день он съел один мятный пряник. У него в глазах прыгало все, и дрожали колени. Он боялся уронить свой престиж, престиж писателя-прозаика, написавшего десять томов. Пузырек, взятый для водки, он вытащил из пальто, переложив в карман клетчатых брюк. Еще полон вчерашней обидой с заменой имен, он сейчас хотел быть сознательным реалистом и по дороге твердил:

— Зубной врач Вяткина, надо сыпать почаще «гражданка», говорить из газет... вообще злободневно.

— Очень рад, — против обыкновения не целуя руки, он пожал ее Вяткиной, как товарищу. — Уважаю вашу

профессию. In corpore sano mens sana.[1] Порченые зубы — одна из причин всеобщего заболевания... Я в своем одиннадцатом томе прозы собираюсь прославить врача-дантистку как оздоровление революционного человечества... В моем томе пятом...

— Но, позвольте, у вас нету прозы, вы — поэт Клест! — вскрикнула Коточка. — И мы обе вас видели на эстраде.

— Клест внезапно умер, — почти теряя сознание, сказал Клест, — я прозаик Вас Васыч... Я пришел по письму к вам обедать.

— Но я Букина знаю,— пришла в себя Антонина, — он выше ростом и совершенно другой.

— Рост в нашем деле имеет малое значение. В нашем деле важен вымысел. Я докажу вам позднее... за сигарой.

— За сигарой? — Антонина удивилась.

— Да, в вашем письме обещаны: бенедиктин и сигара, и премилая подпись — «Кухарка за повара».

«Что я мелю, — оборвал себя Клест. — Вас Васыч просил: непристойностей никаких, — вдруг «кухарка за повара» — непристойность? При ней подруга... О писателях так плохо думают...» — как комары в летний зной, «толкут мак» — черные точки в глазах у Клеста.

— Ну, простите меня, простите как врач, как дантистка, — сказал он жалобно, — ведь я непристойностей не хотел — это ваши слова из письма к Вас Васычу...

— Он дал вам письмо? — И Антонина — как зарево.

А Клест знает одно: если сейчас не дадут обеда, — он упадет.

Из последних сил улыбнувшись загадочно, Клест сказал:

— Извините, но раньше бенедиктина и сигары я вам тайны своей не открою. От вас зависит ускорить этот миг. Букин обедать не может, а я могу, и я обедать хочу.

«Какой прозаичный», — подумала Антонина и брезгливо сказала:

— Что ж, если хотите, — обедайте.

Сели за стол. Клест выпил водку, съел суп, съел жаркое, съел весь хлеб на столе —все безмолвно. Когда он

---

[1] В здоровом теле — здоровый дух *(лат.)*.

насытился, ему стало приятно, тепло, и захотелось прилечь. Но он вспомнил, что надо быть писателем, надо блеснуть вымыслом. Он искал, как спасти остроумнее Вас Васыча и себя, но в прозе выдумать он не умел. Шли стихи.

Еще заботил приказ Вас Васыча: в пузырек отлить водку. Но забота была тяжела.

«Ничего, напьюсь хорошенько, — утешал себя Клест, — за бенедиктином стану делать магнетические пассы и уж чего ни на есть — отолью!»

Антонина встала, будто бы по хозяйству. Коточка злобно следила за Клестом.

Антонина через площадку пошла к знакомым соседям-технологам и сказала:

— К нам пришел незваный гость, страшно ест и все молчит. Кажется, он поэт Клест, но я боюсь: вдруг он налетчик. Он пришел вместо Букина.

— Мы исследуем!

— Если с выпивкой, так в два счета...

— Есть бенедиктин, — сказала Антонина.

И два здоровых технолога, войдя вслед за нею в столовую, сели по обе стороны Клеста.

Прозвонил звонок. Пришла старая тетушка Антонины. В передней Коточка рассказала тетушке в чем дело, принесла Антонине рюмку с валерьяном. У Антонины вот-вот истерика.

— Пусть уйдет этот урод! — топала ножкой Антонина. — Пусть уйдет!

— Ах, по мечтам жить опасно, — учила тетушка, — в наше время зря в дом не звали. Узнают родители, выспросят у прислуги, перехватят письма — прочтут: человек на ладони. А ты? На эстраде увидела — и сейчас на обед! Да любой налетчик может встать на эстраду да прочесть, если грамотный. Эка невидаль! Впрочем, предоставь мне, я спроважу.

. . . .

Коточка провела всех в будуар. На диване технологи опять, как архангелы, сели у Клеста по правую и по левую руку. Впрочем, пили дружно. Электричество почему-то не зажгли. За спиной Клеста в большом окошке — луна. Под серебряным ее светом волосы Клеста сияли.

Из столовой вошли подруги. Коточка щелкнула выключатель. Опьяневший Клест глянул восторженно на

Антонину. И вмиг забыл про недавнее свое поражение. Антонина, с своими яркими глазами, тонким станом, в нем вдруг вызвала новый образ. Он презрел грубое поручение Букина, которое собрался было выполнить, встал, протянул к Антонине руки с зажатым, все еще пустым, пузырьком и сказал:

— Вы гурия, гурия Магометова сада!

Антонина вздрогнула. И вдруг ей как молния просветила за скудной житейской оценкой: пусть не Букин, все равно, — это он тот, желанный...

Но для догадок было поздно. Тетушка, оттопырив сжатыми кулаками карманы своей вязаной кофты, наступала на Клеста:

— Кто такой! Пришел незваный-непрошенный, себе позволяет сплошные татарские комплименты!

Технологи шепнулись, взяли Клеста под руки.

У Клеста все спуталось в голове: он вообразил, что его ведут в милицию за то, что он хотел отлить в пузырек. Он забожился, что еще не отлил ни водки, ни бенедиктина, хотя не отпирается: он, конечно, обещал Вас Высычу за обед.

— Букин — спекулянт! — визганула Коточка.

— Прошу взять обратно, — профессионально обиделся Клест, — прошу обратно. Вас Васыч бла-ароднейший че-к, Вас Васыч был сыт, а я как... с-собака... с Еленой Молоховец. Извольте-ка, пузырек мне жюска ла горж! И, как честная девушка... си-гару!.. Обещано.

— А без сигары не хочешь-ка вон? — и тетушка простерла к дверям свою старую, гневом дрожащую руку.

Технологи повлекли Клеста.

— Минутку, товарищи, un moment! — сказал Клест. — Без сигары... ну хорошо! Но я только скажу вам, что значит для поэта курить на диване, рядом с гурией. Вот стихи:

Для мудрого не может быть вопроса,
Что между самых ласковых минут,
Которые дано нам ведать тут,
Одна из самых нежных — па-пи-ро-са!

Антонина Вяткина, вы — не дантистка, вы — гурия!

Тетушка вынула из карманов вязаной кофточки два сухоньких кулачка и погрозила обоими.

Технологи нахлобучили Клесту шапку и свели вниз по лестнице.

На улице все трое зашли в «Уютный уголок» и пили брудершафт до утра. Клест забыл собственный адрес и, вынув из кармана письмо Кобелева, дал приказ технологам вести себя по его адресу.

Антонина Вяткина до утра сидела на диване перед пустой бутылкой бенедиктина и в слезах от сердечных мук, кусая подушку, шептала:

— Это — он, это — он. Он сказал мне: Изабелла!

Девчонка, убиравшая комнаты, в девятом часу постучала ей в дверь:

— Зубных больных пятеро.

Антонина прошла в кабинет.

Когда, далеко за полдень, Клест проснулся, Кобелева след простыл. Мишка, лохматый мальчик, черный как черт, дул в буржуйку.

— Мишка! — сказал Клест. — Где, братец ты мой, мои брюки?

— Еще чего захотел? — сказал дерзко Мишка. — А кто ночью кричал: «Я нонче в раю и не нуждаюсь брюками»? С тятькой и пропили. Я ж и носил. Спасибо, карманы огреб: папиросницу потерял, а бумаги, чай, здесь!

Мишка высыпал перед Клестом из шапки. От записки Вяткиной еще пахло духами и кокетливо завитками дразнили слова: бенедиктин и си-га-ра!

1925

СОВМЕСТИТЕЛЬ

— Ой, напьюсь я, Иван Пантелеич, напьюсь, да и в реку...

— Брось, Опенкин, интеллигентный подход. Оздоровишь свой состав, все дело иначе увидишь, — сказал с весом Иван Пантелеич. — Время-то нонче какое? Бывало: чему раз научился — как дятел клювом, всю жизнь и долби. А сейчас тебе выборов — всесоюзный масштаб. Правда, доходы не те, зато уваженья, Опенкин, прибавилось. Самому наркому я калош не подам, и хоть с кем говорю — он мне принципом в глаз, я ему принципом в глаз. Опять-таки заседанья жилтоварищества: пусть я нонче технический персонал, а не швейцар в ливрее, однако в порядке дня слово имею. Недалеко ходить — на вчерашнем собрании: хоть у нас и квалифицированные, говорю, граждане, а сознательного отношения к уборной нет! Раз я пошел — сидит. Чайку испил, двукратно пошел — сидит. Щадя, говорю, честь этого гражданина, фамилием его оглашать не желаю, однако предлагаю в протокол, что у нас есть в наличности ненормальный подход к уборной. Посмеялись. А между всем прочим плакат у нас нонче вывешен, как у телефонного аппарата: «Не долее пяти минут!»

— Из уваженья шубы не сшить, — сказал тускло Опенкин. — Вам хорошо: и при нонешней жизни досталось на стуле сидеть, а вот моя действительность без частной торговли — истинно «квас без игры»! Блевать я хочу на такую жизнь. Словом, кооперация меня удушает, и вполне я отчаялся.

Опенкин сделал усилие вырваться из могучих тисков Ивана Пантелеича, взявшего его под руку, и свернуть в пивную, но Иван Пантелеич еще крепче прижал его к своей мощной фигуре и, торжествуя свое превосходство над ним, возгласил:

— Не в пивную, Опенкин, а как древнеримские греки — на ста-ди-он!

— Люди без штанов бегают, а мне смотреть? Да у нас таким вслед плюются...

— Провинция! Своего глазу нет — из чужого погляди, может что и высмотришь... У меня, Опенкин, от всех этих войн и внезапностей мозоль на душе и глаз вполне стал бесчувственный. Самый справедливый стал глаз, что в европейском масштабе, что в происшествиях дня! Намедни вот случай вышел, ну прямо в твой огород... И, как довольно мне на совести и одного «загадочного трупа под Иверской», не успокоюсь, Опенкин, пока не погружу тебя в новую Ердань — стадион. На этом стадионе, брат, от всех союзов граждане бегают, а мне от наших пищников и тут уваженье и честь: досмотрите, Иван Пантелеич, чтобы там без фальши, не возьмут ли первенство наши именно члены?

— А чем именно труп этот вам, Иван Пантелеич, загадочный? — оживился Опенкин.

— Да, сказать, ничем именно: мужской труп, все на месте. Газетчикам заработать надо. Сила в том, что я этот труп лично знавал. — Оглянувшись на пешеходов, Иван Пантелеич понизил голос. — Ну и знавал: Рубакин, Пал Палыч. От мечтанья помер. На груди моей признанье сделал, слезами исшел. Эх, горе его! Дело-то было зимою, — ни скачек, ни стадионов, чем бы думки его перебить. Ну и пошел он — по твоему вот конспекту — вином заливать. Месяца два протянул и кричит: «Возьму под Иверской-матушкой и помру, коли чуда со мной не свершит». Ну и помер — написали: «загадочный». Да мне эту загадку одним словом раскрыть, — а я молчу. Вглубь предмета люблю входить, а войдя, вижу: мертвый человек — определенно со счетов долой! Знаю даже, что именно морфием отравился, но волокиты иметь не хочу.

— Отчего он убил себя, Иван Пантелеич?

— Единственно от мечты. Расскажу тебе это дело,

Опенкин, чтобы сам ты подобное бросил. Предмет, заметь, безразличен. Тебе торговое — нежинский огурец, покойному — женское белое платье с лиловым бобом. Только один уговор: айда на трамвай и за город!

— Воля ваша, — сказал Опенкин, покорствуя железной деснице приятеля, тянувшего вдоль по бульварам, — везите куда хотите!

Сели. Помчался трамвай, грохоча больше, чем в городе, и понес без конца по предместьям. Иван Пантелеич склонил крупный свой нос и бритые синие щеки к Опенкину:

— Вот теперь и послушай, сколь вредно мечтанье. Горемычного Рубакина еще в военное прежнее время пронзила любовью дамочка в белом вышеуказанном платье с лиловым бобом. Романс ему спела ночью, а ему из краткосрочного отпуска наутро на войну. «Полюбите меня, говорит Рубакин дамочке, хоть на одну эту ночь. Умирать я иду, молодому существу моему будет увечье, так чтобы именно было что вспомянуть». Дамочка отказала. Взяла обида Рубакина, вынул левольвер и все дыхательные пути себе прострелил. Залечили. Женщину ту потерял он из виду в дни революции и в голодные, а сам, между прочим, хоть с кашлем, а саботажу не предался, поступил к нам в Нарпит. И вот, прошлым летом на Лубянской площади, на ноль стриженый, торгует Рубакин ермолку. Глянул в Проломные ворота — и ермолку, говорит, из рук уронил. Идет от Проломных ворот то самое, военное белое платье с лиловым бобом. А над платьем голова как лунь седая. Однако всмотрелся — без сомнения, она. Подошел: «Это вы, говорит, и в том в самом платье? Интересуюсь знать, как это вы его сохранили?» А она в ответ: «Эта мануфактура ужасно прозрачная, в голодное время бесценная, даже брюквы за нее не давали, — вот и сохранилась. А мебель, говорит, я всю продала. И муж, говорит, у меня умер. И хоть голова, говорит, поседела, но теперь я есть интересная вдова. Комнаты же мне в чрезмерно населенном городе Москве нипочем не найти, и уплотняюсь я у знакомого в сундуке...» И в скором времени дала эта женщина Пал Палычу Рубакину понять, что на все окончательно готова за полкомнаты и горячее. «Иллюзия моя умерла, — сквозь

слезы кричал он, — иллюзия!» Уж я утешал: «Образумьтесь, говорю, ведь университет вы кончили, иллюзии же сплошной опиум лишь для народа». Нипочем. «Я, говорит, так воспитан, что без этих иллюзиев жить не могу. Последняя ставка, кричит, чуда испробую! Беру полную нагрузку морфия и под Иверскую». Вот намедни и взял.

— Привилегированный класс, — сказал Опенкин, — они всего были объевши. А вот за что именно торгового человека теснят? Скажем, специяльность моя — нежинский огурец, так ведь мне каждый бочоночек что родное дите. Теперь, значит, от собственной стойки куды мне? Куды?

— Сказано, Опенкин, на стадион! Новым крещеньем прочистишь состав и профессию сможешь взять. А посему оздоровляй себя по иному конспекту, чем Рубакин.

— Да я что, Иван Пантелеич, разве упираюсь? На стадион, так на стадион! И то племянник Сенька уши им прогудел. Мы его по родству, если слышали, Сенька Штопор зовем; он тут бутылкам на фабрике пробки вставляет, так поверите ль, политграмоту, ровно «Верую», так на память и чешет. А насчет марокских делов все башкою мотал: «Нашей, орет, санкции нет, чтобы рифов решать...» — «Пузырь, говорю ему, да Морока та где?» — «За окиянами». — «А ты небось на Солянке, на Вшивой горке живешь?» — «Хоть бы, грит, дяденька, я на самой крыше Большого театра, как новомодные беспризорные, жил, — за плечьми у меня профсоюзы стоят, за профсоюзами всесоветская европейская круговая порука. В скором времени мы некоторым державам и чихнуть не дадим!» А мальчишечка, Иван Пантелеич, глянуть — хлюпик, червь болотный. «Да тебе, говорю, в здравотделе глисту выгоняли!» Ну, он тут и снахальничал с этим вот стадионом. «Хотя бы и выгоняли, — фырчит носом, — а под своим нумером я в стадионе хожу и фамилие мое уже раз было в газете, как прибежавшее не последним...»

— Стадион — оздоровительный коллектив! — И самодовольно заключил Иван Пантелеич: — А я, выходит, никто тебе иной, как новый крестный-оздоровитель. Ну, приехали, вылезай!

Чуть укачавшись в шатком, валком трамвае, вместе с публикой двинулись вдоль по желтому, крепко убитому грунту на обширный стадион. Вошли.

Со всех сторон прямыми кусками ряды восходящих скамеек. Посреди зеленый ковер газона расчерчен белыми змейками.

— У древнеримских греков скамьи шли по кругу, — уронил Иван Пантелеич, важный, уже взволнованный, как участники. — Из боковых дверей, Опенкин, в исторические времена спускали тигров и львов.

За местами зрителей вонзались густо в небо тонкие зеленые елочки, а над ними, как их толстые тетки-дозорщицы, осели кудрявые древние ели. Всыпались цветником девушки, полосатые, белые, голубые, голоногие, голорукие, с задорной мальчишеской стрижкой. У каждой на груди квадрат с большим черным номером.

— А не стыдно это им как в предбаннике? — зашептал покрасневший Опенкин. — Замуж, чай, после этого мало кто и возьмет?

Услыхали. Засмеялись кругом:

— Нонче сами выходят.

Но Иван Пантелеич не сдал.

— Один тут учитель раскрыл, что во времена исторические женщины бегали много голей, чего наш Советский Союз уже не одобрил.

Из лейки тонкой белой струйкой обновляют известью по серой широкой дороге для бега четыре концентрических круга. По кругам бегун в синих трусиках разминался, как медведь, налаживаясь для бега в тысячу метров.

— Эти там — чисто мякинные воробьи! — по-детски смеясь с захлебкой, указывал Опенкин на бегунов, надевших пиджаки поверх одних трусиков.

Из публики им задиры кричали: «Шантеклер, трясогузка!..» Они не слышали ничего и, будто бодаясь склоненными головами, махали в азарте руками, крича о том, кто, по их мнению, «дойдет» первым, кто «вырвется», кто «сойдет» не дойдя.

Под аплодисменты и восторженный гул вливались на стадион физкультурные коллективы уездов, потрясая самосшитыми «тюнями». Тут же на траве ловко, как

в лодочки, в них влезали ногами, и смеялись, и прыгали, и, как зайцы, неслись по кругам.

Волненье, веселье. От голых тел, от солнца и воздуха, как от вина.

— Иван Пантелеич, ну и резво́ же тут! Совсем как пареньчком в деревне: вот-вот все в речку кинемся — поплывем. Ей-бо, здоровительно...

— Ну то-то же, — снизошел Иван Пантелеич, ухмыльнулся. — А как все побегут, и ты, Опенкин, будто с ними — всю старинную свою кровь разобьешь.

У Ивана Пантелеича на стадионе знакомства:

— Нумеру двадцать первому, нумеру третьему, нумеру пятому почтенье!

Последний, голенастый, волосатый, как кентавр, задрав ногу, осматривал, крепки ли шипы.

— Ужели подкован? — с восхищением входил уже в дело Опенкин.

— Чтобы ноге не скользить, легкой атлетике по штату шесть шипов.

— Настенька, товарищ Настя! — зашумели трусики.

Но пронеслась, не ответила, вся голубая, невиданной величины бирюза. Кулачки к грудям, стройные ноги как крылья, кудерки — золотое руно.

— Бегчванство! — как мяч ей вдогонку. — Бегчванка!

— Совсем кони, го-го... Иван Пантелеич, кони! Все у них жилки напружены.

Вдруг весь ряд присевших на скамью перед бегом завернул правую ногу на левую и, дринь-дринь, затеребил пальцами по икре. Смотрели в одну точку, бездумно, безмолвно, делали дело — массаж.

— Ишь, черти, дренькают, — обожал их Опенкин, — ровно скрипки смычками. Оркестр, Иван Пантелеич, настоящий оркестр!

Солнце стояло над стадионом сильное, молодое, и казалось, это оно держит в высоте нежнейший голубой купол, не давая ему опасть.

С трибуны судей возвысился человек в яркой повязке и вострубил в рупор, кто именно бежит и какого союза. Все глаза кинулись к алым, синим и белым трусикам, как большие цветы брошенным чуть-чуть друг перед другом на три концентрических беговых круга. Вызванные стали ждать окрика «начинать», упершись рукой в правое

колено. Сзади них врос в землю некий плотный в пиджаке. Как памятник, он тяжко темнел среди разноцветных кусков. Памятник возвел вверх негибкой рукой красный флажок и, отрубая им книзу, выкрикнул: «Ать!» Бегуны взвились и кинулись.

Облегченно вздохнул вместе со всеми Опенкин и прошептал:

— Иван Пантелеич, спасибо вам! И без вина уж готов...

— Вот видишь, а упирался! Только две большие разницы, как говорится: от употребления вина, Опенкин, ты — образ свинский, а тут не иначе — древнегреческий.

Бегуны первый круг солидно бежали «бычками», на круге пятом разинули рты, как рыбы, взятые из глубин, и в последний свой круг, перед трибунами судей, уже секли воздух руками, как волны бешеный пароход, забросив голову и пуча глаза. Достигнув вожделенной ленты финиша, они с разбегу сорвали ее и, опутавшись ею, как тонкими змеями, замерли.

Предсказанье Ивана Пантелеича сбылось. Опенкин уже на втором кругу бежал мысленно с бегунами. Когда отмеченный им отставал, Опенкин лез вперед, на чьи-то головы, и, как на охоте легавую, горячил: бери, бери!

В пылу подсоединились к нему двое-трое каких-то и, как на бегах, открыли «тотошку». Опенкин ставил пивом и горькой то на голубого, то на полосатого.

Иван же Пантелеич, досматривая, чтобы судьям быть «без фальши», приперся к самым трибунам и с Опенкина поля зрения вскоре исчез.

«Тотошкины молодцы» отмечали в блокнот за Опенкиным то и это, изредка предъявляя листок для проверки. Опенкин кивал всем, не глядя, что верно. Он боялся неладно вздохнуть, наигрывая всеми жилками нужный темп, чтобы вместе с ребятами прыгнуть без «смазки».

Рабфаки, пищники, вузовцы прыгали с места сперва на высоту один метр, и вот уже на метр сорок...

Выкликали двух: один горделиво подходил вплотную к жерди, положенной на объявленной высоте, другой готовился. Прыгун взметывал нехотя руки, утаптывался, напрягал, как стрела, мускулы и вдруг всем телом: взлет — перелет.

— Есть! Нет!

С одними Опенкин легко перепархивал своей хрупкой фигурой, с другими, неудачными, сдернувшими носками жердь, жирно крякая, падал в песок.

— Ну и баня у вас... — говорил он, блаженствуя, ловкачам, отмечавшим его проигрыш, — чисто упарился!

Прыгуны отпрыгали. Перед глазами Опенкина вырос женский цветник. Девушки — голубые, пунцовые, полосатые, — жужжа как веретена, ровнялись на прыжки в длину.

— В раю, чисто в раю... — и Опенкин поставил на бирюзовую уже не на запись, а наличностью светлый, как она, новый серебряный рубль.

Смотреть на женщин «тотошники» дали Опенкину бинокль. Женщины были все молодые, гибкие, ладные. Ловко ставили ноги, слегка упершись руками в бока как стрелы летели вперед, с силой врывались в песок. Прыжок тотчас мерили судьи.

— Ласточки, птички певчие... — и, вспомнив последнее, самое нежное, что знал, Опенкин прибавил: — огурчики!

Бирюзовую в длине прыжка покрыла полосатая, и светлый рубль Опенкина потонул во тьме бездонных карманов новых приятелей.

Огорчиться он не поспел. Объявили женский пробег на 60 метров. Когда сзади детский голосок, то взвиваясь, то падая, зазвенел в одобрение всех обгонявшему номеру:

— Ма-ма, моя ма-а-ма!

Опенкин, окончательно вне себя, заблеял вслед ему тенором:

— Ма-а-ма!

Еще девушки крутили рогатый мяч и красиво, широким размахом бросали его кто дальше. Метали диск, опять бегали...

Второй гильдии бывший купец Опенкин, науськиваемый ловкачами, разрешал все азартней свой сердечный восторг. Проиграв деньги, поставил брюки. Проиграв брюки — пиджак, сапоги. И странно: стоило ему сделать выбор, как состязавшийся начинал спадать и «сходил».

— Не иначе напущено, — конфузился за «смазку» Опенкин и с последней надеждой перебить чей-то злой глаз принялся ставить исподнее.

— В райском виде его закрепим, как мать родила... — подмигнули каким-то своим ловкачи, выводившие Опенкина под руки освежиться. Обойдя ограду, они юркнули с ним за какие-то палисады и в укромном погребке предъявили свой счет.

На деньги попили вместе. Потом Опенкин смутно понял, что его с какими-то вредными ему мыслями подзадоривают раздеваться и «брать высоту». Еще выпили на счет хозяина, за что, проникшись к нему доверием, Опенкин уже сам захотел раздеваться и идти в бег на скорость, но смущало его, что нет у него трусиков. Трусики дал опять-таки хозяин, и немедленно Опенкин, оставив ему все свое на хранение, пустился в бег на шестьдесят метров, и на тысячу метров, и на все десять тысяч метров.

. . . .

Опенкин уже несся, запрокинув голову и ловя воздух, как это делали перед финишем бегуны. Он первым сорвал трепетавшую ленточку у трибуны судей, он уже всеми порами слышал восторженный рев скамей, — как возникший перед ним Иван Пантелеич вдруг грубейше свалил его с ног. Поливая ему холодной водой голову, заорал:

— Да прочухайся, окаянный!

Опенкин открыл глаза и враз протрезвел. Он лежал в лесу в одних трусиках. Сквозь огромную ель жарило солнце. Он стал соображать, чье оно? Вчерашнее или сегодняшнее? Но сообразить сам не смог. Крупный нос и синие гневные щеки Ивана Пантелеича разъяснили.

— Всю ночь тебя, лешего, проискал, чтобы раньше милиции подобрать. Вставай, изображай заблудшего физкультурника. Хоть трамвай тебя бы забрал! Живо: раз! два!

— Раз, два... — пошатываясь, утверждался вертикально Опенкин, а Иван Пантелеич над ним горестно изрекал:

— Я из свинского вида хотел тебя в чистый, в древнегреческий проперать, а ты почто, бесштанная сволочь, совместителем вышел?

1926

ВО ДВОРЦЕ ТРУДА

Вынеслась колокольней в Солянку, почитай столетье застыла в разбеге шоколадная церковь — Рождество на Стрелке. И все так же облуплена и все в тех же подтеках, как четверть века назад, когда Таню Осберг увезли тетушки из института.

Тогда на этих присевших воротах, где сейчас над головами спешащих с портфелями в рабпросы и рабисы, как болезнь над кроватью в больнице, черным по белому: «Дворец труда», — высоко подобранные, золотились иные слова.

Тане Осберг и ворота показались не те. Запомнились словно бы пирамиды в Египте, а выходит — попростел, запролетарился въезд.

Ну, а сама-то она, по трудкнижке совработник двенадцатой категории?

На правой группе, посаженной скульптором Витали, с отбитой подписью: «Просвещение» — попрежнему мать читает из каменной книги старовидному юнцу из Эллады, но на другой — отрок теперь лишен головы. И уже окончательно нет геральдических птиц — пеликанов, кормящих детей, столь известной в свое время эмблемы Воспитательного дома, любезной гражданам по бубновым тузам игральной колоды.

А ведь вот для дерева двадцать лет малый срок! Липы в длинной аллее против прежнего чуть потолще. Под липами тук-тук каблуками совбарышни стриженые, и в красных платках комсомолки, и толстовки, и френчи.

А бывало, здесь павами проплывал за классом «зеленых» класс «серых», весной в рыжих камальках, зимой в страшных пальто с «пелериною-факельщик».

Ах, и памятен этот пролет в родовспомогательное... Отсюда гурьбой высыпали студенты вихрастые да лобастые, прескверно одетые, совсем не офицеры и не слишком-то мужчины.

Однако Валя Рокова за одного вышла замуж.

Студент с корзинкой пирожных, от Абрикосова конечно, шел из пролета, а ближняя в парах, Валя, уверенная, что студент по-французски не знает, сверкнув зубами на пирожные, молвила: «Assassinons et mangeons!» [1]

И тотчас студент, слепя такими ж зубами, краснощекий и ласковый, таким же, как Валя, прескверным французским: «Pourquoi assassiner? Prenez et mangez!» [2]

Этот студент стал вскоре Валиным «подоконным».

Это значило, что по субботам, когда студент был посвободнее, он стоял на часах после всенощной под окном дортуара, чтобы Валя Рокова, по пояс выпав в форточку, могла на бечевке, как рыбку, спустить ему белый узкий конверт. Студент, прочтя и запрятав «навеки» в тужурку письмо, привязывал на бечевку ответный конверт — голубой.

Выйдя из института, Валя Рокова вышла замуж за своего «подоконного».

У нее были милые журфиксы и милые дети, но она, как и Таня Осберг, не проговорилась ни мужу, как никому на свете, о том, кто были убийцами ее сестры-близнеца — Маши Роковой.

Машу Рокову в один весенний день предвоенного времени нашли рано утром в музыкальной селлюльке повесившейся на двух полотенцах.

Черная длинная коса попала ей в петлю, и всем сразу показалось, что вокруг ее шеи обвился черный змей.

Но это только показалось. Когда снимали Машу коридорные девушки и «пыльная дама» в присутствии Гуг Гугича, — они для скорости петлю на шее разрезали, от чего испорченным оказалось одно казенное полотенце

---

[1] Убьем и скушаем! *(франц.)*.

[2] Зачем убивать? Берите и ешьте! *(франц.)*.

с распоротым номером. Другое же было с номером Маши — четвертым.

Допросов не вели, дело замяли, как ни кричали о нем по городу. Машу объявили нервнобольной и припадочной.

Что такое память у человека? Где гнездится она, не забывающая, неизменная, в том самом теле, которое с годами так изменяется, что ближайшими порой бывает не узнано? И перед кем, спрашивается, сейчас отвечать совработнику двенадцатой категории Осберг, ответственной в поведении своей совжизни перед управдомом, фининспектором, месткомом и выше, пред всей скалой учреждений и лиц, даже шепотом не предполагавшихся в тот год, когда повесилась Маша Рокова? Перед кем отвечать ей ну хотя бы за то, что полотенце-то с распоротым номером было ее и что своей рукой из него она наладила тугую петлю для Маши?

Чего не нанесло в четверть века? Только камням и деревьям время может быть нипочем, — а для людей? В забвение канул век прошлый, и возник новый век. В личной жизни переменилось имя, положение, объем тела, — в истории возник новый класс. Ну можно ли знать еще об обстоятельстве, давно погребенном?

Но два полотенца грубоватого холста — одно с меткой распоротой, другое с цифрой «4» яркокрасным крестиком — вдруг упали на два белые тротуара по обеим сторонам липовой аллеи и, как они, протянулись в бесконечность. Ноги сразу устали, сердце заленилось стучать. Осберг еле поспела в открытую калитку войти в сад и сесть на скамью, как на минуту в глазах ее стало темно.

Потом глаза вспыхнули и внимательно, как сторож, отвечающий за порубку сада, стали перебирать кусты ближние, дальние, и деревья, и незнакомые новые поросли.

Но вот у забора все та же, ни с кем ее не смешать: одинокая, громадно расселась и, совсем непохожа на липу, чуть не до самого газона кринолином вокруг себя свесила ветви она.

Четверть века назад, под этой самой липой, Таня Осберг и близнецы — сестры Роковы — тянули узелок из

казенного носового платка с черным клеймом заведения.

Узелок вытащила Маша Рокова, даже не побледнела, только сказала: ай-ай!

Со стороны казалось, что девочки собираются играть обыкновеннейшим образом и тянут жребий, кому быть «квачом», а на самом-то деле один из трех белых хвостиков с узелком, плотно зажатый в полудетской руке, был жребий совсем не на то, кому бежать что есть духу, чтобы хлопнуть других по плечу, а только на то, чтобы завтра, за пять минут до звонка, пойти в селлюльку номер пять и там повеситься на крюке.

Совработник Осберг справилась с собой и вышла опять на аллею. Во что бы то ни стало надо было ей достать одну нужную профсоюзную бумагу.

Белый низенький дом и справа на нем: «Аптека» — вот и хорошо. Никакой аптеки прежде тут не было, да, почитай, и самого домика.

Но вошел рабочий в аптеку, приоткрыл на миг дверь — подмигнула со стола лампочка под просторным зеленым абажуром-колоколом, — и снова зачарованно, неотступно, лишая воли уйти, ее втянуло прошлое.

Ну как так не было домика? Да в этом самом жил батюшка Добротворский. Такой точно зеленый абажур, только не над электрической, а над обыкновенной керосиновой лампой стоял на белой вязаной скатерти у окна. В свободные от уроков часы батюшка с внучкой иль старой нянькой у всех на виду часами играл в разноцветные шарики-солитер.

И когда сиротливые, необласканные девочки, чтобы иметь хоть кого-нибудь в этом мрачном здании вроде родни, вдруг целым выводком увидали во сне, что батюшка Добротворский святой и после смерти ни за что не разложится, и пустились бегать к нему в коридоры благословляться, батюшка покорно крестил их, кротко жалуясь, что не придется ему и покурить в переменку, и с доброй улыбкою, в виде компенсации себе, приглашал: «Ужо не возьмут тебя на праздники — приди в гости, поиграть в солитер».

Ничего умней и значительней от этого батюшки не слыхали, а вот подите ж, не на него, а на другого, куды побойчей, на академика — тоже вдовца — держали пари подсмотреть: что носит он под рясой — штаны или юбку?

Опять пустили слух, что батюшка если вдовец, то уж ему ничего мужского нельзя, и за плитку шоколада, на литии, две крайних в проходе взялись подсмотреть под ризу — узнать. И узнали: академик-вдовец носил серые домотканные брюки, вроде как тротуарные тумбы.

При главном входе, который сейчас совсем не там, где стоял швейцар в красной ливрее с орлами и булавой, сотрудник Осберг с радостью увидала нечто окончательно не вызывавшее прошлого.

На входной лестнице, давя размерами и как бы не пуская дальше, стоял огромный рабочий, подняв молот. Другая рука у него была в рукавице, до того тяжелой, что странно было, что не оттягивала она ему плечо книзу. Напротив стояла работница таких же великанских размеров. Оба в прозодежде.

Сотрудник Осберг совсем успокоилась: эти статуи как пограничные знаки, за которыми безопасность. За ними век новый — и всему старому крышка. Она смело пошла наверх.

Под ногой захолодели чугунные плиты: круг с орнаментом, так пронзительно знакомый.

Прежде коридоры были сплошь выложены этими плитами. По ним водили в лазарет, чтобы выдернуть зуб, или к начальнице за присуждением особо важного наказания. Тогда ноги шли так, чтобы попасть: край — середка — край. В конце если середка — будет все хорошо. И сейчас ноги стали так было ступать, но Осберг одернулась — ерунда...

Спросила того и другого товарища, как найти нужную комнату. Очень скоро нашла: строгая девушка с медицинским, внимательным взглядом проштемпелевала бумагу, научила, как дальше...

Совработнику Осберг надо бы уходить, а она все стояла, переводя глаза с портрета на портрет товарища Ленина, где он то подымает руку, зовя «на последний и решительный бой», то, взятый много крупней натуры,

высматривает сверлящими, умными глазами врагов пролетарского строя...

Под портретом Осберг прочла неожиданную, домашнюю надпись: «Товарищ, не кури!»

Прочла и большую афишу с обозначением дней разнообразнейших дискуссий, фамилии секретарей, председателей и наименования в кучу сложенных пакетов и книг. Все это была охрана, толща нового быта, все это, как кольчуга на нежном уязвимом теле, ограждало совесть от прошлого. И страшно было выйти из этой рабочей безопасной комнаты бывшего физического или рисовального класса, потому что где-то уж близко, в черном коридоре, музыкальные былые селлюльки и среди них одна... номер пять.

— Товарищ, вам что же собственно надо? — подошла от своего стола та, деловая. — Или я вам объяснила неладно? — внимательно смотрят глаза.

— Извиняюсь, я так... я обдумывала, — и сконфуженно Осберг — вон, в коридоры.

Поселяется иной человек «от хозяйки», в чистенькой, оклеенной заново комнате и живет себе ничего, с примусом или керосинкою, пока кто-нибудь сдуру не расскажет: «А ведь комнатка пустовала оттого, что последний жилец из этого вот окошечка да вниз головой! Обои пукетами — это уж после него, для заманки».

И престранное дело: в досужий часок нет-нет, а измерит новый жилец время полета от окошка до мусорных куч и осколков красного кирпича там, внизу, в черном дворе. А как-нибудь под вечер или, напротив того, в серенький час до рассвета, глядь, и перекинет новый жилец за окно обе ноги в драных подошвах.

Не стучись в прошлое — прошлое ринется и проглотит. На запор его, как лютого пса...

«Фермопилы» — звался в честь древней доблестной битвы этот узкий проход. Здесь поджидали Евгения Петровича, чтобы спросить подробности про французскую революцию и еще раз потонуть в «ужасно-гипнотических» его глазах...

У окна рядом, глядя во двор с цветущим каштаном, в обнимку, вдвоем и втроем, горько плакали весной

горбоносые черные девочки, томясь по родному Кавказу.

«Оживление советов, усиление кооперации — путь к укреплению союза рабочих и крестьян» — огромная красная лента, на ней белые как снег буквы — почему-то сохнет на этом паркетном полу... Да неужто это он, тот самый зал?

И увидала Осберг нарядную, залитую светом эстраду, хор певчих в кружевных пелеринах с розовыми бантами. Начальница, дородная, в атласном синем платье с треном и орденским знаком на плече, а рядом с ней — еще невиданный генерал, до того ужасных размеров, что кажется — он монумент. За ними инспектриса, фрейлен Вальде, впадая от обожания с каждым шагом в глубочайший придворный реверанс, шепчет:

— O, der Zar! Der russische Zar! [1]

Вспархивает палочка в руках дирижера, выступает прекрасная пепиньерка с букетом цветов, и торжественно, как «Исполла ети деспота», хор поет нелепые, положенные каким-то немцем на музыку вирши:

Мы все девицы пук, пук,
Мы пук цветов несем...

А вот и средина залы с колоннами: здесь в день праздничный появлялись юнкера, офицеры, кадеты, студенты и, отвесив поклон по начальству, ожидали, когда подлетит к ним дежурная и спросит: «К кому вы?» И, едва выплыв из залы, припустится что духу бежать.

Осберг попала в третий этаж, где прямо в глаза яркая, изнутри освещенная, будто у нее какое-то идет свое кровообращение, надпись: «Гудок».

Затолкались быстрые молодые пескари в речной ряби — видать, писатели, одетые и раздетые: в фуфайках-сеточках, в разверстых апашных рубахах.

— Для воздуха одеваются нонче, — кидает мимоходом уборщица из старых.

Ах, эти медные в стенах дверцы как памятны! Как горели они в час заката, когда пронзительным золотым снопом пролетало солнце в узкий, как труба, коридор от окна до окна. Приготовишки кучами высыпали плевать

[1] О, царь! Русский царь! (*нем.*).

в эти лучи, чтобы любоваться, как в них сверкают и бьются золотые пылинки. Приготовишкам мыльные пузыри выдувать запрещали.

Все, все запрещали синие старые девы: бегать, бороться, читать «ужасные русские книги», хотя безнаказанно можно было изучать французские непристойности по Рабле и Вольтеру.

В третьем этаже обегали вокруг всего здания дортуары с круглыми окнами, и сейчас выходящими в коридор. Было очень страшно, когда девочка Фарбова, лунатик, влезала в это окно и щелкала ослепительными челюстями.

А вот здесь, в куточке, был Максим-лавочник. За пять копеек у него чего хочешь бери — маленький, узенький фунтик. Был и мордатый приказчик Ефим. Ему длинная Леночка, потом небезызвестная московская актриса, написала стихи:

Тебя я вижу раз в неделю,
Ты нам гостинцы продаешь,
Ты за грушеву карамелю
Гроши последние дерешь...

Вот столовая. Здесь началось.

Было как-то особенно подвально-сиротливо. К Тане Осберг давно на прием никто не ходил, читать было нечего. Она сказала за ужином своей подруге Вале Роковой:

— Котлеты опять из тухлого мяса, я желаю выразить протест — чвакнем огурцами в потолок, сведут в лазарет.

В лазарете водились русские книги, а на окнах стояли замечательные банки с наростами и безголовый, почти змей, таинственный, как сантиметр — солитер. Совсем не тот, что игра-солитер батюшки Добротворского, хотя слово то же.

Девочки чвакнули в потолок водянисто-желтые огурцы. Они тупо щелкнули и забрызгали рассолом снежно-белый покров. Безмолвная от распиравшего гнева классная дама свела обеих девочек в лазарет, куда тотчас вплыла начальница с красавцем доктором Гуг Гугичем. Барски картавя и негодуя, начальница спросила:

— И как только могли вы ос-ме-лить-ся?

Валя Рокова, боясь, что Осберг вдруг надерзит, спокойно сказала, что огурцом хотели обратить, наконец, внимание на то, что котлеты опять из тухлого мяса, о чем уже тщетно не раз заявляли...

— А у тебя-то дома, моя милая, — глаз начальницы презрительно прищурился и стал желтый и хищный, как у копчика, — у тебя дома ужели кушают лучше? Ну, я не думаю: твоя тетушка целую вечность приходит все в том же платье. В карцер их на неделю! — и уплыла.

В карцере няньки делали послабленья, и можно было бегать друг к другу. По горячему пылу решили было публично побить начальницу, как гимназисты, случалось, били дурного директора. Но скоро раздумали: обе были маленькие; чтобы ударить, придется подпрыгнуть — это выйдет смешно. Перебирая все виды протестов и мести, выбрали нечто вроде японского харакири: решили повеситься. Но, конечно, повеситься так себе, только для начальства, и после обморока, когда все письма будут обнаружены, непременно ожить.

В письмах к любимым учителям, инспектору и врачу было подробно изложено, почему девочкам жить так тяжело, что если перемен не последует, они станут целыми классами вешаться на крюках.

Когда вышли из карцера снова в класс, к их «союзу возмездия» присоединилась и Маша Рокова, сестра Вали. Она была маленькая, тоненькая, совсем тихая девочка и любила то, что все ненавидели: штопать часами чулки.

Маша сразу сказала:

— Повеситься надо мне, я по весу всех легче, и подо мной крюк не погнется.

Она же указала, что в селлюльке номер пять чинить взяли лампу и там крюк свободен.

Таня и Валя настояли, чтобы все было как в книжке и тянули бы жребий.

Узелок выпал Маше, и хотя она сразу сказала: «ай, ай», — но тут же прибавила:

— Я так и знала, что вешаться надо мне.

Таня Осберг стащила у приготовишек полотенце, потому что одного Машиного было мало, распорола номер, хотя это было ни к чему: узнать пропажу могли все

равно, и за малолетием приготовишку нельзя было даже «подвести».

Но Таня все делала истово и на Машу Рокову накинулась с такой яростью перед самым рассветом, в тот день...

Маша вдруг стала плакать, ей сделалось страшно повеситься хотя б на минутку.

— Ну, вспомни Деция Муса, как он на белом коне ринулся в пропасть! Притом он ведь взаправду и все-таки не струсил, а тебе и ми-ну-точ-ку страшно. Да это просто как прыгнуть в холодную воду: сразу обморок. И все, решительно все висельники говорят, что это очень приятно. Впрочем, ты и сейчас можешь выйти из «союза возмездия», мы сумеем повеситься сами...

— Ах нет, вы обе толстые, вы крюк оборвете, и потом мне уж так вышло...

И Маша Рокова, заплаканная, тихонько крестясь для храбрости, пошла без десяти семь в селлюльку номер пять повеситься.

В семь часов, когда начинается первый час музыкальных упражнений, Осберг и Валя должны были войти, созвать криком побольше народу, при всех найти письма и непременно отдать их по назначению.

Когда Таня Осберг и Валя бежали по звонкому от пустоты коридору, их на повороте поймала бессонная и мрачная инспектриса старших.

И началось: как смели прийти до молитвы? да куда? да зачем?

Обе молчали. Инспектриса приказала им войти в ближний класс, заперла его и сказала:

— Когда все придут, разберем это дело.

— Ведь не дура ж она, чтоб повеситься? — все твердила про сестру Валя Рокова и в ужасе не сводила с Осберг больших пустых глаз. — Ведь не дура? Ах, зачем ты ее ночью бранила?

— Кроме нас, ей в селлюльку никто не может постучать, а без стука она не станет. Она, наверное, отложила, — успокаивала себя и подругу Осберг.

— Ах, зачем ты ее ночью бранила? — еще и еще плакала Валя.

Осберг стояла перед бывшей музыкальной номер пять и не могла уйти. Между тем кончился советский

рабочий день, проходили с портфелями мимо и заведующие, и секретари, и машинистки.

— Товарищ, вы, верно, больны? — и опять внимательный, точный взгляд той служащей, что дала без задержки бумагу. — Отчего вы все еще здесь?

И вдруг Осберг не захотелось отмахнуться от вопроса, захотелось сказать по-человечески только правду, как есть. И она сказала:

— Я училась здесь в институте. Было очень тяжело. Нас трое решили выразить протест. Одна должна была примерно повеситься, чтобы придать цену обличительным письмам, которые были при ней. Маше Роковой выпал жребий. Я с ее сестрой должны были поспеть вовремя, чтобы стукнуть ей в стекло в виде сигнала и, созвав побольше народу, вернуться снова, спасти ее и взять важные письма. Но вышло так, что нас задержали, а условленный сигнал, прыгнуть Маше в петлю, дала мимоходом пыльная дама, просто так, для порядку, услыхав, что в музыкальной селлюльке не упражняются. Маша Рокова повесилась. Когда ее сняли, было поздно, она умерла. Если б я не струсила и, несмотря ни на что, добежала, она бы осталась жива теперь.

— Пыльная дама? Какое нелепое звание! — сказала служащая.

— Была и ночная дама и дама башмачная...

— А письма обличительные? Надеюсь, доставили?

— Письма сожгли. Всё замяли. Четверть века этому делу, а мне вот... словно вчера.

— О сироте кому было шум подымать? — вступилась старуха уборщица. — Я этот грех помню. В лазарете кум мой был ламповщик. Там врачи промеж себя зашлись, спорили. Один говорит: «Не попади ей коса в петлю — оживела бы», а другой поперек ему: «От косы ей скорая смерть!»

1926

Николаю Тихонову

ПЯТЫЙ ЗВЕРЬ

«Варан из Туркестана, — читал Хохолков, — небольшой экземпляр в один метр длиною, родственная ему порода достигает в Южной Африке двух метров. Обладает сильно удлиненным телом, семейства ящериц, относящихся к подотряду... питается насекомыми, яйцами крокодила...»

Рассеянно окинув стеклянную коробку с электрической горящей лампочкой в сто свечей и огромным градусником с синим столбиком, взбежавшим до цифры двенадцать, Хохолков собрался идти дальше, как вдруг ящер-варан медленно повернулся и поднял голову.

— Шаляпин в «Юдифи», — сказал художник Руни и перестал рисовать в свой альбом.

При каждом шаге ящер выбрасывал и ставил лапу на пять твердых когтистых пальцев так внезапно, с такой безумной ассиро-вавилонской сдержанной властью, что слабо звякали на лапах золотые браслеты и из варана — возникал Олоферн.

Ящер нес на зрителя свою тяжкую крокодилову морду. Рот был приоткрыт, почему-то набит желтым песком. От презренья не сплевывал. Глаз необычайный — тысячной древности индусского мудреца — вдруг мигнул белой пленкой и метнул стрелу жестокую, неуклонную, как смерть.

— Какой громадный, как страшно, — шептал, не отрываясь, мальчик.

Новый зритель, еще не глянувший на варана, как только что Хохолков, читал скромный его формуляр: «...небольшой экземпляр в один метр длиной...»

Но, глянув вниз под лампочку в синий столбик термометра, воскликнул:

— Черт знает что, ведь и вправду громаден!

Варан, выбрасывая лапу за лапой, чуть шурша по песку желтым брюхом, не сгибая вознесенную, забитую песком морду, слепя жестоким белым веком, в крайнем, в бешеном напряжении несся на зрителя. Оторваться от него было нельзя — он чаровал.

Конечно, Хохолков разумом помнил, что это безвредный ящер, что рядом в помещении рыб сидит подлинно опасный аллигатор, которому, по учебнику и Майн Риду, полагается жевать негров и оставлять «кровавую пену на водах Замбези». Аллигатор был громаден, зубаст, но, хоть за ним числилось то и это, страшного впечатления он не давал. Он за стеклом смирно спал, как корова, выпустив зубчиками, будто кружево на детских штанишках, наружный ряд белых и острых зубов челюсти верхней на нижнюю.

Страшен был этот... дракон тысячелетий. Похититель прекраснейших дев, грозный враг рыцарей-крестоносцев, воспетый поэтами, убитый Зигмундом и Георгием Победоносцем, — сейчас «небольшой экземпляр в один метр длиной», варан из Туркестана.

Презирая свою лампочку в сто свечей и термометр с синим столбиком на цифре двенадцать, презирая глазевших на него, — ящер шествовал. Вот он вплотную у стекла, вот стукнул в стекло приоткрывшейся пастью, вот дрогнул, осел...

Напряжение зверя так было могуче, что вмиг перекинулось зрителю. И зараз Хохолков, Руни и пионер в красном галстуке воскликнули:

— Дракон полетит!

. . . .

— ...Ну да, это было бессмысленно, я совершенно с вами согласен, «никаких, даже зачаточных крыльев», — говорил Хохолков наутро в редакции «Красного детского мира», излагая редактору конспект своей повести о варане, — но клянусь чем хотите, нам казалось, что он полетит...

— Ерунда, — оборвал редактор, — ничего не должно казаться без достаточных оснований. Чистейший романтизм...

— Ничего подобного! — сдерживая собственные слова, крикнул по-уличному Хохолков. — Я сам уверовал, что бытие определяет сознание, что интеллигентский подход пора послать к черту, но поймите же и вы, что переменам подлежит *применение* энергии, а *законы* ее восприятия требуют лишь углубления и развития! Разрешите, я вам дам серию «Красный зверинец», где заражу ребят, как художник, конденсированной силой зверя, выдвину могущество воли, независимость энергии от внешних данных... посудите, сколь педагогичен прием! Поднятие высших свойств человека одновременно с развитием его вкуса и мысли...

— А портфель из него выйдет? — пресек Хохолкова редактор.

— Из кого? — отступил Хохолков.

— Да из этого вашего... из варана?

— Ящер небольшой... один метр, неширок в диаметре, — забормотал было Хохолков. — Но вы меня не так поняли, вероятно я не сумел, но в рассказе все выйдет. В том-то и секрет ящера, что впечатление громадности отнюдь не подтверждается его размерами, а целиком идет от его неистовой воли к жизни. Отсюда не только полезные, прямо скажу, чисто советские выводы... Художник Руни сделает иллюстрации.

— Не подойдет варан! — хватил редактор. — Пусть иллюстраций не делают. Рассказы про зверей нам нужны без надстроек: производственные, промысловые. Ну, а как портсигар? Может, выйдет хоть он? Да вырежьте кожу варану вокруг брюха цилиндром и, держась на советской платформе, заставьте какой-либо коллектив поднести ее в день юбилея портсигаром совработнику, или рабкору, или иному общественно нужному деятелю. Ведь выйдет же портсигар? Ну, каков диаметр живота?

— Я не прикидывал!.. — смутился Хохолков.

И вдруг, вспомнив, как надменно выбрасывал варан лапы, как от него веяло историей, ископаемым, ассиро-вавилонским, тысячелетием, резко сказал:

— Нет, я не стану вырезывать портсигара!

— Воля ваша, — пожал редактор плечами, — ни романтики, ни философии... искусственный подход.

— Ну, это уж извините, — вскипел Хохолков. — Пионер, с красным платком, никем не подученный, уж он непосредственно... а как крикнул-то: «По-ле-тит!» Хотя видел, поймите меня, он видел, что нету крыльев, что стекло впереди.

— Сын интеллигентных родителей, буржуазный атавизм.

— А если сын рабочего? А наши художники кто? А не угодно ль сапожника — Якова Бёме?

Редактор прервал Хохолкова молчаливым указанием на плакат: «Время — деньги, посторонними разговорами не задерживать».

. . . .

Хохолков получил перевод и со злобою на редактора «Красного детского мира» неделю напролет переводил чужие слова, ощущая безмерную свободу собственной личности, которой не приходилось ничем поступаться.

На второй неделе перевод надоел. Как червь засосала тоска убивать целый день на чужое, когда свои глаза умели смотреть, свои мысли и образы лезли взапуски на бумагу.

Хохолков бросил перевод, кинулся на трамвай, вон, за город.

День был чудесный. Почки на самых поздних деревьях раскрылись и только ждали дождя, чтобы зазеленеть и запахнуть вслед акациям и черемухе. Земля дышала, черно-лиловая, не утоптанная сапогом. Вдоль рельс бежали свежие травы, и в них то желтел, то голубел первый ранний цветок.

А в вагоне, как водится, ссорились. Гражданин выговаривал кондуктору, зачем он переулок двунадесятого праздника не именует Безбожным, не принимал извинений в беспамятстве, стыдил горько и кротко:

— Из-за чего революцию делали?

Гражданка позвала свою годовалую дочку, убежавшую к Хохолкову на площадку, без никаких сокращений звучным именем: *«Кларацеткин»*.

— Она у нас не крещена, она октябрена, — не без гордости сказала гражданка соседям и отхлопала бедную Клару.

— Октябришь по-новому, а бьешь-то ее по-старому?

И сцепились бабы, пока трамвай всех не выбросил к синему озеру, к музею-усадьбе, где на воротах гладкие, мелкие львы, элегантно подняв лапу, приглашали войти. Но экскурсий еще не пускали, и, наблюдая чистку дорожек и ряд по-летнему забелевших в зелени статуй, можно было подумать, что нет в стране перемен и «люди» чистят усадьбу для старых хозяев-князей.

Хохолков обошел озеро, подразнил гуся, наломал в мохнатых баранчиках вербы, долго бессмысленно смотрел на легкое весеннее небо, как пес нюхал сырость; тянуло бродяжить. Сколотить сумму червонцев и айда...

Понесся обратным трамваем домой, кончил к утру перевод, подсчитал гонорар: доехать до Тулы, съесть фунт тульских пряников и назад. Но ему ведь хотелось за Тулу.

Пошел по знакомым редакциям подряжаться на работу «с авансом».

— Дайте нам роман «Газовый», мы возьмем.

— Да помилуйте, я по химии всего «аш о два». Хорошо, если двойка на месте...

— Пустяки химия, за лето подучите...

Но Хохолков хотел летом бродяжить. Один ему ресурс: аванс под «Красный зверинец». Тянули звери, как лес, про зверей он напишет шутя.

Хохолков пошел опять в зоосад со строгим решением досмотреть про зверей цензурно: производственно и промыслово. От варана воздерживался — не шел: ну его к черту, опять полетит, когда ему надо пешком...

Пошел Хохолков к зверю трезвому и простому, без двойных мыслей, громадному. К индийской слонихе, беременной слоненком первый год. Ей предстояло детеныша продержать в себе еще год, и она стояла как дом, с тяжко распертыми серыми боками. Перед слонихой что грибов было просыпано первой ступени экскурсантов. Веселый руководитель громко и бодро делился с ними познаниями и говорил о слонах как раз то, что требовал детский редактор: производственное и промысловое...

— ...Вымиранью слонов много способствует человек. Он уничтожает слонов ради их бивней, дающих ценную слоновую кость.

И по бумажке руководитель прочел:

— Дневной рацион слона — четыре пуда пятнадцать фунтов, сена — два пуда двадцать фунтов, хлеба ржаного — двадцать фунтов, хлеба белого — десять фунтов, моркови — десять фунтов, картофеля — двадцать фунтов.

Хохолков схватил карандаш и стал записывать, чтобы дома на точных данных создать педагогически полезную авантюру.

Слониха во время речи инструктора просовывала сквозь прутья решетки свой хобот, серый, длинный, как кишка для поливки тротуаров, выворачивала его и, шевеля пальцеобразным присоском, просила еще и еще для слоненка, распиравшего ее бока. Она давно съела свой четырехпудовый рацион, и ей было мало. Мальчики ей протянули принесенные булки. Слониха, деликатно свернув хобот, отправляла булки, как в печь, в аккуратную темную пасть без бивней. Затем, словно быстро сморкнувшись, прянула хоботом вбок и вот уж опять шевелила далеко за решеткой пальцеобразным соском, прося новой пищи.

Мальчик первой ступени протянулся вперед — рассмотреть получше слоновый присос; слониха, как бы одобряя, с нежнейшей, материнской повадкой вмиг обгладила его нежным хоботом, обцеловала вокруг головы, мягко внезапно сняла с него шапку, взметнула дугой хобот и — не поспели ахнуть — убрала шапку в рот. Мальчик пождал, пуча глаза, и взревел...

Инструктор кинулся к сторожу.

Сторож, как былой крепостной человек, изучивший до скуки причуды господ, не двинулся с места, сказал:

— Сожрала!

— Может быть, ее вырвет моей шапкой, она ж грязная, пропотелая... — просил передать слонихе сквозь слезы мальчик. — Я подожду!

— Жди себе, только задом ли, передом пойдет из нее твоя шапка, ее, брат, тебе не узнать. Аминь головному убору!

Веселый инструктор сказал мальчику:

— Брось, Миша, плакать, ничего тебе не будет за шапку, обвяжем платком, и пойдешь. Гляди-ка скорей на слониху, ишь что надумала!

Слониха из угла брала сено и грациозно, как тургеневская девушка косу, откидывала хобот за спину и густо посыпала себе сеном весь хребет и голову. Потом она деловито, с удовлетворенным чувством долга смотрела вокруг маленькими, по-человечьи умными глазками.

— Воображает себя в тропиках, — сказал руководитель, — там, защищаясь от москитов, она должна себе набросать на спину и голову листьев. Не сердись на нее, Миша, подумай, какие ей, бедной, здесь тропики! Она может сделать в клетке всего два-три шага. Тут не то что шапку, целиком проглотить тебя впору. Пойдем-ка за ней лучше в Индию...

И веселый инструктор вмиг вырастил перед ребятами девственный лес, заткал его сверху донизу лианами, напустил обезьян, попугаев, заставил вдали рычать тигров, и, разделяя грезы юной слонихи, дети с ней вместе попали в Южную Индию...

. . . .

— Судите сами, это ль не новая педагогия! — восхищался вчерашним инструктором Хохолков в редакции «Красного детского мира». — Я полагаю, разница есть: топором ли рубнуть — человек от обезьяны... или найти подход внутренний, психологический, породнить ребят с каждым зверем, установить общую великую связь всех животных. Отсюда смягчение нравов, расширение кругозора, так сказать вселенский интер-на-цио-нализм! Если хотите, это даже своеобразная и более действительная борьба с религиозными предрассудками, чем обухом по голове, как...

Редактор прервал:

— А шапка, которую съела слониха? Шапку, спрашиваю, ваш веселый руководитель возмещать будет из своего кармана или из сумм Рабпроса и иных? И что это, извиняюсь, за балда, который не учит ребят держать демаркационную линию? Де-маркационная линия, за которую не достигнет ничей хобот, а прогулка в тропики, к полюсу, к черту — потом. Вот новая психология, ее и давайте! Однако рассказывать вы умеете, и вот вам совет: присмотрите себе зверя, который не пробуждает в вас романтики и тому подобных, историей брошенных в хлам, сентиментов. Ну, мало ли кровожадных, несомненнейших, реальных хищников — тигр, удав... Это вам не варан!

— Тигр и удав? — подпрыгнул радостный Хохолков. — Да, черт побери, как я мог позабыть...

Не прощаясь с удивленным редактором, он стремглав слетел вниз по лестнице и бросился в дальнего хода трамвай.

Блаженно улыбаясь, Хохолков стоял на площадке, мысленно шествуя по полям и лесам, куда он вот-вот попадет на аванс детской книжки. «Тигр и удав... ну, конечно, они».

За заставой, рядом с бывшим монастырем, ныне детдомом, жил старинный приятель Хохолкова, естественник, сын знаменитого путешественника. У них в доме жил живой тигр.

— Не знаю, как с тобой быть, — сказал естественник Хохолкову, узнав, в чем его дело, — моего знаменитого старика нету дома, и он приказал без себя к Степе чужих не впускать. Он нездоров.

Степа и был тигр, привезенный ученым путешественником из Азии. Он прожил всю жизнь в зоологическом, а под старость был снова взят первым хозяином.

— Ах, впусти, — сказал Хохолков, — я, как собака, хочу на простор, а редактору вынь да положь детский рассказ про несомненного хищника, без сентимента и поэзии. Степа — тигр, кровожаднейший.

— Ну, как тебе сказать, — замялся естественник, — кровожадным он когда-то, разумеется, был. Но за эти голодные годы, когда его с охотой выдали нам из зверинца... ну, посуди, чем могли мы его накормить? Голодали сами, вегетарианствовал он. Короче скажу: тигр пристрастился к вареной картошке и сейчас уже иного не ест.

— Как, — вскричал Хохолков, — тигр-вегетарианец! Скажи еще — теософ?

— Да, пожалуй, — ухмыльнулся естественник, — к старости зверь до того подобрел, что, вообрази, как приходится защищать его от обыкновенных домашнейших кошек! Спят в нем, как в шубе; чуть встанет раньше, чем им угодно, царапают морду, кусают.

— Да вы ему зубы, что ль, вырвали?

— Все налицо, и клычищи и бабки. Зевать станет — Азия.

— Так что же это с кошками?

— Подобрел... да и мы же его как родного, вот и он. Не поверишь, сестренка простыни ему подрубила, наметила красным. Да ничего, отец и не узнает, пройдем к нему. Только молчи, больно он шума не любит. Стеклом в кухне порезался, лапу себе рассадил.

Естественник провел Хохолкова по коридору, открыл дверь. Комната с высоким в решетке окном была совершенно пуста. В ней пахло как в зверинце возле хищных зверей. В углу на матраце, покрытом белой простыней с крупной меткой «Степа», положив на подушку перевязанную лапу, лежал тигр.

Насторожа уши, он на миг весь спружинился, но, узнав студента, забил, как собака, хвостом и дрогнул в улыбке седыми усами.

— Пей, Степа, — поднес естественник молоко и стал гладить полосатую голову.

Из-под тигра прыгнула черная кошка, и на белом зеркале молока замелькали два красных языка, один большой — тигровый, другой мелкий, побыстрее — кошачий. После молока тигр принялся за картошку. Всунул в миску морду, набрал полный рот и стал шамкать лениво и бережно, отряхивая здоровой лапой усы. Потом он лег мордою на подушку.

Естественник подсел к тигру на корточки и принялся чесать ему, как коту, за ушами и горло. Тигр опрокинулся на затылок, мурлыкал, зажмуря глаза.

— Сволочь, — не стерпел Хохолков, — забыл джунгли и волю, нажрался картофеля, как свинья! Где же искать теперь хищника, черт возьми?

— Чего ты ругаешься? — сказал естественник. — Помоему, так с тигром тебе повезло. То, как он разрывает добычу, являясь «бичом бедных индусов», — давно скучнейшее общее место, детям гораздо интереснее и полезней узнать, что нет той свирепости, которая не побеждалась бы добротой. Озаглавь рассказ: «Мудрая старость»...

— Христианские дрожжи! Нипочем не примет редактор. Одна надежда — удав. У твоего отца, мне помнится, есть товарищ-оригинал, у себя держит в комнате.

— Пантелей! Ну, еще бы... однако уходи вон на цыпочках. Степа спит.

— Пантелей — это кличка удава? Да неужто, — воскликнул близкий к отчаянию Хохолков, — не нашлось более гордого слова, чтобы выразить ярость мускульной силы царя пифонов? Пан-те-лей?

— Уменьшительное — Пентюх... и так зовут его всего чаще. Ты, как глянешь, сам назовешь. Вообрази, до того ленив, старый пес, что не желает сам вползать в ванну, говорит: пусть несут! Профессор ему держит голову, жена, сын и дочь тело — четыре метра. А? Недурен кобель? И все это плюх — в молоко.

— Молочная ванна? Удаву, как красавице Кавальери!

— Ну да, не то его шкура зверски воняет, этакий специальный удавий смрад. Он на родине привык об траву особую боками тереться, в неволе замена ей — молоко. Каждые две недели ванна.

— Черт знает что! Шехерезада какая-то, — оскорбился Хохолков. — Хотел заработать на удаве, а в результате, чего доброго, его же помои сам пью по утрам с кофе да деньги молочнице отдаю. К черту нэпманов! Небось не зарегистрирован этот удав?

— Зарегистрирован как учебное пособие... Да не шуми, разбудишь тигра, — сам понизил голос естественник. — На показательные уроки Пантелея развозят в пробковом футляре, чем и окупаются его молочные ванны.

— А площадь? — вспыхнул еще Хохолков. — При подобном уплотнении пифону дать площадь?

— Успокойся, Пантелей спит под постелью профессора.

— Вместе с ночными туфлями и прочим... Да это кто же напечатает? Это, брат, хуже мистики! Это черт знает что за быт!

Хохолков схватился за голову, потом плюнул в сторону тигра и помчался опять стремглав в зоосад с последней надеждой впечатлений от хищников.

В зоологическом Хохолков не стал приставать к сторожам, как обычная публика, — где именно сидит тигр? Он выучил план наизусть.

На быстром шагу в полглаза вбирая в себя хищных птиц, одних — донельзя похожих на царских жандармов, других — высоко поднявших мохнатые плечи, как даге-

станцы в бурках, несомненно скрывающих где-то кинжалы, — Хохолков себя удерживал всячески от романтики и сопоставления зверя с человеком: «Госиздат запретил зверям разговаривать. Сопоставишь — ан зверь и пойдет...»

Пустой и легкий Хохолков стал перед клеткою тигра. Тигр сидел на поджаром заду, как собака. Глянув на Хохолкова, он подтянул к седому носу усатую губу, обнажил розовые десны, ослепительно белые зубы и, разинув пасть до опасности разодрать свое горло, стал зевать. И не раз и не два... Зевал на совесть, будто для этого дела он только на свете и жил. Хохолков не выдержал, зевнул было тигру в ответ, но тут же опомнился и сказал гневно сторожу:

— Что это у вас, тигр больной?

— Без дела, что же ему... — и, прикрыв рот рукой, сторож стал зевать не похуже.

Хохолков побрел к удаву.

«Тигровый питон. Python molurus. Живет в Индостане и на Цейлоне. Достигает 4 метров. Самые большие могут съесть добычу весом в 4 пуда».

Удав среднего размера так забился в угол клетки, что за деревом Хохолков его еле нашел. Он готовился, видимо, линять и заранее, чтобы его не трогали, сделал вид, что издох.

— Пантелей, — обругал Python'a molurus'a Хохолков.

Отойдя подальше, он сел на скамью и задумался. Раздражал запах конюшен зверей; неудержимо хотелось, как и им, на простор.

Вдруг кто-то сзади стал нежно, но настойчиво тюкать в спину Хохолкова. Он обернулся, подскочил. Прекрасный чернобархатный бизон толкал его мордой и тотчас, подставив лоб, умным и туповатым взором просил почесать его. Не дождавшись ласки, бизон просунул между прутьев мокрые ноздри и высунул красный язык.

— Сахару хочешь, мерин... — зашипел в бешенстве Хохолков. — С этакой крутой башкой да с рогами. Тебе б затоптать, тебе б забодать! А он са-ха-ру...

И, окончательно не доверяя старой классификации зверей, перевернутой вверх дном аршинным безвредным

ящером и позорной обломовщиной искони хищных, уже без всякой «темы», ни на что не надеясь, Хохолков стал за свои деньги досматривать зоосад.

Перед огромной клеткой павиана толпился народ.

Павиан, чуть присев, сноровисто чистил морковь, ловко зажав очистки в старчески темную руку с прекрасными овальными ногтями.

— Профессор Капченко... — прошептал Хохолков, — и его труд «Бесконечно малые».

И точно. Павиан был профессор Капченко — математик. Или наоборот. Рассеянные, страшно умные, вглубь ушедшие глаза, сутулость, чуть падающие штаны, эти присевшие мохнатые ноги. И свобода мышления до полнейшей безобразицы — эти две символически беспринципные ягодицы под хвостом, то красные, то синие... И, конечно, очки.

Павиан окончил морковь и, держа в напряжении крепко зажатый кулак с кожурой, глянул на публику, уперши длинный нос в мохнатую грудь, точь-в-точь как глядят математики поверх очков, ленясь их себе вздернуть на лоб. Профессор Капченко...

Павиан подошел вплотную к решетке с глазеющей праздной публикой и, просунув ловкую темную руку между прутьев, с силой выбросил всем на головы морковную кожуру. Потом, покряхтывая и чуть топчась на месте, он сделал в публику еще худшую непристойность.

Павиана заругали по-русски так злобно, как ругают лишь вора с поличным. И ругавшие, ну, не мог не видать Хохолков, хотя и запрещено, но до того стали как тот... ну, хоть в клетку. Требовали сторожа наказать обезьяну.

Сторож нехотя просунул в клетку железную пику. Павиан отскочил и, презрительно фыркнув, ушел с достоинством на самый верхний сучок своего клеточного дерева. Там, закрыв глаза и качаясь, погрузился он в созерцание «бесконечных и малых».

Хохолков двинулся к грызунам, где прицепился с мальчиками к жирному кому — сурку. Зверь лежал в клубке без конца и начала и — хоть тресни земля — крепко спал. Озираясь на сторожа, мальчишки кололи его нарочно взятыми чулочными спицами, он чуть двигался и опять засыпал. Хохолков просунул руку и что мочи ущипнул зверя. Сурок даже не фыркнул, только

вместе с сеном, в которое зарыл морду, перевез медленно вглубь свое жирное тело. Что с него было взять? Округлился, закончился...

Против морских львов у бассейна Хохолков увидал вдруг художника Руни, рисовавшего в свой альбом. По этому признаку определив, что, значит, там интересно, Хохолков подошел.

Руни зарисовал двух фламинго.

Египетские священные птицы стояли геральдически симметрично, повернувшись лицом к стене, каждая за трубу отопления засунув длинный свой нос. Изредка они нервно вздрагивали чудесными розоватыми крыльями на красной генеральской подкладке. Выходило, что они отвернулись нарочно, не желая глядеть на воду.

Рядом с художником Руни сторож, приставленный к «аистообразным», не спуская глаз с фламинго, крыл их отборнейше.

— Ну за что вы? — спросил Хохолков.

— Тоже нэпманы и буржуи... Почему классовый гонор? Перевели их сюда, а они с кряквами, вишь, не плавают... а заплошают, так я ж отвечай!

По широкому каналу вперед-взад шныряли, ныряли, крякали, дрались и шумели, как торговки в базар, нырки, шилохвостки, чирки, широконоски и прочий утиный дрязг.

Они клевали кучами на помосте, судачили, ткали сплетню, ругались отверстыми красными клювами, плавали вплоть до угла с отоплением, где, как геральдические изваяния, фламинго из Египта, гордясь розово-пурпурным оперением, безмолвно страдали, но не шли в оскверненную утками воду.

— Покажу я вам классы... — и сторож пошел к отоплению силком столкнуть в бассейн норовистых «аистообразных».

. . . .

Опять приемный редакторский час. Опять Хохолков с тоской глядел в окно на черемуху, как невесту убравшую себя в белый убор. Последнюю делал попытку устроить свой «Красный зверинец».

— Допускаю, вы правы, товарищ, если Госиздат запретил зверю слово, то уподобление зверя человеку — по существу нарушение; профессор Капченко отпадает.

Но фламинги, но кряквы? Разве не сильнейшее оружие логики — вскрытие всюду однородных законов? Эта классовая гордость птиц...

Редактор вспылил...

— Под пером немарксиста, — ударил он, — подобная тема, товарищ, бледна. Удивляюсь немало, вы получали академический паек, а про зверя не можете без никчемных надстроек. Никак уже с четырьмя сели в лужу? Ну, вот вам последнее снисхождение — попробуйте пятого, элементарнейше дельно, хоть так: живет, умирает, удобряет землю... ну и там что-нибудь из копыт. Эх, вижу я, не будет вам летнего отдыха!

— Ложь, — закричал вне себя Хохолков, — ложь — будет мне летний отдых, я пя-то-го зверя нашел!

1926

«ВСЕМИРНАЯ БАНЯ»

По субботам подбашенные ходили в баню. Была у них своя, излюбленная — «Всемирная баня», хоть стояла она не так близко, а в предместье, когда-то воспетом Карамзиным, ныне лысом, без чудесной березовой рощи, лишь обставленной пивными да бакалеей. Звалась баня в царское время «Дворянской», и владелец, стыдясь без заминки перекрасить ее в «Интернационал», хватил — «Всемирную»!

На мужской половине любили в ней мыться фальшивомонетчики. По каким-то особым приметам, в окончательно голом виде они изловляемы были ловкими агентами на полке в сладостный миг поддания пара.

Отдыхают во «Всемирной бане» и дела вершат кто какие: Евланов, Антип Аггеич, с безработным Тигрой свой фамильный ведет разговор. Есть у безработного имя, отчество, как у всех, с крещеных времен, однако и все и сам он забыл уже какие: Тигра — и все.

Лют на выпивку, а за товарища — зверь. С Антип Аггеичем приятели.

— Дела, братец Тигра, потоп, — жалобится Антип Аггеич, — как ни крутись — не вынырнуть.

— И-изложи дело-то! — Тигра подзаикивал малость, и вдруг, захлебнувшись от слова, прядал космами черных волос, будто конь: — И-из-ложи...

— Да за заставой, в монастырьке бывшем, нарез можно взять — сходное дело. Квартиру в новой постройке отводят. Финляндского, слышь, образца, за пустяковый вычет. Знай плодись в ней с фамилией. Три комнаты, воз-

дух, удобство — все это нам подходяще. В фундаменте гвоздь. Под фундамент, благо кладбище рядом, пустили ребята надгробия — древних покойников к строительству привлекли. Надгробье к надгробью. Процементили — чемоданами не взорвешь — первогильдейские камни... И как на грех, под самой под уборной — моей Клаши тетенька. Золотые буквы как жар, камень черный, арапский, будто сапог после ваксы, горит. Он хоть боком подложен, а такой явственный... и не хочешь — прочтешь. Вдова второй гильдии... лет от рождения... в браке пребывания...

— К-клашина тетенька! — вспылил Тигра. — А ты не вяжись с бессознательным элементом.

— Да Клаша нашего корня, ей что! Ты нам мать обломай, «галантерейный ларек Бубиной». Она сейчас в женской парится... Салоп ей тетенька та оставила, ну и религиозные предрассудки: плачет — грех да обида, да покойница шнырять станет по дому. Клашке в квартиру въезжать не велит: лишу, кричит, движимости! Разницы мало составит и без материнского благословения нам вселиться, однако «галантерейный ларек Бубиной» нам желанная движимость, и мы намерены с маменькой быть без скандалу. Выручай, Тигра.

— Дело поправимое, — сказал Тигра. — Второгильдейную тетеньку в позолоте в два счета с арапского камня скорпелкой хватить да зубилом стесать. Сами и стешем. А ты «ларьку Бубиной» забожись, как сукин сын, что это именно ей в уважение десятника подкупил из-под уборной надгробье чтоб вывести.

— По этой линии сам загибал, мало разницы, свое кричит: «Нипочем в этот дом Клашке не въехать, себя ей не заткнуть, а под уборной тетенькин прах вроде как попокоился. В случае надгробие б увезли — все одно: место свято, в него не ходить...»

Задумался Тигра, пряданул волосами, сказал:

— Выходит дело много трудней. К нему требуется совокупный мой опыт, старого режима и новой, уже послеоктябрьской ориентации. Без сурьезной благодарности...

— За этим не станет... и галантереей тебя, Тигрушка, и спиртным. Сведи с тещей на мировую...

— А как у тещи с декретами? — прервал Тигра. — Берет ее печатное слово?

— Пужлива. Про передвижку часов ей как-то прочел, и то в слезы. В сундук слазила, где у ей для последнего часу.

— Отлично-хорошо. — Тигра, видимо, как игрок, увлекся уже самим делом. — Иди узнай, отправилась твоя Бубина аль еще на полку?

Сбегал Антип Аггеич к банщику. Банщик снесся с банщицей — тут все знали всех. Принес весть: «ларек галантереи Бубиной» в предбанной, в общей.

— Ну, готовь выпивку, — сказал Антипу Аггеичу Тигра, — иду теще леса подводить.

Скоро одевшись, Тигра взял свой знаменитый неразлучный портфель и пошел в общий предбанник на ловитву.

Всеобщий Тигра советник — еще с царских времен. По тончайшим делам. В портфеле копии-образцы успешно завершенного. И частного характера и с удовлетворением писанных Тигрою просьб — разнообразнейшим пострадавшим от самого Военно-окружного суда.

Издревле заведено во «Всемирной» в общей предбанной так: выходящие с женской половины, распарившись на полке до того, что в свое дыхание скоро им не войти, во избежание флюсных простуд и для последнего растворенья души, поднеся Тигре что надо, обожают прослушать взамен бумажку-другую из его портфеля.

Особо ходких было две. Первая, еще военного времени, замечательно любимая молодыми — был приказ своей бабе-жене от солдата, получившего вдруг и «владимира», и дворянство, и чин офицера. Конец был такой:

«...Как с ноября месяца в наших жилах текет благородная дворянская кровь, то вы, наша супруга, с простым званием не водитесь, а идите немедля в Гостиный двор и купите себе каракулевую саку: на нее прилагаю. Алферов».

Бумагу вторую, «девицу Ванду», любили старухи и мужами обойденные жены. В ней содержание и лица единолично рождены были Тигрой. Документ он ценил высоко и, хотя знал над женщиной его силу, прибегал к нему в редких случаях.

Общий предбанник наполнился: вышли зеленные торговки, вышли последние, мыться им — не отмыться, селедочные. «Ларек галантереи Бубиной» давно отдувалась на диване. Женщина сырая, дородная, вся в жирных мешочках, глаза чуть прорезаны.

Отлегло у Бубиной, оттомилось в пару сердце, пришли мысли уветливые: долго ль жить уж самой? Новых радостей не искать, все позади. Молодым теперь жить. Ну и пусть себе как хотят. Одна треба — стариков не неволь. Окостенелый прут перегнуть — сломится!

На этих мыслях и благоволительном выражении лица словил Бубину хитрый Тигра, от души предложив прочесть вслух любимую ею «девицу Ванду».

— Вот, Тигрушка, угодил. Дорого яичко в Христов день...

— «Ванду» прочтет... — понесли зеленные к фруктовым, дошло до селедочных: — «Ванду»! — Всем честь и место — широки скамьи во «Всемирной»!

И в сотый раз, подзаикивая и томно фигуряя голосом, прочел Тигра подбашенным торговкам старинного корня:

— «В Военно-окружной суд — девицы, а ныне дамы Ванды Повзик — прошение!

...Некто Франц Дуля, состоя в должности военного писаря, как кавалер, стал ухаживать за мною. Первоначально ухаживания носили обычай симптоматического характера...»

— Сим-пто-ма-тический! — и вздохнул Тигра: — Вот слово. Да, за него деньги стоит платить. Мало кто подобное слово и знает!

Тигра увидел, что зеленные передают фруктовым пару пива, что звякает то тут, то там мелочь, повел дальше голосом нараспевку, как дьякон, возглашая ектению:

— «...Озаренный любовью ко мне, ввиду клятвенного обещанья о женитьбе. Ему было разрешено, в присутствии моих родителей, присовокупиться ко мне. Спустя правильный период времени родился мальчик, нареченный Ян Францевич, подразумеваемый Дуля. Между тем обусловленный жених, старший Дуля, начинает увертываться от своей виновности, пренебрегает день свадьбы и даже относится отрицательно своим плоцким вож-де-лением!..»

Октавою возгласил Тигра, а предбанные ровно певчие хором:

— Все они этак-то... Мужчина, что петух!

Но покрыл Тигра хор басом:

— «...Убитая горем и невольным сюрпризом, прихожу в отчаяние и никак не могу примириться с голосом совести Франца Дули...»

И хор:

— Ищи, кто помирится.

Опять Тигра:

— «...С клятвенным обещанием, тем, что послужило в залог несчастнейшей любви...»

— Клястись клялся, да с другой обвенчался!

— «...Тем воспоминанием своей целомудренной девственности, навеки утраченной...»

— Снявши голову, по волосам, брат, не плачут!

Захохотали было. Тигра прервал угрожающим завершительным звуком:

— «...почему обращаюсь покорнейше в Окружной суд присудить на воспитание его, Франца Дули, подразумеваемого сына, Яна Дули, ту долю, что значится в своде законов. А именно...»

Не дали окончить, со всех скамей распылались:

— Еще б не значилось? Ты носи, ты роди, ты корми!

— «...Наряду с этим, принимая во внимание ценность личного целомудрия и растления, кои обусловлены в сельском быту в тысячу рублей, прошу присудить уже мне лично...»

— Что-то дорого — тысячу.

— У нас в Пензе дешевле стоило!

— Эк хватила, у нас вовсе задаром.

— Тише вы... Кончай, Тигрушка!

— «...Обожая себя и родителей моих, воспитавших меня столь прелестной для хитрого человека, прошу уважить сие ходатайство».

Бубина плакала. Голос спросил:

— Что ж, уважили?

— Оп-ре-де-ленно! — сказал нагло Тигра. — И ежемесячно и единовременно за труднопоправимую утрату целомудрия.

Пред Тигрой выросло пиво, пирожные, в кучке мелкие деньги. Одна за одной стар и млад зашептали ему в ухо про дела свои тайные.

Важно привстав, рукой отвел Тигра:

— Очередь!

Но, упершись взором в дверь, он увидел у выхода из мужской бани приятеля, Антипа Аггеича. Тигра пошел к нему, взял крепко за руку, подвел к рассыревшей от бани и чувств теще Бубиной. Вскидывая чубом, будто конь, и страховидно вращая глазами, Тигра выпалил торжественный манифест:

— В скорое время, едва обнародован будет декрет о сочувствии китайскому движению, всякое сопротивление, оказанное родственниками, включая обыкновенное словесное осуждение, — при вселении желающих членов в новые постройки, для пролетариата возведенные на надгробиях древнего стажа покойников, будут преследуемы по за-ко-ну!

Факт помещения надгробий древнего стажа покойников ориентируют фактом сочувствия китайскому движению. У китайцев, граждане, покойника полагают в изображение каменного разверстого ложесна, якобы в недро матери для легкости обратного хода, откуда пришел. А полагая туда, гордятся немало подобным местом. Но ежели это по-русски назвать — то это позабористей, гражданка Бубина, чем нежели уборная, вас оскорбившая при посильной услуге ей бывшими предками.

— Ох, Тигрушка, — томная стала Бубина, — после пару поплакать охотка, а ты декретное. А от декретного тело дух не примает. Да разве я дочке Клашеньке что? Я ничего.

— За твое «ничего» — запрещение торговли в ларьках! Без промедления отдавай дочери Клавдии движимость! Едва выйдет декрет, ни малейшей помощи, гражданка Бубина, во мне не ищите, — ваши чувства к надгробиям полны лжепредрассудков белой гвардии!

— Дам и движимость и нерушимое... — плачет Бубина, — одно лишь уволь: самой чтоб в подобный-то дом ни ногой!

— При свидетельстве отдачи движимого увольняю! — как поп, разрешил Тигра и соединил руку Бубиной с рукою Антипа Аггеича.

1926

САЛТЫЧИХИН ГРОТ

В этом подмосковном поселке отцы торгуют. Давно обсиделись на льготно закупленных в военное время нарезах. В первые годы революции порастрясли было мошну, а уж сейчас ничего — оперились. Открыли кубышки, пообстроились, заборами обнеслись, георгин насадили. Ходят к обедне в двухэтажную церковь: зимой в теплый этаж, летом — в холодный. И цель жизни нашлась — подсидеть кооперацию.

Новый быт не то чтобы приняли — прижились, как половчей. По началу прокляли было двух-трех дочек за совбраки, да умом пораскинули и скоренько смирились: бездетный брак что холостой выстрел: пугнуть пугнет, а вреда не видать.

И подмигнет, подтолкнет отец отца: опять-таки эта «охрана материнства от младенчества!»

Пусть советится, пока зелена, пробьет срок — выглядит себе кого путного; а очистится с ним по-церковному, с благословением оброжается — можно зятюшке и дела передать... И сыновьям в комсомол отцы идти не препятствуют. Неровен час, заявят куда надо сыновья о бессознательном элементе в семье... Ведь пронесли уже где-то плакат:

ДОЛОЙ БЫВШИХ РОДИТЕЛЕЙ

Лавочники народ кастовый, носы у них с набалдашинкой, пальцы пухлые, что личинки майских жуков. Пальцы наметаны товар с барышом принять и отвесить себе без урону...

Два мира в поселке, и не только в поселке — в каждой семье. Да вот хотя бы Творожины сестры: Зоечка, довоенного времени перестарок, да подросток Ирка — пионерка.

— ...Ручаться за то, Зоечка, что она ела именно женские груди и младенцев, я вам не могу, но удостоверено исторически: Салтычиха загубила более сотни своих крепостных. Она жертвы свои била скалкою до собственного изнеможения, а гайдуки при ней добивали плетьми...

— Ужас, ужас, — пищит Зоечка, — а про ужасы я слушать совсем не хочу.

И вот же неправда — Зоечка ужасы очень любила: в кино бегала на «Кошмар инквизиции», на «Застенки царизма». Но ведь ей этот внезапный знакомый показался из тех, ну, из прежних, которым так нравились девушки у Тургенева.

А Петя Ростаки, освеживший для собственной цели в исторических справках нужный ему материал, с удовольствием продолжал:

— Доносы на Салтычиху были столь многочисленны, что обратили, наконец, внимание Екатерины. Приказано было выставить ее на лобное место, в саване. На груди у ней было написано: «Мучительница и душегубица»...

И опять Зоечка:

— Ужас, ужас...

— Салтычиху заключили под своды монастыря в подземную тюрьму. Пищу давали ей со свечой, и когда народ жадно кидался к оконцу, она дразнилась языком и плевалась. В старости стала непомерно толста, что не помешало ей завести роман с тюремщиком. Просидев тридцать лет в склепе, похоронена в почетном Донском монастыре. Кряжистая баба. И вот, попрошу я вас, Зоечка, дополнить мои сведения современностью и показать, что же осталось от древности в дни аэропланов и Советов?

Голубым глазом Зоечка глянула вбок, ерганула плечиком и, жеманясь, сказала:

— Пойдемте в парк, я вам грот покажу. Но почему вы так хорошо знаете историю?

— Я исторический романист, — сказал Петя Ростаки, — псевдоним мой — Диего, зовите меня этим именем.

— Диего, дон Диего... ах, это звучит...

Петя Ростаки почти не соврал. Он пока дал в газетку содержание двух кинофильм, но он собирался начать отдел «Подмосковные вчера и сегодня», для чего и приехал в былое поместье злободневной сейчас Салтычихи.

Петя Ростаки за время революции хорошо прирабатывал наклейкой резины к дырявым подметкам. У Пети припрятан был клей довоенного времени, и благодаря ему подошвы отдирались много поздней, чем при их подклейке советским клеем-профессионалом, ассуром.

Но клей довоенного времени у Пети весь вышел, а сердечное увлечение выгнало из удобной квартиры дядюшки в сквозной чужой коридорчик.

Когда фининспектор по доносу о подклейке калош зачислил Петю в кустари-одиночки, дядя, крупный совслужащий, сказал ему: «Каждая сила действует в своей категории. Твои же дела болтовня: регистрируйся журналистом!»

— Изучив прошлое Салтычихина грота, я приехал сюда за красками современности, — сказал Зоечке Петя Ростаки и шаркнул: — Предполагаю получить эти краски от вас.

Изогнувшись всей своей серенькой летней парой, сверкнув на солнце желтыми ботинками, Петя сорвал во ржи василек и галантно поднес его Зоечке, а шедшая сзади Ирка-пионерка подумала про себя: «О-го! У Зойки старорежимные фигли-мигли».

На перекрестке парочка свернула в парк, а Ирка к реке. У Ирки на плече было мохнатое полотенце, она шла купаться. Хотя она то и дело кидалась через канаву нарвать налитого белым соком овса, чтобы сжевать его набок, как лошадь, — она попутно, настороженным пионерским оком, не упускала ничего.

Еще издали, заприметив мальчика с таким же, как у нее, красным платком на шее, она, как ружье, вскинула над головой правую руку с пятью смуглыми пальцами, в знак того, что она и в эту минуту, когда идет купаться, как и в прочие минуты своей жизни, готова освобождать все пять стран света от гнета мирового капитализма.

— В звене доклад «Детдвижение», смотри, Крамков, не ужиливай!

Вздымая пыль крепкими пятками, показав тоже пять пальцев, Крамков пробежал дальше, а Ирка заторопилась к пруду.

Она купалась теперь на закате, потому что утром, когда нагрянут все дачницы с детьми и с полосканьем своих комбинешек, всякий раз хочешь не хочешь заварится склока.

— Полоскать частное белье в общественной воде — это, граждане, антиобщественно и антисанитарно!

Ирка ненавидит кружевные буржуйные комбинешки.

Старые дачницы злятся, и как помнят ее еще годовалою, то обидно язвят:

— В мокрых штанах тебя видели, тоже большачка!

Оно, конечно, Ирке надо бы с заявлением на дачниц идти дальше, к самому поссовету, да связываться с ними, с комбинешками, недосуг, — вот и решила купаться в пруду на закате.

Не до дачниц Ирке сегодня, на днях событие в звене: сместили вожатого за то, что «бузил» вместе с звеном, и сегодня новая вожатая, Клаша Копрова, выступает в первый раз.

Ирка быстро разделась и, ежась от холодной воды, от чего худые лопатки затопырились как крылья, медленно выбирая подошвами песчаное крепкое дно, шла до тех пор, пока ей было по горло, потом вдруг, выбивая фонтаны, кинулась плыть к камышам. Там, сорвав банник, бархатную щетку вокруг твердого стебля, она взяла его в зубы.

Лежа на спине, как плавниками трепыхая чуть-чуть кистями рук, не выпуская из зубов банника, Ирка смотрела, как розовеют барашки, оттого что бегут над ней в небе прямо в закат. Вышла на берег, а там опять дач-

ницы. Хоть и не купаются, а так, зря натолклись, на пруд поглядеть. Ну молчи, коль любуешься, а то разговоры... да о чем! Все ворчат, все корят молодых: на проезжей на дороге загорать полегли!

— Советские нравы... обучили кого в трусиках, кого — «долой стыд!»

— А прежде-то? И рада б иная попышней, чтобы мужчина в щелку в купальной на нее посмотрел, — а он в щелку и сам-то стыдится, разве что в бинокль из кустов.

— Сейчас оба пола сравнялись, безо всякой без разницы живут.

Мелькнули в березках: голубая в оборках Зоечка и серая пара, желтые башмаки — Петя Ростаки.

И сейчас дачницы Папкова, Чушкова, Краузе:

— Кто с Зоей? Чей он? Откуда?

— Мы в одном вагоне из Москвы ехали. У меня сидячее место, а они себе на площадке знакомились, — закумила Папкова.

— У теперешних просто: раз, два — и под липку.

— Эта Зойка готова хоть на шею козлу...

— Она и с бандитом не прочь.

— А кто поручится, что он не бандит? Железнодорожный мужчина и в наше время был самый опасный мужчина.

— Бандиты, что кооператив наш обчистили, тоже были в серой паре, чудесно побриты, в руках тросточки, совершенно эстрадники. Когда все открылось, их наши дамы прозвали бандиты-шико. Троих взяли, один убежал.

— Может, он?

— Опре-де-ленно!

И Папкова, Чушкова и Краузе, три сезонные сплетницы, на досмотр кинулись в парк. Ирка, с мохнатым полотенцем, — наперерез, прямо к гроту свиданий, Салтычихину.

Зоечка, с Петей Ростаки, плыла по аллеям. Овевал ее ветерок сладким липовым духом, засматривал ей в голубые глаза Петя — дон Диего, не сразу выталкивая слова, как бы в них не уверенный, что казалось ей воспитаньем и скромностью после обхождения теперешних. В частой улыбке Диего обнажались мелкие острые

зубы, в серо-зеленых глазах, чуть прищуренных, было хищное и смешливое, как у щуки, хватающей пескаря.

У самого пруда, над глубокой пещерой древней каменной кладки, росли две огромные березы. Уже добрую сотню лет березы склонялись далеко над входом своими бело-черными, как горностаевый мех, стволами. Их плакучие ветви кружевной завесой спадали перед входом, то тут, то там пропуская в просветы днем синее небо и пурпур знамен пионеров, а ночью, пока влюбленные пары еще могли наблюдать, зеленые светляки лампионов театрального сада им здесь подмигивали цветом вечных надежд.

— Здесь должно быть чудесно в лунную ночь, — сказал Диего и, помолчав, прибавил: — Сегодня будет именно лунная ночь.

Из кустов глянула еще мокрая от купанья голова Ирки-пионерки, и, всей рукой подманивая к себе Зою, она, запыхавшись от бега, прошептала ей:

— Брось фигли-мигли с буржуем! Папкова, Чушкова и Краузе уже раскумили, что это бандит.

— Да как ты смеешь...

— Бессознательный рудимент! — Ирка гневно исчезла, а Зоечка, зардевшись, сказала Диего:

— Поселок вас возвел уже в чин непойманного бандита-шико. Вот вам и тема.

Диего залился, обнажая свои мелкие щучьи зубы, а Зоечке вдруг чуть-чуть страшно: а если он и вправду бандит? Теперь такие необыкновенные пошли вещи. И чем, скажите, зарабатывать бывшим дворянам? И тут же Зоечка: а если бы он, как Дубровский Троекурову Машу, — меня полюбил...

Папкова, Чушкова и Краузе, рука под руку, сомкнутым строем, звеня серьгами и браслетами, вдруг надвинулись к гроту. Поровнявшись с Зоечкой, они проглотили глазами дон Диего с его желтыми башмаками, серым костюмом и канули в столетний липовый мрак.

— Они будут подглядывать. Идемте на открытие клуба. Их стенгазка срамит, они туда не суются...

Зоечка перестарок, хотя так моложава, что все без колебаний зовут ее просто по имени, как она любит. Она из той несчастной полосы, которую революция уже застала окончившими прежнюю школу и расположившими

будущность в твердых днях. Октябрь как лукошко с грибами опрокинул все ее планы. Хорошо — хоть хватило у Зоечки сметки поселиться с последней не вымершей теткой здесь, в поселке, где хоть малый домишко, да свой. Однако зависть берет уж на Ирку и прочих знакомых подростков. Как ладится у них все, без морщинки. Пионерки, потом комсомолки, идут со своими гуртом. Свой у них клуб, свои кавалеры. Им жизнь, как свежая тропочка, далеко вперед кинулась, а у Зоечки — оборвалась. Вот с самой с последней надеждой и хватается за последнего... вроде как из прежних.

— А что ж, ваши кумушки и по ночам ходят в грот?

— Ах, что вы! Сейчас ни за что! Их мужья запугали налетчиками. А у Чушковой, например хоть, только в праздники брильянты, а в будни стразы...

— Вот мещанка, ужели стразы?!

— Но даже их бережет она пуще глаза! А в праздник видали: четыре браслета, по два на каждой руке, представьте, а у Папковой на ноге, с ним купается, и с серьгами, перстнями... Ювелирная лавка!

Петя Ростаки залился, обнажая мелкие щучьи зубы:

— Сегодня праздник, значит гражданки в крупной цене. Ну, пойдем при луне в этот грот!

Волнует Зоечку взор Диего, и смех, и щучья улыбка: нет, нет, не бандит — он Дубровский.

В бревенчатом здании поссовета, в просторной комнате происходило открытие клуба.

Первым с лекцией о текущих событиях вышел товарищ Довбик. Он ступал по сцене, как статуя командора, камнем стуча каждый шаг, отчего задняя декорация трепетала. Он сейчас же перешел, ввиду богомольности поселка, к антирелигиозной агитации.

С шиком развернул гремучую змею длиннейшего плаката под огненным заголовком: «Сколь ни поддавайся — проглочен не будешь!»

На плакате изображен был Иона с серой бородой, в красных трусах и в десяти позах, наиудобнейших для кита. Но для всех десяти, не исключая той, где Иона хитрым сплетением рук и ног обратил себя в круглый футбольный мяч, горло кита пребывало ему совершеннейшей непроходимостью.

При бурных овациях товарищ Довбик демонстрировал «научно точные» диаметры китовой глотки и в кратчайшем делении Иону.

Эстрадные номера возвещал приземистый беспартийный. Он обещал в будущем вполне революционную программу, но лишь сегодня конфузливо предлагал прослушать, по бедности, одни только «местные силы».

— Лучше, товарищи, открыть клуб ими, нежели ждать именно у моря погоды, потому справедливо, что необходима пища не одна именно телесная, а как сказано: «не о хлебе едином жив будет человек».

— А какого, извиняюсь, вождя эта последняя, товарищ, цитата? — поддевают беспартийного...

— Гляди, расцитатят в стенгазке.

На сцене неизбежный «Монолог сумасшедшего». Некто в халате, с побеленным на совесть лицом, с «Чтецом-декламатором» в правой руке.

— Это вполне спец. Откалывай, Бобриков!

Бобриков схватил венский стул, швырнул его к дверям, зарычал, поймал снова, потряс над головой, скосил к носу глаза, замахнулся на публику и, польщенный женским визгом, изрек:

— Из Мазуркевича.

После Бобрикова девушка прошлого века в полосатом шарфе сказала:

— Из Соллогуба-поэта, — как говорили, бывало: «Абрикосовы сыновья».

Инфернально завернувшись в свой шарф, она, сколько полагалось в стихах, полетала «на качелях», взвизганула «вверх-вниз» и совсем, как когда-то светские дамы, подражая цыганскому пенью, полоснула в конце:

— Чегт с тобой!

— Этот номер в мое время московский хор в пении выполнял, а нынче времена попостней, — сказала охотница до зрелищ старуха Жигалиха, а Ирка-пионерка с компанией встала, не желая слушать буржуйных стишков.

В пустой комнате за сценой они пошли составлять свежий лист стенгазеты. Мимоходом не утерпела Ирка и опять шепотом Зое:

— Брось фигли-мигли, не то включим тебя в «язвы поселка».

— Если осматривать все здешние раритеты, то нам пора уж в театр, — сказал Зоечке Диего. — Надеюсь дополнить там свой фельетон «Нэпман на даче».

Они пошли к театрику «Муза» с красным флажком на воротах. Из оконца кассы выклюнул дятлом кассир и торжественно объявил:

— Предупреждаю вас, граждане, уже билетов ниже полтинника нет!

У кассы был весь поселок, от матерей с грудными до юных таитян с картины Гогена, в одной легкой сеточке, гордившихся голым бицепсом.

Рядом с будкой кассира висела афиша с анонсом пьесы, прошумевшей в столицах.

— Актеры! Актеры! — И мальчишки, поправив наскоро ремень плоской коробки с товаром на рубль, стрельнули встречать.

— Сама императрица прет, свои чемоданы несет, здаро-вая! — кричали мальчишки.

— А ведь похожа, я живую видала. И только подумать, из придворной кареты точно так выходила, а я таким же манером ей в спину...

— Только уж сама-то, чай, своих чемоданов тогда не носила.

— Гражданин кассир, почему именно нет имен на афише?

— А имена нам к чему же! Афиша давно напечатана, а уж труппу потом... подбираем на бирже. Кто свободен — один к одному лепим спектакль. На выезд, в дачное место каждый идет на две роли. Есть которые и на три... вот один во дворе никак уж в князья гримируется.

— Ишь ты, под небесное под освещение, эх, граждане, с голоду это небось!

Несмотря на зеленые шкалики, мерцавшие в зелени, в театральной уборной электричества почему-то еще не было, и актер, черняченький, с волосатой грудью, мастерился под наружное освещение застегнуть на золотые запонки стоявшую лубом крахмальную грудь. Он гневно кричал в публику:

— Черт знает что, — когда ж дадут электричество?

— Опоздать им, вишь, нежелательно, — пояснял лавочник, — на голых досках все бока здесь в театре обмять.

— Дачники не прежние, приглашать не тароваты, сами-то большинство полупролетариат.

— Вы по пьесе кто будете? Министр или князь? — жеманится дачница перед высоким носатым блондином.

— А вот угадайте?

— И меня угадайте.

И на скорую руку тотализатор. Ставят дачницы на актеров карамель «Иру» и конфету «Мишку» — наживают мальчишки.

Во дворе из-за князя, победившего крахмальную грудь, глянули воронова крыла парик, нос крючком, из-под носа черная как смоль борода. Борода сказала брюзгливо:

— Мы в сараях ночевать не согласны!

— Это сам... — зашептались в публике, — это сам.

— Опоздаешь, на аглицких на пружинах поспишь, — крикнул из гущи голос, — всю труппу Собакин с выпивкой приглашает.

— У Собакина в кармане вошь на аркане, в луже спит, самогоном налит, го-го, не доверяйте, просвещенные артисты.

Наконец расшипелась, заработала станция, всюду вспыхнуло. Открылись двери, и, заглушая визгом звонок, ринулась публика «стоячего» места. За ними публика выше и ниже полтинника.

— Вот они в ложе, глядите, — сказала Зоечка, — как иконостас разукрасились. Об нас шепчутся — Чушкова, Папкова и Краузе.

— Я бандит-шико, а вы моя жертва! Уж не войти ли мне в роль?

Появился пред началом антрепренер, он же суфлер, он же великий князь — героическое лицо пьесы, просил снисхождения за то, что гастролеры играть будут без декораций, без многих действующих лиц и опущенных за поздним часом нескольких действий. Он выражал надежду, что граждане найдут в себе достаточно собственного революционного воображения и заполнят сцену всей роскошью придворных и прочих буржуазных покоев.

На пустой сцене, с красным клопиным диваном и симуляцией двух телефонов на дешевых стенах, металась короткая полная «фрейлина», торжествуя по поводу соб-

ственных именин до тех пор, пока сторож театра не возник всей персоной без малейшего грима в открытых дверях.

— Здорово, товарищ Сигов, — узнали из публики.

Сигов, как давно надоевшую ему и вполне обычную вещь, возгласил:

— Их императорские величества.

Под руку вошли пренарядная, в дутом браслете, немецкая бонна с худым русявеньким денщиком, и началась по пьесе завязка последних дворцовых интриг.

Вот немка-бонна села на стул и взяла в руки «Прожектор», а денщик, рассказав ей о перемене погоды, двинулся было к выходу на прием во дворец. Но полная фрейлина, вспомнив, что она «бывшая фаворитка», стремглав ринулась ему на шею.

— При живой-то жене! — и кричала и сердилась за отсутствие иллюзии публика. Кое-кто урезонивал:

— Да жена ведь не видит, гляди, в «Прожектор» уперлась.

— В самый в приезд иностранных гостей!

— В посещение германских рабочих СССР. Кусай себе локти, кусай, небось наша взяла!

Ах, какой скандал! Нет, Зоечка больше не хочет смотреть, лучше одной сидеть и мечтать, чем подобный театр...

— Почему же именно одной, если вдвоем? — И пожатием ручки Диего: — Вы пошли навстречу моим пожеланиям, пройдемте сейчас в парк прямо к гроту.

В парке березовые стволы томно белели горностаевым мехом и в грациознейшем менуэте то взвивался, то мел по земле кружевной шлейф ветвей. Луна стояла над липами; кусты дрожали от ее перебегавшего света, клумбы пахли левкоями.

— Плети турецких бобов — как лианы, и священной пагодой индусов предстает нам Салтычихин грот, — продекламировал Диего и, раздвинув ветви, вошел с Зоечкой в пещеру.

Здесь было сухо, тепло и совершенно чудесно. Вороненой сталью подбегала вода к песочной тропке у самого грота, а отбежав, серебрилась луной.

Диего, не сказав подобающих слов, захотел попросту целоваться. Вот еще — говорить? За слова теперь деньги дают. Но оскорбленная Зоечка ему с сердцем:

— Сперва заслужите, нарвите купавок. — И слабые руки толкают: — Вон! Вон! — И кокетливо:

— Если нарвете из середины пруда, я вас поцелую. Купавок, и желтых и белых.

Отбиваясь от объятий Пети Ростаки, Зоечка вытолкнула его вон из грота, и сама за ним вслед на песочную дорожку. А на дорожке-то?..

На дорожке, облитые луной, сомкнутым строем, рука под руку стояли: Чушкова, Папкова и Краузе. Они были зелены и безмолвны и, казалось, лишились движенья, едва Петя Ростаки, качнувшись с разлету, остолбенел перед ними.

Мгновение, с неимоверной быстротой, чуть сопя, одна за другой Папкова, Чушкова и Краузе стали снимать с себя кольца, серьги, часы и совать ему в руки. Потом, все трое, не вскрикнув, без оглядки, они устремились в аллею, как тяжелые камни, которые метнул великан из пращи.

Петя Ростаки бегущим кинулся вслед. Остановился. Его сердце билось, разбежались мысли. Одни руки поняли... руки стали совать по карманам кольца, серьги, часы.

— Бандит! — вскрикнула Зоечка и упала во весь рост на песок.

И, как человек, за минуту ничем не отмеченный, вознесенный в вожди, себя ощущает вождем, — Петя Ростаки, едва прозвучало: «бандит», стал вести себя с твердым знанием дела, как ведет удачно ограбивший.

Свернул в темную чащу, ускорил шаг, однакоже не до бега. Сел не на полустанке, а на большой станции в поезд. Наутро в ломбарде на предъявителя заложил вещи, взял билет на юг, и только сидя на «мягком месте» и затягиваясь давно не куренной сигарой, он сказал сам себе:

— Хотел или нет, в конце концов я все-таки, значит, того... сделал «экс».

А Зоечка?

А с Зоечки снимали долго допрос, с каким именно незнакомцем была она в вечер ограбления на открытии

клуба и в театре. Зоечка искренно плакала, что не знает, кто он.

Скоро Зоечку отпустили вследствие показания пострадавших Чушковой, Папковой и Краузе, «что напавших на них было трое, преогромного роста, с противогазовыми масками на лице». Еще все три показали, что лишь необычайным самообладанием и отдачей всех золотых вещей им удалось спасти свою главную драгоценность — женскую честь, похищения которой вышеуказанные бандиты главным образом домогались.

1926

ХУДОЖНИК-МУДРЕЦ

I

В архиве, оставшемся после П. П. Чистякова, в черновике его письма к отцу есть знаменательное лирическое отступление. Сначала будто описывается действительное происшествие, но затем следует фантазия автобиографическая, доказательством чему служат инициалы: П. Ч., данные герою, художнику «без языка».

Вот этот набросок:

«Была теплая лунная ночь. В одиннадцать часов на углу Рипетто и Кондотти, прислонясь к стене у трубы, стоял человек и горько плакал. Проходил патруль — три французских солдата и два римских карабинера. Фигура стояла неподвижно, — их это поразило, и они подошли узнать, в чем дело. Среднего роста, в синем пальто и такого же цвета шляпе иностранец встрепенулся, услышав шаги, мутно и упорно посмотрел на них и, проговорив что-то по-итальянски, тихо, не оглядываясь, побрел вдаль по направлению к почте. Карабинеры следовали в расстоянии, пока не скрылся он, поворотивши направо, в бесконечных и непроходимых улицах этой части города. Карабинеры, продолжая идти по тому же направлению, увидели его еще раз, переходящего маленькую пьяцетту S. Appollinaria; тут он остановился, посмотрел и, отворив ключом тяжелый портал одного древнего палаццо, — скрылся. Карабинеры пошли дальше.

На другой день, часов в семь вечера у... собрались к обеду русские художники. Лица у всех были несколько

повытянуты и грустны; здоровались молча, взглянув, значительно покачивали головой.

Утром, в тот же день, они узнали, что в палаццо Альтелис на лестнице, ведущей наверх в студию их товарища, найден сидящим в углу неподвижно и без языка товарищ их, художник П. Ч. Сидел он притулившись, испуганно уставив в одно место глаза, на веках виднелись слезы, и ничего не говорил и не отвечал.

Прошло три дня. Он тихо умолк навсегда, несмотря на старания докторов и товарищей. Так молча и умер, из глаз катились слезы».

Символическим оказался этот трогательный образ «художника без языка» в судьбе Павла Петровича. Ведь безнаказанно ни до каких глубин не доходят, а углубленность познания в искусстве особенно трагична познающему, как *выразителю.* Она — то же видение «рыцаря бедного», после которого, не находя слов, достойных выразить «непостижимое уму», рыцарь умолкает вовсе.

Художнику трудно сохранить свою творческую продуктивность при замене младенческого, непосредственного восприятия — *глубоким осознанием самого существа искусства.*

Даже титанической силе мастеров Возрождения удалось развернуться во всей своей широте, быть может, только потому, что силу эту оберегал век исключительного поклонения искусству.

В условиях менее благоприятных, при осознании искусства как единственного *непреходящего бытия,* жизнь неминуемо ставит вопрос: чем жертвовать? Кто должен кого поглотить: человек художника или художник человека?

Обычно вопрос решается бессознательно, но те немногие, у которых уклад этически-религиозный так силен, как это было у А. Иванова, Гоголя и Чистякова, переживают малопонятную для окружающих, но столь потрясающую трагедию, от которой, признавался Гоголь, у него «все внутри расстроено».

«Не знал я, — пишет он Плетневу, отказываясь от работы в «Современнике», — как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека».

Гоголь не вынес своего художественного откровения, он зачеркнул себя — художника и погиб. Но и в случае выхода благополучного и сохранения творческой продуктивности у тех, кто, подобно Данте, научился смотреть на солнце дольше других людей, наступали неотпускающие муки: *невозможность окончить начатое.*

А. Иванов, самый близкий по духу П. П. и любимейший его русский мастер, всю жизнь будет писать своего Мессию, с тем чтобы привезти его все-таки из Италии неоконченным, говоря с горечью, что для окончания картины уже «ни у кого не только денег нет, но и терпения дожидаться; итак, я покоряюсь и беру на плечи Крест».

И как же иначе, если, по словам его, он работает только чтобы удовлетворить вечно недовольный глаз свой, нежели для снискания чего-то.

Этот вечно недовольный глаз, от несоответствия *постигнутого с выполняемым,* заставит и П. П. Чистякова начатую в Италии «Мессалину» не только не окончить всю свою жизнь, но с мудрым великодушием сказать: пусть на ней учатся, как *не надо* писать!

Помню, стоял он в своей мастерской перед этим громадным холстом. Солнце ярко падало на осевшую на пол, обессиленную страхом Мессалину. П. П. сказал: «Ишь, солнце-то! Световую задачу и разрешило. Убийцы-то вон в какой глубине. Я во всю жизнь не добился, а солнцу — момент».

Он в своей черной шапочке, круто выступает орлиный нос, а глаза, яркие, глубоко сидящие, смотрят далеко.

О чем-то, видно, давно стоит тут и думает. По обычаю своему, увидя все равно кого вошедшего, говорит он этот последний свой вывод: «Ну что же, на мне пусть и учатся, как не надо... »

Молча глянул на стоящее рядом с Мессалиной «Благословение детей», на монаха, про которого пояснил: суда Страшного боится. Выписанные в свету, сжатые крепко руки, лицо в тени. Обе картины не окончены. Дальше Аннушка — красавица-боярышня с косой, еще дальше «Свидание» на тургеневский мотив. Все не кончено...

Помолчал и сказал:

— А ведь большие у меня знания! Только работу свою не угадал. На миллион лет жизни рассчитывал.

И хорошо бы вышло, если б миллион. Все бы поспел.

А. Иванову для того, чтобы привести в исполнение его замыслы о грандиозном храме и выполнить все композиции, едва ли понадобилось бы времени меньше. Ведь и для того, чтобы оставить все то, что он нам оставил, пришлось художнику пожертвовать в себе человеком. Многолетняя нужда, оскорбления невежд, приставленных следить за его работой, мания преследования от одиночества и неудач — все ради собственного требования «самоотвержения вполне» — во имя искусства.

«Самопожертвование вполне» было присуще и П. П. Чистякову, но выражено оно было в форме, для художника мало обычной. Свое живописное откровение и себя самого, как человека, он роздал всем, кто хотел и умел у него взять.

Отсюда слабая продуктивность живописца, неоконченные вещи, неосуществленные замыслы, но отсюда же почетное звание «единственного учителя», честь творца «школы». А для тех, кто подходил к нему ближе, и пленительная мудрость своеобразного философа.

Родился П. П. Чистяков 23 июня 1832 года в селе Прудах, Тверской губернии, несуществующего сейчас уезда Весьегонского.

Пруды — имение генерала Афанасия Петровича Тютчева, у которого крепостной его человек Петр Никитич Чистяков был управляющим. Петр Никитич женился на четырнадцатилетней крестьянке Анне Павловне Найденовой, выкупленной им от помещика соседнего села. В бумагах сороковых годов она числится «женкой крепостного человека». Помещик Тютчев очень любил своего управляющего, а вольной ему не давал; но всем его тринадцати детям, трем мальчикам и десяти девочкам, вольная давалась при крещении.

П. П. Чистяков, третий сын Петра Никитича, пробыв от рождения три дня в крепостном звании, как и старшие сестры и братья, получил свою вольную.

Часто за вечерним чаем, в светлой столовой, затканной живым виноградом, любил П. П., если был в духе, вспомнить свое детство. Сидит, бывало, на кресле за очень узким длинным столом; против него «Преображение» Рафаэля на стене. На голове неизменная дома

Тицианова черная шапочка, мягкий серый халат, как на последнем портрете В. Е. Савинского.

Говорит П. П. по-тверски, с сильным оканьем, кратко, ясно, по-своему. По манере, богатству интонаций, по нелюбви к округленной длинноте разговор его совсем иной, нежели большинство писем, переписанных с черновиков. Главная прелесть в внезапности образа, в меткости слова, пущенного на «о». При этом — глубина и охваченность искусством до пребывания в нем, как в событии личной жизни.

Хотя много болел он в последние годы, но если спускался сверху по лестнице к вечернему чаю, всегда веселел и оживлялся. Как только сойдет — сейчас к нему звери: толстый белый кот вспрыгнет на колени и убежит, за ним нелепый пес Чурка затычется мордой.

— Это он на мне кота нюхает! У меня, когда я был маленьким, тоже кот такой жил, это когда я в Прудах учился с сестрами у пономаря, да выучиться ничему и не смог. На Илью-пророка все смотрел, образ отличный висел. Так из-за Ильи-пророка азбуку и не выучил. Перешел к Нефеду-писарю, потому что он лошадиные морды умел рисовать; и у него ничего не выучил. А вот лежал как-то с азбукой под забором да читать вдруг и начал.

По десятому году в Красный Холм отдали, в приходскую школу. Жил тоже у пономаря. На полу спал, под образами. Да там из угла перспективу тоже вдруг понял и на всю жизнь полюбил.

А в Красном Холме я стал первым учеником...

— Нет, братец, вы говорили, Миша Суслов-то первый, — оторвется вдруг от посуды тетя Груша, одна из сестер П. П. По деревенскому обычаю она говорит старшему брату «вы», голова у нее в белом платочке, сама тихая, полная, то и дело приплывает с подносом из кухни.

— А вот и спутала, я был первый!

— И я помню, братец, что Миша Суслов, — вступает тетя Юля, другая сестра, совсем не похожая на первую. Тетя Юля мелко «на щипцы» завивает седые волосы, носит шляпку с свисающей кистью, за что П. П. зовет шляпку — индюк. На шее у нее бусы, на руке браслет. Она говорить любит так, зря. — Сами, братец, сказали.

— А вы-то переврали... Мишка Суслов только читал

лучше меня, скорее да почаще, а по прочему первым был я. А переменили учителя, приехал другой, Полозов, — родители Миши Суслова сейчас ему сахару да полфунта чаю. Он и заставил нас нарочно читать, одного за другим, и как Суслов поскорей да почаще, то и посадил его на первое место, а меня на второе. Да мне это все равно и тогда было... А отец наш обиделся и меня из училища взял. Отдал в Бежецк в уездное, четырехклассное. Еще мать отвезла.

А в приходском-то разочек посекли. У смотрителя жена была толстая, я про нее стишок и пустил. И не со зла, а рифма одна больно подходила. Поймали, штаны тут же спустили — на полу и высекли.

Ну, а в Красном Холме я сам авдитором был, первый ученик, значит, на спине розгу носил. И что значит — всюду искусство! Ведь сечь понравилось, как изловчился. Уж смотритель кричит: «Довольно!» А возьмешь да еще и прохватишь! Да ведь тоже не со зла.

Окончил училище — землю мерить пошел помощником землемера в Ярославскую губернию. Деньги скопить хотел, в академию ехать. Работу сделал, — а меня обманули, ничего не заплатили.

В академию очень хотелось, да денег свищи. Наконец, уж лет шестнадцать мне было, отец отправил и дал мне семнадцать с полтиной. А через одиннадцать лет я опять на родину приехал, и глядь, в кошельке-то опять семнадцать с полтиной: не приобретатель...

В нем не было болтовни, но говорил он охотно. Со всякими, кто был около, без обычной людям скупой и расчетливой расценки по рангам. А про себя говорил, как про постороннего, иногда очень важное, иногда совсем пустое, но всегда пленяя редкой, совершенной искренностью.

— Вообще никогда я не лгал и маленький: чашку разобью, стою над ней, пока не придут, чтоб увидели — я разбил, не другой кто. А вот сахар крал — он сладкий!

Причина его внутренней освобожденности была, вероятно, в той любви к красоте, которую особенно остро воспринимал он непосредственно от природы, о чем не раз вспоминает и в своих письмах: «Я счастлив тем, что полюбил с детства природу больше, чем дела и сокровища людей. Счастлив, что полюбил самое высокое и

самое прочное на земле... Я и теперь еще люблю бегать по полям и играть с детьми в бабки».

Но если «дела и сокровища» людей он не высоко ценил, их самих, живых, он жалел бесконечно. Всегда жили в доме не только бесчисленные тверские родственники, но и совсем чужие, случайные подростки.

Иногда они выводились в художники, но чаще спивались и сносили в залог что придется, до шубы Павла Петровича.

— Спроси, Вера, чтобы он, дурак, хоть квитанцию дал. Объясни ему: сами выкупим.

— Вот видишь, Павел Петрович, вот видишь — моих ты бранишь, а мои как твои и не делают!

— Да твои-то глупей моих... А то б и не то сделали! — и поссорятся на минуту.

Вера Егоровна Мейер, ученица П. П. с восьмилетнего возраста, впоследствии жена его, была женщина доброты необычайной. С ней не могло быть ничего прикоплено или отложено. Все лишнее как-то естественно протекало дальше, тем, кому, казалось ей, было еще нужнее. Так было всю долгую жизнь их, несмотря на своих троих детей и поддержку родных «в провинции», как по-старинному говорилось в семье.

До последних дней своих Вера Егоровна, в восемнадцатом году, сама буквально шатаясь от голода, норовила тайком унести из дому узелок холодных картошек и жалких лепешек из дуранды. Если ее на этом ловили, она, по своей манере, притягивала к себе близко за руку и шептала: «Не говорите, что я потихоньку... все равно сытее не будем, а она-то, может, и продержится». Это она утаивала из последних крох для одинокой неприятной старухи, приговаривая:

— Хороших небось всякий любит.

Вера Егоровна была очень способна в живописи; двенадцати лет она получила первую медаль на выставке в Академии и четырнадцати лет — вторую, но вскоре после этого, вследствие семейных обстоятельств, писать перестала. Всю свою одаренность и неутомимую раздающую доброту она направила на окружающих, и ближних и дальних.

Они были достойной парой, одинаково поражая своим духовным аристократизмом. Это были люди какого-то

грядущего века, когда все лучшие человеческие чаяния станут, наконец, из отвлеченных представлений, оторванных от жизни, достоверностью вседневной.

Жизнь в искусстве, жизнь в любви.

О своем браке с В. Е. Мейер П. П. говорил: «Ведь это я на ней по приказу, по видению женился!

Еще в Бежецке, когда мне лет четырнадцать было, мы с мальчишками на святках гадали. Смотрю и я в щелочку в церковь Иоанна Богослова и вижу: стоит девочка и глядит исподлобья; запомнил лицо-то. И вот, когда я уже двадцати трех лет вошел к ним в дом, вздрогнул. Сон вспомнил — она! Стоит и смотрит исподлобья.

— И все было совсем просто, — говорит В. Е., — надели на меня в тот день нелюбимое коричневое платье с белыми полосками, и было мне неприятно, что новый учитель придет.

— А вот и не просто. Когда я в Италию уехал, тебе было четырнадцать лет и ничего я тебе еще не сказал. А в Италии мне невесту сватать стали. Богатую, миллионщицу, купчиху. Да и не плохую, хорошую и то-олстую. Боткин-то понимал! Товарищи уговаривали, что можно будет работать вволю. А вот поди ж, не мог. Себе самому дал слово внутри. И призрак тот, что в гаданье увидел, счел от судьбы. Вот вам и рыцарь с прекрасной дамой! По мечте женился, изменить себе не хотел. И ничего, ведь неплохо вышло... Да я и всю жизнь так: «по мечте» живу.

В немногих письмах П. П. из академического периода, к родным и к брату, в зачатке выражены все основные свойства его характера, манеры работать и отношение к искусству.

В 1851 году П. П. пишет матери: «Чудный, многолюдный, веселый Петербург не заменит мне вас и меня не переменит; я каков есть, таким и выйду отовсюду, не унося чужого, не только плохого, но и порядочного. Я не виноват, если у меня такой самостоятельный характер. Мне все кажется понятно, хотя и трудно, я как будто все могу сделать; заимствуюсь прямо от природы, и потому мои собственные, ни от кого не заимствованные суждения товарищи называют натуральными.

... Не могу работать так, чтобы во время производства дело казалось хорошим; жертвую самолюбием, жертвую похвалами и работаю весь месяц непорядочно, надеясь

на счастливое окончание, которое всегда мне удается, и я всегда, если только кончу, бываю первым. Так и будет в отношении к вам и к художеству, обоим заплачу, если буду жив, а теперь пока верьте и снисходительно прощайте сына, любящего вас всей душой».

«Снисходительно прощать» просит он за то, что не обладает «словесной благодарностью», и еще за то, что мало может помогать денежно. Последнее обстоятельство мучает П. П. с той минуты, когда он едва сам становится на ноги, еще не окончив Академии.

В 1853 году в письме с обращением «Милостивая государыня, любезная маменька Анна Павловна» говорит он: «Готовлюсь еще только на серебряную медаль, на сей неделе получу деньги за образок и пошлю сколько придется бабушке с Лизою.

... Милая маменька! Не знаю, что с вами говорить: целую вас и руки ваши сто раз. Милые сестрицы и братцы! Обнимаю вас, я люблю вас, сильно люблю, и посреди шума столичного, беспрестанных занятий я каждый день хоть две минуты да подумаю об вас, и мне делается и грустно и весело, и что-то старинное, давно прошедшее, как сон, приятно представляется воображению: не юность ли эта, которая текла, совершенно противоположно молодости, в деревне между вами тихо и безмятежно. Я рос, постоянно восхищаясь природой и людьми, которые мне казались не такими, какими теперь вижу их вокруг себя».

Но хотя люди и оказались «не такими», чувство особого всемирного родства было одним из основных качеств широкой и свободной души П. П. Один родственник как-то непомерно требовал поддержки, спекулируя на чувствительности П. П. к тексту о любви к «ближнему».

— Ну какой же ты ближний, — сказал П. П., — ты, батенька, *родственник!*

Из Рима в 1865 году так пишет П. П. об этой своей тяге к «всемирности», знакомой ему еще с детства: «Мне всегда досадно, тяжело, что я не всех людей видел, что не все около меня. Эта страсть у меня выражалась в детстве тем, что я злился, когда мне говорили, что и за домом живут люди и где солнышко закатывается. Слушая это, я всегда задумывался, мне грустно делалось; и отчего я не гляжу, не знаю».

За родственников, оставшихся в провинции, особенно за младшего брата Петра, у которого с детства обнаруживались способности к рисованию, у П. П. огромное чувство ответственности. Еще не зная, «отдан ли брат в лавку» или нашлась возможность и его кое-как снарядить в Академию, он пытается хоть в письме развивать его художественное восприятие.

«По полю идешь — замечай облака, да не так смотри на них, как все смотрят, во все глаза, на все облако сразу, нет, рассмотри каждую группу отдельно, заметь ее тушевку, контур. И если на лицо смотришь, также рассматривай по частям, линии, тогда и останется в памяти портрет. Замечай отражения в воде, в самоваре, и хотя ты и не отыщешь причины многих явлений — все-таки наглядно их изучишь и твоя рука будет натуральна. Рисовать же если что будешь, то рисуй строго, выполняй каждую безделицу, это есть внимательность, правота, наблюдательность и, значит, глубокое изучение натуры».

Жил П. П. в Академии на скудные гроши, зарабатываемые маленькими заказами и уроками. «Живу с сыном бежецкого соляного пристава г-на Розенталя и в другой комнате, за которую двое платили 7 рублей серебром в месяц, значит, повыгоднее, потому что пополам».

В 1854 году у П. П. неожиданные личные издержки, и он объясняет, почему и прежней небольшой поддержки не может высылать родным. «В апреле набор одиночек в рекруты заставил меня позаботиться о себе и прибегнуть с просьбой к конференц-секретарю Вас. Ив. Григоровичу. Он, увидев мои рисунки и живопись, остался доволен и готовый сделать для меня с своей стороны все».

Тут следует курьезная бытовая подробность, вызванная тем обстоятельством, что президентом Академии художеств была великая княгиня, от которой зависело окончательное решение судьбы академистов:

«Но, как голых мужчин нельзя показать президенту — женщине, то и велел (В. И. Григорович) написать голову... по этому случаю я начал писать голову с натурщика, но, задолжав ему целковых 5, бросил не окончивши».

Самое обеспеченное положение П. П. в Академии относится к 1862 году, когда он пишет отцу: «Обстоятельства мои поправились: написал маленький портрет масляными красками с генерала Гаевского за 35 р. сер. и еще

нарисовал карандашом портрет Боткина, за который он обещал мне платить, пока я работаю картину («Три мужика», которая сейчас висит в Русском музее под большим портретом матери Павла Петровича)».

Но рядом с некоторым улучшением материального положения у П. П. новое огорчение: младший брат, который, не заражаясь его любовью к искусству, не поддается никаким увещаниям и продолжает свои кутежи. П. П. не выдерживает и жалуется отцу: «Я гоню брата прочь. Нет сил, просто зверь. Впрочем, ему обещали дать место, где он может, кроме хозяйских работ, и в класс ходить. На всем хозяйском 15 р., там и комнату дадут. Я бы мог его и при себе держать, но, отец мой, прости меня! У меня дело из рук валится при нем, и я знаю, что я погибну из-за него. Бог с ним, пусть поживет на своих трудах и поймет и полюбит ближнего».

Впоследствии брат П. П. спился и умер от удара.

П. П. совершенно связывал рисование с этикой; он понимал талант не как придаток, «шестой какой-нибудь палец», а как результат, как цвет личности; отсюда связь между выраженным и выразителем. Он говорил про брата Петра: «с малолетства был лгун, так и в рисунке все лгал». Во время заграничной поездки, из Тиволи, после пережитого в Париже и Италии, окончательно осознав себя как художника и человека, П. П. писал этому брату: «Люби *жизнь,* люби природу, полюбишь и бога, а полюбив его, поймешь многое, будешь мягче, все простишь другому и пожалеешь о нем. Это только и нужно. *(Это общая линия в рисунке.)* И немного, кажется, а трудно!»

По отношению к отцу у П. П. та же грустная обреченность, что и у А. Иванова. Он не застал его, самого близкого себе человека, в живых после возвращения своего из заграничной поездки. Отец П. П. и в крепостном состоянии умел широко себя образовать, чему П. П. нередко дивился, а про дедушку своего, рыбака с Белоозера, рассказывал, что легко делал он на глаз деревянные астролябии, пленясь этим прибором у одного землемера.

Матушка П. П., Анна Павловна, была тоже женщиной незаурядной: с большим даром рассказчицы, прелестью особенной доброты и веселости она соединяла способность к прозорливости, переходящей в ясновидение.

В семье хранится много рассказов об этом ее качестве, особенно развившемся после того, как она ослепла. Свою мать П. П. любил и берег до глубочайшей старости. А с отцом ему даже не удалось попрощаться в свой последний приезд в Красный Холм, перед Италией. Отец был в отлучке, когда сын из Академии приехал на короткое время к родным; ехать еще раз не было средств, и П. П., уезжая, пишет отцу: «Не сокрушайтесь о том, что не можете проститься со мной, дорогой мой родитель; благословите меня заочно... я от души поверю и приму ваше благословение, и оно будет мне в пользу». Душевная красота и самобытная цельность обоих родителей навсегда заложила в характере П. П. высокий тон культуры внутреннего человека, брезгливого ко всякой пошлости и суете.

Если в судьбе братьев-писателей лежит «роковое», то и право наших лучших художников на высшее художественное развитие — немалый мартиролог. А. Иванов свою заграничную поездку получает после унизительной проверки самостоятельности поданной им программы, после отказа его от брака с любимой им дочерью музыканта Гюльпена. Самоотвержение вполне любимому искусству, конечно, победило, как всегда, в жизни А. Иванова, но победа эта стоила ему тяжелой нервной болезни, — кто знает, не ставшей ли источником его позднейших заболеваний в Риме. П. П. Чистяков свое право работать должен был как бы вырвать у судьбы, платя за это право муками своей слишком чуткой совести.

В ожидании отъезда за границу, когда его, получившего право на поездку, за отсутствием у Академии денег медлили посылать, П. П. продолжал все еще ревностно, на положении простого ученика, посещать натурный класс. Он этим очень мучился: приходилось отказываться от выгодных заказов, благодаря которым могли бы родители быть обеспечены.

Вскоре после получения медали за программу П. П. предлагали доходную работу в Зимнем дворце, но он от нее отказался, прося лучше отправить его возможно скорее за границу. Вот этот отказ свой он звал «пятном» перед родителями: «Мог бы обеспечить вашу старость, был случай, впредь не буду, не упущу, постараюсь».

И в свое оправдание скромно прибавляет: «Я ведь учился все-таки...»

Во время заграничной поездки еще и еще вспоминает он о своем «пятне», урывает от платы за натурщиков, чтобы послать и сестрам и матери. А вернувшись из Италии, как мог он отдаться свободной работе, обремененный уроками, связанный с бесчисленными земляками своей Тверской губернии и с неимущими художниками, которых сам приучал считать его дом своим домом. И, наконец, почти тридцатилетняя пытка в «складочном месте», куда его почетно замуровал совет Академии, назначив заведывающим мозаичным отделением.

II

Во время заграничной поездки с П. П. произошло два величайших события, определивших собою все дальнейшее: судьбу его как живописца и биографию личную.

События эти (в Париже и в Италии) оба характера внутреннего и относятся к той полноте интуитивного познания, которое для художника, ее пережившего, навсегда реальность.

Своеобразие художника в том, что постижения его высшей внутренней жизни — всегда через красоту. Возможно, что они гармоничней всех иных постижений, потому что красота формы примиряет непримиримые антиномии; но зато всякая попытка подвергнуть скепсису такое мироощущение чрез чувство, а не через сознание, катастрофична. Вечный пример — судьба Гоголя.

— Искусство ревниво, — любил говорить П. П.

— А про эпоху-то Возрождения попы да мусорщики все ведь наврали: язычество! А я говорю — обедня. Тициан-то как тело писал? И дурак красоту любит, как же богу не любить. Но если человек не художник, так у него дряни всякой, похоти много. От своей похоти и наврали: язычество!

Но эта прекрасная освобожденность была у П. П. уже в зрелых годах. В Париже, в 1862 году, он заболел тяжкой раздвоенностью, от которой ему «трудно, очень трудно, труднее этого периода в жизни не было».

Но разве не борьбою с догматом, до преодоления этой борьбы непроизвольно найденной живописной формой и необычайными композициями последних лет,

отмечена и вся биография А. Иванова? Недаром так были тревожны ему слова Гоголя о том, что «русские лишены от природы *база,* на котором можно было безопасно ставить и строить».

Не от страха ли остаться без этого *база* его упорство в защите порядков и верований, принятых по наследству? И долгое, не соответствующее собственному гениальному глазу усвоение живописи академической «как исправления природы»?

Нечто аналогичное переживал и П. П., на которого Париж подействовал особенно остро, как возбудитель чувства этического. Выросши в деревне, в глубоко религиозной, патриархальной простой среде, впервые очутился он один в городе, «где все блестит и дешево и хорошо на вид, да гнило, как говорится. Все состряпано на живую нитку. Вот оно как, вот как народ направлен — не совсем прочно и честно».

«А вечером волшебство, газ, зеркала, просто ослепление...»

«Все города, которые я проезжал, вечером против Парижа — тьма».

Брату своему П. П. про Париж пишет особенно выразительно:

«В Париж приедешь, сейчас угоришь, и только, а потом пройдет — и одна пустота в башке. Одним словом, газ жгут, как в аду, да еще зеркальные стены, ты думаешь, что невесть какая зала, понапрешь вперед, да и хватишь лбом в зеркало; себя не узнаешь, думаешь, мусье какой ни на есть глупый на тебя смотрит, — ан это ты сам в зеркале, вот как! Вместо одного фонаря сто кажутся, и все газ; ну, одним словом, угоришь, а в комнате у себя озябнешь, потому что окна открыты и двери со щелями».

И вот в этом-то городе, «где народ легкомысленный... каждый день балы да концерты да черт знает какие увеселения», П. П. на тридцать первом году жизни читает как-то так по-особенному евангелие, что, по собственному рассказу, «три дня ходил как пьяный, живопись хотел бросить».

Он пишет В. П. Яхонтовой: «Читаю евангелие и апостола и много переменился в своих убеждениях... всех стал более любить, о всех жалею, все меня трогает, так что год — и я без волос от мечтаний... трудно...»

И еще: «Я стал очень рассеян, то есть растерялся. Часто за обедом у Леже загляну́сь в окно, задумаюсь... сердце заноет. Отец родной, поля, люди русские — все пройдет в тумане предо мною, и слезы льются, льются как у ребенка... и пойдешь, как обиженный, один одинешенек, а над тобой небо чистое, светлое, а кругом тепло и весело. Что со мной — не знаю, хочу быть христианином, а силы и воли нет».

Борьба между художником и моралистом была нелегка. Углубленное постижение евангелия поставило очень остро перед П. П. розановский вопрос: если Иисус так сладок, то не прогорк ли весь мир?

И раньше, чем П. П., по его словам, «подешевле обернулся», то есть стал живописцем, немало мучился он, как исконный православный человек, противопоставляя «прелесть мира» — «мудрости христианской».

Отцу пишет он все из того же Парижа: «На тридцать первом году, на чужой стороне, привел бог заняться мне серьезно, как следует истинному христианину, чтением св. евангелия и апостолов. Всем нужно читать в возрасте, а то нет направления, мир живет и идет своим учением, и путаешься, как слепец... жизнь — суета сует и всяческая суета. Правда, и где и когда конец суете мира сего? Философы только путают, слепцы слепых водят... самый умнейший человек относительно потребностей христианского мира — глуп бывает».

От всех своих «мечтаний» П. П., как он выражается, «плакса стал... ребятишек маленьких французских обнимал на улицах и собак даже».

«В Новый год так при всех плакал и смеялся вместе — от бокала шампанского сделалась истерика; вспомнил Россию, вас, знакомых и не удержался — рыдал, как ребенок, при французах и русских в кофейной».

Надо знать, как чужда была П. П. всякая слезливая сентиментальность, чтобы понять, что то состояние, о котором говорится в этих письмах, было временным надломом от непосильно строгого и мужественного закала души. Кто хоть раз подметил этот сверлящий ястребиный блеск его глаз, кто слышал его твердые, не терпящие компромисса слова об искусстве, тот знает, что никакой дешевки в этом человеке быть не могло. Иначе как мог бы он так учить, как учил. И как власть имеющий

говорить про учеников: «Да я их, словно щенят, без жалости в воду. Пусть тонут! Сильный-то выплывет. А искусству трухи не надо. Искусство ревниво».

Когда один русский художник, уже давно знаменитый, опять, как юноша, пришел к П. П. «порисовать», он задал ему «поставить» гудоновскую анатомию «от бедер». И замучил художника до того своим «плохо стоит», что тот сказал: «Нет, больше не могу», — и бросил рисовать.

— Так он фигуру-то по закону и не поставил! Ну, а если б поставить сумел, он куда бы меньше картин-то своих написал, хотя и хорошо писал.

Несмотря на внутреннюю ломку, в Париже П. П. все-таки работал. Он написал картину «Француз». Он пишет о ней в письме к Яхонтовой: «Картину я кончил, и порядочно... франт француз в нетопленой комнате перед зеркалом надевает чистые воротнички на дырявую рубашку — вот и все».

А. Иванову в его религиозных исканиях нужна была, как европейцу, точная дифференция, отчетливость, зарегистрированность религиозного мышления. П. П., исконно русского человека, даже не беспокоило существование в нем как бы противоположных состояний.

— Куды, Юлия, собралась? Индюк парадный надела...

— В церковь, братец.

— Опять ладан нюхать да поповскую ручку целовать. Ну, иди, иди, хорошую службу и я люблю. А когда причащался — то лучший день в году. А понять ничего нельзя!

Но это было опять-таки в последние годы, а тогда, в Париже, в 1861 году, ему хотелось непременно *«понять»*.

Состояние всякого решающего познания всегда одновременно и состояние распада. Пусть новый обхват безбрежен, выход из меньшего, но знакомого и родного огражденья не бывает без боли. Из своего двойственного состояния П. П. надеется выйти в Италии.

Он пишет отцу: «Там уединюсь и буду серьезно работать и читать книги».

У Гете — Фауст восстанавливает свою разорванную личность, погрузившись в красоту древней Эллады и вступив в символический брак с прекрасной Еленой; иначе — обаяние красоты убивает скепсис, убеждая его доверять

лишь реальности формы. Такую художественную целебность Италия и принесла в свое время и А. Иванову и больному Гоголю.

«Здесь я бываю до такой степени восхищен, что не бываю в состоянии ничего делать», — говорит Иванов, а Гоголь ложится спиной на аркаду, чтобы часами недвижно смотреть прямо в небо: «Италия! Она моя!.. Россия, Петербург, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось! Я проснулся опять на родине».

Такой родиной была Италия и для П. П. Больше того, как у Фауста с Еленой, у него с Италией какой-то восторженный «космический брак», следы которого дадут впоследствии повод людям, приверженным к классифицированию, навязать П. П. кличку: «пантеист».

III

В Италию П. П. ехал через Mont-Denis.

«За пять верст до Генуи меня встретила итальянская весна; ясное, светлое небо, по сторонам зелень, цветы, кипарисы, а с залива от Генуи ласково, приветливо охватило теплым южным ветерком, и все это новое и невиданное для меня».

Из Генуи морем он плыл до Ливорно. Оттуда на машине через Пизу и другие города во Флоренцию.

Да, он любил Италию, как вторую родину. До последних своих дней помнил ее до мельчайших подробностей, до отдельных, особенно поразивших его своей формой или цветом скал, деревьев, морского дна. К городу Субиако была благодарная нежность, как к родному Красному Холму и Тверской губернии. В. П. Яхонтовой П. П. пишет: «Переселился в Субиако, верст за семьдесят от Рима, в горы, где с наслаждением работал пейзажи и жил в то же время такой жизнью, что, право, лучше и не надо».

Римом и Флоренцией восхищается П. П. совсем в ритме и манере Гоголя:

«Что за Италия, что за ночи — просто рай! Представьте наш август, луна... представьте наше лето, наше небо, только все краски ярче и в то же время несколько туманнее, сквозь флер как будто; и мнится, что все вам

видится, — вот эта-то полусонная замирающая нежность и есть исключительный характер Италии».

«Я бы мог верно очертить итальянский воздух, но это было бы нескромно, но верно, верно как нельзя более и лучше. Сладкая страсть и вместе с тем как бы закрывающая очи, полуутомленная, изнеженная, засыпающая природа...

Нет, Италия одна и есть на свете — счастливый уголок меж двух морей...»

К Яхонтовой:

«...что я испытал при взгляде на Флоренцию. Смотришь, и чудится, что это сон, — с громадным куполом Брунелески, и горы, и кипарисы, и внимание — все засыпает, все дремлет, как в знойный полдень у нас в июле...»

И дальше: «...мертво кажется — зной, тишь, скучно. Но Италия и тут Италия, одна, и тут смеется, и тут живет. Весь лес, вся округа дрожит от звучного мерного лязга жучков, а вдали, низвергаясь, шумят водопады... И жарко, и сыро, и тихо, и звучно, и сладко, и грустно, и негою клонит ко сну, а не спится. Италия женского рода».

«Торкватова страна» со своими бессмертными памятниками живописного гения, со всей «обедней» эпохи Возрождения навеяла Павлу Петровичу вдохновение на размах картины громадной, той самой Мессалины, которую, при «вечно недовольном» собой глазе, окончить ему не пришлось.

В докладе в Академии (Рим, 1868 год) П. П. пишет: «Картина пять аршин с четвертью длины. Фигуры в рост. Всех фигур главных четыре: Мессалина, мать ее, раб Эвод и трибун. В тени, в коридоре, шесть человек солдат. Вот и все».

«Мне понравился сюжет из римской истории. Последние минуты Мессалины, жены императора Клавдия. Я начал сочинять его. Так как дело происходило после обеда, то и пришлось писать картину в сумеречном тоне, что очень трудно. Потребовались этюды отдельные, хотя и небольшие. А поэтому и времени вдвое, да и сочиняю-то я очень долго, медленно как-то. Два года тому назад я имел честь уведомить совет, что пишу эту картину».

В 1867 году П. П. писал отцу: «Картину тихонько продвигаю вперед, но конца не вижу».

Еще раньше, в ответ отцу, должно быть на упрек в выборе неблагодарной задачи, он говорит: «Вы пишете, тятенька, о Тайной вечере г-на Ге, моего прежнего товарища по Академии. Пишете, что писать следует то, что художника тронуло и что в характере. Второе: если б я написал так, как г-н Ге, то уверен, что вы были бы недовольны, потому что как эта картина заслужила похвалы, так и порицания. Многие даже советовали ее сжечь! Я сам ее видел во Флоренции. Хорошо, чувство есть, но работа исполнена неважно».

С громадной Мессалиной у П. П. начинается в Италии та же мука, что у Иванова с Мессией. Натурщики стоят дорого, денег не хватает: «Не знаю, как напишу руки и головы. Трудновато нынче в Риме, все дорого. Вот ведь и комнаты нанять не на что. Живу в студии. А студия-то здесь что сараи наши. Моя семь сажен в квадрате, — как ее, чем натопить?»

Или еще: «Скоро придется работать перестать... или, отказывая в пище, работать. Если же ни то ни другое, то останется корчить полу-Адама. Деньжонки, что мы получаем, никуда не годятся, если начать работать. Так жить можно хорошо. Но ведь мы едем сюда работать».

А тут как нарочно из дома идут письма о том, что дочь Юлию надо выдавать замуж, а нельзя без приданого. Отец старел и болел. П. П. отрывал из скудной академической пенсии необходимые для дела гроши: «Сестра Юлия второй год просит на шубку, и вот теперь посылаю ей 20 р. Не из чего, право не из чего!»

«Дал несколько уроков, тем и тянулся, кое-как свел концы с концами. Ведь сообразите: ведь картину-то писать не мутовку облизать, особенно когда фигуры-то размером в рост; дорогонько обходится, нечего сказать».

Конечно, денежные недохватки много тормозили работу П. П., но все-таки истинная «подводная» причина великолепно начатых и неоконченных холстов его гораздо сложнее, гораздо глубже. В письме к К. Т. Солдатенкову П. П. говорит уже так: «Картину большую, т. е. Мессалину, почти не работаю, а почему — и сам не знаю. Для вас ничего не сделал. Все придумывал, видите. Дрянь я человечишко-то, ни себе, ни людям. А еще что далее будет...»

Подлинное проникновение в сущность искусства таит опасность плениться соблазном созерцания его как ценности абсолютной; но собственная многоликость — зачеркивается, но воля к творчеству собственному, всегда несовершенному — опадает.

И вот из Рима П. П. пишет отцу: «Очень картиною занят я, дела пропасть, а что выйдет, не знаю. Очень трудная задача. Наш брат всегда так: умеет на грош, а дела берется делать на 100 рублей. Конечно, этим учишься, да выгодно ли, вот что, ведь не век учиться.

Возьми я теперь простую, обыкновенную сцену, ведь как бы написал отлично. Нет, вишь, трудности нужно, *всего искусства науку в уме держишь, с нею хочется побороться, а о другом и не думаешь.*

Аналитик всегда убийца художника-мастера, но, с другой стороны, никто, как он, в союзе с художником-созерцателем рождает художника-учителя.

Если же этот учитель к тому же и большой человек, то он становится тем единственным, как определяли П. П. Чистякова, каждый по своему, Врубель, Репин и Серов.

В 1868 и 1869 годах у П. П., очевидно, еще были надежды на окончание Мессалины в Италии; несмотря на то, что он много хворал, он пишет к отцу: «Картину начну окончательно работать, — времени мало осталось — всего один год, даже меньше».

И в том же 1868 году, уже после смерти отца, в письме к матери: «Как только кончу картину, так и прикачу...»

Но это была последняя надежда на окончание. Следующие строки о Мессалине уже таковы: «И картина не удается моя — не сокрушайтесь, неважно — другое сделаем и принесем пользу родине».

Если спросить тех, кто, не подходя близко к П. П., от одних мимолетных встреч — на выставке, в Академии или частном доме — запечатлел в своей памяти его яркий облик, — впечатления могут оказаться настолько противоположными, что трудно будет их отнести к одному и тому же человеку. У одного может оказаться злое подозрение в Мефистофелевых упражнениях «подрезать дарование», у другого пошловатое умиление перед старичком «под Суворова» с его знаменитым — «чемоданисто взято».

П. П. сам себе хозяин, не заботился о чужой оценке. Далекий от мещанского тщеславия *казаться* он действительно *был*.

Но кем он был, понять было не так-то просто; ведь, как заметил еще Гейне, «всякий имеющий нечто за душой, охраняя свое сокровище, невольно обнесет его высоким забором, дабы скот не стоптал».

Неослабевающая любовь к людям, какое-то помазание служить им, не убиваемое ни обманами, ни ничтожеством, нередко скрывались у П. П. под формами как бы им противоречащими, во всяком случае не теми, какие в расходе у большинства.

На самом деле, при большом безжалостно-остром уме, П. П. чувством был беззащитно нежен. Он настолько не умел забронироваться от чужих страданий, что это его качество человека немало помешало работе его как художника.

Очень выразительно в этом отношении одно письмо П. П. из Рима к Вере Егоровне Мейер, которое невозможно не привести целиком:

«Помню, однажды здесь, в Риме, один из моих товарищей, глядя на меня и слушая, заметил, что я со временем с ума сойду. Он, может, шутил, а мне так кажется, что это правда.

Судили здесь четырех разбойников. Я едва-едва удерживался, чтобы не зарыдать, глядя на их жалкие лица и на рубища, одежду этих людей-животных, слезы же текли незаметно для меня; увижу ли нищего или бедного компаньона в лохмотьях, сердце заноет, заноет... Так и отдал бы ему все, что имеешь! Да ведь этим не поможешь, их миллионы! Пою ли я песню, все будто плачу; и если бы не застенчивость моя... да что и говорить, переехало, зацепило, видно! Все для меня родное; чужое горе, мое горе, все меня мучит, все тревожит.

А вид художника, пробирающегося по Condotti в магазин, чтобы продать свои акварели за самую пошлую безделицу.

Mamma mia! Да что же это, а? Что тут делать-то? Болезнь, так называемая тоска по родине, до сих пор меня не оставляет; несмотря на дивную природу Италии, все тянет туда, далеко на север, домой; а в особенности теперь, зимою, тяжело.

Выйдешь часов в девять вечера на улицу. Пусто, темно, магазины запирают; над головою глубоко-глубоко в лазурево-темном небе приветливо мерцают звезды, а тебе грустно. Боже мой, что же это!

...Один, один. Кругом все чужое, и не знаешь куда деться, что делать... Театров нет, пост, в кафе сидеть противно, скучно; в студии холодно. Что же, куда, в Россию, что ли? Перенесешься в Петербург, к вам и вспомнишь тоже, что я от вас убегал часто, не досидев вечера; меня все гнало куда-то. На родину, к отцу, к матери, что ли? Задумаюсь. Нет, и там соскучусь и через неделю потянет вон, а куда и сам не знаю... Так в раздумье бредешь и поглядываешь на пустые и темные дома старика Рима. Нет, видно, не в окружающем, а в нас самих забралась эта непоседная скука.

Думаешь, думаешь, да и решишь, что только труд, только одно любимое искусство прочно и в состоянии спасти от закрадывающейся пустоты. Вот эти-то две способности, плакать о каждом и потом грустить и скучать невыносимо о чем-то, меня и погубят. Они-то и доведут меня до того, что я начинаю маяться, да еще если одна, две неудачи, одно огорчение — и я погиб. Все из рук повалится...

...Рассудок, знание всегда во мне были впереди практики, что делать, я родился и живу для других. Пусть же знание мое будет в пользу кому-нибудь».

IV

П. П. вернулся из Италии в Россию в 1872 году. Он скоро женился на В. Е. Мейер. Пошли дети, пришлось содержать слепую старуху мать, сестер и, по обычаю его, всех, кто был или казался ему беднее его. О свободной углубленной работе не могло быть и речи. Огромная, даже не вся прописанная Мессалина вместе с другими холстами навсегда опочила в мастерской собственной дачи П. П. в Царском Селе.

Но недаром последние слова П. П. родным по поводу своей картины были просьбой не сокрушаться о неудаче: «неважно — другое сделаем».

Это «другое» было сознание своего призвания как учителя. Но и этому призванию во всей своей мощи развернуться тоже не удалось.

Перед историками живописи лежит новая печальная обязанность — подробно рассмотреть и записать в объемистую жалобную книгу «лучших русских людей», — как могла произойти такая бессмыслица, что *«единственный* в России учитель» оказался запрятанным в «складочном месте», вместо того чтобы быть профессором при новой Академии. Вот недоумевающая выдержка из письма В. А. Серова от 1 октября 1894 года:

«Непонятно и обидно, что вас минули, — не пойму никак. Да, единственно ваше мнение в Академии было для меня высоко и дорого».

И второе письмо его же, из Москвы, от 2 октября 1908 года, когда уже незадолго перед смертью попадает П. П. как заместитель Репина всего года на два в руководители мастерской:

«Дорогой Павел Петрович. Недавно узнал, что вы — заместитель мастерской И. Е. Репина. От души радуюсь вашему желанию *учить*. Помня вас как учителя, я считаю вас единственным (в России) истинным учителем вечных незыблемых законов формы, чему только и можно учить. Буду думать, что и ученики (достойные) поймут вас и оценят. Ваш В. Серов».

В 1910 году П. П. окончательно переехал в Царское Село, в собственную дачу, почти за чертой города, в екатерининской Фридентальской колонии. До 1908—1910 годов П. П. еще ездил в Академию на уроки. Весной 1910 года П. П. от нервного переутомления заболел, на уроки ездить ему стало невозможно.

«Нам на земле работать... остальное все не наше!» — встречается в одном из писем П. П. Слова эти предвосхищают ту благородную, совершенную отрешенность, которая исходила от всего его существа в последние годы жизни. Часто целыми часами он молчал, скрестив, по обыкновению своему, на груди руки, и большая грусть была в лице его. Не следы самолюбивых мук, а бремя большого, хоть и принятого страдания: «Я один и один. Ну и пусть один! Ни взглядов, ни убеждений своих менять не буду; тем более, что все блага мира уже давно не составляют для меня сути».

Так писал он М. П. Боткину еще в 1881 году, тем более было так теперь, когда живописный и жизненный путь был весь позади.

Или, быть может, в эти безмолвные часы он погружался в те живописные мотивы, которые называл он «альтовые средние», о которых так хорошо написал В. М. Васнецову (черновик), говоря о «диспуте» Рафаэля. Картину эту П. П. любил исключительно: «Я решил, что это все мне мерещится, когда я был младенцем, когда кучер Игнатий, столяр Зотыч и другие окружали меня, мальчика, а я сидел у столяра в стружках, на полу. И чисто и красиво в стружках. А затем старик, большой-большой, добрый, ласковый, любовно меня мажет, а кучер Игнатий, с желтой бородой, румяный, голубоглазый, тут же, и я на полу бессловесный еще, а они великаны... Не их ли я вижу на картине Рафаэля? Ну, а звуки-то альтовые что? А это средние, которыми петь человеку следует, это не крик, это благодать, нега, спокой».

— А ведь большие у меня были знания, недаром учиться ко мне приходили уже художниками, да с азов, — скажет он иной раз после такого долгого молчания. Скажет твердо, будто не о себе, а оценивая кого-то постороннего.— Да система-то моя трудновата, немногие поняли ее — Серов, Савинский да племянница Варвара Баруздина, всего.

— Все не след было меня в мозаичном хоронить. Учителей-то, как я, ведь немного. Ну да постыдятся когда-нибудь!

Отвращение от догматизирования, от всякой нарочной закругленности и приведения к благолепному единству давало речи его, общению с ним особую прелесть. Он не подбирал, не создавал своей биографии. И, живая, волнующая своей художественной силой, она сама врастала в память каждого, кто к нему подходил ближе.

Он любил вспоминать Италию в иной жаркий июльский день, глядя вниз на лужайку, где далеко во все стороны разбежался пурпурный японский шиповник.

— Вот и у нас розы, ну, да там-то получше... однако ни роз итальянских, ни Флоренции написать невозможно, никому не удалось. Как бабочку нежную схватишь — пыльцу стряхнешь, так и Италию: колера как ни бери — не то, вялые. Только в Средиземном море с душой вместе

и выкупаешься, да душа-то нужна детская! Вроде рыбки, что там, в тепле, плещутся, ничего себе не требуя. Люди же всего требуют, а художнику не надо бы! Вот Бенвенуто Челлини такой художник! Серебро от заказчика крал и мужей в канал стряхивал, разбойник! А душа чистая, детская, а у Рафаэля ангельская, хотя с Форнариною жил.

— А греки-то! Да не эти, что с губками ходят. Те, старые, в этой дымке нежной, в этом воздухе звонком секрет-то ваяния и узнали. Богов налепили!..

Как-то говорил так П. П., глядя вниз на пурпурный шиповник, а маленький внук его, держась за штанишки, которые по всем признакам надо было ему немедля сменить, подымался по лестничке. Но только нацелился шмыгнуть мимо дедушки, как тот положил ему обе руки на плечи и, не видя отчаянного его состояния, продолжал свое про греков: «Таких богов никому не слепить, а знаешь ты, почему? Греки человека будто в тонком шелковом чулке видели, без пакости, одной красотой, а все и оказывалось. Запомни: высших людей-то богами надо лепить, да такими и всем надо стать! А теперь иной пошляк в солнце плюет, а кости-нервы выделал, все как вправду, а они и не правда! Да ты танцуешь-то чего? А... ну беги, да скорее.

Ну и хитры эти греки: вот Геркулеса не зря к пню приставили, от пня его отвести — он повалится. Не поставлен».

Об этом последнем десятилетии своей жизни «на воле» так пишет П. П. Васнецову в 1912 году в ответ на приглашение посетить его выставку в Москве:

«В Москву я давно собираюсь, но ведь я третий год хвораю. Нервы расстроились. Вот и сижу третий год в Царском Селе. С 1 июля 12 года из мозаичного отд. вышел в отставку, на волю, и на восемьдесят первом году начал работать с величайшим увлечением свой портрет. Снова живу святою, благодатною жизнью, везде и во всем вижу господа, это великая благодать. Считая мои двадцать два года, проведенные в мозаичном отд. на службе, большою потерею для себя, утешаюсь тем, что и здесь я сделал много хорошего».

«Святая и благодатная жизнь». Внутренняя настроенность его на «средние альтовые», которыми человеку петь

следует, в которых шла к нему гармония от Рафаэля, никогда не выражалась каким-либо ханжеством или стилизованной елейностью. До конца дней речь его была свободна и текуча. То вдохновенная, то совсем простая. Часто метнется в этой тверской окающей речи крепкое русское словцо.

Но всегда к такому слову или усмешка, или такая острая манера сказать, что никогда не грубо, а как-то по-русски, особенно круто и ласково.

Взойдешь в сад через калитку, и уже от березы, которая как свеча-великанша белеет средь тусклых осин, видно, сидит П. П. на террасе и кто-то читает ему. Из многолетних лиловых флоксов, разросшихся в кусты, выскочил нелепый пес Чурка, до того пятнистый, что походит на испещренную кляксами белую промокашку, а не на собаку.

— Сумасшедший! — крикнул на него П. П., привстал глянуть из-под руки, кто идет. — А, здравствуйте! — протянул руку с сломанным пальцем. Сюртук на нем новый, как, бывало, в Академию ездил. На ногах сапоги мягкие, у которых, засучив штанину, предложит непременно пощупать голенище, прибавит окая: двóрянские сапоги! На голове не обыкновенная черная Тицианова шапочка, а белая, крупно вязаная, из толстой бумаги, совсем похожа как надевают в старомодных дóмах на чайник.

— А в Стокгольме съезд теософский... Много говорить будут, а для чего — и сами не знают! Главные-то ихние, должно быть, от бедности все это затеяли, тоже мусорщики... впрочем, от бедности иной человек и не то сделает. Ну, а другие-то прочие по дури... А столовую теософы хорошую открыли на Двенадцатой линии! Хоть без говядины, а сытно и дешево. И они, выходит, полезные. Вот только на что им про астральное тело узнавать? Если б и было такое, и то не к чему. Христос-то был поумней...

Христос пришел на землю царство небесное строить, чтоб пустобрехи в небо лезть перестали. Я мужик и Христа больше других понимаю. Больше попов и стариков ученых. Царство божие на новую квартиру Христос перевел, «внутрь вас», а в небе-то пусто!

Евангелие попортили, кому не лень было портить или кому выгода. Чудес нагромоздили, а они дуракам только и нужны! Лазарь-то сгнил и провонял, его б из гроба

тащить было нечего. И Христово воскресенье совсем не то... мало кто понять может. Я понял.

И ведь где понял? В Париже во время польского восстания. Обидно так стало, что опять война, да еще у русских с поляками. В первый раз тут евангелие я и прочел. Да только раз в жизни и читал-то как надо. Хотя наизусть знал я с детства, да это совсем не то...

Зато как один этот раз прочел — как пьяный был, понял. На всю жизнь прочел, теперь и не смотрю никогда. Как пьяный три дня ходил. Живопись хотел бросить, сперва в бродяги нищим, а там видно будет... Да вот мужик хитрый, одумался, подешевле обернулся, остался живописцем.

Этак каждому надо понять, хотя на короткое время, а то как свинья всю жизнь прохрюкает, пятака к небу не подняв. Книга-то обличает.

Христос прекрасней Аполлона: Аполлон выражен — стоит. А тот, как попадает в тебя, как на дрожжах растет. Не сам, то есть ему-то уж некуда, раз на крест попал... а во мне все расти пошел, к третьему дню, говорю, не выдержать, бежать надо!»

И пояснил тихо, опустив необыкновенное свое лицо, очень похожее на лицо Тициана и тверского с орлиным носом мужика.

— Если он в душу попал, удержать, чтоб не рос, — невозможно. Но я обернулся, взял кисти.

И, будто упреждая какие-то праздные вопросы, сердито вскидывал седой головой. Сверкали глаза, острые, яркие, как у орла.

— А наизусть и деревянная голова выучит! Каждый день пять стихов чтения — все равно что в клозет для здоровья час в час... Вот этим самым разные там... евангелие-то к себе приспособили.

Солнечный день, но осень небогатая. Обыкновенно в это время сад еще стоит золотой. А тут хватил ранний мороз зеленые еще листья, и они, грязные, прибились дождем к земле. Бабушка в белом платочке, по-зимнему, сидит спиной к печке, а П. П. в кресле, халат запахнут туже. Вязаную шапочку снял, Тицианову шелковую черную носит. Слушает разговор на диване. Говорят о том, как один человек двадцать лет евангелие изучал и к нему свое толкование написал.

— Это словами-то? Зря время перевел! Так и скажу ему, если придет. На биллиарде б лучше играл! Христа все равно ведь не понял. Проверить можно, что именно Христа понял только в старости, когда ноги уж стынут, а в душе не отходит умиление. Это уж не от крови, это без ошибки — Христос. Не только от людей — ото всего как есть. Собачка хвостом вильнет, весной грядка вспухнет, по любовным делам кот пошел — смотрю, а во мне теплота, хоть спина и ноги стынут. Рассказал одному, ученый... он как бацнет: это вы пантеист! Дурак, сейчас назвать надо.

А вот в Риме, в храме Петра, в праздник красные тряпки на чудесный мрамор вешают, папу до морской болезни на троне носят. Герцен даже высмеял. А солдаты в честь бога ружьями о землю как хватят, я вздрогнул, испугался. И мне это не надо, а богу-то на что? А у нас в архиерейскую службу красиво. Только ведь тоже театр...

Бога-то я сильней всего чувствую, когда урок даю. Оттого и учил хорошо. Всех учеников люблю, а какого-нибудь сукина сына, который искусство непременно продаст, — его всех больше люблю. Подойду, положу ему руки на плечи, вот так, чтобы руку почувствовал, тепло. Через руки-то человеку понятней. Много говорить нельзя, а про многое и совсем не надо. Зря слова.

Не по той дороге, скажу, поехал; хотите в Киев, а снесет вас в Царевококшайск какой-нибудь. Поймет! И даже рисунок поправит.

И евангелие так прочесть надо, хоть один раз, чтобы Христос будто руки на плечи положил. Искусство у него самое совершенное — жизнь живая. А читавши понять ничего нельзя. А болван этот двадцать лет сопел. Не надо мне его...

— Братец, пожалуйте чай пить, — позвала старшего брата, по деревенскому обычаю на «вы», бабушка в белом платочке, сестра П. П. Стол узкий, длинный, в столовой по рисунку П. П. обшиты стены белым деревом. Посереди арка: зеленый плющ заткал ее всю, стелется вниз по широким окнам. За стеклом, побиты дождем, опущены головки оранжевых и лиловых астр. На столе по белой скатерти перед каждым чаепитным местом — бережно кинуты кусочки желтой клеенки.

— Заплатки эти хозяйка гостям, чтобы скатерть не пачкали... а про то, что оно уродство, и позабыла.

А вот скажите мне: есть ли другой такой идиот, чтобы, как я, тридцать лет просидел в складочном месте и свой талант погубил? Все откладывал уйти из этого места. Думал я, молодой, поспею, — а мне-то уж восемьдесят два. Сегодня писал, да и позабыл, сколько часов пишу, а годы-то сами и вспомнили: шея заныла, спина да глаз один.

А мне, чтоб начатые картины окончить, хоть девять бы лет еще! Сейчас, когда уроков давать не надо, я бы кончил: «Мессалину», «Свиданье», Шувалову образ, да свой портрет. Нет ведь моего портрета. Даже Репин не меня — пьяницу красноносого написал! А еще я давно задумал большую картину: «Два мира». Да нет, не расскажу, а то не напишу.

Он был уже очень слаб в 1918 году. Часто болел, писать стало трудно, глаза отказывались. Он не выходил почти из своей комнаты наверху.

— А у меня виденье было. А может быть, помирал, да недопомер. Я мужик упрямый: хочу весну увидать! Чтобы цветы распустились и моя береза. Я ее ведь спас — она усыхала... А помирать-то примерялся! Перед тем, как спать лечь, нагнулся над постелью и вдруг из своей же колонки как искорка вылетел. И вот уже я пузырь голубоватый, нет — я облако. А краски-то все замечаю — хороши! И переливаются, живые краски. И все понимаю, даже думаю: вот и помирать! Да я такой красоты и в Италии и в Субиако не видал. По краскам-то. А Серов? Какого дал Петра! Как никто! Это когда он идет город строить. Как ломовик прет. Ломовик когда едет, особенно если пьян, так он на пути все и вывернет. Фонарный столб свернет. Так и Петр: он ломовик! И Серов это понял, изобразил-то как верно! А над картиной смеялись. Помню, встретил его в коридоре, говорю: «Отлично, батенька!» Он покраснел, обнял меня, поцеловались. В коридоре, в Академии.

А Ломоносов-то о Петре: «И душу нову нам водвинул!» Сук-кин сын! Оттого немцы и бьют, и всякий побьет, кому не лень. Своя-то душа у нас была. А он водвинул!.. Ломовик! Ну, а за трудолюбие я Петра люблю.

А Серову почему удается: сочетал! Краски-то — женское, рисунок — мужчина. Художнику-то прежде всего мужское полюбить надо.

Глупый ученик, когда рисует, в одно место упрется и знай себе мусолит его. А надобно так: ставишь нос — смотри глаза, да на рот, нос сам вылепится. Да и в жизни то же, что в искусстве. Кротами живут. А кругом не смотреть — до срама можно дойти.

Я все ученицу одну в пример ставлю. Молоденькая и голого натурщика мало видела. Рисует вот так-то по частям, как не следует рисовать. И прилежная: раньше всех приходит. Пришел и я как-то пораньше: учеников нет, она одна. Гляжу: ба-атеньки! в непоказанное место уперлась, и уж в целый бурдюк оно у ней выросло. Шагнул к ней. «Нехорошо, говорю, ученики засмеют!» Уж и резинкой я ей тер и белым хлебом...

Барышни-то рисуют больше от безбрачия, рисунок редкая осилит, а краски лучше нас видят: на тряпках да на вышивках у них глаз наметался...

Всегда ровность. Острая зоркость к жизни и такое прочное пребывание в стихии искусства, а через искусство в каком-то непреходящем бытии.

Бытие это так и высвечивало из самых простых его разговоров, создавало особую, каждому близкую мудрость. Дар его великой правды — было вовлечение в свой круг, интимное осязание всего, о чем он думал и что знал.

— Давид-царь какой художник! Псалмы без слез не прочтешь. А ведь Давид дурной болезнью страдал. Я это из псалмов понял: «Воссмердеша и согниша рана моя!» Дуракам покажется обидно, что я так говорю, того не поймут, что только из большой своей боли этак написать можно, что каждому станет нужно. У каждого боль. А у Давида триста жен по наследству от Соломона было, которая-нибудь и занесла.

Кто-нибудь скажет: «Да ведь отец Давида совсем не Соломон».

— Нет, Соломон. Книга-то у него Екклезиаст. Больше подходит, чтоб он. А в истории наврут, не ответят. Но хоть и с болезнью и с женами — он, царь Давид, — святой. Уж очень художник большой...

А никакого бессмертия человеку и не нужно... когда до умиления дошел. Тогда ему все равно: он сгниет,

а мир-то останется. Как я радуюсь, что чужая картина хороша! И всегда всем делиться любил, даже краску удачную найду — нет покою, пока дальше не пущу, хоть кому угодно скажу.

Себе ничего ведь не нужно, когда есть умиление — царство божие внутри. А вот о мужике думаю, как его лучше устроить. Говорят, он свинья. Небось забыли: миллионы гноились в деревне — тысячи гуляли, топтали их, — это мы, образованные! А начальство-то все из правоведения: ну и сволочи!

Кот-то, смотрите, белый был, а по любовным делам сходил — хуже трубочиста. А ведь на кушетку прыгнул, завернул морду в лапы, как в муфту, и спит, собачий сын. Да не гони ты его, бабушка, все равно уж напачкал.

Ведь с самого детства мне все хотелось жить в окне между стекол, стекло особенное такое казалось. И сейчас нравится, я б пожил. Художник-то должен быть сумасшедшим и даже неженатым!

Перспективу я очень любил. Особенно. Ничего еще не зная, все углы избы рисовал. Поставил столбы, да к забору веревочкой, — и ведь вышло похоже. Везде и во всем *законы* я вижу, вот жизнь-то мне и хороша, да и смерть тоже совсем не то...

И всегда так. И больной и умирающий. И умер — жив. Для него смерть и вправду оказалась совсем не то...

В день именин его, Петра и Павла, сейчас, как и раньше, любимыми цветами его и зеленью украшается дом и не панихиду служат — молебен.

1928

ЛЕБЕДЬ НЕОПТОЛЕМ

I

Проездом из Парижа на юг Ваксин остановился нарочно в маленьком городке, не обозначенном в гиде, чтобы вернее посмотреть подлинный быт и нравы провинции. Кроме обычного памятника Гамбетте и «жертвам войны», здесь были руины, валы и донжоны, омываемые яркой синей рекой.

Набегавшись, Ваксин сел отдохнуть на горячие камни древней стены, спугнув множество зеленохвостых ящериц. Он засмотрелся на веселые горы, покрытые зеленым безумием виноградников и кудрявыми дубами.

Сейчас, под стеной, глубокий обрыв был полон сизой полуденной мглы; из нее ярко торчала острая скала шапкой густых кустов ежевики. Сзади высокую колонну площади Лафайет почти скрыли огромные липы в цвету. От них шел запах густой и свежий, который вместе с запахом конопли, неизвестно как выросшей на стене, вдруг превратил французскую местность в русскую.

Ваксин задумался и не заметил, как из небольшой лавчонки на площади, которую он невольно отметил за несоответствие торжественной вывески: «Сапожник Генриха IV», вышел старик в соломенной шляпе, с трубкой и сел возле, на древнюю стену.

Не здороваясь, совсем просто, как бы продолжая давно начавшийся разговор, старик этот сказал:

— Вы знаете, мосье, я выпить совсем не дурак. Без этого в сапожном деле нельзя. Вот портные иные... Хо-

тите, я необыкновенно покажу вам наш город, а вы поднесете мне два стаканчика аперитива? Фамилия моя Буриган — сапожник Генриха Четвертого. Почту за честь осведомить иностранца.

Тут он поклонился не без шика, взмахнув над лысиной шляпой.

Ваксин согласился и спросил:

— Отчего вы сапожник именно Генриха Четвертого?

— Оттого, мосье, что для успеха — людей надо чем-нибудь эпатировать, ударить по затылку. Если бы, скажем, наш куафер, в простоте, стриг бы бороду нашему мэру просто клином, не называя ее «а ля Франсуа I», то, уверяю вас, господин мэр платил бы ему франком меньше. А франк к франку — тысяча. Так и мои, между нами сказать, обыкновеннейшие каблуки... Однако вступлю в должность гида. Вот там, мосье, вдали, дворец папы Иоанна XXII! О, большой женолюб! Он провел было тайный ход прямо на гору, в монастырь... Однако злая метресса его ужасным способом отравила...

— Э, нет, Буриган, — прервал Ваксин, — я как нарочно еще утром вычитал, что этот папа Иоанн, правда родившийся в здешних местах, преставился в Авиньоне.

— Очень возможно, — с удовольствием согласился Буриган, — только, по-моему, гораздо естественнее, чтобы человека тянуло умереть на родине. Но, так как иностранцы особенно падки на любовные шашни духовных, я думал...

— Оставим историю, Буриган, мне интереснее узнать, как и чем у вас тут живут.

Тотчас с легкостью мячика Буриган спрыгнул на землю, сорвал ветку липы и, прищурившись на гору, указал:

— Вон дубы. Обратите внимание, под каждым вытоптан круг. А? Правда, похоже, что игрушек наставили? Это наш кормилец — трюфельный дуб. Пускаем свинью, как дороется, как захрюкает — сейчас в зубы ей кукурузу, а трюфель себе. Веселая охота! С дерева десять кило... Наш трюфель очень душист. А еще жили мы виноградником. Как же, славились по всей Франции. Сейчас против прежнего треть. Батраки дороги — не поднять. Своих на войне прикончили, а новых рук — стоп! — женщины нам не рожают. В нашем городе, мосье, самый крупный процент убыли населения на всем земном

шаре, — доктор нам по статистике доказал. Не мудрено поэтому, едва мы в кафе соберемся, сейчас про этот вот женский вопрос. Я, мосье, вдовец. Дочка замуж вышла в Тулузе; как у всех теперь, у нее детей нет. Остриглась и курит. А вся беда из-за этой новой святой... из-за Жанны.

— Какой такой Жанны?

— А вот послушайте. Замечательный был у нас старый кюре — республиканец. Убрали его далеко за язык, все жалеем. «Вот запомни-ка, Буриган, — говорил тот кюре, еще когда только прошел слух о канонизации, — как поставят ее по церквам, стриженую да с мечом, ничем женщин мы не удержим: обрежут косы и перестанут рожать». И ведь как напророчил! В Париже, говорят, даже стрижка есть «Жанна д'Арк».

— Ну, в этом худого еще не видать...

— Разумеется, мосье, как кому. Тот старый кюре недавно проездом был, так теперь даже рад: «Я, говорит, столько из-за женщин страдал и вдруг перестал. Как войдет, говорит, этакая модная, телом полпорция, без косы, без оборок, без шлейфа и без веера, да мне, говорит, что она, что мальчишка из клира, — мало я им, что ли, подзатыльников раздаю!»

Однако, мосье, если говорить серьезно, сердце патриота по этому случаю не может не обливаться кровью за Францию. Государство держится женщиной. Что там ни скажи, она столп земли. А для крепости столпа нужны кое-какие условия...

Первое — женщина должна хоть чего-нибудь раз навсегда испугаться. Ей страх — что пчелиной матке улей. Без улья, знаете, матка бог весть куда улетит, да и весь рой с собой стянет.

В наши годы женщинам, в смысле страха, всего лучше был ад. Тут самых злющих сворачивало... Нонче вера отпала, осталось одно — чтобы муж научился пугать. Чуть срок пропустил — такую, скажу вам, ведьму себе на шею посадит...

— А еще какие нужны условия, кроме страха?

— А еще: должна у женщины любовь быть к гнезду, как у птицы... зовется гага. Говорят, из-под собственных перьев она пух выдирает, чтобы всем было дома тепло. Из отдельных гнезд, мосье, составляются города, из городов департаменты, ну, словом, государство...

II

— Вот у нас, мосье, в городе есть такая, сказать, жемчужина, женщина первый сорт, мадам Кантапу. Редис в городе квадратами садит, по счету. Ну хозяюшка, ну жена!.. Сейчас, правда, пятый год вдовеет. Так ведь все еще покойнику за столом прибор ставит. Никогда не забудет. И абсенту рюмку нальет. Откушает сама — его рюмку назад выльет в графин, до завтра.

Правда, есть у ней одна, сказать, вполне бесполезная слабость. Да и та не каприз — опять уважение покойнику. Подарил ему, вишь, кто-то лебедя, и привязался он к нему, как к собаке. Вот хозяйка теперь зря эту птицу и кормит. А что пользы? От него ни цыплят, ни яиц. И прозвал же лебедя господин Кантапу, — язык вывернуть: Нео-пто-лем. Да, на этот дом стоит взглянуть! А мне туда, кстати, починку снести.

Старик нырнул под своего «Генриха IV» и вынес узелок.

По узкой дорожке дошли до исторического вала, напоминавшего ограду Новодевичьего монастыря, и старик сказал:

— Я бы здесь, мосье, хлопнул стаканчик. А? Единственно для здоровья...

Ваксин дал франк, и старик тотчас исчез в синем дыму глубокого погребка, где за мраморным черным столом шла азартнейшая игра, хлопали пробки и бегал гарсон с «боками» пива и какой-то яркозеленой отравы.

Старик вернулся веселый, обрадовал Ваксина:

— У меня, мосье, в кишках прямо огонь! И какие дураки и молокососы против аперитивов кампанию было подняли? Вред, алкоголь... А наши продавцы, спасибо, изловчились, взяли да подсыпали на сантим медицины, всем и заткнули глотки. И сейчас, мосье, пьем мы, не простого «rossi», «byrrh'a», а «byrrh quinquina» или «rossi oxiéné»! Если с хиной, говорим женам, — значит, лекарственная. Обернулись, дьяволы! Пьем и, что греха таить, напиваемся. Однако, мосье, как вы именно хотите наш город смотреть? Направо пойти или налево? Направо, в конце валов, будет старая кордегардия с башней, где для примера на долгий срок вешали преступников. Сейчас же налево — кладбище. Я бы вам, мосье, пока-

зал один монумент... раз зашла у нас речь о женском вопросе.

— Пойдемте налево, — выбрал Ваксин, — и покажите монумент.

Через одну из квадратных башен вала они вышли за ограду, и рядом с церковью, на почетнейшем месте, Буриган указал Ваксину два огромных мраморных памятника под общей оградой.

На одном стояло:

Единственному супругу —
нежная супруга
Элиза Гарнье.

На другом кресте начертан был год рождения самой Элизы Гарнье, ее имя, и для года смерти оставлена соответствующая пустота.

Пока Ваксин читал, Буриган хихикал, подмигивал, наконец, подтолкнув локтем, выкрикнул:

— Эта Элиза Гарнье — преживехонька! У нее макаронная фабрика в нашем городе, отличный доход. Ну, история...

— Вторая жемчужина, — усмехнулся Ваксин.

— Не иначе. Вообразите, мосье, кто же так любил мужа, что не только ему — и себе памятник закатить? Золотом по белому. Из Гаварни мрамор волокли. И не будь у этой женщины макаронного заведения, все бы честь честью. Только шалишь, и наш брат не простак. Старший мастер ей втерся в доверие, все дело зажал в кулак да и посватался. Она — отказ. Он — уходить. Грозит разорением... Женщина, натурально, в мужском деле ни бельмеса, а тут соседи кругом: «Выходите, мадам Гарнье, вы еще в теле, не вечно вдоветь!» Скоро дознались: и сама бы очень не прочь, да, вишь, этот памятник...

Вдова, оказалось, на том свете мужа боится, новый кюре к тому же держит сторону покойника: обещание, говорит, не гвоздь, здоро́во живешь слово менять — ад мостить. Весь город знает, что написано мужу: «единственный»; мужья ее в пример нам же ставили, девицы стих сочинили.

Однако двинемся побыстрее: мадам Кантапу, неровен час, уйдет корову доить.

III

Просторная комната, вся в памятках из Лурда, фотографиях, уснащенных белыми лентами, цветами и тюлем, изображавшими «первое причастие» самой мадам Кантапу, детей ее и племянников. В большом венке сухих иммортелей — последний портрет покойного Кантапу с жирным лебедем на коленях.

— Неоптолем! — шепнул Ваксину Буриган.

Против света на диване, поражая слишком прямой спиной, сидела мадам Кантапу, окруженная хозяйками города. На большом столе перед ней были сложены стопочкой красные вязаные шляпки с длинными ушами, различных размеров: для мулов, ослов, для огромнейших першеронов. По обычаю страны, в жаркий день здесь хороший хозяин не пустит «свое животное» без головного убора. В городке же единственной поставщицей «звериных шляп» была не кто иная, как мадам Кантапу. Сейчас она не вязала. Перед ней из огромного клубка вязальной бумаги печально торчали спицы; вокруг нее вздыхали соседки.

Увидя Буригана, мадам Кантапу поднесла к глазам белый платок и стала всхлипывать. Соседки заохали. Одна подошла и сказала:

— Какое горе, мосье Буриган! Собака нового почтальона разорвала несчастного Неоптолема.

— О, это горе, настоящее горе... — чуть всплеснула руками мадам Кантапу, и голова ее, белоснежная, в черном чепце, качнулась от рыданий. — Теперь я совершенно одинока. О, крылатый мой друг...

Сапожник Буриган, растроганный горем мадам Кантапу, сказал:

— Я готов безвозмездно сколотить вашей птице липовый гробик. У вас в саду будет своя могилка, мадам Кантапу.

Мадам Кантапу вытерла глаза, еще прямее откинулась на спинку дивана и сказала с достоинством хозяйки, задетой бестактным вопросом:

— Но мне совсем нечего зарывать. Я сама ем останки Неоптолема. Чудесное мясо, около двух кило. Мне хватит на несколько дней!

Соседи с жадностью, перебивая друг друга, спросили:

— На что это мясо похоже, мадам Кантапу? Вроде утки? Вроде кролика?

— О, много нежнее. Ведь он был молод и прекрасно откормлен, — сказала с гордостью хозяйка.

— А крылья, мадам Кантапу? Ведь лебединые должны быть удобнее для пыли? Хоть что-нибудь да получите, одного зерна он вам сколько склевал!

— О крыльях я сразу подумала... Но прежде надо их высушить, выветрить. Мяса же было немало, оттого что проклятый пес поспел перегрызть ему только горло. О, его белая, его лебединая шейка!

Мадам Кантапу опять приложила к глазам свой платок, опять соседки вокруг дружно стали вздыхать. Ваксин с сапожником вышли.

У Буригана был сконфуженный вид. Ваксин сказал:

— Однако хороша эта Кантапу — любила, любила и съела!

Буриган пожал плечами:

— Мужчине, конечно, до этого не додуматься. Дурак и я, с гробиком сунулся — дайте останки. А останков-то нет...

Он захохотал и продолжал с восторгом:

— Кантапу, верно, и кости припрятала. Весной пережжет, огород удобрять. Слыхали: лебединым крылом лучше пыль вытирать, чем куриным. Ну и шельмы наши бабы. Пойдем, выпьем за них! Выходит, мосье, я вам показал даже больше, чем обещал.

Вошли в брассери, как две капли похожее на первое. Буриган опрокинул в рот залпом, крякнул и окончательно повеселел.

— И сказать, мосье, что эта Кантапу для своей птицы носила в кармане особенный гребешок, ей пузо расчесывать! Ведь если не плавал, ходил он за ней следом, ну, ровно пес, а она съела его... Да, хозяюшка!

— И такой-то вот женщиной, по-вашему, все и держится? Нет уж, по мне молодые лучше...

— Молодые? — заревел Буриган. — Эти кукушки бездетные? Да мадам Кантапу вывела в люди шесть сыновей, за стол в праздник сядут, их, мосье, вместе с внуками человек тридцать. И дом у нее без долгов. А я дочку в Тулузе спрошу: «Когда же меня, старика, внуком обрадуешь?» Она и уши заткнет: «Мы теперь

поумнели, нам в этом деле больше трудов, чем мужьям. Еще очень подумаю, делать мне тебе внуков или нет!» То-то вот...

А что население вымирает, ей это, мосье, наплевать. А я громко скажу: без детей баба — шар без балласта. Вспорхнет — лови ее. И еще повторю: дрянная это вся мода — под Жанну д'Арк: ни косы, ни семьи, голоногие, бритолобые — тьфу! И к тому же, мосье, разница: как она, *эти* никогда нам страны не спасут.

1927

КЛАДБИЩЕ ПЕР-ЛАШЕЗ

Сторож, водивший иностранцев по кладбищу, равнодушно и плавно, как привычный оратор, наизусть давно знающий свою речь, говорил:

— В Париже, это легко запомнить, девятнадцать публичных кладбищ — из них три главных: северное, южное и западное, или, как население его обычно зовет, Пер-Лашез.

В средние века на этом месте было Поле епископов, последующий владелец, некий богатый человек Рено, выстроил себе здесь такое шикарное жилище, что его прозвали «Безумие Рено». Спросить: где оно, это безумие? Как вы видите, ничто не вечно, мосье.

Дальнейшая история этих мест такова: при Луи XIV иезуиты выпросили себе этот лакомый кусок. Ну, разумеется, они польстили королю; как известно, при всех правительствах полезно льстить, — недаром господин Лафонтен, здесь неподалеку лежащий, обессмертил своей басней лесть. Однако вернемся к иезуитам. Еще раз — увы, до чего бренно все под луной! — иезуитов мы с удовольствием изгнали в тысяча семьсот семьдесят третьем году, «мон Луи» пошел платой за их долги. О, эти умели хорошо пожить! Но префект Сены купил прекраснейший их холм, и по декрету Наполеона он был пущен под кладбище. Работы подгоняли — знаменитых покойников накопилось. Уже весной тысяча восемьсот четвертого года сюда въехали первые: Мольер, Лафонтен, Бомарше...

С этих пор кладбище Пер-Лашез — последнее убежище всего, что было на земле когда-то богато,

могущественно, знаменито. И вместе с тем, messieurs et mesdames, это кладбище не печалит взоры. Не глядя на могилы, вам может сдаться — это чудесный увеселительный сад! Обратите внимание: какие деревья! какие цветы! Ваши ноги ступают по мягким песочным дорожкам вдоль столетних платанов. А взойдя на вершину холма, вы увидите, mesdames, горизонты. Именно то, что авторы романов зовут «горизонты». Их замыкают Медонский лес и Сен-Клу, башни замка Венсенн налево. Про этот замок прилично сказать так: он свидетель средних веков. Однако прошу прощенья, messieurs, я чуть-чуть покурю.

Сторож, любитель аперитивов, прирожденный резонер, как второй могильщик у Шекспира, бросив на землю окурок, его тщательно зарыл ногой и рассмеялся:

— Что поделать, это уж профессиональное: насмотревшись, как день-деньской зарывают, зароешь каждую мелочь и сам.

Но займемся покойниками: теперь опустите глаза, messieurs et mesdames, и, как вы только что охватывали взорами горизонты, охватите сколько можно подножный пейзаж.

У ваших ног: слава империи, знаменитости реставрации, наконец достоинство республики. На каждом шагу вы попираете могилу необыкновенного человека...

Вот готический памятник с скульптурным надгробием юных и прекрасных существ — Абеляра и Элоизы, — только после смерти история признала союз их любви. Здесь не переводятся, как вы сами видите, цветы. Как смерть, любовь вечно волнует сердца. Прошу отметить, сколь верно сказал один поэт: кто именно любви посвятил свою лиру — к тому и после смерти не оскудеет ответная нежность людей! Вот он, Альфред де Мюссе... и сегодня, как всегда, обилие роз. Если хотите, сорвите на память листок с этой плакучей ивы, которую, по его завещанию, ему посадили над гробом. Между нами сказать, не в добрый час для кладбищенских сторожей он это придумал: весной, когда цветет эта плакучая ива, у него на могиле чистки больше, чем у прочих мертвецов, ровно вдвое. Ну, иной раз и пошлешь его к черту! Ведь ему, полагать надо, сейчас вполне безразлично, есть над ним дерево или нет. Ну что бы раньше додуматься! Однако

умирающих все равно уму не научишь: без фанаберий редкий помрет...

И вы ошибетесь, messieurs et mesdames, если здесь вспомните пропись: «на кладбище обитает справедливость». Увы, и здесь ее нет! Если б была, то почему, спрошу я вас, на памятнике нашего великого баснописца всего на все небольшая лисица, у Бернардена де Сен-Пьер, у Парни, у Мольера (похороненного ночью и без помпы) простые кресты или камни, а совсем неизвестному лицу давит кости вот та огромная, отовсюду видная пирамида?!

Да, в этой давке у мертвецов, как у живых, — лучшее далеко не по заслугам: Давиду, первейшему художнику Франции, — одноглазый медальон, Бальзаку — небольшой бюстик; ну, про генералов я не говорю: генералам, бесспорно, ставить памятники поважней, — но частные, никому не известные лица? Только оттого, что у них деньги? Нет, это бы я запретил...

Вот направо гробница английского поэта Уайльда.

Крышку мавзолея держит голый крылатый юноша в высокой фараоновой шапке. Он одновременно распластал крылья и поджал ноги, будто собирается кинуться вниз с большой высоты. Говорят, что здесь тайный английский смысл, но в чем он именно — не умею вам сказать. Англичане знают.

А вот там богатейший памятник, словно пирожное, — это повара воздвигли своему патрону — ресторатору.

Здесь — знатные индусы. Приехали, заболели и померли. Родина же их далеко.

Однако извините, messieurs, к Стене коммунаров я не могу вас вести, это далеко, а мне отлучаться нельзя от ворот. И то я вам показываю незаконно... Что вы, что вы! Я не к тому... гран мерси! Выпью за здоровье иностранцев. И мой совет, messieurs: к коммунарам поспеете и потом, здесь все мертвые одинаково смирно лежат. Сперва посмотрите крематорий, — там сейчас перерыв. И пока никого не жгут. Мой приятель вам прекрасно покажет. Он при печке; только шепните ему: нас прислал Антуан!

В крематорий же идите всё прямо, вот по этой дорожке...

Здание крематория оказалось похожим на буддийский храм. Наверху вместо креста треножник, над входом —

сова. С двух сторон полукружием идут колоннады в два этажа. Вдоль колоннад высокие стены в сплошных, как для детской передвижной азбуки, нарезанных квадратиках, снизу доверху. Каждый квадратик в кубический аршин. В нем урна с прахом. Квадрат снаружи прикрыт мраморной доской. На ней золотом: имя, год, чувствительный стишок. Редко изречение из священного писания.

Видно, все еще нужно известное вольнодумство, чтобы сделать выбор: быть медленно съеденным червем или пожранным раскаленной добела печью. Впрочем, в печи, в приподнятую на миг заслонку, привычного глазу огня совсем не было видно. В нестерпимую белизну, похожую на удержанную и растянутую в большой квадрат молнию, был превращен здесь огонь.

Действительно, приятель Антуана, дежурный при печке, оказался славным малым, толще и пьяней Антуана и еще больше, чем он, похож на другого шекспировского могильщика — не резонера, а весельчака.

Человек этот будто выпрыгнул из последнего акта «Гамлета» в природном прекраснейшем гриме: его взвихренные брови, навсегда удивленные бренностью мира, при каждом слове прыгали то вверх на лоб, то нависали на быстрые умные глаза. Это вечное движение бровей создавало впечатление непрерывного хохота, несмотря на спокойствие крупных румяных щек.

И, конечно, как полагается человеку его невероятной профессии — через каждые два часа бросать в огонь другого человека, — он был сильно на взводе. Потому что, не будь это именно так, он бы, конечно, постеснялся в виде указки из свалки костей сожженных трупов неизвестных из морга выхватить большущую берцовую кость и размахивать ею в подкрепление своих объяснений...

— Настоящий палач! — хохотал англичанин.

«Палач» прежде всего стал восхвалять преимущества над старым способом погребения крематория.

— Эта печь — мой патрон, — рекомендовал он, кивая берцовой костью на саженную печь, присевшую как старуха с злющим стиснутым ртом.

— Все сжигайтесь, messieurs, сжигайтесь, mesdames! Завещайте сжигаться вашим детям, дарите друг другу, как это делают на вашей родине, фрейлен, квитанцию

в крематорий. У нас, у французов, это еще не привилось; мы сентиментальны совсем на другой образец, нежели вы, мы еще не поняли, что каждому должно быть лестно иметь после смерти кости такой вот чудеснейшей белизны. Эта берцовая для медицинской академии, на заказ. Но родные предпочитают, чтобы покойник совершенно истратился — чтобы сгорел в порошок! Меньше места...

— Однако положите кость, — сказал англичанин, — вы ею машете как оглоблей. Того гляди, заедете по живым!

Сунув палачу в руки франки, он предложил показать, как здесь, в его хозяйстве, все происходит с самого начала.

Палач ловко опустил франки в карман, снял кожаный передник и, оказавшись довольно толстым человеком в пиджаке, сказал:

— Сейчас сюда принесут свеженького из морга, и я должен буду смениться. Всем вам придется отсюда уйти, потому что жечь будут наскоро, для медицинской академии, без церемоний. А потому, если, мосье, разрешите, я лучше объяснять начну с самого конца. Эта печь вроде как, извините за сравнение, неопалимая купина — горит не угасает. Очень уж трудно ее распалять. Покойника, как только вытащат из саркофага, который я вам потом покажу, сейчас к нам в тепло. Принимаем его здесь уже без всяких надгробных речей. Примем — и прямехонько в огонь. Однако богатый и здесь норовит отличиться; он, видите ли, лежит в гробу дорогого дерева, в тонком надушенном белье. А уж тут, души его не души, — понимаете, обыкновенный труп.

Вот посмотрел бы этот труп сам на себя в печь в это окошечко, не стал бы душиться! И богатый и бедный попрыгает сколько ему надо, покорчится — и берите, пожалуйста, — кучка праха.

Однако отсюда сейчас пора уходить — пойдемте в salle d'attente, — теперь я объясню, как вы хотели, с самого начала...

Палач провел всех по лестнице вниз, в залу ожидания. Мы оказались в первом ряду кресел амфитеатра, повышавшегося в задних рядах. Перед нами, на значительно поднятой сцене, между двух занавесок тяжкого черного бархата, стоял тоже черный, с серебром, саркофаг.

Наш пьяный маэстро вышел на авансцену и, как певец-солист, сказал, с очень верными жестами, усвоенными им от многочисленных переслушанных здесь проповедников:

— Messieurs et mesdames, эта роскошная гробница не что иное, как подставное лицо, а все происходящее здесь торжество — un simulacre — лицемерие! Ну, разумеется, оно необходимо для папенек, маменек, неутешных вдов...

Пока они все сидят на тех местах, где сейчас сидите вы, натурально с белыми носовыми платками в руках, пока проповедники говорят о загробных наслаждениях, то есть о вещах никому доподлинно не известных, мы, с вашего разрешения, в мягкой обуви, сторожим за бархатной занавеской, чтобы собранию и шороха не услыхать. Мы даем проповеднику хорошенько разогнаться и выбираем покойника из саркофага. Потом, извините опять за выражение, мы его, как бревно, прямехонько в печь. А проповедник долго еще трудится, и по временам, когда этого требует речь, все обращаются к мертвецу как к живому, то есть как к лежащему в саркофаге: «Ты слышишь ли меня? Ты слышишь!» Хорошо, что сам тут же и отвечает: «Да, я слышу!» Ведь в саркофаге ни живого, ни мертвого... Потеха!

Из публики спросили:

— А толстые дольше горят, чем худые?

— Толстые? — вздернулись взъерошенные брови, и не понять, соврал нам маэстро или это правда: — Толстые на пять минут горят дольше. А одетые или раздетые — все равно.

Совсем недавно горела у нас в очень хорошем белье одна танцовщица. Известная. Ее убил собственный шарф. Говорили люди, что не надо было ей изобретать «танец апаша». Она все его танцевала с этим самым шарфом, который душила руками, будто как апаш душит свою возлюбленную, а он, шарф-то, вот возьми да и задуши ее сам. Оч-чень хорошее у ней было белье!

Близкие, конечно, ничего своим не жалеют, ну, а мы знаем правду. Как вынешь из печки, никого ведь уж не узнать: ни богатого, ни бедного, ни старого, ни молодого. Одно слово — прах.

Но, messieurs, странное дело: когда этот прах в урне, в своем квадратике, когда на доске золотом горит его

бывшее имя, а по бокам, на медных крючках, бутоньерки с белыми пыльными розами, — я замечал, родные очень успокаиваются. Бывают такие, что даже хвалят. Ведь если сожжешь чьего покойника, мосье, будто с его родней чуть-чуть и сам породнишься.

Вот на днях дама одна зашла. «Хлопот, говорит, мне теперь никаких; не то, что в земле! Там уж худо-плохо — три аршина надо досматривать. А расходы? И сторожу дай и садовнику дай... Здесь же дело совсем домашнее: а чистота, а дешевка! Цветов, говорит, куплю ему на франк да пыль с дощечки сотру — вот и навестила».

К сведению вашему, messieurs et mesdames, следующий номер записи на сожжение — отличный номер, кончается четом, шесть тысяч семьсот восемьдесят четвертый!

После крематория нам оставалось пройти к Стене коммунаров. Оказалась, она далеко на опушке кладбища. В воображении и по описанию впечатление гораздо сильней. В действительности прежде всего неприятно поражает, что город совсем рядом, что нет тишины кладбища.

Здесь грохот огромных фур, запряженных першеронами, звон трамваев, свистки авто, крики газетчиков. Стена в неприятных венках: грубые толстые маки (фарфоровые цветы здесь гораздо грубей русских), буро-красные, как будто измазаны кровью.

Отделение 97. Стена федералистов. Здесь были расстреляны последние защитники Коммуны 28 мая 1871 года.

Вдоль стены ходила одинокая, очень старая женщина, лет под восемьдесят, в черной мантилье. Шляпа кибиточкой, черные ленты завязаны бантом под подбородком; старуха с трудом двигалась, напирая на палку. Она склонялась к белой мраморной доске с именами коммунаров и шептала имя за именем. Потом она крестилась мелким католическим крестом, и слезы капали у нее из глаз.

Ее совершенно особая, интимная связь с этим местом была несомненна.

— Дочь коммунара? — прошептали мы с волнением. — Но, может быть, и жена?

В самом деле, почему бы и нет? Если ей в семьдесят первом году было двадцать лет, то сегодня ей всего семьдесят пять. Ну да, она могла быть женой.

Старуха опустилась на колени в глубоком поклоне, но встать не могла и, бессильно плача, затрясла головой. Ей кинулись помогать. Ее подняли. Все были глубоко взволнованы. Жена коммунара, живая история была перед нами! Было благоговейное участие, была человеческая гордость за верность женского сердца.

Вот они, наши женщины, — сказал сквозь навернувшиеся слезы один из французов. — Женщины — это те, которые не забывают.

Старушка оправилась, чистым платком вытерла глаза, любезно поблагодарила неожиданно еще молодым голосом. Потом она указала своей сухонькой ручкой в черной перчатке и деловито, как хозяин, за многие годы изучивший до песчинки свое владение, сказала:

— Расстреляли их там, много левее, но зарыли здесь. Правительство пожалело на месте расстрела старые платаны, и могилу приказано было выкопать тут, на голом месте. И подруга моя, Элиза, помнит тоже. Наши мужья не раз нас водили сюда и рассказывали нам в подробности. Оба умерли. И Элиза умерла тоже. Вот я за всех их теперь и вымаливай. Но расстреливали их там...

— Ваш муж, мадам?..

— Мой муж был сержант, сержант национальной гвардии. И муж Элизы Рике тоже. Не сами они придумали расстреливать — служба! Ах, умереть бы мне раньше, messieurs, когда все было ясно, как день и ночь: коммунаром быть постыдно, а национальной гвардией — похвально. А вот сейчас — дожила: внучек у меня коммунист. Как пойдет поносить деда! И сам и товарищи... из книжек мне читают. А что, думаю, если и на том свете как здесь — полная перемена в этих делах и мужа моего на страшном суде уж не похвалят? Вот и хожу сюда, вот и молюсь за коммунаров... Служба, говорю им, служба у мужа такая была, наградные, говорю, на ней получали, не худым, говорю, видно, делом считалось...

1928

СОБАЧЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

При благосклонном участии известного доктора психологии, профессоров, журналистов и огромного стечения публики в зале Ваграм был назначен диспут на тему: «Кошка и парижанка».

В основу диспута положена книга, уже намозолившая всем глаза из-за витрин бесчисленных магазинов. «Любовь парижанки» — так звалась она, в ужасной обложке, где кровавое сердце с мужской головой обнималось с сердцем другим, цвета увядшей розы, обладавшим головкою дамы.

А содержание книжонки было таково: какой-то замечательных чувств князь или маркиз, оскорбленный безнравственностью парижанок, женился на глухонемой женщине необыкновенной красоты. Уже со второй главы читатель догадывался, что глухонемая женщина — просто кукла в человеческий рост, лишенная притом, по бездарности автора, всякой прелести гофманской темы. Но увлекшиеся графом или маркизом живые, и по тексту даже совершенно добродетельные, парижанки о его жене-кукле догадывались только в самую последнюю минуту, когда, хитрым маневром заманивши их в свой, ну конечно, роскошный отель, граф или маркиз объявлял, что он женской коварной любви предпочел навек безответственную честность предмета, и демонстрировал свою сделанную лучшей американской фирмой «супругу». Затем герой давал приказ лакею отвезти в такси оскорбленную им даму домой. Пошловатая книжка разошлась

в несметном количестве и взволновала все женское население.

Когда русский, взявший билет на диспут «Кошка и парижанка», пришел в залу «фобура», она была набита битком.

— Голова к голове, как поле капусты, — сказал ему спутник-француз, — вот оно, уже несомненно французское место, куда вы так стремились попасть.

— А ведь, пожалуй, и вправду надо иметь кочан на плечах, чтобы прийти слушать подобную дребедень?

— Ах, мосье, подождите судить, — сказал француз,— разве не проявление тонкой культуры и богатств эстетических уже одно умение невинно забавляться невиннейшим пустяком? Дайте срок, здесь наткут вам словесного кружева! И будет превесело; только вы, мосье, не дуйтесь, не взывайте к высоким идеям и добродетели. Вспомните, как говорил ваш народный мудрец, un certain Кузьма Прутков. Его чудесному афоризму обучил меня мой приятель: заткни фонтан, и ему нужен отдых! — Француз расхохотался: — Не может быть, чтобы он, этот Кузьма Прутков, хоть немножко не был француз. Однако берите соломенный стул и, стараясь не хватить по кочнам, или головам, как вам больше нравится, пробирайтесь вперед!

Вклинившись в проход, попали в гущу спора. Старый эмигрант, тоже русский, припоминал, с укоризной по адресу легкомысленных французов, особое значение «фобуров» в революции. Говорил с чувством о роли клуба Сен-Антуан и, умоляюще поворачиваясь направо и налево, заклинал сказать ему: какое *тайное* содержание кроется под объявленным диспутом?

— Никакого тайного содержания, мосье, — божились французы, — только о кошке. О кошке и парижанке: если себе кто позволит иное, вы увидите, как его пресекут!

— Но все-таки, хотя бы и с пресечением, что именно, *что* под *этим?..*

— Прездоровое чувство, мосье, — желание забавляться! Умение веселиться излечивает печень. Но тсс!..

Профессор психологии, с пивным брюшком, скорей бы немецким, чем французским, взошел на высокую кафедру и стал говорить. С жестами, полными округлостей

и достоинства, он открывал для четырех тысяч голов кошачью Америку.

— Le chat, видите ли, разнообразнейший зверь в смысле музыки. Когда он голоден, у него «мяу» одним способом (вот хорошо бы определить, в каком именно тоне); когда он бежит на крышу любить, у него еще новый звук; когда он сердится...

Профессора заглушили. Зал весь мяукал на все лады. Хохот, шиканье, свист.

Профессор с немецким брюшком долго ждал, чтобы завершить свою экспозицию и законно передать слово публике.

Неожиданно с кафедры заверещала утлая, легкая, как осенний листок, старушонка:

— Кошка полезна. Кошка уничтожает мышей.

— Мышей ядом может вывести и консьержка. Говорите по существу.

Плеснулась на кафедру немолодая, в лиловых газах девица:

— О, я видела столько измен! Столько измен! Но только не от кошки.

Басовато сказал голос с мест:

— Поищи идиота, чтоб был тебе верен!

Еще старушка кофейная тонким голосом:

— А мне даже кошечка изменила! Сбежала в мясную...

— А ты салатом зверей не корми!

— Плохо слышу, — ставит рупором ручку. — Я говорю, уж не знаю какого зверя мне завести, чтоб не сбежал.

— Замаринуйте селедку!

Хохочут четыре тысячи голов. И недоумевает и мучается русский:

— Инсценировка? Памфлет? Может быть, война с рифмами?.. Колониальный вопрос?

— На дьявола ваша инсценировка! Это женская тема, мосье. Консьержки и кошки — один организм. Здесь их со всех кварталов.

Доктор в черном сюртуке пытается с высокой кафедры вознести тему на высоту. У доктора оказалась идеология для смягчения нравов, по благоволению напоминавшая мечты Жуковского об идеальной казни.

— Людям необходимо испытывать чувство любви. Это именно необходимо: раз — для внутреннего равновесия, два — для физического здоровья, три — для порядка. В любви — энергия, излишне накопленная, но никуда не направленная, находит общественно-безопасный исход. Накоплять энергию без исхода — запасать в себе динамит. Дальше: любить себе подобного часто очень хлопотливо, часто экономически невозможно. Отсюда у нас во Франции оскудение браков, отсюда бездетность. Чудесным суррогатом и вместе невинно разряжающим средством является любовь к животным. Из всех животных кошка — наиболее экономный объект любви. Ergo: да здравствует кошка!

— Vive le chat! — отвечали старику, — но про любовь вам, ситуайен, пора бы уже позабыть!

— Mesdames et messieurs, я только что из Германии, я задет как патриот. Неужто и в этом вопросе мы будем немцами посрамлены? Mesdames et messieurs, чем цивилизация в стране выше, тем в ней лучше живется животным. Это все равно как культура дома и честь аккуратной хозяйки определяются чистотой ватерклозета!..

— Долой его! Грубиян! — закричали женщины и порывались стащить юркого, легкого человечка, с голосом как из бочки.

Другие кричали:

— Правду говорит, оставьте!

Сам человек кричал:

— Я клянусь больше женской чести не трогать. Я только статистику. Messieurs et mesdames, на четыре с половиной миллиона у немцев восемьсот собак. Большие доги. Огромные доги. Они ходят с важностью в каждой лапе, как Гинденбург. Они каждой лапой говорят: «Deutschland über Alles». И они имеют право так говорить. А почему? Потому, что у них в Берлине два псиных журнала, у них на Аугсбургерштрассе образцовое ванное заведение, у них в пивных объявление «фоттикюр», что в переводе на человеческий язык означает — «маникюр». У них собачий «институт красоты», у них в булочных специальный собачий бисквит «хундебисквит». У них каждый может женить или выдать замуж свою собаку по собственному вкусу, потому что у них, —

да простят мне деликатные уши дам, — у них в Берлине есть «собачий публичный дом»!

— Долой его, безобразник!

— Штраф, штраф... Он сорвал диспут. Он посмел говорить о собаке, когда надо только о кошке!

— Но он прекрасно говорил о собаке.

— Собака лучше кошки... Vive le chie-e-en!

Председатель звонит:

— Я не позволю говорить о собаке. Диспут твердый: диспут о кошке. Про собаку нельзя.

— А про свинью? Про крокодила? Про лягушку? — перебирали зверей.

Кто-то, кроя всех басом, гаркнул:

— А про те-ещу??

— Неужто это все не нарочно?.. Ради бога, что под этим всем кроется? — умолял русский, склонный к рефлексии.

— Лечите свою печень, — смеялся француз, — теща — зверь!

На кафедре опять женщины:

— Вы слышали речь приехавшего из Берлина?

— Уж из одного патриотизма нам надо что-либо подобное сделать для кошек...

Сверху ухнули в рупор:

— Сты-ди-тесь, женщины! К черту кошек, займитесь детьми!

Яркосиняя, с желтой шалью, истошным голосом завопила:

— Человек все забрал себе! Человек обязан уступить животным! Я — буддистка, в животных — душа моих собственных предков.

Ей не дали больше ни слова. Изо всех углов зачастили неожиданной рифмой:

Père cochon
Mère mouton,
Tante grenouille,
P'tite soeur poule... [1]

Доктор-сангвиник с громовым голосом, махая руками и носовым платком, чтобы замолчали, вскочил на кафедру и прокричал одним духом:

---

[1] Отец свинья, мать овца, тетка лягушка, маленькая сестра курица... *(франц.)*.

— Цивилизация Франции не может быть ниже цивилизации Германии, если ее сыновья, ее герои, ее родные и двоюродные братья Неизвестного, всем известного солдата затеяли на днях столь гигантский прыжок на воздушной птице из Парижа в Нью-Йорк! Да здравствуют наши смельчаки-летчики Колли и Ненженсер!

Встали, выли, топали, отдавали дань патриотизму.

Кто-то провокационно прозвенел:

— Однако это не на тему!

Десятки голосов прокричали:

— О величии Франции всегда и всюду на тему!

Отец семейства предложил телеграмму матери Ненженсера. Женщины прочли текст телеграммы:

«Собравшиеся на диспут «Кошка и парижанка» благодарят вас, мадам, за то, что вы подарили нации достойнейшего сына!»

— Но ведь собрание по поводу кошки, — удобно ли?..

— Собрание, собравшееся по поводу кошки, всегда может превратиться в собрание, которое чтит своих героев...

Опять топали, выли, забыли о кошке. Но через минуту уже не помнили о летчиках, уже хохотали бешено, хохотом, сотрясающим люстры и стены. Чья-то старая тетенька, в лентах и кружевцах, весь вечер хранившая про себя свою «тему», улучив минутку, вдруг громко и тоненько произнесла:

— Я не люблю кошку за то, что она пачкает мой ковер!

— Здесь все сговорились, здесь все нарочно... — стонал русский, съеденный рефлексией, теряя последнее самообладание.

— Шер мосье, мы свободные люди, и когда хотим дурить — мы дурим. Лечите вашу печень, мосье!

Выступил старичок, очень подтянут, с моноклем. Старичок брезгливо смотрел в полный зал. Говорил с паузой:

— У меня была прислуга, может быть анархистка, может быть коммунистка...

Его спросили:

— Отчего же она вас не ухлопала?

Он продолжал, не смущаясь:

— Я именно боялся, что она меня ухлопает. И подарил ей кошку, и что же — она сделалась радикалкой.

Когда же кошка принесла ей котят, она стала умеренной республиканкой, очень умеренной, как я сам. И вот, в интересах спокойствия страны, считаю полезным обязать анархистов и коммунистов иметь кошек!

На кафедру орлом взмыл известный в Париже притворно разъярившийся анархист.

Его узнали, его назвали в толпе.

— Мой пример опровергает поклеп роялистского башмака! — выкрикнул он. — Это — гнусная ложь, что кошка действует разлагающе на идеологию. У меня две кошки, и я как был анархист...

— Долой анархиста, не надо политики! Он, прикрываясь котом, все равно будет делать политику!

— Анархисты не любят никого...

— Но если я люблю кошек, — вопил анархист, — если я их ужасно люблю?! Доказательств? Извольте. Не далее как вчера я бросил все дела и на собственном авто промчал своих кошек к котам. Я принужден был сделать много верст, чтобы выдать моих ангорок замуж за им подходящих, тоже ангорских котов...

— Стыдитесь, анархисту непристойно спаривать котов!

— Или разбирать их по кастам...

— Анархисту непристойно иметь свое авто!..

— Camarades, я ошибся, это было авто моего хорошего друга!.. Но и в случае, если бы это было мое собственное авто, то неужто мало учил нас Лассаль и прочие... Мы ездим в первом классе, camarades, единственно для примера, как передовые борцы, всюду первые навстречу событиям. А события нам желательны такие, чтобы все вы имели машины...

— Долой ложного анархиста!

Анархист ловко спрыгнул в толпу, а на кафедре возникли старухи учительницы и сказали неожиданно в унисон, чтобы было слышней:

— Мы находим, что довольно о кошках! Мы собственно пришли заступиться за парижанку. Мы обе очень старые парижанки...

Но, хотя говорят в унисон, их не далеко слыхать. Председатель звонит, добивается тишины, встав во весь рост, возвещает:

— Эти почтенные дамы утверждают, что они очень старые парижанки...

— Они говорят чистую правду! Они именно очень старые парижанки!

Учительницам не удается защита. Уже очень поздно.

Председатель ставит вопрос о переносе второй половины диспута о парижанке на следующий день.

Половина соглашается, половина любезно кричит:

— Эта тема будет исчерпана! Говоря о кошке, поговорили о женщине...

Напоследок на кафедре молодая красивая «мидинетка». Она негодует, она в ярости:

— Если бы у всех мужчин была одна голова, я бы эту голову отрубила!..

— Школьный плагиат, мадемуазель, до вас об этом мечтали римские императоры...

— Вы бы, мадемуазель, лучше эту голову по-це-ло-ва-ли!

Девица не понимает, ей разъясняют, она прыскает в руку, как школьница, потом, приставив обе ладони к губам, кричит благим матом:

— Идет, messieurs, пусть по-вашему: сначала я поцелую, а потом — отрублю!

— Браво! Парижанка оправдана! Наша парижанка — первая женщина мира!

— Эта девчонка сегодня же себе сделает «ситюасион»... — говорит француз русскому.— Обязательно сделает. Ну, а как вам понравилось кошачье заседание?.. Как ваша печень?

— Ничего моя печень, — говорит русский, — но заседание ваше все же... собачье!

1928

ПАРИЖ С ПТИЧЬЕГО «ДУАЗО»

I

Под триумфальной аркой могила Неизвестного солдата. Мимо нее каждый день куда-нибудь да пройдешь. А не пройдешь — из витрин, с тысячи открыток, она сама кинется на тебя, угнездится в мозгу и далеко во все стороны раскинет двенадцать лучей своей огромной звезды.

Безнадежно прямы, бегут в бесконечность эти улицы-бульвары, рожденные под триумфальной аркой от язычков вечного пламени над мраморной плитой:

ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ СОЛДАТ,
ПОГИБШИЙ ЗА РОДИНУ

Эта могила для современного Парижа той же принудительной силы и навязчивости представления, как для Мопассана была не облагороженная временем, свежеиспеченная башня Эйфеля, от которой, как известно, он в ужасе убежал.

«Неизвестному солдату» кто-нибудь всегда возлагает цветы, к нему шествуют парады, к нему под двойной цепью подобранных в рост ажанов, защиты от пуль анархистов, мчат на прекрасной машине египетского Фуада. И многие сотни французских публичных речей, как лучи вот этой звезды, бегущие от язычков вечного пламени в бесконечность, начинаются со слезой в голосе: Le tombeau du Soldat inconnu... [1]

[1] Могила неизвестного солдата (*франц.*).

Приехала целая американская делегация. Представители штатов. Некий весельчак из Коннектикута, славного откормленными гусями, провел перед «томбо» (чем богат, тем и рад) на цепочке огромного гуся. Гусь, обученный то ли местным Дуровым, то ли от собственных чувств, выбрав паузу между грохотом барабанов и трубами, загоготал во всю гусиную мощь.

Париж пришел в дикий восторг. Гуся славили, гуся печатали, «американского гуся» ели с яблоками и пустили фильмом в кино. Даже самые умеренные республиканцы, даже почитатели «Action française» с облегчением вздохнули:

— Enfin...

Но ведь вы патриоты?

Но мы прежде всего смешливые люди. Без улыбки под аркой было слишком торжественно. Гусь прибавил улыбку, гусь поднял стиль.

Стиль — это все.

На знаменитом балу «интернов» — молодых врачей-практикантов в госпитале — ежегодно даются неописуемые инсценировки, их ритуал хранит свято молва. «Конец целомудрия и торжество Венеры!» Грим представителей и жертв этого довольно языческого культа лучшими художниками доводится до столь предельного реализма, что даже печать, восхищаясь широтой «стиля», о подробностях говорит лишь намеками. То же — постановка на тему Пруста — «Les jeunes filles en fleurs»,[1] прославившая госпиталь Лайнек. Еще — «Безумие». Огромнейший головной мозг (в нем прыгают голые женщины) переходит в бесконечную змею мозга спинного. Все это несут одержимые разнообразнейшим сумасшествием.

«Больной табесом в «Саду пыток»!» «Три колесницы!» Колесница с врачами, которые только еще начинают изучать как научный объект женщину; другая — с врачами, объект изучившими, и третья — с врачами, которые позабыли науку и лечат уже «наугад». Стиль бала «интернов» — щелчок в нос буржуазной условности и морали. Дерзость «интернов» традиционно уважается властями и обществом. Все прекрасно знают, что дерзость эта только *«стиль бала»*. А на самом деле «интерн», как всякий

[1] «Девушки в цвету!» *(франц.)*.

умеренный и практичный малый, попав в провинцию врачом, очень скоро превращается в «столп общества», чтобы иметь клиентуру.

Еще удивительней иностранцу была «власть стиля» над партиями всех оттенков — в день бегства Леона Доде из тюрьмы «Санте», откуда никто никогда не бежал. В первый день заключения Доде радикалы и республиканцы скорбели о том, что у редактора «Action française» при внедрении в камеру, не в пример прочим, не отобран был галстук, и горестно восклицали: «О, как расхлябан наш государственный аппарат!» Не успокаивало и возражение, что отобрание галстуков, введенное из предосторожности, чтобы узник не повесился, ввиду многопудового веса Доде не имело бы ни малейшего смысла. Но это правило. А правила надобно исполнять.

Но вот сейчас, когда Доде был на свободе и мальчишки газетчики дерзко кричали: «Новый фильм — одно прогнившее министерство!» — в восхищении радикалы и республиканцы восклицали: «Как чисто сделан побег! Каков стиль!»

На бульварах с хохотом читали вслух уничтожающие власть подробности о том, как «подручные» Доде дали приказ из самого министерства внутренних дел об его освобождении, как без запинки провели приказ через все инстанции — пока начальник тюрьмы его не выпустил из «Санте».

И смеявшиеся были врагами Доде. Но одно то, что сам он был сейчас в Бельгии, что для гнева властей оставалась в музее Гревен лишь одна его восковая фигура с газеткой в руке, приводило в восторг.

Много стиля было и в том, как в один ранний утренний час студенты Сорбонны объявили бойкот нежеланному им профессору. Когда весь Париж, зажав подмышкой портфель, бежал в бар проглотить свой «натюр» или «крем» (бульварное сокращение кофе черного и со сливками, сокращение, которого уже не понимают в дальних фобурах), — перед Огюстом Контом, отцом позитивной философии, и перед куполом Сорбонны — люди в черных плащах воздвигнули гильотину. Правда, не ту «серьезную», проработав с которой «мсье де Пари» должен был потратиться на свежую белую пару перчаток (для каждой

казни этикет требует новую пару), но все-таки точную копию «той».

По-латыни прочли смертный приговор профессору, чья злополучная фамилия кончалась на длинный слог «veau», что, как известно, обозначает — теленка. Привязав обвинительный акт к хвосту юной туши невиннейшего из домашних животных, студенты положили его голову на топор гильотины. Палач зарычал, помогая гильотине рубить. Объявив казненную телячью голову годной на студень, а все прочее на жаркое, палач взвалил тушу с гильотиной на площадку, и судьи уехали.

Аплодисменты и смех...

В отставку профессора! Теперь уже капут. Теленок убит гильотиной, человек — смехом.

Да, парижская толпа любит смех. Она просто беснуется от веселья в многочисленных «фет» и «фуар» де Пари. Она же чудовищно работает и в таком же масштабе пьет вино...

Однако и полупьяная она не груба. Впрочем, любезность и острословие — для нее такие же непроизвольные вещи, как у нас на родине бранное слово.

II

Помнится, как-то в трамвае в Москве неизвестный, слегка навеселе, гражданин нашел для себя необходимым рассказывать вслух свою жизнь. По́ходя он пересыпал излияния такой отечественной прослойкой, что публика потребовала у кондуктора его вывести. И вот, когда его выводили, он обернулся, распахнул невинные глаза с изумлением и горько сказал: «Зря вы меня... граждане. Ну, разве я ругался? Я без намерений...» И всем стало ясно: он, правда, был без намерений: произносил, как дышал.

Смешно сказать, но странное дело: французская любезность, легкость улыбок, приветливые, чистые, как вздох, «s'il vous plaît!» очень скоро кажутся такой же *по существу механизацией человеческого общения,* как наши... *выражения.* Однако, хотя по удельному весу одно, по изяществу французская форма механизации общения, конечно, во много раз приятней нашей.

Еще поражает французская толпа свинченностью, аккуратностью в одежде, быстрым ритмом и опять-таки машинообразной точностью массового движения. Циркуляции по тротуарам, скопление на площадях, толпа вниз под землю в метрополитен, толпа вверх из-под земли, из метрополитена.

И вместе с тем движение не мертво — оно свободно, естественно, на наш взгляд даже бесцеремонно. Француз, не стесняясь, живет на улице: он на глазах у всех обнимается со своей дамой; не уменьшая шагу и целуясь, как воробьи, они проходят часть пути, которая им обоим по дороге. То он забежит в брассери, одним махом, не отходя от стойки, опрокинет рюмки две аперитива, то из писсетьерки он кричит и кивает знакомым, а выбежав, непременно купит в петличку цветок в одном из бесчисленных ларьков, полном уже готовых на всякий вкус бутоньерок. Здесь наблюдатель опять поразится: в Париже цветами считается то, что мы топчем не только как травы, а как вовсе ненужный сор. Так, осенью чудесный подбор опавших желтокрасных листьев был здесь в немалой цене.

— Как смешно, у вас это цветы, а у нас просто сор...

— На то ваша страна страна сказок... — любезнейше улыбается француз. — Как же, мы слышали: мостовые мостят у вас не булыжником, а драгоценными камнями. Сказки для детей!

— Пусть у нас страна сказок, но у вас как бы не оказалась страна собачьей старости, — отвечает с такой же любезностью русский.

— Результат старой культуры! Мы уже не ищем связи вещей, мы предпочитаем просто вещи накоплять, — каламбурит француз. — А противоречия, мсье, нас давно не смущают.

Действительно, противоречия французскую мысль не смущают. Примеров без счета.

В день именин Жанны д'Арк все государственные здания украсились национальными флагами, цветами, лампионами. Золотая Жанна д'Арк на площади Риволи, верхом на золотом коньке, маловатом для ее кавалергардской посадки — носки вперед, казалась испуганной столь официальным почетом. В церквах республики шли специальные мессы, особые хвалы перед свежим ужасом лепного дела — порождением нового облика Жанны, недавно

канонизированной в святые, в панцыре, в латах, с мечом. В церквах, за статуей, протянуто синее небо, затканное золотыми бурбонскими лилиями.

И странно, что и сейчас есть бурбоны в стране, что на улице вам могут указать неприглядного человека и сказать: «Вот это последний... он скупердяй. Он ходит в кино на дешевое место, он норовит, позавтракав, не додать пурбуар» — разболтали гарсоны.

В Нотр-Дам службу правит сам évêque de Paris.[1] Необыкновенный орган. Необыкновенное пение. Заслушались сложного звона химеры на крышах (воплощение пороков людей и соблазнов монахов), а в скульптурной группе святых Сен-Дени, держащий в руках собственную голову, вот-вот не выдержит безголовья и насадит ее себе снова на шею.

Муниципалитетом, монахами, городом прославляется Жанна д'Арк.

А в тот же день вечером в театре шла пьеса Бернарда Шоу, где главную роль играет русская актриса со своей труппой. Французы ломились в театр, чтоб посмотреть, как в последнем действии «Жанна» заплачет взаправдашними, русскими слезами, когда палач, тоже, несомненно, русского происхождения, ее будет тащить на костер.

Еще больше того привлекает апофеоз: «Жанна», сгорев на костре, опять появляется, чтобы заявить, что аббаты налгали: «После моей смерти я никому не являлась, я не понимаю, зачем меня канонизировали после того, как сожгли!» И лукавый вопрос: «А что бы вы все со мной сделали, если бы я вправду воскресла?» На это единодушный ответ короля, аббатов и воинов: «Жанна, не воскресай! Тебя еще раз сожгут».

И французы, может быть те самые, что слушали в Нотр-Дам торжественную мессу в честь канонизированной Жанны, вторят хором актерам: «Тебя снова сожгут!» И смеются и закусывают смех «эскимосами». Так любезно в честь морозной Москвы зовут в театре мороженое в шоколаде и серебряной бумаге. Его с громкими криками: «esquimos russe!» разносят после каждого действия по рядам.

---

[1] Епископ Парижский *(франц.)*.

Русский театр вообще в большой моде, уж не говоря про музыку и танцы. В Champs-Elysées[1] идет у французов с большим успехом «Ревизор».

В афише сделана тщательная подготовка зрителей к пониманию пьесы, в хорошем переводе даны отрывки из биографии Кулиша, приведено письмо Гоголя после первого представления, продекламировано проникновенное слово о гибельных судьбах русского гения. На пьесу самим Жувеном, прекрасным исполнителем Жюля Ромена, затрачено немало сил, но спектакль получился смехотворный по совершенной неспособности французов понять Гоголя, а быть может, и русское творчество вообще.

Ведь вот даже умнейший из авторов, Анри Жид, наивно попавшись на письмах Достоевского, распинается в целой книге о том, что отличительный признак этого «génie slave» — христианнейшее смирение...

Городничий, — «le gouverneur», одетый в мундир бегемот, — едва появившись с арапником в руках, рычит зверским голосом все пять актов. Кроме того, памятуя, что надо создать «местный колорит» (крепостное право, знаменитая Салтычиха), он при всякой встрече Держиморде дает в зубы и ногой пониже спины — персонажу под именем Svistunoff,— отчего персонаж немедленно, как сломавшийся паяц, замирает, болтая руками и скиснув головой. В последнем действии городничий делает ультрареалистический трюк (что сходит за специально русское выражение ярости). Непонятно, как в багровом окружении щек и носа у беснующегося актера после чтения известного письма вдруг оказывается полон рот белой пены.

Мишка изображается каким-то татарчонком-дурачком, ходит животом вперед и мычит. Хлестаков лучше других подходит к роли по фигуре и жесту. Но играет и он утробно. Хлыщеватый балбес гугнит, мотая головой, и с необычайной виртуозностью в оттенках икает: в первом действии голодной икотой и икотой испуга, после лабардана — жирной, сытой. Публика от этого ужасно хохочет. Вообще весь удар пьесы на физиологию.

Svistunoff — огромное страшило. В трепете перед городничим он всякий раз скачет от авансцены к выходу на одной ноге, непременно падая по дороге, — это опять

---

[1] Елисейские Поля *(франц.)*.

всем очень смешно. Бобчинский и Добчинский почему-то говорят, как люди Прованса, en zezayant,[1] по имени зовут городничиху и Марью Андреевну; взамен гоголевского текста: «Здравствуйте, Анна Антоновна! Здравствуйте, Марья Андреевна!» — bonjour Annà, bonjour Marià... Чиновники однообразно звероподобны с гримом партизана Дениса Давыдова. Никакого внутреннего понимания — одно утробное подражание чьим-то рассказам про псевдорусские нравы.

Для финала в последнем действии пущен символизм: задняя стена комнаты в доме городничего при возвещении: «Ревизор приехал!» пошла ходуном, и по ней снизу вверх зигзагом забегал отчаянно красный бенгальский огонь. В публике говорили с чувством, что все большие русские писатели настоящие пророки и эти красные зигзаги-молнии — прозрение Гоголя в грядущую революцию «des bolcheviks».

Если приезжий захочет побывать в исторических кабаре и ему Париж показывают русские, то они непременно поведут его в так называемый «кабачок Верлена», где к концу ночи, погрузившись в винные пары, он будто бы первый оправдывал собственное положение о стихах:

— De la musique avant toute chose, le reste est litterature...[2]

Кабаре это в подвале, против площади Сен-Мишель, где чудесные фонтаны бьют из пастей оскорбленных драконов, закрутивших от боли в крутой винт хвосты. Идти глубоко под землю. На стенах каменной лесенки неплохие рисунки молодых художников.

С голодухи идут за пять, десять франков.

Подвал — сводчатый потолок, деревянные скамьи крепкого дуба — похоже у Гете в ауэрбаховском погребке, где из таких вот столов Мефистофель выгонял заклинаньем вино. В густом сизом дыму безмолвно и плотно — видать, на всю ночь — засели мужчины разнообразнейших состояний и стран, от совсем черных до белых, как молочные поросята, промышленных жирненьких немцев. Из французов — больше сутенеры и литературные неудачники. Почти каждый с дополняющей его половиной

---

[1] Зюзюкая *(франц.)*.

[2] Музыка прежде всего — остальное литература *(франц.)*.

такого же разнообразия: преобладают девицы из больших магазинов и галерей Лафайета, всегда жадно ищущих случая пополнить свой скудный бюджет. Так называемые на бульварном жаргоне «фуфа» из разных кварталов с модными деколорированными волосами, с непомерно красным, как свежая рана, ртом и бровями, выщипанными парикмахером за пятнадцать франков.

В гротах, в пещерах, в сталактитовой нише сидели парочки, известные всем лесбийки в каменных от крахмала воротничках и манжетах, с тросточкой и неприятно голодными носами.

В глубине около последних, сидящих за длиннейшим дубовым столом под низкими многодольными сводами, — в стене ниша. Над нишей, как семафор в тумане, в сизой мгле яркий глаз — то красный, то зеленый. Его мигание создает настроение тоски, тревоги. Выступают раздетые малоголосые девы, скабрезненький и мелодраматический псевдоапаш. Щуплый малый, без жилета, расхлестан ворот. Он поет две песни одну за другой. Первую, зверски играя ножом, о том, как он, из ревности, долго поворачивал в самом сердце убитой им жертвы этот вот нож. Во второй песне он со слезами хоронит свою юную жизнь на каторге... О, bi-ri-bi.

— О, biribi... — тянет за ним все кабаре, зовя каторгу этим ласковым уменьшительным, как гильотину зовут здесь Луизет.

У рояля некий лысый Юлий Цезарь, с необыкновенным туше; к довершению сходства, он в лавровом венке. Рядом мальчишка, тоже в венке, дует в невиданный инструмент — вроде старинной трубки с поршнем, похоже — клистир старинного образца из мольеровской постановки. Труба извергает нежданные, как цыганщина, звуки пронзающего томления и грусти. Юлий Цезарь выбивает рыдания из клавиш, а третий музыкант, тоже окончательно лысый и в лавровом венке, лягает ногами замысловатый бубен с колокольцами.

Как возникли они, неизвестно; казалось, их раньше здесь не было. Но они играют необычайно и пронзительно.

В сизой мгле сигаретного дыма многосводные потолки свесились ниже. Под ними, как сигналы в тумане, то тут, то там огоньки папирос.

Лица людей синевато-бледны. Только губы у женщин, то и дело обновляемые краской, извиваются в смехе, как красные пиявки.

Юлий Цезарь, дуда и бубен затянули пианиссимо до потери дыхания. Придержали паузу. Ударили танцы.

На сцене закружились в юбочках из балета и глубоком пустыннейшем декольте несомненные юноши. Кофейные мулатки затрясогузили под чарльстон.

Мальчик с дудой попропускал такты и вдруг с яростью ринулся в трио. Он закрыл глаза, как заслушавшийся себя соловей, и пронзающими своими звуками, одного за другим, всех вовлек в чарльстон. Скоро скамьи были пусты, и среди тесных стен, как бы сбившись в кучу, в общем свальном грехе, затоптались в чарльстоне, с страшно-недвижными окаменелыми в сизой мгле лицами — мидинетки, мулатки, англичане и русские.

Редкий зритель, не втянувшийся в угар виски и сизый дурман, с тоской вопрошал про себя: «Так это вот видел и слышал Верлен?»

И, будто подслушав эти не сказанные вслух мысли, неудачник литератор из романа Доде говорил опустившемуся типу Бальзака:

— Они идиоты... иностранцы; они думают, что попали в инфернальное место. Они полагают, те мальчишки в цветах все — Оскары Уайльды. А они, подлецы, преженатые...

Выпивший тип Бальзака примирительно отвечал:

— Не брани их, Гюстав, не брани! Жизнь после войны впятеро вздорожала, а у них дома семьи... В конце концов ведь и это métier comme métier. [1] А иностранцы, разумеется, дурачье. Тут и ноги Верленовой не бывало!..

1928

---

[1] Ремесло как ремесло (*франц.*).

ПОСЛЕДНЯЯ РОЗА

I

— ...Предъявляю вам, говорю, граждане судьи, свидетельство ветеринарного врача, по нему видно, что лошадь моя — неработоспособная. Какой же я, говорю, вам кустарь, когда моей этой лошади восемнадцать лет и она у меня вроде на социальном обеспечении. Вот и спросить, говорю, вас, на что в вашем обвинении теперь облокачиваться будете?

Это опять тот извозчик, рассказавший, пока вез до вокзала, о своей тяжбе за лошадь. А вчера снились наши курортные проститутки с розаном на груди. Те, что каждый вечер на том же углу предлагали сонными лунными глазами, как отбывая повинность: «Интересуетесь переночевать»?

Да, пора домой, в наш, никому не понятный, необычайный быт. А здесь в вагоне такие иные, свои разговоры...

Поезд из Парижа в Шартр идет сегодня битком набитый. От этой тесноты, от раннего часа то и дело впадаешь в дремоту, — вот и перемежается быт наш с бытом их.

Даже в проходах сидят чинно на складных стульях. Все едут на редчайший праздник Шартрского собора, который бывает раз в пятьдесят лет и к которому готовятся за целый год.

Когда все хорошо утряслись в вагоне, поднялся из множества аббатов молодой, самый высокий и, вознесясь

над старухами с плиянами и туристами, стал докладывать историю «дня покрывала».

Начал он от Адама, еще с X века: норманны осаждали город Шартр, епископ города заставил их отступить, вынеся ковчежец с покрывалом девы, которое, как уверял аббат, подарил городу еще Карл Лысый.

В годы Великой французской революции члены Конвента выколупали из ковчежца все драгоценные камни, а само покрывало изорвали в клочья. В начале XIX века духовенство спохватилось, и началось «чудо» восстановления покрывала.

— Разве это не провиденциально, — заключал высокий аббат, — что самый большой кусок покрывала чудесно возвратился в Шартр в тысяча девятьсот девятнадцатом году, когда в большевистской России происходило безбожное изъятие ценностей?..

Что касается собора Шартра — это библия веков. Это «божественная комедия» Данте. Быть может, Рейнский собор богаче, Амьенский совершеннее, — собор Шартра единственный, неповторимый. Здесь национальный канон красоты, сюда надо прийти, чтобы понять французскую мысль. Это более Франция, чем Версаль... Великий век Франции — век соборов. Наш Перикл не Луи XIV, а Людовик Святой... Запомните, мои дети, — молодой аббат обволок взором всех старушек на плиянах, — ковчежец с серебряными ангелами, где хранится святыня, поднесен благородными дамами Парижа в день тысячелетия собора. И сегодня он появится перед вами: длина куска, чудесно обретенного в девятнадцатом году, два метра восемь сантим...

— Остальные гуляют, — крикнул веселый малый.

— Ткутся в Лионе...

Смеялись, хотя только что слушали аббата со вниманием. Кроме старушек с четками, глухих и слепых к суете мира, публика ехала на редчайшее даровое зрелище в красивый город, где у всех были знакомые и кумовья.

— Подумаешь только, целый год девушки всего города делали к этому дню цветы. Сорта розданы были по заслугам девиц: самые примерные работали над улицей роз, улицей лилий и глициний...

— Ах, мадам Каригу, огненный цвет гранаты идет тоже в первую голову: им будет украшена площадь Рево-

люции там, где мясная под вывеской: «Rosa mystica».

— Позвольте, но кто же так странно назвал мясную?

— Почему странно? Это очень хороший патрон для мясной — «Rosa mystica». Уж третье поколение роз цветет под священной эмблемой. Старшая в роде в семье Граденап всегда называется в честь патронессы Роза, это самые почтенные мясники в городе.

— Скажите, мадам Каригу, были, а не есть, — после истории с последней Розой половина покупателей отхлынула от Граденап.

— Однако мы можем отвечать за наших дочерей, только пока они не попали в Париж.

— К тому же маленькая Роза не дочь, а племянница мадам Граденап.

— Но поскольку она носит имя патронессы заведения — Розы, это ее обязывало сохранить хоть приличие.

— Будь она смиренница, ее бы город простил. Но господин аббат ужасался. Она о покаянии и слышать не хочет. Передо мной, кричит, все виноваты, и сам бог в придачу, коли он есть.

Мне было интересно, изучая быт французской провинции, узнать, чем именно маленькая Роза уронила мясную торговлю под любопытной эгидой своей тезки — «мистической» Розы, но шартрские кумушки уже заспорили на новую тему. К тому же под задремавшей старушкой подломился плиян, вагон поднял хохот и суматоху.

Перед Шартром аббаты засыпали, как конфетами, афишками с изображением совершенно черной негритянской девы, обожаемой еще галлами. Она, по тексту, каким-то путем оказывалась все-таки белой, и притом девой Марией.

Собор Шартра действительно поражает как никакой другой. Из-за него весь город делается сказочным, так удивительно несоответствие между его гигантскими размерами и окружающими обычного роста провинциальными двухэтажниками. Цвета слоновой кости, как Гулливер над лилипутами царит он, раздавливая все вокруг.

— Наш собор сам целый город, — говорит нам местный кондитер, добровольный гид по Шартру. — Мы

зовем его передние башни «папа и мама», семья легких колонн — чем не дочки-красавицы? А вот и многочисленная родня — целые тучи скульптурных святых. Правду сказать, родня хоть свята, да большей частью без носа. Еще бы им уцелеть с таких древних времен. И все под прикрытием старой бабки — переливчатой черепицы. Вот не забудьте, поглядите-ка, что она вытворяет под лучами заката.

Девицы города, между которыми, по словам местных жителей, поделены были улицы, должны были действительно целый год заготовлять цветы, — они наткали чудес. Вот улица роз, там лиловой сирени, дальше нежно-персиковая, яблонный цвет. Есть сказка Кота Мурлыки, которая в детстве очень нравится, вот на попугайных островках там как раз такое убранство.

И, как в сказке, здесь сегодня, вместо обычных названий — рю Гамбетта, пляс Карно, — улицы зовутся именами цветов. Цветы же не только ниспадают гирляндами вокруг всех домов сверху донизу, они увивают столбы фонарей, водосточные трубы. Цветами завалены окна, балконы. Их вплетают в заборы, в гривы лошадей и ослов.

Под удары соборной колокольни вливаются в эту оргию цветов новые краски юбилейной процессии. Лиловые шелка епископских шлейфов, серебряные одежды их несущих детей-херувимов. За ними, в тяжелой парче, с горящими глазами инквизиторов, идут стремительно отцы, прибывшие из Испании.

Улыбаются на все стороны своей особой, одаряющей улыбкой итальянцы, прибывшие с нунцием. Семенят мелкие французские аббаты, едва поспевая за размашистым шагом испанцев. Драгоценный ковчежец с коленопреклоненными ангелами, про которых аббат возвестил в поезде, поплыл над головами. Его несли на носилках. Между стекол, на золотой перекладине, качалось чудесное палевого шелка покрывало девы, два метра восемь сантиметров...

На площади «красных гранат» произошло вдруг смятение, все повалили туда.

Под звон колоколов, высоко подымая носилки, почти в уровень с золотым ковчежцем, четверо парней вынесли

навстречу процессии молодую, истощенную болезнью девушку. Отчаяние было у нее в глазах, и поражали на бледном лице болезненно изумленные черные брови. Как бы защищаясь от ударов, готовых на нее посыпаться, она, жалко подняв тонкие руки, заслонилась ими, по-детски топыря пальцы.

Пожилые женщины с искаженными гневом лицами трепетали кружевными чепцами:

— Вон ее! Гулящим не место в процессии...

И бранились оскорбительной французской бранью — chameau, по-нашему всего лишь только — верблюд.

— Мадам Граденап, уберите вашу Розу. Из-за нее всем порядочным не будет удачи.

— Больная она, и уж довольно наказана, — сказал один из мужчин. — Ну и ведьмы наши наседки.

— Уберите гулящую... Идут «дети Марии».

— Домой, несите домой, —умоляла сама Роза растопыренными детскими ручками.

Четверо мужчин, ругая злых баб, свернули с пути, по которому шла процессия, и унесли носилки обратно к угловой лавке. Над лавкой, осеняя развороченные кровавые туши быков, мозги, похожие на облупленные грецкие орехи, и трогательные, как малолетки, тела ободранных кроликов, на синем фоне чудесных густых васильков белыми мелкими розами, как мозаикой, было выложено: «Rosa mystica».

Толстая женщина в кисейном плоеном чепчике, чванясь перед иностранцами редким праздником, свежестью своей убоины и обилием съехавшихся из всех католических стран монсиньоров, отпуская котлеты де воляй, верещала:

— Роза, Роза мистика — верный патрон нашего дома.

Было легко догадаться, что толстая дама в чепчике и есть та самая мадам Граденап, а девушка на носилках — маленькая Роза, каким-то своим поведением уронившая честь дома и славу своей одноименной патронессы.

Мадам Граденап, увидав возвращавшихся мужчин с носилками и рыдающей девушкой, багрово покраснела и еще издали гневно крикнула:

— Поставьте ее там — в палисаднике...

II

На торжественной программе «Fêtes Mariales» вперемежку с чудесами, совершенными покрывалом, возвещались объявления о гаражах, корсетных мастерских, кафе-ресторанах. У жителей считается благословенным для торговли напечататься на листке с соборным праздником. Желая уже непременно узнать историю маленькой Розы, я стала искать фамилию Каригу — как именовали вагонные спутники молодую женщину, говорившую про почтенный дом Граденап. Действительно, на обороте листка, для пущей рекламы — вкось, стояло: «Все обувайтесь у Жака Каригу — шик гарантирован».

На улице «абрикосовый цвет» я без труда нашла в этом веселом маленьком городке румяную и пышную, как спелый абрикос, самоё мадам Каригу.

Поздоровались как знакомые. Когда первый поток красноречия хозяйки местного шика истощился в восхвалениях праздника и процессии, я спросила ее, а за что так обидели бедную Розу.

— Конечно, это было грубо, но согласитесь, что и со стороны Розы бестактно соваться вперед в праздник девы, когда к тому же всем известно, что она неверующая. Все три дня ковчежец с покрывалом должны окружать одни лишь «дети Марии», чье целомудрие несомненно всему городу. Может быть, это суеверие, но народ думает, что от этого удача торговле, урожаю и всем личным делам, если процессия не будет осквернена присутствием ни одной публичной женщины. А Роза... такая.

— Но отчего, как она стала такой?

— Ну хорошо, я вам про нее расскажу, я ведь ей была подругой. Одно время мы вместе служили в Париже. До вечерней службы добрый час, а торговли уже, видно, не будет. И мужа еще нет. Пройдемте в палисадник.

Здесь при каждом доме садик, гамак и неизбежная клумба рододендронов. Сели на скамью. Мадам Каригу глянула на меня своим здоровым, как свежая пышка, лицом.

— Вы издалека, понимаю, вам любопытно, как у нас тут живут. Ну, уедете, не расскажете, вам можно всю правду сказать: в молодости все погуливаем, вся штука, чтоб гулять с умом, не сорваться. И, скажу вам по

совести, срываются не самые плохие, о нет. Те заводят сбережения и выходят замуж, и уж тогда, мадам, они уважаемые. А молодым в провинции тоска. К тому же Роза еще не родная Граденап, а приемыш — ей вдвойне было плохо. Хоть у тетки ее патронессой «Rosa mystica», а баба она прелютейшая. Шпыняла Розу с утра до вечера, все куском попрекала. Ни ей погулять, ни копейку себе заработать. А хороша была она — один художник портрет с нее рисовал, говорил тетке, что ваша «Rosa mystica» — роза у вас своя, живая, в цвету. В Париже цены бы ей не было!

Может, он-то Розу и сглазил, художник тот. Прикинула в уме хозяйка и говорит: «Поезжай-ка ты в Париж, к крестной Жюли, неровен час, попадешь в первые манекены и себе situation сделаешь с южным американцем. Многим, куда тебя хуже лицом, а повезло. Здесь не цыплят тебе выводить. А без приданого в провинции замуж не выйти».

Заметьте, мадам, первый толчок был от самой тетки, а сейчас попреками так сыплет, все позабыла... Ну, приехала Роза в Париж, в наш мелкосортный maison, — прямо скажу, не дом мод, а кукольная буата. Заведение из двух комнат, без зала, и, смешно сказать, с одним всего на все манекеном, и то не слишком первого сорта. И эта несчастная буата туда же, как все, звалась «Maison Fripet».

Я случайно знаю эту буату, я живу рядом — это напротив большого бара «Fantaisie» с биллиардами. Там на карнизах пять толстых женщин — пять частей света. Еще у африканки в носу кольцо...

Да, да... И старый крупье Жерар объясняет посетителям: «Это эмблема, говорит, что жителям всех пяти частей света одинаково интересно бывать в нашем заведении». Нахал!

Ну вот, раз вы знаете, вам легче себе представить все дело: между «Африкой» и «Австралией» неизменно в часы обеденного перерыва выглядывал самый красивый крупье, мосье Эжен. А окна «Фантези» прямехонько в окна дома мод. Натурально, крупье пошел с Розой перемигиваться. Она так была хороша, — ну просто цвет нежно-розовый повилики. И с такой внешностью водить день-деньской утюгом по чужим нарядам!

Ну и пошло: Роза с Эженом дальше — больше. Он стал посылать раздушенные записочки с мальчишкой-шассером — может быть, вы заметили, эти мальчишки, они у нас при каждом отеле имеются: носят красный мундир и шапочку, и между прочим на посылках, поверите, до двухсот тысяч франков в конце концов наживают и открывают уже свой дом...

И вот приносит такой шассер Розе просьбу от ее крупье о решительном свидании. Она мне показывала: ах, какие этот подлец нашел слова и какие стихи. Уже много после, когда я хлопотала, нельзя ли по этой записочке получить с него что-либо, умные люди мне со смехом сказали, что стихи-то не его, а поэта Виктора Гюго... Ну да ведь тогда не знали мы, когда читали! И подпись не его, а придумана тоже откуда-то: «ты моя Роза, я твой соловей», или просто: «rossignol». Ищи с этого соловья, мало их таких-то!

А ведь Розе все это впервые, будто для нее одной придумано, — она, конечно, пошла. Вернулась, на ногах не стоит, всех нас взбудоражила: «Ах, говорит, и как он умеет разнообразно целоваться...» Ведь это в Париже, мадам, целая наука, да какая, а мы знали пока одних наших парней... они чмокнут, как чавкнут, и все тут.

Однако Розу мы научили спросить, и она послушала. «Если, говорит, ты, Эжен, меня так разнообразно целуешь, ведь это значит, не правда ли, что ты хочешь именно на мне жениться? Иначе, говорит, мне будет стыдно и вспомнить».

Эжен засмеялся и сказал: «Ну, конечно, хотел бы на тебе жениться, но вся беда, малютка, что я эту глупость уже сделал».

Много Роза плакала. Однако он ее уломал. Правду сказать, и мы, подружки, помогли. У всех у нас уже были кавалеры, и все женатые. Что поделаешь, мадам: после войны кавалеров ужасно мало, а франк так упал, что жениться они могут только на богатых. Самому едва хватает, а тут жена и ребенок, — и винить нельзя. Хорошо, если найдешь себе милого друга по вкусу: будет чем молодость вспомнить, а то ведь иные англичанки и за любовь деньги платят. Вот и говорим маленькой Розе: подвернулся красавец Эжен — не зевай. Молодость вот-вот отлетит, а тебе давно пора te déboucher, извините, мадам,

за выражение, это у нас в ателье так называлось, если перестать быть девицей.

Ну что — уломали Розу, все через этого мальчишку шассера шло дело. Эжен занят, Роза занята — шассер им и номер нашел в обеденный перерыв. Вечером жена Эжена выслеживает, а Розу хозяйка. Вот с этого дня и начались все огорчения бедной девочки. И ей и всей нашей мастерской ведь это был, скажу прямо, афронт, что в номер Эжен ее приглашает не ночью, а днем — вроде, знаете, неуважение к женщине. И потом гарсон номерной переусердствовал — вперед кинулся и кровать им открыл, а Роза как заплачет... Она нежная, знаете, мы ее повиликою звали.

«Обидно, говорит, до смерти стало. Вспомнила, как богатые в мерии венчаются, все в белом, с fleurs d'orange, в карете. И с таким почтением их за ручку выводят — и поздравляют, и уважают».

А Эжен рассердился, что она плачет, и говорит: «Ты дура, с тобой не стоит и связываться, ты в слезах меня утопишь. Чего, говорит, ревешь, номер уже заплачен, и белье, говорит, совершенно чистое...»

Она ему: «Не уважаешь ты меня».

«Если бы, говорит, не уважал я тебя, я бы не номер взял, а такси бы нанял на час — много дешевле стоит, — и большинство так и делают. Только я, говорит, джентльмен и считаю, что подвергать свою даму неудобствам мне неприлично. Вот я, говорит, выпью лимонаду, а ты приди в себя, времени терять нам нечего».

Он позвонил, гарсон подал лимонад. А Роза говорит, то ли ей в окошко кинуться, то ли горло ему перегрызть. Однако ничего она не сделала — окаменела, как кукла. А он выпил лимонад, и все случилось.

Ну, принесла Роза в мастерскую пирожных — у нас, знаете, такой обычай: кто из девушек s'est débouchée, так после этого... вроде как свадебный торт сами себе и подругам.

С тех пор бегает Роза к Эжену, а вернется — не спит ночи, плачет, и смех пропал.

«Отчего ты невеселая, говорим, разве он — калоша?» Вот тут она про лимонад нам рассказала, а глаза так и горят, как у волчицы: «Ненавижу его, а ходить буду... из-за ребенка. Ребенка хочу иметь, а мужчину к черту!»

Тут мы все на нее: «Сумасшедшая, да неужто он мер не принимает?»

«Принимает, говорит, только я его перехитрю, а ребенка своего прокормить и сама сумею. Эжен меня такому парижскому шику обучает, сам говорит: «Цена тебе будет немалая».

Тут, знаете, подруги от нее отдалились, охладели: кому завидно на ее смелость — сами втайне ребеночка хотели, другие же злились на ее глупость — живет в Париже, а жизни не понимает. Но пуще всего боялись, что сердце не камень — помогать придется, а сами посудите — из чего. Жалованья и на жизнь не хватает, а у нас в ателье форма — черное шелковое платье, и чтоб от старости не блестело. Я дольше всех держалась около Розы...

Забеременела Роза. Собрали мы совет мастериц. Нашли гречанку за двести франков, — доктор дешевле тысячи у нас не берет. Да мы уж привыкли к этой гречанке, хоть и долго повозится, однако только две от нее померли. Последнюю услугу, однако, я Розе сделала: пошла, без ее ведома, к этому Эжену в «Фантези», будто с заказом заблудилась. «Давайте, говорю, на аборт Розе денег». Он, правда, такой красивый, держит себя как маркиз, выбритый, надушенный. Цедит сквозь зубы: «Какая Роза? Я такой вовсе не знаю».

«Ах, не знаете! Хорошо, в таком случае мы, служащие дома Фрипе, вам публичный скандал сделаем, небось — узнаете. Придется вам тогда из вашей «Фантези» уходить».

Заскрипел зубами, однако обещал пятьсот франков.

«Не позже, — говорю ему, — чтоб сегодня вечером деньги были. Придем мы за ними, три мастерицы, к статуе Жорж Занд».

«Зачем, говорит, целых три, я вам одной верю. И вы мне гораздо больше Розы нравитесь. Та как veau mariné, а вы боевая. С вами, уж конечно, подобного пассажа не произойдет».

«Уж конечно, смеюсь, от негодяев не стану родить. Отгуляю в Париже свое, а на родине выйду замуж и рожу наследника по закону и от хорошего человека».

«Молодец, говорит, вот вас я уважаю. Вы не плакса — руки не свяжете. Не угодно ли вам, говорит, пока срок

гулянья вашего еще не истек, включить и меня в число ваших партнеров».

Ей-богу, так и сказал! Ах, скоты они, эти мужчины! Чтоб не куражились они над нами, хлыст надо в руках держать. Я вот сумела. Ха-ха...

— А как дальше с Розой?

— А Роза только в первый раз нас послушалась, а потом ее кто-то испортил. В такую тоску впала — обратно, говорит, ребеночка мне отдайте. И ведь не успокоилась, пока не забеременела снова, уж не от Эжена — он и смотреть на нее не хотел, — а так, сдуру влюбилась в кого-то проезжего. И отличный человек, жениться хотел и, вообразите, вдруг умер. Об аборте Роза и слышать не хотела, родила Роза замечательного мальчика — Диди. В деревню на выкормку отдала. Вот из-за него и попалась...

— То есть как попалась?

— А получила желтый билет... У нас полиция нравов до тех пор смотрит сквозь пальцы, пока девица, гуляя, имеет определенную службу. Ужели вы думаете, кто-нибудь не гуляет в Париже? На чулки и туфли прирабатывают, — там плохих не наденешь. Что греха таить — из нас ведь в «Sourire» все печатались. Но, кроме Розы, ни у кого никаких следов... Надо поаккуратнее.

И что поделаешь, если захотела до смерти иметь своего Диди, — а прокормить? Я вас спрашиваю. Печаталась она пока в объявлениях, предлагая себя на длинный срок, на короткий и даже на один вечер. Но, как нарочно, через «Sourire» она все нападала на проезжих. Хуже такого нет; поживет две недельки и дальше. А на наслаждения жаден, подавай ему все самое распарижское, чего он у себя дома не видит. И духи-то он любит, и пудру, девушек дарит не деньгами — вещами, чтоб на его провинциалку-индюшку не была похожа. Ха-ха, они все своих жен зовут: цесарка, индюшка, гусыня — весь птичник переберут. Это они за собственное, за домашнее лицемерие мстят. Да, а денег такие ни за что не дадут. Розе же за маленького платить надо срочно. Стала она раздражительная, с мадам Фрипе то и дело не ладит. Еще к тому же болезнь подоспела — проваляласъ неделю, пришла в ателье — на ее месте уж новая. Ей бы тут подержаться построже, а она с горя запила и уж пошла с кем по-

пало... Ночью какой-то скандал, обход, ее со всеми вместе забрали и зарегистрировали, — песенка спета.

После этого, мадам, понимаете, конечно, и я с ней дружить не могла, — что делать, все на краю пропасти ходим, сорваться боимся. Скоро меня домой отозвали, и я вышла замуж.

А вы, мадам, если вправду врач, как мне сдается по внешности, навестите-ка Розу. Пилюли какие-нибудь там пропишите. Ее тетка хоть и приютила через силу, — она смерти боится, грехов на ней много, — но от скупости лечить не желает. А вам, чем в отель идти переночевать, у нее будет даже дешевле. Пройти к ним через три квартала в четвертый. Проситесь у тетки прямо к «маленькой Розе» — у нее мансарда большая. Так и скажите: по рекомендации бывшей подруги Розы — Лолот Каригу.

III

В соборе молодой епископ произнес проповедь оригинального названия: «Литературные заслуги шартрской Notre Dame» — обращение Гюисманса, Пеги и, главным образом, внука давнего, все еще ненавистного врага церкви, Ренана — поэта Псикари. Вторая часть проповеди посвящена была доказательствам того, как церковь идет навстречу потребностям дня. На убыль населения, которое пугает все государство, церковь отвечает благословляющей зачатие агит-фильмой — «Лепестки розы». Присутствующим предлагалось сегодня же вечером посетить кино.

Мне предстояло провести в Шартре ночь и, по рекомендации мадам Каригу, я пошла искать пристанища у хозяйки «Мистической розы». Мне было несколько неловко знакомиться с ее племянницей, как человеку, прочитавшему чужие интимные письма, с их хозяином. Над знакомой выставкой разносортного мяса, как утром, на слегка увядшем фоне синих васильков, белели буквы: «Rosa mystica», и толстая мадам Граденап, в шелковом платье и жемчугах, продавала котлеты с завитушкой из белой бумаги на косточке.

Сначала она раздраженно ответила, что у нее не гостиница, но, сославшись на рекомендацию мадам Каригу,

я сказала, что мне необходим только угол, чтобы положить свои вещи, на что в комнате мадемуазель Розы, наверное, есть место.

— В таком случае приходите в мансарду, но, прошу извинить, плата будет как за отдельную комнату... — И, фальшиво улыбаясь, мадам Граденап прибавила: — Надо вознаградить бедняжку каким-нибудь баловством за плохо проведенную ночь.

Комната, куда меня провели, была просто-напросто голубятней. В чердачные окна, раскрытые настежь, вливались луга и необъятные горизонты. Совсем вблизи, пробужденная к жизни закатом, всеми цветами спектра переливалась черепица собора — «бабушка», как рекомендовал ее нам гид. Над ней большая башня, «папаша», вонзала в легкое небо свою пламенеющую готику; другая башня, «мамаша», пониже, нежными тающими линиями своего конуса сливалась с жемчужными облаками. Потолок комнаты был сводчатый, на больших добротных столбах из красного кирпича. На белоснежных стенах фотографии в венках иммортелей. Все они изображали большеголового смеющегося младенца. «Диди», — подумала я, вспомнив рассказ подруги Розы, мадам Каригу.

— Это ваш маленький Диди, не правда ли? — сказала я, подходя к постели, где, сразу казалось, нет ничего, кроме облака белой кисеи.

Тонкая детская ручка раздвинула полог, и трогательное лицо молодой женщины с приподнятыми бровями, которое запомнилось мне утром, засияло улыбкой:

— Разве вы знали его?

— Мне о нем рассказала ваша подруга мадам Каригу.

— А, Лолот, ну, эта верней прочих, только болтуха.

Она оперлась на локоть, вглядываясь в меня без той условной любезности, которую принимает невольно каждое лицо при встрече с другим, совершенно незнакомым. У нее были умные, увеличенные болезнью прекрасные глаза. Она сказала печально:

— Лолот вам рассказала всю мою историю?

— Но я из очень дальней страны, и кроме глубокого сочувствия, поверьте...

Роза досадливо повела рукой:

— Ничьего сочувствия мне уже не надо... но вы его назвали, — она показала на фотографию в иммортелях, — вы запомнили имя моего мальчика, — это очень мило с вашей стороны...

— Вас не стеснит, если я расположусь эту ночь здесь на диване? Сейчас я пойду смотреть фильму «Лепестки розы», вернусь не поздно и уеду с первым поездом, — постараюсь вас не разбудить.

— У меня совсем нету сна... но зато есть несомненная чахотка, — вы не боитесь, как тетка? Она даже не входит, если что ей надо сказать, кричит на всю улицу в окно.

— Я не боюсь.

— Настоящий человек ничего не может бояться, не правда ли? Ну вот... — она пытливо впилась в меня, — если вы вправду настоящий человек, принесите-ка мне вина, ведь все равно уж... а выпить охота. И приходите скорей. Ночью мне легче дышать, а сегодня будет чудесная, лунная. Будем разговаривать. Я давно ни с кем не говорила: наши все или индюшки, или злючки. Они меня сегодня обругали перед самой процессией, идиотки. Я люблю красивое зрелище, а в чудеса я не верю. Это ребята из соседнего сада придумали: прогуляйся, говорят, над их головами, ты, даром что больна, и сейчас всех красивей... однако вам идти на «Лепестки розы». Католическая фильма в защиту плодородия — ребята рассказывали. Ну и ловкачи наши аббаты: потрафляют церкви и государству. Туда же — родить поощряют. А вот куда деть, родив, это уж не их дело... И это, выходит, роскошь для нас, и это одним богатым... а нам в воспитательный, как щенка! Оттуда ведь не отдают. Ах, мерзавцы, все мерзавцы! Ну, вернитесь скорей, буду ждать.

Агитфильма «Лепестки розы» оказалась действительно фильмою на два фронта. С одной стороны, она соблазняла девиц в монастырь и ореолом святости, с другой стороны, по лозунгу дня «убыль населения опасность стране» натаскивала на материнство.

Девица Жакелина любит женома, который уезжает в Америку. Но управляющий делами отца Жакелины любит ее миллионы. Он, воспользовавшись отсутствием жениха, ложно информирует отца о положении биржи: скупая его акции, делает его банкротом. Дочери же делает

предложение, открывая по секрету, что разорение отца неизбежно и он его не разорит только в том случае, если станет ему зятем. Девица ради отца готова на жертву, но в то же время просит св. Терезу, чтобы избавила ее от злодея. Девица усердно читает жизнь этой святой, чтобы дать повод изобразить ее на экране — вплоть до театрального пожелания святой «покрыть весь мир лепестками роз», что в инсценировке удается очень эффектно. Кроме нее, не менее великолепна аудиенция у папы, торжество посвящения в монахини и процессии. Словом, девица Жакелина так зачарована сказочной жизнью порвавших с «миром» и почестями, которые им оказывают, что сама хочет в монастырь «по стопам св. Терезы», даже когда злодей, новый жених, разоблачен первым, любимым, как полагается миллионером, вернувшимся из Америки. Отец, мать, два аббата убеждают Жакелину идти замуж, — она не хочет. Тогда статуя самой Терезы сходит с пьедестала и говорит, что Франции нужней всего сейчас не монахини, а хорошие жены и матери. Публика аплодирует статуе св. Терезы и, веселясь, что аббаты перехитрили сами себя, идет гурьбой глядеть на иллюминацию именинника-собора. А я, купив угощенье для маленькой Розы, иду к ней в мансарду.

Я открыла дверь очень тихо, но Роза тотчас же отозвалась:

— Это вы, ах, как прекрасно: вино, персики и даже розы. Я совсем забуду про свою болезнь. Смотрите в окно — луна, замок на горе, совсем как в сказке, я хочу все, все забыть... стать очень доброй и думать только о них.

— О ком, Роза?

— О женщинах, которые вступают в жизнь, о подростках, о всех, которые остаются жить, когда я умираю. Я только ведь и делаю теперь, что думаю, и мне кажется, в словах того, кто жизнью заплатил за свой опыт, больше правды, чем в тысяче книжек, написанных из головы. Но мы выпьем, не правда ли?

У вас женщина свободнее, чем у нас, я слыхала. Она имеет все права, и развод — сущий пустяк... Когда еще у нас будет? У нас замужем теряют даже собственное имя. Если б Эжен на мне женился, я была бы не Роза Дрильяк, а мадам Эжен Дрильяк. Однако я спрошу вас —

счастливы ваши женщины? Я, знаете, думаю, что никакое внешнее, даже экономическое освобождение в сущности не сделает женщину счастливее, пока она сама не освободится внутренно. Я говорю про самое интимное, о чем и себе не всегда скажешь...

Вы уедете далеко, я не увижу вас больше, я даже не хочу запомнить черт вашего лица — пожалуйста, не будем зажигать огня... Пусть вы тот, кто примет мою исповедь, мое заветное. Пока от вина у меня нежданные силы, вы слушайте меня, не перебивая, не противопоставляйте меня ходячей морали, дослушайте просто, прошу вас. Ведь это же редкость — когда человек говорит окончательно искренно, это можно только пред смертью.

Знаете, в чем самое главное, — в том, что женщины лицемерят: они вовсе не хотят быть матерями, они хотят быть только любовницами, конечно если они не верблюды, ха, ха! Верблюдов больше, чем кажется, — это принимают обычно за добродетель и невинность, — но они только верблюды. Но здоровые и привлекательные женщины, понимающие любовь, — они хотят быть матерями только после того, как тайно или явно обожгутся как любовницы.

Вам эта болтуха Лолот Каригу, конечно, рассказала и про «лимонад». Так вот, когда он пил этот свой лимонад перед раскрытой гарсоном постелью, куда ему в тысячный раз, а мне в самый, самый первый, — во мне любовница сменилась яростной матерью... Ах, поверьте, у каждой женщины есть такой или иной свой лимонад.

И все-таки ведь женщины еще нет, еще она не знает себя совершенно, пока она не родила и не выкормила.

Вот, мадам, когда вы опять будете у себя, скажите вашим новым, чтобы они подняли вопрос о «Доме для первенца». Ах, не смейтесь надо мной... Надо, чтобы это был замечательный, великолепный дом и, главное, чтобы считалось почетным, — слышите меня — именно *почетным,* — родить в первый раз. Все равно от кого только. Не скрепя сердце, не от лопнувшего презерватива, а от любимого... Родить прекрасно — есть самое важное во всем женском вопросе, потому, сколько вы с мужчинами нас ни равняйте, это уж неотъемлемо, это исключительно наше.

Чудесный «Дом первенца», и чтобы обеспечена была жизнь со дня беременности до окончания кормления.

Со вторым и третьим пускай как хочет, — она все уже знает сама, она окрепнет, найдет свое место в жизни, она поборется.

Но первенцы, мадам! Первенцам пусть само государство будет восприемником, это в его же расчетах: они самые удачные, они по любви, от избытка жизни, с разбегу...

Мадам, сколько бы мужчины ни ратовали за признание гражданского равноправия, только когда государство будет особенно почитать женщин, родивших и вскормивших первенца, они действительно дадут ей права. Ведь только подчеркнув уважение к материнству женщины, вы ее сделаете настоящей второй половиной, восполняющей то, что зовут — человек.

Не будем лицемерить, мадам, все существа неплодные, полные женских болезней, забот об аборте, на каком бы деле они ни стояли, они тайно сосредоточены на своих половых делах, потому что жадно хотят быть только любовницами. И сказать, что это они полноправные, что это они люди, — нет, нет.

Я сейчас кончу, мадам, только налейте еще. Какое счастье не чувствовать этого ужасного озноба. Ах, как чудесно согревает вино, будто вернулось здоровье. Я больше не буду браниться, я буду только мечтать вслух о «Доме первенца». Сколько тайных мыслей о нем, когда, голодная, одинокая, я носила своего Диди...

Это было в субботу, я торопилась на работу. По утрам так сильно кружилась голова. Я прислонилась к подъезду мэрии: подъехало большое авто, все в букетах, из него, как козочки, запутавшись в цветущей черемухе, прыгнули белоснежные, нарядные, с огромными букетами девушки. Благородный отец, знаете, le père noble, тот, что в «Травиате», в цилиндре, с моноклем, с шелковой сединой, за руку вывел невесту, ту самую... ну да, бессмертную глупышку дочку, ради которой загублена жизнь милой Травиаты.

Мадам, пусть старший доктор в «Доме первенца» будет всем как этот père noble. Ах, приветствуйте, обласкайте первородящих. Женщина не опустится до проституции, если ей помогут выкормить ее первенца.

Тут у Розы начался бред...

1929

ЛЬВИЦА ЛЮСИ

Это было в прошлом году, на границе Испании, в небольшом французском курорте, в те дни, когда перед зданием лечебных ванн газетчики выкликали имена знаменитых тореадоров — победителей в последнем бое быков.

Французы, браня жестокие нравы испанцев, им, конечно, завидовали и для отвода души ждали кочующий цирк Молина̀, уже оповещенный большими афишами.

Утро было туманное, но облака, закрывая горы, казалось, намеренно расступились на самой вершине, чтобы щегольнуть великолепным «Отелем снегов», где самые богатые в мире лодыри без устали дулись в теннис.

Внизу на бульваре чистильщик сапог Луиджи Феррато бранил всех святых за плохую погоду, которая, предполагал он, оставит в смысле доходов его на бобах. Если туман не пройдет, больные обойдутся без ванн и обувь вычистят дома.

Русский врач Туриков, приехавший из Москвы для изучения курорта, по знакомству с директором приставлен был частным образом надзирать за бассейном плавания малолетних. Эта должность давала ему право лечиться бесплатно целебными источниками, бродить по горам и вести дружбу с Луиджи Феррато.

Сегодня, когда Туриков шел очень рано с окраины города к великолепному зданию серных вод, по аллее старых платанов, улица, как всегда, не взбежала вверх на зеленую гору, а уперлась в облако мглы. И много

ближе, чем в ясные дни, черным свистящим зверем взлетел в этой мгле вагончик фуникулера «Отель снегов».

Уборщицы, в крепко зашнурованных корсажах и неудобно сборчатых юбках, мели улицы, не загребая сора, а толкая его перед собой мохнатыми щетками. У каждого дома своя длинномордая собака сторожила ящик с мусором и как бы сдавала его крючнику-испанцу. Жирный и черный лентяй, он сидел амазонкой на оглоблях тележки, запряженной парой крошечных осликов, крепких и серых, словно вылитых из свинца. Испанец опрокидывал сорный ящик в телегу, пес, подняв морду, оповещал лаем хозяина, что все в порядке, и уходил доканчивать свою кость или прерванную драку с соседом.

На бульваре старушки в круглых шляпах и белоснежных фартуках вязали в букетики разноцветные крашеные васильки, каких вовсе нет в природе. Их продавая, старушки исходили в уверениях, что такое разнообразие окраски здесь порождает сама пресвятая дева.

Как обычно, в этот ранний час появился на бульваре худой жандарм с барабаном. За ним просыпали табуном ребята, и казалось, что у них с жандармом игра. Он перед каждым большим отелем вспрыгивал на скамью и, как заяц лапами, бил палочками в барабан. Собрав толпу, он разворачивал большой лист и древним герольдом громогласно выкрикивал о том, какие колье, брошки, портфели и сумочки утеряны рассеянными ситуаенами за истекший день на бульварах. Порой жандарм в скобках давал пояснения, — в толпе дополняли.

— Дамский шелковый чулок... А спросить, почему именно потерян один чулок, а не два чулка? Не успела она снять второй или она об одной только ноге?

— Или в префектуре жандармская кума взяла себе на починку?

Как всегда, на тротуаре дрались коты и собаки, и ленивая южная публика ставила на победителя персики. Собачьи персики на скамейке справа, кошачьи на скамейке слева. Кучи росли, страсти разгорались; в тотализатор вовлекались приезжие испанские монахи с профилем Савонаролы. Звери сцепились, победила кошка, а собака, поджав хвост, уползла под скамью. Собачьи персики разделили между собой кошатники под смех и шутки проигравших собачников. Легка и невинна жизнь

теплого юга в цветущий день, когда ожидается урожай винограда, когда у каждого, рядом с чистым домиком, есть кукурузное поле, и фруктовый сад, и голубятня с любимыми мохнатоногими голубями.

Из древнеримских терм вышла первая партия отпарившихся в серных ваннах, и газетчики, боясь прозевать доходы, ринулись на отдувавшихся толстяков, как разбойники. Издали кажется, они нападают, чтобы заколоть, но, внезапно раздумав, не свершают насилия и дают за сантимы газету. У каждого свой выкрик, свой заарендованный покупатель: «Эхо Парижа» — с брюшком, для противовеса далеко назад откидывая голову с бурбонским носом, с важностью, точно раздает ордена, сует сверху вниз свой листок, — его берут расслабленные ваннами знатные старички. Есть республиканские, есть радикальные газеты, неизбежный «Petit Parisien» и журнал-сводник «Le Sourire». Но «Humanité» здесь не водится.

Отзвонила ранняя обедня, помчались на велосипедах к термам аббаты; у них длинные сутаны в складках, как юбки, шелковые пальто-размахайки и ленточки на широкополых шляпах. Весь аббат — раздутый черный пузырь.

Разошелся туман. Больные пошли брать свои ванны, и Луиджи Феррато перестал клясть святых, теперь ему предвиделся верный доход ото всех мимо мелькающих ног. На обратном пути из ванн, знал он, эти черные, желтые, белые туфли пойдут домой медленно, их обладатели будут высматривать на скамьях перед заигравшим оркестром своих дам и с удовольствием вытянут ему на подставку ноги. Развеселившийся Луиджи только что принял участие в остротах по поводу найденных жандармерией вещей, как вдруг в глубине аллеи платанов появились рысаки с бедуинами в белых бурнусах. Бедуины подняли сверкающие трубы последнего пришествия и вострубили. Прорезая голубой дым разбежавшегося перед солнцем тумана, помахивая головой в такт оркестру, выступал гордо верблюд за верблюдом. Четверка коней тащила площадку с огромными клетками, где за решеткой сидели тигр, лев и гиена. На самом верху, кланяясь во все стороны, в синей юбке и красной кофте сновала мартышка. Арлекин с высоты горба дромадера возвестил программу представления сегодняшнего вечера. В шальварах, в тюр-

бане, с арсеналом оружия за поясом, директор, избочењясь на зебре, кивал снисходительной публике.

— Это он, — прошептал Луиджи, до боли, как клещами, сжимая недочищенную ногу Турикова. — Это тот самый цирк, где я недавно был львицей. Я сам...

Туриков нагнулся к Луиджи, чтобы разобрать, в бреду это он или выпивши. Но тот в страшном волнении повлек его под руку.

— Пойдемте, мосье, в кафе, здесь, на улице, неудобно рассказывать.

Луиджи собрал свои несложные принадлежности и в глубине ближайшего кафе уселся вместе с Туриковым. Спросили два бокала пива, и Луиджи сказал:

— Мосье, я вам чищу туфли скоро два месяца, я прекрасно постиг, что вам можно довериться. Больше того, я полагаю, мосье, вы не откажетесь быть моим помощником в одном добром деле: вы стоите в том же отеле, что и толстая рантьерша из Тулона, мы, чистильщики, прозвали ее «тулонской индюшкой». У нее есть племянница Зоя... Ее мать была цыганка, завезенная во Францию чуть ли не из вашей страны; эта прекрасная особа была не слишком почтенной жизни, — и вот, во искупление ее грехов, «тулонская индюшка» замыслила отдать Зою в монастырь... Мосье, вы должны мне помочь, у нас времени сущий пустяк. Я сейчас иду обрабатывать моего кума, директора цирка. А вы, мосье, надев ваш белый фартук медика, там, в термах, отзовите хитренько Зою от «тулонской индюшки» и ей скажите так: «Не ускоряя шага, немедленно идите, Зоя, к фуникулеру, там ждет вас Луиджи». Идет? Не подумайте, мосье, что я сумасшедший, напротив того, я — человек, спасший свой ум. Я, мосье, не кто иной, как неаполитанец, удравший из Италии от фашистов. Вместо того чтобы глупеть вместе с моими земляками и лизать пятки дуче, я, приговоренный к тюрьме, такую сыграл ловкую штуку... что начальству до сих пор приятнее думать, что я обошел правительство подкупом, а не обдурил его исключительно собственной изобретательностью. Замечательный директор цирка на полосатой зебре — мой закадычный друг. Это он вывез меня из Италии вместе со своими львами. Вы, конечно, спросите: «Каким способом, Луиджи?» Но про способ молчание... Этот способ еще сослужит немалую службу моим земля-

кам. Если это бесспорно, мосье, тот же цирк, тот же директор, то при них, не правда ли, и все тот же необыкновенный способ переправки за границу людей, не имеющих на то прав? Итак, мосье, вы скажете маленькой Зое: «Немедля к фуникулеру, Луиджи там ждет!» Вашу руку, мосье...

Туриков, подходя к термам, уже жалел, что связался с Луиджи, он ведь нарочно вышел раньше, чтобы полчаса до открытия ванн провести под землею для осмотра новых источников, такой необычайной радиоактивности, что маленький, быстрый как ртуть директор курорта заверял больных: «от них вы помолодеете скорее, чем от модных операций русского ученого де Воронофф».

Но сейчас, заговорившись с чистильщиком сапог, Туриков явно опаздывал в термы: то и дело его обгоняли, торопясь в «горловую» залу, курортные пижамники. Они первые торопились на горловое лечение. Туриков знал их несложный секрет: у всех завелись здесь романы, и надо было так подогнать, чтобы избежать встречи со своим предметом до «столика с лебедем». Так в лечебнице окрестили прибор для вдыхания горячих серных паров. Французы разнообразного социального положения превеликие франты и всего больше на свете боятся быть ridicule, хотя смешной моде подражать будут рабски. Оттого, что модно ходить на вдыхания в разноцветных пижамах, — по утрам старцы и юноши неслись к термам преяркими попугаями.

В зале ожидания, как всегда, сидела кассирша, важная и сердитая. Туриков настроен был психологически и подумал: кассирше легче других смертных быть введенной в обман своей призрачной властью — без прощелкнутого ею билета в залу серных паров никому не пройти, отсюда у них повсеместно уважение к самой себе и своей сидячей должности.

В полную противоположность кассирше — здесь особое существо, которое во Франции до седых волос кличут—«гарсон». Он уважает уже не себя самого, а каждого вошедшего с билетом, которого провожает любезно к свободному месту. Хотя гарсон не менее необходим, чем кассирша, — в жизни сидеть выходит почтенней, чем бегать.

Но без гарсона свободного места ни за что не найти среди несметных горловых, сидящих за отдельными сто-

ликами. Издали похоже — экзамен по письменному, но вблизи нелепость положения вдыхающего горячие пары вызывает невольно улыбку — причина, почему молодые «пары», заинтересованные друг другом, стремятся вдыхать в разночасье.

Горловик сидит, раздвинув локти, как крылья, багровеет и обливается потом, как бы подавившись огромнейшей белой птицей. К туловищу этой птицы — белому резервуару, охлаждающему пары, прикреплена длинная труба, изогнутая наподобие шеи лебедя; труба кончается расширением для рта. Чтобы пары не остыли, место, где происходит встреча рта и трубы, прикрыто салфеткой, от чего впечатление, что голова птицы застряла во рту больного.

Туриков, облачившись в белый халат, избрал себе пост ожидания «тулонской индюшки» недалеко от входа в «потелку», у исторических камней — раскопок, гордости местных жителей. Историк относил происхождение этих терм к временам Тиверия. В особо приложенном к камням аттестате, ради поблажки вкусу французов к истории каждого клочка Франции, шло подробное восхваление терм с пафосным отступлением составителя.

Аттестат терм с гордостью читал вслух аббат: здесь блистали таланты и доблести Рима, почерпая в источниках свежие силы на борьбу честолюбий, сюда убегал Октавиан Август от нескромных взоров придворных с прекрасною женою Мессены...

Но, увы, сарацины, варвары и горные обвалы разорили целебные струи. Настало средневековье, теология подчинила себе медицину, и люди стали лечиться канонами.. Но сила ключей была так сильна, что пробилась наружу, и «Горячее озеро» всплывает снова в истории, уже как владение мальтийских рыцарей. В XVIII веке исцеление вельмож и фавориток Людовика прославляет вновь воды.

Маркиз д'Этиньи устроил здесь термы и зазвал Ришелье. Для приезда «дюка» сделали насаждения — аллеи из лип. Но «грубые» крестьяне, рассердившись, что часть их лугов отошла под аллеи, вырвали ночью все липы. Маркиз д'Этиньи вызвал эскадрон драгун и заставил «темное население» уважать культуру.

На приложенном плане были отмечены крестами уцелевшие деревья двухвековой посадки.

Мимо Турикова проплыла в свою «потелку» толстая дама из Тулона, за ней следом «змеистая Зоя — так прозвали ее горловые, — потупив глаза, как предписал ей, должно быть, аббат, пронесла черный сак своей тетки. Туриков, верный наказу Луиджи, догнав рантьершу, предупредительно предложил Зое указать новое помещение для нагревания простынь. Оставшись на минуту вдвоем, Туриков, топчась перед Зоей, неожиданно смущенный ее глазами дикой лошади, сказал ей вдруг тем стремительным тоном, каким на сеансах приказывал своим алкоголикам-пациентам заснуть:

— Идите немедленно к фуникулеру. Луиджи вас ждет. Дело важное, ставка на вашу свободу. Когда будете в Испании, не забудьте прислать мне благодарственную открытку.

— Я в Испании... вы смеетесь, мосье. И что скажет тетушка, если я уйду.

— Я обработаю вашу тетку. Идите, он ждет.

Зоя обвела Турикова еще раз необыкновенными глазами дикой лошади и прошептала:

— Я вас не забуду, мосье.

По напряженности ее шепота Туриков понял ее волнение и вдруг завистливо подумал, что сам мог быть на месте Луиджи.

Черт знает что: изо дня в день он видал эту девушку, знал ее грустную судьбу и был ко всему равнодушен, но едва славный парень ввел его мимолетным участником в свой роман, как он сам захотел стать героем этого романа.

Для восстановления чести Турикова, как серьезного научного работника, необходимо прибавить, что едва цыганка Зоя с необыкновенными лошадиными глазами, не обернувшись ни разу, исчезла за дверью, он, уже привыкший многие годы точной формулировкой отделываться от своих чувств в угоду разуму, прибег к этому средству и сейчас.

«Я полагаю, — сказал он сам себе, — все дело в обыкновеннейшем атавизме — битва самцов за обладание. Одним сделан выбор, и вечный страх за утрату своей

мужской свободы вдруг заменяется у другого древним соревнованием».

Сформулировав, Туриков твердо прошествовал к своему месту надзора за бассейном подростков. Понаблюдав, как барахтались в гнусно пахнувшей серной воде малолетние дегенераты, он решил навестить «тулонскую индюшку» в зале «китайских пыток».

Эта форма лечения состоит в том, что человека сажают в ящик и наглухо задвигают крышкой с отверстием для шеи. Кубы с торчащими головами стоят недалеко один от другого — мужские головы, в очках и пенсне, философски следят за течением песочных часов; головы женщин ссорятся с банщицами и, неумолимо треща, вертятся во все стороны. Тетка Зои, без кружевной наколки и притираний, торчала из ящика, как побагровевший от злости кочан.

— Зоэ́, где мои туфли? Зоэ́! О, мой пузырь со льдом!

Не в силах поправить свисший на веки пузырь, тетка злобно зашлась:

— Негодяйка, гулящая, ловите ее...

Туриков бросился в коридор к директору и сказал шепотом:

— Я не раз наблюдал у этой тучной женщины из Тулона прилив крови после «потелки». Прикажите свести ее для успокоения в одиночную камеру.

Банщицы увели сердитую даму, а Туриков, как юноша, полетел на бульвар, прямо к месту, абонированному Луиджи-чистильщиком. Ни щеток, ни мази, ни его самого и в помине там не было. Старуха цветочница, словно угадав глупое состояние духа Турикова, предложила ему как киноварь красных васильков, клянясь, что они разрешают от внезапной несчастной любви. Туриков цветочницу по-русски послал ко всем чертям и, рассердившись на самого себя, на Зою с Луиджи, пошел к фуникулеру.

Еще был туман, и, несмотря на объявление «Отеля снегов» о даровом угощении, вагончик первого класса был пуст. В последнюю минуту машинист-испанец, черный как черт, продернул под колесами какие-то проволоки и завязал их узелком, и Турикову показалось, что это и есть самое главное, отчего два вагона, подталкиваемые паровичком, стали подниматься почти по отвесу. Вагоны крашены в желтое с черным, и когда они медленно лезут на гору

из долины, где город, они кажутся огромной гусеницей. Вместе с вагонами полз кверху лес, густой и мохнатый, как зеленое овечье руно. Вдоль самых рельсов земляника невиданных размеров звенела ягодами, налитыми и красными. Над земляникой внезапный прорыв синего неба и снежные горы. И на высочайшей скале, спиной ко всем чудесам, две немки, не подымая глаз, скоро-скоро перебирали спицами свой Strickzeug.

— Вот индюшки, — сказал кондуктор-француз, разрешая невинно вечную жажду реванша. — Ну, стоило для этого забираться под вечные снега?

На плоскогорье столб с выпуклой картой гор под стеклом, около столба — зобастый однорукий карла продает сувениры.

— Красота природы и уродство человека, — охватывая театральным жестом снежные горы, немок и кретина, сказал тот же кондуктор. — Это философия, мосье...

А Туриков подумал, что здесь, на высоте восьмисот метров, природа живет своей жизнью, у нее тут свои дела, человек у нее в гостях. Здесь она вне его подчинения. Вот опять все съел туман — отель, коров, горы; съел, закружился, понесся, как в музыке Вагнера.

«Надо чаще подниматься, чтобы не мельчать, если не сказал, то мог бы сказать Гете», — кого-то пародируя, сказал сам себе Туриков, ухмыляясь, чтобы не походить на декламатора-кондуктора.

А в отеле шел вовсю чарльстон, и в оркестре слышен был тот единственный инструмент, что во всех кабаках Франции умеет рыдать о погубленной жизни.

Зобастый урод, подойдя к Турикову и сравнявшись головою с карманом его пиджака, конфиденциально сказал:

— А в отеле мулат уже пляшет с другой. Та Мари, которая всегда откалывала с ним, уже мертва, она на днях сделала аборт и умерла. Но мулат, говорю я вам, тот же, только пляшет с другой.

Туриков не пошел в отель, ему противен был и губастый мулат с его новой дамой и американки, от обилия долларов почти добрые, с бриллиантами в зубах и ногтях.

Туриков побродил по горам и спустился в долину обратно. На закате солнца он шел домой мимо горной речки. Зелено-голубая, захлебываясь белой пеной, она

ворчала, ворочая гладкие камни. Туриков полюбовался на плакат с высокостильным запретом мэра города, охранявшим чистоту ее вод. Большими готическими буквами напечатано было на белой доске: «Граждане, не бросайте своих нечистот в прекрасное ложе реки».

За рекой зеленел яркий луг, амфитеатром взбегали скамьи зрителей, на высокой лесенке, как петух на нашесте, громоздился арбитр: шло финальное франко-испанское состязание в теннис. Дальше, за шумным скопищем, бежали неохватные газоны, все в столбиках, с красной дощечкой и с ямкой для мячика — грандиозная игра в гольф. Здесь престарелые дипломаты всех стран, всех народов, в гридеперлевых панталонах, шуршали манекенами по траве; со стороны казалось — они от времени до времени теряют в газон свои челюсти, потом, сделав стойку, их тщательно выискивают. И смешно, когда краснокуртные гольфные грумы подают им не зубы, а мячик.

Смеркалось совсем, когда Туриков подошел к дверям своего отеля: к удивлению, его ждал там Луиджи. Делая пугающие глаза, приложив палец к губам, чтобы Туриков его не спрашивал громко, Луиджи провел его ко второму двору и ткнул пальцем в заборную щель — смотри, мол.

Туриков приложился и стал покорно смотреть, совершенно не понимая того, что увидел.

На небольшом дворике, куда дом выходил одними слепыми окнами, посредине, на старых каменных плитах, лежало полено. Над этим поленом сидела на обыкновенном стульчике-плиян, который пожилые «dévotes» берут с собой в церковь, «тулонская индюшка», тетушка Зои. Рядом с ней, опираясь на палку, стоял круглый домашний аббат. Он говорил ласково, но голосом дрессировщика, не допускающим ослушания: «Еще, еще раз, дитя мое...»

Зоя, подошедшая от колодца с коромыслами и полными ведрами, как во сне брала их одно за другим и лила на полено. Тетка крестилась, возведя глаза к небу, и возглашала:

— Да вменится ей это святое послушание во оставление грехов...

— Еще раз, дитя...

Луиджи отдернул Турикова от забора и помчал за собой.

— Боюсь собственных рук, — рычал он, — если б это не было в самый в последний... я бы прыгнул туда, как пантера, и вылил бы Зоины ведра им прямо на головы... Но сейчас это не входит в наш план.

— Быть может, я плохо разглядел, — лепетал Туриков, — но ведь это бессмыслица — Зоя поливала не куст, а бревно?

— Мосье разве не знает, что испытание послушанием идет в счет только тогда, если оно окончательно лишено всякого смысла? У «тулонской индюшки» кузина была известной кармелиткой, а в монастыре подобное в моде. Вот тетка и задумала еще до совершеннолетия спихнуть туда в послушание Зою. Это полено — у них предварительное обучение. Оно длится уже несколько дней, но сегодня я сам настоял, чтобы Зоя была тише воды, ниже травы. Ведь не далее как через час она будет совсем на свободе, а утром послезавтра перевалит с цирком в Испанию, за границу. Мы порешили ее переправить тем же способом, каким вывозим из Италии недовольных... что касается меня, я пробираюсь легально. Идите на вечернее представление в цирк, мосье, и до скорого свидания...

Отойдя, Луиджи свистнул с легкой руладой, что, конечно, было условленным с Зоей сигналом, что все обстоит как задумано.

Цирк был в самом конце, за городом, где продавали рядом персики и чеснок, где лепились друг к другу лавчонки с губками и люфой, а на тротуарах стояли жаровни. На них, потрескивая, жарились каштаны. Огромный круглый сарай с скамьями в пять рядов, сколоченных наспех, вроде как с нашестами для кур, был цирк. Нашесты дрожали и прыгали под каждым новосадящимся, а мальчишки еще впридачу, встав во весь рост, делали «бег на месте», угрожая крушением всех подпор.

Выбежал клоун с ослом, крича во все стороны:

— Наше ослиное почтение всему здешнему цветнику: розам — мамашам, бутонам — дочкам и папашам — увы, неизбежным шипам!

Клоун подложил ослу под хвост свою шапку, и тотчас, испуская звуки, осел, мотая башкой, забегал вдоль барьера.

Вострубили трубы, забил барабан, затрещал и вспыхнул бенгальский яркий огонь. На середину выехала большая клетка диких зверей. Лев, только что спавший в темноте, зажмурясь, зевал во весь рот. Укротитель по-хамски куражился над зверем. Звеня при каждом движении бубенцами расшитой куртки, он сел на льва, выкурил папироску и, растянув до ушей ему пасть, бросил в нее, как в пепельницу, окурок. Этим способом он, очевидно, желал показать степень своего надо львом превосходства. Лев спокойно выплюнул папироску и опять стал зевать. В клетку на брюхе вползла гиена и принялась лизать укротителю руки. Он избоченился и засвистал на весь цирк фокстрот.

Весь свет теперь направили на соседнюю со львом клетку, где, как мешок с овсом, спиной к публике, не дрогнув, продолжала спать львица. Под звуки оркестра, подхватившего свист укротителя, вошел к львице высокий курчавый негр в огненном костюме. Он схватил львицу за передние лапы, положил их себе на плечи и пустился в пляс.

Зрители завыли, а лев, видя, что львица движется, пришел вдруг в страшную ярость. Туриков подошел ближе к клетке. Его поразил мертвый хвост танцующей львицы, ее деревянные ноги, ее недвижная морда в тех редких и быстрых поворотах, когда она не могла быть спиной к публике. Лев продолжал волноваться и все свирепей рычал на фокстрот. Наконец он с такой яростью стал бить по клетке то хвостом, то лапами, что угрожал ее вдребезги разнести. Директор крикнул:

— Огня!

Перед клетками стали снова жечь бенгальский огонь. Но он, повидимому, отсырел, потому что, прежде чем залить цирк своим огненным заревом, напустил уйму дыма. Одновременно множество женских голосов завопило:

— Горим...

Стоя у самых клеток, Туриков слышал, как львица, изо всех сил стиснув шею негра, вдруг пронзительно вскрикнула:

— Луиджи...

— Львица задушит негра. Убить ее! — заорал мясник с крайней лавки.

Кто-то сдуру бахнул. Львица и негр упали. Толпа в истерике неслась к выходу, опрокидывая все пять рядов.

Треск, вой, темнота, скрип отъезжающих вглубь клеток со львами. Потом снова свет, полисмен, допрос директора цирка.

Великолепный директор, кум Луиджи, в костюме бедуина, делал вид, что не понимает по-французски, и скалил, несоответственно трагичности момента, свои белоснежные челюсти. Вместо ответа полисмену он свистнул, и снова въехали обе клетки. В одной попрежнему во всю пасть зевал старый, скучающий лев; в другой — спала спиной к зрителю спокойная желтая львица. И публике сделал ручкой, как амур, улыбаясь под стать директору, завитой черный негр.

— Жив, дьявол...

— Жив, жив! Это, ситуаены, оказывается, был трюк, капитальнейший трюк.

Но полисмены уже писали протокол за опущенный в анонсах номер, угрожавший спокойствию зрителей. А за создание паники обложили директора штрафом и взяли подписку о скорейшем выезде цирка.

Туриков в смутном волнении кинулся в уборную цирка, — перед дверями толпился весь рынок, никого не пускали. На минуту выглянула из дверей голова негра и скрылась. Турикову показалось, что негр уперся именно в него узнающим, особенным взором. И правда, следом вышел директор цирка и, подойдя к Турикову, как к хорошему знакомому, сказал:

— Вас нам и надо, господин доктор, пожалуйте.

Туриков еще не собрался с мыслями, как оказался в тесной уборной, которую немедленно щелкнули на запор. Перед ним в кресле сидела бледная Зоя, у ней из руки капала кровь, и неумело с бинтом хлопотал негр... Ну, конечно, Луиджи.

— Какое счастье, доктор, что вы подошли — этот болван всыпал дробью нашей львице Люси.

— Ранение пустяковое, — сказал Туриков, — но вот, признаюсь, сама львица возбудила мои подозрения. У нее ноги и хвост уж не из того ли святого полена, что поливала с усердием Зоя?

— Не клевещите на трюковой номер, при удаче и в первом ряду не бывает сомнений: сошло — первый сорт.

Спасаясь от фашистов, я сам был этой львицей Люси. Барабан бьет, бич щелкает... Если б эти идиоты не заорали: «пожар», — все прошло бы и здесь как по маслу.

— Ах, я подумала — цирк горит и меня вернут снова к тетушке.

У Зои закапали частые слезы, как дождь, Луиджи успокаивал Зою, Туриков делал перевязку, а кум-директор разливал всем в бокалы mousseux. Он так искусно на диване расправил львиную шкуру, в которой была только что зашита на номер «Роковой фокстрот» черная Зоя, что львица смотрела, как живая, зелеными глазами и в улыбке скалила зубы.

— Она спасла уже шесть молодцов, а из женщин, надо думать, самую милейшую — нашу Зою. Да здравствует защитница храбрых — львиная шкура Люси!

Наутро в термах только и было разговора, что об исчезновении Зои и чистильщика сапог Луиджи. Досужие кумушки, успевшие подсмотреть их роман, видели своими глазами, как оба садились на поезд в Париж. Это их наблюдение кстати сбило поиски на ложный путь.

А тулонскую даму успокоил аббат, объявив ей немедленно, что в искупление измены Зои, которая предпочла бегство с Луиджи спасению души, ей самой предстоит монастырь. В расстроенных чувствах, толстая дама теперь уже сама поливала ежедневно полено.

А Туриков беспокоился больше, чем хотел себе в том признаться, о судьбе львицы Люси, пока не получил от Луиджи фотографической карточки с многочисленными испанскими марками на конверте. Луиджи сообщал, что повенчан с Зоей законным браком и что оба продолжают успешно работать «негром и львицей» в прилагаемом ударном номере труппы — «Роковой фокстрот». На фотографии мертвая львиная голова кокетливо была откинута, как капюшон, и в туловище львицы улыбалась живая Зоя.

И была в письме приписка рукой Зои: «Милый доктор, поскорей рассейте мой страх. Боюсь, что у меня появится на свет не ребенок, а львенок».

1929

КУКЛЫ ПАРИЖА

В тот день Париж украсили яркожелтые афиши с черными буквами. Афиши были издали как подсолнечники, полные спелых семечек. Подойти ближе — объявление о чрезвычайном «гала». Семь оркестров, знаменитости: чернокожая Жозефина, Сашá Гитри, чарльстоны и президент. Перечисляли вслух аттракционы, восклицали неизбежное:

— Épatant![1]

Чрезвычайное «гала» было в пользу жертв войны, получивших ранение в лицо. Несчастные прозвали себя сами непереводимым ни на какой язык именем: «gueules cassées», предпочитая из старой французской бравуры, чтобы не плакать, — смеяться.

Вывешенный рядом с афишей плакат с фотографиями главных «типов» носил кинематографический заголовок: «Маски ужаса».

При одном взгляде на этот плакат ясно было, что подобные остатки людей надо убрать с глаз долой, надо держать их где-то за городом, как держат прокаженных, безумных и прочих, позорящих благопристойную жизнь.

— От подобных ранений, бывало, один конец — смерть!

— Сейчас они — торжество медицины. Врачам лестно сохранить жизнь именно таким.

---

[1] Потрясающе! *(франц.)*.

— Удружили им, нечего сказать! Да они по кодексу Наполеона даже не числятся в инвалидах. Ведь если им полагалось всегда умирать, натурально, что им категории не создали. Для официального инвалида надо быть безногим, безруким, паралитиком...

— Ну нет, мосье, прошу извинить... Мой ужасней, чем ваш, вот он — самый крайний! Все согласятся, если сравнят. У него удалены обе челюсти, отчего все лицо как жидкое тесто, увязанное в тонкий платок, и глядите-ка: нос, щеки, рот — все сплылось в кучу. И читайте: этот ужас — результат сорока операций.

— Слыхать, жены побросали несчастных?

— А вы бы сами, признайтесь, мадам, что бы вы сделали на их месте?

— О, я не в силах представить...

— Однако, хоть дорого, мы берем билеты. Хороша цена, хороши и аттракционы. Одна черная Жозефина...

— Черт возьми, Париж выпляшет этим gueules cassées пресытое полугодие.

— Вы не находите, что такой способ помощи ближнему не лишен даже грации?

Лобову хотелось крикнуть, что способ полон неслыханной пошлости, что он — выражение одичания внутреннего, которое страшней одичания внешнего, потому что безнадежней, — но он ничего этого не сказал, он только, выбравшись из толпы, пошел скорее обычного по бульварам. И для чего-то Лобов стал пытаться найти словам «gueules cassées» русский перевод: «разбитые пасти, разбитые рыла». Но по-русски отдавало трактирным дебошем и не выходило горькой иронии французского слова.

Еще вспомнил Лобов, что это выражение услыхал он впервые в Москве, от старой Барбье, бывшей гувернантки, прижившейся навеки в одной знакомой семье.

Старуха любила хвастнуть культурой своей родины, где горит вечное пламя в честь Неизвестного солдата, где сын ее, полковник Жан-Мари, настолько взыскан ласками государства, что получает не только полное содержание, но даже гостинец — любимый табак.

Вот этот полковник Жан-Мари, раненный тяжко в лицо, и принадлежал к категории gueules cassées. И самое главное вспомнил Лобов — что он обещал

старушке Барбье разыскать в Париже дочь этого полковника, а ее внучку — Луизу Барбье.

Молчание Луизы убивало бабушку:

— Быть может, она уже замужем и, нежная сложеньем, боится родов? Или вдруг стала богатой и живет на Ривьере? Ну, тогда справедливо стыдится писать. В нашем роду все женщины доброго поведения.

Дальше этих догадок старушка Барбье ничего не умела придумать, давая Лобову для будущих детей Луизы старинный медальон, где она изображена была еще девочкой с круглым лицом и большими глазами. Медальон и сейчас был тут вот, в бумажнике. Лобов вынул его, рассмотрел.

«У девушки этой глаза голубые», — решил он и вдруг, не откладывая в долгий ящик, вздумал сейчас же наведаться на последнее место службы Луизы, чтобы узнать ее адрес.

Фабрика кукол, где внучка Барбье могла еще быть, находилась в соседнем квартале. Консьержка указала Лобову на последний этаж старинного дома. Там красным на синем сияло: «Femmosa». Консьержка добавила с гордостью:

— «Femmosa» — так зовется состав натурального женского тела, открытый хозяином фабрики. В этом доме делают кукол на оба полушария.

Лобов поднялся по лестнице, пропустил направо надпись: «Приемная», пронесся в конец коридора, вошел в обширное помещение и остолбенел: пред ним была мертвецкая лилипутов.

На больших продольных столах лежали горы крохотных женских тел настоящего человечьего цвета. Тысячи глаз: голубых, черных, с блестящим бликом зрачка — гипнотизировали однообразно-пристальным взглядом. Особенно и жутко смотрели глаза с полок, где просыхали отдельные головы больших кукол.

Из-за отворенной двери шел гневный храп, как будто там плевались верблюды. Это хлюпал в огромном котле «секрет» патрона — знаменитая «Femmosa», сплав для «натурального женского тела».

Девушка-манекен, высокая, под последнюю парикмахерскую моду, с бровями в нитку, чуть прикусив губы «руж вампир», — как машина, размеренно, быстро, без

устали, наводила куклам зрачки. Наведя, передавала соседке, которая двумя взмахами кисти порождала румянец. Третьи руки делали губы; один раз сердечком, другой — луком амура.

Подальше тела женщин-лилипутов вынимали из глины, купали, клали для просушки в мохнатую простыню.

Если бы не ужасный приторный запах «натурального женского тела», не чавканье теста в котле, можно бы было подумать: здесь тихие умалишенные предаются вечной игре.

— Тут служила Луиза Барбье? — осмелел Лобов и двинулся ближе: — Я к ней от бабушки из Москвы.

Пальцы у той, что наводила зрачки, чуть дрогнули, и черная краска залила куклин блик; мертвый глаз потускнел и стал вдруг как печальный живой. Девушка, не глядя, сказала:

— Луиза Барбье — это я. Прошу вас подождать в приемной, я окончу сейчас и приду.

Мальчик провел Лобова в ту приемную, где ему, случайному посетителю, было бы сразу законнее пребывать, и сказал:

— Тут, мосье, зала наших клиентов. Если угодно, мосье, можно осмотреть выставку «серий».

Мальчик любезнейшим жестом указал на обегавшие комнату полки и ушел. На полках сидели уже готовые для продажи нарядные «серии». На золотых диванчиках Луи XV маркизы обнимались с маркизами, негритянки выбрыкивали черными ножками из пурпурного бархата, голые куклы «Нана», в перчатках и туфельках, развратно улыбались из-под шляп-абажуров, над которыми крупной надписью было: «Подарки холостякам».

Здесь были модели заказов обеих Америк, Сиднея и Англии. Под этикеткой «провинция» усмехались куклы-хозяйки с корзинами, плакал черно-белый Пьерро.

Здесь были куклы-фетиши: для такси, для гостиных, альковов и спорта. Куклы-сувениры: заказы больших ресторанов «Риц» и «Крийон», которые раздавались на память гостям, оплатившим тысячей франков свой ужин.

Из-за всех этих тюлей и блесток пожаром горели страховидные «poupée bolchevik», в яркокрасной черкеске, с огромным топором и штыком, с отметкой на алой папахе

из небывалых в природе баранов — «chapeau russe — Astrakhan». Кукол-большевиков, по непонятным причинам, себе выписал город Гренобль.

Лобов так увлекся, что не заметил, как вошла Луиза. В глазах ее были слезы, губы «руж вампир» дергались, когда она сказала:

— Если моей бабушке очень плохо жить, лучше не говорите — я ей ничем не в силах помочь.

Лобов поспешил расхвалить жизнь старой Барбье на покое у добрых знакомых. Тогда Луиза просияла от радости, и ее лицо-манекен вдруг стало так похоже на то детское, в медальоне, что ей это Лобов невольно сказал, отдавая бабушкин подарок. И обоим показалось, что они уже давно знакомы.

Над медальоном Луиза всплакнула, потом засыпала вопросами Лобова, то и дело прерывая себя воспоминаниями детства:

— ...с бабушкой Барбье, бывало, в Люксембурге пускали в бассейне корабль. Как бабушка была рада, если Луизин шел первым. Бывало, там же всей семьей играли в колечко. Отец тогда был красивый, веселый. О, эти простые вещи не забываются... Скажите бабушке, те стулья в саду, что тогда были даром, сейчас, после войны, как в церкви, — стул восемь су.

— А больше вам разве нечего передать вашей бабушке? Она, знаете, мечтает о правнуке. — Сказал и осекся Лобов — так вспыхнула Луиза. И злобно:

— В Париже детей не бывает.

— Если у вас вечер свободен, — сказал почтительно Лобов, — давайте пообедаем, и вы покажете мне Париж.

— Обедать хорошо на пляс д'Опера, а пройтись после работы приятно пешком.

У Луизы опять лицо-манекен, брови ниточкой.

Они молча вышли, пройдя длинный бульвар, к историческому храму с громким именем. Двери были широко открыты. Темносиние монахини, как легкими цепями чуть звякая четками, едва войдя, поглощались черною глубиной. Совсем вдали снопами пылали свечи, и драгоценным камнем горело за ним витро древней готики. Прекрасно играл орган: звуки аккордами, как по лестнице, ринулись в купол, упали и снова, чуть слышные, родились в черной бездне. Вдруг звуки окрепли и выросли

в страстный, грозный, потрясающий вопль. Лобов хотел войти, Луиза резко качнула головой, пронеслась дальше, сказала:

— Я больше туда не могу заходить. Всю войну я туда бегала, утро и вечер, пока не вернулся мой отец. Нечего сказать, вымолила...

На ходу она остановилась и повернула к Лобову свое ярко освещенное каменное лицо.

Он изумился еще раз бровям: не нарисованным, не подбритым, а как-то непостижимо убранным, волосок к волоску, в ниточку.

— Мой отец, знаете, как он зовет себя? Футбольный мяч! У него навсегда забинтовано все лицо, навсегда! Ах, вы недоумеваете насчет моих бровей? Да, они не выбриты, а выщипаны. У парикмахера пятнадцать франков сеанс. А полностью «сделать лицо с головой» стоит тридцать франков. И это каждую неделю. Конкуренция, знаете, слишком велика! Во всякой работе предпочитают не провинциалок, а подтянутых женщин Парижа. Однако пойдемте скорей, мне уж не терпится в Батиньоль. Когда тебя хорошо вытрясут, словно мешок, аттракционы и всякий гам необходимы, как аперитив, после нашей дурацкой работы. Вот брассери — выпьемте!

С вечерними огнями на площади возник новый мир. Такси с закрытым блестящим верхом, еще опасаясь дождя, который только что шел и грозил пойти снова, плыли сплошным потоком, отсвечивая полированной черной крышей синие огни магазинов и мигающий глаз метро. Ажаны вздымали белую палочку — такси застывали, превращая площадь в стоячее море, играющее переливами нефти. Опускал ажан палочку — такси рычали, срывались, неслись...

На площади Вандом было несколько тише. От огней великолепного отеля «Риц» серый асфальт пред Вандомской колонной блестел, как вода. Ему в ответ, переливаясь под солнцем росой, дрожали бриллианты в витринах зеркальных окон.

В глубине зацветали сады искусственных цветов, убивая цветы живые тем, что повторяли их с большей яркостью и величиной.

Маленький Наполеон, в венке и плаще, сливался с чернотой, отчего знаменитый его столб не возносился

вверх, а, наоборот, падал стремглав вниз и вонзался в гранит.

— Однако давно же я здесь не была, — сказала Луиза, — последний раз я заходила сюда к нашей старшей рисовальщице Клод. Вот кому повезло! Она, как и я, наводила куклам зрачки, когда явился, как в сказке, тот, из Америки, с огромным заказом. Увидал Клод, влюбился и сделал ей situation. Сейчас в Нью-Йорке у нее своя машина и свой негр. Не правда ли, все в жизни только удача? Отец мой говорит про калек из «Дома инвалидов»: «Вот это удачники, у них отхвачены не носы, а ноги». И вы хотите, чтобы я про отца написала бабушке? Какую же правду? О том, что безликие грызут локти от зависти к безногим или что им скоро негде будет склонить голову, потому что частные средства иссякли, а государство не включает их в категорию. И, я слыхала, острят: «С такими ранениями прежде были скромней, прежде умирали, а этих, видите ли, оперируют». У отца пять-де-сят крупных, и предстоит еще и еще...

Лобов хотел сказать было Луизе про чрезвычайное «гала» в пользу gueules cassées, так как, очевидно, она не поспела еще увидать плакаты и афиши, но у него не хватило духу. И как было сказать, разве как тот голос в толпе: «Вашему отцу Париж выпляшет сытое полугодие!»

Лобов, напротив того, стал малодушно стараться, чтобы Луиза, пока она идет с ним рядом, не увидала бы яркожелтой афиши, как подсолнечник, полный спелых семян, усаженной черными тесными буквами. И Луиза, взволнованная воспоминаниями детства, судьбою отца, не глядела по сторонам, а неслась на высоких каблуках к пляс д'Опера, чтобы оттуда скорее ехать на ярмарку в Батиньоль.

Но на площадь они протискаться не смогли. Движение стало. Люди стояли вплотную не только на тротуарах, на лестнице Оперы, но плечом к плечу на всей площади. Оцепенелые, головы вверх, они ждали известий о прилете американского летчика.

Над крышами, на беззвездном черном небе, как вагонетки бесконечного поезда, цепляясь одна за другую,

огненные буквы выводили то экстренные известия, то рекламы.

— Что это? Быть не может! О, подлость!

Луиза схватила Лобова за рукав, и, вытянувшись на цыпочки, бледная от гнева и боли, она повторяла слово за словом текст той самой афиши «гала», которую недавно в толпе читал Лобов.

Из-за большого отеля, обвивая башенку соседнего дома, всех выше над городом, огоньки поезда оповестили: «Au profit des gueules cassées!»[1] По мере появления аттракционов эта толпа, как и та, утром, — рукоплескала и чернокожей Жозефине, и Сашá Гитри, и президенту. В заключение сообщалось, где именно можно за два франка иметь «главные типы» «масок ужаса».

В толпе кто-то сказал:

— Главные типы масок ужаса, должно быть, превеселая книжка, — пойти купить!

Луиза крикнула Лобову:

— И я хочу превеселую книжку.

Лобов, посылая к черту Париж, как виноватый пошел за Луизой. В магазине было полно. Книжки жадно расхватывали.

Под отчетливыми фотографиями нечеловеческих лиц стояло четверостишие, которое приказчики, перед тем как завернуть в бумагу, читали вслух, с подъемом ложноклассических чувств:

«Что для нас все страданья и наши разбитые рыла — если они хоть немного ускорили нашу победу...»

— А вот это зовется теперь — «мой отец», — указала Луиза на фотографию, где изображен был мундир с орденами. Над мундиром торчала вроде как голова сыра, сплошь в белых, крест-накрест, бинтах. Присмотревшись, Лобов увидал не рот — щель для принятия пищи, и глубоко в бинтах один затаившийся глаз. Единственный, этот глаз сиял умом, гневом и болью. Глаз выдавал живого человека.

— Хороший тип gueules cassées, — похвалил его любезно приказчик. Луиза резко повернулась и бросилась к выходу. Лобов ее еле нагнал.

---

[1] В пользу «разбитых рыл»! *(франц.)*.

— Зачем вы за мной? — яростно обернулась она. — Ведь не стану же я вас в самом деле знакомить с кабаками? Наймите себе ночного гида...

Лобов остановил такси.

— Я довезу вас домой.

Ехали молча. Вышли. Смущенно Лобов попросил позволения еще раз зайти...

— Незачем вам заходить, — сказала очень тихо Луиза, — да и моей бабушке вам все будет труднее солгать. А солгать надо. Ведь не рассказать же старухе, что ее сын, красавец и умница, которым она так гордилась, — сейчас футбольный мяч, который швыряют ногами.

Голос Луизы окреп, стал тверд и жесток. Лобов вспомнил орган и как звуки, едва им рожденные, выросли вдруг в грозный, потрясающий вопль.

Лобов смутился. Глянул мельком Луизе в лицо и увидал: лицо было страшно. Это было лицо куклы, вдохновленное великим человеческим гневом.

— Разве это не топтать, не швырять людей ногами, спрашиваю я вас, — еще повторила Луиза, — пойти выплясывать в пользу предела такой скорби на каком-то подлом «гала»? Выдохлись все вы — мужчины, да, выдохлись! Трусы, болтуны, нет, не вам устроить лучшую жизнь. А женщины только начали понимать... но дайте срок, дайте! Мы-то болтать уж не станем — мы сделаем. Прощайте, больше вам незачем приходить.

Луиза захлопнула дверь, а Лобов направился к себе домой.

Шел теплый, ласковый дождь. Над аркой приплясывал тонкими языками, кривясь под ветром, огонь Неизвестного солдата. И, в такт его плясу, глумливо вертелся в памяти Лобова пренелепый куплет капитана Лебядкина:

Ретро-гра-дка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй,
Ты с приданым гувернантка —
Плюй на все и тор-жест-вуй!

1929

ФИЛАРЕТКИ

Прекрасно, с любовью и гордостью отпраздновал весь наш Союз юбилей Пушкина.

И вот вспоминаю, как некогда в сиротском дворянском институте и мы воздавали по-своему честь поэту.

Мы переводили прозу его на иностранные языки. Для удобства своего и нашего учитель-немец разбил текст особого институтского издания «Капитанской дочки» на десятистрочия. При трудных словах стояли вверху номера.

«Я выглянул из кибитки». «Кибитка» — номер тридцать два.

В словарике, приложенном к повести, значилось:

«Кибитка — это не есть фаэтон, не коляска, не бричка. Это возок».

На масленице у нас полагался большой музыкально-вокальный вечер с почетным опекуном и знатью города. Надо было, кроме танцев и пенья, говорить публично с эстрады стихи. В виду преддверия великопостных дней придумали было написать декорацию — монастырская келья и перед ней Пимен и Григорий в костюмах. Но батюшка воспротивился: в мужском монастыре девицам пребывать непристойно!

Сцену отменили.

Очень огорчена была по этому случаю рукодельная дама. Она должна была сшить из черного кашемира клобук и мантию Пимену. Ее бы отметили на афише.

Рукодельная дама была честолюбива и мечтала стать выше других наших дам, приставленных охранять дортуары: дамы пыльной и дамы ночной.

По случаю вечера собрали институтский совет. Он создал педагогическую композицию с целью укрепления религиозно-моральных устоев.

Объединили два отрывка из Пушкина и собственные стихи митрополита Филарета.

Говорить должны были три девочки одна за другой: строптивый, плохой Пушкин, потом назидающий его Филарет, и второй Пушкин — раскаянный.

Эту тройку институт прозвал немедленно «филаретки».

Началось со стихов Пушкина:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

В институте приказано было произносить только два первых, как говорили, «куплета» из этого стихотворения.

Третий куплет:

Цели нет передо мною,
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум, —

был осужден, как богохульный. Его зачеркнули в тексте. Его знать запрещалось.

Зато ответ митрополита Филарета на эти стихи Пушкина, добытый из журнала Ишимовой «Звездочка», как принадлежащий лицу высокого духовного звания, произносился целиком.

После Филарета голосом слезного покаяния говорились «Стансы» Пушкина.

— Шесть первых строк — болтовня, — сказала начальница. — Они нам не нужны. Начинайте ближе к делу, с седьмой строчки:

Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал,
Я лил потоки слез нежданных...

— Но в подобном сокращении нет пушкинской рифмы, — защитил было учитель русского языка.

— Не в рифме дело, а в чувстве, — оборвала начальница. — Слезы — залог сердечного покаяния.

На эти роли двух Пушкиных, плохого и хорошего, и Филарета выбирались ученицы разных классов по росту и поведению.

К нам, в младший, пришла сама начальница и спросила:

— Кто здесь ведет себя хуже всех?

Классная дама вывела из-за парты меня:

— Вот эта...

— Какой срам, — сказала начальница, — за это ты будешь «дурной» Пушкин!

В Филареты попала громадная примерная девочка. Она вся ушла в рост, и на шалости ее уже не хватало.

— Второй, «хороший» Пушкин должен быть, натурально, пониже владыки и повыше «дурного» Пушкина, — сказала начальница.

Нашли и хорошего.

Трем филареткам дали сокращенный пушкинский текст, полный Филаретов и велели учить наизусть. Репетировали до одури в узком многооконном зале. Под команду танцмейстера — раз, два — двигались в ногу, все три как одна, к самому краю эстрады. Ныряли плавно в глубоком реверансе. Не смея скосить глаза вбок, подымались вразнобой, танцмейстер хлопал в ладоши.

— Повторить!

Опять все сначала — раз, два — под шепот хора певчих, уходивших из зала:

— Фи... Филаретки...

Ненавидели Филарета, ненавидели Пушкина.

Про почетного опекуна, который должен был посетить вечер, был пущен слух, что он не настоящий человек, а сделанный. Барон носил парик и поигрывал челюстями. Он вставал, садился и кланялся так напряженно, как будто нажимал для этого дела пружину сложного механизма, — и тот действовал.

Девочек очень интересовало, где именно и что барон у себя нажимает. Мне поручено было досмотреть.

Наступил литературно-вокальный вечер. Мы надели открытые кружевные пелеринки с розовыми бантами. Нас причесывал парикмахер. Волосы вились, ряда не

было. Собрались было круто помадить, но вошла начальница и сказала:

— Она говорит строптивого Пушкина, к тому же он был из негров, — можно ей волосы не помадить.

Вечер открылся хором «Где гнутся над омутом лозы». Потом мы, филаретки, поднялись на высокую кафедру. Мы растаяли в реверансе. Перед глазами горели люстры, лысины, бриллианты дам, украшенных орденом Екатерины.

Барон сидел в креслах, в первом ряду, около начальницы. Он мутно глядел перед собой. Его левая рука, как обыкновенно, смирно паслась на красном бархате сиденья. Правая рука барабанила длинными желтыми пальцами по колену, обтянутому белым сукном камергерских панталон.

«Он нажмет в правой коленке», — решила я и, не отрывая глаз от бароновой ноги, окунулась еще раз, уже отдельно, в глубоком придворном реверансе. Когда все туловище было откинуто назад и весь упор шел на левую пятку, надлежало мне, Пушкину мятежному, начать грешный мой ропот самым толстым, сердитым голосом:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты...

Начальница, сидевшая рядом с бароном, уронила на паркет белоснежный платок. Барон шевельнулся поднять. Я забыла стихи, я чуть присела, чтобы поймать, где именно нажмут желтые пальцы барона.

— Продолжай! — побагровев от усилия, сказала начальница. Пока барон тормошился, она сама достала платок.

«Если испортился механизм, барон не встанет. Так и будет сидеть. С креслом его унесут или нет?» — мучилась я положением барона.

— Про-дол-жай!

Но я забыла стихи:

...Иль зачем судьбою тайной
Ты на..., что-то суждена...

Начальница презрительно махнула платком, и Филарет покрыл мое самодельное бормотание невыносимо высокими нотами:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от бога нам дана...

Женским визгом, без передышки, сплошным комариным звоном прозвенел в зале «куплет» владыки. Громадный Филарет, испугавшись моего примера, гнал во весь опор, боясь забыть текст и не допуская паузы. Раскаявшись немедленно, Пушкин хороший — девочка среднего роста — прорычала усеченные «Стансы»:

Я лил потоки слез нежданных...

Реверанс мы сделали хорошо — все три как одна.

— Пушкин! — выстрелил барон и поднял вверх желтый палец. — Пушкина похвально выучить наизусть.

Мы ушли под шепот хора:

— Фи... Филаретки!

Я забилась в классе на заднюю парту. Вошла классная дама. Она мне сказала:

— Ты осрамила весь институт. Не можешь запомнить стихи — пока другие танцуют, учи, милочка, прозу!

Она развернула передо мной «Капитанскую дочку» и, отчеркнув ногтем: «отсюда — досюда», ушла.

Я осталась в классе одна. Взяла книгу. И мне сразу понравилось: «Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.

— Ну, барин, — закричал ямщик, — беда — буран!

Я выглянул из кибитки...»

Кибитка... Кибитка?

«Кибитка — это не фаэтон, это не коляска, это не бричка, это возок».

Я размахнулась и хватила «Капитанской дочкой» стекло висячей лампы.

Меня увели в карцер.

И еще один раз я пострадала за Пушкина.

Я и моя подруга были обе с Кавказа и очень тосковали по горам. Особенно весной.

Мы садились спиной к бледному северному небу, смотревшему из казенных окон, мы впивались в гео-

графическую карту, висевшую на стене. На Казбек налепляли мы жеваную резинку — клячку, и Казбек торчал выше всех на свете.

И я говорила от всей души:

Кавказ подо мною. Один в вышине...

Я говорила «Кавказ» Пушкина с начала до конца не раз и не два, а до тех пор, пока мы с подругой из холодного сиротливого класса не переселялись в «зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени... где мчится Арагва в тенистых брегах».

Из моих глаз слезы восторга лились перед географической картой, и, прижав палец к вершине Казбека, всхлипывала другая кавказская девочка.

— О чем вы плачете? Какие казенные вещи вы испортили? — спросила подошедшая классная дама.

Я еще не успела вспомнить, что надо соврать даме понятное, и сказала правду:

— Мы плачем над стихами Пушкина.

— Ты лжешь, — нахмурилась дама. — Признавайся скорее, какие казенные вещи...

— Честное благородное слово! — сказали мы в голос. — Мы ничего не разбили. Мы только над стихами...

— В таком случае вас надо лечить. Нормальные люди над стихами не плачут.

Нас свели в лазарет, и доктор нам прописал холодное обтирание по утрам, до звонка.

Меня, как девочку плохого поведения и зачинщицу, обтирали целый месяц, другую — всего две недели. Это было холодно и неприятно...

1937

ПЛОМБИР

Девочку звали Топочка. Уменьшительное от зверя — тапир. Девочка была долгоноса.

Жила она в городе Северного Кавказа, где цвело много каштанов и белых акаций, которые сладко пахли на высоком бульваре. Гора из арбузов была на базаре, и немцы-колонисты продавали куски яркожелтого масла, слабо пахнувшего чесноком. Кругом на жирных полях рос в траве дикий чеснок, он очень нравился коровам. Масло из этого молока, намазанное на черный хлеб, превращало его сразу в бутерброд с колбасой.

Девочка жила в военном доме. Перед парадным ходом стояли часовые. У отца пальто было на яркокрасной подкладке. Подбородок в черной бороде был пробрит; так было прилично, так носил бороду царь. Матери не было, была молодая гувернантка, приходил учитель танцев. Танцевали с губернаторскими детьми, иногда эти дети приезжали на обед. Но больше всех воспитывал девочку денщик, белый Янек. Он сажал Топочку к себе на колени и без всякой хитрости обучал ее, чему считал нужным. Гувернантка охотно ему спихивала девочку и предавалась собственным интересам.

— От, якась собачка бежит, — говорил ласково Янек, — а ну, будем сейчас узнавать, чи та собачка девочка, чи она мальчик. Вот слухай: у обоих двоих е хвосты. У девочки один хвост, а у кобелька — и хвост и тюрочка. Ну, кто там бежит?

Девочка ошибается, денщик огорчен:

— Не можно так. Я ж тебя учу: у девочки тюрочки нема. Ну остатный раз: кто знов бежит?

Девочка долго со вниманием смотрит на следующую собаку и, наконец, говорит верно.

Денщик гладит ее по голове, хвалит:

— От-то умница.

Прибегает испуганная гувернантка: губернатор приехал с Зизи.

Девочку от денщика ведут в ванную, моют, плетут две косицы, надевают платье с вышивкой, приводят в столовую.

Белый Янек несет вслед «Всемирную иллюстрацию», чтобы ее положить на сиденье стула. Топочка из своего маленького стульчика выросла, а для большого еще мала.

Обед очень парадный, подает не денщик, а лакей Казимир, вольный, во фраке, в белых перчатках. Будет пломбир.

Сидит губернатор с сестрой и девочкой Зизи. У нее пять ровных локонов, ее гувернантка всегда ставит в пример. И тут же — два сына, они умеют шаркать, как большие, и еще гости...

За столом очень скучно. Говорят большие, и маленьким есть дают не то, что большим, а котлеты. Но пломбир, наверно, положат; вот уже на огромном блюде его вынес из дверей и держит в обеих руках Казимир.

И вдруг противная сестра губернатора говорит:

— Пусть наши девочки нас порадуют. Что выучили хорошего наизусть?

Отец Топочки обращается к девочке с пятью локонами:

— Ты, Зизи, старшая, скажи первая, а Топочка приготовится.

Зизи тотчас, как кукла ворочая глазами, сказала по-французски то, что всякому известно из первой части Марго, про четыре сезона: весну, лето, зиму и осень. Все захлопали, даже Казимир, самый важный из всех, улыбнулся и положил Зизи много пломбира.

Тогда губернаторская сестра указала лорнеткой на Топочку:

— Теперь твоя очередь.

Топочка, желая всего больше обидеть губернаторскую Зизишку, сказала:

— Я не хочу наизусть, что мы учили в Марго, я скажу одну штуку. Эту штуку знаю только я да белый Янек.

— Ну, ну, — заранее любуясь остроумием дочки, заторопил оживленно отец.

— Вот какая штука, — сказала с гордостью Топочка, — у кобелька есть не только хвост, но и тюрочка!

Отец потемнел и слабо махнул Казимиру рукой. Казимир на минуту отставил на боковой столик блюдо с пломбиром и вынес девочку вместе со стулом вон из столовой.

Пломбира не дали вовсе. Белого Янека за что-то отправили на гауптвахту.

Когда он вернулся, сколько Топочка ни плакала, он с ней разговаривать не хотел. И непонятно обидел ее мимоходом:

— Ой, ябеда!

1939

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Окончилась русско-турецкая война. В журнале «Будильник» рисовали Османа-пашу. Бежит Осман-паша через горы, и с его ног падают туфли-шлепанцы.

Пришел другой военный журнал с картинками. В нем среди других генералов был портрет отца, рядом с ним — звездочка. Внизу подробно написано, как он был ранен, долго не слезал с лошади, и, чтобы спасти ему ногу от ампутации, сестра милосердия пожертвовала со своей руки лоскут кожи.

Это было интересно; этим можно было похвастаться на улице.

Топочка побежала на лужайку, где были мальчики и самый главный, уже большой уличный мальчик Иванов. Его все слушались: под его предводительством ходили обчищать фруктовые деревья в большом соседнем саду.

Мальчик Иванов подставил свой жилистый кулак, перехватив Топочку на бегу, когда она неслась к лужайке. Она упала; от боли стало плохо. Мальчик Иванов испугался, стал трясти ее и зверски сказал:

— Если ты сейчас умрешь, я тебя убью!

— Я нарочно не умру, — сказала Топочка и назло Иванову хотела еще раз похвастать сестрой милосердия и отцовской ногой, но ее кликнули обратно домой.

Дома оказался пленный турок Абдулла эль-Рахман.

Это был очень красивый турок в своей турецкой форме. Он немного говорил по-русски. Ласково поцеловал Топочку, сказал:

— Твой папаш — мой папаш.

Гувернантка объяснила, что Абдулла папашей взят был в плен. Приехав в город с другими пленными, он получил приглашение остановиться в доме своего крестного.

Турок был ранен; он ходил на костылях. За ним ухаживали все дамы города, и все они возили Топочке конфеты, и она думала, что все ездят для нее. Но всех добрей с Топочкой был турок Абдулла эль-Рахман. Он целовал Топочку и шептал ей на ухо:

— Душинка Машинка!

Топочка поверила, что турок любит ее больше всего на свете, и если зовет Машинка, то потому, что ему очень трудно выучить ее имя по-русски. Абдуллу она сама стала любить, как любила белого Янека, и даже гораздо больше его. Очень сильно стала любить.

Турок ходил уже без костылей и, как лошадь, возил Топочку на плечах, сколько ей было угодно.

И вдруг однажды утром Абдулла эль-Рахман исчез. Ни к завтраку, ни к обеду его не было дома. А к ужину собралось очень много дам, и все, вместе с гувернанткой, бранили турка. Они говорили:

— Неблагодарный азиат, свинья, — и еще как-то...

И так же сильно бранили дамы жену одного штабс-капитана, шипя хором:

— И нашел с кем бежать? С Марьей Ивановной!

Топочка сидела тихо в углу; никто ее не искал. Она шептала сама себе:

— Душинка Машинка... и вовсе не я!

1939

ШАПОКЛЯК

Прошлой зимой мы со Шкловским пошли вместе на московскую кинофабрику, и там произошло событие, которое определило мой возраст неоспоримей самой честной анкеты.

Я смотрела на Шкловского, как его носило из комнаты в комнату словно посторонней силой, потому что быстрота его движений превышала нормальную подвижность человека.

Внезапно его затормозили два молодых сценариста. Они едва открыли рты, как Шкловский уже понял, что они хотели сказать, от чего-то отмахнулся, на что-то утвердительно покивал. Одновременно он прокричал мне, тыча пальцами в сценаристов:

— Бешеные мужики! Весной на экране.

Шкловский внезапно исчез, а бешеными мужиками оказались не юные сценаристы, а только картина, которую они вдвоем делали.

— Картина историческая, — сказал мне старший, — она о событии, которое произошло в восьмидесятых годах в Смоленской губернии.

— Вернее, картина наша научно-историческая, — уточнил другой, — она изображает медвежий угол России, деревенскую бедноту, крестьян, подвергшихся нападению бешеного волка. Крестьян этих возили на прививку к Пастеру в Париж, и это у нас часть научная. Прививка от бешенства была только что изобретена.

Сценаристы ушли. Еще выскочил Шкловский. Прощаясь окончательно, он дернул меня за руку книзу, как за

старинный звонок, и убежал сразу в два места, а я в задумчивости пошла по московским бульварам.

Бешеные мужики сценаристов знакомы мне поименно, они были Смоленской губернии, Бельского уезда, и деревня их рядом с имением, где я живала в детстве.

Сценаристы сказали: «Наш фильм исторический», и я догадалась, что живу очень давно, и то, что знаю и помню с ранних лет, уже является историей. И пора мне ее записать.

В 1885 или 1886 году крестьян-лесорубов действительно покусал в лесу бешеный волк, их отправили на казенный счет в Париж, прямо к Пастеру. Там какой-то досужий русский барин возил их по французским салонам, и вошедшим в моду русским мужикам надарили кучу вещей и, между прочим, цилиндры.

Вернувшись в свой Бельский уезд, выздоровевшие назывались уже не «бешеные», а «французы». Их цилиндры имели у женского пола неотразимый успех. По воскресеньям «французы» в них щеголяли. И сейчас, когда память в подробностях воскресила бельских мужиков, покусанных волком, перед моими глазами прежде всего встал, как живой, великолепного вороньего черного лоска высокий французский цилиндр. Его вертит в руках сухопарый Спиридон, по былой кличке «журавель», ныне — «француз».

Крутя цилиндр, Спиридон непроизвольно нажал пружинку, цилиндр, щелкнув, сложился. Спиридон не без гордости сказал:

— По-тамошнему оно зовется — шапокляк.

Спиридон стоял в помещичьей большой зале. Перед ним помещик, Петр Иванович, в поддевке тонкого сукна, в мягких сапогах, шагал раздраженно по паркету.

Он был лысый деловой человек, большой почитатель знаменитого в губернии А. Н. Энгельгардта и его книги «Письма деревенского хозяина». Сам хозяйничал скуповато, но если не надо было тратиться, советом готов был помочь, приговаривая: «Мужику я всегда родной отец».

— Ну как это тебя, братец мой, угораздило... — остановился Петр Иванович перед Спиридоном, — ведь из-за тебя теперь и к благочинному и к губернатору ехать...

— Не оставьте, ваша милость Петр Иванович. Злого умысла, видит бог, не имел, — кланяется Спиридон, — а только, как вошел я с ним в церковь, — Спиридон взмахнул блестящим цилиндром, — а в церкви куды его деть? Подержал его спереди... подержал сзаду — хохотки по рядам. Ну, взял да и надел. Не русская, думаю, шапка, может ее и не грех...

— Чего же ты не щелкнул ее, как сейчас?

— Запамятовал, батюшка Петр Иваныч, враг память отшиб.

— Запамятовал... Да ты знаешь ли, в чем тебя благочинный обвинил? В кощунственном дерзновении. Он губернатору жалобу подал на «неблагонадежных вдохновителей»! По уезду ищут, кто тебя, дурака, вдохновлял.

Раскатившись по паркету, Петр Иваныч недвижный вырос перед Спиридоном.

— С непокрытой головой предстоит мужской пол в божьем храме. Не знаешь?

— Да какое же оно есть покрытие? — обиделся Спиридон, покручивая шапокляк. — Ни на вате оно, ни на меху, ни вроде фуражка у запасного. Фуражку в божьем храме я бы вовек не надел. А ведь это куды ж было деть?

Спиридон щелкнул по шелковой черной штуке, и опять она стала высоким цилиндром.

— Занес, говорю, спереди — хохотки, занес ее за спину — того пуще...

— Довольно ерунды, — оборвал Петр Иванович, — едем сейчас к благочинному, вались ему в ноги, проси прощенья. Не потрошить же уезд из-за твоего идиотского шапокляка!..

— Воля ваша, Петр Иваныч, прощенья просить я не стану, — сказал с тихим упрямством Спиридон. — Какую вежливость мы в Париже видали... А вернулись домой — обида. Ведь я есть от волка покусанный, Петр Иваныч. Да, может, это поведенье мое идет от него, от волка. Память я, Петр Иваныч, утериваю, ведь вот запамятовал, что оно щелкает.

И опять Спиридон нажал пружинку, и цилиндр стал лепешкой.

— Эврика! — воскликнул Петр Иванович непонятное для Спиридона слово. — То есть самая настоящая «эврика», и на твоем же вранье. После волчьего укуса, говоришь, память утериваешь? Ну так проваливай домой, авось и один я твое дело улажу.

Петр Иванович угасил дело о «безбожии» бельского мужика, побывавшего в Париже, а местная власть отобрала от «французов» цилиндры.

1939

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

Это было в те годы, когда менялись правительства в Киеве: входили галицийские войска, их выгоняли беляки, беляков — красные.

Последний бой шел в предместье, рядом с усадьбой художника, где жила я с детьми.

Сад был большой и фруктовый. Толстые, треснувшие от спелости сливы часто висели на ветвях, которые туго хлестали по плечам, когда мы неспешно бежали к соседнему кабельному заводу, где рабочие обещали нас спрятать.

После фруктового сада начинался виноградник. Казалось, ему не будет конца. Гроздья мелких, не совсем южных сортов запомнились странно недвижными, словно они были из камня. Это происходило оттого, что рядом с этими гроздьями то тут, то там, как бы произвольно, от одной собственной силы, вздрагивали вырезные листы виноградной лозы.

Небо было синее, без облачка, без малейшего ветра. Виноградные листы шевелились от множества пуль, пролетавших с густым шмелиным гуденьем.

Мы бежали, я и двое детей, не думая об опасности, не давая себе отчета, что гуденье шмелей и вздрагиванье зеленых листьев, не овеваемых ветром, — не что иное, как смерть.

Смерть была кругом нас в этом саду с яркосиним небом над головой. Если бы мы это поняли, мы бы испугались, прекратили наш бег и погибли, потому что жаркий бой перешел через несколько минут в эти места.

Но мы добежали во-время и были встречены знакомыми рабочими. Они живо, без лишних слов спустили нас в огромный котел для вулканизации кабеля, задвинули сбоку не совсем плотно крышку и крикнули:

— Будем живы — откроем!

В котле было темно и жутко, дети заплакали. Я им стала рассказывать сразу все сказки в одной бесконечной: Гулливер, Робинзон, хитрые звери, оловянный солдатик.

Не выдержав такого извержения образов, дети уснули, а я стала думать о котле для вулканизации кабеля. Недавно рабочие в свободную минуту объясняли мне, советской служащей во Всеиздате, достававшей им книжки, каким способом на катушку наматывается кабель, намазанный сырым каучуком, смешанным с порошком серы. Катушка вставляется в этот котел, крышка на тросах подъезжает сбоку. Сейчас она закрывает нас не совсем плотно, но если придвинуть еще, если просунуть сквозь медные кольца, вделанные в крышку и в обод котла, винты, зажать их гайками, — закупорка будет герметической.

Сколько пройдет времени, пока не задохнемся? И если победят враги...

Крики ближе, пулемет зачастил совсем рядом. Как трудно ждать в темноте и знать, что без посторонней помощи отсюда не выбраться. Внезапно и меня, как детей, сморил сон.

Очнулись мы под ярким солнцем на земле, рабочие нас поили холодной водой: «Воскресайте, граждане! Победа наша!»

Детей взяли знакомые, а я отправилась в русскую секцию Всеиздата, чтобы узнать, когда восстановится наша работа.

Когда я поднималась по Житомирской улице, я увидала большую толпу у памятников «Исторического пути».

По предложению Общества ревнителей древности на этой площади должен был начаться путь просвещения Киевской Руси с мифологических статуй Кия, Щека и Хорива. Но почему-то всех раньше поставили из бетона громоздкую фигуру княгини Ольги с крестом в руке. По сторонам ее, много мизерней, пониже ростом, поплоше телом, стояли на пьедесталах учителя славянские — Кирилл и Мефодий.

Сейчас украинцы всякого возраста, от сивых мужей науки, педагогов, учеников рисовальной школы до бойких, неизвестных занятий хлопцев, накинув веревки на грузный корпус княгини Ольги, тащили ее прочь, на землю.

Умелые люди острыми молотками каменщиков отбивали бетонную широкую одежду от кирпичной кладки подножья. Фигура дрогнула, накренилась...

— А нуте, наддайте...

— Геть... геть! — закричали взрослые мальчишкам, и они брызнули в стороны, освобождая обширную, тесно убитую камнем площадь в том направлении, куда Ольге предстояло упасть.

Как из пушки, бахнула бетонная статуя, разбившись в куски.

Выступили люди, держа высоко над головами огромный бюст Тараса Шевченко, и под могучее пение «Заповита» бережно водрузили его на опустевший пьедестал.

Под златоглавым Михайловским монастырем, среди зеленых, веселых, кудрявых деревьев над поверженной в прах древней княгиней чуть склонилась в своей смушковой шапке умная, затуманенная печалью голова великого народного поэта Украины.

А с двух сторон глядели на новый этот памятник просветители славян Кирилл и Мефодий и, словно дивясь, вспоминали, как за принадлежность к братству, носившему именно их объединенное имя — Кирилло-Мефодиевское, у этого вот Тараса Шевченко загублено было десять лет творческой жизни.

Причудливая вещь «исторический путь»!

Члены Общества ревнителей древности его мыслили в планомерной расстановке мифологических фигур, а история, живая история наших дней, ворвалась в размеренную затею степенного просвещения школяров и на место мифологической княгини, с подозрительным для ее святости формуляром, вознесла дорогого всей стране и всем другим странам великого поэта.

Как от злого ветра осыпается сухая листва и стоит дерево осенью черное, с голыми прутьями, так в минуты страшных испытаний жизни совлекается с человека все наносное, и остается при нем одна его, только смертью отъемлемая, сила.

Такой силой, неистребимой никаким гнетом его «щербатой» судьбы, могучей и юной, было творчество Шевченко, его чудесный песенный дар, питаемый душой и словом всего украинского народа.

Недаром называл его, взамен его имени собственного, черный друг его, великий африканец, трагик Олдридж, — просто *артист*.

Сейчас рядом со своим белоснежным памятником стоит будто сам он, живой, в том близком нам облике, который донесли до нас современники.

Широкоплечий, приземистый, коренастый казак с высоким умным лбом, с глазами, горящими великой нежностью и печалью и как бы мольбой подкрепляющими властный приказ:

«Други мои, искренние мои, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда...»

Словно в ответ на эти слова, невольно вставшие в памяти, молодой оратор, глядя на склоненную в думе голову поэта, выкрикнул:

— Гляди, батько! Исполнен твой заповит! Новая жизнь, которую ты хотел, жизнь без панов и без холопов — ныне стала явью. Простелятся пути широкие, а не верстовые, протянутся неразмежеванные поля... гляди!

Говорили над новым памятником один за другим люди. Своими и его словами, его крепким стихом, гневным, далеко зрячим, чуявшим победу дорогого его сердцу «смерда»:

Боритеся — поборете,
За вас правда, за вас слава,
За вас воля святая.

Множилась, несметно росла толпа вокруг нового памятника «Исторического пути», непредвиденного членами ревнителей древности, но вознесенного самой жизнью.

Меня оттерли и вынесли вон из круга. Захотелось пройтись на простор. Хорош был спадающий тихий день, хорош синий Днепр с высокой Андреевской горы.

Но от памяти о Тарасе было уже никуда не уйти. Сам Киев говорил про Тараса...

Какая жизнь! Верней сказать, и у этого величайшего народного певца, как у собратьев его, величайших певцов других народов, — не жизнь, а *житие*.

Детство под убогой «батьковской стрехою» сменяется ужасом службы у собственного барина крепостным казачком. У такого барина, о котором художник Карл Брюллов, приехавший выкупить Шевченко, уже талантливого ученика Академии художеств, сделал такое заключение: «Это самая крупная свинья, которую я видел до сего дня!»

Барин ни копейки не хотел спускать из заломленной цены. Пришлось «великому Карлу» написать портрет Жуковского и устроить лотерею для сбора денег на выкуп Тараса Григорьевича. Когда Жуковский привез молодому художнику в своем кармане вольную, Шевченко от напряженного ожидания и страха, что мечта о вольности опять рухнет, лежал в нервной горячке в больнице.

Вот собор Андрея Первозванного, удивительное воздушное творение Растрелли, над самым Днепром. Здесь поблизости была квартира Костомарова. У него в сорок седьмом году, злополучном году ареста, бывал здесь Шевченко.

Впервые пришел к нему весной, принес в кармане своего «Кобзаря» и всю ночь напролет, когда сад благоухал в открытые окна цветущими яблонями, читал его вслух, как он один умел читать, доводя слушателя до слез восхищения.

С тем же Костомаровым, в квартире общего товарища Гулака, велись по ночам пламенные разговоры о соединении славянских народов в одну семью, без крепостного права, без господ и холопов, с училищами для народа, с издательствами книг...

Говорили громко, полагали в речах светлый ум, мечту о лучшей доле, о свободе. А за стеной, в смежной квартире, тупой негодяй, студент-предатель, искажая смысл горячих речей, строчил донос. Доносом выслуживался на чужом вдохновении...

Но Тарас не знал о предательстве. Сейчас настал расцвет его грустных дней. «Кобзарь» вышел в свет, он дал ему не только славу, но и глубокую любовь почитателей. Так, невеста Панько Кулиша, его друга, порешила продать все свои драгоценности, чтобы дать возможность

поэту прожить года три в Италии... Кулиш, не объясняя, откуда свалились деньги, убедил Тараса ехать с ним и женой, и как дитя радовался поэт попасть в «вечный город», о котором ему давно, как художнику, мечталось.

Перед отъездом Шевченко отправился в Черниговщину собрать свои рассеянные по чужим усадьбам песни. Множество нецензурного, ходившего по рукам, сложил он в свой чемодан. Были там и стихи про царя Николая и про его жену: «Как засушенный опенок, длинная, худая...»

Мог ли он думать, что этого «опенка» не простит ему не только Николай, но и заступивший его место Александр II?

Давая амнистию более важным, чем Шевченко, преступникам, Александр высокопоставленным почитателям поэта, просившим о его помиловании, нахмурясь, сказал:

— Он писал непочтительно про мою мать, я простить не могу.

Однако вот и Днепр...

Во времена Шевченко тут поблизости приставал паром, который ходил в половодье с черниговского берега. В тот злополучный день, когда поэт вез с собой чемодан запретных стихов, на паром с ним вместе вступил какой-то неизвестный, ходивший за ним по пятам, усатый полицейский чин.

Один из почитателей поэта, оказавшийся тоже на пароме, безмолвно мигнув ему на усатого, прошептал:

— А не скинуть ли мне ненароком ваш чемодан прямо в Днепр?

Но Шевченко упрямо запретил, он только что собрал разметанные по приятелям свои стихи, а от полицейского чина презрительно отмахнулся:

— Хай себе доглядает, то ж его служба.

Но едва вступили на берег и Шевченко сел на возок, усатый вскочил рядом и крикнул вознице:

— В канцелярию губернатора!

Тем временем взяли Кулиша, Костомарова и прочих «братчиков» злочинного Кирилло-Мефодиевского братства. Все покаялись, все от себя отстранили вольнодумство и дерзость Шевченко. Их покарали слабо.

Но когда поэту предъявили его «возмутительные и пасквильные» стихи, он не только не отрекся от них, но

твердо сказал, что, насмотревшись в своих странствиях по Украине, в какую бездну страдания и порабощения повергнуты люди, какие издевательства над ними творятся именем царя, он не мог не воскликнуть:

Наш край острогами богат.
От молдаванина до финна,
На всех наречьях — все молчат!

Поэта посадили на «чертопхайку» и отвезли в Оренбург.

Расстояние в две тысячи верст проскакали в несколько дней, загнав, как доносил кучер, всего одну почтовую лошадь. Вдогонку по начальству был послан дополнительный приказ Николая: «Под надзор строжайший! С запрещением писать стихи и рисовать».

Все дальше вглубь, в пустынную Орскую крепость. Под особым номером зачислен поэт Шевченко в рядовые Пятого линейного батальона сроком на десять лет, самых могучих по силе возраста, по возможному расцвету дарования.

«Поют ли здесь птицы?» — горько вопрошал он себя, озираясь на скупые желтые пески, на безлесный, пустынный Яман-Кала — очень плохой город, как говорили про Орскую крепость туземцы.

Отсюда писал он друзьям на серой оберточной бумаге:

«Ни, не плачу, а щось ще поганийше диеться з мною. Писати заборонили за баломутни вирши, а за що заборонили малювати?..»

Но если в том проклятом краю не пели птицы, пел сам Шевченко, дерзко произнеся в ответ на запрещение царя: «Та вже нехай хоч розпнуть, а я без вирш не улежу!» И писал он незримым пером...

Мои лита, мои печали,
Тии незримии скрижали,
Незримим писани пером...

Оскар Уайльд гораздо меньше Шевченко пробыл в каторжных условиях после приговора английского суда, но обратно в жизнь вышел он сломанным, обобранным человеком. Он не мог не только творить — жить.

Почему же Шевченко после десяти убийственных, могильных лет не только сохранил, но умножил свои твор-

ческие силы? Кроме творений великой поэзии, он в искусстве смежном, живописи, занял высокое место.

Потому что в своем изгнании Шевченко не был одинок, его наполнял своею жизненной мощью весь украинский народ. И сам поэт, плененный телом в пустыне, где даже птицы не пели, сознанием и чувством растворялся в душе своего народа.

Когда я снова вернулась к памятникам «Исторического пути», все та же огромная толпа окружала новый памятник, и, высоко взгромоздившись над обломками поверженной в прах древней княгини, торжественно говорил немолодой коренастый человек:

— По постановлению Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета день смерти Тараса Григорьевича Шевченко будет отмечаться на всей Украине.

1939

ВИЕВ КРУГ

Мне было не много лет, когда братья, зазвав меня в сад под черешню, наперебой рассказали мне о том, как привели к Хоме Бруту железного Вия, как Хома не должен был на него глядеть, как он, не выдержав, обернулся и был схвачен чертями.

Вечером рано ложились спать. Почему-то в генеральской квартире, при двенадцати комнатах, дети спали, девочка и мальчики, все вместе, далеко на отлете.

Нянька Агафья, по обычаю, надолго сгинула к денщикам, а братья, едва меня одолел первый крепкий сон, вытащили из кровати, посадили среди пола и сказали:

— Надо всем отречься от бога, и тогда увидим фокус-покус. Ты самая младшая, говори первая — бог, ты дурак!

Мне было очень интересно увидеть фокус-покус, и я скороговоркой сказала:

— Бог, ты дурак!

Но братья вслед за мной этого не сказали. Они вскочили, очертили меня быстро мелом, страшно вскрикнули:

— Если выйдешь из круга, тебя возьмут черти!

Навсегда помню, как было холодно, как смертельно страшно. И вдруг, будто на качелях, когда летишь вниз...

Нянька нашла меня в обмороке, но старшим не пожаловалась, потому что боялась, как бы не влетело ей самой. Не жаловалась и я, запуганная мальчиками, что в случае моего фискальства Вий нагонит мне в постель целую тысячу черных, ужасных тараканов.

Сошедший безнаказанно опыт с вызовом Вия мальчики повторили еще раз, в одном важном случае.

Созрела в саду прокурора, рядом с нашим садом, замечательная слива ренклод. Внизу обобрали, а на самом верху сливы остались. Огромные, налитые янтарным соком, они даже треснули от спелости.

Но на самом верху ветки были тонки, большие лезть на них не решались и постановили в совете на черном дворе, на крыше погреба, поросшей дикими желтыми мальвами, отрядить на верхушку сливы меня.

— Все сливы сбросишь к нам вниз; если начнешь есть сама — кругом облепят тебя тараканы.

Поздно вечером, когда нянька, по обычаю, ушла к денщикам, мы пробрались в сад прокурора. Мальчики, став под деревом, крепко держали в руках простыню, чтобы подхватить сливы.

Лазить по деревьям мне очень нравилось, но было строго запрещено. Сейчас, да еще ночью, это было особенно интересно.

Мальчики мне сказали:

— Вокруг дерева мы очертим сейчас Виев круг, и назад тебе нельзя слезть, пока мы тебя не расколдуем. Сиди, бросай сливы, жди сигнала: ку-ка-ре-ку!

Я легко влезла на ветвистую старую сливу до самого гибкого верха, и страшно мне не было. С верхушки, прямо вниз, как на ладони виднелась ярко освещенная плоская крыша духана; там играла зурна и происходила на площадке какая-то веселая кутерьма.

— Бросай сливы, — угрожающе зашептали внизу, — Вия вызовем...

Я стала рвать толстые теплые сливы и бросала их на широко белевшую простыню, словно камешки в пруд.

— Ага! — крикнул вдруг сторож, подкравшийся к мальчикам. — Ходи в участок! Ходи!

Но мальчики ловко увернулись от сторожа и убежали со своей простыней. Сторож вдогонку их лениво обругал и вернулся дремать к себе в сторожку. Я осталась одна на дереве.

Что теперь будет? Мальчики побоятся вернуться обратно меня расколдовать, — значит, сидеть мне тут до утра, а я уж и спать хочу.

А засну я на дереве — свалюсь, попаду за черту круга, могут черти схватить. Если долго смотреть вниз, они уж мерещатся, длиннохвостые, и рога наготовили...

Чтобы не заснуть, я стала смотреть на площадку духана, где все пронзительней ликовала зурна и неутомимо, как плеск мелких волн, в ладоши хлопали зрители, сидевшие на скрещенных ногах в широком кругу. А среди круга я увидела такое, что позабыла все страхи и даже последнюю, мне перепавшую сливу не отправила в рот, а только крепко зажала в руке.

Моя няня Агафья, толстая, немолодая, носившая на голове повойник с ушами, отплясывала под зурну с татарином Мустафой, который часто приводил к нам во двор своего ишака с виноградом.

Няня, в широкой своей юбке со сборами и в фартуке, плыла павой, махала платочком и, конечно, пела свою любимую «По улице мостовой...». Мустафа в черкеске, с длинным кинжалом, метался перед нянькой, то взмывал рукавами, как птица, то с визгом бросал вверх папаху и ловил ее бритой головой.

Зурна надрывалась, ладоши били все жарче. Карапет-духанщик, схватившись руками за серебряный пояс, опоясывавший его толстый живот, хохотал во всю мочь, откинув далеко назад седую волосатую голову. Когда Мустафа, отбивая каблуками последнюю мелкую дробь, подметнулся вприсядку совсем близко к Агафье, она вдруг пронзительно взвизгнула, бросила свой платок и закрыла лицо фартуком.

Няньку обступили, что-то с хохотом ей кричали, сверкали зубы, серебро поясов.

Мне стало почему-то стыдно за няньку, и я стала смотреть на то, что виднелось там дальше, за освещенной площадкой духана.

Бриллианты огней рассыпаны были по черному городу; вот они собрались кучкой, и угадать можно было то или иное важное здание; вот огни разбежались по длинному мосту и, прыгнув поодиночке на гору, скрылись во тьме.

По освещенной с двух сторон середине моста медленно продвигались с вьюками пришедшие издалека верблюды.

У меня захватило дух от внезапного счастья. Завтра пойдет караван непременно мимо нашего дома. К открытому окну высокого первого этажа нашей квартиры всегда какой-нибудь верблюд протянет длинную шею

и, мягко касаясь губами, из моих рук возьмет вкусную булку.

Пониже духана ворчала большая ночная река. Она все же казалась добрее, чем днем. Попадая в отражение огней, шедших вдоль моста, на миг освещенные бревна разбитых плотов словно нарочно кружились на месте или мчались по течению, подпрыгивая на волнах.

А над городом, над рекой и верблюдами небо было такое черное, но легкое и нестрашное, потому что сквозь него пробилось совсем близко к земле множество звезд.

Они были разные: мохнатые, недвижные, как фонари, мигающие переливами всех цветов, как люстры в театре, были большие и далекие малые, и все ясные, все красивые.

Это вот и есть ночь...

И я в первый раз в жизни вижу ночь, оттого что не сплю, когда детям надо спать.

На крыше духана опять суматоха: мерный плеск ладоней, и притихшая было зурна сменилась громким смехом и возней.

Карапет со своими гостями просил мою няню Агафью еще раз протанцевать с Мустафой, а она не хотела. Няня отмахивалась руками, толкала прочь от себя Мустафу, и, наконец, переваливаясь как утка, она сбежала вниз по узкой лестнице с крыши духана.

«Домой няня торопится,— догадалась я,—надо мне поспеть в кровать раньше, чем она придет».

И, забыв про чертей, колдовство и тараканов, я неслышно сползла с дерева и только когда прыгала на траву, то хрустнула веткой, но сторож мирно храпел.

Стремглав я взбежала по нашей черной лестнице прямо в детскую, к себе в постель. Через минуту вошла няня Агафья. Братья притворились, что спят.

Наутро старший повел меня за руку на черный двор, нарочно скосил глаза и закричал:

— Как ты смела слезть с дерева? Кто тебя расколдовал?

— Сама расколдовалась. И Виева круга теперь не боюсь...

А няню Агафью, когда она пошла со мной, как обычно, гулять по бульвару, совсем нечаянно я спросила:

— Отчего сегодня ночью ты так плохо танцевала? Как прыгнешь от Мустафы, а лицо фартуком закрыла?

Нянька, ничуть не поражаясь моим ясновидением, до краев полная своими любовными чувствами, отвечала мне, как лучшей подруге:

— А Мустафа, он собака! Только подкатится — сейчас за ногу щипнет.

И, зардевшись как маков цвет, она прошептала:

— Мустафа мне сказал: глаза имеешь как пшаты, нос как унаби, — это такие хрукты ихние...

1940

В ПАРИЖЕ

И французы ждали его приезда.

Мосье Франсуа говорил неплохо по-русски. Он готовился делать переводы классиков «пробудившегося Востока» и вместе с тем пугался широты их размаха.

Полушутя, им в противовес, он приводил изречение модного скептика о признаках зрелости нации, когда люди уже ни во что не верят и только стремятся прожить «ограниченно и красиво».

Мосье Франсуа раздобыл подстрочник Маяковского и, как сам признавался, был им взволнован больше, чем ожидал. В последние дни перед назначенным вечером он был в гневно-повышенном состоянии.

Сохраняя последнюю вежливость, мосье Франсуа избегал говорить прямо о занимавшем его предмете, но все равно, о чем бы ни шла его речь, это были тайные, ядовитые стрелы, направленные в Маяковского.

Если, например, он перечислял с подчеркнутым пафосом, по его мнению, похвальные условности, благодаря которым во французском стиле достигнуто высокое мастерство, он был тот язвительный педагог, который хвалит ученика примерного единственно в позор и обиду ученику самовольному.

— Сам Поль Валери, сегодняшний мэтр славы, восхищенно взволнован, поминая Расина и божественный классицизм!

Мосье Франсуа коварно улыбался и щурил глаза, отчего на суховатом лице его вдруг проступало много морщин. С таким выражением, будто расставляет невидан-

ной птице свою хитрую сеть, Франсуа восклицал по адресу классицизма:

— О, это — алгебра красоты, это — ее непреложный закон! Вы мне скажете: естественность муз в строжайшем плену? Поэт — раб особого словаря? Не возражаю...

Мосье Франсуа поднял острое, чисто выбритое лицо и произнес с важностью:

— Однако наш великий Расин, опутанный этой традицией, этим пленом, умудрился одарить нас искусством бессмертным!

Распаленный собственным красноречием, мосье Франсуа вынул из кармана подстрочники забавно написанных латинскими буквами русских строк.

Он постучал по листкам карандашом и, едва сдерживая возмущение, спросил:

— Это тоже — стихи?

Он хлопнул по бумаге ладонью и, пресекая все возражения, воскликнул:

— Это графика, это узор... Это просто шалости! И это сейчас, когда покаялся сам Пикассо, зачеркнув самочинный, разорванный на части прием, соблазнивший столь многих. Пикассо погрузился в старый классический синтез, как блудный сын, он пришел к Энгру.

Мосье Франсуа склонил над стихами свой лысеющий лоб и, делая смешные, нерусские ударения, прочел:

Мы —
голос
воли низа,
рабочего низа
всего света.

— О, я хотел бы понять этот ритм! Я непременно хочу услышать, как русский автор читает свои вещи сам.

Неизвестно почему, но с особой горячностью просилась на русский вечер и Алиса, старший манекен в большом модном доме.

— Я умоляю... — прошептала Алиса, встретясь со мной в коридоре отеля, где наши комнаты были рядом, — мне это так важно, это моя надежда... Зайдите ко мне вечером, я все объясню...

Алиса торопилась на работу. Когда вечером я к ней вошла, она, утомленная своим тяжелым днем, сидела в кресле. Несмотря на искусную подрисовку, природная

бледность проступала в прозрачности маленьких ушей и за голубой жилкой виска, где случайно раздвинулись светлые волосы.

Работа Алисы состояла в том, чтобы часами прохаживаться взад и вперед под жадными взорами богатых клиенток, приехавших из Америки за парижским шиком. С быстротой трансформатора Алиса должна была менять платья и, согласно их покрою, расчетливо играть своим телом. Манекену, который умел вызвать оценку деталей, изобретенных фирмой, хозяин жаловал премию.

Алиса не двигалась в кресле, она тихо плакала, с ней что-то случилось.

— Вы лишились места, Алиса?

— Разве в Париже манекен с талией сорок восемь, как у меня, может остаться без работы? — несколько высокомерно отозвалась Алиса и, вынув зеркальце, прошлась пуховкой по лицу, чтобы слезы не оставили после себя следов. Она только что сделала себе «лицо», и это стоило недешево. Продолжая пудриться, Алиса рассказала без выражения, без гнева, что новый гарсон, смахивая с кукол пыль перед поднятием с витрин жалюзи, прошелся метелкой и ей по лицу.

— У нас в ателье сегодня час, когда мы должны стоять на выставке вперемежку с деревянными болванами в модных платьях. Мы стоим — не дышим, не моргнем... И это все ради того, чтобы зеваки на улицах бились об заклад, где женщина живая, а где деревянная. Уходим под аплодисменты — это реклама.

— Вероятно, гарсон не нарочно... — неудачно сказала я.

Алиса горько усмехнулась:

— В том-то и дело, что не нарочно. Гарсон имел основание обмахнуть меня как болвана. Когда сам забываешь, что ты человек, забывают и все.

— Вы меня звали, чтобы объяснить, почему вам так важно попасть на вечер русского поэта, но я не вижу причины...

— Причины есть, — сказала сурово Алиса. — Из всех, кто будет его слушать, поверьте, мне он необходимее всего. Ведь я все медлю посылать мое объявление в газету.

Алиса протянула бумажку. Это было предложение, адресованное неизвестному, написать ей до востребования,

когда он желает с ней встретиться. Тут же стояло перечисление качеств, способных обольстить воображение ситуаена, жаждущего авантюр: девица, блондинка, свежая кожа, талия сорок восемь.

— Не правда ли, совсем как про лошадь? — усмехнулась Алиса. — В газете подобные объявления печатаются на четвертой странице. Многие из моих товарок, потеряв терпение, уже прибегли к таким публикациям. Иным повезло... Но вот я медлю... Почему? Меня, знаете, очень расстроила Элиза, — тебе, значит, не стоит брать жизнь такой ценой! На этом пути везет только тем, кто не думает. Элиза дала мне какие-то революционные листки и портрет Луизы Мишель. Она показала на листки и произнесла строгим голосом: «Но уж если ты начала думать, доводи мысль до конца... здесь ответ!» По правде сказать, листки мне было скучно читать, но портрет Луизы сказал мне многое.

Алиса указала на фотографию знаменитой коммунарки, висевшую у нее в изголовье рядом с благословением Лурда; вот она, Луиза Мишель, в фетровой шляпе вольных стрелков. У нее короткие волосы, они зачесаны назад, пелеринка из жалкого, дешевого меха, солдатские сапоги. В этом костюме она обходила лазареты Коммуны. Она некрасива, Луиза Мишель, но ее улыбка сверкает такой неистребимой силой, такой верой в правоту своего дела, что просто повелевает идти за ней.

— Я вернула Элизе брошюры, но портрет попросила оставить. Элиза улыбнулась, что я, как дети, могу понимать вещи только по картинкам, и вот тут-то она мне сказала: «Тебе бы послушать русского поэта, он только что приехал в Париж. Может быть, ты тогда захочешь прочесть и наши листки». Возьмите меня с собой! Я сяду в угол, я буду в самом скромном платье, я, право, вас не сконфужу.

Маяковский приехал.

Я повела на его вечер двух своих французских знакомых — мосье Франсуа и Алису.

Мы подошли к дому, где во втором этаже сдавался зал для выставок и разнообразных выступлений. Узкая, показалось, какая-то многооконная комната, ступени, возвышение. Широкие подоконники, пустые ящики. Люди сидели

где и как попало, и похоже было — это мастерская живописи, когда натурщик ушел отдыхать.

Маяковский по своему большому росту был сразу отличен от всех. Он стоял, прислонившись к деревянной колонне, и хотя отвечал говорившему с ним, но думал о чем-то своем и грозно смотрел перед собой.

— Ангел... — начал мосье Франсуа.

— Которая? — оживилась Алиса.

— Я не про даму, я про поэта. Это его написал художник на стене киевского собора. Ангел Страшного суда, он держит в руках весы правосудия. То же самое грозное лицо.

Маяковский стоял и тяжелым, твердым взором окидывал аудиторию. Он будто взвешивал, отбирал, выбрасывал негодных. Презрительно смигнув их, он переводил глаза на другую группу людей. Он давил глазами. Его нижние веки не доходили до темного яблока глаза, отчего узкая полоска белка оттеняла темный зрачок ярче, нежели это бывает обычно у людей. Взор его был проникающ, глаза сидели глубоко под бровями.

Внезапно от легкой застенчивой улыбки лицо сбросило тяжесть и стало как у юноши. Задорно откинулась голова, отмахнув с белого лба темную прядь.

Маяковский вдруг одним шагом прошагнул на эстраду. Расставив ноги, он чуть вперед двинул голову. Так с капитанского мостика безошибочно, ответственный, глядит капитан. Он налился огромной внутренней силой. Выражение его рта, широкого и словно нарочно надменного, подчеркнулось до дерзости благодаря своеобразному жесту, каким он сунул руки в карманы брюк.

Маяковский чуть покачался на высоких ногах, отвел руки за спину, углы губ нервно дернулись книзу. Он стал говорить.

Он рождал свои слова, как первый человек, когда он в самый первый раз называл по имени вещи. Такая новизна была в его интонации, что стих его, как ядро, попадал прямо в цель.

— О, этот голос знает, что делает, — одобрительно сказал мне мосье Франсуа.

В бешеном автомобиле
покрышки сбивши,
тихий,

и с невыразимым презрением, словно давал он премьеру-беглецу, порочному школьнику, вдогонку шлепка:

За Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший...

Вдруг лицо Маяковского дивно изменилось: в нем сейчас были нежность и целомудренная гордость сына, обожающего гений отца, и большой вкус поэта, умеющего легчайшим любовным юмором прикрывать свои чувства:

...в пальтишке рваном, —
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.

Маяковский долго гремел и ласкал своим единственным по могуществу голосом. То он жарким словом трибуна валил с ног врага, то пробуждал своим волнением лирику чувств. Он гнал свои строки неистовым бегом, он испепелял благополучие мещан, он заражал доверием к силе великих идей, которые одни могут дать счастье всему человечеству.

Маяковский находил стиху новую, свежую убедительность, он давал слову оттенки, до него не бывшие, то пронзительные, как свист занесенных бичей, то нежные, как детская жалоба. Он словно брал в руку свое полновесное слово и доносил до сознания каждого, убеждая, вовлекая в стремительность обновления жизни.

И даже ленивые волей сливались на миг с его силой, и каждому с ним вместе хотелось гордо сказать:

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Маяковский кончил. Его окружили. Мы молча пошли домой.

Прощаясь, мосье Франсуа произнес без обычной иронии:

— Я счастлив, что услышал его. Конечно, я не смогу это перевести, но я честно признаю, что слова такой силы и правды законно нашли себе новую форму благодаря гению этого человека.

Алиса заговорила только у порога своей комнаты, и тихо, как бы стыдясь своих слов:

— Когда-нибудь передайте ему, что, конечно, не бог весть кто, но все-таки живой человек, поддержанный его душевным огнем, это, знаете ли, доходит без слов, нашел в себе силу изменить свою жизнь.

1940

УЛАНОВА

Уланова танцевала в балете «Жизель».

Тема балета может быть сказана в двух словах, она стара как мир: обольщенная девушка, узнав о коварстве возлюбленного, сошла с ума и умерла от любви.

Это *вечная* тема, которая может быть содержанием любого бульварного романа, но также и содержанием гетевского «Фауста».

Уланова расширяет взятый образ до синтеза, до обогащения его всем философским содержанием, им порожденным. В ее совершенном овладении ее движение-танец — лишь своеобразное, по-новому свежее и могучее средство выражения искусством до последней глубины поднятой жизни.

В первом акте балета роковая завязка — встреча совсем простенькой лесной девочки с красивым парнем. Какая свежесть и искренность Жизели в непосредственности, в угловатости девичьих рук! Почти подросток, еще не забывший шалости, но вот эта встреча с ее суженым — и любовь, единственная, предрешенная, роковая, как у Ромео и Джульетты.

И сразу танец Улановой — не только история какой-то Жизели: как в фокусе здесь воскрешена вся *первая любовь,* воспетая большими поэтами. Встают рядом, обогащая образ, и Гретхен и Татьяна...

Вот еще за миг они не знали своей судьбы, но мгновенное появление Фауста, Онегина, обмен взглядами, рукопожатием — и великая роковая встреча произошла. Как не важны слова при таком *узнавании*.

Искусство Улановой подлинно. Это искусство облегчает зрителя, и кажется, как это бывает только при совершенстве художественного наполнения образа, что у исполнителя нет роли, что на сцене не идет представление, а протекает живая жизнь, существование, которое начинается и кончается не здесь, на подмостках.

Только по какому-то волшебству здесь, на глазах у всех, это существование раскрывается зримо, всем понятно, но углубленней, умней и сложней, чем зритель сам может увидеть.

Танец Улановой полон лирики и обреченности, которые имеют глубокие органические корни.

Жизель — простушка, но одарена мудростью зрения. Она не видит вседневность мелочно и расчетливо. Она не понимает, не верит, когда лесничий предостерегает ее от коварства нарядного парня, ведь она с своим чувством торговаться не может, им поглощенная. Рядом с такой полнотой, какую знает она, для нее пошлость — бессмыслица. Жизель не верит пошлости.

У великих лириков женщина в своем окончательном завершении обречена одиночеству. Она уже вышла из категории *дополнения,* и хотя она умеет любить без меры, но она существует в собственной цельности, и потому тот *он,* кому она уже ровня, ей неизбежно и легко изменяет.

Так Данте, рыдая, кается Беатриче:

«...вещи, с их лживыми радостями, отвратили мои шаги, как только ваше лицо скрылось».

Так говорит Блок:

И мне, как всем, все тот же жребий
Мерещится в грядущей мгле:
Опять любить ее на небе
И изменить ей на земле.

Доказательства неоспоримы: возлюбленный Жизели — переодетый граф, который для удобства амурных похождений надел костюм крестьянина. Указана и невеста его — девица придворного круга. Жизель видит, наконец, своими глазами, как граф целует руку этой невесте...

Как внезапно произошла одержимость любовью, так же молниеносна неотвратимость удара — крушение всех надежд, смысла жизни, самой возможности жить. Мир

воображаемый рухнул, перед глазами бездна. Жизель тут же на празднике, в присутствии владельцев замка, жениха, одновременно своего и чужого, и всех нарядных гостей, сходит с ума.

Уланова мчится по каким-то Дантовым адским кругам, испытывая все оттенки страданий чувства, могучего и поруганного. Мгновенные вспышки надежды на краткий миг останавливают этот бег. Вот опять она девочка, она еще не знает любви. Вот она его встретила...

Опять тема невольно обогащена романтикой знаменитых образов: звучат слова нежной жалобы Гретхен, стоит молча Татьяна.

Жизель дрогнула, ужасное сознание действительно происшедшего разрывает ей сердце, от боли разрушен разум. Новые круги безумного бега все шире, все неистовей. Как волны гневного моря, движенье захлестывает все вокруг...

На самом же деле Уланова чуть касается бледными пальцами недвижных, обступивших ее в ужасе гостей.

Уланова выражает движением до нее невыразимое, то, что могла дать разве музыка.

Разговор ее рук — совершенство вкуса и меры: без суетности, только самое необходимое. Точное, яркое, зримое. Только неизбежность сделать движение внутреннее внешним, довести его как жизнь, как дыхание до зрителя.

Последний акт происходит на кладбище с разверстыми могилами, с целым отрядом покойниц, вышедших из гробов, в белых кисейных платьях и увенчанных гирляндами цветов.

Балерина, заведующая этим выходом из гробов, воскрешает покойниц, трижды простирая над их могилами свой жезл. Вот простерла его над мрамором, где стоит имя — *Жизель*.

Из отверстой могилы возникает прекрасная статуя. В последнем, отрешенном от мира покое на груди скрещены руки. Оцепенелость, такое погружение в себя, что, несмотря на музыку, ощущаешь глубину безмолвия. Веки плотно опущены, она не дышит.

Волшебный жезл коснулся сердца — распахнулись веки, распались бессильно руки, но взгляда еще нет.

Новое прикосновение воскрешающего жезла — вздох, блеск глаз, пробуждение. Жизель ожила.

Как бабочка, только что вышедшая из темницы кокона на свет, она встрепетала, вспорхнула, полетела...

Тут просто чудесное в танце Улановой. Чуть касаясь носками земли, она в опьяненье, в экстазе от полученной снова жизни, в своем воздушном многообразном полете совсем *одна* как бы заполняет всю сцену. Ничего, кроме ее легкого, трепетного тела, а как впечатление богато полнотой!

У нее следующий полет не уничтожает предыдущего, полеты будто сосуществуют. Эти молниеносные мелькания в своем пересечении зачеркивают закон времени. Мертвая ожила, и сам воздух дрожит жизнью.

Когда механизм на лету подхватывает изумительное пластичностью тело еще выше, когда проносит его над головой оцепеневшего от восторга и страха возлюбленного, с поздним покаянием пришедшего на могилу Жизели, кажется, что взлетает над его головой Уланова *одна,* только собственной силой.

Совершенный художник, Уланова на простой, вечной теме дает глубину всей женской судьбы.

Девочка, девушка, женщина счастливая и разбитая, наконец последняя зрелость женского чувства, последнее его бескорыстие — уже только дающего, а не берущего для себя — женщина-мать.

Эти руки ее, когда пропел петух и она превращается в труп и опять должна уйти в землю, — верх мастерства. Само тело уже недвижно, голова без силы откинута, жизнь оставляет. Но руки цепляются за любимого, охраняют его, они ослабевают последние. Только что соскользнули бессильные руки, теперь одни только пальцы еще живы... благословляют.

Уланова говорит нам совершенно новое слово в области движения.

Если движение, как у нее, найдено в совершенстве, если нет ни одной мертвой точки в пластике, если так необычайна гармония между возникновением и передачей эмоции, то язык тела может быть убедительней, глубже и тоньше, чем *слово.*

1940

ЭРНЕСТО РОССИ

Это было в Москве, в девяностых годах, и, кажется, в последний приезд его в Россию перед смертью. Труппа у знаменитого итальянского гастролера была летняя, набрана из случайных мелких актеров, довольно невежественных. Они усвоили крепко одно: едут в страну вроде как варварскую, с зверской историей, с неслыханно чудовищным царем Иваном Грозным. Этого царя должен был играть Росси.

Зритель повалил. Однако отнеслись с недоверием, шли больше для проверки мировой репутации гастролера и в надежде посмеяться, как итальянцы будут ломаться, разделывая русских бояр. Надежды оправдались, смеяться пришлось.

Бояре вышли на пустую сцену как стадо баранов; теснясь друг за друга, искали пугливыми взорами Иоанна. Все делали одно и то же забавное движение, которое, казалось им, должно быть очень русским.

Бояре всей рукой забирали длинную, плохо навешенную бороду и оглаживали ее далеко книзу, как это делают доярки на скотном дворе с сосцами коров перед дойкой. От времени до времени бояре рекомендовались Борису Годунову, чтобы он доложил царю об их приходе.

— Ля думма тутта... — бормотали они, — буояри тутти...

Это означало в переводе: вся дума... все бояре.

Борис Годунов заучил твердо одно: он честолюбец, злодей, а потому, едва увидел пустой царский трон, на минутку быстрым итальянским движеньем присел на него

и жгучими честолюбивыми глазами изверг молнии. Это означало, что он хотя бы ценой преступления, но завладеет русским престолом.

Публика грохнула смехом. Было и смешно и досадно, что Росси позволяет себе так мало нас уважать, что привез столь дурацкую постановку именно русской пьесы. И уже не было доверия, что он сам своим появлением будет в силах зачеркнуть неудачу своей труппы.

Текст показался изломанным режиссерским нагромождением выходов с бесконечным топтаньем всей *думы,* то есть бояр, усердно доивших свои бороды, и канканно-неправдоподобной резвостью русской царицы.

Зритель потерял терпение: кругом возмущенье, смех и шиканье. Требовали деньги обратно, бранили Росси.

И вот, при таком настроении зрительного зала, распахнулись двери из опочивальни Грозного, и, пятясь раком, от подобострастия тряся бородой как козел, дьяк открыл шествие, держа в руках какую-то грамоту.

Росси показался, и театр онемел.

Нет, это не был итальянский актер, прославленный такими-то ролями, это вышел стремглав, как бы с разбегу, показавшийся высоким, безмерно утомленный старик, с длинными, плохо расчесанными волосами желтоватой седины.

Хищный нос, ястребиный взгляд. Он перещупал глазами утонувших в поклоне бояр и перед троном вдруг остановил свой разбег, как бы споткнулся. На лбу его стало заметным красноватое пятно, он его только что натрудил земными поклонами. Вообще старик продолжал еще жить той особой жизнью, которая протекала у него в опочивальне, перед киотом, с раскрытой на аналое, распухшей от древности большой священной книгой.

В открытой опочивальне чернело на полу сброшенное царем монашеское одеяние. Скуфейку, сдернутую с головы, он крепко зажал в руке. Он молился, его прервали.

Конечно, это он сам дал гневный приказ нарушить даже его молитву, если произойдет нечто, жадно им ожидаемое, важности для него необычайной, если прибудет гонец от князя Курбского, изменника и личного врага. Быть может, еще минуту назад Иоанн каялся в особо страшных убийствах, молитвой пытался прогнать тени

умученных им бояр, о холодный пол бился высоким лбом с прорезанной между бровей грозной морщиной, вот набил его до багровых пятен... быть может, рыдал злым рыданьем без слез. Глаза его были красны, взор отчужден.

Все существо Грозного не участвует в полученном им известии, он только едва угадал, что пришел ответ от злого ворога. Угадал по немотствующим губам поглупевшего от страха дьяка, когда тот без доклада, как было приказано и отчего душа ушла в пятки, вошел в опочивальню. Дьяк трепетал: он на минуту осмелился быть свидетелем того, как царя мучила совесть, как самому богу царь рычал о прощении.

Иоанн догадался, с чем вошел к нему дьяк, но полностью не охватил события ни сознаньем, ни чувством. Однако он скомкал в руке скуфейку и стремглав вынесся вон. Прежде всего ему надо было физически выйти из состояния молитвенного покаяния.

Иоанн подошел к трону, выпрямился, застыл. Засаленный подрясник сразу стал на нем маскарадным. Уже не страдающий от укоров совести, уже не согбенный покаяньем старик — грозный царь холодно глянул на бояр, одним движеньем руки вымел их вон из палат. Коротким, небрежным кивком как бы вытолкнул подошедшую было царицу. Безмолвно, глазами приказал дьяку подойти ближе.

И вдруг опять по-стариковски, охваченный горем и слабостью, рухнул на трон, обронил зажатую в руке скуфейку, упал на руки головой. Страдал...

На минуту опять это был только старик, насмерть раненный борьбой с безумием и болезнями, сраженный горем по убитому своей рукой сыну.

Пришел в себя, во всей полноте понял событие, которого ждал, — пришел ответ от Курбского, «послание, полное яда». Опустил руку на ручки кресла, поднял лицо, оно было без взгляда. Собирался с силами, чтобы выдержать собственный ужасный надвигающийся гнев.

Первые заговорили руки, пальцы обеих рук. Они были как у ястреба, они, казалось, кончались когтями. Унизаны перстнями, худые, с надувшимися жилами. Пальцы дергались непроизвольно, как в судороге у смертельно раненного хищника-орла.

Пальцы скребли бархат, сжимались с неестественной силой в кулаки, словно пытались кого-то раздавить. В пальцах был приговор. Уничтожение.

— Читай... — хотел царь приказать дьяку, но от прилившей ярости вместо слов вырвался хрип, столь повелительно-страшный, что дьяк уничтожился. Маленький плохой актер, охваченный отраженным вдохновением актера гениального, он вдруг сам заиграл хорошо. Дьяк, нарочито бесстрастным голосом смазывая цветистый яд красноречивого послания князя Курбского, только что привезенного гонцом, уже преданным в когти Малюты, трусливо косился на Иоанна, готовый принять смертный свой час.

Грозный вдруг вырвал у дьяка грамоту таким жестом сумасшедшего произвола, как мог сделать только он один, и сам стал читать письмо Курбского.

С интересом писателя-профессионала, на миг охваченный бескорыстным чувством предвкушаемого наслаждения чужим талантом, хотя бы и злейшего врага, Иоанн пробежал несколько строк послания Курбского.

Оторвался. Внезапно вспомнил нечто, сейчас важнейшее, и с деловым самообладанием спросил дьяка:

— Не осталось ли у Курбского здесь в живых кого-либо из родных, друзей, близких?

Дьяк с угодливой радостью заверещал, что царю угодно было переказнить всех до одного.

Иоанн затрясся, зарылся всем лицом в грамоту, зашептал в ярости...

И с новой надеждой дьяку:

— Может, остался кум... сосед?!

И полумертвый дьяк:

— Всех... ты всех казнил.

Иоанн сдержал нечеловеческую злобу, расправил скомканное послание Курбского и уже спокойно, с царственным величием приказал дьяку не трястись от страха, а читать, не пропуская ни слова.

Всю эту сцену Росси провел почти одной мимикой, без текста, междометием, порой взмахом бровей, жестом — словом, теми первыми, общепонятными средствами, какими создавалось общение людей друг с другом.

1940

ДВА ШТРАФА

Это, конечно, правильно, что у нас в зоопарке запрещено посетителям кормить зверей: мало ли кто что сунет...

В публике говорили, какой-то негодяй слону в мякиш иголку ввернул, а бедный слон проглотил и то ли долго болел, то ли окончательно помер.

Я признаю, что зверей от возможного хулиганства надо охранять, но я не могу удержаться, чтобы не снести медведю-губачу яблоко.

Медведь сам меня на это дело подбил, а пример подал один знакомый рабочий, Карпов. Как и я, он большой почитатель зверей. Стояли мы долго с этим рабочим у клетки губача, очень приятного, с черной шелковой шерстью и таким человеческим губастым лицом.

— Поверьте, гражданка, — сказал Карпов, — никакой фальши у меня в характере нет, а вот из-за этого зверя постановление нарушено...

Он показал на дощечку *«Кормить запрещено»*.

Тотчас медведь, глянув на меня умными мелкими глазками, присел на корточки, открыл пасть с розовым языком и, собрав когти горсточкой, стал мне показывать, будто он что-то в пасть положил, и тотчас круто повернулся спиной и распустил широченный мохнатый зад.

— Ну и шельма, — смеялся рабочий, — во мне уж уверен, а вас, значит, вербует, чтобы яблоко приносили.

Медведь словно понял, повернулся, еще потыкал горсточкой в пасть и опять задом.

— Ну и дьявол, — заливался Карпов, — это ведь он разъяснил, что умеет так съесть, что никто не увидит и вас не поймают. Обожает он яблоко...

Карпов осторожно положил между двух прутьев большое красное яблоко, и Мишка, укрывшись собственной тушей, как черной мохнатой горой, безнаказанно его съел.

В день, о котором ведется рассказ, я уж сама пришла к губачу с яблоком. Он сидел в той же клетке, народу в парке было мало. В смысл медвежьего танца никто не вникал, шли поскорее к варану — противному ящеру, который заглатывал живьем белых мышей.

Оставшись с медведем одна, я сунула ему, как давеча Карпов, большое яблоко прямо в лапу. Вдруг из соседней клетки раздался обиженный всхлипывающий рев. Это новый сосед губача, маленький желтомордый малайский медведь, ревел во всю мочь.

Он подсел в упор к железным прутьям клетки, выставил передние лапы далеко наружу и всем вертлявым облезлым своим существом указывал подходящему сторожу на медведя-губача, который, по уговору со мной, сидел уже задом и только чуть видным движением шерсти за ушами обнаруживал, что поспешно нечто жует.

— Гражданка, — сказал, подходя ко мне, сторож, — давайте будем платить штраф. Вы только что кормили губача.

— А вы видали?

— Желтый сигнализирует, — с почтением указал на малайского медведя сторож, — он от одной зависти не солжет. Как его к губачу подсадили — штрафов не оберешься. Уплатить вам, гражданка!

Принимая штраф, сторож говорит, смеясь:

— Недогадливы, гражданка: скормить бы вам половину желтому, он бы на вас не пожаловался!

Стало весело мне от этой звериной истории: ну и медведи...

Иду пешком к бирже, любуюсь на пловцов с пляжа «Африка», что сейчас идет вдоль Невы от самых страшных мест царского прошлого, от петропавловских бастионов. Среди белых северных тел то тут, то там черные, блестят, словно смазаны гуталином.

— Негры! — гордится прохожий. — Они на своей родине небось за отдельной рогаткой ныряют, а у нас —

нате, пожалуйте! Нам что черный, что желтый, что белый.

Дошла до остановки четвертого номера, хочу сесть — и никак. Сплошные мужчины с портфелями. Изловчилась я, да на ходу, вслед за мальчишкой-беззаконником. Вдруг трамвай — стоп. Молодой милиционер, и прямехонько ко мне; даже не говорит, одной рукой приглашает к выходу. Ну, я поскорее за ним.

— Гражданка, это же вас не может касаться, куда вы? — уважительно останавливает меня пожилой пассажир.

А уж я знаю, что касается. Мальчишка-то проскочил, как блоха, ну, а я позаметней. Плачу три рубля, беру расписку в получении, сконфуженно говорю:

— Ничего не поделаешь, законным путем мне б до вечера не попасть.

Милиционер молодой, истовый, по форме подтянут. Приложил руку к козырьку и с этакой, ну прямо с сыновней лаской в голосе:

— А на будущее время, гражданка, запомните: не столько вы молоды, сколько неумны!

Под лаской этого сыновнего голоса прошла я весь мост, и только у памятника Суворова меня вдруг осенило: «Не столько молоды, сколько неумны»... да ведь это же — старая дура! И вдруг весело, ну на редкость как весело. И будто ни болезней, ни старости...

1942

В СТАРОМ ТИФЛИСЕ

Дом Като высоко над Тифлисом. За лужайкой, поросшей лимонно-желтыми мальвами, круча; пустить мелкий камень — когда еще допрыгнет до крыши нижних домов. Там же, на дне пропасти, целый лес красных труб института св. Нины. Только месяц назад его кончила Като. А поднять голову, в самое небо гора и на ней белый Мтацминда — монастырь с могилой Грибоедова. Там в склепе навек замерла, рыдая и высоко всплеснув руки, бронзовая Нина Чавчавадзе, с горестным возгласом: «Зачем пережила тебя любовь моя!»

Сколько запахов, какое жужжанье пчел, стрекот цикад в горах в час заката. Горьким миндалем курится нагретая повилика, сладкой ванилью цветут деревья унаби.

Като сидит на окне, ноги свесила в сад. Оторвалась от своего вышиванья, сорвала парные сережки с ветвей унаби, надела их на уши. Три дерева унаби в старом саду у Натадзе, — по числу детей посадил сам отец. Сейчас деревьев всего три, ну, а детей только двое: Като и младший из братьев, адъютант дивизионного генерала — Серго. Старшего брата увезли далеко в Сибирь.

Старший брат офицером быть не хотел, скрылся из дому, и про него узнавали только из газет. Дома про него не говорили. Като и лица его почти не помнила, но часто думала, что же такое Давид мог сделать, за что его так далеко посадили в тюрьму. Не так давно мать прочла в «Новом времени», что Давид Натадзе, бежавший из

тюрьмы, снова пойман; мать откинулась назад с газетой в руках и умерла. Скоро умер и отец.

У Като сейчас близких только брат Серго, бабо Шушуника и старая бабка Саломэ. Серго очень веселый. Он сейчас на дежурстве, приедет завтра утром. Перед уходом принес свой мундир, торопил скорей починить. Мундир новый, с иголочки, Серго надевал один раз только на бал и разорвал в локте по шву. Э, зашить поспеется, пустяки! Дежурный Серго, и домой ему только завтра. А завтра замечательный день — первая репетиция.

Като положила мундир на кресло и прыгнула в сад. Под окном, сбросив чувяки, пошла босая по крепкой горячей тропе... Да, завтра генеральная репетиция «Гибели Гуина». Из-за этой репетиции Като не уехала с бабо Шушуникой на Манглис, осталась жариться в Тифлисе, на этой каменной сковородке, покрытой колпаком раскаленного неба.

Нарочно шлепая босыми ногами, бежит Като вдоль аллеи пунцовых и белых роз, дразнит на лужайке ленивую черепаху, пока черепаха, шурша по камням своим панцырем, не спасается в холодный бассейн.

Высоким забором обнесен сад Натадзе, недоступен чужим. Стережет его день и ночь под большим орехом мохнатый Курбас. Пахнет мятой, укропом, чебрецом.

Но как весело думать, что завтра генеральная репетиция. Решили по древней музейной картине воскресить «Гибель Гуина». В давние годы, по обычаю, в память освобождения от монголов разыгрывалась эта «гибель» в чистый великопостный четверг. В богатом костюме бывших владык Тифлиса сидел на ишаке сборщик податей — этот ненавистный Гуин, а молодая, прекрасная и независимая Грузия вознесена была на верблюде. После полагавшихся хоров и танцев, по особому мановению руки Грузии, туземные воины срывали Гуина с ишака и, раскачав, во всем облачении кидали его с «ишачьего моста» в Куру.

Только отличный джигит и пловец мог в этом месте выплыть удачно. Здесь из пропасти возникает древняя персидская крепость, и отроги хребта Салалак от нее бегут к самой реке. А напротив — Махатские скалы. Кура между ними затиснута. Здесь ее русло глубоко обрамлено

недоступными берегами и отвесными скалами. А в водоворотах легко утонуть. Но брат Серго выплывет.

И вдруг вспомнилось: давая зашить мундир, Серго так особенно сказал:

— На вот... прими участие в ниспровержении строя.

Однако тут же осекся и перевел на другое:

— Тебе скоро семнадцать?

— Через месяц. А что?

— Посвящена будешь в некую тайну.

— В какую тайну?..

Като с разбегу хотела подпрыгнуть и сорвать ветку черешни, но, как человек, вплотную наскочивший на змею, стремительно отскочила в кусты.

Под гранатовым деревом, сливаясь цветом черной черкески с забором, стоял человек. Он был еще молодой, но очень исхудалый и такой тихий, что Като не испугалась. Из-под папахи, как для прицела, прищурились темные глаза. Лицо было необыкновенное. Лицо все играло, зыбилось, казалось, человеку хочется сразу очень много сказать такого, что невозможно сказать словами.

Встретясь глазами с Като, незнакомец перестал щуриться, но не двинулся, не сделал движения. Глаза у него только стали очень большие, мягкой черноты.

— Не пугайтесь, — сказал человек тихо. — Серго дома?

При имени брата Като сразу поверила, что это не враг.

— Серго на дежурстве и будет дома только завтра.

Человек вспыхнул как от внезапной боли. Потом что-то прикинул в мыслях и быстро сказал:

— Вы сестра... Вы Като?

— Откуда вы знаете?

— От вашего брата. Время дорого... В семье Натадзе предателя быть не может... Словом, мне необходим мундир Серго. Он, верно, сказал — надо отдать тому, кто его спросит.

— Я вам отдам...

Като покраснела. Ей не захотелось признаться, что Серго ее не посвятил еще в тайну мундира.

Незнакомец как бы угадал ее мысли.

— Передайте Серго — приходится действовать раньше, чем было задумано. Отложить невозможно. О дальнейшем

сообщу, как условлено. Мундир надо дать совсем незаметно.

Като промчалась обратно в комнату, завернула в бумагу мундир и вдруг, стесняясь своих босых ног, надела чувяки.

Уже не по тропинке, боясь собственных шагов, а бесшумно проскользнула она по траве, к забору. Человек в темной черкеске стоял неподвижно все там же, под гранатами, издали странно знакомый. Он взял у Като пакет, ласково чуть задержал ее руку, благодаря глазами без слов. Внезапно на одних руках, как гимнаст, он притянулся к забору, перемахнул через него и исчез.

Залаял что силы мохнатый Курбас, а Като кинулась к флигелю, где была половина бабо Шушуники.

Прохладный покой, горький запах спелых трав обволакивал уже с порога горенки. Она стоит на каменных столбах с оконцем, задернутым узорной чадрой. Здесь сушит целебные травы и разбирает их по сортам кормилица Саломэ. Должны травы сохнуть без солнца, чтобы не терять своей силы.

Саломэ в седых длинных буклях, в шапочке тавсекрави, только вместо двух жемчужин посреди лба, как у бабушки, у нее подешевле — оправленный в серебро, блестит горный хрусталь. Она, схватив голову Като сухими старыми ладонями, пытливо смотрела ей в глаза, шептала что-то на родном гортанном языке, потом кое-как сказала по-русски:

— Кипишь, совсем казан на огне!

— Чай пить хочу.

И, боясь выдать волнение, выскочила Като в галерею, где играл толстый правнучек мамки Бессо. Схватила на плечи Бессо и, держа его за голые бронзовые коленки, промчалась лошадью вдоль галереи, топоча ногами, выгнув шею, скосив вбок, словно истая пристяжная, как мокрые вишни блестящие глаза.

Бессо ревел, просил спустить на пол. А Като все крепче сжимала брыкавшие ноги и носилась как ураган. Мамка Саломэ вошла с чаем и с целым подносом сластей.

— Кушай, Като... Саломэ гузинаки варила, кушай мед из Бакурьяни, целебный мед, салгуни жареный, цоцхали свежий, тоже жареный. Сироте хорошо надо кушать. Умрет Саломэ — кто тебе даст?

— Ну, завела... сама возьму, когда захочу. Есть новости?

— Бабо Шушуника письма писала, тебе на Манглис сейчас ехать. Скучает бабо.

Подождет бабо...

— Позови, когда Зораб придет. А я пока на гору...

Хорош Тифлис ночью с горы Давида. Пропадает его дневной европейский вид и настораживается, вступает в силу тот, древний, на тысячу лет старше других городов. Неприступной кажется персидская крепость с круглыми башнями, встающими из пропастей. Рядом с нею остатки храма огнепоклонников. Вот замок Метех, охранявший переправу. Под ним, на майдане, Тимур топтал конями дикой орды согнанную палачом толпу юношей и детей. Подальше султан Джолалдин бросал их сотнями в бурную воду Куры. Али-Магомет-хан в персидский плен увел всех уцелевших.

Огни вспыхнули в Авлабаре, перекинулись в артиллерийский лагерь и сразу двойной рекой охватили проспект, корзиной опрокинутых бриллиантовых звезд засверкали в центре города. Гибкими лозами дугообразно разбрызгивались огни далеко по предместьям. На Верейском мосту огни были велики и недвижны, как золотые подсолнечники в безветренный день. И как днем было видно: шествуют важно по мосту верблюды из Баку, нагруженные керосином, и, скрытые непомерными корзинами с виноградом, семенят тонкими ножками ишаки.

Под тутовое дерево пришли, почуяв Като, две персидские собаки с отрубленными хвостами и плоской головой. Эти желтые длинные собаки похожи были на змей.

Сквозь ветви старой туты следила Като, как разгорался огнями Тифлис.

Здесь еще сильнее пахнут деревья унаби. Это свежие отпрыски на тех могучих стволах, что росли и цвели во времена Магомет-хана и огнепоклонников.

Все огни разгорелись и застыли, уже не мигая. От неба, темного, уходящего вглубь, полилась, наконец, желанная прохлада на раскаленную сковороду, на весь древний Тбиликалар — жаркий город. На крышах духанов застрекотала зурна, понеслись в плавной лезгинке танцоры, и зажил своей особой ночной жизнью воспетый поэтом, многобалконный, многозвездный Тифлис.

Притопал голыми пятками под тутовое дерево толстый мальчик Бессо, позвал Като слушать Зораба.

На галерее старый Зораб уже запивал жирный плов кахетинским. Потом он настроил миствири, украшенное медными подвесками и стеклярусом разных цветов. И запел...

Зораб воспевал древнюю доблесть кавказцев, умевших стремглав летать с зубцов крепости, спугивая целые облака розоватых скворцов и хохлатых удодов, истребителей саранчи. И про свой родной город с Ахалцихскими веселыми горами и неприступными замками. Пел и новую песню о том, как вдоль быстрой Куры лежат праздно бурьяном поросшие десятины. Хотя князья разорились, больше не строят, но и куска земли не дадут бедняку, — и вот негде ему себе ставить новую саклю.

Простилась, ушла на покой Саломэ, ей завтра вставать на заре, собирать под росою лечебные травы.

— Хорошо, слушай, Като, — сказал Зораб, — я спою тебе еще одну новую песню.

Зораб поднял всегда тяжелые веки, под которыми дремали глаза. Сейчас глаза не дремали, они были желтые, как у кобчика, и остер был их взор. Старик, понизив голос, сказал:

— Скажешь Серго: завтра весь день лежи в постели больной. Слышишь? Так надо. Два дня, три дня — все время больной.

— Зачем, Зораб, это надо?

Опять загадки: ничего не ответил Зораб, взял миствири и, бряцая подвесками, запел про Божираса, последнего из древнего племени нартов-богатырей. Этот Божирас хотел взорвать землю, устроить ее во много раз лучше. Он хотел перебить всех ангелов, если вздумают помешать. Он отказался слушаться самого бога, который положил людям страдать на земле.

— Слушай, Като, новый Божирас есть у нас. О нем скоро знать будешь, скоро загадку поймешь. Помогать братьям надо...

Это сказал совсем тихо Зораб, и так же тихо ему вопросом Като:

— Ведь у меня не два, один брат... Серго!

— Зачем один, есть и старший, Давид. Очень хороший брат...

Не закончил старик, запнулся. Прикрыл глаза тяжелыми веками, и тотчас задремали привычные глаза. Так, не глядя, поднял он вверх три черных крючковатых пальца и еще раз как дятел:

— Три дня... три дня Серго болеть надо!

Утром рано, когда Серго был еще на дежурстве, Като побежала на армянский базар искать разноцветных шелков — газовую косынку матери надо было подправить, чтоб покрыть ею тавсекрави молодой Грузии.

Конечно, она понимала необходимость передать Серго то, что сказали незнакомец в черкеске и старый Зораб. Но, во-первых, Серго будет спать после дежурства богатырским сном до обеда, а потом уж очень ей было обидно, что держат ее, словно какого-то ишака, для передачи, не вводя в суть дела.

На армянском базаре, как обычно, вся жизнь наружу. Тут и бреются и едят шашлык, сидя на корточках, запивая вином из бурдюка. Здесь толпятся мингрелы, лезгины, персы, окрашенные огненной хной. Здесь лудит медник посуду, гремит кузнец молотком, звенит оружейник, оттачивая драгоценный клинок, кричат на верблюдов погонщики, кричит сам верблюд, скаля большие желтые зубы, скрипит арба, наваливаясь всем передком на длиннорогих серых буйволов; водонос-тулухчи с диковинным мехом ведет под уздцы своего мула к Куре. Муша, согнувшись, как перочинный нож, под тяжестью огромного шкафа, привычно ухает на поворотах, и шкаф кажется самодвижущимся предметом. Базарные писцы в высоких барашковых шапках только что выложили чернила и перья из узких деревянных ящичков и ждут заказа.

Далеко вглубь втянули Като «темные ряды».

Здесь, сидя на порогах своих лавок на корточках и непрестанно жуя белую кеву, армяне торговали папахами, другие, закинув длинные рукава своей чохи за спину, крутили на вертеле сочный шашлык и жирные пальцы вытирали о висевший на бечевке лаваш — тонкий лист дрожжевого пузырчатого теста: он же сразу был им и хлеб и салфетка.

Вот двое заспорили на родном языке, и вдруг в порыве азарта, как это делают часто армяне, сказал один, считая, что так будет доказательней, с сильным акцентом по-русски:

— Для обновления революционной деятельности нам прежде всего нужен деньги. Можешь понимать?

— Ишак... — оборвал товарищ и мигнул черной густой бровью на полицейского.

Под навесами крыш и балконов у старого перса, рядом с благоухавшим розой шербетом, Като нашла необходимые шемахинские шелка. Когда она вошла опять на майдан, на темносинем небе уже голубейшею бирюзой раскалилась мозаика мечети Али.

Боясь опоздать, заторопилась Като к большой площади — другому центру города, европейскому. На площадь выходят штаб военного округа, управа и редакция двух газет. Недалеко охранное отделение, недалеко и дворец самого наместника. Кажется, одно наличие таких особо охраняемых мест — достаточная защита для площади. К чему тут еще и городовые с винтовками? Неспокойное время. Разъезжают патрули — в Тифлисе объявлено осадное положение.

Здесь, на площади, кишит толпа богатых людей, особая, жадная толпа людей, имеющих в банке сейфы. Цель всеобщих устремлений — караван-сарай, где найти можно все, от несметной цены бирюзы до простых чувяк, куда войти можно голым, а выйти хотя бы на бал к генерал-губернатору.

Ну можно ли чего-нибудь опасаться на подобной, охраняемой толпой и властями площади под этим утренним, уже палящим солнцем?

И пьяным показался Като внезапно возникший вчерашний певец Зораб, когда он одернул ее за рукав и, сверля своими ястребиными взорами, заклекотал:

— Хочешь живой быть? Бежи отсюда. Сейчас бежи!

Не успела осмыслить Като этих слов, вдруг перед ней офицер. Нагибается, подает носовой платок, шепчет:

— Бежать надо с площади... не медли, Като!

Като не роняла платка, это сам офицер нарочно уронил свой платок, чтобы, подав ей, сказать незаметней. Как все не взаправду, как будто в театре.

И вдруг Като по кошачьей легкой походке офицера, по спине угадала его — это переодетый вчерашний человек под гранатами. Офицер чуть согнул локоть и, при-

державая шашку на повороте, совсем исчез. Ярко пробелел на согнутом локте распоротый шов, — ну, конечно, мундир брата Серго, который Като не успела зашить.

Сейчас на площади будет страшное...

Като спохватилась, пробежала шагов двести обратно к базару, но что-то сильней страха заставило ее остановиться и ждать.

От государственного банка выезжали на площадь два фаэтона с конным эскортом: кассир и счетчик везли, как обычно, денежный ящик на почту, и, как обычно, молодцеватая конная охрана, заигрывая и гарцуя, вызывала волнение волооких армянок, продавщиц папирос.

Еще стояло перед глазами Като вихрастое белозубое лицо казака, крутившего нагайкой, как вдруг расселась земля и повалилась вся площадь, раздался оглушительный взрыв... много взрывов. В дыму на уцелевших камнях вздыбились кони, и помчались в панике люди с нечеловеческим воплем:

— Землетрясение!

Однако через минуту поняли совсем иное, и крик испуга сменился бешеным воем:

— Экспроприация!

С выпученными глазами, не владея собой, кричали о похищенном денежном ящике!

— Триста тысяч! Пятьсот! Нет, миллион! Держи их, держи...

Площадь оцепили солдаты, немедленно примчался полицмейстер. Военные и присутственные места — все тут близко, на самой охраняемой из площадей.

Вид полицмейстера успокоил толпу. Раненых не было. В крови билась лошадь, ее пристрелили. Присутствие солдат и полицмейстера в полной парадной форме — он только что был у наместника, — его белые перчатки, его ордена, его военные скупые жесты остановили людей, как узда в умелых руках — закусивших удила лошадей. Паника стихла. Экспроприаторам уйти некуда, экспроприаторы будут пойманы. И уж конечно повешены.

И вот уже толпа кричит «ура» полицмейстеру и войскам.

Солдаты мечутся неуверенно, как свора гончих, еще не напавшая на след.

И вдруг след нашелся. К полицмейстеру подлетел, стоя на подножке экипажа, запряженного великолепнейшим карабахом, тот самый офицер, который шепотом приказал Като бежать с площади. Он рапортовал полицмейстеру, одной рукой отдавая честь, другой указывая на подъем в Салалаки, утверждая, что похитители скрылись туда.

В напряженную толпу было брошено слово: «ату!» И свора, подминая друг друга, сшибая солдат, всей лавиной ринулась на Салалаки. Офицер же, выхватив из кобуры револьвер, крикнул своему кучеру: «Гони!»

Отхлынувшая толпа была высоко на холмах. На горных улицах она поголовно обыскивала всех встречных. На опустевшей площади с немногими охранниками остался стоять полицмейстер. К нему подбежал, запыхавшись, охранник. В руках у него был мундир, сброшенный на землю офицером, только что указавшим на след.

— Он налепил себе бороду, вашество... — торопился охранник.

Полицмейстер из бледного стал багровым, схватился за шею, разорвал тугой ворот и, утратив всякую выправку, махнул руками и завопил, как утопающий:

— Догнать его! Взять живым!

Молниеносно разнеслась весть: след был ложно указан, переодетый офицером злоумышленник одурачил властей. Толпа, распаленная неудачей, опять хлынула с гор в тесные улицы, чтобы уже не обыскивать, а растерзать.

Като, вытянув шею, на цыпочках, чтобы дальше видеть, так и вросла в стену дома. Оцепенев, как лунатик, она всей своей силой была вместе с тем, кто умчался в мундире Серго. Она уже знала наверное, кто он. И не удивилась, когда старый Зораб, не спускавший с нее глаз, встав с нею рядом, сказал:

— Не бойся, Като... новый нарт Божирас — твой старший брат Давид — и самого шайтана оставит в дураках. Из тюрьмы бежал раз, убежит два...

1942

ВЕРНЫЙ СПУТНИК

Они шли уже месяц по бурятской степи. Долго ожидаемый новый острог в Петровском заводе, наконец, был окончен, и всех из Читы переводили туда.

Пройти надлежало более шестисот верст, разрешили частые привалы. Минуя казенные почтовые дома, для этих привалов разбивали собственный лагерь из легких бурятских юрт.

Лунину, старейшему из партии, предложено было ехать вместе с Волконским в возке с кожаным верхом. У обоих еще в каземате разболелись старые боевые раны.

По началу продвигались под непрерывным дождем. В закрытом возке, как в памятной тюремной камере, было и тоскливо и тесно. В ответ на чирикание каких-то местных непуганых птиц, пронесшихся совсем рядом с возком, Волконскому вздумалось вспомнить стихи Одоевского:

Птицы! Как вам петь не стыдно?
Вы смеетесь надо мной...

— Я предпочитаю другие стихи, — прервал хрипловатым, но приятным голосом Лунин, — есть и такие: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье...» Поверьте, Волконский, если внешняя судьба человека не зависит порой от его воли, то внутреннее отношение его к событиям этой судьбы *всегда* в его власти. В этом сила человека. И слава тому, кто эту силу помогает крепить, а не превращает в студень...

— Не обижайте моего Одоевского, — мягко заступился Волконский, — он ведь достойно сумел ответить

и на эти необыкновенные строки, которые привезла нам Александрин Муравьева, а вы сейчас процитировали: «Мечи скуем мы из цепей и вновь зажжем огонь свободы!» — разве плохо?

— Однако дождь перестал — пора бы открыть наш возок, — сказал суховато Лунин, не выносивший и намека на жалобу. Он приказал ямщику остановиться.

С легким шуршанием упал мокрый кожаный верх, и глазам путников предстала необыкновенная холмистая степь. День быстро спадал. Солнце только что закатилось, и дымный лиловатый сумрак спешил охватить все кругом. Наскоро разбив юрты, усталые люди уснули...

До места назначения оставалось всего два перехода, и Лунин решил, что даже в случае дождя он больше в душном возке не поедет, а двинется пешком вместе с партией. Вдоволь надремавшись за долгий путь под мирную качку возка, Лунин сейчас не мог спать. Вызванная памятью строка Пушкина, как музыкой подхваченная необъятностью представшей в сумраке лиловой степи, привела за собой все его послание и наполнила сердце волнением и болью.

Лунин встречал Пушкина у Карамзиных, у братьев Тургеневых. Пушкин звал его — «друг Марса, Вакха и Венеры» и заочно восторженно о нем говорил: «Лунин человек поистине замечательный». Они одинаково презирали тот блистательный круг светской черни, с которым невольно были связаны, они с уважением сердечным одинаково любили тот простой русский народ, про который знали, что хотя он «безмолвствует, но *мыслит»*. Обоим знакома была и горькая нужда, и вдохновенный труд, и труд простой, чтобы не умереть с голоду. Они были друзья. Больше того, они были — *ровня,* и при первой встрече они мгновенно угадали один в другом несметные, до конца не раскрывшиеся силы. Пушкин был счастливее — его пламень вырывался гениальными стихами, Лунин со своими никем не понятыми великими государственными замыслами поневоле отдавался дуэлям, чудачеству, озорству... Но его замыслы были поистине таковы, что он имел право сказать с гордостью: «Мысли, за которые приговорили меня к политической смерти, будут необходимым условием гражданской жизни».

Лунин вспомнил, как он вместе с Пушкиным и друзьями-арзамасцами провожал больного Батюшкова за границу. Он увидал, едва подумав о нем, еще молодое, печальное лицо Батюшкова, обрамленное белокурыми вьющимися волосами, его тревожный взгляд, его необычайные голубые глаза. Батюшков надеялся поправиться в Италии, избежать рокового в семье его безумия. Растроганный Пушкин, как бы желая заклясть эту страшную обреченность, подняв бокал, возгласил молодые стихи Батюшкова, которые любил, как свои:

И пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь.

На рассвете Лунин двинулся со своей партией. День обещал быть чудесным. Нога его почти не болела, и всем существом своим ощущал он радость шагать по земле, такой большой, не ограниченной нигде частоколом надоевших казенных строений. Глаз, как на волнах безбрежно широкого моря, отдыхал на зеленых холмистых пространствах Забайкалья. Взошло солнце, и все истомленное тело Лунина помолодело, расправилось среди запахов серебристой полыни и незнакомых душистых трав безлюдной земли. Последний свободный переход перед новым слепым острогом...

Кибитка с Волконским ехала рядом, и Лунин с веселой улыбкой указал ему на Завалишина, шедшего впереди всех. Мелкий ростом, какой-то всегда петушистый, он шагал с высоко поднятой головой в шляпе необъятных полей, в черном самодельном одеянии, как смеялись товарищи, квакерском. В одной руке у него была саженная палка, в другой книга, которую, по своей деловитости, он читал на ходу.

Волконский выглянул из кибитки, забавно выставив свой родовой хищный профиль, которому так не соответствовали большие добрые глаза, и указал, в свою очередь, на Якушкина в детской курточке с отложным воротником. Он, в ботаническом азарте, срывал разные стебельки и листочки и оглашал звучной латынью степные просторы.

Смешно, подумалось Лунину, что вот этот чудесный человек, Якушкин, университетский товарищ Чаадаева, насмотревшись в Петербурге фрунта и шагистики, бывало, негодующе кричал:

— *Они* правят нами, они! А мы-то ушли от них на сто лет вперед!

Вот за эти «сто лет» и шагает сейчас шестьсот верст пешком. Да еще рад, что шагает, а не гниет в норе. А наверху как была, так и есть шагистика.

К вечеру достигли переправы через быструю речку, и Завалишин с Якушкиным, не дожидаясь наводки мостиков, пустились было вброд. Тотчас налетел на них грузный комендант на белом коне и завопил к всеобщему удовольствию:

— Немедля назад! Вам ничего, если потонете, а мне за вас отвечать.

Развеселились. Стали настаивать на раннем привале, чтобы развести костры и спасти купальщиков в вечерней прохладной воде от возможной простуды.

Побега государственных преступников комендант справедливо не опасался. Куда здесь бежать? Но ему предстоял скорый выход на пенсию, а при сдаче поднадзорных в особую заслугу вменялось хорошее состояние их здоровья.

Подводчики-буряты разобрали свои обозы и с особой ловкостью и быстротой разбили для всех юрты: малые, для государственных преступников, в середине лагеря, сбоку большие белые — коменданту и штабу.

Чуя долгую стоянку, ласково фыркали распряженные кони. Широколицые бурятки, поблескивая яркими бляшками на расшитой груди, проворно разводили костры. Вспыхнул, разгорелся огонь, бурятки затянули длинные тихие песни, помешивая в котелках кашу. Осветились и юрты. Входные цыновки были откинуты, и ярко выделялись люди, то сидевшие на ящиках, то лежавшие на траве. Вокруг лагеря стояли казаки с высокими пиками в руках. На пиках играли огоньки костров, казаки протяжно перекликались, держа дозор. Эта перекличка при огнях костров на открытом просторе степи казалась какой-то игрой, а не грустным напоминанием государственным преступникам о их вечном лишении свободы.

— Бессмысленно подумать, — сказал Волконский, разделявший с Луниным юрту, — что после такого приволья нас опять ждет острог, к тому же, как я слыхал, на этот раз он будет совсем без окон. С намерением будто отстроен слепым.

— Отстроен по личному замыслу его величества, — усмехнулся Лунин.

— Комендант очень дорожит мнением наших дам, он по секрету им и признался, заверяя свою неприкосновенность к этой очередной гнусности. Что ж, приготовимся и к слепому острогу!

— И только вспомнить, Лунин, как мы вслед за вами твердили, словно молитву: «свобода мысли, воли и действий...»

— Мысль моя как была при мне, так и есть неотъемлема, — сказал веско Лунин. — Еще посмотрим, как и куда я ее направлю, может, удастся и Петербургу насолить.

И, легко перейдя на прочно усвоенный в ссылке веселый, насмешливый тон, Лунин гибко выпрямился во весь свой высокий рост, засучил рукава и, сжав кулаки, предложил Волконскому пощупать свои мускулы, словно вылитые из чугуна.

— Недаром я сохраняю бицепсы прежней мощности. Эх, на медведя бы, как бывало, один на один, с рогатиной...

И друзья стали вспоминать, по безмолвному уговору минуя недавнее прошлое — крепость, суд, приговор, — те годы юности, полные неуемных сил, когда они, молодые кавалергарды, стояли летом на Черной речке и пугали полицию своими ручными медвежатами.

Вспомнили, как в жаркое петергофское лето командир вдруг запретил купаться в море, измыслив, что публике неприлично узреть свою гвардию обнаженной. И Лунин, при появлении коляски с командиром, прыгнул в воду как был, в полной парадной форме, с кивером и в ботфортах. Отрапортовал:

— Купаюсь согласно данному приказу о приличии.

— А помните, — улыбнулся Волконский, — как восхитили вы полк вашей отповедью государю? После очередной какой-то вашей эскапады Александр надменно вам вымолвил: «Про вас говорят, Лунин, вы не в своем уме...»

— То же самое говорили и про Колумба, — ответил я ему, как пишут в романах, «звонким молодым голосом», — засмеялся Лунин. — А вот послушайте, Волконский, что случилось со мной, когда вы копали руду в Благодатном, а я сидел в скверненшей из тюрем — выборгской. Вообразите, дождь так и хлещет на пол сквозь дырявую крышу, а ревизор-губернатор любезнейше ко мне пристает: «Не имеете ли в чем нужду?» Я указал на лужу и отдал приказ: «Дождевой зонт! Притом экстренно!»

Волконский вдруг насторожился и, слегка отвернув цыновку, сказал:

— Перед нашей юртой толпа бурят с переводчиком. Чего это они?

— Да ведь это ко мне, — поднялся Лунин, — переводчик мне давно говорил, что почитают меня главным преступником и очень интересуются знать, что я совершил. Я обещал им объяснить.

— И мне любопытно ваше объяснение. — Волконский шагнул вслед за Луниным из юрты.

— Уж извиняйте их, — сказал Лунину переводчик, указывая на молодых бурят, сверкавших любопытными узкими глазами, — дети они, как есть, заслышали смех в вашей юрте, залопотали: «веди нас — он сейчас добрый, он уважит».

— И уважу, — улыбнулся Лунин. — Вот скажите-ка мне, ребята, знаете вы своего местного начальника, по-вашему — тойша?

— Знала тойша, все его знала, — поняли буряты.

— Так вот разъясни им, — сказал переводчику Лунин, — что самому главному тойша, который имеет власть всех прочих запрятать в острог, я хотел положить конец. По-вашему, сделать угей, — крикнул по-бурятски Лунин и выразительно провел ребром ладони по собственной шее. Смышленые буряты защелкали языками, одобрительно закивали Лунину и, смеясь, разошлись по юртам, твердя: «Угей... о, угей!»

— Не лишены чувства юмора эти буряты, — сказал Лунин, усевшись на свой ящик в юрте, — отличный народ, умный.

— Экспозиция нашего дела вам удалась, Лунин, — одобрил Волконский, — но спроси у вас буряты, почему

этот угей не удался, вам бы много трудней было ответить.

— Потому, что могла быть и удача, — вдруг побледнев, сказал резко Лунин, — могла. Еще в семнадцатом году я предлагал, и не какой-либо мальчишеский, а вполне ответственный, разработанный план — захватить царя по дороге в Царское Село. Не моя вина, если тайное общество только через шесть лет дозрело до этой моей мысли...

Подвижное лицо Лунина застыло на миг в сдержанной муке, когда он медленно закончил:

— Единственное, что при мыслях о судьбе моей охватывает меня гневом, это то, что я, человек дела, угодил в эту каторгу, как молокосос, за одни слова!

— И слова могут быть делами, — сказал Волконский.

Лунин вспыхнул:

— У кого? Я знаю только одного человека, великого гения русского — Пушкина, у него слова действительно большое дело. Кто с такой силой вдохнул в сонные души надежду на «святую вольность»? Кто нас властно уверил: «взойдет она, звезда пленительного счастья...»

— «И на обломках самовластья напишут наши имена», — подхватил Волконский и взволнованно добавил: — Одних Пушкин пробуждает, других утешает, дает новую жизнь. Какая нам поддержка эти стихи его, привезенные Муравьевой!

Лунин, как бы для себя, вдохновенно продолжал своим тихим выразительным голосом:

— Слова Пушкина были как молния в руках наших вождей юга и севера. Его стихи «Кинжал» и «Вольность» есть чуть не у каждого грамотного русского. И влияние этих стихов и глубже и шире неудавшихся наших усилий! Чье сердце хотя бы невольно не забьется ответным эхом на его пламенный призыв к свободе, против тирании, к торжеству разума над тьмой? И это сказано не только на вчера и сегодня, Волконский, это сказано на все времена. Но поистине надо иметь сердечный пламень и гений Пушкина, чтобы потомством зачтены ему были слова как важнейшее из важных дел. Нам, прочим, надлежали иные свершения... где же они?

— Вам, Лунин, первому из всех суждено было свершить великое, и поверьте слову, мы бы вас уберегли, —

вспыхнул Волконский. — Вы бы сюда не попали, имени вашего никто б не назвал, не будь у Пестеля, как у всех прочих, уверенности, что вы в полной безопасности и переправлены за границу. Ни для кого не секрет была особая к вам любовь цесаревича Константина. И вы находились в Варшаве...

— Цесаревич, точно, настаивал на побеге, — усмехнулся Лунин. — Он сам принес мне заграничный паспорт и дружески пробасил: «Убирайся подобру-поздорову! Братец мой так вцепился в корону, что всем вам, посягателям, — карачун».

— И вы отказались от паспорта... от свободы? — Волконский с восхищением глядел на побледневшее прекрасное лицо Лунина.

Лунин просто сказал:

— Разделяя убеждения уже арестованных товарищей, я считал справедливым разделить их участь. А перед Сибирью, Волконский, я отпросился на охоту, цесаревич поверил моему слову, побегом я бы теперь уже мог его подвести, он отпустил меня на три дня. И поохотился ж я напоследок. Вернулся, как сказал, и прямо в объятия к фельдъегерю! — с былым удальством закончил Лунин.

За юртой раздалось чье-то почтительное и настойчивое покашливание. Лунин крикнул:

— Кто там топчется? Дело есть — входи.

Молодой караульный офицер, особенно почитавший Лунина, вошел тихо в юрту. Протянув мелко сложенную газету, он значительно сказал:

— Нарочный из Читы еще утром привез коменданту.

Лунин пробежал газету, вздрогнул. Темные глаза его вспыхнули, румянец залил бледное лицо. Он в волнении вымолвил:

— Волконский, во Франции революция! — и выбежал с газетой из юрты.

Это была революция 1830 года. Товарищи собрались у отдаленного костра. Тесно сгрудились над газетой. Каждому собственными глазами хотелось прочесть необычайную весть. Слышались отрывистые, восторженные возгласы: «Баррикады... трехдневное народное восстание... Вся Европа взволнована!»

Лунин сдержанно, с глубокой силой сказал:

— Дайте срок, дело свободы подхватит весь мир, — и тихо добавил: — Какой счастливый сегодня день! Недаром всю дорогу незримым спутником я ощущал Пушкина. Недаром как музыка, рожденная этим простором, этой необъятностью, звучали в сердце моем дивные строфы:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Молодой караульный офицер деликатно тронул Лунина за рукав и указал на исправника, подходившего в сопровождении какого-то купца. Словно ворочая булыжники, он предупреждающе вымолвил непривычные французские слова:

— Парле франсе!

Все невольно расхохотались.

— Спасибо, что напомнил, — воскликнул Лунин и грянул хриплым, но все еще мощным голосом «Марсельезу».

1949



СКАЗКИ

ИНДИЙСКИЙ МУДРЕЦ

В дремучем лесу сквозь изумрудные сети лиан луна чуть серебрит корни огромных деревьев.

Спят, напрыгавшись, обезьяны. Перестали порхать попугаи, подвернули зеленые головы под красные крылья — угомонились.

Слон давно уж направил тяжелые шаги к своему дому.

Полосатый тигренок похрапывает, как сытый домашний кот.

На больших серых камнях, близко один к другому, сидят люди, скрестивши поджатые ноги.

Они так исхудали, что кажется, темная кожа прикрывает одни заостренные кости. Уже много лет сидят они неподвижно, воздев к небу руки, выкликая бескровными губами: «Брама... О Брама! Великий...»

Десять тысяч раз в день положили они себе называть имя главного бога и только однажды, рано утром, опускать помертвелые руки, чтобы проглотить тридцать зерен вареного риса и сделать глоток из долбленой маленькой тыквы.

Шаловливые обезьянки то и дело укатывали желтые тыквы, но люди соседней деревни, почитая отшельников за святых, наперерыв приносили им новые.

Птицы не пугались поднятых рук и, случалось, свивали гнездо в сведенной, как чаша, ладони. И тот, кто сменял воду, клал уже сам тридцать зерен пустыннику в рот.

Все заботы о старцах жители поделили между собой и, как дети, нередко ссорились, чей отшельник сидит дольше на камне, кто вывел больше птенцов на иссохших ладонях...

Но как ни чтили в деревне худых старцев, никому не пришло на мысль бежать к ним с своим горем, смущать их покой.

Старцы сидели так неподвижно, что люди забыли считать их живыми.

И только одна, обезумевшая Суджита, посмела покрыть диким криком мерный шепот молитв.

Но ведь с ней приключилось такое, что она уже не видела блеска прекрасного солнца, а всех уверяла, будто небо сплошь заткано черной, густой паутиной.

Суджита на зеленом дворе около дома погружала в жбаны с горячею синею краской ею же тканное полотно, а единственный мальчик ее играл у забора под цветущим кустом.

Обернувшись с ответной улыбкой на веселый смех сына, Суджита вдруг увидала, как, словно живая, вытянулась одна из темных ветвей, чуть коснулась, поцеловала мальчика в лоб, и он, еще улыбаясь, упал без движенья.

— Он ужален кустарной змеей, а ее яд страшней яда кобры, — шептали соседи, сбежавшись на крик Суджиты.

Долго мать согревала горячими губами синие губки ребенка: не хотело понять ее сердце то, что видали глаза.

— Я пойду к старцам, — прояснилась надеждой Суджита, — они ведь святые, святые всё могут... Они мне разбудят малютку!

— Безумная! — закричали соседи. — К старцам близок сам Брама, их тревожить нельзя!

Но Суджита побежала к священному месту с окоченелым малюткой в руках.

Она не спугнула в своем легком беге даже чутких, словно драгоценные камни сверкающих бабочек.

Только маленькие обезьянки закрылись морщинистыми, как у старых женщин, руками, защищаясь от холодного ветра ее покрывала.

Но вот и большие деревья... Кольцами удава извиваются черные корни...

Луна уж совсем пробралась сквозь лианы, и дрожат серебром листья манговых пальм.

Бронзовыми изваяниями сидят старцы в белом свете луны.

Все до последнего видны ребра, чуть раздуваются в редком дыханье.

— Брама... О Брама! Великий... — шевелятся блеклые губы.

— Отцы, помогите!

Ни один не прервал свой размеренный шепот, ни один не поднял век, прозрачных, как перепонки летучих мышей.

— Вы только взгляните, как прекрасен мой спящий малютка! Отцы, опустите воздетые руки на черные кудри уснувшего, попросите великого Браму его разбудить!

Но не дрогнули воздетые к небу, как черные сучья, сведенные руки.

— Отцы! Вы не люди! — закричала Суджита. — Вы даже не звери... И тигр пожалел бы меня, растерзав... освободил бы от страданья. Вы хуже деревьев: деревья хлестали меня по плечам, отвлекали от мысли, съедающей сердце... А вы! Даже не подняли век... Вы просто камни, как те, на которых сидите.

И, уже не надеясь на чудо, Суджита вернулась в деревню и сложила погребальный костер для малютки.

С последними струйками синего дыма навсегда вышла она из опустелого дома.

Шла она долго, шла она много дней, а от своего горя уйти не могла.

Оно шло с ней рядом, не отставало.

Изнемогла Суджита, села у пыльной дороги, закрыла глаза, не хотела вовсе смотреть. Все ей делало больно. Лучи восходящего солнца разбегались по небу, словно сверлящие душу мечи.

Она вся дрожала, как заблудившийся путник во время дождей: весь холод из тела малютки перешел в ее сердце.

. . . .

— Женщина, зачем так скорбеть? — сказал голос, нежный, как звон тетивы.

— Женщина, разве уж все перестали петь птицы?!

— Разве все губы детей без улыбки?!

Перед Суджитой стоял человек в желтой одежде странствующего монаха — бикшу.

Его глаза посмотрели ей прямо в сердце с такой теплой лаской, что распалась на нем ледяная кора и росой подступила к глазам.

Прорываясь, уносилась слезами черная паутина, заткавшая небо, и, словно омытое, улыбнулось вновь солнце.

— Дорогая сестра, я могу облегчить твое горе, — продолжал незнакомец, — обойди двадцать дворов в той деревне, что видна за зеленой горой, и спрашивай везде только одно: «Дайте мне несколько зерен горчицы!» И если найдешь такой дом, где никого не коснулся мечом бог смерти Шива, то принеси мне сюда эти зерна.

Быстро, забыв утомление, вскочила женщина, побежала в деревню, еще быстрее вернулась.

— Такого двора не нашлось, — сказала она, — горчицу давали охотно, но горьких утрат у всех было больше, чем маленьких зерен на моей ладони.

— Заметила ль ты, сестра, как одинаково у всех людей дрожат губы, когда они вспоминают о горе, как одинаково, словно незрячие, потухают живые зрачки?

— Я думала только о том, чтоб облегчить свое горе, зачем мне было смотреть на чужих? — удивилась Суджита.

Человек в желтой одежде с тихой грустью поник головой и, помолчав, промолвил:

— Женщина, ты очень плохо искала, пойди еще раз.

— На ногах моих чуть держатся сандалии, посмотри, как распухли... — сказала Суджита; но так как душа ее все-таки болела больше, чем тело, она снова пошла, но, вернувшись, без слов повалилась на землю.

— Много ль обошла ты домов? — нагнулся над ней человек.

— О, я не вынесла больше пяти, — простонала женщина. — Опять везде давали горчицу, но как только я спрашивала: «Не умер ли кто, близкий сердцу?» — они столько боли вплетали в слова, их слезы так выедали мне душу, что мне показалось — они говорили о моей же утрате. Ах, господин, зачем научил ты меня смотреть на лица людей?!

— Сестра моя бедная, — такой дивной грустью пожалел незнакомец, что цвет миндальных деревьев упал на

Суджиту. — Сестра моя милая, — еще раз повторил он, — сейчас ты искала гораздо лучше, собери свои силы для третьего раза, поверь мне — уже близко зерно, что поглотит навек твое горе.

Безмолвно, как бегущие тени деревьев, вновь скрылась Суджита за зеленой горой.

Вот уж солнце пошло умываться в священную реку, утомившись само своим жаром.

Вот уж остыл накалившийся за день песок, и человек в желтой одежде порадовался, что женщина снимет сандалии и ей будет легче ступать по земле. Но Суджита не шла.

И только когда выбежали на небо первые, самые любопытные звезды, она показалась из-за зеленой горы.

Незнакомец поднялся и, светлый, пошел ей навстречу.

— Я не пошла дальше первого дома, — быстро заговорила Суджита. — Там, на полу, я увидала калеку-ребенка, отец его пьяный валялся на улице, а мать несколько дней как сожгли. Я все время возилась с ребенком. О, если б ты видел, как он был грязен.

— А зерно горчицы ты, конечно, спросила? — улыбнулся, как добрый отец, незнакомец.

— Подожди... ребенка надо было мыть... но вода не согрета, корыто одно, в нем едят свиньи... я побежала к соседям...

— Ты, конечно, спросила о зернах?

— Представь, я забыла... Я прибежала просить у тебя, не дашь ли ты что для ребенка? В деревне все так бедны, не нашлось даже тряпки, а ты такой добрый.

Блаженный Будда — так как это был он, самый мудрый из всех мудрецов, — снял с себя верхнюю желтую одежду, отдал ее женщине, а сам остался в одной длинной полотняной рубахе.

— О женщина, только забыв о себе, ты нашла для себя утешенье.

И, подняв благословляющие руки над всей землей, улыбаясь распустившимся лотосам, тихий мудрец пошел дальше.

1908

М. Горькому

МЕДВЕДЬ ПАНФАМИЛ

I

Когда Панфамил убежал от своего хозяина, шестилетний Фомка сидел у него на плечах и визжал во все горло от радости. Вышло все совсем так, как он думал. Давно обвыкший, добрый медведь, как всегда при встрече, облизал его щеки красным пламенным языком, и все время, пока Фома, насупив брови и сопя во всю мочь, прилаживал к замку медвежьей цепи украденный ключик, Панфамил на всю комнату чмокал сахар. Потом мальчик вскарабкался медведю на шею, обнял за щеки двумя руками, пришпорил бока крепко пятками и поехал.

Сначала, словно генерал на смотру, важным, медленным шагом по комнатам, потом мелкой, опасливой рысью в ворота и неудержным галопом в неоглядную чащу Чернокутного темного бора. Там Панфамил осторожно стряхнул обомлевшего Фомку, облизал его сверху донизу и стал считать своим собственным медвежонком.

Научил Панфамил Фому лазить на дерево до самого неба. Научил, как выискивать сладкие корни, как выбираться обратно в берлогу по разным приметам из непролазного лесного малинника. Только одно: на двух ногах очень долго стоять не позволял, обижался. То и дело опрокидывал лапой, чтобы, как правильный медвежонок, больше двигался четырьмя.

Хорошо провел Фома лето, куда веселей человечьего: пищи — ешь сколько хочешь, и все на подбор, самой вкусной. Землянику с черникой будто кто-то на всех ба-

зарах скупил и в Чернокутный бор разом высыпал. От черники хоть рот и делался черный, как печная труба, а барыни такой нигде в лесу не видать, чтоб приставала к Фоме зубы чистить. И меду на выбор: темный, удушливый, цветов гречихи, или липовый, как густая смола.

Медведь не по книжке, а сам собой, наизусть обо всем ведал.

А поспели орехи — пошла потеха, стали белки притаскивать их в огромнейших лопухах. Старая ежиха поскрепляла их ежовыми иглами. Только и дела в ореховый сбор Панфамилу: шустрых белок на мохнатой ноге на березу подкидывать, а они к нему сверху обратно на другую ступню нависают. Он их снова... и так разов до ста, все смотря по тому, кто сколько орехов поставит.

Фомка живо нагнал типунов полон рот, — так нащелкался. А медведь испугался, стал язык ему медвежьим салом скорей смазывать. Из своей лапы надавливал.

И вот к осени Фома омедведился. Стал жить с зверями — звериной жизнью. День они все начинали по солнцу, какое бы оно ни влезало на небо из-за дальних пригорков: кутаясь в белые ватные простыни, как из ванны, или яркожелтое, будто яичный неразбитый желток от неслыханно крупной курицы. С появлением его зоркого глаза на небе каждый зверь навострял уши и знал уже сам, без указки, что кому надо делать.

Панфамил с Фомой вечером шли на большую поляну. Медведь, опрокинувшись на спину, задирал кверху лапы, зайчики на них становились все четверо, а пятый — уже посреди живота. Фома кричал громко: «Скок в четыре угла». Зайцы, как барышни косами, хлестали свои спины ушами, летели стремглав с медвежьей ноги на другую, сшибались мордами, путались в Панфамиловых космах. Жуки-олени, выбрав песчаное место, бодались до последней возможности, пока один другого на рога не вздымал. Червеедка-ежиха всю шестерню еженят за собой на луг волочила, дома покормить удосужиться никак не могла.

В последние сумерки перед темной ночью выходили из цветов хорошие запахи, все в зеленых чулках, и водили Фому по туманам. Запахи научали ни о чем ровно не думать, а быть как семечко одуванчика. Фома любил веселиться, а потому легко всему верил... Взявшись за

руки с хорошими запахами, он, как по спинам волнистых баранов, карабкался по воздушным лестницам. С тяжелых болотных туманов на легкие, надполянные. С надполянных — в надлесные.

Если аист еще стоял на ноге, пока аистиха лягушками кормила аистят, он приветливо щелкал Фоме: «Просим милости, загляните в гнездо». Фома ловко прыгал с туманов на верхушку сосны и по-турецки, под себя вобрав ноги, усаживался в круг прожорливых аистят. Аистиха из любезности и ему предлагала лягушку, но Фома неизменно уступал ее младшему, чем старый аист был очень доволен.

Когда Фома хотел спать, аист выщелкивал сигнал Панфамилу. И где бы ни был медведь, он непременно слыхал. Лез на дерево, вызволял своего омедведыша. На себе приносил загулянку домой, пихал мордой в угол, притыкался к нему мягким боком, и спали.

Так и прожили: от ягод к орехам. От орехов к огородному сбору. Дождались гороха, морковок и полосатых арбузов. На пустопорожнем куске за селом чего-чего мужики не насеяли!

Все бы шло как по маслу, если бы не зима. Как ударили холода, закручинился Панфамил. У него к зиме сама собой шуба густела, а мальчишка хоть бы пухом оброс. Все по-летнему, как яйцо гладкий, одна кожа пупырится с холоду. В штанишки дует, от них за целое лето одни клочья мотаются... Первая выпала Панфамилу задача, как от холода Фому защитить. Несколько дней беспокоился, терся лбом о березу, припоминал, как одеваются люди. И однажды, уставясь в свою мохнатую шкуру, припомнил. Такая-то ободранная висела у хозяина на стене. Когда за окном наметало сугробы, хозяин снимал с гвоздя шкуру и, обернув на себя мехом внутрь, шел на улицу.

«И все-то у них с обманом, — презрительно думал медведь, — со зверя сдерут, сверху гладким обтянут, и как будто своя...»

Тяжело, медленно ворочал мозгами старик Панфамил, но зато, что поймет, непременно уж сделает. Так и тут: разослал белок за полевыми мышами. Зоркому кобчику дал склевать двух глубоко ушедших в заднюю ногу клещей. Даром что знал — норовит кобчик с мясом вы-

хватить. На все решительно шел Панфамил ради мальчика.

В один миг рассмотрел на окраине кобчик подходящую пушистую падаль. Волчонка охотники пристрелили. Языками пошли воробьи стрекотать, по приказу медвежьему мышей на работу сгоняли. Мыши огрызли ожерельем вокруг волчью шею и от глотки до самого низа протянули аккуратно по шкуре дорожку, чтобы медведю сподручнее было ее обдирать. Как только Фома надел шкурку, червеедка-ежиха вмиг ее посередке скрепила молодыми неломкими иглами, что надергала из провинившихся малых ежей.

Теперь от Фомы пошел дух хороший, совершенно лесной, и все звери от малого до великого с ним побратались... Но как ни любил медведь мальчика — одно знал наверное: нельзя мальчику человечьи слова забывать, нельзя ему в лесу зимовать. Свести его надобно к людям. Как подумает об этом, опустит голову, закручинится старый медведь и пойдет усердней Фому зализывать.

Наконец с первым снегом скрепя сердце решился. Раным-рано, чуть запахи, утомившись ночными гуляньями, вновь полезли в цветы, Панфамил растолкал Фому теплой мордой. Сам нащелкал орехов, чуть не удушил, столько сразу за зубы упихивал. Накормил лучшим медом, а сам не поел. Открыл было рот, чтобы хорошенько куснуть, да из лап соты выронил. И завыл очень жалобно...

Однако скрепился, тронул лапой Фому и повел за собой из берлоги. Как дошли до последних овсов, примыкающих к самой усадьбе, медведь сунул мальчику в руку пребольшую морковку и, тихонечко воя, будто в каждой лапе засела заноза, повернул к Чернокутному бору. И побежал восвояси, не озираясь на мальчика.

II

В большом белом доме с колоннами проживала помещица Помидора. Было у нее имя, была и фамилия. Но как прозвал один шутник: Помидора, так и осталось. Очень уж подошло: румяная, всегда веселая, то и дело варенье варит, грибы маринует или еще что-нибудь. Без

дела никогда не сидит. Любит, чтобы все у нее было на месте и под своим названием.

Вот когда шкаф большой для провизии заказывала, то день-деньской на бумаге ящики перегородками решетила, чтобы ни один из припасов без своей собственной клеточки не оставался. Есть такой один вроде апельсиновых зерен: кардамоном его называют. Это из-за него выборгский крендель так вкусно пахнул. И хоть этого кардамона на весь год меньше фунта выходит, Помидора и ему уделила квадратик.

Она не любила, чтобы зимой была оттепель и в мае хватал зеленя лихой утренник. И не только потому, что убыточно, а не по календарю. Детей у Помидоры вовсе не было, и когда стала старая, она очень соскучилась.

Вот почему, когда старичок повар притащил к ней волчонка с человечьим лицом, иначе говоря — Фому в волчьем мехе, Помидора обрадовалась и сказала: «Волчью шубу сдери да в помойницу, самого в бане выпари, и пусть живет в комнатах».

Сразу Фоме даже очень понравилось. В бане вытерли докрасна. Кушать дали, и после лесных сладостей все по-старому вкусные вещи: свиные уши, хрящами да жиром насквозь прошедшие, и вареники со сметаной. И когда теплый суп полился по душе, так вдруг стало приятно, как бывает от радости. Душа у Фомы помещалась по самой середине. Она темечком упиралась в его темя, а ноги свои, как в чулки, вставила всей пятерней в его ноги.

Вечером Фома очень скоро понял, как ему Помидора приказывала, стоя перед ней на коленях, раскорячивать руки, чтобы ей удобнее было сматывать шерсть. Теперь уж нельзя было не видеть, как сильно он в лесу омедведился. Разговоры хотя скоро стал понимать, но самому говорить было лень, да и скучно. Привык, что звери и без слов понимают и как раз то, что нужно, а люди под одним словом каждый свое разумеет.

— Как держишь руки, как? — высоким голосом кричит Помидора, распирая его ладони, пока шерстяные качели не станут тугой, ровной полоской, как проволока на телеграфном столбе.

— Так, так, — прибавляет она одобрительно густым, успокоенным голосом.

А Фоме сейчас видится, что слово «как» — это высокий тоненький гриб на выжженном солнцем пригорке, а «так» — такой вкусный крепыш боровик, сидит в ямке, зеленым мохом обложен, а над ним переспелая земляника.

И очень долго совсем дураком он пришептывал: «как так, так как...»

Но к весне Фома сильно соскучился у людей. Научился всему, что кругом него делали, и опять его в лес потянуло. В лесу добрый медведь на каждый день самое главное выбирал — только выполни. А тут люди нарочно дела придумывали, и так много, одно за другим, а играть уже некогда. Помидора никогда не играла. Утром с ключами она бегала по кладовым, ворочала припасы с места на место, потом холсты мерила, а шить из них ничего вовсе не шила. Так большими тюками все опять назад девки стаскивали. Но больше всего, без конца, целыми вечерами, мотки мотала. Как разноцветные апельсины, они в просторных комодах давили друг друга. А для вязанья хорошо, если моток на день приходится.

Перезимовал Фома у помещицы туда-сюда, ни хорошо, ни худо, а как в форточку весной потянуло, стал опять понемногу медведиться. Шерсть мотать не идет, под диван лезет. Со всех сторон подоткнется, чтобы сделалось темно, как у Панфамила в берлоге, и ревмя ревет. Очень в лес ему хочется. Много раз бежать ночью надумывал, да к окну подойдет и раздумает. Белым-бело еще от снегов, чуть только стаяли. Ни звезд, ни луны, небо — дикого коленкору. А в случае синее и от звезд глазастое, не все ли равно? Где пути, где тропинки, где заметки жилья Панфамилова?

Белка не выскочит, кроту-седохвосту на двор еще слишком холодно, даже дятел примет не сдолбит. Мертвым сном до весны отдыхают лесные, пока солнышко не разбудит. Это у людей без порядка круглый год неугомон все идет.

Затосковал как-то особенно раз Фома и пошел по всем комнатам: не слыхать ли где, как лес шумит. Пригибал ухо к темным углам, животом приникал к половицам, оттянул тихонечко веревочку душника — ничего, кроме черных слежавшихся хлопьев.

Наконец, расшарившись, носом ткнулся в огромную пятнистую раковину. Прижал ее невзначай к уху и услыхал шум и гудение, как от теплого ветра в густом лесу.

Омедведыш себе не поверил: целовал раковину в гладкую выгнутую спину, пробовал пальцами и языком к ней пробраться в средину, но разворачиваться она не хотела, только язык ему чуточку нарезками розоватых краев придержала.

Фома пошел спать вместе с раковиной и все время, пока не заснул, слушал в ней лесной шум, а к утру ему приснилось, что Помидора вышла замуж за Панфамила.

«Все бы вместе и жили, — проснувшись, размечтался Фома, — зимой в большом доме, а летом в лесу. Только Панфамилу одежду приискать очень нужно. Так, как он ходит в лесу, здесь ему ходить совсем неприлично».

Между тем время близилось к пасхе, и особенно сильно несло с кухни поджаренным постным маслом.

Помидора пошла с Фомой в последний раз приложиться к выставленной плащанице.

Хотя на дворе еще можно было играть в орла и решетку, в приземистой сельской церкви было совершенно темно. В узком окошке под Николай-чудотворцем продернулись в небе две яркокрасных дорожки зари.

И, взглянув после них в темный угол, Фома чуть что не вскрикнул. Ему почудился вставший на ноги Панфамил. Но, вослед Помидоре подойдя к старику с восковыми свечами, он рассмотрел, что огромный в углу был не кто иной, как великан управляющий графским имением. Он приехал встречать заутреню и, как всегда, собирался переночевать у помещицы в доме.

Управляющий опустился земным поклоном и выставил на Фому две аршинных подошвы.

«Вот с кого одежда подойдет Панфамилу», — вмиг прикинул Фома и задумался. Вечером, когда управляющий пошел в отведенную ему комнату ночевать и за дверь вынес платье для чистки, Фома живо стянул его брюки, меховую курточку и башлык.

Помидора со всеми прислужниками по первому звону, подоткнув свои юбки, отправилась в церковь, а Фома проскользнул с украденным тюком к большому дуплу, упи-

хал туда вещи и во весь дух пустился к медвежьей берлоге.

По оттаявшим черным кустам, по знакомым камням и другим, теперь видным приметам он без запинки пробрался к Чернокутному бору.

III

Зимний сон Панфамила удался как нельзя быть. Снилось ему, что кто-то угощает его на подбор чистыми сотами, без единой мертвой пчелы, а заслуженные вороны чистят ему шубу. И так успокоенно ему было, как будто в детстве, под матерью-медведихой. И чудилось: омедвеженный мальчик тут рядом и совсем никуда уже больше не рвется, знай себе наедается земляникой...

Но вот пошли таять снега, поползли ручьями, мелкой сетью разузорили землю, прозмеились к Панфамилу в берлогу. Захолодало у него в ушах, защекотало в носу, пошел он чихать и прочихиваться. От частого чоха прикусил лапу, как пчелой ужаленный вспрянул и вдруг пробудился.

Сейчас пошел шарить своего омедведыша, нет его: ни меж лапами, ни по темным углам, ни в кладовой, где до последнего все как есть корни целы. Вспомнил все Панфамил и завыл.

Истомился, весне не рад. Тут ему, выходит, себе жену-медведиху присматривать, а свое, звериное больше не нравится. И медвежат заводить неохота: чему звери раз научились, то уж всегда одинаково делают. А мальчуган норовит все по-разному, и хотя иной раз за ним мудрено усмотреть, а забавно.

И понятно, что когда вдруг нежданно-негаданно в пасхальный вечер в берлогу просунулась человечья калоша, а за нею сам Фома, Панфамил зарычал на весь лес в сильной радости и так крепко прыгнул, что головой проскочил сквозь кротами налаженный потолок.

— Больше с тобой не хочу разлучаться,— целовал омедведыш медведя.— Панфамилушка, золотой мой, женись на помещице, тогда будем все летом медведиться, а зимой жить в хоромах.

Панфамил терся мордой об мальчика и, хотя не умел думать четко, как люди, понимал все не хуже иного.

— Панфамилушка, выходи, сейчас служба. Ночью станешь около Помидоры, ночью в церкви, должно быть, темнее, чем днем, батюшка не рассмотрит и как раз тебя обвенчает.

Медведь улыбался и, как маленький, шел послушно за мальчиком. Был небольшой морозец, но совсем добрый, даже щеки не щипал. На прощанье в последний раз он сковал тонким льдом придорожные лужи. И Панфамил с каждым разом похрустывал, словно шел по яичным скорлупкам. Небо будто бы отдыхало. Без труда лили звезды свой свет. Из облаков уже никто не сновал больше без толку. Луны вовсе не было, видно она суетилась, отправляя последние куличи прямо в солнце.

От лесных проталин, с большой дороги тянуло праздничным духом, слышно было, как готовятся к заутрене птицы. Как заяц с зайчихой, послюнив лапки, помадят друг дружке вихры.

Панфамил так вдруг растрогался, что застыдился себя самого. Застыдился, что грузный, что столько ему необходимо сожрать, чтобы быть сытым... Он уставил в небо свои добрые карие глаза и, боясь задавить кого-либо из самых маленьких, пошел вдруг на цыпочках.

Как зачарованный подходил Панфамил с омедведышем к освещенному храму.

Далеко выкинуты были лари. Бабы, все до одной в красных новых платочках, стерегли куличи, у которых в средине была проделана выемка для принятия святости.

Фома задержал Панфамила в кустах. Из дупла с трудом вытянул тайный узел, натянул медведю шаровары, закрутил в башлык голову и просительно зашептал:

— Вскинься на ноги, Панфамилушка, крестный ход.

Крестный ход двигался медленно, мужики страшно вскидывали волосами, усердные бабы молились:

— Матерь божия Иверская, Казанская, Козельщанская.

Осторожно протискиваясь к певчим, выставляли вперед узелки с разноцветными яйцами. Мальчики, отмытые в бане так, что носы их казались покрытыми лаком, вдруг

смолкли и с радостным перепугом воззрились на регента. Учитель Аким Иванович всеми легкими вобрал в себя дух, удержал его сколько мог и, внезапно плеснув руками, густым звоном грянул:

— Христос воскресе!

— Христос воскресе... — залились колокольцами чистые мальчики, и громко, с облегчением, вздохнули бабы:

— Воистину!

В это самое время перед крестным ходом произошло чрезвычайное. Батюшка в светлой ризе, с расчесанной бородой, приняв медведя за управляющего графским имением, поклонился ему, как знакомому, на особицу. Дьякон следом за батюшкой подбросил кадило прямо в нос Панфамилу.

Панфамил до того вдруг растрогался, увидав, что люди его не пугаются, не отличают совсем от своих, что не выдержал, опустился на четыре ноги и завыл умилительно...

Меховая куртка, не вдетая в рукава, соскользнула, суконные шаровары как ни были добротны, а лопнули, и обозначился явственно пушистый коротенький хвост.

— Авоиньки, нечистая силушка! — заголосили бабы и покрылись подолами. Разметали разноцветные яйца. Народ весь шарахнулся по кустам, и кто-то, первый опомнившись, кинулся с криком:

— Ой, воры, держи!

Фома, ровно белка, взвился на медведя, дернул за ухо и шепнул:

— Выноси, Панфамилушка.

Панфамил встрепенулся. Вдруг припомнил железо в губе, холод, проголодь и, смахнув одним махом башлык, полетел, как мохнатая бомба, в берлогу.

По дороге он с удовольствием потерял и куртку и штаны управляющего и раз навсегда порешил, вместо того чтобы самому человечиться, лучше брать в лес на лето Фому.

Пусть медведится.

1909

Диме Форш

ДУХОВИК

I

Кухаркин сын Ганя хотя не умел ни читать, ни писать, был все-таки очень умный. Он все выдумывал из одной своей головы, которая сидела у него на узких плечах большая-пребольшая.

— Котел-голова! — говорила о ней кухарка Плакида, мать Гани.

Игрушек у Гани не было, в «чистые комнаты» пускали его неохотно, и поневоле принялся он высматривать да выведывать все, что в кухне находится.

Вот принесет утром кухарка Плакида корзинку с базара, поставит на стол, а сама пойдет с нянюшкой тары-бары-растабары — позабудет и думать о своей корзине.

Тут Ганя подкрадется и выхватит все самое интересное: морковку большую с наростами по бокам, будто с детками или с пальцем-мизинцем; хрен жилистый, у которого два глазка, да не рядком они, а глазок над глазком, и мало ли еще что!

Но удивительней всего было то, что в громадных венках толстого рыжего лука, развешанных по стене в кладовой, Ганя знал, как ему выискать луковку-Двоехвостку.

Эта Двоехвостка была луковка не простая, а волшебная.

По виду ничего не скажешь: все самое обыкновенное, луковое, только два ровных зеленых росточка торчат, отсюда и прозвание ее — Двоехвостка.

Если на эти ростки насадить по сырой макароне, чтобы походило, будто луковка стоит на ногах, и положить ее на ночь в духовой шкаф, то в полночь дверцы сами собою расхлопнутся, и в Двоехвостке окажется Духовик.

Переходя вместе с матерью из одной кухни в другую, Ганя узнал наверно, что в каждом духовом шкафу живет Духовик.

Днем в этом шкафу пекут пироги с капустой, с визигой и с рисом, а по воскресеньям — воздушный пирог, тот самый, за который часто бранят кухарку, будто она дала ему убежать.

И это знал Ганя: пироги убегать не умеют, они безногие. А если сидит пирог в печке пышный да рыхлый, а как вынут его — одна черная корка на сковородке, это значит, все вкусное выел сам Духовик.

Ганя думал сначала, что Духовик в каждой кухне разный: где часто делают сладкие пироги — толстый, где редко — худой. Но потом он узнал, что Духовик никакой. У него самого нет ни рук, ни лица — один дым печной, оттого-то и следует класть ему Двоехвостку.

Он войдет густым дымом в луковку, из макарон, будто черные сапоги, выставит комки сажи, дверцы раскроет, прутиком хлопнет: раз, два! А в прутике колдовство. Прутиком делает Духовик превращенья: кого хочешь с кем хочешь обменит.

Если с мышкой, вползешь в мышиную норку, если с блошкой, вздохнуть не поспеешь, запрыгаешь! А с клопом поменяешься, клопомора не бойся — не помрешь.

Если и брызнет, случится, — вскочит прыщик, вот и все.

Одно условие в кухне: быть всем без обмана.

Сколько договорились сидеть в чужой шкурке, столько времени ты и сиди, отдыхай! В кухне все честно разменивались.

У котика Ромки, случалось, животик заболит, на улицу ему бегать холодно, он и ластится к Гане:

— Я в постельку хочу, компресс теплый, микстуру... а на небе ракеты пускают!

Знает хитрец, чем мальчишку поддеть! Чтобы ракеты смотреть, Ганя ночевать готов где угодно.

Вот и сменятся, *превращенками* станут: мальчик — котиком, котик — мальчиком, и довольны.

Обо всем кухонном, что знал мальчик Ганя, знал и Петрик, хозяйкин племянник. Петрику очень хотелось с кем-нибудь обменяться, но с прусаками, клопами и блошками ему было противно, а котик Ромка ни на один день не желал превращаться в хозяйского мальчика: боялся зубной щетки и французского языка.

II

Барыня, которую Петрик звал попросту «тетя Саша», куда-то съездила по железной дороге и привезла, вместе с грибами, вареньями и соленьями, настоящего ручного зайца.

Заяц сидел на полу в кухне не двигаясь, длинноухий, будто бы не живой, а сшитый из мохнатой материи, из какой делают медвежат.

Тетя Саша, добрая старая дама, звеня на ходу длинными серьгами, поставила зайцу блюдечко с молоком и прошла дальше в комнаты. Заяц дернул раз, два плоским носом, задрал кверху уши и стал очень похож на осла.

Петрик с Ганькою засмеялись, а заяц как хлопнет на них изо всей силы задними лапами и марш к молоку.

Но вот увидал кота Ромку, попятился.

Кот Ромка, задрав кверху ногу, искал в хвосте блох, а со стороны похоже было, будто он играет на виолончели.

«Как тут зверей перекручивает, уж не от этого ль молока!» — подумал с опаскою заяц.

А кот словил блоху, раскрутился и сердито сказал:

— Пей, дурак, а не то выпью я.

Кот сказал не по-кошачьи, а по-звериному вообще, так что заяц его сразу понял. Он пригнул опять уши к спине и окунул поскорей в молоко всю морду с седыми усами.

Ганя и Петрик молча гладили зайца, щупали ему хвост и холодные ушки. Когда заяц втянул последнее молоко в свое пушистое горло, кот Ромка вытер его блюдце шершавым своим языком и сел в сторонку.

Кот вытер блюдце из вежливости, потому что считал себя в кухне хозяином, а зайца гостем.

Но все же, чтобы заяц не зазнавался, кот ему сквозь зубы смурлыкал:

— Будешь съеден в сметане!

— Брысь, негодный! — закричал коту Ганя, который отлично понимал по-звериному. Он швырнул в кота старой катушкой, а зайца взял на руки.

— У меня мама вдова, — сказал грустно заяц, — она с перешибленной лапкой, а папеньку съел мужик. Зимой маме с голоду пропадать!

Ганя задумался и спросил:

— А далеко к маме сбегать?

— Куда далеко! — обрадовался зайчик. — Сейчас за городом лес, за лесом поле, за полем речка, за речкою хутор, за хутором ляды, вокруг пенышек земляника, под земляникой нора, в норе моя мама.

— Землянику поди-ка теперь посвисти! — насмехался Ганька. — Клюкву, и ту поморозило. Поститься, брат зайчик, всю зиму твоей матери Серохвостихе!

Заплакал зайчик, просит:

— Отпусти меня!

— Отпустим его, — догадался и Петрик, — что мучить!

— Пропадет с голоду, припасу у них никакого, а зима на носу, — раздумывал Ганька. — Вот обменяйся с ним, Петрик, да снеси-ка маме его, Серохвостихе, всякой штуки: капусты, моркови, кореньев, — тогда и его домой пустим.

Петрик даже пискнул от радости:

— Наконец поживу в чужой шкурке, своя так надоела!

— Нынешней ночью и вызовем Духовика, четверо нас, — сказал Ганька с важностью, — двое людей, двое зверей. Эй, кот Ромка, слышишь ты, не смей удирать!

— Мурлы-курлы! — неохотно согласился кот, которому смерть как хотелось нынче бегать по крышам.

Ганя взял на руки длинноухого, и пошли мальчики с ним по углам и закуткам: вещи трогают, называют, суют зайцу под самую морду, чтобы он назавтра, когда станет мальчиком-превращенкою, ничего не напутал.

Когда позвали обедать, Петрик посадил зверя рядом с собой.

— Брось, Петринька, зайца, — сказала тетя Саша, — животному за обедом не место.

А няня прибавила:

— Грех оно, Петринька, грех: заяц нечистым считается.

Петрик спустил зайца, а тот, рассердясь на больших, как хлопнет под дядиным стулом ногами, дядюшку испугал.

— Загнать в чулан его! — кричит дядя.

Петрик отлично сидел за обедом, ничего не ел руками, попросил супа вторую тарелку. Как только тетя Саша его похвалила, он к ней заласкался и сказал тонким голосом:

— Позвольте завтра совсем не учиться, у меня что-то головка болит.

Это Петрик заботился, чтобы зайчика-превращенку завтра не очень мучили.

— А когда болит — не шали, — сказал строго дядя, — когда болит — ложись спать, боль заспишь.

Только лампы зажгли — уложили Петрика в кроватку, а он как раз этого и хотел. До ночи выспался, а как стала няня свою перину взбивать, так уже притворно пустился храпеть зараз и носом и горлом, совсем так, как выучил его котик Ромка.

Нянюшка, обрадованная его крепким сном, повздыхала, поохала, сколько ей было нужно, и ушла с головой в свою перину.

Тетя Саша пощупала у Петрика лоб, обрадовалась, что нету жара, и, как всегда, побрякивая серьгами и браслетами, пошла к себе.

Часы пробили одиннадцать. Щипал себя Петрик то за одно ухо, то за другое, чтобы как-нибудь не заснуть, пятнадцать раз сказал: «Турка курит трубку, курка клюет крупку», и всякий раз неверно: все выходило, что курка курит, а турка турит, — а Ганька и не думал ему сигнал подавать, как уговорились.

«И что такое может делать кухарка Плакида? — с досадою думал Петрик, видя на кухне свет. — Быть может, она лицо меняет: днем оно у нее кухаркино, а ночью принцессино, и она куда-нибудь улетает на гусиных перьях?

Всегда ведь просит, когда жарит гуся: «Разрешите, барыня, перо взять себе!» А на что ей оно?»

Туп-ту, туп-ту... — побил Ганька пестиком в ступку.

Петрик вылез в одной рубашонке из кровати, обошел вокруг няни на цыпочках и пробрался на кухню к Гане.

III

На кухне, как раз над духовым шкафом, был прикапан стеарином огарок.

Ганя вытащил из кармана волшебную луковку, насадил ей на ростки макаронки, а повыше провертел шилом дырки, чтобы Духовику было куда продеть руки.

Когда Ганя стал облупливать с Двоехвостки ее желтые юбочки, те самые, что зовут «луковые перья» и прячут к пасхе для окраски яиц, Петрик заметил, что луковка пахнет прескверно, а значит, ничего в ней и нету волшебного. Но Петрик сейчас же испугался такой мысли: а ну как Духовик угадает, что он подумал, и не захочет явиться! И, схватив скорей Ганю за руку, он с ним трижды сказал:

В печке, за заслонкой
Духовик живет.
Ноги — макаронки,
Луковка —живот.
С дымовой
Головой,
Чародей,
Покажись нам скорей!

Петрик так крепко зажмурил глаза, что перед ним стали плавать разноцветные пятна и голова закружилась: вот-вот подломятся ноги, и он упадет.

Вдруг за заслонкой будто горошинка набухла и лопнула, одна, другая. Дверцы духового шкафа распахнулись — выскочил Духовик.

Луковка в середине, над луковкой длинная дымовая головка с курчавою бородой. Из проткнутых дырок крученым дымом вылезают пять пальцев — мышиные лапки. А ноги — крепкие толстые макароны, в коленях без сгиба.

Как выскочил Духовик, сейчас в лапку взял прутик из веника, а в прутике — колдовство.

Сидит Духовик на плите, макаронками в изразцы постукивает, сам себе такт отбивает, свою песню поет:

Тук, тук, тук!
Мой животик — лук,
Макаронки — ноги,
Ходят без дороги;
Дымовая голова
Знает тайные слова.
Тук, тук, тук!
Я не зря стучу:
Становитесь в круг,
Превращу, превращу...

Нянюшке старой чудится, будто это дождик идет, кап да кап; а звери и насекомые вмиг догадались, что стучит Духовик.

Вот полезли из щелок тараканы, клопы, уховертки, все домашнее побросали. С потолка мухи попадали: так заспешили, что из ума у них вон, что летать умеют, крылышки свои посложили, лапки поджали, и бац — прямо на пол к Духовиковым ногам.

Из подполья пришли мыши, крысы. На квартирах одни только мамки с грудными остались.

— Строй-ся! — махнул прутиком Духовик, а в прутике, знают все, — колдовство.

Ганька с Петриком поклонились, а за ними и заяц и кот.

А кругом сидят мыши, кота не боятся, на прусаков блохи прыгают, чтобы им лучше видать: блохи ростом ведь крошечки. Духовику все поклонились, все кричат ему:

— Ваше кухенство! Ваше кухенство!

Скомандовал Духовик:

— Строй-ся!

— Кочергу! — заорал из немытой кастрюли Кастрюльник.

— Кочергу! — сказал с важностью Духовик. — Беритесь, кто с кем меняется.

Седые крысы подали в зубах кочергу и, приседая как хорошие дамы, отступили назад.

— Эй, вы, держитесь, сейчас превращение! — заорал снова из немытой кастрюли Кастрюльник. Перегнулся на тоненьких ручках, хихикает. Шишковатый лоб, нос

крючком, вместо волос голова кашей измазана, каша на брови сползает.

— Эй, вы, — хихикает, — кто от кочерги руку пустит, рука ногой станет, нога — рукой.

Петрик зажал кочергу в обоих своих кулаках, правый ухватил над левым, а зайчик сверху лапочки положил.

Духовик стукнул макаронками в изразцы и сказал:

— Повторяйте:

Я зайчик, я мальчик.
Мы меняемся:
Мальчик в зайчика,
Зайчик в мальчика
Превращаемся.

Кастрюльник выскочил до половины из своей немытой кастрюли, как гаркнет:

— Ушко в ушко — меняйте душки!

Петрик пригнул свое ухо к уху длинному заячьему и в ту же минуту почувствовал, что оно уже его собственное, что шевелится и дрожит его плоский нос, на губу выбежали седые усы, а задние ноги вот-вот подскочат и хлопнут об пол.

И Петрик-заинька хлопнул что было силы ногами, будто стрельнул пистолетом.

Вдруг из няниной комнаты послышались охи-вздохи, и, завидя свет, няня, шаркая туфлями, направилась прямо в кухню.

Духовик побросал на пол свои макаронные ноги и волшебную луковку, а сам черным дымом ушел живо в дырку для самоварной трубы.

Кастрюльник прикрыл себя крышкой. Ганя шмыгнул в свой чулан, мыши, крысы ударились врассыпную.

Одни тараканы, показавшиеся Петрику вдруг огромными, как щенята, бесстрашно заползали по стенам.

— Петринька, прости господи, что ты здесь делаешь?! — вскрикнула няня и, схватив на руки что-то громадное, понесла его с причитаньями в детскую, а проходя мимо настоящего Петрика, толкнула его туфлей в нос и проворчала:

— Из-за тебя, зверь проклятый, дите заболело.

Петрик собрался было крикнуть, что ему это очень обидно, но из горла вылетел только писк, а когда он

поднял руку, чтобы почесать свой зашибленный нос, оказалось, что вместо человечьей руки у него просто-напросто заячья лапка, пушистая, с коготками.

Понял, наконец, Петрик, что вправду обменялся с зайчиком, и, хотя сам этого очень хотел, теперь вдруг обиделся и заплакал.

IV

Итак, мальчик Петрик стал зайчиком, а настоящего зайчика, вошедшего в тело Петрика, няня снесла в постельку, побрызгала с уголька и, подождав, пока он сделал вид, будто спит, пошла обо всем доложить тете Саше.

А зайка, ставший мальчиком, вскочил по привычке на четвереньки, при помощи Гани надел на себя костюм Петрика, перекинул за спину большой мешок со всякой всячиной и ну дралá в лес, к Серохвостихе, своей маме.

Уже светало, когда он, наконец, доискался следа. Солнце выплыло из лесу румяное от холода, будто большой красный мячик; первый мороз отполировал землю, и зайчику-превращенке идти с непривычки всего только на двух человечьих ногах было очень трудно. Скользил и хлопался носом. Одно хорошо было — холода не боялся: под одеждою мальчика все еще будто чувствовал свою прежнюю заячью шубку.

— Тетя белочка, как здоровье моей старой мамы? — спросил он пушистую белку, которая кувыркалась через голову ради собственного своего удовольствия.

Белка, увидя подходящего к ней человека, махнула стрелой с одного дерева на другое и уселась на самой верхушке.

— А я твой секрет воробьям расскажу! — крикнул ей вдогонку превращенный зайчик. — Кто в прошлом году крал орехи из соседнего склада? Воробьи белкам скажут, белки хвост тебе выдерут.

Тетя белочка засмеялась. Она поняла, что это зайчик из Серохвостиной норки, колдовством ставший мальчиком, вскочила ему на плечо и сказала:

— Про себя знай да помалкивай, а твоей мамы нора вот тут, как раз под корявыми пнями.

Превращенка-зайчик лег на землю и просунул кудрявую голову в черную нору, где его мать Серохвостиха лежала грустная, вдовая, со впалыми боками и прижатыми ушками.

— Маменька, — сказал зайчик-мальчик по-заячьи, — я ведь старшенький ваш Серохвост, сменил только с мальчиком шкурку, нате, маменька, вам гостинец. А если вы мне не верите, хотите, скажу, где у вас тайная родинка... Под переднею левою лапкою.

Серохвостиха подняла свою лапку, проверила родинку и сказала:

— Дай я тебя оближу.

Превращенка-заяц вставил в нору свою голову, и зайчиха полаcкала его лапками и языком столько, сколько хотела, потом отодвинулась и сказала:

— Подавай гостинец!

Зайчик вытащил из мешка все, что было: орешки, морковки и сахар. Мама его подгребла все это под себя и пустилась зубами точить.

Тупа-та, тупа-ту... сбежались со всех сторон зайцы, зайчихи, ежи и ежихи, даже приплелся один крот седой. Воробьи-любопытники далеко разнесли: пришел с виду мальчик, а на самом-то деле он зайчик.

Звери все превращенку обнюхали, потолкали, потрогали, своего в нем признали. От смеха за животики ухватились, катаются: мальчик, а зайчик!

И опять его трогают, опять нюхают, с сапог гуталин весь слизали, потом стали лестничкой друг дружке на плечи, слепой крот последний, и башлык лапкой тронули: все, все как у человека.

Вдруг на пенышек выскочил старый заяц Ушан Бесхвостый, от которого все здешние зайцы пошли. И сказал превращенке:

— Серохвостин сын и внук Серохвоста, колдовством ставший мальчиком, слушай: не разменивай своей шкуры, будь до самой смерти твоей превращенкой, таскай нам от человека припасы.

Превращенка-зайчик сложил вместе руки и стал изо всей силы звать на помощь Духовика. Он очень ведь мучился, не зная, что делать: своих жалко, но и Петрика обмануть неохота, добрый он. Да и на двух-то ногах всю свою жизнь проходить не великая радость.

— Выручай, Духовик! — просит заинька превращенный, — на двух ногах пяткам больно ходить.

Духовик хотя спал еще, но сейчас встрепенулся и послал честному превращенке наговорную муху-Шептуху.

Муха-Шептуха почистила крылья и, не прожевав даже завтрака, полетела на поиски Петрикова дяди, который давно уже взял извозчика и ездил по городу, ища всюду пропавшего мальчика.

Наговорная муха-Шептуха села дядюшке на ухо и сказала:

— За городом лес, за лесом поле, за полем речка, за речкою хутор, за хутором ляды, вокруг пенышек была земляника, под бывшею земляникою нора, у норы стоит мальчик.

Дядюшка похвалил сам себя за догадливость, отмахнул муху прочь и поехал скорее за город.

— Го-го, — закричал он, увидав издали превращенку-зайчика, которого, конечно, принял за своего племянника Петрика.

Звери кинулись кто куда, а заяц-мальчик сейчас догадался, что Петрикова дядю прислал ему на помощь сам Духовик, и побежал дяде навстречу.

V

Дядя на дороге не говорил ни слова, только, сдав дома мальчика-зайчика нянюшке на руки, сердито буркнул:

— Уложить в постель!

Тетя Саша и няня от радости так мальчика целовали, что даже побранить позабыли, а что он — превращенный зайчик, им совсем невдомек. Это только в лесу разнюхали звери правду, а люди разнюхивать не умеют, они глазам одним верят. А для глаз: зайчик кажется мальчиком, мальчик кажется зайчиком.

Но куда приятней было бы превращенке, если бы люди его побранили, да не сделали б таких неприятностей: холодной водой вымыли и лицо и руки, а потом дали горькую хину, которая жила в хинном домике, похожем на белую толстую пуговицу.

Кухонный мальчик Ганя лежал тоже в постели, только вместо хины ему влили ложку тягучей касторки — «оттянуть глупость от головы», — сказал седой дядюшка.

Дело в том, что наутро, едва няня хватилась, что Петрика нет ни в шкафах, ни под стульями, и поднялся в доме плач, Ганя не выдержал, схватил на руки зайчика — превращенного Петрика и, дивясь про себя, что нести его так легко, рассказал старшим в чем дело: и про Духовика, и про превращения, и куда и зачем ушел мальчик-зайчик.

Плакал Ганя, просил подождать всех до полуночи.

В полночь как раз превращенки между собою разменяются...

Но большие ничего не поняли, большие ничему не поверили. А мать, кухарка Плакида, еще за вихор отодрала и, пихнув ногой зайца-Петрика, проворчала:

— Все из-за этого, из-за ухастого, обдеру ему завтра шкуру.

Ганя так испугался, что слова у него в горле застряли, и до самой до полуночи неподвижно лежал он в постели, нащупав под тюфяком волшебную луковку-Двоехвостку: «Духовика ночью вызову, Духовик все распутает...»

А под Ганиной постелью присел, ни живой ни мертвый, превращенный Петрик в трусливом заячьем теле.

Он дрожал, дергал носом и проклинал все, что знал на свете: Ганьку за то, что подбил обменяться, зайца за то, что лежит в чистой кровати, а он тут в грязи, в паутине, и чихнуть не смеет: услышит Плакида, возьмет да в сметане зажарит.

Сердится Петрик и на тетю, и на дядю, и на няню: «Значит, они меня никогда не любили: сменил шкурку — узнать не умеют».

И превращенный заяц тоже метался в тоске по чистой Петриковой кроватке: «Ужель всегда буду мальчиком! Есть горячее, умываться холодной водой, чистить зубы — все страшно!»

— Дай, Петринька, ноготки остригу, — идет няня с ножницами, а превращенка ушами задвигал, нос сморщил и шасть под кроватку!

Душа ведь осталась вся заячья: чуть что, сейчас задрожит, будто студень.

— Ай, ай, ой, ой, как он вдруг изменился, — заплакала тетя Саша.

— Розог ему, розог, пусть только будет здоровым! — сказал строго дядя.

Одна только нянюшка ничему не дивилась: дитя растет, все это к росту.

VI

Ночью сполз Ганя кое-как с постели и вместе с зайцем-Петриком прокрался к духовке Духовика вызвать. Вот уже на луковку-Двоехвостку насадил макароны, проткнул дырки для рук и положил в духовой шкаф. Еще карамельку Ганя прибавил, не пожалел, только бы Духовик объявился.

Вдруг бежит котик Ромка, мяучит:

— В детскую дверь на ключ заперта, нету выхода, не разменяться теперь превращенкам!

Всхлипнул Ганя, а зайчик-Петрик подумал: «Съедят меня в жирной сметане!» и упал с горя в обморок. Лапки вытянул, рот разинул, лежит неживой под скамейкою.

Котик с Ганькою, оба в слезах, взялись перед печкою за руки и сделали вызов.

Злой выскочил Духовик, хмурый; вместо обычной команды «стройся» как чихнет черным дымом!

— Знаю, знаю, — ворчит, — мальчик с зайчиком разменяться не могут из-за умных старших людей. Двери заперли, ключ в карман положили. Один раз убежал — думают, всегда будет бегать.

Разворчался Духовик.

Ганька с котиком стали на коленки и взмолились ему:

— Дяденька миленький, разменяйте у превращенок душки!

Духовик чихнул опять дымом и, конфузливо озираясь, забормотал:

— Я за глаза разменять не могу, надо вызвать начальника...

Духовику было очень неприятно признаться, что не он самый главный на кухне. Вот почему вместо команды «строй-ся» он чихнул только дымом. «Пусть, — думает, —

один только кухонный мальчик узнает, а прочая мелочь — крысы, мыши, прусаки и клопы так и считают, что я самый главный на свете».

Духовик, качаясь на своих макаронных ногах, прошел к большому котлу с горячей водой, который был вмазан рядом с плитой.

— Ваше высококухенство, Евмей Фуфаней, — поклонился он низко-пренизко.

— Их громкобулькание! — взвизгнул в немытой кастрюле Кастрюльник.

В котле с горячей водой вдруг из множества мелких вспух один громадный пузырь. Дулся, дулся и вздулся — куда толще всякого мыльного. Лопнул — а из него выбулькнул сам главный кухонный житель — Евмей Фуфаней.

Пузо круглое и прозрачное, сквозь него сковородки виднеются. Голова тоже пузырь, но поменьше, и руки пузырные. На руках пальцы-пузырьки. Глаза, нос и уши — все, все надутое, вот не выдержит — лопнет или вверх улетит.

— Пуф, пуф! — сказал Евмей Фуфаней и с каждым словом пускал в воздух переливчатый крепкий пузырь. Так эти пузыри и летали, не лопаясь, над плитой.

Духовик высоко поднял колдовской прутик, ударил им изо всей силы по своей макаронной ноге, нога сломалась, и он встал будто бы на колено, стегнул по другой — стал на оба и пискнул:

— Помогите, ваше высококухенство, разменять зайца с мальчиком!

— Пуф, пуф! — опять выпустил пузырьки Евмей Фуфаней, всплеснул руками и пошел лопаться. Сначала пропали пузырьки-крошки, потом пузыри, потом толстое пузо-пузырище. Громадное пузо-пузырище так громко лопнуло, что кухарка Плакида ахнула и увидала страшный сон.

А на кухне вот что случилось: едва лопнули Фуфанеевы пузыри, как взвилась над котлом преогромная муха-Шептуха с мешочком за крыльями.

Муха села зайчику-Петрику на нос и хоботком втянула в себя его душку, пропихнула ее в мешок лапками, задернула крепко нитку, взвалила себе мешок на спину и сквозь щелку влетела в детскую.

Петрикова душа от большого страха такая вдруг сделалась маленькая, что без труда поместилась в мешок мухи-Шептухи, — еще даже место осталось.

Когда наговорная муха влетела в детскую, там чуть видно ночник горел. Превращенка-заяц спал крепко с открытым ртом.

Муха-Шептуха живо стрясла ему в рот душу Петрика, которую он и проглотил, а заячья душка давай бог ноги, прыг-прыг прямо мухе-Шептухе в пустой мешок.

А муха-Шептуха опять затянула мешок крепко-накрепко нитками, перекинула его за спину и мах-махом в кухню под стол. Зайцу нос лапочкой щекотнула, чихнул заячий нос, заяц вобрал в себя свою собственную душу, да к выходу.

— Проваливай, ну тебя! — заорал радостно Ганька и открыл настежь двери. — Проваливай!

Мелькнул белый заячий хвост, и поминай как звали, удрал заяц.

К плите вернулся Ганя сердитый, ворчит:

— Если не ты, Духовик, самый главный, зачем же ты важничал?

Смотрит: ан Духовика вовсе нет никакого. Валяется луковка, валяются макаронки.

— Тьфу! — сказал Ганя. Взял корку хлеба, посолил ее, посолил луковку-Двоехвостку и съел.

Утром Петрик встал прежний, веселый, ничего не боялся. Какао выпил три чашки, все хвалил да похваливал. Тетю Сашу целовал, чуть серьгу из уха не вырвал, рассмешил старого дядю, нянюшку с ног сбил.

— Ну, слава богу, теперь пойдет рост хороший! — сияла нянюшка.

А Ганька так разоспался, что его мать к обеду едва добудилась:

— Ты, пострел, двери ночью открыл, настудил?

Молчит Ганя, хохочет.

О пропавшем зайце никто не жалел. Большие так даже порадовались: ну его! Из-за зайца все хлопоты приключились.

А Ганя с Петриком веселятся: по-нашему, дескать, вышло — у зайцевой мамы хорошее продовольствие, а сам он домой убежал, целый, не жареный.

Одно только мальчикам жалко: Евмея Фуфанея не пришлось больше видеть. Пришли печники, котел вынули, дыру заложили кирпичом и замазали. А для воды тетя Саша купила огромнейший жбан белой жести, который Плакида переворачивала на ночь вверх дном для просушки, а потому в этом жбане ничего не смогло завестись, даже ржавчины.

1912

РУСАЛОЧКА-РОТОЗЕЕЧКА

Морской царь был вдовый, только всего и родни у него, что наследник-царевич Бульбук да дочка Русалочка-Ротозеечка. Ротозеечкой прозвали царевну за то, что она как задумается, так сейчас ротик и откроет.

А задумывалась она часто и все об одном и том же: как бы ей сделать для всех хорошее дело.

На морском дне ведь дел не то что хороших, а и самых обыкновенных не было никаких. Всем места много, всем пищи много — знай себе плавай! Правда, по утрам морской царь охаживал дозором морское дно: щупал, крепко ль сидят на скалах губки, учил рака-отшельника прятать мягкий хвост в домик, сыпал перламутровой раковине между створок песок, чтобы она не ленилась плакать, крупней жемчуг делать. Все же прочее время морской царь спал себе сладко на цветных водорослях.

Ротозеечку, как ни просилась она, царь ни за что не хотел брать с собой по морскому дозору — потому, говорил он, не женское это дело!

— Ах, няня, мне ску-учно... — плакала царевна усатой Дельфинше.

— Посчитай-ка свои жемчуга, посмотри, как актинии оплетают серебряных рыбок,— наставляла Дельфинша, старая няня.

— Мне все надоело, все ску-учно...

— Выдадут замуж, сейчас станет весело...

— А что делать-то замужем?

— В новом море считать новый жемчуг.

— Опять то же самое! А как попасть в новое море?

— Дай срок, прилетит аист-сват, царевичу нашему притащит невесту, а взамен тебя снесет куда надо.

— А скоро ли прилететь аисту-свату? — не унималась Ротозеечка.

— А вот как волосики твои вырастут до хвоста, тогда уж прости-прощай! — сказала ласковая Дельфинша-няня и, сделав русалочке своим твердым усом пробор на головке, заплела ей две длинных зелёных косы, а концы их украсила красными бантами, которые царевич Бульбук утащил для сестры из человечьей купальни. Ротозеечка смерила глазками, долго ль расти зеленым косицам до хвостового плавника, и весело засмеялась: оказалось не больше вершочка.

Наступила весна, потемнело море, и совсем по-другому, чем зимой, принялся купаться в нем месяц. Побежали, пыхтя, по зеленым волнам пароходы, а за ними по шипучему белому следу во все плавники закувыркались дельфины.

Кряхтит старая Дельфинша-няня, а туда же, за ними кувыркается.

И вот узнала Ротозеечка, что в первую темную ночь, когда безопасней лететь, принесет аист-сват Бульбукову невесту, а ее снесет в новое море.

Отец, морской царь, стал теперь особенно ласков:

— Чем могу угодить тебе, доченька?

— Ах, возьми меня, батюшка, хоть один только раз дозором по твоим по морским делам.

Уступил Ротозеечке отец-царь, ну и наплавалась она так, что хвостик у нее заболел, а все-таки ничего интересного в мужском морском деле для себя не нашла.

Все там, по правде сказать, само собой происходит, хоть и вовсе дозором не плавать: рак-отшельник не сегодня-завтра сам научится свой хвостик прятать, губки и кораллы растут, как им надо расти, а перламутровую раковину уж лучше бы вовсе не мучить: жемчуг, конечно, красивый, да ведь и без него прожить можно.

И Ротозеечка приняла крепко-накрепко одно решение.

Вот настал вечер той безлунной ночи, когда свату-аисту прилететь. Расчесала Дельфинша-няня в последний раз длинные зеленые волосы, и покрыли они

Ротозеечку густым шелковым покрывалом с руками и с плавниками.

Заплакала старая Дельфинша-няня:

— На кого меня, дитятко, покидаешь?

Отдала Ротозеечка обратно царевичу два красных банта, чтобы он ими украсил свою невесту, обняла няню, и рыбок, и рака-отшельника и села, тихая, к отцу на колени. Едва вышла первая звездочка на безлунное небо, морской царь вывел дочку на большую скалу, торчавшую башней из моря, а сам, чтобы не очень расстроиться, поскорее уплыл. Однако на дне царь не выдержал и как был, в короне и мантии, сел на свой морской пол и заплакал.

— Папенька, пересядьте, прошу вас, на трон, — сказал царевич Бульбук,— ведь сейчас моя невеста прибудет.

Царь опомнился, вытряхнул из бороды мягких рачков-креветок, взял в руку коралловый скипетр и сел на свой трон.

Недолго оставалась на камне Ротозеечка одна. Вот послышался шум сильных крыльев, и аист, держа что-то большим клювом и лапами, опустился на камни.

Из черного плаща выскользнула чужая морская царевна, тоже с зелеными волосами, только не скучная, а, напротив того, очень веселая, и с громким смехом, даже не взглянув на Ротозеечку, прыгнула в воду.

— Из чего сделана эта неприятная материя? — спросила Ротозеечка аиста, трогая пальчиком черный плащ.— У нас на дне нет таких водорослей.

— Это резиновый плащ одного мальчика-растеряхи,— сказал аист, — я его подобрал для свадебных путешествий морских принцесс; если пойдет дождь, они под этим плащом не вымокнут в пресной воде, столь неприятной для морских обитателей.

— Милый аист, — попросила Ротозеечка, — вы всё знаете: снесите меня туда, где я могу сделать хорошее дело!

— Эге, — проклектал аист, — от хорошего дела вам не очень-то поздоровится! Хорошее дело вы можете сделать только в пресной воде. Поступайте-ка лучше в морские царицы...

— Ах, это скучно мне, аист: ведь я никому на дне моря не могу быть полезной, все там навеки устроено, все там по правилам.

— Ну, а чем же вы собственно могли б стать полезной? — спросил аист.

— Я умею плескать моим хвостиком так, что при месяце кажется, будто в воде купается драгоценное серебро.

— Очень похвально... А еще что умеете? — качнул аист носом.

Заплакала Ротозеечка и сказала:

— Больше ничего не умею.

— Если вы уверены, что плескать хвостиком очень красиво, я могу снести вас поближе к земле: никого нет хитрей человека. Человек из всего извлечь может пользу.

Ротозеечка легла на резиновый плащ и сложила ручки.

— Ах, умный аист, несите меня поскорей...

— Сейчас понесу. Только я должен вас предупредить: от пресной воды сокращаются дни жизни морских обитателей, а для вашего дела мне надо снести вас не иначе как в «Мертвую лужу».

— Несите, несите!

Аист завернул Ротозеечку в черный плащ мальчика-растеряхи и взвился с нею над морем.

Долго летел он, спускаясь отдыхать на болотные кочки и снова вздымаясь над ними; наконец, когда небо уж стало алеть, он бережно вытряхнул русалочку над небольшим озером.

— Плавайте себе на здоровье! — крикнул аист, улетая.

Ротозеечка очень обрадовалась воде и нырнула. Но, глотнув вместо привычной горько-соленой противную сладковатую, сделала гримаску и всплыла на поверхность.

Невысокие холмы по берегу покрыты были кустарником, у самой воды росли широкие листья мать-мачехи, колокольчики и ползучие травы; впрочем, около одного, самого отлогого берега все это было вытоптано до самой черной земли.

Озеро было круглое и такое тихое, будто уснувшее. «Мертвая лужа», вспомнила Ротозеечка, как назвал его аист, и, грустная, скрылась на дно, но жгучий глаз солнца нашел ее и на дне, и после зеленого сумрака моря светлая

пресная вода не дала Ротозеечке ни отдыха, ни прохлады, и только сильная усталость заставила на минуту закрыть глазки.

Ее разбудил топот, чей-то дикий рев и сопенье. Стадо рыжих коров, чавкая копытами, входило в озеро; все жадно вытягивали рогатые морды и ревели во весь голос.

За коровами шел пастушок, грустный мальчик в лохмотьях. Пастушок лениво, будто с трудом, подымал над стадом свой бич с длинной веревкой и хлопал им, как стрелял из ружья, так громко, что у Ротозеечки заныли от непривычки уши.

Когда мальчик сел на камень, Ротозеечка увидала близко его драные лапти и бледные щеки. Она захотела, чтобы он улыбнулся, и сделала единственное, что умела делать, — заплескала хвостиком. Спокойная гладь озера, взбаламученная только у самых берегов пьющим стадом, вдруг взялась светлою рябью и весело понесла эту рябь до самых песков побережья. Казалось, солнце упало в воду и разбилось на золотые чешуйки.

От ожившего озера кусты сделались зеленей, молодые листочки мать-мачехи развернулись, коровы подняли мокрые морды, а невеселый пастушок повеселел; забыл все свои горести и смотрел не отрываясь на ожившую воду, пока ему не закричал кто-то сверху: «Эй, гони стадо доиться!»

Пастушок встал с камня, но, щелкая бичом над коровами, он все оглядывался назад, и Ротозеечка заметила, что походка у мальчика теперь бодрая, как у хорошо отдохнувшего человека.

Когда короткие сумерки сменила синяя многоглазая ночь, пастушок пришел снова. Теперь он был еще грустнее, чем днем, и, обхватив руками нечесаную, лохматую голову, горько плакал о том, как трудно быть маленьким сиротой.

Ротозеечка разрывалась от жалости и опять, не зная, чем утешить мальчика, не умея ничего сказать, только с новой силой ударяла плавниками об воду.

Вот прорезала луна синий бархат неба, и, вдруг побледнев, ушли к богу жаркие звезды. Луна одна, как царица в зеркало, смотрелась в воду, а волны-барашки, поднятые Ротозеечкой, будто молодые пажи, передавали

друг другу драгоценные блестки с серебристого шлейфа царицы.

Мальчик смеялся, звал озеро ласковым именем, и казалось ему — это покойная мама выпросила для него у ангелов серебряные игрушки...

А насмотревшись вволю, он тут же и заснул в сухом нагретом песке.

Скоро Ротозеечка заметила, что теперь все время, пока коровы стояли в воде, мальчик, вынув из кармана уголь, царапал им что-то по камню, и при этом у него было такое же счастливое лицо, как у морского царевича Бульбука, когда отец украсил его в первый раз морскою звездой.

Однажды в полдень, едва стадо затопталось в воде, а мальчик по обыкновению пачкал углем раздобытую где-то тетрадь белой бумаги, к нему подошел чужой человек в широкополой шляпе, с ящиком красок в руках.

Чужой человек взял в руки тетрадку мальчика, похлопал его по плечу и, ласково разговаривая, пошел с ним вместе за стадом.

С этого дня Ротозеечка больше не видела пастушка. Вместо него на водопой водил стадо совсем другой мальчик, который на озеро не смотрел и только и делал, что бранил коров плохими словами.

От тоски по родному соленому морю и от разлуки с мальчиком, которого полюбила, Ротозеечка начала тосковать.

Потускнела ее переливчатая чешуя, поредели зеленые косы, а хвостик без прежней силы плескался в воде.

Наступили осенние холода, и сердитый ветер засыпал озеро желтыми и красными листьями. Русалочке очень хотелось уснуть на мягком илистом дне, но она из последних сил выплывала ночью к белому камню, где сидел, бывало, пастушок, и смотрела в черное небо, не летит ли сват-аист в свои теплые страны.

И аист, наконец, полетел, а на пути спустился к белому камню, стал на длинную ногу и качнул красным носом:

— Не хотите ль на родину?

Ротозеечка грустно сказала:

— Я здесь останусь и буду ждать мальчика-пастушка,

его увел человек с длинными волосами, в широкополой шляпе.

— Обыкновенно такой человек у людей зовется художником, — прервал Ротозеечку аист. — Но зачем же художнику ваш пастушок? Или он срисовал, как вы плескали хвостиком по воде? Я ведь вам говорил: человек из всего извлечь себе может пользу...

Но теперь уже Ротозеечка не дала кончить аисту, она захлопала в ладошки:

— Ну, конечно, мальчик только и делал, что рисовал, как я била хвостиком по воде! Но мне казалось, что у него выходили одни черные пятна, кроме того, он так ужасно пачкал себе лицо и руки, что едва ли это могло понравиться художнику.

— Ну, разумеется, все черные пятна, кроме тех, которые мальчик сделал себе на носу, пришлись как раз на своем месте, — сказал аист несколько свысока, — потому что иначе знаменитый художник не взял бы мальчика к себе в ученики. А что он взял именно его, теперь я знаю наверное.

— Ах, милый аист, опять вы всё знаете, расскажите же мне поскорей!

Аист продул ноздри своего красного клюва и начал:

— На зеленой горе есть сосна с опаленной верхушкой; на эту сосну крестьянские дети насадили деревянное колесо, чтобы жене моей было удобней устроиться с аистятами; туда же и я, само собой разумеется, прилетаю с лягушками в клюве.

Как раз против нас, в белом доме с высокою башней, живет художник. Обыкновенно он жил один со своими картинами. Но этой весной он привез с собой мальчика. Мальчик мне сразу понравился тем, что не дразнил моих аистят, а день-деньской бегал на речку и рисовал ее быструю воду и в дождь и в вёдро.

И я даже обеспокоился, когда мальчик просидел раз безвыходно в своей башне. Пролетая утром за кормом для жены и для маленьких аистят, я заглянул к нему в открытое окошко и — представьте! — не мог удержаться от клекота, а уж кажется видал виды и умею держать себя в обществе.

Но разве мог я предположить хоть минуту, что встречу там вас, Ротозеечка, с вашим хвостом, плавниками

и зелеными косами, и притом не в воде, а на белой стене круглой башни? Должно быть, вы очень понравились учителю мальчика, потому что, взглянув на стену, он обнял своего питомца и подарил ему такой большой ящик красок, что я бы в нем мог поместить все мое семейство.

Ротозеечка слушала, открыв ротик.

— Как мог мальчик меня срисовать? Ведь я била хвостиком под водой, и ему это не было видно.

— Этот мальчик оказался художником, — сказал аист с знанием дела, — а художники видят то, чего не видят другие, и даже то, чего совсем нет на свете. Один из приезжих гостей написал вместо меня какую-то грязную лиловую птицу и подписал: «Злая совесть». Каково? Это после того, как я выкормил лягушатами аистят, а для чистоты брал болотную ванну!..

Аист еще долго бранил художников и толковал об искусстве, но Ротозеечка его больше не слушала.

Она опустилась на мягкий ил, сложила крест-накрест ручки и стала ждать мальчика. Теперь она знала наверное: если он сумел увидать ее на дне озера, он узнает и то, как она его ждет и как любит.

— Эй, вы, — закричал Ротозеечке аист, — ведь поплескали хвостиком сколько надо, возвращайтесь в соленую воду!

Ротозеечка ничего не ответила, аист обиделся и улетел.

Отошла осень, прикатила на санках зима, соскочил у нее с запяток мороз да как дунет на озеро!

Льдом схватило воду, а вместе с водой и опавшие осенью листья; и стало озеро зеркалом в оправе из желтых и красных каменьев.

Ротозеечка слабела с каждым часом, все глубже и глубже уходила в мягкое дно и, наконец, скрылась в нем с головой. Зато весной, когда берега озера оделись новой мать-мачехой и ползучими травами, из глазок Русалочки-Ротозеечки появились чудесные незабудки, из зеленых волос вырос аир, душистая трава, а к середине лета из самого сердца протянулся вверх белоснежный цветок водяной лилии.

Случилось так, что как раз в это время бывший мальчик-пастушок, теперь любимый ученик известного художника, проезжал с учителем мимо родной деревни.

Мальчик сейчас же побежал к озеру и, махая шапкой, сказал:

— Здравствуй, мой милый первый учитель, здравствуй, дорогая Русалочка! Ты мне часто снилась, когда я пастушком спал у белого камня, и, поверь, я тебя никогда не забуду!

В ответ на его слова цветок водяной лилии, выросший прямо из сердца доброй Ротозеечки, дрогнул белыми лепестками и раскрыл, как огонек в белой лампаде, свою яркую сердцевину.

Мальчик прыгнул в воду, подплыл к лилии и сорвал, насколько мог длиннее, ее коричневый гибкий стебель.

1914

Наде-Пумпе

ПУМПИН САД

Пумпа! Так звали эту девочку папа, мама и все знакомые. Девочка была толстая, белая, игрушками не очень любила играть, зато как встретит больного жука или улитку с раздавленным домом, сейчас отдаст им свою котлетку, манной кашей перед носом покапает и конфетку откусит в прибавку.

Добрая была девочка!

У Пумпы в саду лежал серый камень, обвитый плющом. Под ним жила многоножка-сколопендра, а к ней в гости прилетал жук-носорог.

Сам будто сделан из лучшего шоколада, на носу рог, назад загнут и крепкий-прекрепкий.

Этого жука Пумпа спасла от смерти. Соседний мальчик накрыл его стаканом, а сам убежал за эфиром. Пумпа стакан отвернула, а жука подержала на ладошке, пока он, сделав зум-зум, не улетел.

Под вечер жук-носорог вызвал на совет сколопендру и лягушку-тетеньку из бассейна.

Лягушка-тетенька, чувствуя ночью себя в безопасности от мальчишек, хлопала лапой озорных головастиков, убеждая их, чтобы ложились спать в тину.

— Тетенька! — позвал ее жук-носорог.

Тетенька отпустила лапку, и головастики немедленно заегозили в воде.

— Сегодня девочка Пумпа спасла меня от эфировой смерти, и за это я ей хочу показать, как мы веселимся в бассейне. Я скажу над девочкой заговор, она станет крошкой и обтанцует себе все ножки на нашем балу.

Но вот беда: девочка родилась бескрылой, и ей надо два крылышка, чтобы она не была между нас неприличной.

— Перепонки на лапках, я полагаю, красивей...

— Я не спорю, — шаркнул вежливо жук-носорог, — но для Пумпы годятся и крылья. А вот не знаете ль, где их достать? Вы давно тут живете, а я ведь залетный.

— Ка-ак вырастет, та-ак и растопчет и вас и нас! — сердито квакнула зеленая тетенька.

Зато божья коровка, которую никто не спрашивал, пропищала:

— Ах, крылья, непременно крылья.

— Помогать надо делом, с пустяками не лезьте, — оборвал сухо жук-носорог.

Божья коровка хотела обидеться, но вспомнила, что она считается кроткой, и сдержалась.

— Однако смеркается... — забеспокоился жук, — скоро девочка ляжет спать, помогите нам, милая тетенька!

— Пару крыльев ты можешь достать тут поблизости из пчелиного склада.

И тетенька, указав лапкой, повернулась с вопросом к сколопендре:

— Какая это девочка? Правда, добрая?

— Я так устала кусаться и ползать, — сказала грустная сколопендра, — что мне трудно судить о чьей бы то ни было доброте, но когда Пумпа меня встречает, она не берет в руки камня и не орет во все горло: фу, гадость!

— Значит, я покажусь ей совершенной красавицей, ведь я же куда лучше вас! — и зеленая тетенька, расправив свои перепонки на лапках, затрещала божьей коровке: — П-р-р-ри-води ее... п-р-р-ри-води ее...

— Божья коровка, — скомандовал жук-носорог, — извольте немедленно вызвать Пумпу к окну. Я скажу над ней заговор, смеряю плечи и полечу в склад за крыльями.

Пумпа сладко спала, притиснув к себе суконную уточку, а в углу горела зеленая лампада.

Сразу поняв, что уточка не живая, божья коровка проползла смело к самому ушку Пумпы:

— Беги поскорее к окну, тебе будет весело...

Пумпа сейчас схватилась с постельки, босыми ногами шлеп-шлеп к окошку.

А там уже ждет ее жук-носорог. Боднул чуточку рогом и гуднул свой заговор:

Пум-па, зум-зу!
Пум-па, бум-бу!

Пумпа вздрогнула и сделалась крошкой, ну просто с маленький нянин наперсток. Захотела она испугаться, да не успела, все вдруг ей сделалось такое новое да интересное: божья коровка ни дать ни взять та монашка, что по домам ходит с черной книгой, только красный плащ привесила за плечами. А коричневый живот жука-носорога будто ореховый мамин комод с выдвижными ящиками, мохнатая мордочка наверху.

— Извольте садиться мне на спину и держитесь за рог! — подставил жук вежливо шоколадные крепкие крылья.

Пумпа со смехом вскарабкалась на жука и, словно шею лошадки, охватила двумя руками его гладкий отполированный рог. Загудел жук и тяжело двинулся над кустами и травами прямо к большим листьям старого лопуха.

Один из мягких листьев скреплен был какою-то клейкою гусеницей так, что получилась глубокая изумрудная пещерка. В пещерке этой лежала черная куколка улетевшей бабочки, а в ней мягкий пух одуванчика.

Вот в эту постельку жук положил Пумпу и сказал:

— Досыпайте ваш сон, пока я вам не устрою нарядного платья.

Жук осыпал девочку маком, девочка заснула, а он направился к старенькой казначее, начальнице пчелиного склада, где хранились мед, воск и прозрачные крылышки умерших пчелок.

Жук шаркнул ногой казначее-начальнице и склонил вежливо рог:

— Будьте добры, не откажите мне парочку крыльев, нештопаных и нелатаных!

Пчелка знала, что попусту такой важный жук и слова не скажет, любопытство свое затаила, распечатала непочатую дюжину и подала жуку-носорогу два самых лучших крыла.

— Зум, зум... — от души сказал жук и отнес осторожно крылышки к Пумпе.

— Теперь дело в шляпе, вот только бы крепких ниток достать! — И, не отдохнув, жук-носорог опять полетел.

Между ветками пестролистного клена расселся огромный паук-крестовик в своей паутинной квартире. Он сожрал только что десять мух, и ему сейчас казалось, что он стал очень добрым и больше никого никогда не съест.

Сытый паук смотрел на круглую серебряную луну, считал ее пятна и думал, что, быть может, это не что иное, как тоже большущие пауки, конечно все же поменьше его самого, которые, вот также наевшись, отдыхают в своей паутине и, в свою очередь, принимают его паутину за простую луну, а его самого за пятно на луне.

Жук-носорог, как только заметил, что сытый паук размечтался и уже безо всякого толку пустил свою нитку, тихонько подкрался к нему, намотал себе полные лапки и дралым-драла!

Девочку в отсутствие жука стерегла многоножка-сколопендра; она сейчас же ухватила паутину за кончик и размотала ее на желудь.

— Девочке, кроме крыльев, нужны башмаки, — напомнила жуку сколопендра, — в свои прежние она теперь спрячется с головой, а ходить босиком для людей неприятно.

— Здесь готовые башмачки есть, да мне не под силу их снесть, — вдруг сказал кто-то сверху.

Жук-носорог поднял рог и увидел на спелом подсолнухе старую пчелу-казначею: не утерпела она, полетела-таки поглядеть, для кого нужны жуку крылышки.

Жук-носорог поднялся на подсолнечник к казначее, и старушка ему указала двух маленьких червяков, живших в семечках. Червяки давно съели вкусные зерна и лежали в совершенно пустой скорлупе.

— Червяки, не угодно ли вам на другую квартиру? — предложил носорог. — Все равно вам в пустой делать нечего.

— А ведь в самом деле, — сказали червяки, — чего здесь сидим, сами не знаем, давно кушать хочется!

Червяки вылезли, носорог боднул пустые семечки, они вывернулись из своих чашечек. Одно из семечек жук наса-

дил на свой рог, другое обнял передними лапками и снес к девочке. Туда же, в изумрудную пещеру, положил он Пумпе лиловую юбочку — цветок колокольчика.

— Ну, теперь у вас все готово для выезда, будите-ка девочку, — сказала многоножка-сколопендра, — а я уползу под камень, сколопендрята скучают...

— Бум-бум, зум-зум! — гуднул весело жук. Пумпа проснулась и кинулась одеваться.

Как влезла в туфельки, так и заплясала: уж очень понравилось ей, что они в атласных полосках: одна черная, другая белая. Лиловая юбочка колокольчика как раз была впору, носорог обкрутил паутинкою вокруг пояса, чтобы не свалилась, а к зеленой кофточке пришил за каждым плечом по крылу.

Девочка стала такая красивая, что носорог не выдержал, забыл свою важность и стал приплясывать, подпевая неизменную свою песенку: «Бум да бум, зум да зум...»

— Вот теперь, когда вы крылатая, вас с радостью заберут с собой наши пчелы, — сказала старая казначея, — они сейчас понесут к бассейну царицу.

— Прекрасно! — обрадовался жук-носорог. — Вот вы и им представьте мою девочку, а я должен слетать к речке, вычистить рог свой песком.

Только жук улетел, как появились пчелы в зеленой упряжке с Гуделой-кучером, толстым шмелем. На липовом листе стоял трон из желтого воска, на троне сидела царица с длинным бархатным туловищем и узкими крыльями. Царица держала вверх голову, так как она очень гордилась тем, что не умеет работать, как рабочие пчелы, а всю жизнь кладет яйца. Увидав крылатую Пумпу, царица приняла ее за чужую пчелиную матку и наготовила было жало, но старая казначея с низким поклоном пошептала ей на ухо, что это всего-навсего девочка с пришитыми крыльями, и царица, посторонившись на троне, пригласила Пумпу сесть с собой рядом.

Навстречу дул ветер, и пчелки тихонько летели к бассейну по аллее ровных, будто остриженных тополей. Пумпе почудилось, что в каждом тополе сидит по тонкой зелененькой девочке, и это вовсе не ветер, а они, взявшись за руки, пригибают верхушки деревьев к земле, чтобы поздороваться с расцветшими за день цветами.

Но вот прилетели к бассейну: кругом белые камни, оплетенные темным плющом, а посредине скала, из которой по праздникам бьет фонтан.

Навстречу Пумпе вылетел жук-носорог. Он уже сделался распорядителем вечера, и поэтому на его отчищенном роге насажена была красная бузина, а за плечами болтался белый маковый плащ.

Поблагодарив за любезность царицу, носорог взял девочку на спину и взлетел с нею к верхнему камню, откуда все было видно очень хорошо.

Только одно место было еще выше этого камня, но ведь оно принадлежало царю этого сада — оленю-жуку. В ожидании его прилета четыре стрекозки, трепеща крыльями, держали в воздухе узорный балдахин — настурцию.

— Разве будет дождь? — испугалась Пумпа за свое новое платье.

— Балдахин делают не ради дождя, а ради почета, — сказал носорог.

— Жж-гу... Жж-гу... — словно птица пронесся на свое место олень-жук и, обняв лапками ветку, встал во весь рост под узорный цветок балдахина.

Непослушные головастики, завидя начальство, вмиг нырнули на дно, показав хвосты тетеньке, а на белых камнях вокруг бассейна расселась публика, вся под рост, вся по чину, по важности. Крупные повыше, мелюзга на песочке.

Первыми — черные блошки, комарики и козявки; потом мухи всех возможных сортов: и цветочные, и салатные, и свекольные, и злые мухи жигалки-кусалки. Эти большие серые мухи особенно драли голову кверху и не втягивали колючего хоботка; они лезли на лучшие места на камнях и, толкая всех встречных, кричали о родстве своем с знаменитой мухой-цеце, которая живет в жарких странах и жалит насмерть скотину.

Муравьи так привыкли трудиться, что даже на вечер притащились кто с яйцом, кто с листком, расселись на лучшее место, а огромные богомолы в нарядных зеленых фраках принуждены были из-за этого встать где попало.

Богомолы промолчали, но зато, отвернувшись в кусты, живо захлопнули передними лапами опоздавшего муравья, стерли его в порошок и отправили в рот; впрочем,

они не забыли, что называются богомолами, и, вытерев рот, сложили на молитву свои хищные лапы.

Жук-олень раздвинул рога и, сведя их обратно, простукал открытие вечера. Четыре жука-щелкунчика вышли на главную щепку, поклонились направо и налево низким поклоном и под звон комариков начали свое представление.

Сперва жучки опрокинулись на спину и притворились мертвыми, потом уперлись шеей и крыльями о твердую щепку, сделали громко: «крик-крак!» — и взлетели на воздух. В воздухе щелкуны перевернулись и стали как раз на место друг дружки; один только из всех не расчел прыжка и, перемахнув через щепку, бухнулся в воду. Хорошо, старая тетенька подхватила его своей перепончатой лапой и выудила из воды. Хотел покраснеть бедный щелкун и не смог: сквозь его черноту даже сильный конфуз не пробрался.

После щелкунчиков вышел на щепку усач-дровосек: свои большие усы он откинул назад, а в рот взял бальзаминовый лист с каплей меда — наградой для победителя. На эти усы выползли состязаться две мухи: огромная, важная, родня мухи-цеце, а вторая — просто мушонка из кухни. Обе стали на самый край жукова уса, одна правого, другая левого. А лететь мухам не позволено: одними лапками, пехтурой, доберись-ка до бальзаминовой чашечки! Которая первая доберется, той и капля меду.

Важную муху, родню мухи-цеце, даже бросило в жар при виде ничтожной соперницы, мушонки из кухни; она выпятила свой хоботок и, глазея на публику, побежала что было духу по гладкому усу и бух... прямо в черную воду.

Подхватила сама себя крыльями важная муха и улетела с злобным гуденьем под хохот всей публики, а мушонка из кухни дотащилась благополучно до меда и выела его весь. Мушонке все хлопали крыльями, а олень-жук сделал ее фрейлиной и велел сесть себе между рогами.

Пумпа так хохотала и била в ладоши, что у нее сделалась икота; ей пришлось выпить воды и, глядя на звезды, считать до ста; считала она не очень-то бойко, пока справилась, блошиные скачки пропустила.

Еще был бег зеленых червей-землемеров, состязание на скорость улиток с домами с улитками голыми и в заключение — прыжки кузнечиков.

Тот самый паук-крестовик, которого перехитрил носорог-жук, протянул по всей щепке нитку, для того чтобы у кузнечиков был одинаковый разбег. Едва паук рванул к себе нитку, кузнечики, вытянув ноги, как английские скакуны, лягнули воздух и полетели на берег.

В честь победителей грянула музыка: тарарум-бум!

Одни козявки ударили по цветочным разрывным семенам, другие же просто-напросто по своему толстому брюшку.

И это толстое брюшко жуков-барабанщиков, дубильщиков, пильщиков и просто навозных жуков гудело так славно, как у людей загудит медный таз, если его хватить палкой.

Но вот олень-жук опять широко развел рога и, сведя вместе, громко стукнул три раза, дал приказ начать танцы. Заплясали козявки попарно и кучами, а муравьи, потеряв своих дам-поденок, топтались глупо на месте, обняв свои муравьиные яйца.

Главная тетенька лягушат занозила о щепку свое белое брюшко и опрокинулась навзничь, — хорошо головастики тут как тут, сволокли ее в тину и приставили к брюшку пиявок: пусть сосут, пока занозу не вытянут!

Пчелкам-медоноскам тоже до смерти хотелось плясать, но они держали каждая по цветку львиной пасти, наполненному медом. По распоряжению оленя-жука мед полагалось пить только под утро, чтобы все обошлось тихо, смирно; но не угодно ль, под общий-то пляс, стоять пчелкам недвижно с своей сладкой ношей?

Шушукались пчелки, шушукались, — и, была не была, сорвались разом с мест — шасть к оленю-жуку с угощением. Ничего усиками не сказали, молча львиный зев ему подали.

Ничего пчелкам и олень-жук не сказал, в мед впился и рогами не двинул.

И пошло угощенье...

За оленем-жуком напились богомолы, напилась и большая медведка, стрекозки, и жук-барабанщик, и пильщик с дубильщиком, и вся мушиная мелюзга. Пила мед и девочка Пумпа, да еще самый липовый-разлипо-

вый. Выпила, в пляс пустилась: прежде всего с носорогом-жуком, потом со стрекозами и даже с мушонкой из кухни, которая взяла первый приз. Только от нарядного зеленого богомола отвернулась Пумпа, сколько ни качался он перед нею на длинных ногах, сложив лицемерно хитрые щупальцы, те самые, которыми он стер недавно в муку муравья.

Но вот комары хватили камаринскую, богомолам хмель в голову кинулся, забыли они про то, что святоши, да как на задние лапки вскинутся, а передними — дрыг-подрыг! Все чины свои, все заслуги отбросили — и ну плясать танец негров — удалой кэк-уок.

Хохотала девочка Пумпа, хохотала, да и спать захотела: один глазок у ней сразу закрылся, а другой успел подсмотреть, как олень-жук развел вдруг рога и зажал богомолов. Сколько ни ерзали богомолы, сколько ни крутили зелеными лапками — не вырваться им, клещами затиснуты.

Хорошо, медоноски догадливы: поднесли оленю-жуку нового меду, такого крепкого, что он, как выпил, сейчас рога распустил, сам на спину — хлоп, и почетный балдахин продырявил.

Освобожденные стрекозки порхнули встречать восход солнца, богомолы, крадучись, выбрались из кустов, мушки, мошки, комарики — кому куда надо.

Кузнечики затрещали в кустах — ночь кончилась, началось утро.

Добрый жук-носорог расправил шоколадные крылья и снес спящую Пумпу в кроватку.

Там он сказал над ней заговор, снял с рога красную бузину и, положив ее девочке в правую ручку, улетел восвояси.

Когда наутро Пумпа разжала свою ручку, увидела красную бузину, она так ей обрадовалась, что сейчас же спрятала в золотую коробочку и надписала чернилами: «Носорогов подарок».

1914

Тамаре

ХИТРЫЕ ЗВЕРИ

I

У кадета Васи папа с мамой давно умерли, и он должен был слушаться только бабушку с дедушкой. Зимой Вася учился в корпусе, а летом ездил в деревню. В деревне дом был большой, с стеклянным балконом, а за домом и сад и огород.

Дедушка, толстый и ласковый генерал в отставке, чинил все, что было поломано: будильники, кофейные мельницы, или снимал с фруктовых деревьев червей. Бабушка, небольшая и тоже толстенькая, целый день варила варенья на стеклянном балконе, перебирала грибы, сушила малину и то и дело кричала: «Лукерьюшка, банку! Лукерьюшка, уксус, перец, лавровый лист!»

Старуха Лукерьюшка жила на кухне, пекла пироги, чистила клетку зеленому попугаю, а когда господа уезжали в город, ей одной отдавали ключи. Зубов у Лукерьюшки было всего-навсего два — один наверху и один внизу. Слышала старая плохо, а видела и того плоше: зачастую с пустым барыниным капотом говорила, как будто с самой барыней.

— Сожжет дом старуха, недослышит, недосмотрит, воров в окно пустит! — охала бабушка всякий раз, как ездила в город.

— Ничего, обойдется! — успокаивал дедушка. — Зато меня старая вынянчила!

Вася-кадет был ужасный шалун: кроме удочек и ружья, привозил на лето еще и переэкзаменовку; но вме-

сто того, чтоб за книжкой сидеть, он — на дереве, он — в конюшне, в курятнике...

У кур Вася яйца таскал и себе бил из них гоголь-моголь. Вот из-за этого гоголя-моголя и вышла в доме большая история.

Дело в том, что в тот же курятник, но не за яйцами, а за цыплятами, кроме Васи бегала еще и лисичка. Она подползала неслышно, как умеют ползти одни только змеи, и хвать одного цыпленка за горло, и другого, и третьего.

Кричит петух на лисицу: «го-го, го-го!», кричит курица: «куда ты, куда ты!». «Го-го» и «куда ты» слышится только по-русски, а по-звериному это очень бранные слова, да лисе все равно. Наестся до отвала, а убьет еще больше, чем съест.

Вот однажды под вечер и встреться лисичка с Васей-кадетом в курятнике. Лиса живо зарылась в рогожи, с которыми была в один почти цвет, чуть дышит, не шелохнется, а сама глазом сквозь дырку все видит и ушки наставила.

Торк... торк... крутит Вася ложечкой гоголь-моголь. Побьет, побьет и полижет: по лицу видать — очень вкусно.

«Вот попробовать!» — глотает слюнки лиса.

И только Вася вскочил на минутку за бабочкой, лиса скок к гоголю-моголю и слизнула.

— Эге! — говорит. — Надо б и мне этак кушать.

Еще посмотрела лиса, что спит Вася на белых подушках, под беленьким одеялом.

— Эге! — говорит. — Вот и мне этак-то спать.

И задумала.

II

В густом лесу жил смешной зверь барсук. Он чуть больше лисы, неуклюжий, а по морде и по голове у него идут белые полосы. Барсук не очень-то умный, но жизни порядочной, аккуратной; нору роет на солнечной стороне, обложит ее мохом и листьями, а вверх трубы проделает, для чистого воздуха, — не любит, чтобы пахло дурно. А лисьего духа барсуки совсем не выносят.

Лисица все это знала отлично, и так как барсук ей был нужен для ее затеи, она выждала, когда он темной

ночью пошел за припасами, и прыг в его чистую норку; кругом себя хвост распустила.

Уже светало, когда барсук, нагруженный кореньями, возвращался к норе. Устал он, вспотел, язык высунул,— отдохнуть бы! Споткнулся об острую лисью морду, как рассердится:

— Пошла вон, пошла!

— Хоть сама я уйду, да мой запах останется,— сказала лисица, — а на завтра своих лисенят приведу, на послезавтра племянников, — после нас не продышишь!

Заплакал бедный барсук, сложил на землю припасы, а глаза утер лапками. Хвостом ему нельзя вытираться, у него хвост короткий.

— Утри, барсук, слезы, утри, — смеется лиса, — я тебе лучшую норку нашла: будешь спать на белой подушечке, под беленьким одеялом, будешь грызть сахар, и яблоки, и изюм. А изюм — это спрятанный на зиму виноград.

Барсук потер лапкой лапку, он очень любил виноград; но вспомнив, что лисица зверь хитрый, с опаской сказал:

— А что вы с меня взамен спросите?

— Хвост мне расчесывать — это первое, — сказала важно лиса, — а еще ты научишься быть на двух только лапах, потому что в моей новой норке ты будешь зваться уже не барсук, а Вася-кадет. Если хочешь узнать все подробности, беги за мной следом.

Лиса побежала в лес, даже не оборачиваясь на барсука, она знала, что в испорченной норе он все равно не останется. И правда, понюхал барсук хорошенько берлогу, с досады плюнул и побрел за лисицей.

Шли звери, шли, занозились, измазались, пробираясь сквозь чащу, наконец, когда рассвело, увидали медведя.

Разлегся медведь на лужайке, задрал кверху лапы, лежит себе, греется. Над ним солнышко, под ним мох зеленый.

— Эй, медведь! — кричит лиса еще издали. — Хочешь стать генералом?

— А чем я дешевле? — ухмыляется Мишка.

— Дурень, дурень, нашел что сказать, — смеется лиса. — Ходишь грязный, косматый, без галстука; жрешь что встретится, — хорош генерал!

Мишка-беспутный, так звали его все в лесу, был медвежонок, только что выросший в пестуны, очень сильный, громадного роста, но такой ленивый, такой обжора, что родители даже о нем не жалели, когда он своих братцев маленьких побросал и пошел где попало таскаться.

— Теперь, пестун, зима скоро, — сказала лиса, — а зимой хорошо в норе теплой. Ты как: сам нору сделаешь, или обратно в родительскую?..

Лиса отлично знала, что родители Мишку выгонят, если он к ним вернется, а самому ему нору сделать лень, да и поздно, вот-вот землю изморозь хватит.

Опечалился толстый пестун, взял прутик, прутиком когти чистит, чтобы скрыть слезы.

Лиса выждала минутку-другую, села рядом с Мишенькой на бугор и погладила его мягкой лапкой.

— Не кручинься, — ласкается, — я все пятки отбегала, а тебе зимнюю норку нашла, да какую! Будешь есть каждый день что угодно, будешь спать на перине под беленьким одеялом, будешь спрятанный на зиму виноград есть, который люди называют изюм. И меду, Мишенька, какой выберешь: и липовый есть и гречишный.

Медведь обрадовался и сказал:

— Даже очень хочу.

— Вот это, Мишенька, дело, ай, умник! — похвалила лисичка. — Через неделю господа уезжают: генерал, генеральша и кадет ихний Вася. Старушка останется старая, чуть видит, чуть слышит, да попугай зеленый.

— Попугай — кто такой? — спросил с опаской Мишка. — Он по морде меня не побьет, как мамаша?

— Что ты! — хохочет лиса. — Попугай сидит всегда в клетке, он птица, хоть и ругается, как человек. А старушка, чуть увидит тебя в генеральской одежде, наверно сочтет генералом!

— Гы... гы! — с удовольствием крякнул пестун. — А откуда одежду возьму?

— Об этом сама позабочусь, — сказала лиса. — Ты одно мне скажи: согласен идти в генералы? Подумай только, пестун: мед кушать, сахар, наливку хоть ведрами!

— Гы... гы... — кряхтит Мишка, — даже очень согласен.

— И отлично, значит, все господа налицо, — ухмыльнулась лисичка, — медведь — генерал, барсук — Вася-кадет, а я — сама барыня, сама генеральша.

И лиса побежала к усадьбе налаживать дальше свое хитрое дело.

III

Было еще совсем темно, когда лиса прокралась чрез густой барский сад к стеклянной террасе и против самых ступенек шмыгнула в кусты. На террасе блестела при полной луне попугаева медная клетка.

Попугай, зацепившись за железные прутья лапами, перевернулся вниз головой и думал о своей милой родине.

К опрокинутой голове кровь приливает, а попугаю чудится — это греет его индейское жаркое солнце, вокруг на пальмах качаются обезьяны, под обезьянами тяжелые носороги идут медленно к водопою, а вверху и внизу порхают чудесные птицы, такие ж, как он, попугаи.

И слышится вдруг сладкий шепот в кустах:

— Славный попочка, умный попочка, хочешь быть над зверями царем?

Живо перевернулся попугай, голова вверх, хвост книзу стал, как у всех попугаев, и скривил набок голову, слушает. Ничего. Кругом же одно огорчение: вместо пальмы береза, сам сидит в крепкой клетке, а птиц всего-навсего курица да петух. Опечалился попугай, закрыл глаза белыми веками. Опять голос идет от кустов, еще вкрадчивей прежнего:

— Хочешь, попочка, быть над зверями царем?

— Что такое! — закричал попугай недовольным бабушкиным голосом. — Пыль вытирать чисто, чисто.

Однако раскрыл оба глаза и с удивлением разглядел в кустах острую лисью морду.

— Меня к тебе, попа, звери прислали послом, — заюлила лиса, — хотят тебя вместо льва звать в цари. Ты по разговору почти человек, а человек даже льва держит в клетке.

— А-а! — сказал важно попка и поднял вверх лапку, а лиса знай свое тараторит:

— Как только люди уедут, принимай, попа, посольство.

— Клетку открой, клетку открой! — заорал попугай.

— Ах, попа, хотела бы, да не смею. Надо мной есть старше послы, барсук да медведь. Они и то мне не верят, что ты говоришь по-людски. Ты сперва должен при них по крайней мере дня два покомандовать над Лукерьюшкой, чтобы звери видели: человек попу слушает.

Попугай вычистил клюв, повел кругом глазом да как начнет нараспев:

— Ме-еду, Лукерьюшка, а масло, а сыр?

И вдруг взвизгнул:

— Дура, дура, дура... хлеб позабыла.

— Ох ты, попочка, царь лесной! — залилась лиса тихоньким смехом. — Ты нам два дня покомандуй, а на третий мы выпустим тебя на свободу, посадим на львиный престол. А сейчас до свиданья!

И она убежала.

— Пыль вытирать чисто, чисто! — сказал гордо попка и уже не перевернулся вниз головой. Ему казалось это неподходящим при его большом сане. Попка чувствовал на спине своей львиную гриву и топорщил зеленые крылья, чтобы казаться побольше.

IV

Была глубокая осень. Хлеб давно уже сжали, смолотили, а зерно увезли на соседнюю мельницу. Лен тоже повыдергали и сложили его мокнуть в речку. И так долго лежал в речке лен, что уже перестал бояться простуды и совсем позабыл, что когда-то цвел нежным голубеньким цветком.

Подвалы в усадьбе битком набили огородным добром: бураками, картофелем и морковью. Яблоки с грушами, как батальоны солдат, лежали рядками на полках. Всех девушек, работавших в огороде, барыня уже отпустила домой, наградив на прощанье алой и синей лентой.

Вася-кадет, зажав крепко уши, готовился с утра и до вечера к обеим своим переэкзаменовкам. Дедушка делал бесконечный список того, что ему надо было купить

в городе, а бабушка, хоть и охала, хлопотала с Лукерьюшкой над коржами, индюшками и пирожками.

Попугай, думая о предстоящем посольстве, что есть силы учился командовать, передразнивал барыню: «Лукерья, кур не забудь, Лукерья, одно тесто сдобное, другое крохкое, третье тесто так себе, на дрожжах!»

У дедушки разболелись ноги, ехать ему неохота, ходит себе да вздыхает:

— Ой, быть беде! Ой, лошади понесут, ой, ось пополам, не доедем до города.

А попугай подхватил, надрывается: «Ось пополам, ось пополам!»

Однако ничего себе, все обошлось. Лукерьюшка во-время подала всю провизию, кучер смазал на славу колеса, тройку козырем подкатил к крыльцу.

Бабушка нанизала ключи на большое железное кольцо и заперла его в саквояж. Кадет Вася со слезами прощался со своим попугаем, в последний раз набил пазуху и карманы морковками и, взяв в руки сумочку с переэкзаменовками, уселся грустный на передней скамье.

Прозвенел раз-другой колокольчик и стих. Лукерьюшка старая долго стояла еще на крыльце, крестя рукой воздух, чтобы господам путь был легкий, дорожка скатертью.

Вот уже смерклось, вот уже Лукерьюшка дом обошла с длинною палкою, в кустах ближних пошарила, нет ли где вора. Никого не нашла, успокоилась. Вот уже обеденных щей похлебала, сейчас будет ставни захлопывать.

И невдомек старой, что почти под носом у ней диво-дивное. На стеклянной террасе стоит столб мохнатый, от пола до верхней форточки, в нее конец столба лапами лезет.

Со стороны ничего не понять, а попугай в медной клетке все знает: столб мохнатый — посольство, его пришло звать на царство. Внизу, первый, медведь; упер свои лапы в колени, стоит сам на задних, морда веселая ухмыляется. Мишке на спину влез барсук, барсуку стала на спину лисичка. Вот она почти вся уже и в форточке. Прыгнула лиса в комнату, ключ в дверях повернула, двери настежь: пожалуйте, господа. Облизнулся барсук:

войти хочется, а дрожит, очень страшно. Медведь как поддаст ему сзади лапой, оба вместе влетели.

А лисичка, совсем одетая, уже кружится перед зеркалом: на ней капот барыни, ушки спрятаны под кружевную наколку.

Видят куры с насеста, смеются: ай, барыня!

Медведь еле-еле надел человечью одежду, кряхтит. Всюду тесно ему, неудобно. Зато барсук с удовольствием пролез лапами и головой в белую Васину рубашку, подтянул себя ремнем с бляхой, совсем Вася-кадет. А лисичка хватила утюг и обоим зверям хвосты поутюжила.

Потом лиса звонок взяла в лапу и сначала чуть-чуть, а там громче и громче позванивает: динь, динь, ди-динь!

Старая Лукерьюшка приставила заборами руки к ушам тугоухим: «Никак колокольчик! Назад господа возвращаются, не беда ль, прости господи!»

А беда ль не беда, одно знает Лукерьюшка: раз возвращаются, самовар чтоб сейчас на столе, потому час чаепитный.

Только Лукерьюшка в комнаты, а ей уж навстречу барин и барыня и кадет.

— Гы... гы!.. — как рявкнет вдруг барин медведем.

— Прости господи! — шепчет Лукерьюшка, пятится.

А лиса не глупа, схватила в лапы попугаеву клетку, сует когти меж прутьев. Забыл попугай про почет, про посольство, дух дикий близко почуя, как заорет вдруг последнее, что запомнил: «Ось пополам, ось пополам!»

— Сами-то живы остались, слава богу, — радуется Лукерьюшка и торопится ставить на стол все, что надо: и булки, и коржики, и оставшиеся пирожки.

— Варр... ренье! — кричит оправившийся попугай голосом Васи-кадета и гордо хорохорится в клетке.

Он уже не боится, что лиса его может съесть, как съедает обыкновенную птицу, он отлично знает: лиса, и барсук, и медведь — посольство из лесу его звать на царство. Для того и господское платье надели, чтобы в доме пожить, посмотреть, как командует он человеком.

— Лукерья, наливку! — говорит попугай барином-генералом. И спешит, спотыкается старая, ставит перед медведем бутылочку:

— Выкушай, батюшка, ваше превосходительство.

Наставила Лукерьюшка полный стол всякой всячины и ушла. Звери сейчас цап руками и в рот. Медведь банку с вареньем как опрокинул над пастью, так и не отнял, пока дна не увидел. Барсук густой пенкой морду измазал — не видать черной шерсти, весь белый, как мельник, ищет, чего бы еще ему съесть. В минуту все пусто.

— Попочка, покомандуй! — шепчет лисица. — Посольство в тебе сомневается.

Склонит попугай набок голову и заведет:

— Ме-еду, Лукерьюшка, масло и сыр...

Носит Лукерьюшка, носит, других мыслей нет в голове: «Натерпелись господа страху, свой страх заедают. На здоровьечко!»

Носит Лукерьюшка, носит, все чисто едят господа, пустые блюда назад подают.

Одно она не удержала да на пол, нагнулась осколки поднять, завизжала не своим голосом и на кухню. Медведь не успел сапог надеть, позабылся и мохнатую лапу выставил, старуха в медвежью-то лапу руками и въехала.

Хорошо, лиса дернула попугая за хвост; он разозлился, да как зачастит: «Дура, дура, дура»...

Услышала «дуру» Лукерьюшка, опомнилась, посветлела. «Что это, — думает, — мне бог знает что померещилось, должно быть заморские туфли барин надел».

Убрала все тарелки Лукерьюшка и спать полегла, а звери ее испуга сами так испугались, все за ширмой столпились, дрожат: а ну как старуха сейчас закричит караул? Прибегут мужики, кто с ружьем, кто с дубьем, снимут шкуры.

Медведь и барсук ни за что лисе не позволили огонь зажигать, хоть урезонивала их она, что за ставнями ничего со двора не видать; чуть стемнело, одежду с себя поснимали и положили для чистки на стулья за дверь: лиса сказала, так люди делают.

Вспотел медведь, пока толстыми лапами складывал, двадцать раз в мыслях и лисицу ругнул и себя самого за то, что из леса удрал.

Когда звери разделись, ширмы плотно к кровати приставили, заперли двери входные на ключ, чтобы

Лукерьюшка не вошла ненароком, и закрыли себя с головой одеялами.

Утром прыгнула лиса первая из кровати, капот со шлейфом надела, ушки спрятала под наколку и скорее в столовую. Занавески спустила, чтобы Лукерьюшке в слабом свете звериных морд не видать. А напрасно трудилась: если б Лукерьюшка и заметила, что неладно под чепчиком барыни, сама бы первая себе не поверила.

Опять звери много съели и выпили, а еще больше в узлы навязали: «понемножку все в лес перетащим», — учила лисица.

Осмелели звери, костюмами занялись: медведь галстуки все перерыл, что ни станет завязывать — в лапах порвет. Наконец выволок чистое полотенце и обернул себе шею.

Лисица все баночки, все пузырьки перетрогала, напомадила хвост себе так, что капает, а барсук часы нацепил. Не ест больше барсук, не пьет, лапы расставил и слушает: тик-так, тик-так, часы тикают.

Медведь нашел очки барина, надел себе за уши, взял в руки старую кофейную мельницу, уселся удобненько в кресло и знай себе... крутит.

Крутит мельницу медведь, крутит, и кажется ему, что он делает самое важное генералово дело. И такой сделался у него важный вид, что как стал барсук у пестуна сзади кресла на цыпочках, так и остался стоять.

А лисица задумала до конца все господское перепробовать, через попугая заказала Лукерьюшке ванну. «Вот, — думает, — буду-то после ванны пушистая».

Пока Лукерьюшка напускала горячую и холодную воду, лиса торопилась набрать всякой всячины из комодов. Себе кружевные наколки и бантики, барсуку красный Васин пояс, а медведь сам принес свою мельницу и очки.

— На сегодня, — говорит, — я накрутился, а завтра крутить буду в лесу, надоело мне здесь: ни крякнуть, ни пикнуть, всего-то боишься.

— Ладно, Мишенька, ладно, — кивает лисица, — сегодня вечером и уйдем, дай только ванну возьму. Ты мне, Миша, спинку намылишь, а барсук хвост расчешет.

Лисица отлично знала, что настоящие господа не сегодня-завтра должны возвратиться, из осторожности приказала барсуку узлы стащить в ванную комнату: «чуть что, мы с узлами в окошко махнем».

Лежит лиса в ванне, распарилась, разморилась, ко сну ее клонит. Под мордочкой у нее подушечка-думка: медведь приспособил генераловы галстуки — все связал, поперек протянул, а на них подушку.

Вот уж и хвост лисий от помады отмылился, сам собой вылез наружу, барсук его высушил, теперь гребнем расчесывает. Вот уж медведь взял мохнатую простыню, расставил лапы, держит: выходи, лисанька.

— Ах, всем косточкам весело! — хвалит ванну лисичка. — Будто под летним солнышком, еще, Миша, минуточку... и еще... и еще.

И заснула лиса. Сладко спит, снов не видит. Жалко медведю ее разбудить, стоит с простыней, позевывает, охота ему снова мельницу помолоть.

«Вот, — думает, — скоро как я сделался генералом».

А барсук не думает ничего, сидит себе на скамеечке, хвост лисий чешет.

И не чуют звери, что тройка в ворота влетает. Едут без звону, с подвязанным колокольчиком. Надоел в пути барыне, приказала убрать. Обочлась днем лисица, скорее в городе управились господа и обратно.

Вот подъехали. Что такое? Лукерьюшка пьяная или помешалась, спрашивает: «Как прикажете доложить?»

— Дура старая! — крикнула барыня.

— Дура старая! — откликнулся попугай.

Вошли в комнаты, все перерыто, в граммофонной трубе торчат старые кости, ковры залиты; воздух такой, что без зажатого носа и шагу не сделаешь.

Открыла генеральша дверь в ванную, да назад хлоп! — и в обморок. Заглянул за генеральшею генерал.

— Эй, жандармы, — кричит, — полицейские!

А медведь на него как оскалится. Генерал себя хвать за голову и упал с генеральшею рядом.

Лисичка очнулась, как была, мокрая, прямо из ванны командует:

— В лапы узлы, айда!

Стал пестун под окошком, барсук пестуну прыгнул

на плечи, лисица — сверху. Раскрыла окошко и раз — сама, два — барсук, три — пестун. Узлы за плечо перекинули — и лови, кому бегать охота!

Очнулись генерал с генеральшей, глядят: в ванной пусто.

— Слышишь ты, — говорит генеральша, — не смей никому говорить, что вместо нас жили звери, это еще ни с кем не случалось, а потому оно неприлично, и над нами будут смеяться.

1914

ПЬЕСЫ

ПРИЧАЛЬНАЯ МАЧТА

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ АКТАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ермилов — начальник экспедиции.
Анна Федоровна — его невеста.
Древс — капитан «Победы».
Ремешков — штурман.
Петрик — стюард.
Ока — молодая ненка.
Товкач, Кашлатый, Падеркин, Выкин, Доков — матросы.
Дарья Логовна — завхоз станции «Причальная мачта».
Илья Капитоныч — кок.
Крон — радист.

АКТ I

За полярным кругом, у Новой Земли. Слева — небольшое судно «Победа», вмерзшее в льды. Справа, на ледяной полянке, матросы Падеркин и Кашлатый оканчивают снаряжать каяки для научной экспедиции Ермилова. Стюард Петрик им помогает.

Кашлатый. Ну, теперь в точку! Днище выстлано спальным мешком — вроде как у птицы-гаги в гнезде; вторым этажом продовольствие: сухари да пеммикан — по-нашему, мураши толченые. Аккурат с картинки! Теперь понапрем, засупоним... и с самим Ермиловым двинемся к норду! *(Орет.)* К но-о-рду!..

Падеркин. Заткнись, Кашлатый. Эк развезло тебя от прощального обеда. Рассупонь каяк-то. Медикамент забыл? Индивидуальный пакет Анна Федоровна принесет. Его, што ль, в зубы, как пудель?

Кашлатый *(развязывает)*. Что дело, то дело. Без медицины на полюсах — дело бамбук.

Кок *(подходит)*. Снарядились, научэкспедиторы? Наше вам с кисточкой! *(Подает банки консервов.)* Вот вам. Ложите гостинец куда поспорчей. Эх, Кашлатый, с кем без тебя гагарок бить стану?

Падеркин. Чего, кок, причитать вздумал? К лету как раз и будем назад. Дойдем с Ермиловым до его градуса, и обратно.

Кок. А хочешь на пловучую льдину без всяких градусов? К самой к полярной матушке? На полюсе, брат, декретов не пропишешь. Вот вмерзли мы тут — и никаких гвоздей, пока лед сам не сдвинется. Уж лучше на месте сидеть, чем по чужому делу замерзнуть.

Кашлатый. Хорошо чужое! По научное открытие идем! Во всесоюзном масштабе.

Кок. Во всесоюзном, да не в твоем, деревня! Ну-ка, скажи, коль знаешь, чего ради охотником вызвался?

Кашлатый. А вот и скажу! По целым двум пунктам вызвался. Пункт первый — для ради лозунга дня, именно революция на культурном фронте. Пункт второй — по сознательному мечтанию иду: на Землю Франца-Есифа желательно мне попасть.

Петрик. Эк куда хватил! Путь научэкспедиции совсем не в ту сторону. Ермилову необходимо сделать промеры вблизи мыса Медвежьего.

Кашлатый. И хорош стрелок, а когда попадет, когда спуделяет. Бывает: целишь в ворону, а попадешь в корову... Снится она мне, эта Земля.

Кок. Ну и что ж? Особо как хороша?

Кашлатый. Хороша. Пу-устым-пустая земля. И белая!.. До того, мамоньки, она белая — ну, совершенно холсты, один к одному. В Смоленской губернии у нас вот так бабы холсты белить на солнце кладут. Побелены несметны холсты — Франца-Есифа Земля. И с чего-то, ребятки, до того мне выходит родная — не увидевши не помру.

Кок. Ну и Кашлатый! Клоун-эксцентрик. Чего, спросить, здесь-то другого видал, кроме белого пустыря? Что до меня, товарищи, я на полюсе жить согласен не иначе, как когда там какую «Асторию» разведут. В кают-компании слыхал: проектируют «Дворец на полюсе» — циклоны обслуживать. А где люди, там прейскурант вин, там старший полярный кок — во всесоюзном и вполне интернациональном масштабе. Хе-хе! Стаж невредный! «Товарищ старший полярный кок, а какое такое, спросят, сегодня пля де жур?» — «Суп пармезан а ля рен, провансаль на тюленьем жиру...» Белого Мишку пломбир крутить приспособим... Хо-хо!

На судне бьют склянки.

Падеркин. Скоро Товкач с ревизией грянет.

Кок. Да у вас все готово. Еще в камбуз на минутку поспеете. Для вас, други, есть экономишка от обеда. Напоследки такого сливанского вам закачу!.. Что пред ним спотыкач!..

Падеркин. А ты, Петрик, при каяках побудь. Неровен час, медикаменты принесут: принять надо.

Кашлатый. Мы, браток, живым манером. Посошок в путь-дорожку и назад. На твою долю, Петрик, мы обязательно... обязательно...

Петрик. Ладно, катитесь. Подожду.

Все, кроме Петрика, уходят.

(Вынимает бумажку и читает.)

Стоит ей своим дыханьем
Только раз на землю дунуть —
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки.

Это собственно поэт про весну, а я списал и думаю про Анну Федоровну. Пожалуй, довольно я ее подготовил за последние дни. Как придет, сейчас ставлю вопрос — я или он. Ясно, что Ермилову наука ее определенно выключает из сознания.

Входят капитан Древс, штурман Ремешков; Петрик прячется за ледяные торосы.

Капитан *(с сильно немецким акцентом).* Верьте мне, Ремешков, вы не имей причина мучить ваша совесть. Наша разумная Idee не есть состав преступления. Я вам буду еще один раз повторять: я брал на мое судно научэкспедиция Ермилов одним случаем. Он просил в последний момент, когда делался больной капитэн зафрахтованной для его дела шхуны. Я делал уговор возить его до бухты Крестовой. Он уверял — там будет ждать его одно замешательны открытие. Nun, он брал высоту, делал промер и разны учены манипуляции, aber keine Spur.[1] Он гнал нас в этажи выше, — очень хорошо; я брал еще градусы — опять ни одного знака открытия. Штурман Ремешков, я не есть мештательны голова из породы тех, кто хочет садить первый на северны Pol, я есть капитэн коммерчески судно, я имею своя карьера в высоко культурны страны и к ученому из страна Совет я хочу быть только лоялен. Повторяю, Ремешков, я и есть лоялен. Наша фамилия Древс — все абсолют лояльны люди. А ученый из страна Совет сам не знает, что хотеть от страна вечный лед. Он, может быть, Ремешков, имеет щупать пальцем весь океан, чтобы находить seinen meteorologischen Punctum.[2] Но мне за ним не очень надо прыгать. Совсем напротив! Как это, Ремешков, у вас говорят: кто скоро прыгай, тот плохо попадай домой.

Ремешков. Вы, верно, капитан, хотели: тише едешь — дальше будешь.

Капитан. Jawohl, Ремешков. Я люблю ваш русски язык.

Ремешков. А все бы лучше, капитан, сказать на совесть Ермилову, что динамиту малая толика у нас есть. После первой хорошей бури, едва лед надтреснет, мы его

---

[1] Но никаких следов *(нем.).*

[2] Свой метеорологический пункт *(нем.).*

взбодрим — и фьюить в чистую воду. Мы, дескать, хотим домой в Архангельск, а вы себе как хотите. Поверьте слову, он все равно уйдет. Ученому коль втемяшилась какая комариная пятка, уж он не усидит на месте, пока ее не найдет. Право, капитан Древс, лучше нам все честь честью, лучше сказать про динамит.

К а п и т а н *(в волнении)*. Нет! В этом нет ничего возможного, Ремешков. Не кладите под мое колесо ваша палка. Мы должны громко повторять Ермилов, что мы не имеем совсем динамит, что наш бедный боцман его совершенно выбрасывал за борт. Я экипажу объяснял: боцман имеет одну манию, что Ермилов уведет нас всех на северный Pol, и когда лед охватил судно, он обрадовал и утопил динамит. Это крепко придумано, Ремешков. Col-los-sal!

Р е м е ш к о в. Но кроме Ледовитого океана есть еще суша, капитан. Как мы на суше оправдаем наш уход?

К а п и т а н. О штурман Ремешков, вы не есть Шерлок Холмс! Какое есть ваше мнение: долго ли может протягивать свою жизнь наш бедный боцман?

Р е м е ш к о в. Да, сдрейфил бедняга, что говорить.

К а п и т а н. Есть, Ремешков. Отдавайте ваш ответ дальше. Может быть, что боцман перед смертью приходил в себя из тихо безумного состояния и делать еще одно признавание, что динамит им не выброшен, а, напротив того, есть спрятан. Он даже может указывать место. Перед смертью человек всегда должен иметь свою совесть. Слушайте, Ремешков, наш экипаж давно в цынге лежит на койках. Запасы брали на месяц, а живем здесь три. Конечно, я приказывал делать экономия, я в секрете умел сохранять провиант. И все-таки, не считая больных, у нас должен оставать минимум экипажа: только четыре человека мы можем без голода доставлять на земля. И этот минимум, Ремешков, есть: я, вы, стюард Петер, чтобы лазить на мачта, и кок, чтобы делать кухня. И сверх комплект, как один счастливый выигрыш, — прекрасная Анна Федоровна. *(Поет.)*

Ach, Annchen war ihr Name,
Sie war die schönste Dame,
Die Dame zum Plaisir.[1]

---

[1] Ах, Анхен было ее имя, она была самая красивая дама, дама для услад *(нем.)*.

Р е м е ш к о в. Но все-таки как выполнить дело с уходом, капитан?

К а п и т а н. Это вы будете смотреть в назначенный час, Ремешков. Придя в Архангельск, я буду давать подробный отчет, и я первый буду радовать, когда за ученого из страна Совет Ермилов будет ходить одна шхуна тоже из страна Совет. Но прыгать в его след, как одна блоха, — bitte schön! [1] А вы, штурман Ремешков, вернетесь в ваш дом к самая ранняя весна. Вы будете копать ваш маленький сад. О, я знай, вы есть любимый садовый фруктовод! *(Хлопает по животу Ремешкова.)* А, Ремешков, антоновски яблочко! О, я тоже есть любитель на один свежий яблочко! *(Поет.)*

Ach, Annchen war ihr Name...

П е т р и к. Негодяй! Предупрежу Анну Федоровну... *(Убегает.)*

Р е м е ш к о в. Последнее слово, капитан Древс, — вы, значит, все это дело берете на себя? Только на себя? Я знать ничего не знаю?

К а п и т а н. Когда с вами ваш капитан, ваше дело, Ремешков, слушать и... *(палец к губам)* молчать. А теперь идите давать распоряжения. Проводы экспедиции имеют быть на палуба.

Р е м е ш к о в. Есть, капитан. *(Уходит.)*

От судна к каякам с индивидуальными пакетами для экспедиции идет А н н а.

К а п и т а н *(преграждает ей путь)*. Очень хороший вечер, фрейлейн Анна.

А н н а *(кланяется мимоходом, хочет пройти. Древс ей ловко целует руку)*. Я тороплюсь. Надо передать экспедиции...

К а п и т а н. Матросы ein bischen [2] выпивают с коком, и я рад быть с вами одна минута глаз на глаз. Ах, Анна Федоровна, отчего вы совсем не хотите вспоминать, как мы с вами три года назад были очень хорошо знакомы? Вы с экскурсантами приезжали в наш город, вы смотрели мое судно... мы немножко с вами крутил. Ха-ха! Нас немножко стрелял из лука бог Амур, der lustige Kerl. [3]

---

[1] Нет, уж увольте! *(нем.)*.
[2] Немного *(нем.)*.
[3] Веселый парень *(нем.)*.

И голосок у вас был как у одной ласточки: и вы все пели куплет из Жирофле Жирофля. *(Напевает без слов.)*

А н н а *(смеется)*. Вы безбожно детонируете, капитан. *(Поет немного, вдруг спохватывается.)* Но я совершенно изменилась с тех пор, капитан Древс. Я — невеста Ермилова, и, право, нехорошо, что вы всякий раз при встрече пытаетесь вызвать в моей памяти те случайные дни безответственной ранней юности.

К а п и т а н. О, die süsse Zeit! [1] Незабывающие дни! Фрейлейн Анна, я вас так потом искал, я справлялся, но вы, как говорят, капнули в воду. И вдруг так необыкновенно мы встречаемся, и опять на этом моем корабле. О, это судьба! S'ist fatal! *(Подходит близко.)* У меня в каюте есть пианино, мы будем вспоминать.

А н н а. Повторяю в последний раз и окончательно, капитан Древс, я невеста Ермилова и совершенно новый, иной человек.

К а п и т а н. Прошу извинять, Анна Федоровна, но ваш жених не торопит жениться. Он торопит уходить от вас. Секстан и другие измерительные приборы ему есть более нужны, чем вы. О, не сердитесь, фрейлейн Анна! Я возьму терпение, я буду ждать, когда вы делаетесь опять любезны. *(Берет под козырек и уходит, видя, что от кока идут к каякам Падеркин и Кашлатый.)*

А н н а. Падеркин, Кашлатый, вот вам индивидуальные пакеты. Здесь все необходимейшие лекарства. Осторожнее — и очки тут. Имейте в виду, их надо надевать много раньше, чем разыграется снежная слепота. Ведь это очень мучительная болезнь.

П а д е р к и н. Премного благодарны, Анна Федоровна. Всю вашу лекцию упомнили.

А н н а. Вазелином мажьте носы пожирней, и тоже — пока не хватило морозом.

К а ш л а т ы й. Ишь как она, мамочка, на нас разоряется, ровно б наседка на цыпок.

А н н а. Скорее на утят — выросли и уплыли, а я сиди на берегу да квохчи. С какой бы радостью я с вами пошла!

П а д е р к и н. Нельзя, Анна Федоровна. На первом перегоне ножки протянете.

---

[1] О, сладостное время! *(нем.)*.

Петрик *(вбегает в крайнем волнении)*. Анна Федоровна, я вас ждал, вы не шли. Всюду вас искал... Крайне важное сообщение! Уделите десять минут.

Анна. Вчера битый час говорили про свободное чувство, и сегодня и завтра про то же. Наперед знаю. Думаю, можно отложить, когда экспедиция уйдет.

Петрик. Нет, пока не ушла. Немедленно! Все надо бросить и слушать.

Анна. Вы просто в аффекте. Я этого не выношу. И это, знаете, бестактно: до отхода экспедиции остается какой-нибудь час, и все минуты я желаю посвятить только ей. Каяк Ермилова еще не готов, а вы тут...

Петрик. А, так!.. Действительно, мне нечего хлопотать. Только помните, я предупреждал. Я хотел по-хорошему. Я хотел... А впрочем, плюю на романтику!.. *(Убегает.)*

Кашлатый. Чисто жеребок, коли ему шкипидару под хвост...

Падеркин. Молодо — зелено. Однако правильно старики говорят: баба на корабле — пропасть кораблю. Извиняйте, Анна Федоровна, это из-за вас парень не в себе.

Анна. Довольно ерундить. Кашлатый, что за рассеянность! Топор на очки положил. Стекло разобьете — кто вам тут вставит? Разве белый медведь...

Кок *(выглядывает из-за тороса)*. Товкач налетел. Говорит: торопи, чтоб камни носили. Да вот он и сам.

Товкач *(коку)*. Тебя, кок, треба посылать одну смерть шукати. *(Кашлатому и Падеркину.)* Эй, братва, тащи заготовку. В честь экспедиции воздвигать будем гурий. Отчего проволочка?

Кашлатый. Каяки уминали, товарищ Товкач.

Товкач. И за ворот заливали. Це дило. Ну, таке ваше щасте, что прощальный, как говорится, час. А не то и тебе б, кок, влетело. В наказание таскай, толстопуз, с нами камни. Ну, швидче, веселей!

Кашлатый. Товарищ Товкач, а томно чего-то самому себе на памятник эти камни таскать. У нас, в Смоленской губернии, такая примета: кто при жизни крест закажет, тотчас помрет.

Товкач. Дураки у вас в Смоленской губернии. Раньше своей смерти никто не помрет. К тому же гурий

ни трошки не крест, а окончательно научное обозначение из конусообразно сложенных камней. Посредине сохраняют железную коробку с документом для ознакомления последующих экспедиций. Всюду, ребята, нам смена идет: на суше, как и на море. В Ледовитом же океане, товарищи, после «Красина» держись как в комсомоле перед чисткой — хоть до́хни, а нагрузку выноси.

Падеркин. Небось и мы не лыком шиты — знаем: благодаря того гурия узнают местонахождение погибшей экспедиции и то, как она в общем и целом использовывала науку.

Товкач. А коль знаешь, шевелись! Веселей! Я ж произведу инспекцию каякам.

Падеркин, Кашлатый и кок носят камни, складывают в конусообразную кучу, что-то поют. На первом плане Товкач с Анной по переписи осматривают каяки.

(Перечисляет по реестру.) Один ходомер... компасов аж три... Секстан.

Анна. Есть, товарищ Товкач.

Ермилов *(входит)*. Анечка, вот где ты. А я... везде тебя ищу. Наконец свободная минута выпала.

Анна. Пакеты у всех есть и очки. Твой каяк приведен в исправность.

Ермилов. Постучи, Анечка, пальцем. Не каяк — барабан. Это работа ненок. Они обтягивают остов сырой тюленьей шкурой. Отличный народ ненцы. Надеюсь, ничего лишнего в каяках? *(Пробует увязку.)* Слабо. Подтянуть. Увязано должно быть так, чтобы перевернуть и не выпало. Все дело в том, что...

Анна *(беря его за руку)*. Да уж Товкач научит. Платон, у нас с тобой счетом минуты. *(Уходят в сторону.)* Посмотри, какое небо. Вот наши звезды. Ведь это про них сказано: «Блещет алмазной подковой полярный венец»?

Ермилов. Да, да... северный венец. Буду на него смотреть и тебя вспоминать. Сентиментально... как немецкие молодожены. *(Обнимает Анну.)* Вот вернусь через месяц, и уж надолго. Женимся, Аня.

Анна. Знаешь, капитан Древс мне только что сказал, что тебе секстан и компас нужнее меня. И так противно смеялся.

Е р м и л о в. Однако... смеяться хочется и мне, Анечка. К кому приревновала. Компас и секстан! Конечно, они мне всего нужнее, когда я должен делать вычисления.

А н н а. Платон, не знаю, мне почему-то так страшно, что ты уходишь.

Е р м и л о в. Но, Анечка, дорогая, ведь через два месяца мы встретимся снова. Двинемся в Архангельск и назад домой. У тебя здесь столько работы. Время пролетит, и не заметишь.

А н н а. Платон, слушай, неужели нельзя меня взять? Я не буду обузой. Я здорова, сильна. Я столько мечтала, что вольюсь в твою работу и вместо обычного взаимного непонимания у нас окажется такая богатая, такая необыкновенная жизнь.

Е р м и л о в. Дорогая, с меня довольно, что ты веришь в мое дело. Это множит мои силы. Но, Анечка, если б я взял тебя с нами, я бы не мог отдаться совершенно работе.

А н н а. Правда? Ты бы помнил, что я где-то тут?

Е р м и л о в *(смеется)*. Опять ревность к секстану. Слушай, Анечка, серьезно. У нашего Союза шестнадцать тысяч километров береговой линии за Полярным кругом населено поморами. Быть может, именно мне выпадет на долю перевести их из нищеты в благоденствие. Анна, верь в мое дело. Большего мне и не надо.

А н н а. Но мне, Платон, мне надо больше. Мне бы хотелось самой в этом деле участвовать. А то кто я при тебе? Прежняя мужняя жена. Ах, как еще много нас таких — хотим по-новому, а живем по-старому.

Е р м и л о в. Зачем тебе непременно мое дело. Ты себе, Анечка, с в о е найди. У каждого свое, а вместе — отдых,— вот оно и выйдет новый союз...

А н н а *(прерывает)*. Прости, Платон, об этом не время. Ты сейчас уйдешь. Ну вот... обещай надеть вовремя очки! От снежной слепоты одно спасение. Глаза у тебя такие слабые. Ах, я стала бы твоими глазами, если бы ты заболел.

Е р м и л о в. Милая. *(Целует ее.)* Не заболею. Буду помнить наказ. Смотри, Аня, смотри, что на небе...

Северное сияние во всей силе.

А н н а. Изумительно. Голубое... зеленое. А вон там совсем аметисты.

Е р м и л о в. Нансен прав, что сравнить это можно только с далекой симфонией на немых трубах.

Т о в к а ч, за ним П а д е р к и н и К а ш л а т ы й

Т о в к а ч. Глядите-ка, товарищ Ермилов, хороши хлопцы! Жестянок слямзили.

П а д е р к и н. Это, товарищ Ермилов, еще гостинец от проводов.

К а ш л а т ы й. Тетеньки надавали.

Т о в к а ч. А вы да чтоб не слопали? Вали коку обратно в общий котел. А прочее все у них в каяках, товарищ Ермилов, как говорится, без последствий. Поклажа распределена. Хай берегут каяки, як очи. Назвались, братва, груздем, лезь аж в кузов.

Е р м и л о в. Теперь, товарищи, кончайте гурий. А мне из лаборатории надо еще кой-чего набрать из приборов. А там проводы — и к норду! Идем, Анна.

Уходят. Товкач, Падеркин и Кашлатый остаются.

Т о в к а ч. Не хотел вас, товарищи, перед начальником дюже ремизить. Ан за дело бы. До жестянок ли? Ведь вы, собачьи дети, теперь вроде научэкспедиторы, пионеры аж самого Ледовитого океану. Пора, товарищи, сознательно. Подумайте, под какой наукой пойдем? Под самой матерологией! Эта наука, товарищи, она погодами заправляет, вроде заведует полюсом. По-советски называться ей впору з а в п о л. Через эту науку, товарищи, мы все погоды в кулак зажмем. А как зажмем, то и разрешим эти наши наболевшие р а б о ч е - к р е с т ь я н с к и е н о ж н и ц ы.

К о к. Здорово, Товкач! Крой полюсы!

Т о в к а ч. Скажу вам, товарищи, еще более научно. Дуют на этом океанском полюсе циклоны просто и антициклоны. Вот советские наши ученые и надумали изловчиться — вроде их в капкан поймать. Матерологических станций настроим. Точки выищем. Точки тоже матерологические. И вот товарищ Ермилов такое исчисление сделал, что самая главная для нашего Союза точка должна объявиться неподалеку от мыса Медвежьего.

К а ш л а т ы й. А что будет, товарищ Товкач, когда мы подобную точку ухватим?

Товкач. Научно выражаясь, ты хочешь сказать, товарищ Кашлатый, какие воспоследуют отсюда практические результаты? Определенно следующие: мы этих, говорю, стервей циклонов в кулак зажмем, и не то, что Пулковская обсерватория — раз угадала, два соврала, мы всем по радии: обсевайтесь, граждане, сенокосьте альбо еще що сельскохозяйственно робите, бо одни добрые погоды дадим вам в препорции. А дрянные погоды катись к полярной к матери!

Все. Даешь полюс!

Подошедший Ремешков вместе с другими аплодирует Товкачу. На «Победе» вспыхивают огни, бьют склянки.

Ремешков. Товарищи, капитан просит всех на палубу. Нашарили в складе три забытых бутылочки шампанского.

Товкач. Что ловко, то ловко. На подобной широте бокал шампанского! Не замедлим, товарищ штурман. Не замедлим. Тильки трошки коло гурия кончать будем. Ставь, ребята, лампионы для освещения. Так. Ну, гни гопака. Гопаком аж на палубу.

Вприсядку облетают вокруг гурия и исчезают по направлению к судну.

Петрик *(порядком выпивший, идет пошатываясь по внешней лестничке парохода)*. Кок! Где научэкспедиция?

Кок. Ишь, назюкался! В хорошем виде на проводы идешь. Дай хоть башку холодной водой окачу. *(Прыщет водой.)* Ну, лезь на палубу.

Петрик. Кок, товарищ кок! Посочувствуй! Катастрофическое положение! Она меня и слушать не хочет, а ему я и сам говорить не хочу. Кок, товарищ кок, посочувствуй.

Кок. Он ей... она... ему... Тьфу! Баба на корабле — пропасть кораблю. Проманежился бы ты с научэкспедицией, Петра, опять человеком бы стал. Из вуза ты вылетел, к нам прикомандировался, и у нас не дело делаешь, а разлагаешься. Ведь не скроешь, почему остался? На Анну Федоровну моржом сопеть.

Петрик. По делу службы остался. Ты, что ли, с пузом на мачты полезешь?

Кок. Ну, лезь, лезь пока хоть на лестницу.

Капитан *(на палубе, подняв бокал)*. Поднимаем бокал в честь научной экспедиции и известный ученый Ермилов и говорим ей не «прощай», а «один новый свиданье». Если бы мы имели некоторые взрывчатые вещества, мы бы следовали за этой отважной группой вдоль берега, но мы имеем один черный порох, который подходит на ракеты или чтобы пробивать тюленю небольшой дыра, где он хотел выставлять свой голова. Но зато, по русски пословица, мы будем одно сердце из другого выдавать весточка. Ура!

Все. Ур-ра!

С факелами спускаются вниз к гурию. Впереди бегут кок и Кашлатый, суетясь, зажигают вокруг гурия шкалики.
Появляются Ермилов и Анна.

Ермилов *(с жестяной коробкой становится у гурия)*. Товарищи, права народов СССР на арктическую область, лежащую в секторе нашего Союза вплоть до полюса, бесспорны. По нашим полярным водам идет... сказать... великий северный путь на Дальний Восток. Состояние техники не давало до сих пор возможности использовать этот путь, чтобы дать выход во внешний мир северным областям Сибири. Необходимо изыскание точек для устройства метеорологических радиостанций, которые могут корректировать движение судов среди ледяных течений. Не менее важна... сказать... сигнализация о зарождении циклонов. Экономических выгод, которые отсюда могут последовать, сами понимаете, — просто не учесть. Мы с своей стороны приложим все усилия, чтобы двинуть это общее дело. У меня есть одна теория... впрочем, о ней сейчас не время. Сейчас, товарищи, по примеру, сказать, предшествующих исследователей... уходя, сказать, в неизвестную даль, мы опускаем в этот гурий жестянку с документами о цели нашей... сказать... экспедиции. Отправляемся в путь с верой в высокую задачу науки, которая одна добьется окончательного и совершенного раскрепощения человека.

Петрик *(с отчаянным видом протискивается к Ермилову)*. Товарищ Ермилов, отложите уход. Барометр внезапно упал. Товарищ Ермилов, будет страшная буря.

Ермилов. Ну так что ж? Это только означает, что мы с первых же шагов получим полярное крещение. В нашем деле ураганов не миновать.

Капитан. Браво, товарищ Ермилов. Не надо прогуливай в лесу, если не любить одного волка.

Ремешков. Есть, капитан. Волков бояться — в лес не ходить.

Голоса. Товкачу слово. Товкач скажет.

Товкача подхватывают и ставят высоко на камень.

Товкач. Товарищи, недалеко время, як дрались мы на всих фронтах. Жарко дрались, аж клочья летели. А сейчас, товарищи, как скоро на повистку дня згромоздилась революция аж на фронту культурном, будем и до сей лепиться всими думками. Бо, товарищи, що есть культурна революция? Це — кооператив аж в мировом масштабе. И каждый, по мере сил, ложи в нее свой пай.

И вот, товарищи, селедка. Селедка — она, товарищи, насыщает всего северного жителя, помора, аж на целый год. Или, товарищи, она вовсе его не насыщает, бо той селедки к берегу ни трошечки не прет. И той помор бегае совсим с пустым брюхом. Товарищи, вже наукой досконале дознано, селедка до берегов прет альбо не прет в полной зависимости от циклонов. Действия вышеупомянутых циклонов, выражаясь научно, применены могут быть в соответственном масштабе к произволу бывших империалистских генерал-губернаторов. Потому, товарищи, захотять те окаянные циклоны — задують, а не захотят — не дують, и гуляет сволочная сельдь без последствий. Товарищи, войдить в положение — ведь это ж для поморов совсем разница: то весь год они сыты, а то весь год им подведено брюхо! И вот, товарищи, мы с товарищем Ермиловым идем нащупывать таку точку, которая б на все сто процентов снесла самодержавие циклонов к самой к полярной матери. А селедку и треску погоним к берегам уж сами через подшефный нам циклон. И хай себе едят, товарищи, поморы той селедки, пока не облопаются. Вот вам, товарищи, в кратко популярных и вполне научных словах изложение нашей экспедиции. Даешь циклоны! Даешь полюс!

Все. Даешь циклоны! Даешь полюс!

Ермилов и Анна в стороне от всех.

Е р м и л о в. Я вернусь, Анна, и уже надолго. Мы не расстанемся, Анна.

А н н а. Не высидишь.

Е р м и л о в. Пеняй на себя, что выбрала такого непоседу. Однако за полгода... ну, за три месяца... нет, уж лучше за месяц. Да, за месяц я ручаюсь.

А н н а. Спасибо и на том. Ах, Платон, ты незаменим. Только если б поверил, что и меня надо брать с собой. В какую помощь тебе буду!

Е р м и л о в. Что ты, Анечка, тебя подвергать риску! Такую прелестную, хрупкую. *(Целует.)* Анечка, ведь наша экспедиция — ежеминутный риск. Опасность так и сторожит. Медведи, полыньи... где лед, чуть прикрытый снегом, не выдержит и легких каяков, жестокий холод, голод...

А н н а. Да что ты все о гибели? В последнюю минуту...

Е р м и л о в. Анюточка, ведь я чтобы тебя утешить. Будь за меня спокойна. Что бы ни случилось, я не перестану делать записи до последнего вздоха. И еще, Аня, знай, бывают случаи... Словом, если нам будет угрожать людоедство, знай, Аня, я... я никого не съем. *(Обнимаются, смех, слезы.)*

А н н а. Платон, ты единственный. Другого такого нет. Чем вздумал утешать? Людоедством! Слушай, я хочу проводить тебя.

К а п и т а н. Анна Федоровна, я должен вас просить оставаться на судно. Наш бедный боцман будет умирать каждая минута. Он очень слаб.

Е р м и л о в. Ну, иди, Анечка. До скорого, до скорого!.. *(Обнимаются.)*

К а п и т а н. Дальни проводы — ближни слезы.

Т о в к а ч. Все в препорции, товарищ Ермилов. Можно выступать.

Е р м и л о в. Выступаем...

Т о в к а ч. Кашлатый, труби.

Кашлатый трубит, поднимают флаг.

К а п и т а н. В честь научной экспедиции поднимается флаг. Салют!

Салют. Трубы. Экспедиция выходит.
Анна поднимается на лестничку, долго смотрит вслед экспедиции, пока не заглохла труба.

Фрейлейн Анна. *(Анна вздрагивает, приходит в себя.)* Фрейлейн Анна, вы будете навещать наш бедный боцман после меня. Я, впрочем, буду за вами посылать. Подождите немного здесь. Я иду вперед, чтобы брать у боцмана передачу документов его жене. Еще хочет мне бедный боцман делать одно признавание. Он сказал штурману: у него лежит один камень на сердце. Я сейчас буду посылать за вами, фрейлейн Анна. *(Проходит по лесенке мимо нее, на минуту останавливается.)* А вечером, фрейлейн Анна, вы будете навещать мою каюту, und wir wollen musizieren! [1] Один бог на облака — один капитэн на корабля. Но если я есть капитэн нашего судна, вы, фрейлейн Анна, есть капитэн моего сердца. *(Неожиданно целует руку Анны, идет быстро и легко напевая.)* Ach, Annchen war ihr Name...

Анна стоит неподвижно, глядя вслед экспедиции.

Кок *(тушит лампионы вокруг гурия)*. Ушли! Не посмотрел ученый на барометр. А бурища будет! У меня свой барометр — ревматизмы... Ох-хо-хо... Ну и гиблая здесь сторона, Анна Федоровна. Прямо сказать, холодная сторона. Одним ученым интересно. А Кашлатый за ними, спросить, куда? Тоже — «по мечтанию»... Эх, Кашлатый! Франца-Есифа Земля!..

Петрик *(вне себя)*. Барометр падает, падает... А я — подлец!

Занавес.

АКТ II

Ледяные просторы. Ровнушка, окруженная торосами. Входят усталые Падеркин и Кашлатый.

Падеркин. Не могу дальше. Вымок как сукин сын! Просушиться бы...

Кашлатый. За все время такой бурищи не было. А снегу-то — кот наплакал, нэпманке на мороженое. Чуть ледок прикрыло. Кто ж ее знал, эту полынью? Ступил — провалился. А Товкач налетел, убьет, думал. Кричит:

---

[1] И мы будем музицировать! *(нем.)*

«Ныряй за струментом...» Так-то батька мой, бывало, в пролубь, в крещенскую иордань сигал да сигал... дык ведь помер.

Падеркин. Окончательно б сбились с пути, кабы не эти ненцы. Заносит же косых чертей куда Макар телят не гонял. *(Пробует разбить палатку.)* Нет, нельзя ее, окаянную, разбивать. Руки как лед. Костерчик бы...

Кашлатый. Товкач сказал: к кромке льда пловучий лес прибило — плавник, што ль. Так чтоб до их прихода выбрали.

Падеркин. Черта с два! Пусть сам в ледяной каше пошарит. А мы и без того плавника огоньком разживемся. *(Выхватывает из каяка запасную рейку и зажигает.)* Мигом схватило. Грейся, Кашлатый!

Кашлатый. Что ты? Запасную рейку! Это, брат, до конца экспедиции беречь надо было.

Падеркин. Кому конца ждать, а кому и начала довольно. Не крепостной, чай, охотничком шел. Да кто ж их знал, что они будут в конец ненормальные люди? На матерологии как помешаны. Тут вьюга, метель снег за спину, что наждак колючий, сыпет, а они — знай свое: стойку делают, воду меряют, ветрам запись ведут. Тьфу! Замерзнешь на ходу, они и не расстроятся. Правду говорят, что ученому букорашка последняя, паразит, дороже человека. Уставится он в него скрозь стекло и заглохнет, часами не дышит. Дался я ему, что ли, дешевле того паразита? «Пошарь, говорит, в кромке льда плавничку!» Кашлатый, будем вертаться, пока время. Пока вовсе к полярной матери не попали.

Кашлатый. Что ты задумал, блазнитель! Слышать не хочу! Угреюсь, просохну, просплюсь — и дальше. Вот послушай, хорошу ли я птичку под грудями пронес? В полынью как ухнул, и то не выпустил. *(Вынимает из-за пазухи маленький старинный аристончик.)* Музыку эту тятенька еще до старой империлистской войны купил. Ведь это на войне она французским гимном обернулась, а то все запрещенной какой-то была. *(Играет «Марсельезу».)*

Падеркин. Не дури, Кашлатый! Обратно нам, говорю, идти надо. А без компаса, слышишь ты, нипочем не дойти.

Кашлатый. А я дома завсегда без компаса — я по адресам хожу.

Падеркин. Брось, Кашлатый, блажить, говорю. Сейчас Ермилов с наукой своей придет — поздно будет. Решай немедля: идешь со мной ночью назад? А коль идешь, согласен у Ермилова компас взять?

Кашлатый. Последний-то компас? Нипочем! Без него ему ничего матерологического не взять. «Зеницей» он его зовет; как ляжет — в спальный мешок себе под голову. Блазнитель! Последний компас украсть!

Падеркин. Дурак! Когда в твоем доме пожар, есть тебе время думать, свои или чужие сапоги обуваешь, чтоб от огня убежать? А вдруг опять пурга? Как кружили-то! Как томились... Снег глаза залеплял. Погибали. *(Подходит близко.)* Вот что, Кашлатый, я все равно уйду, а тебя и одного мне вдогонку пошлют. Пожалеют, думаешь, ученые? Они, брат, по-своему тоже рвачи. Для науки родной матери не жалеют. Живот вспороть могут, из покойников студень варят — языком спробуют. Один такой-то, слыхал я, в газете написал: лжепредрассудок людей хоронить, вали всех покойничков на поля орошения, заместо жирных туков. А наш-то Ермилов — вконец ненормальный и Товкача с ума свел.

Товкач *(голос за сценой)*. Па-дер-кин! Каш-ла-тый!

Кашлатый. Угу-у!

Товкач *(выглядывает из-за тороса)*. Есть, товарищ Ермилов. Здесь они.

Товкач, потом Ермилов входят.

Ермилов. Что ж, для лагеря ровнушка подходящая.

Товкач. Ровнушка — что надо: копыто не пишет, и торосами прикрыта. От ночной вьюги отогреемся. А вы, раззявы, что ж это палатку не дóбре поставили? Ишь, схилилась вся, як небога. А костер, хлопцы, напоследки палить треба. Костер, когда все в сборе.

Кашлатый. Да ведь мы после полыньи, товарищ Товкач. Зуб на зуб не попадал.

Товкач. Кто ж тебе виноват, тюлень? Да тебя б самого в эту полынью стоило.

Кашлатый. А сам бы ты без ненцев в том урагане не пропал? То-то! Я ж человек в полюсном поясе новый.

Ненцы одни тут хозяйствовать могут, потому народ первобытно-кочевой. Чем им холодней, тем вольготнее.

Т о в к а ч. Не чеши языком! Опять нашкодишь. Здесь подтяни... Там спусти. *(Показывает, как ставить палатку.)*

П а д е р к и н. Есть, товарищ Товкач!

Т о в к а ч. Ну, теперь внутри шевелись. Постели и мешки не прямо на лед. Эх, головы! С каяков бери боковой брезент. *(Подходит к Ермилову, который проверяет записи и вычисления.)* Как вспомню, что эти дьяволы третий каяк утопили, а с ним аж оба два компаса, так на них руки и чешутся.

Е р м и л о в *(между делом)*. Оставьте. Уж им довольно за это дело попало.

К а ш л а т ы й. Обратите внимание, товарищ Ермилов, этот Товкач всегда, вроде как бывшие империлистские начальники, десять раз по одному месту пороть норовит.

Т о в к а ч. Сказал! Да из тебя б в таком разе шкелет один оставался. А то, гляди, какой гладкой. Ну, веселей шевелись! Сыпь в котел пеммикан. Отдыхают тут, брат, одни тюлени. Да зато ж их и бьют.

Е р м и л о в. Да, товарищи, в научэкспедиции один отдых — перемена работы.

Т о в к а ч. Загрузли руки, валяй ногами; а уж башкой двигай всегда. Не гулял бы у вас ветер в башках, того б каяка не сгубили. Вот привал сделаем, трохи ненцев обождем — и дальше.

Е р м и л о в. Подбодритесь, товарищи, примерами предыдущих экспедиций. Если там в котле все готово, вы, Товкач, разлейте нам по порции. Будем насыщаться и поучаться.

Т о в к а ч *(разливает)*. Ты, Кашлатый, чего ж это пеммикану вдвое насыпал?

К а ш л а т ы й. По-нашему-то сушеные мураши, товарищ Товкач, их сколько ни ложи, все равно не наваристо.

Е р м и л о в. Запасы надо экономить. В конце февраля еще могут хватить страшные морозы, а медведя и во весь этот месяц, пожалуй, не встретишь. Подбодритесь, товарищи, все это... сказать... пустяки по сравнению с тем, когда вас хватит цынга. Ноги распухнут, страшная боль, зубы кровоточат... Только бы лечь. Так и просят больные:

оставьте помереть... Но я, товарищи, идти вас заставлю. С Товкачом, сказать, насильно вас поведем. Ведь дать вам лечь, товарищи, — конец... не встанете. И будете у меня передвигаться! На сведенных ногах, помогая себе руками, наподобие, сказать, человекообразных обезьян. Вы пойдете у меня...

Падеркин и Кашлатый пугаются.

Товкач. Товарищ Ермилов, позволю себе замечание осведомительного характера. Бо хлопцы не подбодряются, а, глядите, перелякались и исты перестали.

Ермилов. Это потому, что я свою речь не довел, сказать, до конца. Опасности, которые вам угрожают, должны, сказать, утроить вашу стойкость, мужество... Научить вас особому, ни с чем несравнимому... полярному терпению. И немало примеров. Вот штурман Альбанов... еще перед войной, пошел пешком от своего, сказать, дрейфующего во льдах судна к земле. Экипажу грозила смерть от истощения... разделившись, они думали, им, сказать, легче спастись...

Кашлатый. Ну и что же, товарищ Ермилов, они спаслись?

Ермилов. Они? Они погибли. Из четырнадцати пошедших с Альбановым вернулось домой двое. А судно с прочими пропало... сказать, без вести.

Падеркин (*злобно*). Хорошо подбодряете, товарищ Ермилов.

Ермилов. Но зато, товарищи, эта экспедиция доставила несколько важных сведений чисто научного характера. Подумайте, что же принесем с собой мы, если у нас специальная, сказать, исследовательская задача? И, кроме того, пора осознать вам, товарищи, насколько приятнее, сказать... умирать на всем полезной работе, чем, сказать, дома, от какой-нибудь дрянной бациллы. Воскресите в воображении последние, сказать, дни научной экспедиции Седова, про которую вам читали не раз. Дорога по тонкому льду сменяется непроходимыми торосами. Режущий ветер дочерна сжигает лица матросов. Они, сказать, еле справляются с нартой, к которой привязан их умирающий начальник. Седов и в забытьи не выпускает из рук компаса. Все сверяет, правильно ли держат путь к норду. Седов умирает во льдах с компа-

сом в руках. Седов... сказать... образец стойкости. Это, сказать, памятник героизма исследователя. А недавнее мужество красинцев? Самоотвержение наших летчиков обязывает, сказать, нас перед всем миром не снижать...

Товкач. Сыпьте, хлопцы, еще по порции! Чего носы повесили? Товарищ Ермилов вас ободрял только на случай погибели. А коль судьба вам вернуться, так вы ж себе вéрнетесь! Не корить хочу сейчас, тильки и я к слову скажу: вы утопили той каяк на хорошем месте, где б ему не треба вовсе тонуть. А предстоят вам, товарищи, тягчайшие переправы. Сами по зыбкому льду на лыжах, а каяки перетягивать на лямках. Они, окаянные, то скренятся набок, то устрянут в ледяной каше. Сигай за ними та сигай в самый Ледовитый океан, аж пока он не зробится Ядовитый. Хо-хо! Бо на льду, хлопцы, не имеется шинков, чтоб согреться. Ничего, братва, дойдем, куда дойти треба. Замерзать будемо — палатку спалим... каяки спалим. Сами — не помрем, так дойдем. А зáраз — до витру и в хатыну спать. Ночную вахту я стоять буду, а там Падеркина разбудим.

Ермилов. Товкач, берите секстан и прочее. Идем, сказать, определяться.

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов и Товкач подходят к торосам. Ракета.

Все. Ракета! Ракета!

Ермилов. Кто б это, сказать, был?

Товкач. А, ей-богу, ненцы. Батько с дочкой. Я ж старому и ракету давал. На табачок мáлицу хотел батько выменять.

Кашлатый. Эти ненцы ненормальный народ. Прямо сказать, первобытный. Ходят по льду как по земле.

Товкач. Не чеши языком. Мачту ставь живей. Сейчас луна — далеко мачту будет видать. Бери остатние каяки. Бери лыжные палки. *(Ладят мачту.)* Крепи флаг! Подымай! *(Поднимают флаг.)*

Ермилов. Товкач, а вдруг это кто-нибудь с нашей «Победы»? Сколько раз Анна поминала: в экспедиции Брусилова так-то три раза свои товарищей догоняли. Нравилось это ей.

Товкач. Не расстраивайте себя, товарищ Ермилов, бо не можно никому с «Победы» нас найти. Сами

вычисляли, что из-за метели снесло нас дюже к норд-осту. Одним ненцам впору найти. Они нюхом идут. Пойдемте, товарищ Ермилов, займемся делом науки. Ненцы тым часом пидыйдут. *(Берут мешок с приборами.)* Кашлатый, Падеркин, айда в спальные мешки. *(Уходят.)*

Падеркин *(влезает на торос)*. Кашлатый, лезь сюда. Два айсберга под луной как серебро горят. Ведь не сворует дьявол с неба луну. На лыжах мы до них мигом дойдем. Оттуда держать курс на базальтовы скалы. А дальше дело милое — большой ледник: под ним наша «Победа» вмерзши.

Кашлатый. Да ведь, если уйдем, никто в научэкспедицию уже нас не возьмет.

Падеркин. Чихать я на подобные вперед стану.

Кашлатый. А я подзакусил, и опять мечтания: бумагу б я мог получить. В своей Смоленской губернии б показал. «Из научэкспедиции Ермилова вроде научсотрудник Кашлатый». Я сейчас если б и ушел с тобой, вернусь, обязательно вернусь. С новым каяком вернусь. Тогда и корить не будут. А машинку свою я кают-компании предоставлю. *(Играет.)*

Падеркин. Брось, дурак! Сейчас они придут. Ермилов даст мешок с приборами положить себе под голову. Надо улучить минуту, когда опять убегут они свою науку выслеживать. Ведь у них что ни час новая забота. Они за торосы направо, а мы, надев лыжи и из того мешка выбрав компас, за торосы налево. И бежать нам, Кашлатый, пока ненцы не пришли. Еще Товкач нам вдогонку их науськает.

Кашлатый. Эх, неохота компас брать. Без него им матерологического ничегошеньки не взять.

Падеркин. Без компаса до смерти здесь будешь. Слыхал: четырнадцать было, два дошли. А ненормальный-то наш «ободрял»: хуже еще, дескать, бывает.

Кашлатый. В документ имена наши вписаны, в гурий положены. Научсотрудники мы, вроде ледовитые пионеры.

Падеркин. Скажите, сколь велика честь, куча камней да в жестянке бумага белым медведям для ликбезу. А цынга, Кашлатый? На больных ногах силком тянуть будут, слыхал? А голод!.. А купанье в ледяных водах?..

Кашлатый. Ой, не поминай! И сейчас трясет. Второго разу нежелательно.

Падеркин. А тут десять раз на дню. В кают же компании, Кашлатый, сейчас камин топится, кок ужин дает. На людях и смерть красна. Все не в ледяной пещере — под крышей помрем.

Кашлатый. А он блазнил помирать как Седов.

Падеркин. Пусть сам и мрет. Последнее мое слово, Кашлатый. Они придут, говорить уж будет поздно. Слушай: я все равно уйду, если ты струсишь. А уйду — тебя и одного пошлют. Они, брат, не милуют. А ведь один ты, раззява, пропадом пропадешь. Кашлатый, лучше сразу иди. Там на судне сманишь стюарду Пётра и ворочайся, коль охота. А сейчас, слышь, Кашлатый, обязательно иди.

Голос Товкача издали, потом ближе: «Ау! Ау! Кто идет?»

Падеркин. Скорей в палатку! Оба!

Входят Ермилов и Товкач.

Товкач. Ведь вот что значит наука-то. Зазяб было, устал, а занялись матерологическим — все позабыл. Вот уж правда: часто отдыхать — скоро подохнуть. А наши, видать, завалились и огня не задули.

Ермилов. Товкач, кладите в мешок все, кроме подзорной трубы. Мы сейчас еще разок пройдем скоренько налегке, льдину обследуем. Не тюлень ракету пускал. Ночь лунная: кто идет, издали видишь. Выньте трубу, а прочее аккуратнейше. И «зеницу» мою, сказать, туда же. *(Подает компас.)*

Товкач. Без компаса як без сердца.

Ермилов. Дайте, Товкач, я сам затяну. *(Затягивает мешок, отдает Товкачу.)* Положите в мой спальный мешок под голову.

Товкач идет в палатку и возвращается с трубой.

Товкач. Вы, товарищ Ермилов, с подзорной трубой, а я с трубильной. *(Трубит.)* Эти проклятые торосы все звуки заглатывают. Пойду потрублю за ними. Може, в добрый час кто отзовется.

Уходят. Из палатки вылезает, озираясь, Падеркин. У него в руках мешок Ермилова. За ним Кашлатый. За сценой труба, сначала ближе, потом все дальше.

П а д е р к и н *(вынул компас из мешка, остальное завязал, подает Кашлатому).* Ложи обратно товарищу Ермилову под голову. Ну, рушь скорее мачту да не греми. Хоть и ушли, а уши у них на макушке. *(Разбирает мачту, быстро надевает лыжи.)*

К а ш л а т ы й. Жалко мне товарищей обмануть.

П а д е р к и н *(наскакивает).* А себя не жалко будет, когда в ледяную кашу нырять пошлют? Когда ослепнешь? Когда цынга тебя хватит?

Кашлатый поспешно надевает лыжи, Падеркин все наступает.

Себя, говорю, не жалко будет, когда слепой, в цынге, на четвереньках поползешь? А Товкач тебя для понуки сзади ногой, ногой.

К а ш л а т ы й. Ой, мамонька! Ой, ой!

П а д е р к и н. А не пойдешь и с понукой — вовсе бросят тебя во льдах. Медведь тебя загрызет...

К а ш л а т ы й. Мамонька родная! *(Дает стрекача первый.)*

Труба за сценой — издалека, все ближе. Входят Е р м и л о в и Т о в к а ч.

Е р м и л о в. Как прекрасно, сказать, вы, Товкач, все понимаете практически. Высоту берете верно, и промер после вас хоть не проверяй. Хотелось бы, чтобы науку вы понимали, сказать, и по существу. Вот займемся сейчас, чтобы скоротать время, пока придут те, что пустили ракету. Повторяю, ведь не тюлень ее пустил.

Т о в к а ч. Старый ненец. Я ж вам кажу, сам ему давал. Ну-ну, товарищ Ермилов, займемся наукой, а оны пидыйдут. Это вы дело кажете, понять треба по существу. А сагитировать без понятия я, товарищ Ермилов, и сейчас добре могу на предмет матерологии. С циклонов начну да ка-ак шарахну селедкой... публика дюже сочувствует. Прямо скажу, товарищ Ермилов, верую я в науку, як маты-покойница в Троеручицу верили. А умственно объяснить не лучше их умею.

Е р м и л о в. Вот именно. Это, Товкач, пора, сказать, ликвидировать. Подумайте только. Я знавал одного астронома, у него даже пудель кончил тем, что изображал своей персоной, сказать, вращение земли вокруг солнца с вращением вокруг своей оси одновременно. Астроном

станет, как вы, Товкач, а пудель вокруг него — как я, и пойдет кружась на своем хвосте. *(Изображает.)*

Товкач. Ха-ха-ха! Ах он, сукин сын собачка...

Ермилов. Ну вот, Товкач, поймите, сказать...

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Поймите движение циклонов. Ваш пояс — экватор. Тут горячее всего. Вы сами, Товкач, земной шар. Ну, кружитесь.

Товкач кружится. Наверху одного из торосов появляется молодая ненка Ока. Она думает, что ученый и Товкач сошли с ума. Она закрывает лицо руками, качается, что-то шепчет по-ненецки. Потом открывает лицо, начинает водить руками над Ермиловым и Товкачом. Иногда берется за голову.

Стойте, Товкач.

Товкач. Есть.

Ермилов. Вы продолжаете быть земным шаром.

Товкач. Есть, товарищ Ермилов, земной шар.

Ермилов. Когда вы кружитесь *(показывает на Товкаче)*, у вас нагретый воздух от пояса — от экватора — идет вверх, к голове. Вы должны знать, Товкач, что горячий воздух легче холодного и всегда идет, сказать, вверх.

Товкач. Завсегда, товарищ Ермилов.

Ермилов. Итак, от экватора вверх, к Северному полюсу *(водит от пояса к голове и от пояса к ногам)*, и вверх — к Южному полюсу. *(Садится на пол и берет Товкача за носки сапог.)*

Товкач. Недоразумение, товарищ Ермилов, це ж самый низ, товарищ Ермилов, це никакой верх. Як так верх, коли воно от поясницы аж к пяткам?

Ермилов. Ничего не понял! Опять сначала.

Ока *(съезжает с тороса, перебегает от одного к другому, заклинает по-ненецки, вперемежку с возгласами)*. Угыда, Нум, Нум, Нум! Не надда ругать. Не надда ругать!

Товкач. Ха-ха! Уморила Оконька! Товарищ Ермилов, это она нас с вами заклясть хочет, по-ихнему зашаманить. Бо она решила, що мы сказились. Ох-хо-хо!

Ермилов. Это ты, Ока, ракету пускала?

Ока. Тату пускала. *(Изображает полет.)* Шш-пу!.. Тату пускала... Она собак брать пошла, тату. Меня с двумя к вам посылала... Два с корабля... *(Показывает два пальца.)*

Ермилов. Анна!

Ока. Ну, ну! Мужик молодая и баба. Ана, Ана! А мужик — трудно. Ока не знает.

Товкач. Стюарда Петрик.

Ока. Она!.. Пека... молодая.

Ермилов. Где они?.. Вина! Малицу! Где они?..

Товкач *(кидается в палатку)*. Падеркин! Кашлатый!

Ока. Чичас идут. Тату их нарта возил. Чичас тату пустили. Одни идут. Тиха-тиха идут... Больна, ой, ой, ой... Морозил руки, ноги. Ой, ой!

Товкач *(выскочил из палатки, в руках фляжка с вином, малица)*. Каш-ла-тый! Падеркин! Ушли, черти. Сколько раз говорил: не сметь в паре до витру ходить. Бо воны до витру, а медведь шасть сюда по витру. *(Берет трубу, лезет на торос, трубит.)* Не видать, бисовы диты! Хиба дичь поискать пошли. Ну, це дило. Прибавится у нас, как говорится, населения, треба сделать надбавку и к провианту.

Ермилов *(вырывает у него из рук малицу, бежит к торосам)*. Скорее, идем... скорее!.. Анна!

Анна и Ермилов падают друг другу в объятия.

Анна. Платон!.. *(Смех, слезы.)* Я думала, больше не увижу. Платон, ты...

Ермилов. Дорогая! Ты больна, сказать, измучена... В такую бурю. *(Закутывает ее в малицу, почти несет к огню.)* Скорее дров!

Товкач подкладывает что попало. Петрик с забинтованной рукой без сил падает у огня. Ока ухаживает за ним.

Товкач. Да что случилось, чтобы вам в такую бурю?..

Петрик. Мы бежали тайно предупредить вас об измене. Капитан Древс скрыл от вас, что у него было достаточное количество динамита, чтобы выйти в чистую воду. Он это дело задумал давно. На судне припасов на обратный путь для всех, конечно, не хватило бы... По вашей непрактичности, товарищ Ермилов, вы не обговорили, что Древс должен довезти вас дальше бухты Крестовой, пока будет вам нужно.

Ермилов. Во всяком случае так предумышленно, так... сказать... обманно он не имел права действовать. Он за это ответит. Если б я знал, что через месяц мне

некуда будет вернуться, я бы забрал многое, чего у нас сейчас, сказать, нет. Мы великодушно отказались почти от всякой провизии. Наконец, нам скоро не хватит... сказать, патронов. Если он уйдет, нам, товарищи, предстоит идти до мыса Медвежьего и оттуда, по Новой Земле, до бухты Крестовой. Только два раза в год туда, сказать, ходят пароходы.

Петрик. Надо немедленно спешить вам на «Победу» и, отложив вашу научную затею до лучших обстоятельств, всем нам сейчас как-нибудь вернуться обратно.

Ермилов. Научной работы я не отложу. Могу идти один. Возвращайтесь, сказать, сами.

Товкач. Товарищ Ермилов, я с вами. Бо мне наука як ридна матка зробилась.

Ермилов. Товарищи, сейчас, по метеорологическим бесспорным данным, погода продержится два дня. Мы с Товкачом поспеем, сказать, обернуться для наведения порядков на судне. Я вернусь за вами, прихватив отца Оки с собаками. *(Анне.)* Дорогая моя, тебе очень страшно здесь оставаться. Воображаю, что ты должна была пережить. Надеюсь, Древс ничего себе не позволил относительно тебя лично? Ты молчишь? Ты дрожишь? *(Обнимает.)* Это ужасно! Она, сказать... совершенно больна.

Анна. Нет, Платон, я здорова... Это от волнения. Ведь я думала, конец. Я думала, мы с тобой уже не увидимся. Ведь мы замерзали... Если б не подобрали нас ненцы...

Ока. Тату в юрту брал. Тату абурдали. Они чай пили... много-много пили...

Анна. Петрик поддерживал, почти нес меня. Он из-за меня отморозил руку.

Ермилов. Как благодарить вас?

Петрик. Не за что. Не для вас старался.

Товкач. А вот мы доброго огня раздуем. Все стопим. Мало плавнику — каяк будем рушить. С этого проклятого судна все заберем, як дойдем. И вино пейте. У того жирного кока в камбузе добре припрятано. Хай вси стерегутся, як с товарищем Ермиловым к ним нагрянем.

Анна. Нельзя, Товкач. Ничего нельзя тратить. Капитан Древс из мести, что мы ушли, из страха, что вы придете... капитан Древс взорвать может раньше.

Т о в к а ч. Не посмеет, собака... перед судом ответит!

Отдаленный взрыв. Безмолвие.

П е т р и к. Посмел.

А н н а. Негодяй!

Е р м и л о в. Анечка, что теперь с тобой будет? Больная... Кругом льды...

Т о в к а ч. Да я его, стервеца Древса, под землей сыщу! Я его... как собаку.

П е т р и к. Обратного пути нет. *(Падает без чувств. Ока над ним хлопочет.)*

Е р м и л о в. Аня, Анечка... *(Обнимает.)*

Т о в к а ч. Бодритесь, товарищ Ермилов. Мы Анну Федоровну сдадим ненцам, а сами все ж махнем, куда треба по нашей науке. Старик ненец и Ока — стоящие люди. На них — як на каменну гору. Хай Анна Федоровна у них претерпляють, пока мы летом их не заберем. Вы, Анна Федоровна, с теми ненцами трохи займетесь ликбезом, а к лету мы с товарищем Ермиловым, зробив усе наше матерологическое, повертаемся и заберем вас. И Оконьку заберем. *(Гладит ее.)* Дюже гарна дивчина. Як на сушу вступим, в загсу нашу советскую сведу. Будем с тобой жениться? А?

О к а. Ока богатый невеста. Три оленя, восемь чашек.

Е р м и л о в. Спасибо, друг. *(Жмет Товкачу руку.)* Конечно, головы терять еще не от чего. Ты, Анечка, отлично проживешь с ненцами, пока мы тебя не заберем. А сейчас непременно ложись. Я тебя удобно устрою в палатке. Кашлатый! Падеркин!

Т о в к а ч. Они, должно, того взрыва злякались. Позабивались в торосы да ждут. Протрубить им еще. *(Уходит с трубой.)*

Е р м и л о в *(из палатки, с вином)*. Анечка милая. Еще выпей обязательно. И Петрику дай. А я сейчас все устрою. Ока, поухаживай тут за нашими больными. *(Уходит в палатку.)*

А н н а. Бедный Петрик, вы очень страдаете!

П е т р и к. Зато и радуюсь в той же мере.

А н н а. Что с вами?

П е т р и к. Только то, что я свободен. Ко мне вернулась на все сто процентов утраченная было в тумане романтики моя социальная ценность. Короче говоря, я

очухался. Правда, не дешево заплатил за отрезвление — отморозил руку... Но что ж? Другие платятся дороже. Случается, всей головой.

Анна. Я ничего не понимаю.

Петрик. А то, что прав был кок, говоря: баба на корабле — пропасть кораблю.

Анна. Что за тон? Это после всего, что мы вместе перенесли, после того как я не могу не чувствовать к вам благодарности?..

Петрик. Взаимно. И я от вас получил оздоровительную встряску. Вы вот думаете, что вы героиня, а я вас считаю индивидуалисткой из узкоэгоистических целей, а себя — окончательным дураком, этим целям послужившим.

Анна. Вы бредите! Ваши слова — бессмыслица!

Петрик *(в сильном волнении)*. Нет, не бессмыслица! Если бы действительно вы думали не о себе только, а хотя бы о научэкспедиции, вы бы убедили меня идти одному, а сами, оставшись на «Победе», заставили бы капитана оттянуть решение выйти в чистую воду.

Анна. Но вы знаете, что мне б угрожал позор, если бы я осталась. Капитан Древс мне сделал недвусмысленное предложение.

Петрик. Еще три дня назад эта мысль меня привела в ярость и двинула на безумие бежать вам вслед, бросив свое дело, свою командировку. Сейчас по вашей встрече с Ермиловым я увидал, что вы все проделали лишь ради своего гнезда. Я думал — вы исключение, а вам, как всем женщинам, нужна не любовь... гнездо... гнездо... как птице-гаге, — вот что вам нужно. С меня дурман как рукой сняло. Сейчас в ответ на гнусные замыслы капитана я вам отвечу: ну так что ж? Его чувства были вызваны вашим же кокетством. И то, что вам угрожал позор, — ваше личное дело. Интересы научэкспедиции были бы спасены.

Анна. Ха-ха! Хорош герой... о науке вспомнил, испугавшись белых медведей.

Петрик. Да вы положения вещей не понимаете. Тут, «в ледяных просторах», все ваши тонкости ни к черту. Одни здоровые мускулы — вот что здесь надо. Сейчас вы всем нам жернов на шею. Поняли?

Анна. Лжете! Кроме мускулов бывает и сильная воля и способность забывать себя...

Ока. Не надда ругать, ах, не надда! *(Обнимает Анну.)* Веселый будь. Я тебя смотреть буду, ты меня учить. Тату придут, собак приведут. Погода хороший просить надда. *(Танцует.)* Звать надда: Угыд милый, приди. Малькон, злой холод, уйди!

Ермилов выскакивает из палатки, в ужасе начинает из нее выбрасывать на лед все содержимое, перетряхивает спальные мешки и т. д.

Товкач *(подходит)*. Что случилось, товарищ Ермилов?

Ермилов. Компаса нет! Ищите! Ищите все!.. Последний, сказать, компас...

Товкач *(в ярости)*. Компас выбрали из мешка! Да то ж Падеркин и Кашлатый! Воны ж бежали... Глотку им перервать!..

Ермилов. Трубите! Они здесь... Они заблудились. Не может быть такой измены.

Ока *(подает со льда записку)*. Она письмо оставляла.

Ермилов *(хватает записку и читает вслух)*. «Испытав лишь одного первого перегону и вашего ободрения касательно болезни цынги, товарищ Ермилов, мы вертаемся на «Победу».

Товкач. Ни взад, ни вперед теперь пути нет.

Ермилов. Без компаса...

Товкач. Без компаса, товарищ Ермилов, вашему открытию нельзя будет веры давать. Без компаса! Голые, голые руки!.. *(Падает на ворох вещей, выброшенных из палатки.)*

Занавес.

АКТ III

Прошел месяц. Палатка. В ней Петрик и Ока. Он с забинтованной рукой. Очень исхудал. Глаза горят от голода и лихорадки. Все прочие тоже очень истощены. Едят уже несколько дней одни водоросли.

Ока *(при входе в палатку чинит одежду Петрика и тихо поет)*.

Позову-зову шамана,
Он наденет бубен пензер,
Он попросит варигаров
Нам пригнать медведь к харупор.

Сець наркауна
Хэму мындра
Мань трем мам
Намехком вой хухатиан.

Подходит к Анне, которая пишет под диктовку Ермилова вычисления промеров высот и т. п. Ермилов в темных очках.

Пока спала, иду искать траву.

Анна. Хорошо, Ока. Я посторожу его. Водоросли ищи направо. *(Ока уходит.)* Какое солнце! Платон, зачем ты снял очки? Снежная слепота ведь может перейти в хроническую.

Ермилов. Но через стекла ничего не видно. Оставь, Аня. Мне важно кончить. Анечка, ведь это изумительно! Все цифры, сказать, совпадают. Значит, моя теория верна, только б компас!

Анна. Товкач на этот раз беглецов найдет. Уходя сегодня с каяком, он мне сказал, что будет оплывать последнюю часть льдины нашей. Хотя она огромна, но и ей есть предел. С нее им некуда деться.

Ермилов. Дорогой человек этот Товкач! Что бы я делал без него? И без тебя, мой незаменимый помощник? *(Хочет обнять ее.)*

Анна *(в ужасе отскакивает)*. Нет... нет... не надо!

Ермилов. Тебе что-то почудилось? От голода бывают, сказать, галлюцинации. Надо справиться с этим в самом начале и пресечь силою воли. Анна, что с тобой?

Анна *(овладев собой, старается отвлечь внимание Ермилова)*. Ну, разумеется, Платон, Товкач отыщет беглецов. Ведь они без каяка, им некуда уплыть. Ах, нет, не то... прости... Мысли так прыгают. Нахожу себя только когда мы работаем. Да, вспомнила. Сегодня ровно месяц, как наша льдина с таким ужасным грохотом вдруг оторвалась и понеслась. Мы еще не успели прийти в себя от дальнего взрыва на «Победе», как вдруг все стало рушиться. Лед прошел трещинами. Сразу они были как огромные змеи, потом раздались, и в них забурлила черная вода. Мы понеслись... Мы несемся, и милая девочка Ока вместе с нами. Хорошо отблагодарили мы ее за спасение. Отец уж, верно, ее и не ждет.

Ермилов. Ложь, Анна. Это все не то, что тебя заставило отскочить от меня. Дорогая, мы так сейчас близки. В последних, в невозможных условиях дорогой

ценой мы обрели, наконец, то счастье, которого я не только искать — хотеть боялся, думая ошибочно, что оно окажется враждебным моей работе. Да, признаюсь в этой глупости. Сейчас, когда ты мне необходима, как мой разум, как мои глаза, едва я хочу тебя обнять, в твоем лице один звериный ужас. Я тоже человек. Ослабел, сказать, и я... быть может, у меня свои галлюцинации... Анна, про капитана Древса ты мне все сказала? И так, как было?

Анна. Ну, развеселил! Впервые затеял ревновать, и где? Под полюсом! Но, прости меня, ты все же прав. И я хотела тебя избавить от лишнего страдания, с ним справиться одной. Да, у меня галлюцинации, Платон. Вчера я видела такой ужас там... *(Показывает на палатку.)* Я видела, как Петрик обнял Оку... как вот ты меня... Он долго неотрывно смотрел. О, этот напряженный, несытый взгляд. Это была, конечно, не любовь, даже не животная страсть. До нее ли здесь? Нет, этот напряженный взгляд с готовностью хватить вдруг мертвой хваткой я видела только у своры гончих, перед тем как им загрызть. И такой был у него белый-белый оскал зубов... Прости, Платон, когда ты меня обнял, мне почудилось... Мне вдруг так стало страшно...

Петрик *(в дверях палатки)*. Я видел сон...

Ермилов и Анна вздрагивают и оборачиваются.

Ха-ха! Испугались? Сейчас у нас все вздрагивают, все друг друга боятся.

Анна *(кидается, дает Петрику ящик)*. Присядьте. Здесь на солнце вам будет полезно посидеть.

Петрик. Я только что видел сон — зеленый луг, и надо мной жаворонок... Проснулся, я все тут — в ледяной могиле.

Ермилов. Анечка, взгляни, как эти айсберги к нам близко подошли, совсем вплотную. Синие, сквозистые! Они скоро, вот-вот подтают.

Петрик. Хорошо бы рухнуть им на нас. Ха-ха! По крайней мере всех в лепешку. И уж никто бы никого не боялся.

Ермилов. Мы не звери... Мы и в последних условиях не будем бояться, а лишь один другому помогать.

Петрик. Романтика! Ха-ха... Извиняюсь, смех у меня теперь непроизвольный. Факты, товарищ Ермилов, факты! Что против них поделаешь? Еще на школьной скамейке мы читали, как в подобных обстоятельствах оскандалился человек. Даже пока не померк его разум, он, изголодавшись, метал жребий. Бывало, впрочем, и так, что не метал, а просто ел слабейшего... ха-ха... вкуснейшего... Да, товарищ Ермилов! И на практике выходит, что ваш дух — лишь свойство материи. А раз моя материя до черта голодна, то ей разрешается и способ насыщения необыкновенный. *(Внезапная ярость.)* Ханжи проклятые! И перед смертью вы себе все врете. Боитесь ада! А в природе каждый жрет слабейшего.

Ермилов. Наука оставила ад пораньше вашей школьной выучки. И желаете ль знать азбуку этой науки... молодой человек? Не природа нам закон, а непрестанное совершенствование всего живого — закон эволюции. Если, отбросив детскую веру предков, на пустые алтари возвести одни инстинкты зверя — плохой замен...

Анна. Платон, не надо.

Ермилов. Не бойся, Анна. *(Подходит близко к Петрику)*. Мы должны найти в науке, как, бывало, находили в вере, неопровержимую базу. Она пусть даст нам силу сохранить во всех обстоятельствах жизни свое, сказать, достоинство, свое лицо. Лицо человека, не зверя. И наука дает нам эту базу. Как воздухом, которым мы дышим... чтобы не умереть... надо нам проникнуться ответственностью перед своим званием — человек.

Петрик. Так что человечинку вы, товарищ Ермилов, помрете — а не вкусите?

Ермилов *(совсем близко к Петрику, тихо и твердо)*. Не вкушу. И вам... вкусить не дам.

Петрик. Продержитесь чуть-чуть подольше моего, потому что вы постарше. Ха-ха! Но съедите и вы и еще прибавочку попросите.

Ермилов *(кидается, сбивает Петрика на землю)*. Негодяй!

Анна. Опомнись, Платон... Он ведь больной.

Ермилов *(хватается за голову)*. Все мы больные. Мы перестаем владеть собою.

Ока (*с водорослями, кладет их у палатки. Перебегает от одного к другому*). Не надда ругать! Можно Оку есть. Ну, ну! Как оленя... ножом колоть. Тебе рука, тебе нога, ему сердце. (*Петрику.*) Надо, чтобы Пека не смотрела, чтобы кушала. Ока не может, чтобы она смотрела... Не может...

Анна (*обнимает Оку*). Ока, девочка, мы не дадим тебя... Не бойся...

Ермилов (*обнимает с другой стороны*). Не бойся, Ока.

Ока. Не надда бояться. Ока знает — умирать надда. Когда дядька Венукан хоронил, горка на него сыпал, нарта перевертал, олень любимый Венукан бил. Слушай: шаман не сразу олень тот бил. Несчастно бил. Олень головой бодал, шаман пьяный гриб «пун» ел, бубен пензер крепко бил, долго камлал. Камлал — узнавал: еще из наша юрта один умирать надда. Не старый — молодой. У нас два — брат и я. Брат дороже. Брат мальчик. Я дешевый — девка. Дома рады будут: олень взял, как обещал, больше брать не будет. Здесь (*показывает на Петрика*) он здоровый будет. Он сытый будет.

Анна. Ока, мы не дадим тебя.

Ока. Если боишься ножом колоть, я наверх бежать буду. Вниз прыгать буду. Добрый Угыда без боли смерть дает. Злой Малькон внизу голову разобьет. Хочешь, бегу?.. (*Бежит к айсбергу.*) Медведь!

На вершине айсберга медведь, тихо спускается.

Ермилов. Патроны все у Товкача.

Ока. Я пугать буду. (*Распускает волосы, выставляет руки на медведя.*) Пыдро Угыда... Нум! Нум... Нума!..

Выстрел. Медведь падает в трещину айсберга. Из подплывшего каяка выходят Товкач, Падеркин и Кашлатый. Оба крайне истощены, идут со страхом, потупясь.

Товкач (*потрясая компасом*). Товарищ Ермилов, компас цел! Ось «зеница»... Медведь здоровый забит. Будем на радостях прощать этих стервецов. Воны бильше нашего претерпляли, бо без палатки слонялись.

Ермилов (*кидается*). Компас!

Товкач (*подает*). Есть.

Ермилов (*хватает компас и без очков бежит к*

своей работе за торосами). Анна! Скорее проверить!.. Компас!

Анна. Платон, очки... *(Бежит с очками.)*

Товкач. Товарищи, тащи веревки, топоры, колья... Валите все!.. Бо гражданина Топтыгина добывать треба... Ура!

Петрик. Медведь!.. Спасение! Киньте мне конец. Одной рукой тянуть буду.

Все возятся в расщелине. Крики постепенно из веселых и бодрых переходят в разочарованные. Наконец — в отчаянные.

Голоса. Тащи! Подхватывай крюком... Сорвался, черт... Не достать его... Самому за ним в яму угодить... Тише ты! Загремишь. Дна не видно...

Товкач в полном изнеможении. За ним остальные. Кто валится в отчаянии на лед, кто без смысла бродит вокруг места падения медведя.

Товкач. Всё пропаще. Вин застрял аж в такой прорве, что вовик не достать. Хиба айсберг перевернется да его выпрет. Тильки пока сонце зайде, роса очи выест. А все-таки бодрись, ребята! Не медведя — гагару поедим. Земля тут определенно близко. Я ездил — гагару встречал... *(Слабеет.)* Гагара по-латински... *(Почти без чувств прислоняется к льдине.)* Она по-латински...

Кашлатый. Товарищ Товкач, тюленя можно будет взять. Издаля я тоже видал. Подсвистывал ему, как лошади. Он голову выставлял. Интересуется, сволочь. Мы еще ему подсвищем. А, товарищ Товкач? *(Падает изнеможенный.)*

Падеркин. Не достать того медведя. *(Кладет топор. Голову на руки.)*

Ока. Надда достать. Ока будет след есть. Большой шаман говорил: кто первый медведя видал, пускай снег от его следа ел. Медведь пропадать не будет. Ока первый кричал: медведь. Ока идет наверх. Надда след есть.

Товкач. Ах, утешная дивчина. Серденько! Загремишь ты с того верху, только и всего. Вот лучше костер разведи, горячей водицы попьем.

Входит Ермилов с приборами в руках. За ним Анна с очками.

Ермилов. Товарищи, моя задача увенчалась полным успехом. Научно объяснять вам сложно. Погода

нашего Севера — в прямой, сказать, зависимости от того, что происходит в северной области. Для нашего Союза я открыл одну из точек пересечения необыкновенной важности. *(Показывает железную коробку.)* Здесь все выкладки, наблюдения, доказательства для практических, сказать, выводов. Наш нищий Север, быть может, отныне не будет знать ни голода, ни непосильного труда. Быть может, мне изменят силы. *(Шатается.)*

Товкач *(выдергивает пень из-под Кашлатого)*. Садитесь трошки, товарищ Ермилов!

Ермилов. Товкач, если ты переживешь, доставь по назначению...

Товкач. Есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Товарищи, если все мы так ослабеем, что будем, сказать, чувствовать, что нам домой не вернуться, то надо собрать последние силы и добраться в каяке до земли, которая за айсбергами. Там поставить гурий и в него эту жестянку...

Все потупились. Безмолвие.

Петрик. А я скажу: довольно трусости! Кинем жребий. Погибнет один — не все. И если...

Ермилов. Молчать!

Петрик. Когда люди в крайности, все средства хороши.

Ермилов *(внезапно поднимается с силой)*. Нет, не все!.. Товарищи, напрягите... слух... соберите вашу волю. Товарищи, вы, сказать, люди... Слушайте, что я скажу вам. И даже не я лично, а вся наука, весь разум, вся правда тысячелетий скажут вам. *(Шатается.)*

Товкач *(подхватывает Ермилова)*. Товарищ Ермилов, обопритесь на меня. Як ваше открытие найшлось, то до бисова батька всю вашу хворь.

Ермилов. Товарищи, верьте, что слепая природа — закон жизни. Неустанное, непрерывное совершенствование — высший закон всего живого. Слишком хорошо... мы знаем, что носим в себе все качества зверя — бессердечие рыб, ярость тигра, коварство... обезьян. Все эти качества развились в борьбе за существование и передавались, сказать, последующим формам. Но, товарищи, вместе с этим возвышалось из области, называемой психикой... и то, что нам известно как голос

совести. При помощи этого голоса росло и укреплялось все, что для данного типа является его достоинством и добродетелью. Стройностью всего существа. С утратой всего этого, знайте, товарищи, будет как с утратой легких — человеку нечем будет жить, нечем дышать. Всякий, кто станет действовать против того разума, который определяет его место в природе, тот добровольно возвратит себя за много, сказать, веков назад... Тот зачеркивает свое лицо... *(Минутная слабость, говорит с новой силой.)* Товарищи, раз человек поднялся с четверенек на две ноги — обратно ему уже нельзя. Нельзя.

Товкач. Налегайте на меня, товарищ Ермилов.

Ермилов. До последней минуты, товарищи, не будем отчаиваться и ждать лучшей, сказать, участи. *(Слабеет, опускается на руки Товкача и Анны.)* А если... как мне... придет конец — умрем... достойно человека.

Товкач. Грейте воду швидче! Ока! Кашлатый, распали костер...

Уносят Ермилова в палатку. Ока и Кашлатый у костра.

Кашлатый. Вполне ненормальные эти ученые, а хорошие люди. Другой даже говорить не может, как наш, в одно стекло глазом смотрит, — не иначе рехнулся, не дышит... А он, гляди, холерную козявку молочком открыл. Потом тыщи от смерти спасет. Почитать ученых надо. А нашего всем коллективом выхаживать будем.

Ока. Воду кипать надда. Горячо надда.

Кашлатый. Только, видать, и пищи у вас, что медведь вприглядку да вода. Наглотались и мы.

Петрик. А ты небось говядинки захотел. Дай срок — все захотят. И ученый всю спесь к собакам кинет.

Кашлатый. Зачем говядинки? И аржаные лепешки хороши. У нас, в Смоленской губернии, слушай, Окушка, после хлебов бабы аржаные лепешки в печь садят. Вынут, она пузырем вздуется, а в ее, в стерву, да сметанки.

Петрик. Молчи, дурак. *(Отходит к айсбергу осматривать трещину с медведем и остается у нее.)*

Кашлатый. От дурака и слышу... Злыдень!

Ока. Не надда ругать. Она больная. Я тебе буду песню петь.

Кашлатый. Ну, пой. Спасибо, хоть плавничку много — угреться можно. Уж и мерзли мы... Мамоньки! Пой, Окушка, пой, милая.

Товкач *(выходит из палатки)*. Уснул товарищ Ермилов. А воду про запас еще, Ока, грей.

Кашлатый. Ока песню петь собралась.

Ока. Можна петь — можна греть.

Товкач. Ой, правильная девка. Утешная! Ну, пой. Небось все про женихов?

Ока. Про женихов немного, про придано много. Ока умирать скоро будет. Хорошо про дом вспоминать.

Товкач. Ну, умирать ты еще погодишь. Постарше тебя есть. Спой, серденько.

Ока *(поет)*. Я — богатая невеста. У меня на пальцах кольца. За мной тата даст оленей. Еще ящик — восемь чашек, что чай пить. Одно блюдо... ложки... банки... Новую паныцу... Новую ендыцу...

Товкач. Ну и богачка ты, Окушка... Восемь чашек... Буржуйка, по-нашему... Еще пой. Я и очи заплющу.

Ока. Повезут невесту к жениху с приданым. А жених сготовил новый чум. Бьют теляток... Абурдают... Пекут белый, белый хлеб.

Товкач. Ну, девка, уж про хлеб не поминай. Ну его! Подтянуться потуже от того помину.

Анна *(из палатки)*. Дайте горячих!

Товкач. Бери, Кашлатый, сколько есть, да пойдем. Може, перевертать его треба, чи що.

Петрик *(отходит от медведя)*. Ока!

Ока. Тута Ока.

Петрик. Айсберги еще ближе. Хоть бы они упали и раздавили нас. Какой завидный конец по сравнению с медленной смертью. Я опять теряю разум. Я зверею... Ока!..

Ока. Тута Ока.

Петрик. Я жить хочу. Я зубами буду бороться за свои двадцать лет.

Ока *(подходит, подает бутылку с горячей водой)*. Горячо надда.

Петрик. Не подходи близко! Не смей подходить. Смотри отсюда. Смотри на вершину снежной горы. Ты забыла — там след, еще не занесенный снегом. Свежий след медведя. По твоей дурацкой вере, ты должна была поесть

от него снега. Тогда бы с медведем была удача. Так это так...

Ока *(на коленях)*. Ока не поела. Ока будет есть.

Петрик. Это, конечно, дурацкая вера. Это зовется суеверие. Словом, сплошная ерунда! Я должен тебе это объяснить. Но ты дикарка, ты первобытная дикарка. Ты все равно умней не можешь быть. Чего стала на колени, дура? Вставай.

Ока. Ока хочет след есть.

Петрик. Стой! Айсберг еще больше подтаял с тех пор. Ты свалишься, конечно, в воду или в ту же яму. И тогда какой в тебе черт?..

Ока. Ока будет метить, куда прыгать. *(Кладет доску у айсберга.)* Вот!

Кашлатый *(выходит из палатки)*. Что это, неночка на айсберге жить ладится!

Анна. Ока, иди сюда!

Ока. Чичас!

Товкач. Ну, трохи отошел товарищ Ермилов. Угрелся, спит. Анна Федоровна над ним жалкует — хоть бы чашку ему горячей крови с того медведя наточить, обязательно б просветлел. А то два дня, говорит, продержится и очи заведет. *(Закуривает.)* Яке щасте, що махорка е.

Кашлатый. У нас, в Смоленской губернии, банька — чистая липа. На полок взлезешь, березовым веничком попаришься — разомлеешь. Тут брусничку мочену. *(Ложится, тихо воет.)* Мамонька родная... Банька моя смоленская...

Товкач. Не вой, Кашлатый! Послухай трохи. Говорить хочу. И ты, Петра, и ты, Падеркин.

Все подходят к огню. Товкач курит трубку.

Вот что, товарищи, дело наше предпоследнее. И, как смелые бойцы на фронтах, мы и сейчас опасности давайте глянем аж в самые очи. Пока я не в затемненном уме, хочу, товарищи, высказать. Товарищ Ермилов для науки и нашего Союза — наиважнейший ученый. А я сам после него стою вплотную, как говорится, к науке, к матерологии. Як ридну маты ее почитаю... И вот, товарищи, должны вы мне клястись, что ни товарищу Ермилову и никому иньшему не доверите того, что сейчас скажу. *(Оборачивается на палатку, понизив голос.)* Сейчас, товарищи,

в полынье утонуть — момент. Ну, хоть бы мне. Поняли? Ну, а как выберете из полыньи, обязаны вы, товарищи, незамедлительно товарищу Ермилову сказать, что того окаянного медведя выхватили. Медвежатина, скажете. Добре? Хай сил от нее набирается. И вот клятвой всих вяжу, что не выболтаете. Слыхали? Мед-ве-жа-тина.

Падеркин. Подожди, товарищ Товкач, с полыньей. Мы еще настоящего медведя поднять испробуем.

Кашлатый. Совсем откладай, товарищ Товкач.

Товкач. Откладать можно, да не на дюже долгий срок. Кабы с товарищем Ермиловым не вышло як с тем конем у мужика, что совсем было без овса привык, кабы не подох. Ну, заболтался. Время мне *(смотрит на часы)* брать четвертое матерологическое. *(Идет.)* Если что помочь в палатке надо, кидайся, ребята.

Петрик. Товарищи, довольно трусости. Разве это не ложь, не сентиментальная ложь, если мы не ставим трезво вопрос в такой последней крайности — чем жертвовать: какой-то особью, стоящей на самой низшей ступени развития, или жизнью сознательных граждан, полезных коллективу.

Падеркин. Чего заврался, Петра! При чем тут коллектив и какая-то особа? Не крути. Дело наше, Товкач прав, предпоследнее. Не словами тут деркотить, как ногами на танцульке, а решать в общем и целом. Ну, конечно, Товкач нам товарищ, и его нельзя...

Кашлатый. Что это ты про медведя посулил? Сам знаешь, туша он неподъемная. Аж на самом дне устрял.

Падеркин. А ты б хотел, чтоб Товкач без всякого сумления на твоих глазах в полынью сиганул.

Петрик. Говядинки захотел? Ха-ха! Человечинки...

Кашлатый. Я-то? Ах ты, Юда! Да вовек не захочу. Вот лепешеньку б смоленску. После хлебов, бывало...

Падеркин. Молчи, дурак. Кончай, Петра, про дело.

Петрик. Ну что ж? Особь, говорю, на низшей ступени, совершенно первобытная дикарка. В богов верует, жертвы им приносит. Поп ихний, ненецкий шаман, уверил ее: когда оленя на могиле бьют, да не сразу, и он боднет, — верный признак, что в семье этой быть покойнику. Заладила — помереть ей надо, чтоб брат жив остался.

Кашлатый. У них, вишь, парень много девки дороже.

Петрик. Еще верит она, что кто первый медведя увидал, тот должен снег поесть от его следа, и уж тому медведю от людей не уйти. Я держал ей антирелигиозную пропаганду — она ни с места. И вот логический вывод, товарищи: так как все равно эта отсталая дикарка сделает по своей дурацкой вере, то считаю я по совести возможным и сознательно допустимым ради общей пользы дело это поторопить, хотя бы затем, чтобы спасти дорогую для науки жизнь товарища Ермилова и нашего сознательного товарища Товкача.

Кашлатый. Мамоньки! Так это Оконька для подобного дела на айсберге отметину положила? Чтоб знать, куда прыгать? *(Бежит в сильном волнении к айсбергу и обратно.)* Нипочем, товарищи, нельзя! Запретить ей! Никак она за торосы пошла... Найду — застращаю!.. *(Убегает.)*

Падеркин. Запретитель голодный!

Товкач, незаметно для говоривших слушавший разговор, тихонько становится у отметины на айсберге, за глыбу льда.

Петрик. Ока! Ока! *(Идет к палатке.)*

Ока. Тише... Она тоже спит... Она устала... Ой, устала!

Петрик *(стискивая ей руку)*. Н-ну...

Ока. Не надда смотреть. Ока знает. Ока чичас.

Петрик. След медведя весь солнце съест, пока ты собираешься.

Ока. Чичас. Ока будет след есть. Любимый олень надда звать. Олень Выг Ван понесет скора-скора. Добрый бог Угыда боль возьмет. Злой бог Малькон Ока голову бьет... *(Становится для разбега перед айсбергом, призывные шаманские жесты.)* Олень мой Выг Ван...

Падеркин. Не иначе, ворожит.

Петрик *(в ярости)*. Н-ну...

Ока. Чичас кольца давать буду. *(Снимает с пальцев кольца, дает ему.)*

Петрик *(швыряет кольца)*. К черту! Тоже романтика... *(Наступает на Оку.)* Ну!

Анна выходит из палатки, поражена видом Оки.

Ока. Чичас! Чичас! *(Кружится в самозабвении.)*

Анна *(подходит быстро к Петрику, схватывает его за руку)*. Петрик, я все слышала... это нельзя! Мы погибнем

раньше, чем умрем. Такой ценой вы никого не спасете. Назавтра понадобится новая жертва. Мы люди, и мы переедим друг друга!.. Кто спасется, разве забудет? Петрик! Все вы... дорогие... будем еще ждать... Будем сильны...

Ока закружилась и с криком: «Выг Ван!» бежит к айсбергу. Ее подхватывает Товкач и берет на руки. Страшный грохот. Айсберги рушатся. Раскрывается горизонт, на нем яркое солнце и совсем близко земля. Анна кидается в палатку к Ермилову.

Ермилов. Айсберги рухнули в океан. Должна, товарищи, быть близко земля.

Анна. Земля близко, Платон. Петрик, смотрите скорее в трубу. *(Передает ему трубу.)* Вон чернеется справа; и простым глазом видно.

Петрик. Земля! Земля... Скалы!

Анна. Скалы усыпаны гнездами птицы гаги. Птица гага — моя сестрица. Ха-ха! Помните, Петрик, как вы меня назвали гагой.

Петрик. Анна Федоровна, простите. Я был дурак. Анна Федоровна, вы не птица гага, вы... вы... словом, посвоему и вы — полезный член коллектива.

Анна. Пожалуй, в этих льдах дозреем до этого чина мы с вами оба. Ну, Петрик, помиримся.

Падеркин *(вне себя)*. Медведь! Товарищи, того медведя выперло.

Все кидаются к медведю, вытряхнутому на лед. Тащат его к палатке. Кто свежует, кто пьет кровь, кто тащит плавник. Запалили огромный костер.

Товкач. Легче вы, бисовы дети! Не обжираться! С голодухи треба диету. Товарищи, ди-е-ту. Хиба не обидно — медвежатина в брюхе, а брюхо и лопнет.

Ермилов. Товкач, ведь это, сказать, мыс Медвежий!

Товкач. По матерологическим данным, бесспорно, есть, товарищ Ермилов.

Ермилов. Нельзя, сказать, медлить. Ближе, чем сейчас, к земле не будем. Льдина дрейфует, сказать, к нордвесту. Товарищи, свежуйте медведя. Подкрепитесь, сказать, и в каяки.

Кашлатый *(размотал голову, дико озирается)*. Мамонь-ки! Банька моя смоленская!.. Помер я или жив? *(Орет.)* Она! Франца-Есифа Земля!

Падеркин *(подает ему на вертеле кусок медвежа-*

тины). Лопай паек из самого царства небесного. Недурное дежурное блюдо.

Кашлатый *(в ужасе отскакивает)*. Ни в жисть... Сгинь, сгинь! Умру — Окушку есть не стану.

Ока *(с огромным куском сала)*. Тута Ока! Тута.

Кашлатый. Жива! Андел ненецкий! Лепешенька аржаная, смоленская. *(Обнимает ее.)*

Товкач. Ну, Оконька — супруга наша. В загсу сведу.

Петрик. Это еще бабушка надвое сказала. Это уж кого она сама выберет.

Товкач. Ах ты, людоедных дел мастер! Разложился было хлопче. Не на высоте был. Окушку не в загсу, а, как коровушку, на убой норовил... Ты помалкивай.

Петрик сконфуженно стушевывается.

Ока. Ах, не надда ругать.

Товкач. И не будем, серденько. Запишу тебя, Оконька, в ликбез, обучим по новой орфографии, а как зробишься ты выдвиженкой из ненецкого нацмену, бери сама себе чоловика.

Ока. Как Угыда добрый хочет. А чичас медведю песню петь надда. К человеку медведь ходить бросит. Камлать медведю надда.

Товкач. Камлай, серденько, камлай.

Ока *(танцует у костра, поет медведю)*.

Хозяина злой Малькон бил,
Не мы били.
Мы не дадим бить.
Мы жир дадим,
К нам иди, иди, приди!

Ермилов. Товарищи, нельзя, сказать, медлить с отплытием. В лучшем положении относительно, сказать, земли мы уже не будем. Рубите медведя, нагружайте каяки.

Все тащат медведя к каякам, рубят, возятся.

Анна. Платон, два-три дня, и твое зрение вернется. И мы спасены. Какое счастье. Отчего же ты не радуешься?

Товкач *(смущенный)*. Товарищ Ермилов, с цим медведем не поладим вси в каяки — дюже важко.

Ермилов. Я это знал. *(Всем.)* Товарищи, предлагаю оставить меня пока на льдине. Пока я, сказать, слеп, я вам лишь обуза.

Анна. И я с тобой. Я не уйду от тебя. Нас обоих оставьте.

Петрик. Нет, товарищ Ермилов, мы не допустим. Ваша жизнь для данного коллектива социально необходимейшая. Я с больной рукой бесполезнее вас. И потому останусь, товарищи, я.

Товкач. Товарищ Ермилов, за що нас обижаете? Хиба ж, поив того медведя, мы аж свиньями зробились? Выгружай, братва, ту окаянну тушу. Бери в зубы каждый добрый шматок, а прочее закладайте льдинами. Можно будет — вернемся, а не можно — и так обойдемся.

Кашлатый *(смотрит в кулак)*. Скалы пестрые, товарищ Товкач. Не иначе, там птичий базар. Гагарок наловим.

Товкач. Да что тут балакать? Итак, товарищи, довольно мы предка нашего изобидели. Обезьяна — вона ж, товарищи, предок наш, вроде прадид. Скильки вона, бидна, горя претерпляла, як з четырех лап тильки на две спрокинулась. Товарищи, по науке, нам нельзя назад вертаться. Слухайте добре, вси слухайте: кто на две ноги встал, тому на двух и ходить. Назад до обезьяны нельзя вертаться. Бо четвереньки — срам. Ось, товарищи, наш компас в поведении. А теперь, уставя очи в компас мореходный, командую: сигайте швидче в каяки!

Занавес.

АКТ IV

Слева, вдали, причальная мачта для дирижабля. Прямо — внутренность станции. Большая комната; в ней три двери: выходная, налево — в кладовую, направо — в комнату Дарьи Логовны. Перед спущенным занавесом маршируют гуськом капитан, Ремешков, два цынготных матроса Выкин и Доков, кок и Дарья Логовна, завхоз причальной станции. Маршируя, делают гимнастику — руками вверх, вниз, вперед — под команду капитана: «Links um! Ать-два! Rechts um![1] Ать-два». Занавес поднимается. Через боковые двери все проходят в комнату и делают бег на месте.

Капитан. Halt! Вольно!

Дарья Логовна. Уморили, капитан Древс!

Капитан. Будете благодарить капитан Древс, что

[1] Налево! Направо! *(нем.)*.

всех поправлял от цынга. А вы, кок, еще имеете спускать жир ein bischen.

Кок. Что ж это, мне себя в полпорцию истощить, вроде какой модной мамзель?

Дарья Логовна. Не расстраивайтесь, Илья Капитоныч. Корпус ваш в самой препорции. А моцион почтенному человеку всегда во здравие.

Капитан. Вы есть умная дама, Дарьевна. Моцион — это есть долгое лето, один добры сон и добры аппетит. А вы будете сегодня нажаривать нам гагарок, Дарьевна?

Дарья Логовна. Нажарю, коль набьете.

Капитан. До обеда мы имеем много время. Быкин и Доков, марш на охоту. Кок, торопите ремонт на наше судно. Штурман Ремешков, вы остаетесь, есть дело.

Матросы остаются. Вбегает радист Крон.

Радист Крон. Капитан Древс, из Москвы вторично радио — запрашивают, не пришла ли научэкспедиция Ермилова? Хотят аэроплан на разведку выслать.

Капитан. Хорошо. Будем давать Telegramm. Ремешков, einen Augenblick[1] ждите. Я сейчас обратно.

Ремешков. Есть, капитан.

Капитан уходит.

Кок. Ну и стоеросовый этот Древс. Хоть кол ему на голове теши. Давно ль мы с тобой, Ремешков, заставили его вместо Архангельска идти честно к норду на помощь научэкспедиции? Как струсил-то! Как пардону просил! А гляди, опять в силу вошел. Тоже командует! В случае, наши счастливо вернутся, кабы он нас с тобой первых не оклеветал. С такого гоголя станется.

Капитан *(возвращается)*. Кок, ремонт на судне ждет вас... bitte!

Кок, пожимая плечами, уходит.

Опасно есть наше дело, Ремешков. За научэкспедицией высылают один аэроплан. Машина будет летать. Летать и искать Ермилов. На это надо быть готовым, Ремешков, машина может Ермилов находить. А если Ерми-

---

[1] Минутку *(нем.)*.

лов und Kompanie прибудут сюда, они могут спрашивать, Ремешков, что значил тот взрыв невдали наше судно. Взрыв они должны были слыхать, потому что в ту ночь, Ремешков, была очень злая буря. Они, наверно, сбивались с пути и при нас блудили. Они, Ремешков, заинтересуют знать, кто взрыв этот производил. Und dann кого мы будем называть, Ремешков? Вы молчите? Очень карашо. Я буду называть. Ну, конечно, наш кок.

Ремешков. Эх, капитан Древс. Раз уж было послушал я вас на свою голову. Да чуть перед самим собою в подлецы не попал. Спасибо коку — поднял матросов — не дали уйти. А случись по-вашему, стрельни мы тайком в Архангельск — хорош бы я вышел гусь. Да одна совесть бы мне жить не дала. И пошел бы я до конца дней свое горе водкой глушить. Так нет же, капитан Древс, нет! Не предатель я вам! Второй раз на срам не толкнете. Ищите себе другого осла!

Капитан. О, зачем грубы слова, Ремешков? Однако слушайте, есть еще выход. Подавайте сюда карту. *(Разворачивает на обеденном столе большую карту.)* В тридцать километр есть норвежски станция... Что вы скажете? Один хороший переход отсюда — и вам, Ремешков, эмигрирен, а мне — nach Vaterland zurück. [1] О, там не доставай меня никакой советски губной суд.

Дарья Логовна *(в руках поднос с тарелками, подплывает к карте, косится на капитана)*. Стол пора к обеду накрывать, а вы развалились.

Капитан *(поспешно складывает карту)*. А, Дарьевна! Ну, говорите, как я учил: bitte zum Tisch! [2] Просьба к обеду.

Дарья Логовна. Стара, батюшка, язык ломать. Коль есть захочешь, и по-русски, чай, поймешь. А зовут меня не Дарьевна, а Дарья Логовна. Может, в вашей заграничной стране хорош обычай человека и по матушке величать, а у нас по батюшке считается много повежливее. Прошу запомнить — Дарья Логовна.

Капитан. Дарй Люковна. Пакучий имя! Вы были в вашей Jugend [3] один розовый цветочек, Дари Люковна.

---

[1] Обратно на родину *(нем.)*.

[2] Прошу к столу! *(нем.)*.

[3] Молодость *(нем.)*.

Дарья Логовна. Да уж верно, что не похуже других.

Капитан. И рядить любили, Дари Люковна — бантик, кантик, капелюшхен, мантильхен... тру-ля-ля-ля!

Дарья Логовна. Не отрекусь, нарядница была.

Капитан. И сюда, на северный Pol, вы, я заметил, тоже привозил свой наряд. На праздник вы имей другое платье — цвет бордо.

Дарья Логовна. В жизни бордового не любила! Пюсовое у меня в праздник. Еще маменьки-покойницы подарок. Пюсовое.

Капитан. О, какой замешательный цвет. Пюс — по-французски есть одна блошка. У вас блошкиное платье, Дари Люковна. Покажите. Я интересант к такому платью.

Дарья Логовна. Так сейчас вам из шкафа и вытащу! Другого дела у меня нет? *(Уплывает к себе в комнату.)*

Ремешков. Капитан, эта баба прехитрая. С ней поменьше б языком чесать. Ведь с коком она связалась.

Капитан. Я уж вам говорил, Ремешков, вы не есть Шерлок Холмс. Нам надо Дари Люковну разговором располагать. Я имей хорошую науку в женское сердце, Ремешков. Нет, Ремешков, такая твердая крепость, которая не дает себя брать умелой осадой. Молодая женщина надо делать скорое признавание в любви и внимание; женщина в летах — внимание и... тоже признавание. С Дари Люковна я все же думаю остановиться на одна первая часть.

Ремешков. Тем более что во второй действует кок форсированным маршем.

Капитан. Есть, Ремешков. И нам, как говорят, это одна синица под руку. Я буду вести наступление через Дари Люковна, а вы — прямым фронтом на самого кока. Коротким словом говоря, предлагайте, Ремешков, коку денежная премия и чтоб он делал свое признавание на причину взрыва. А я буду, как Фауст Гретхен, соблазнять Дари Люковну... О! Вдова всегда ein klein wenig[1] хочет замуж. Я уж знаю моя наука про женщин. Nun, Ремешков, сейчас я буду присылать вам кок на деловое заседание для провиант, и вы будете его легко навертывать на ваш палец. По русски обычай, охотнику нельзя желать

---

[1] Немного *(нем.)*.

удача. И потому я говорю вам, Ремешков: ни пук, ни перо. Ни пук, ни перо! *(Стучит в дверь Дарьи Логовны.)*

Дарья Логовна. Ну что еще? Только грибы перенизывать села.

Капитан. Дари Люковна, мы с вами будем ходить осматривать провиант. Плохой консерв будем отделяй от хороший консерв. Здесь штурман будет делать деловой заседание.

Дарья Логовна неохотно идет за капитаном. Ремешков в волнении ходит по комнате.

Кок *(входит)*. Капитан меня к тебе прислал, Ремешков. В чем дело? Опять, что ли, вместе стакнулись?

Ремешков. Что у тебя за тон? Прошу переменить.

Кок. Рад стараться! Для вашего благородия к кузнецу побегу, язык перекую. Ох ты, Ремешков. Кисельная, брат, у тебя душа. Опять к Древсу перекинулся? Чуть было не подвел он тебя под беду. После взрыва, вспомни, Ремешков, как совесть тебя зазрила! Едва я воспротивился в Архангельск идти, не ты ли ко мне примкнул? Не с тобой ли вместе принудили Древса к норду взять? Что ж ты опять с ним шушу по углам? Испугался, что аэроплан за Ермиловым выслан? Не фасон, Ремешков, не фасон!

Ремешков. Не буду с тобой, Капитоныч, хитрить. Действительно, испугался. А ну как все вернутся и нас к ответу?.. Петрик обязательно все выведал. Иначе с Анной Федоровной чего бы ему бежать? А если взрыв экспедиция слышала, дело-то выходит совсем дрянь. Вот если б ты, Капитоныч, на себя его взял? Показать только: взорвал, дескать, в пьяном виде, вроде для фейерверка. Пустяковая твоя выйдет вина, ну просто плевое дело. А уж от Древса благодарность бы тебе.

Кок. Заткнись, Ремешков. Не человек ты — стюдень. Негодяя покроешь — себя живьем зароешь. И, спросить, чего ради, глупая твоя голова? Ведь про тебя-то лично я по справедливости покажу: без него, скажу, мне с капитаном вовек не справиться б. Мое дело — кухня, штурманово — корабль. Вдвоем напирали. А Древсова карьера, конечно, бамбук! Подобных коммерческих капитанов советским кораблям не надо. И мой совет, Ремешков, ты

в его грязное дело не влипай. Лишь для видимости будь с ним заодно. Диалектику с ним разводи, а смычку держи со мной. Пред экипажем и выйдешь товарищем. А мне наградные капитановы — тьфу! Самостоятельно заработаю, как старший полярный кок.

Ремешков. Правильно, кок, твердый ты человек. А меня, как семью я завел, ровно кто рассиропил. Засадил я садок и стал баба бабой. У руля стою, а передо мной будто буйный малинник. Под глазок малинку чикну и новой мочалкой к палочке привяжу. Обряжу таким манером весь малинник и за яблоньки. Которой прививочку, которой фосфориту под корень. У меня выспевают, Капитоныч, и белый налив, и антоновка, и вся возможная садовая флора.

Кок. Эх, Ремешков, середняк ты беспросветный. Новой эпохи ни в какой мере не чувствуешь. А моложе меня. Видать, не по одним классам и по возрасту люди делятся, а по нутряной комплекции. Иной — помрет и в гробу не слежится, а иной — как ты, Ремешков, раньше сроку сам к земле прирастет.

Ремешков. Сиротой горьким вырос я, Илья Капитоныч. Женился поздно, а у жены садок. Как овдовел, с головой в это дело ушел. Прямо скажу, потянуло меня с воды да в землю. Зато сейчас зарок даю, Илья Капитоныч, коль научэкспедиция в добром здравии вернется, коль все в целости, я жениным племяшам сад дарю. Сам, бездетный, налегке доживу. Ну, по рукам, што ль, Капитоныч? Поддержим один другого.

Кок. Уж ладно. Ну, иди, разводи диалектику Древсу, чтобы раньше сроку куда не удрал. Подкупается, мол, кок, только дорожится.

Ремешков уходит.

(Стучит Дарье Логовне в дверь.) Старший полярный кок...

Дарья Логовна *(кокетливо выглядывает)*. Ах, Илья Капитоныч!

Кок. Дарью Логовну чмок-с!

Дарья Логовна *(выходит, жеманясь)*. Что это вы, Илья Капитоныч. Какие шалости. Молодые наши годочки припомнили. Бывало, при покойнице матушке не раз меня таким родом в сад выманяли.

К о к. А чтоб к себе в дом окончательно заманить, не судьба вышла. Мечтаю, Дарья Логовна, сейчас упущенное наверстать. К примеру, как вы на подобное?.. *(Поет.)*

И в дом мой сме-ло и свобод-но
Хозяйкой пол-ною войди!..

Д а р ь я Л о г о в н а. Ах, ах, Илья Капитоныч! С вами встреча в этом Ледовитом океане — хоть Союзом нашим и запрещено — не иначе чудо. Ведь нужно было мне, одинокой вдове, попасть сюда на станцию завхозом, а именно вам приплыть на «Победе». Вы заметьте, Илья Капитоныч, ехала я как в монастырь. Овдовела, наконец, и вот думаю: не было в жизни радости и уж, конечно, не будет. Позади любовь поруганная, так пускай впереди — одно снежное поле, пустое небо да гагары на скалах. И вдруг — мечтанье юности: вы, Илья Капитоныч!.. То в одной губернии маялись, не встречались, и вот привелось у самих у белых медведей. *(Вытирает глаза платочком.)*

К о к. Судьба, Дарья Логовна, или — как приличней по-современному — диалектика. Женимся, Дарья Логовна. Я — старший полярный кок, вы — наша супруга, полярная кокиня. Ваш опыт, ваше обхождение, Дарья Логовна... и то обстоятельство, что вы еще до встречи со мной самосильно ничуть не саботировали, а переключились на советские рельсы и пошли по нашему революционному хозяйству и ныне имеете по заслугам стаж полярного завхоза — все мне в вас соответствует, все манит новым счастливым созвучием. Словом, желанны вы мне, Дарья Логовна, как в бытность вашей нежнейшей юности, когда дитей видал вас у матушки. Увы, Дарья Логовна, пренебрегла ваша матушка в ту пору моей бедностью и силком выдала вас за богатого, не предвидя, конечно, наших декретов о национализации всего движимого и недвижимого.

Д а р ь я Л о г о в н а. Не вспоминайте, Илья Капитоныч! В те горькие годы одной радостью мне было: когда, одинешенька, раскрою дареные вами ноты — тот дуэт, что мы с вами в роще украдкой певали... Свою партию пропою, а уж вашу, Илья Капитоныч, вашу проплачу...

К о к *(на коленях)*. Дарья Логовна! Дашенька!..

Д а р ь я Л о г о в н а *(поет)*. «Не ис-ку-шай меня без ну-жды...»

Кок (*вторит*). «Не ис-ку-шай...»

Дарья Логовна. А толку в мужнином богатстве мне, Илья Капитоныч, не вышло никакого. Ведь ни деток с ним, ни радости... До чего мне, например, каракулевую саку иметь хотелось. Особенно как подруга моя Марья Сидоровна от мужа с войны письмо одно получила. Был он простой солдат, отличился — и вдруг ему и Владимира, и дворянство, и чин офицерский... Вообразите, Илья Капитоныч, письмо его я как сейчас слово в слово помню, потому что обида мне в нем была несусветная. Писал же он так:

«Как с прошлого месяца в наших жилах ныне текет одна благородная дворянская кровь, то вы, наша супруга, с простым званием не водитесь», — это со мной, значит, — «а идите немедля в Гостиный двор и купите себе каракулевую саку. На нее прилагаю соответственно. Алферов».

От обиды, Илья Капитоныч, я в те поры глаза все проплакала. А мой скупердяй в утешение мне и тут денег на саку не дал.

Кок. И в этом обстоятельстве будет вам полное удовлетворение, Дарья Логовна. Но как сейчас каракулевую саку одни бывшие люди донашивают, а им жулики в трамваях заднюю полу ловко срезывают, то ко дню свадьбы преподнесу я вам какие хотите иные пролетарские меха из Пушторга.

Входят цынготные матросы.

Выкин. Мы к тебе, кок, за советом.

Доков. Капитан Древс в подозрение нас вводит.

Кок. Ну, ну, братва, излагайте.

Выкин. На судне машину смазать велел, к скорому отходу наладить. А радист говорит: по радии из Москвы есть приказ всем оставаться, дирижабля ждать. Дра́ла он хочет дать.

Кок. Ну, до вечера не удерет. А вечером всех ребят на совет соберем, порешим это дело. А сейчас поздравляйте меня, братва, — с Дарьей Логовной сочетаюсь.

Доков. Ну, Капитоныч, сразил. Кругом льды, замерзать впору, а он, гляди, разворошился.

Выкин. Ухажер... с полярным стажем!

Дарья Логовна. А вот и неправда. Наше знакомство не морское, а еще сухопутное. Только тогда нам

судьбы не было. А сейчас хоть не судьба... так *(вспоминает)*... ди-а-лех-тика... Так, что ль, Илья Капитоныч?

Кок. Истина, Дарья Логовна.

Выкин, Доков. Поздравляем, поздравляем!

Дарья Логовна. Не порядок всухую. Надо наливочки дать. *(Приносит, кок разливает.)*

Выкин. Ай да кок! Ай да Капитоныч!

Доков *(приплясывая)*.

Капитоныч коком был,
Да камбузу изменил.

Выкин *(подхватывает)*.

Ты прости, прощай, камбуз!
Коку в Даше нынче вкус.

Кок. Ой, лешие! *(Хлопает то одного, то другого.)* Ой, лешие!

Дарья Логовна *(с наливкой)*. Пожалуйте!

Выкин, Доков. Поздравительная.

Дарья Логовна. Да какая. Не вчерашняя. На полюсах вылежалась. То-то вас не было облегчить.

Кок. Эх, Кашлатый! Франца-Есифа Земля! Будешь ли, брат, на моей свадьбе гулять? Угощайтесь, ребята!

Выкин. Здоровым быть! Долго жить!

Доков. На полюсе б свадьбу отпраздновать, Илья Капитоныч.

Кок. Что ж, можно и на полюсе! Прейскурант вин и меню там для тела, советский загс для души.

Дарья Логовна. По-церковному, значит, не выйдет, Илья Капитоныч?

Кок. Лжепредрассудок, Дарья Логовна. И, кроме того, у вас это уже было в прошлом с моим соперником.

Дарья Логовна. И пренесчастливо, Илья Капитоныч. Вы правы — у нас с вами все будет по-новому.

Выкин. Ну, и самим бы омолодиться не мешало — от барашка аль там от обезьянки...

Кок. И собственных ресурсов, надеемся, хватит. Ну, пейте, ребята! А между прочим одно дело разумейте. За капитаном Древсом, конечно, надо в оба. Хоть стрекача ему дать тут некуда. Разве что к тюленям.

Д а р ь я Л о г о в н а. Ах, не одни тюлени тут, Илья Капитоныч. И норвежская станция недалеко. Давеча, вот послушайте только, капитан на стол навалился, по карте пальцем водит, а Ремешков вроде его чурается: не хочу, дескать, с вами делов иметь.

К о к. Умница вы, Дарья Логовна. Ценное свидетельское показание! Еще, ребята, по одной! *(Пьют.)*

Вваливается К а ш л а т ы й.

К а ш л а т ы й. Кок! Капитоныч! *(Хочет обнять. Кок в ужасе не верит глазам.)*

Д а р ь я Л о г о в н а. Свят, свят. Да воскреснет бог и расточатся врази его!

К о к. Призрак это твой, Кашлатый, аль ты сам?

Д а р ь я Л о г о в н а. Хорош призрак! Ишь, наследил... Только пол вымыла. *(Кидается вытирать.)*

К а ш л а т ы й. Живой я и жрать хочу!

К о к. Живой, живой, сукин сын!

В с е. А прочие где? Живы ли?

К а ш л а т ы й. Идут! Недалече отсюда пристали. Думали мы, Медвежий мыс, а напоролись на причальную станцию. Спасибо ей — мачта торчит. Издаля видно. Идут наши, идут.

В с е. Идут! Идут!

К о к. Да откуда? Как с неба свалились. Выпей ты, Кашлатый. *(Наливает.)*

К а ш л а т ы й *(опрокидывает)*. С подвижной пловучей льдины. На каяках. *(Опрокидывает.)* Мамонька родная! Уж и претерпляли мы!.. *(Опрокидывает.)* Анна Федоровна, мамочка, с ног сбилась, шла, шла, а намедни сомлела. На руках ее наши несут — то-то отстали. Меня налегке на разведки выслали.

К о к. Надо Анне Федоровне комнату потеплей. Лучше нет — к радисту Крону. Пойдем распорядимся.

К а ш л а т ы й. Кабы не Анна Федоровна, ведь ослеп бы ученый-то. Выходила! Петру руку спасла. На всех, на всех разорялась. Да что говорить? Без нее мы бы друг дружку поели. Было дело... *(понизив голос)*. Уж на Окушку зарились. Анна Федоровна осадила. Вот и неправедно ты, кок, говорил: баба на корабле — пропасть кораблю. Ан бывает, что и спастись.

Кок. Ах ты, Франца-Есифа Земля! Ну, ну... опрокинь еще!

Кашлатый. Огонь, Капитоныч. Огонь в нутре. Хоть бы одну навстречу им снести.

Дарья Логовна *(ставит несколько бутылок)*. Вот берите...

Кок *(берет две)*. Скоро вернемся. Оправдаем остатние. Встречу готовьте, Дарья Логовна. Все, что в печи, все на стол мечи. Научэкспедиция идет. Ура!

Все *(к выходу)*. Ура!

Кок. Стой! Выкин, Доков, вы, ребятки, на ноги плохи. Все равно отстанете. Вы капитана уберегите, чтоб не сбежал. У самого выхода дежурьте. Из дома никого не пускать, окромя Дарьи Логовны, — ей по хозяйству туды-сюды приведется.

Кашлатый. Капитан про меня уж, верно, знает. Я с радистом говорю, а он издаля глядит. Повернулся было к нему, а он за торосы ка-ак порскнет. Должно, личность свою соответственно подготовить.

Кок. Ну, идем скорее! Ребята, капитана не упускать.

Уходят. Дарья Логовна накрывает большой стол, уставляет его бутылками и закусками. Останавливается в мечтании, напевает: «Не ис-ку-шай меня...»

Дарья Логовна. Бог с ней, с Марьей Сидоровной. Отпущу ей каракулевую саку. «Не иску-шай меня...»

Капитан *(входит)*. Кто тут делал шум? Где матросы? Где субординация? Сейчас к нам будет научэкспедиция. *(В волнении ходит по комнате.)* О, я им буду показывать субординация. А, тут делают один фестиваль... Оччень хорошо. *(Наливает и пьет много рюмок подряд.)*

Дарья Логовна. Да что это вы, капитан Древс? Не по правилу!

Капитан. Я сам есть правило. Слыхали: бог на небо — капитан на кораблю.

Дарья Логовна. Какой же это корабль, когда это совершенно сухопутное помещение!

Капитан идет к выходу. Матросы его не выпускают. Пререкания.

Голос Докова. Велено одну Логовну выпускать. Вас не велено!

Капитан. Я требую субординация. Я под суд отдам. *(Возвращается обратно.)* Дарья Логовна, вы есть добры женщина. Прошу вас папирос. Я не захватил.

Дарья Логовна. Папирос нет, один насыпной для команды.

Капитан *(овладев собой, обычным шутливым тоном)*. Ну что ж, и я умей крутить один козий ножка.

Дарья Логовна *(идет в кладовую, ворчит)*. Да уж вволю-то раскуриться не дам!

Капитан делает ловкий прыжок, затыкает Дарье Логовне рот салфеткой, другой связывает руки назад, вталкивает в кладовую, потом кидается в комнату Дарьи Логовны, надевает пюсовое платье, платок, берет в руки корзину, в нее кладет со стола несколько бутылок вина и уходит. Дарья Логовна бьет в дверь ногами, потом затихает. Крики, шум. Входят Петрик, Товкач, Падеркин, кок, радист, Ока. Всех усаживают, раздевают. Огонь в камине. Суматоха. Возгласы: «Экспедиция идет!», «С того света ворочаемся!», «Мерзли, да не домерзли!», «Да целы ль вы? Да живы ль вы?», «Целехоньки!», «Шамать давай!», «Ах, черти! Ах, стажеры полярные!»

Ока. Хочу такой юрта жить!

Товкач. Доперлись до хаты, товарищи. Ба! Горилка першая встречает. Ой, и добра! *(Опрокидывает.)* Налегайте для здоровья, товарищи! Оконька! Кашлатый, смотри, с посудой не проглоти. Треба до теплой хаты товарищу Ермилову снести.

Кашлатый. И Анне Федоровне для подкрепления сил.

Товкач. На! *(Дает.)* Катись. Ну, а де ж той собака, капитан Древс?

Кок. Выкин, Доков! Стеречь приказано вам. Где Древс?

Матросы. И не выходил, а, сказать, скрозь землю провалился, товарищ кок. Логовну, точно, выпускали. Сами дивимся, что капитана и след простыл.

Стук в чулане. Открывают, выводят связанную Логовну.

Дарья Логовна. Связал... Рот заткнул... душил было.

Выкин. Да мы ж тебя выпускали, Логовна. В парадном платье была, в платке в черном...

Дарья Логовна *(кидается в комнату)*. Пюсовое украл... Пюсовое! Держите!

К о к. Ну и команда! Капитана от бабы не отличили. Успокойтесь, Дарья Логовна. Откушайте водицы.

М а т р о с ы. Обернулся, дьявол, Логовной. Все одно — уйти ему некуда. Разве к медведю в берлогу. Идем!

К р о н. Куда вам одним, цынготным. И я с вами пойду. Кстати, надо Анну Федоровну поудобней устроить.

Т о в к а ч. Ну, швидко. А не найдете — я того собаку пошукаю. Да що с него взять? Вин наемный капитан. А вот как наш Ремешков на таке погано дело пошел. Где Ремешков?

Радист и матросы уходят.

П е т р и к. Товарищ кок, аэроплан летит Ермилова разыскивать. А он уж сам здесь. Изумительные события. Изумительные! Мне кажется, я два вуза сразу окончил. Просто вот чувствую, как поумнел.

Шум в сенях, крики, смех. Товкач уходит узнать, в чем дело. Тотчас возвращается.

Т о в к а ч. Ну, отсалютовали наши хлопцы не капитану, а капитанше! Бо бабник Древс сам бабою зробился. Повели его очухаться в кают-компанию, там запрут — не удерет. А привезем домой — на суде разберут, что он за птица.

Д а р ь я Л о г о в н а. Пюсовое платье снять надо. Измял... испаскудил... Пюсовое!

В ы к и н *(входит, подает платье)*. Нате, Дарья Логовна. Получайте свое. А недалеко и ушел капитан-то. Через край, видать, водочкой где-то подбодрился. Тут сейчас за торосами и нашли его.

Т о в к а ч. А где же... сказать... Ремешков?

П а д е р к и н. Одурел Ремешков — вешаться вздумал. Вот кок приведет его. В самую в пору из петли вынули.

К о к и Р е м е ш к о в входят.

К о к. Товарищи, вот успокойте парня. Убивается. Через капитана, говорит, и мне теперь веры не будет. А я, товарищи, свидетельствую: без содействия Ремешкова быть сейчас нашей «Победе» в Архангельске, а нам зиму тут зимовать.

Р е м е ш к о в. Дайте, товарищи, заслужить. Доверьте судно, доведу.

Все. Верим, Ремешков, доводи.

Товкач. А сейчас, братва, давайте кока почествуем, бо в этом довольно темном деле он, как говорится, дюже аттестовался как светлая личность.

Все. Кока чествовать!

Кок. Коль на то, ребята, пошло, так не одного ж меня, а с нашей супругою. Дарья Логовна — выдвиженка с полярным стажем. Дарья Логовна, вашу руку.

Дарья Логовна дает руку.

Ока. А Ока чичас не будет жениться. Ока — бедный невеста. Придано у тату оставлял. Тату продадут придано... Три оленя, во-о-семь чашек...

Товкач. Я ж тебе, серденько, аж дюжину куплю. А учеба — це добре, Оконька. Первый ненецкий женотдел.

Ока. Это карашо, очень карашо.

Кашлатый *(вбегает)*. Товарищи, сейчас товарищ Ермилов придет, он по радии принимает. И Анна Федоровна обязательно сюда хочет. Отошла мамочка, отошла.

Дарья Логовна. Кресло ей, миленькой, выкатим. У меня в кладовке на подобный случай припасено.

Кашлатый. Бегу. На руках ее, мамочку, принесем.

Петрик, Ока, Дарья Логовна выкатывают кресло. Дарья Логовна обмахивает его веничком. Петрик вытаскивает из кладовки барабан.

Петрик. Ого, это пригодится. *(Пробует.)*

Дарья Логовна. Пауки паскудные. Скрозь оботкали.

Петрик. Ура, Дарья Логовна! *(Кружит ее вместе с креслом. Она его смазывает веником.)*

Дарья Логовна. Отвяжись, балда.

Петрик. Оконька, душенька, станцуем ненецкий танец. *(Танцуют.)*

Шум за дверью.

Кашлатый. Кресло Анне Федоровне есть?

Все. Есть, есть.

Кашлатый и Выкин вносят Анну Федоровну и сажают в кресло.

Анна. Спасибо, дорогие. Мне отлично. Как я рада, что я у вас... и такие все добрые...

Кок. Приветствуем, Анна Федоровна, с благополучным прибытием. Рекомендуем — супруга наша, Дарья Логовна.

Дарья Логовна делает книксен, обнимаются.

Товкач. Дарья Логовна, разлейте всем по склянке. Бо товарища Ермилова треба тушем встречать.

Дарья Логовна наливает. Входят Ермилов и радист Крон.

Все *(подняв бокалы)*. Ура товарищу Ермилову!

Петрик бьет в барабан.

Ермилов. Товарищи, по радио сообщение: летчик, посланный за нашей экспедицией, сейчас прибудет.

Крон. И как счастливо-то, что искать вас не придется.

Ермилов. Сам нашелся. Анечка, хорошо ли тебе?

Ока. Карашо. Он, как медведь, лежит.

Крон. Товарищ Ермилов, боюсь вас и спрашивать, подтвердились ли ваши научные предположения. Это вещь такой важности. По радио все запрашивают.

Ермилов. Да. Проверка все подтвердила.

Товкач. Голодали, товарищ радист, замерзали, а матерологию не предали.

Ермилов. Расскажите, товарищ радист, приводятся ли в исполнение наши полярные проекты. Уж полгода я ничего не знаю.

Крон. Все идет лучше, чем ожидали. К нашей причальной мачте летит дирижабль. Связь со станцией на полюсе будет поддерживаться на самолетах. И когда вы, товарищ Ермилов, окажетесь в состоянии лететь, то, быть может, вместе с летчиком проследуете к норду.

Ермилов. Я уже здоров. Я вижу без очков. Я уже могу. Немного подкрепиться, и далее. Все так благополучно кончилось. На аэроплане, наверно, окажутся отличные приборы. И знаешь, Анечка, если к моему исследованию прибавить еще кое-что на полюсе... Но нет, нет. Конечно, это невозможно. Я только мечтал. Боюсь, что новая разлука тебе уже не по силам. Я только помечтал...

Товкач. Анна Федоровна, а вдруг товарищ Ермилов и на полюсе каку-нибудь штуковину откроет... А? Матерологична каша тильки заварилась.

Анна *(пауза)*. Товкач прав. Знаешь, Платон, улетай. *(Обнимаются.)*

Товкач. Це добре! Ай да Анна Федоровна! Выходит, и вы недаром померзли. Бо окончательно переключились с личности на коллектив.

Анна *(сквозь слезы)*. Вот за это спасибо, Товкач, аттестат выдал.

Товкач. Сами заработали, Анна Федоровна.

Крон. Товарищу Ермилову во всяком случае удастся отдохнуть, Анна Федоровна. Ведь самолет вылетел с расчетом затратить время на поиски, а уж потом отправиться вслед дирижаблю.

Товкач. А сейчас, товарищ радист, затратим время на добрый пир. А там, як живы будем, аж вси перекинемся на полюс.

Дарья Логовна. Илья Капитоныч старшим полярным коком.

Кок. Вы, Дарья Логовна, — полярная кокиня.

Дарья Логовна жеманится.

Ока. Ока учить камлать будет. Медведь, добрый хозяин, приди. Угыда Гидерв. Нум... Нум... Ну-у-ма...

Кашлатый. Меня на Франца-Есифой Земле, товарищи, скиньте. Обратно подберете. Побуду — обсмотрюсь.

Падеркин. Кашлатый там с медведицей угнездиться хочет.

Кашлатый. А скоро летчик-разведчик прилетит?

Крон. Вот-вот. Телеграмма уж есть. Сейчас пора на мачте иллюминацию зажигать. Идем, Доков. *(Уходят.)*

Ока. Чичас! Чичас! Чичас!

Кашлатый. Товарищ радист, а как дирижабель к нам не сядет, а с разбегу возьмет да мимо причальной мачты даст?

Крон *(от дверей)*. Нельзя ему мимо. Без причальной мачты до цели ему не дойти. Тут и бензин ему заготовлен. Чай, тоже проголодалась машинка.

Товкач. Товарищи, разрешить, пока летчик-разведчик не прилетел, сказать вам краткое слово насчет культурной революции. Бо тая причальная мачта меня на думки навела. Слыхали, товарищи? Дирижаблю — воздушной птице — и той треба на причальную мачту сесть. Бо без причальной мачты вин пустобрюх. И нема ему ни-

якого взлету. Так и наша революция, товарищи, не может быть без культуры. О! Менее научно выражаясь, революция без культуры — це пустой сарафан без бабы, пирог без начинки. Це, товарищи, изба-читальня без якого народа, где, як горьки сироты, по стенам одни вожди скучають. Еще скажу, товарищи, по линии культурной революции граждане делятся, як овощ, по сортам. И вот, граждане, на полях орошенья, к примеру, турнепс — ему б места побильше занять та лежнем лежать. Солнечко его греет, а вин на земле тильки преет. Но е, товарищи, совсим другого сорту чоловик. Он — як живчик колобок. Ему всего земного шара мало. Он этот шар под микроскоп загонит, чтоб увеличился. И прет такого живчика, товарищи, все дальше, без передыху, як нашего доблестного товарища Ермилова. Хай живе товарищ Ермилов! Хай живе причальна мачта нашей революции — культура, и моя ридна маты — матерология!

Пропеллер трещит все сильней и сильней.

Все. Самолет-разведчик.

Кашлатый. Снизился, товарищи, чтоб ему... Снизился, сукин сын. Сюда идет.

Товкач. Дирижабль! Музыка ему!

Петрик. Музыку!

Логовна подает из кладовой гармонь, трубы. Кто бьет в барабан, кто в жестянку. Ока кружится как волчок.

Товкач. Хай наш Союз не обижается, бо другого струменту нема. *(Дудит сквозь бумагу на гребешке.)*

Все. Ура! Дирижабль!..

Занавес.

1929

СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПЬЕСА В ЧЕТЫРЕХ АКТАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Туров Сергей Иванович — начальник строительства.
Турова Зина — его жена.
Василий — гидротехник.
Шура — студентка техникума.
Максютина — землекоп.
Степаныч — столяр.
Варвара Петровна — предколхоза «Победа».
Сакаровна — счетовод.
Фаризет — узбечка, делегат VIII съезда Советов.
Азамат — кабардинец, делегат VIII съезда Советов.
Урвид — начальник отделения милиции.
Васька — мальчик с улицы.
Обдоркин — тренер.
Анатолий — бегун.
Прыгин — помощник Василия.
Миша — председатель местной спортивной команды.
Коридорный.
Швейцар.
Колхозники, колхозницы, делегаты съезда, рабочие, школьники, физкультурники.

Действие происходит в 1936—1937 годах.

АКТ I

Кухня общежития Стройтреста. Сакаровна у газовой плиты. Сзади нее тихонько вошел на кухню столяр Степаныч и вдруг крикнул.

Степаныч. Наше вам с кисточкой.

Сакаровна *(вздрогнула, обернулась)*. Ах... всегда испугаешь, Степаныч, не научишься покультурней.

Степаныч. А ты, Сакаровна, не научишься, чтоб не ахнуть.

Сакаровна. Я — Лидия Ос-ка-ров-на. Придумал Сакаровну.

Степаныч. Сакаровна, знаешь, по-русски как бы звучней. Турова ждете сегодня? Я ведь к нему.

Шура *(подходит к Сакаровне с кастрюлькой)*. Мне сейчас спешно надо по делу... Посмотрите, пожалуйста, за кашей.

Сакаровна. Хорошо, Шурочка, посмотрю.

Шура уходит.

Степаныч *(ходит, волнуясь)*. Можешь понимать, Сакаровна, что, к примеру, я вроде в отставку вышел по своей профессии столяра, — а вот буду строитель гидростанции. Сам товарищ Туров мне доверяет. Какой человек! Он в глушь норовит, куда другого и калачом не заманишь... Чтобы именно там коптилку электричеством заменить. В такой вот мужицкой избе, где я парнишкой рос. Пойти наведаться к Зине, может товарищ Туров уже приехал. *(Уходит.)*

Из комнаты Шуры выходит Василий с кастрюлькой.

Василий. Сакаровна, прошу... мне надо экстренно по делу. Не сварите ли мне кашу?

Сакаровна. Ты в своей кастрюльке, жена твоя — в своей... Не проще ли бы в общей? Почему не так?

Василий. А потому, Лидия Оскаровна, что мы ничего больше общего иметь не желаем. Мы даже комнату поделили. *(Посвистывает.)*

Сакаровна. Значит, и работать вместе не едете.

Василий. Я как был, так и есть — гидротехником строительства. Сюда я только наездами. А Шура, если хочет, может практиканткой и в другое место поехать.

(Смотрит на часы.) Ну, мне пора... Вперед вам спасибо за кашу.

Сакаровна. Марью небось на работу себе возьмешь. Каково Шуре-то будет?

Василий. «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя...»

Сакаровна *(сердится)*. Никак нельзя! Вот твоя кастрюлька, вот Шурина — как душечки, рядком стоят.

Василий *(смеется)*. Поворожите... поворожите. *(Уходит.)*

Сакаровна *(одна)*. «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя». *(Качает головой.)*

Турова *(быстро входит)*. Сакаровна, мой Сергей приехал. Всю ночь не спал, сейчас на минутку свалился. Окончательный разговор со всеми вами хочет иметь. *(Открывает дверь в комнату Шуры.)* Шура!

Сакаровна. Ушла Шура по важным делам. Мне вот с кашей кастрюльку поручила. А Василий тоже кастрюльку, и тоже с кашей.

Турова. И комната пополам?

Сакаровна. Она заплакана, он свистит. Видно, в сердечных делах и советская власть не поможет. Что касается материнства — не спорю. Против прежнего и сравнения нет. Не то, что в моей молодости. Ведь я, Зиночка, на себе испытала. Родила своего Анатолия не от «кого следует», так ведь только и слыхала, что его первый писк. Тотчас куда-то его отдали. Тетка умерла, и концов было мне не сыскать. А сегодняшним молодым разве как нам? Вон в кино показывают... им и черномазого ребеночка иметь не зазорно, все желанные, все детки законные... Но с сердечными делами как было, так и есть... Василий свистит... «Любовь птичка, да не простая, ее поймать никак нельзя...»

Турова. Вздор, Сакаровна, и с сердцем должно быть по-другому.

Максютина *(вбегает возбужденная)*. Где Шурка, где? Я за ней бегом, а она как сквозь землю. Иду по набережной, а кто-то у самой воды стоит, плачет. Вниз я по лестничке, глянула в лицо — Шурка. Как порхнет от меня, да в переулок. На свою голову Маньку, подружку, вызвала погостить. Васька с ней и скрутился. Сегодня на

вокзал провожал чуть свет. Потом с Шурой ссорился. Звали меня шкафы промежду себя ставить.

Степаныч (*высунул из-за дверей голову*). Сакаровна, Максютина, Сергей Иваныч проснулся, вас зовет.

Турова. Выйдите, а я тут с Шурой два слова...

Все ушли. Турова ходит по кухне, взволнована предстоящим разговором.

Шура вошла с улицы очень расстроенная, бледная, стала у места Сакаровны за плитой, напевает наигранно-веселую частушку. Опускается на стул перед столом, кладет голову на руки.

Турова (*тихо обняла ее*). Зачем, Шура, комнату поделили?

Шура. Эту комнату... (*Встала, ходит.*) В ней вместе учились, вместе планы строили. В ней любили. А сейчас окно пополам, спиной ко мне его шкаф, к нему мой комод, еще девичий. (*Подошла к Туровой.*) И поверишь, Зина, когда я осталась одна, при своих холостых вещах, у меня как гора с плеч. Вся жизнь впереди, обойдусь без Василия. А Манька — черт с ней.

Турова. Сама ты из провинции ее вызвала?

Шура. Сама. Пусть, думаю, повеселится девчонка, в театры сходит. Все с Васькой бегала, а я, дура, рада. Мне бы главное, мне учебу кончить. И дождалась от Василия: «А знаешь, мне Маня гораздо больше, чем ты, соответствует». Ну и пусть, говорю. Может, вы и патефон заведете, джазы играть... сон у меня крепкий, пожалуйста. (*Пауза.*) И вдруг всю эту гордость мою — в лепешку. Зиночка, милая, — я беременна. (*Пауза.*) Умру — от Василия алиментов не возьму. Манька чтобы всюду кричала, что денег ей из-за меня мало. Жить-то теперь как? Не знаю.

Турова. Хорошо будем жить, Шура. (*Обняла ее.*) Еще мой Сергей не знает, а тебе скажу: и я жду... Вот вместе, Шурка, рука об руку. И от работы не оторвемся и смену дадим.

Шура. Зиночка...

Турова. Все, Шура, теперь перед женщиной... мы все и возьмем. Ни от чего не откажемся. У меня такая гордость перед Сергеем. Я, как он, с головой в нашей стройке. А сейчас еще преимущество перед ним. Полной жизнью живу... И ты, Шура, живи.

Шура. Да ведь Василий туда Маньку выпишет... Допустим, с собой-то я совладаю, а каждый день нервы трепать — какого урода рожу?

Турова. Ну, нет. Марью выписать мы ему не дадим. Все вступимся.

Шура. Вот и вступитесь...

Степаныч (*открывая дверь*). К чаепитию шествуем...

Входят Туров, Максютина и Сакаровна.

Сакаровна. Ай, чай заварить. (*Бежит к плите, хозяйничает.*)

Максютина. Шурка нашлась. Ну, в добрый час. (*Хлопает ее по плечу.*) Ходи бодрей, милая. (*Туровой.*) Вот, Зиночка, товарищ Туров чудеса творит.

Туров. Своими глазами, Максютина, увидишь! Наша станция, даром что мала она, товарищи, двенадцать колхозов будет освещать. Электрическая энергия нам поможет лен к сроку сдать...

Сакаровна наливает всем чай. Садятся за стол посреди кухни.

Максютина. Сдадим, товарищ Туров, не подкачаем.

Туров. В скором времени ты, Максютина, — премированный землекоп. Лидия Оскаровна — счетовод. Степаныч — квалифицированный столяр. А Зина — кем только не была на прошлой стройке! По душе мне, товарищи, медвежьи углы освещать. Сам я в деревне при коптилке рос. Знаменитое, скажу вам, было освещение. Тараканы сомкнутым строем по стенам шли, не боялись.

Ну, товарищи, проект мой утвержден, средства отпущены, приступим к постройке. Замечательный там на месте помощник будет — предколхоза «Победа» Варвара Петровна. Она этой зимой минутки не потеряла — подвезла по санному пути весь нужный нам лес.

Степаныч. А далеко ли от станции строительство?

Туров. Там, где речка Быстрянка пруд образует. От него пророем каналы, потянем воду к напорному бассейну, дальше в турбину по деревянному трубопроводу. Этакую пустим огромную гусеницу в двадцать метров.

Сакаровна. Совершенный змей... я в книжках видала.

Максютина. А где, товарищ Туров, разместимся?

Туров. По колхозным избам. Тебя, Степаныч, отрядим к предколхоза Варваре — у нее дома столярная мастерская. Муж ее столяром был, как ты, а ныне пьяница.

Сакаровна. Держись, Степаныч, Варвара с масштабом.

Степаныч. Проверим.

Входит Василий. Стоит вдали от всех.

Туров. Горячее время будет, товарищи, в дни подъема воды. На предыдущем строительстве, помнишь, Зина, трехтонка везла нам генератор, да, не доезжая станции, заела машину непролазная грязь. Молодцом ты была. Фонарь любезный, «летучую мышь», схватила, и в атаку...

Турова. Выбрались.

Туров (*встает с рюмкой*). Да, отличные вы люди, товарищи женщины. Особо за вас хочу выпить. Сейчас в нашей стране переделывается весь мир, все условия бывшей собачьей жизни меняются, и до черта нам новые люди нужны. Такие, чтобы ни зерна в них макового вредной подоплеки не было. И главное ваше дело — смену давать! По шапке все боковое.

Турова (*вспыхнула*). Молчи, Сергей. Каким Наполеоном обнаружился! Это он изрек, что самая достойная женщина та, что сделала наибольше детей. Одним этим делом нам заняться? Что значат слова твои «по шапке все боковое»? Это наши достижения во всех областях — боковое?

Туров. Зиночка, я не в том смысле... не в том.

Максютина. Нет... зацепил женщин, товарищ Туров, терпи — наше первое слово.

Сакаровна. Мы, женщины, способней мужчин мир переделать. Едва стройка пошла, все воз повезли. И сунься к нам враг... Да хоть я... и незаряженного боюсь, а выстрелю. Я выстрелю.

Туров. Да слово-то дайте.

Турова. Отсталые нацменьшинства двинулись. Те, что покрывал своих не снимали, — перед народом сейчас говорят. Домохозяйки заявили, что они — коллективные хозяйки всей страны. Легион женщин стал на защиту своей родины. Ле-ги-он...

Василий *(подходит)*. Браво, товарищ Турова! Выступать на эстраде можешь.

Шура *(вспыхнув, прерывает)*. Сейчас полезно мужчин проработать. Иные совсем не на высоте сегодняшнего дня. Совсем не на высоте... *(Осеклась, в голосе слезы.)*

Турова. Верно, Шура. Продернуть невредно и мужчин. Главное — разоблачить взгляд многих на женщин *(в сторону Василия)* как на забаву или как на второй сорт. Да, да, это недавно предо мной обнаружил не кто иной, как Степаныч.

Максютина. Выходи, Степаныч, на чистку... *(Вытаскивает Степаныча.)*

Турова. Помнишь, Степаныч, восьмого марта, в наш женский день, идет мимо дома демонстрация, мы с тобой рядком стоим, и ты со смешками... вот имей-ка мужество, повтори, что сказал.

Степаныч. Очень просто и повторю. Посмеялся, что много прав вам отпущено, это уж, говорю, ничего не поделаешь, сам понимаю... социализм. А еще сказал я... равняй вас — не равняй, извиняюсь, товарищ Турова, рожать бессменно вашей сестре, а не нам.

Турова. Не отказываемся. Только мы и государством править хотим не похуже вашего брата. И докажем, докажем.

Степаныч. То-то и я говорю, доказать надобно. А то которая из ваших кричит, как мыша трудится, а не слыхать. Не определен вам природою толстый голос.

Максютина. Делом возьмем, не голосом. Будем и ваше мужское и свое женское делать. И страной править и деток рожать. И ничему ровно дите не помеха. Начнешь его подымать — сама, ровно черемуха, зацветешь. Да с дитем легче в порядок стать. Старики не дураки, говаривали — дитем баба спасается.

Туров *(смеется)*. Ну, товарищи женщины, во всем вы обогнать можете, признаю, — только логика у вас в последнем счете пойдет. Чего на меня взъелись, если сами к тому же пришли, что я вам сказал, детных хвалите.

Турова. Да ты все боковое предлагаешь долой...

Туров. А вы дали мне пояснить, что это боковое в себе содержит? Конечно, это не работа, не профессия ваша, а вот тары-бары-растабары, а вот...

Т у р о в а *(зажимает ему рот рукой)*. Молчи, Сергей, молчи...

Т у р о в *(смеется)*. Ну, вернемся, товарищи, к нашему ближайшему делу. Кто со мной может завтра же ехать? Как вы, Сакаровна?

С а к а р о в н а. Еду. Ах, я и во сне вижу напорный бассейн...

Т у р о в *(смеется)*. Наяву в счетных книгах не спутайте. *(Василию.)* Василий, ты, братец, необходим... и Шура необходима. *(Шуре.)* Занятия ведь окончились, чего тебе здесь сидеть?

Ш у р а. Сергей Иваныч, если Василий едет, я не могу... или он, или я. Вместе не могу. *(Заплакала, убежала в коридор.)*

С т е п а н ы ч. Комнату перегородили, кашу в разных кастрюльках варить начали.

М а к с ю т и н а. Опасается, видно, Шура, что Василий на строительство к себе эту Маню выпишет.

Василий безмолвно и независимо курит. Максютина рассердилась.

Одерни, товарищ Туров, Василия. Ведь не от Шуры — от него все художества.

С а к а р о в н а. Максютина, Степаныч, пойдемте ко мне на минутку. *(Потише.)* Разве не понимаете, разговор должен быть конфиденциальный.

Уходят Максютина, Степаныч, Сакаровна.

В а с и л и й *(продолжает курить)*. А если конфиденциальный разговор, зачем Зине оставаться?

Т у р о в *(ходит)*. Муж да жена — одна сатана. Зина вросла в дело, она моя правая рука. А разговор с тобой о деле.

В а с и л и й. Ну пусть, мне даже любопытно.

Т у р о в *(остановился против Василия)*. Ну, вот ты — гидротехник, Шура — твой помощник, оба необходимые работники на станции. Тебя я знаю, работали вместе и на другом производстве. Отлично... хорошо. К чему перемены?.. Что у тебя вышло с Шурой?

В а с и л и й. Не вышло, а прошло. Расходимся.

Т у р о в *(бегая)*. Милое дело... расходимся. Гидростанцию нужно прежде построить. Ты разойдешься с Шурой, я с Зиной... Да ведь мы не частные люди, мы не праздные

люди, чтобы нам дурить. Понял? Пока не построена станция, фантазии — дезертирство. Поедете оба с Шурой... И вообще эта перемена — ерунда... Поговори с ним, Зина, подробней. Ну, там о чувствах... я не умею. И совершенно мне некогда, у меня тысяча дел. *(Уходит.)*

Зина и Василий. Турова, слегка стесняясь, стоит у стены. Василий курит, спокойно поглядывая на нее.

Василий. Что, Зина, стесняешься меня наставлять?

Турова. Слов ищу, тебе растолковать...

Василий. Давай, я сам тебе сразу все выложу.

Турова. Ну, выкладывай!

Василий. Пойми, Зина... Человек, пока жив, все растет, все меняется. Ну, а если тот, кто с тобой рядом, — меняться не желает?! И понимаешь, не желает в самом интимном, внутреннем, в том, что в семейной жизни так важно... из чего и сплетается то, что зозут — счастьем?!

Турова. Новая женщина во всем хочет расти, потому что она...

Василий *(перебивает)*. Ты, Зина, не-до-смот-ре-ла! Иная и очень как будто новая... она и в своей профессии отличилась, она и с эстрады гремит, а как вошла на свою семейную жилплощадь — курица курицей! И совсем как прежняя — в мужа вцепится: мой, кричит, мой собственный! Вот, таким образом, эта Шура в меня... ну как пиявица! И сейчас у меня, знаешь, просто какой-то зуд себе самому доказать свою свободу.

Турова. Любит Шура тебя...

Василий. На свою потребу!.. Надо любить так, чтобы другой от этой любви получал! Вот скажу Шуре: музыки хочется, пойдем в симфонический, а она: спать хочу. Ну и стал ходить с Маней...

Турова. Ты культурней Шуры, старше... Ты должен был ей помочь. Скажу тебе, Вася, и у тебя старинная психология. Что-нибудь с женой не заладилось — сейчас тебе новую подавай! Да по такому рецепту жить — сегодня одна мила, завтра — другая, по-ка-тишь-ся... *(Подходит.)* В советском браке не должно быть на время... вместе должны меняться, вместе расти.

Василий. Знаешь, Зина, поговорку: хорошо поешь... где-то сядешь? Ты мне тоже не пример новой женщины!

Ты, Зина, — непроверенный экземпляр... легко тебе поучать!

Турова. Какой... какой экземпляр?

Василий. Не-про-ве-рен-ный.

Турова. Объясни!

Василий. Все права вам даны, так! Ну, а психологию уж самим дотянуть надо! Проверь, точно ль она у тебя новая, а не бабкина-прабабкина? Вот, к примеру, Сакаровна. Хлопнула ее жизнь по личному чувству сто лет назад, а она и сейчас пришиблена.

Турова. Сакаровна — советская и свое дело делает.

Василий. Говорю сейчас не про дело, не про общественное, а про самое интимное. И здесь сейчас надо бы побогаче... пошире. Однако точка. Конфиденциальный разговор кончим. Заявляю — на работу двинемся с Шурой вместе и Маню не стану выписывать.

Турова. Как я рада...

Василий. Только знай — убедила меня вовсе не ты, а твой муж, товарищ Туров. Прав он: пока гидростанцию не докончим, из строя нельзя никого выбивать.

Туров *(голова в дверях)*. Ну, как дела?

Василий *(быстро)*. Мы с Шурой едем оба!

Туров. Расчудесное дело... Максютина!

Появляется Максютина.

Оба едут... мирится он с Шурой.

Максютина. Хватит им кашу в одиночку варить!

Василий. Обратно женить меня вовсе не требуется. Я только даю обещание не срывать работу.

Максютина. Пойду скажу Шуре, чтобы плюнула на тебя. *(Уходит.)*

Туров. Значит, двинемся, Василий, завтра?

Василий. Есть, товарищ Туров. Иду вещи собирать.

Василий ушел. Туров и Зина одни.

Турова. Сережа... Угадай, почему я накинулась на тебя, когда ты брякнул: «долой боковое» и всем женщинам родить предложил в спешном порядке... За компанию и Максютиной и Сакаровне? Чудак ты...

Т у р о в. В голове у меня хорошо... а скажешь порой... кого-то вроде огрел. Привык молча работать.

Т у р о в а *(подходит)*. Ну, отвечай, догадайся... будь психологом. Угадывать должен, если я твоя жена.

Т у р о в. Угадывать согласен викторину и мысли малолетних, а ты...

Т у р о в а. Я — новая женщина, которая боится в себе старой психологии.

Т у р о в. Валяй, Зиночка, прямо.

Т у р о в а. Один вопрос... ты бы хотел, Сережа, чтобы я первая выполнила твое предложение насчет смены? Ты был бы рад?

Т у р о в *(смущенно)*. По правде сказать, Зиночка, оно лучше б попоздней. Вот когда выстроим гидростанцию... попоздней лучше, да.

Т у р о в а *(вспыхнула)*. Ты боишься, что я тебе помогать стала бы хуже?

Т у р о в. Нет, Зиночка, я тут без сомнений...

Т у р о в а *(прерывает)*. Напрасно без сомнений... Если хочешь, скажу тебе правду. Я оттого рассердилась на твое «долой боковое», что слишком боюсь уйти с головой в своего ребенка. Он для меня — все. *(Вспыхнула.)* А для тебя... для тебя, Сережа, — он только более или менее удобное обстоятельство.

Т у р о в. Зиночка...

Т у р о в а. Да, да... не оправдывайся! *(Слезы в голосе, но старается улыбаться.)* Ну вот... у меня уж и характер стал портиться. Прости, Сережа... не буду к тебе придираться. Буду счастлива в одиночку. Василий знаешь что мне сказал? Все права вам даны, а психологию самим дотянуть надо...

Т у р о в *(смеясь)*. Жаловался на Шуру! *(Обнимает.)* Ну, береги себя, Зиночка *(глянул на часы)*, а мне, если завтра ехать, одну проверку обязательно надо сделать.

Туров ушел, Зина одна.

Т у р о в а. Что же... будем дотягивать...

З а н а в е с.

АКТ II

Между первым и вторым актом прошло около года.

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Комната Турова на строительстве. Слева дверь на большую террасу. Справа дверь в другую комнату. По одной стене комнаты стоит диван, видимо уцелевший от помещиков, которым принадлежал этот дом, перед диваном стол. Справа на стене схема гидростанции. На письменном столе Турова телефон. Туров кончает что-то писать. Входит с большим осенним букетом Максютина.

Туров. Это ты что же — для Зиночки нарвала?

Максютина. Для встречи... с новым здоровьем. Шутка ли сказать, три месяца в больнице пролежала!

Туров. Ну, сейчас все отлично. Сам за Зиной еду...

Максютина (*глянула в окно*). Стоит лошадь-то.

Туров (*прибирая бумаги и стол, на ходу*). Прошу тебя, Максютина, собери мой чемодан. Вечером в Москву надо с Василием. (*Идет к выходу, остановился.*) И Прыгина разыщи... чтобы здесь меня подождал. (*Ушел.*)

Входит Степаныч.

Степаныч (*подает Максютиной большую рыбу*). Самоличного улова. Нашей Зиночке целительная уха. (*Из-за спины вытаскивает узел с бельем.*) А это вот детское бельишко... укрой от Варвариного глаза. Она пошла наряды давать, как раз накроет.

Максютина (*кладет узел под диван*). Опять, видно, нацелился полоскать на плотине, мало тебе воды в другом месте.

Степаныч. Там глыбже и вода чистая. И рыбка водится, — поужу. Пополощу...

Максютина. Как погляжу — взнуздала тебя Варвара. На все руки ты стал. И свое столярное мастеришь и вот бабьим делом не брезгуешь.

Степаныч. Такой-то, как Варвара, — за милую душу пособить. Чей почин гидростанцию строить? Кто от колхозов уполномочен в облисполком? — Все она, предколхоза «Победа». Не то что своего мужа-пьяницы — хорошего мужика такая-то стоит. (*Смотрит в окно.*) Ой, никак сюда идет... уж я на балкончике покурю. (*Ушел на террасу.*)

Входит Сакаровна.

Сакаровна. Новости, Максютина... Шурка с мальчиком едет. На Василья, говорит, совершенно плюю, с кем бы тут ни путался. Уж так счастлива... веселое письмо. Вот она жизнь... бывшему богу с ног сбиться, чтобы на людей угодить. Помнишь, как Шурка убивалась, что у ней будет малыш, а сейчас, от той же самой причины, она на десятом небе от радости. А Зина-то? Ну до чего ждала... а кончилось дело болезнью. И сказал доктор: после такой неудачи — никогда детей у ней больше не будет... Уехал за ней Туров?

Максютина. Уехал. Скоро будут домой.

Сакаровна. Ах, Максютина... Когда у кого-нибудь дети родятся, я особенно своего Анатолия вспоминаю. Через месяц ему двадцать два года — юноша. Я уже давно шью ему ко дню рождения брюки, модные. Это будут двадцать вторые брюки. А начала с самых маленьких штанишек. Сошью, под подушку спрячу, поплачу, потом подарю на улице какому-нибудь беспризорнику.

Максютина. Чего ж тебе брюки шить...

Сакаровна. Это самое мужское... а у меня ведь был мальчик, Анатоль. И по брюкам мне легче за его ростом следить. Эти двадцать вторые — уже совсем взрослые. Их мне как-то неприлично под подушку. Я их вытягиваю вдоль матраца, сверху тоненький, волосяной, и так сплю. Мне сказал один физкультурник — они так делают, чтобы сохранилась шикарная складка.

Максютина. Ах ты, горемычная... Да возьми ты хоть того же беспризорника на воспитание. Уж цельный человек по крайности тебе будет, а то придумала себе в утеху — пустые брюки. Присядь на минуту, дело тебе скажу. Ведь вот к Шуре ты душевно относишься. Приедет она опять на работу с своим дитем... ни у ней тетки, ни бабки. Подруга ее, Турова, в слабости, в горе. Оставь ты, Сакаровна, свои мечтанья с брюками — прилепись к живому человеку. Стань Шурке теткой, а мальчика ее нянчи внуком. Чужому горю подсобишь — свое облегчишь.

Сакаровна (*тронутая*). Ты, Максютина, — сама народная мудрость. Мне, признаюсь, в ум приходило... Шура пишет, она мальчика назвала Ким. Я попрошу, чтобы прибавила Анатоль. Пусть двойной будет: Ким-Анатоль. Я попытаюсь, Максютина, я попытаюсь.

М а к с ю т и н а. В добрый час. Принимайся опять за самые за малые штанишки, — оно и дешевле будет и сразу в дело пойдет.

С а к а р о в н а. Я в контору пойду... *(В двери оборачивается, обнимает Максютину, говорит сквозь слезы.)* Я попытаюсь... *(Ушла.)*

М а к с ю т и н а. Невредная Сакаровна баба, а головой плоха. *(Подходит к стене, развертывает раскрашенную таблицу, изображающую громадную клубничную ягоду, под которой что-то подписано.)* Ну ягода!

Входит В а р в а р а, и одновременно выглядывает куривший на террасе Степаныч.

С т е п а н ы ч. Ушла никак... Ой!

В а р в а р а. Ушла, да не та. А эта, от которой укрылся, как есть пришла. А ну, рыболов, иди-ка сюда. Подавай узел с бельем.

М а к с ю т и н а. И чего, право, ты, Варвара, человека притесняешь. Ну пусть себе полощет, где душа его просит.

В а р в а р а. Сказано — на плотине белье не полоскать. За большими малые потянутся, не усмотришь, как в воду бухнутся. А другой с пьяных глаз и сам нырнет — дна достанет. Пусть повадки этой не будет. Река велика. А он на плотину именно лезет, да еще с моим барахлом, — хорош пример подает.

С т е п а н ы ч. Ну, не воюй — в последний разок соблазнился. Зато Зиночке карпа поймал, покажи, Максютина, — кабан, а не карп.

М а к с ю т и н а. Выдам тебе, Варвара, с головой Степаныча. Похоже, он меня к тебе в сватьи подослать хочет.

С т е п а н ы ч *(смущенно)*. Выдумала...

М а к с ю т и н а. А кто давеча говорил: «Не то что своего мужа-пьяницы—хорошего мужика Варвара стоит». Кого ж, кроме себя самого, в мыслях имел. *(Смеется.)*

С т е п а н ы ч. Обо мне мало хлопот. Я что... я вот ее деток жалею. У отца ихнего только и заботы, что литровку добыть. По доброте она же *(показывает на Варвару)* ему подает. Да с таким дадут мигом развод...

В а р в а р а. Спасибо, Степаныч, что детей моих пожалел, а к замужеству у меня вкус пропал с той поры, как захлестнуло меня горе... Если б не ребятишки — хоть в омут! Десять лет со своим пьяницей мучилась. Счастье

мое, что работу нельзя было бросить. С утра до ночи и свое и мужиково — одна как перст.

Максютина. По твоей работе в председатели колхоза тебя выбрали...

Варвара (*улыбается*). Да... я предколхоза. (*Степанычу.*) Видишь, Степаныч, сейчас у меня семья больно-то велика, некогда мне о себе... дела не переделаешь. Да, признаться, такое веселое дело, что и во сне свадьба не снится. (*Смеется.*) Жду я, когда гидростанция свет нам засветит, как, бывало, своего пьяницу, женихом еще, в березовой роще ждала.

Максютина. От березовой рощи не зарекайся, Варвара, в ней воздух хорош.

Варвара. И то не зарекаюсь... я про нынешний день говорю. (*Оглядывает наставленные всюду цветы.*) А чего вы с букетами разогнались? Зина приедет в большом горе, делом ее отвлечь надо.

Максютина. И делом отвлечем. (*Указывает на развернутую таблицу.*) Вот прочти, Варвара, что это за таблицу нам для школы прислали. Ну до чего клубничина хороша.

Варвара (*про себя читает*). Эта клубничина как раз тебя, Максютина, касается. Вот скажи, как обстоит дело с твоим ликбезом. Почему пропускаешь — не ходишь?

Максютина. Потому что все как есть сроки в моей жизни пропущены. Поздно. Мозги у меня зачугунели.

Варвара. Врешь, Максютина, ныне мозгам веку нет. Степаныч говорит: старые молодыми становятся.

Максютина. Дело с меня спрашивай, а ликбезу твоего я не желаю. Скажу напрямик — боюсь, что вовсе грамоту не пойму.

Варвара. Прежде чем зарекаться, ты про эту вот ягоду послушай да на ус намотай. (*Читает.*) Где именно родилась эта ягода? Под небом суб... субтропиков или под синим небом Крыма? Или же в садах над Днепром? Или же в цветущей Кахетии? Нет, нет и нет. Эта ягода... слушай, Максютина, — эта ягода родилась в Заполярье, в совхозе Хибиногорского комбината. И потому родилась подобная ягода в Заполярье, что на самый север дошли наши сельскохозяйственные культуры. (*Обернулась*

к Степанычу и Максютиной.) Недавно еще подумали б: сказки! Клубника в снегах?!

Степаныч. А сегодня подобная ягода в Заполярье — факт.

Варвара. Максютина, шевельни ты мозгами, если ягода — ну, вполне растение — могла стать подобной выдвиженкой, из своих теплых мест да сиганула в самые во льды, — ужели ты, Максютина, ликбеза не сдашь?

Степаныч. Молодец, Варвара... масштаб! Сдавай ликбез, Максютина. Приперли тебя к стене ягодой. Сдавай ликбез, обещай при свидетелях.

Максютина. И очень просто, что сдам. Не дешевле я этой ягоды.

Прыгин *(очень тщательно одет и причесан)*. Какое тут у вас оживление. *(Берет со стены балалайку.)* Хоть аккомпанируй вам... *(Играет.)*

Максютина. Товарищ Туров сказал, чтобы вы его тут дожидали. Ему экстренно в Москву ехать, так он вам распоряжение будет давать. Вот газеты, берите...

Прыгин. Ничего... я могу и музыкой позаняться. *(Наигрывает.)*

Варвара. Ну, мне пора по делам. Степаныч, забирай-ка свой узел, не таись. Ведь знаю, что где-то укрыл его... да никак под диваном?

Степаныч *(берет узел)*. Глазаста... ой, глазаста.

Максютина и Прыгин одни.

Максютина *(оглядывает нарядно одетого Прыгина)*. Этакий универмаг!.. Беда — невесты тебе здесь не найти.

Прыгин. Не в невесте сила — а в долголетье. Чисто одеваюсь, физкультура, обливанье по лечебнику доктора Кнейпа, для здоровья. Нашел старинную книжку. Это водолечение и сейчас принести может — либо пользу, либо вред. А запаха водки совершенно не выношу. *(Берет балалайку, наигрывает, тихо поет.)*

Максютина. Чего-то мне всегда скушно с тобой! Какой-то ты словно «обломок империи»...

Прыгин. Я по своему возрасту даже полицейского не помню... не знаете, что говорите.

Максютина. Ну, не сердись... знают все, что ты техник что надо...

П р ы г и н. Ну и не придирайтесь. *(Поет.)*

М а к с ю т и н а *(смотрит в окно)*. Зина из больницы едет. *(Прыгину.)* Может, ты где поблизости будешь, я покличу, как только Туров придет. Зине с дороги переодеться или что...

П р ы г и н *(встает с балалайкой)*. На террасе побуду. *(Ушел.)*

Входит З и н а под руку с Василием.

М а к с ю т и н а *(обнимает Зину, ведет к дивану)*. Садись, Зиночка, еще, видать, не окрепла. Я тебе чайку горячего. *(Уходит.)*

Т у р о в а. Довез меня Сережа до конторы и сразу по делам.

В а с и л и й. Необходимо ему, Зина. Ведь мы с ним в Москву едем вечерним.

З и н а *(оглядывая комнату)*. Как все мне здесь странно — не узнаю. *(Рассматривает себя в зеркало.)* Да и я какая-то неизвестная... *(Села на диван.)* Вася, будто целая жизнь прошла, а всего три месяца. На краю смерти побывала...

В а с и л и й. Нажимай на питанье, Зина, живо поправишься... Под свою команду колхозных ребятишек возьмешь. За твою болезнь и ясли достроили и ребят туда нанесли. Варвара надеется — при тебе вдвое подсыплют.

Т у р о в а *(закрыла лицо руками)*. Спрятаться надо мне... спрятаться.

В а с и л и й *(смущенно)*. Ишь ты... ослабела. А я у тебя совета просить хотел...

Т у р о в а *(делает усилие, бодрится)*. Говори, Вася, говори...

В а с и л и й. Письмо тут от Шуры пришло. Не мне... Сакаровне пишет. Мальчишка у нее здоровенный... И сама хвастает: не зря бюллетенила — зачеты сдала. Ну и черт с ней. Только пишет: плевать мне на Василия... Сама Кима подыму. Это наш мальчик — Ким. И мне на нее с высокого дерева наплевать, только алименты она брать обязана. Растолкуй ей, Зина. *(Берет за руку, кричит.)* Обязана брать алименты!

Т у р о в а. Проморгал ты Шуру... Скоро она приедет?

В а с и л и й. Да, на днях. Сакаровна мальчишке

кроватку схлопотала. Пока я с товарищем Туровым в Москву съезжу — обломай мое дело.

Турова. Попробую, Вася...

Василий. Не смеет она. *(Быстро уходит.)*

Входит Максютина с подносом в руках, ставит перед Туровой.

Максютина. Добро пожаловать, Зиночка... Подкрепись. Чай этот хвалят — тебе припрятала. А ты, Зина, не огорчайся, что ослабела... На трудную работу не пустим. Уедет товарищ Туров, переходи-ка пожить к Варваре. Ее деток понянчишь, пока ясли тебе не осилить. А нам польза: мы Степаныча командируем ряжи ставить. По силам дело бери...

Турова. Варвариных детей нянчить — по силам?! Спрятаться мне куда-нибудь, спрятаться...

Прыгин *(с балалайкой)*. С приездом, товарищ Турова! Может, на терраску пройдете, у нас тут сейчас деловое совещание. *(Глянул в окно.)* Вот и товарищ Туров идет.

Вошел Туров.

Туров *(обращаясь к Прыгину)*. Прыгин, мы с Васильем сегодня едем в Москву. Без нас продолжайте монтаж турбины... ведите стены. У Василия возьмешь все расчеты и возвращайся сюда.

Прыгин уходит.

Туров. Ну вот, Зиночка, ты опять дома. *(Обнял.)* А пусто как без тебя... пустой дом.

Турова. Пустой и будет. *(Со слезами.)* Сережа... умер наш мальчик.

Туров. Полно, Зиночка... второй молодец будет...

Турова. Не у меня. *(Ходит, сильно волнуясь.)* Я тебе не имела силы сказать... сразу... Доктор мне заявил: «Вы мужественная женщина, вы должны знать правду. После такой болезни, как у вас, — детей не бывает». *(Села на диван, закрыла глаза рукой.)* Ни-ког-да!

Туров. Ты жива осталась... это мне главное. Сама ты, Зина.

Турова *(с горечью)*. Ну да... я — для тебя. А то, что мне дороже моей жизни, — тебе не важно.

Т у р о в. Вот в Москву сегодня мне надо... может, ты с силами соберешься, Зиночка, поедем вместе. Рассеешься...

Т у р о в а. Молчи, Сережа... как ты можешь не понять... Прошу тебя, отложи твой отъезд. *(Обнимает.)* Ну, отложи...

Т у р о в *(встает, ходит)*. Не могу. На мне все дела. Всюду сроки... я должен ехать. Турбина не будет готова. Станция не откроется. Сама же ты знаешь...

Т у р о в а. Сейчас я знаю только одно: детей у меня никогда не будет...

П р ы г и н *(входит)*. Я чертежи и сметы от Василия принял, товарищ Туров.

Т у р о в. Отлично. Сейчас на всякий случай еще один деловой разговор. Хотя время не опасное, до осеннего паводка еще далеко, и погода стоит. Ну, как у нас плотина?

П р ы г и н *(как первый ученик, отвечающий урок)*. Плотина не совсем закончена, товарищ Туров. Левый ряжевой устой и флютбет водобоя готовы. Правый ряжевой устой сооружается за перемычкой.

Т у р о в. Если б хлынули дожди — дело дрянь. Суженный перемычкой водобой *(показывает схему)* ее не задержит. Драматизм положения налицо: при большом повышении уровня прорыв воды сюда... в водоприемное сооружение.

П р ы г и н. Оно выдержит, товарищ Туров, а дожди не хлынут. *(Указывает на барометр.)* Барометр...

Т у р о в *(ходит, волнуясь)*. Водоприемное сооружение выдержит. Но задержать воду не сможет. Станет под удар все: котлованы, водослив, дамбы. Все, вплоть до станции! *(Приказывает.)* Нельзя пускать воду в канал.

П р ы г и н *(как эхо)*. Не пускать воду в канал.

М а к с ю т и н а. Не пустим ее, окаянную.

Т у р о в *(смотрит бегло на часы)*. Прошу, Максютина, поторопи Василия, не опоздать бы на станцию.

Максютина ушла.

Итак, к делу: перемычка непрочна, она не защита.

П р ы г и н. О чем беспокойство, товарищ Туров. Через несколько дней вы вернетесь. Погода, говорю, расчудесная...

Туров. Если б я беспокоился, я бы сейчас не уехал. Сейчас я только делаю проверку вашей боевой готовности. Докончим. В случае внезапного, неожиданного поднятия воды какое единственное смелое решение?

Прыгин молчит.

Разрушить перемычку!

Прыгин. Вчера колхозники сработали, а сегодня разрушить...

Туров. Уверен, что не придется, но проверку произвести необходимо. Продумай на досуге. *(Сердито.)* Когда вернусь, переэкзаменовку будешь держать.

Максютина *(вошла, подает чемодан)*. И лошадь ждет.

Туров. Спасибо, Максютина. Зиночку береги. До скорого свидания, Зина. *(Обнимает.)* Отдохнешь — все иным будет. Здоровой хочу тебя видеть... здоровой!

Турова. Чтобы опять тебе правой рукой была?!

Туров. Зина... *(Махнул рукой.)* Ну, Максютина, побереги ее.

Максютина. Сбережем. *(Обняла Зину.)* Пойдем, Зиночка...

Туров ушел.

Турова. Нянчить Варвариных детей.

Максютина. Определенно.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Варвара и Максютина, мокрые, в макинтошах с поднятыми капюшонами.

Максютина. Под самый ливень попали.

Варвара. Беда у нас... Прыгина зашибло. По голове бревном... в больницу надо его, а проезда нет.

Максютина. К плотине под бревнами он бежал, а бревна наспех, чуть двинь... и в такую минуту щегольства своего не забыл, ведь норовил, где посуше.

Турова. Значит, постройка совсем без призора... Хорошо.

Варвара. Поставил Прыгин в три смены дежурство на плотине, успел. И сейчас люди торчат — да что толку. Разве знают, что делать им, когда двинет воду.

Максютина. А страшно воды... так и нагнетает. Молчит, а растет. Не люблю я такой воды.

Варвара. Обогреемся — пойдем. Подтянуть надо всех, чтоб без паники.

Максютина *(вытирается полотенцем)*. Говорю бригадиру: растет вода, а он со страху как пьяный: «Пусть растет, большая вырастет — в вуз пойдет». Очумел ты... кричу. А он: «Дочка у меня... в смертный час, говорит, я дочку вспомнил».

Турова. Неужто Сергей и сегодня к утру не будет?

Варвара. Слезами горю не помочь. А ждать нам нельзя — решать сейчас надо. Ужель один свет в глазах — Прыгин. *(Подходит близко.)* От двенадцати колхозов я хлопотала... утвердили строительство. Сейчас беда... паводок. На целый год проволочка, если вода плотину прорвет. В райсовет сейчас не проехать... сорван мост. Ужели мы, женщины, без мужского ума оставшись, такое дело провалим? На тебя, Зина, надежда. Отстоять должны мы плотину.

Максютина. Темные мы люди, Зина. Ты больше знаешь. *(Обняла Турову.)* Из себя все как есть выброси, одну мысль держи — помочь надо.

Турова *(делает большое усилие воли, как бы выходит из своего состояния сомнамбулы)*. Подождите...

Максютина всем существом хочет помочь. Идет к письменному столу Турова, под схему сооружений.

Подождите...

Максютина. Товарищ Туров на карте показал и сказал.

Турова. Подождите... Разобрать перемычку в случае паводка — единственное смелое и верное решение... разобрать перемычку, достроить спешно... правый ряжевой устой.

Варвара. Бей, Максютина, в набат, созывай на экстренное собрание.

Максютина бьет в рельс, подвешенный на столбах. Сходятся колхозники. Вскочили спросонья, кто в чем попало. Максютина берет телефон. Турова склонилась над чертежами.

Зина, найди мне товарища Гаврилова!

Турова. Аптека, Альтман, Дерюгин. Вот... Гаврилов. Пятнадцать-один.

Максютина *(сильно крутит ручку)*. Где товарищ Гаврилов? В райкоме? *(Крутит ручку.)* Райком, секретарь? Как есть срочно. Я говорю — Максютина. Говорит беспартийная Максютина со строительства гидростанции «Победа». Извиняюсь, товарищ Гаврилов... У нас вода очень высоко поднялась. Я-то? Да я просто так. Я беспартийный землекоп, товарищ Еремин. А теперь бригадир-планировщик. Турова нет — в Москве. А Прыгин — тьфу, Прыгин. Лежит, болен. Командуем сами — предколхоза Варвара, Турова жена — Зина, да я — Максютина. Чему дивишься-то? Женский сплошной состав. Говоришь — не справимся? Даже очень просто, не похуже вашего. Ты, главное, машину подавай к поезду раннему. У нас все лошади сейчас вразгон пойдут, а товарищ Туров с ранним приехать может. Да шли нам фельдшера, — очень просто, какая угодно авария может случиться. С водой идут колхозники воевать, ночь, ни зги... Что такое? Даешь? Ну спасибо, товарищ Гаврилов, спасибо.

С крыльца собравшийся народ лезет в комнату. Рабочие-колхозники одеты вразнобой. Одни уже спали. Вскочили от ударов набата в чем случилось. С фонарями «летучая мышь».

Ой, ребятушки, наследите... полы только что вымыла. Пройдем на крыльцо. *(Туровой.)* Ну, Зина, выходи, говори им, находи защитные слова против воды.

Варвара *(на крыльце)*. Все тут?

Голоса. Как на пожар звонили. Какое дело? Со сна подняли.

Варвара. А разве не тот же пожар, когда все наше рушится? Когда мечтанье всей нашей жизни в беде? От дождей, от паводка вода бушует, всю работу сорвать может. Товарищ Турова сейчас скажет вам, что надлежит делать.

М а к с ю т и н а. Выходи, Зина.

Т у р о в а *(мгновение стоит, переламывая слабость. Выходит, говорит твердо, с большой уверенностью).* Товарищи! Надо сделать немедленно то, что вам покажется сразу неподходящим. Товарищи, это единственный выход — надо разметать перемычку, которую вы только что засыпали.

Г о л о с. Строили, да всю работу рушить.

Д р у г о й. Бабья путаница.

Г о л о с. Давай нам Прыгина... Он техник, он знает.

В а р в а р а. Турова не меньше его знает.

Г о л о с. По каналу пустить надо воду... зачем перемычку рушить.

Т у р о в а. Пустить воду по каналу — она снесет и дамбу и станцию. Напорного бассейна ведь нет. *(Кричит.)* Отвечайте — есть или нет?

Г о л о с а. Точно, что нет.

Т у р о в а. Значит, вода понесется по откосу и все как есть разнесет.

Г о л о с а. По откосу. Это точно. Все разнесет.

Т у р о в а. Уберем перемычку — увеличим проход воды. Спасем плотину.

К о л х о з н и к. Вчера работали... сегодня свою работу разорять!..

Д р у г о й. В райкоме б справиться.

В а р в а р а. В райком нет пути. Пока будете справку брать — плотину снесет. Вода не ждет, товарищи... Все на плотину! Ершов... наконец-то! Веди бригаду. Берите лопаты и тачки.

Е р ш о в. Я еле пробрался... растет вода. На плотину, ребята!

К о л х о з н и к и *(перебивая один другого, кричат вразброд).* Не пойдем перемычку разметывать! Не пойдем свою работу разорять!

Лысый, пожилой, выскочил вперед.

У бабы волос долог — ум короток. Не послушаем бабу.

В а р в а р а *(стоит одна наверху лестницы).* А бывают мужики... ни волос у него... ни ума.

Смех.

Где физкультурная наша команда? Где Миша?

Миша. Здесь мы, вся команда.

Варвара. Передовые ребята, вы понимаете — медлить нельзя. Если вода выше перемычек хлестнет — ее не удержишь. Все как есть снесет. Лен не сдадим, госплан не выполним... света не будет. Вперед, ребята! Покажите пример.

Миша. Не сдрейфим. Стройся!

Миша выстраивает свою команду и уводит ее.

Варвара. Степаныч, где ты?

Степаныч. Есть я...

Варвара. Организуй плотников.

Степаныч. За мной, ребята. Забирай инструмент.

Уходит с частью колхозников вслед за физкультурниками.

Варвара (*к небольшой кучке оставшихся в нерешимости*). А вы что... пни стоеросовые? Передовые все двинулись — а вы? Кто будете? Дети малые, сами себе враги!.. А может, и нам, советской власти, враги?..

Лысый. Чего там враги... Куды люди, туда и мы... разве мы что...

Варвара (*схватила лопату, сбежала с лестницы*). Все за мной! Отстоим плотину.

Все идут за Варварой.

ТРЕТЬЯ КАРТИНА

Терраса дома. Под ней внизу водоприемное сооружение. Чуть правей большой костер. У костра греются рабочие. Справа за домом плотина, но ее не видно. Доносятся отдельные возгласы, крики, слышен шум воды, стук топоров, в темноте мелькают в руках людей фонари. Вдали деревня, над ней полоска зари. Слышны крики: «Да-вай! А ну, пошла... раз — два, раз — два, раз — два. Еще раз... поддай. А ну, братчики... а ну, голубчики, наддай... держи. Есть!»

Разноголосица аварийной ночи на стройке.

Степаныч с фонарем осматривает закрытые щиты водоприема, нет ли течи.

Турова (*спрашивает с балкона*). В порядке ли все, Степаныч?

Степаныч. Все в аккурате, товарищ Турова, нет течи, ни с маково зернышко. (*Поднялся по лесенке к Ту-*

ровой.) Главное — вы, женщины, от прорыва спасли, — ты, Варвара да Максютина. Варвара силой двинула... ты правильные слова нашла — производственные.

Турова. Слова нашла... а все себя прежнюю не найду.

Степаныч. Потому, Зина... ориентация у тебя стала дрянная... себя жалеешь. *(Видит рабочего Ершова.)* Вот идет к тебе раненый... Ну да, Ершов!

Ершов. Он самый. Руку повредил, перевяжи, товарищ Турова.

Турова. Как тебя угораздило?

Ершов. Сущие пустяки... оступился. Нога в луже скользнула — напоролся на багор. Скорей бы, товарищ Турова, там горячка...

Степаныч. Справятся и без тебя. Ишь, наследил кровью... не иначе — петуха резали... *(Держит Ершову руку, пока Турова промывает.)*

Ершов. Знал бы, что такая волокита, — не пришел бы. Максютина у нас больно глазаста — кричит: «Капает из тебя!» Наругала, прогнала.

Степаныч. Как там дела? Я все тут, у щитов, отлучиться нельзя.

Ершов. Горячие дела. Как перемычку пошли снимать, тут тебе сразу и ряж засыпай. Неровен час, и он не выдержит. Эка силища шла... А я с бригадой на перемычке. Ой, не томи, товарищ Турова, вяжи скорей.

Степаныч. Как перемычку-то сняли?

Ершов. Душа в пятки ушла, как сымали, — и темно, и вода душит, и мечтание в голове: а ну, как сымешь бревно — вода зальет. Темень — глаз выколи, вода все выше. Стали подпорку выпиливать — артелью держим стеночку. Отбили подпорку, по команде пустили багры — ка-ак стенку тряхнет... вертануло... ухнуло. А аккурат вода спадать стала... Ой ли, никак светает. Спасибо тебе, товарищ Турова. *(Убегает.)*

Подходят намокшие рабочие.

Первый. Согревательного б, товарищ Турова... продрогли за ночь-то.

Степаныч. Обходи, ребята, кругом прямо в кухню, согреетесь. Ну, как там?

Второй. Теперь ладно пошло... не проймет вода. Посменно работать стали. Мы первые сменившись...

Первый. Товарищ Турова, а Максютина под плотину нырнула.

Турова *(сбегает вниз)*. Как нырнула, где она?

Второй. Чего зря пугаешь... выплыла. Нырнула, да выплыла. Под саму плотину угодила. Доску перекинули наспех, а Максютина с своей тачкой подъехала углы подсыпать. Тачку опрокинула, да сама за ней в воду.

Степаныч. Ничего... этакая баба, как ее ни мочи, отовсюду суха выйдет.

Второй. Мы было пособлять кинулись, а она уже лезет сама да еще ругается, чего работу бросили.

Турова. Водки б ей снести.

Первый. Уж и водки в рот влили и во что ни попало одели ее. Опять работает. И не подходи — обложит. Ну, двигаем, что ль, на кухню.

Уходят Степаныч и рабочие. Турова входит в большую комнату.

Турова. Такой подъем был счастливый, а сейчас... нету силы. *(Опускает голову на руки.)*

Степаныч *(вошел, смотрит на нее, покачал головой)*. Товарищ Турова, ей-богу нехорошо. Сейчас передохнуть вполне можно, и ложись ты как человек, ноги вытяни. *(Укладывает на диване.)* Подушку под голову.

Турова. Устроил рабочих?

Степаныч. Как в бане на кухне-то. Они все дочиста посымали с себя — чай дуют. Окончательно рассвело, сейчас и товарищ Туров подъедет. Масштабно работу сделали. Одобрение будет... спасли, отстояли плотину. Которые за рыбкой нырнули, как Максютина наша, которые на багор напоролись, а отстояли.

Турова. А какой ценой? Разве ему это важно?

Степаныч. Ориентация, говорю, у тебя, Зина, стала дрянная. Давно вижу, да молчу.

Турова. Отчего молчишь? Говори.

Степаныч. Оттого молчал, что подумал было: ошибся я в ней — дрянь она бабешка, вроде прежняя инженерская жена. Чтоб муж с ней валандался, а она при оборках, да в кружевах, да фигли-мигли.

Турова. А что же... вполне возможно.

Степаныч. Ерунда с маслом. Только что стопроцентную ударность ты заявила. Нашла оборонные слова для плотины. Надеюсь я, Зина, что ты, как Варвара, — масштаб. Оправдай себя...

Турова. Да куда ты гнешь? Начал говорить — так кончай.

Степаныч. Прожил я, Зина, долгую жизнь. И скажу тебе — самое дрянное дело, когда человек сам себя жалеть начнет. Тотчас дверка — хлоп. И сидишь ты в курятнике. Душно, Зина... над головой солнышка не видать — сплошной смрад и обида.

Турова. А дальше? А если подшибло меня... туда и дорога?

Степаныч. Это в прежние времена, Зина, точно... спасайся в курятник. *(Подходит близко.)* Но сейчас, Зина, сейчас... Куда ни глянь — масштабы! Вот в эти масштабы и спасайся... *(Глянул в окно.)* Глянь-ка, Варвара с Максютиной. Мне, значит, им на смену. *(Уходит.)*

Входят Варвара и Максютина. Последняя в сборном тряпье из частей мужской и женской одежды.

Варвара. Дождя больше нет. Гребень паводка прошел, можно передохнуть. *(Подходит к детям, выпила, говорит Туровой.)* Спасибо, Зинушка, в порядке мои ребята.

Максютина. Знаешь, Зина, бывало, коровушку бодливую какая радость в стойло загнать, а тут шутка ль сказать — воды выше дома перло, а мы эту воду осилили.

Варвара. Не допускай, Максютина, зазнайства — окончательно победить реку надо...

Максютина. За такое дело не доесть, не доспать и промочиться можно.

Входит Шура.

Батюшки, Шурка приехала. *(Кинулась обнимать.)*

Шура *(обнимает каждую)*. Здравствуйте, как я рада. Далеко в объезд ехала. Два дня еду. В деревне ночевала. Да с мальчишкой беда, ведь он на искусственном у меня. Вот спасибо Сакаровне, как увидела, к себе забрала, мигом сняла заботу. Вот беда, что я раньше к вам не попала. Сакаровна рассказала, как воду вы усмиряли. Гордятся колхозники тобой, Варвара. Уж ямщик говорил.

Ну, сейчас я с головой в дело, куда хотите, товарищи. Я целый курс прошла, пока бюллетень был.

Варвара. В точку, Шурка, попала — найдем тебе практику. Василий в Москву уехал, а Прыгин больной, врастяжку лежит. Ну, подруги, поговорите, я к своим ребятам пойду. *(Ушла в боковую комнату.)*

Турова. Расцвела ты, Шура... счастлива, что у тебя бутуз?

Шура *(обнимает Турову)*. Счастлива, Зиночка... тебе первая благодарность. Как поддерживала меня в трудные дни!

Турова. Сама человеком была.

Максютина. Зря прибедняешься, Зина. *(Уходит в сени с самоваром.)*

Шура. Как свободно дышу, Зина... поборола себя... в Василии не нуждаюсь, спокойно могу о нем думать. И пусть с кем хочет живет — глазом не моргну. Ким есть у меня и любимое дело.

Турова. На своих ногах стоишь... а из-под моих — кирпичи вынуты, с тех пор как умер мой мальчик, как знаю, что детей у меня больше не будет.

Шура. Ну, конечно, горе... *(обнимает)*, но ведь жизнь, Зина... она большая.

Турова. Сама знаю... только сил пока нет. *(Встала, прошлась.)* Ну, что толковать обо мне. Поручение есть к тебе от Василия.

Шура *(смеется)*. Догадываюсь, какое. Хочет Кима пополам поделить... Ну, это дудки.

Турова. Шура... да ведь отец он.

Шура. Заслужить ему этого отца надобно, заслужить.

Максютина *(поспешно вносит самовар)*. Товарищ Туров приехал, сюда идет.

Шура *(вскочила)*. Он... навстречу ему побегу. *(Убегает.)*

Турова, волнуясь, идет на террасу, возвращается. Входят Туров и Шура.

Туров. И отлично, Шура, что приехала, сейчас же берись за работу. Василий — он в Москве с турбиной замешкался. *(Подошел к Туровой.)* Зиночка! Ну, поздравляю... отстояли плотину. Все я уже знаю.

Т у р о в а *(поспешно)*. Ты Максютину расспроси, каково ей было нырять.

Т у р о в. Поплавала, Максютина?

М а к с ю т и н а. Нырнуть — нырнула, а страха не видела. Такое зло меня взяло, что и страх отступил. Тут жаркое дело идет, а ты ровно плотва... в воде. *(Идет к детской.)* Варвара!.. Товарищ Туров приехал.

В а р в а р а *(здоровается.)* Эх, товарищ Туров, ну что бы тебе деньком раньше приехать. Может, не разрушили б перемычку. До чего было жалко работы, ведь колхозники только что кончили, а мы разбирать...

Т у р о в. Правильно, Варвара, правильно сделали. Иного выхода не было.

М а к с ю т и н а. Вот когда были страхи, товарищ Туров. Разбираем перемычку, а у каждого думка: а ну как водная сила прорвется.

Т у р о в. Правый ряж как можно скорей достраивать надо. Варвара, собери-ка бригаду, я сейчас приду на работу.

В а р в а р а *(Максютиной)*. Иди на подмогу... самовар ужо подогреем.

Варвара и Максютина ушли. Туров и Турова.

Т у р о в. Зиночка, моя милая... вместо отдыха тебе работать пришлось, волноваться. У меня чувство, будто я виноват. Будто этот дьявольский дождь я как-то должен был угадать. Шестым чувством, черт возьми, вопреки стихиям. *(Обнял.)* Надорвалась ты?

Т у р о в а. Не в эту страшную ночь... тогда, напротив того, я на минутку воскресла. И другим нужна была... и себя забыла... *(Ходит, пауза. Подошла к Турову.)* Сережа!.. Мне надо уехать... одной побыть.

Входит В а р в а р а. Туровы ее не видят, она остановилась в дверях.

Т у р о в. Одной... с своими мрачными мыслями? Да пожалей ты себя!

Т у р о в а. Степаныч вот правду сказал: самое дрянное, когда человек себя жалеть станет. Тотчас над ним дверца — хлоп. И сидит он в курятнике. Душно, Сережа. Не хочу я в курятнике...

В а р в а р а *(подходит к Турову, глядя на Зину)*. Товарищ Туров, о чем разговор? Пошли ты Зину в Москву.

Обязательно нам надо к открытию нашей станции образцовые ясли построить. Она, как заведующая, пусть обследует, как там по-столичному. Справимся пока без тебя, Зина.

Турова *(делает шаг к Варваре)*. Варвара!.. Спасибо тебе..

Занавес.

АКТ III

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Вестибюль большой гостиницы в Москве. Слева под пальмой диван. Около него чемоданы. В глубине проходят регистрироваться в контору приезжающие делегаты. Некоторые проходят с вещами вверх по лестнице, другие, в ожидании комнаты, устраиваются временно в вестибюле. Турова и Василий.

Турова сидит на диване, Василий стоит в пальто.

Турова. Сколько делегатов! Все равно номеров не хватит.

Василий. И жаловаться тебе, Зина, не на кого. Предупреждали ведь, что пускают только на неделю. Поезжай лучше завтра со мною обратно. Разве не все детские сады высмотрела?

Турова. Боюсь, что еще не пора мне обратно...

Пауза.

Василий. А со мною утром Шура по телефону говорила...

Турова *(испуганно)*. Что случилось? Сергей...

Василий. Все благополучно. Шура по моему поводу звонила... который, говорит, раз. Наконец-то застала.

Турова. Ну, и что же?

Василий. Да турбину я заказал по новой смете, а Прыгину впопыхах сунул при отъезде старые чертежи. Турбина б не влезла, пришлось бы достраивать.

Турова. Значит, тебя Шура от срама спасла?

Василий *(сердито)*. Может, она себя выдвигает на моей спине.

Турова. Как тебе не стыдно... гордиться можно Шурой.

Василий. Тоже невидаль, только и всего, что память хорошая. При ней я новую смету составлял, ну и запомнила она, что другие цифры были. Прислала запрос, нет ли ошибки?

Турова. Вместо похвалы ты ее словно ругаешь.

Василий. Думаешь, она молчит про меня?

Турова. Думаю, что занята она своим делом и своим ребенком.

Василий *(внезапно вспылив)*. Разве смеет она мне назад алименты возвращать! Смеет?

Турова *(смеется)*. А вернула-таки?

Василий. Закон найду на нее... принудят.

Турова. Закон отцов принуждает давать... А ты и сам готов. Только рад бы в рай, да грехи не пускают.

Василий. Хорош грех. Да я этой Маньке только и был что путеводитель по музеям. А Шура от ревности крик подняла: дели комнату пополам.

Бьют часы.

Ну, мне назначено на завод... кое-что там заказано. Если готово — беру билет и еду. Что будет от тебя? Какая передача?

Турова. Сейчас достану. *(Открывает чемодан, достает книжки и брошюры.)* Вот для Варвары. Тут все о яслях и детсадах. А Турову скажи так... *(Мгновенье колеблется, видимо волнуясь, потом говорит очень сухо.)* Я кое-что досмотрю и вернусь на свою работу.

Василий. Телеграмма помзава заву. *(Подает ей карандаш и листок.)* Словесно передавать не намерен. Твое дело — пиши собственной рукой и подпиши... так. *(Прячет листок.)* Ну, всего тебе! *(Жмет руку Туровой.)* Значит... до скорого.

Турова. До скорого.

Василий ушел. Турова продолжает сидеть на диване. Коридорный метет пол, поднимает чемодан Туровой, переставляет его, чтобы под ним вымести.

Коридорный. Извиняюсь, гражданка.

Турова. Из моего номера меня выселили, и я гляжу — никто еще туда не прошел...

Коридорный. Обязательно пройдут, гражданка. С ранним поездом нацменьшинства приехали, а ленинградцы сейчас повалят.

Турова. А такую... с румяными щеками не заметили? Максютина по фамилии.

Коридорный. А как же... обязательно заметил. Она тут свои порядки уже навела. Шустрая бабочка... В седьмом номере стоит. Да вот она сама идет. *(Принялся подметать.)*

Максютина. Опять щетку боком везешь... половину сора на память оставишь. *(Увидала Турову.)* Зиночка!

Обнялись.

Турова. Что же ты ко мне не зашла? Ведь знала, что я здесь. Ну, как ты?.. Делегаткой?

Максютина *(улыбка во весь рот)*. Я-то? Ну да, делегаткой. А к тебе, Зина, я б обязательно добралась. Хоть, сказать по правде, товарищ Туров не велел. Не беспокой, говорит, Зину. Пусть ворочается, когда захочет. Ну, а если нечаянно встретишь, скажи ей... да так и не сказал, что именно. Умолк, рукой махнул и ушел скорым маршем.

Турова. Работает Туров, как раньше?

Максютина. Не покладая рук. Только поседел он, Зиночка, товарищ Туров... В каком, Зина, номере ты стоишь?

Турова. Сейчас ни в каком...

Максютина. Переходи ко мне в седьмой. Пойду кровать тебе попрошу. *(Отошла к конторе.)*

Приезжает новая партия делегатов, есть много в национальных костюмах.

Голоса. Куда идти? Где номера?

Коридорный. Здесь, граждане делегаты, ставьте пока вещицы. Будет всем удовлетворение. Повремените...

Делегаты располагаются группами на своих чемоданах. Кто идет прописываться в контору, кто подымается вверх по лестнице, кто распаковывает вещи, кто тут же меняет до последней приличной возможности свой костюм.

Урвид что-то спрашивает в конторе. Заведующий указывает на диван, для сопровождения дает мальчика, который приводит Урвид к Туровой и Максютиной.

Мальчик. Вот эти самые гражданки будут.

Урвид. Извиняюсь, — Урвид.

Максютина. И женщина — и начальник милиции?

Урвид. Да, женщина. Я к вам обеим по делу. Вы из Ейска? Я увидала по спискам гостиницы. Две вас оттуда?

Турова. Да, две. *(Указывает.)* Вот — товарищ Максютина, делегатка съезда.

Урвид. Год назад вы жили все вместе в общежитии Стройтреста. Так?

Максютина. Правильно. И все мы оттуда поехали на строительство. Товарищ Туров, муж ее *(указывая)*, там начальником.

Урвид. Была такая среди вас... Звалась — Лидия Оскаровна Кронеберг?

Максютина. Ну как же... и была и есть.

Урвид. Сын ее ищет.

Турова и Максютина *(вместе)*. Какой сын?

Максютина. Был у нее новорожденный младенчик — Анатоль. Только писканул, говорит, — его от нее убрали.

Турова. И в глаза она его двадцать один год не видела.

Урвид. На двадцать втором увидит. Люди, которым мальчика отдала тетка, умерли. Приемный отец, перед смертью, выдал ему метрику и рассказал, кто его мать. Потом он был беспризорным. Попал в колонию. На хорошем счету. Выдвинулся. Сейчас кончает вуз. Занимается спортом.

Турова. Анатоль нашелся. Да разве это не сказка?

Урвид. Сейчас сказку жизнь обгоняет. Кто лучшие люди страны? Делегаты. Откуда пришли? Из ущелий гор, деревень. Прежде там с голоду помирали — сейчас они призваны к управлению страной.

Максютина. Да сама ты первая — сказка... Женщина и начальник милиции.

Урвид. Ну да... царский офицер меня повесить хотел — сейчас стою перед вами.

Максютина. А с чего ему было вешать тебя?

Урвид. В пятом году дело было. У нас в Эстонии крестьяне восстали. Я им помогала. Девчонкой коров пасла... была для связи.

Максютина. Ишь ты... то-то два ордена на тебе. Вот детки-то гордятся!

Урвид. Своих детей не имею. Я мать беспризорных ребят моего отделения. Вышеупомянутый Анатоль ко мне обратился. Свою историю рассказал: «Хочу, говорит, мать свою найти. Она сейчас в летах, в моей поддержке, может, нуждается. Если она честно переключилась, говорит, я буду дальше ее агитировать». Не всякую назвать легко матерью только за то, что тебя родила...

Турова. Так же, как детей, не тобою рожденных, сразу трудно назвать своими.

Шум в дверях. Кто-то рвется войти. Швейцар не пускает.

Коридорный. Товарищ начальник, тут до вас один мальчишка рвется. Васькой звать. Видел, как вы сюда вошли, — не удержать его, по важному, кричит, делу.

Урвид. Пустите мальчика.

Входит Васька.

Васька (*хочет плакать, удерживается*). Разве можно ремнем стегать?

Урвид. Кого стегали? Кто стегал? За что?

Васька (*огрызаясь*). За что?.. Это не касается. А стегала меня мамка. Вы на вопрос отвечайте — смела она меня при советском строе стегать?

Урвид. Подлежит ответу. Приводи свою мать в отделение.

Васька. Сама не пойдет... силой ее надо. Не стегай...

Урвид. Непременно ее заберем. Где живешь?

Васька. Да близко тут... через дом во дворе. (*Смущен.*) А что моей мамке будет?

Урвид. Насилие над малолетним — тюрьма. Посидит за тебя.

Васька (*соображает, потом плачет*). Не хо-чу... Лучше мамку прощу.

Урвид. Ну нет. За такое дело простить нельзя. Довел до конца — поздно.

Васька. Товарищ начальник, сам виноват я... нет чтобы в школу идти, у кондитерской копейки стрелял. Моя мамка хо-ро-шая. Она больная... сильно тру-дя-щая.

Урвид (*Максютиной и Туровой*). Подождите здесь, товарищи, я сейчас буду обратно... (*Уходит с Васькой.*)

Коридорный. Начальник что! Эта Урвид... отделению своему мать.

Турова. Как мальчишку сознаться заставила. Для этого надо сильно любить детей.

Максютина (*коридорному*). Слышь, живет у нас гражданка... сына своего с младенчества потеряла, а она нашла и к матери ворочает. (*Плачет.*) Небось пока матери сын в лицо не посмотрит — словно паспорт потерял.

Коридорный. Ошибочки быть разве не может? Ведь одно подобное фамилие бывает у многих.

Максютина. Лидия Сакаровна, да еще Кронебер, — это не Иванова — Петрова. И нас, коммунальных жильцов, разыскали, — дело тут верное. (*Туровой.*) Зиночка... что закручинилась?

Турова сидит у пианино.

Турова. Анатоль двадцать лет пропадал и нашелся... А когда ребенок умер... уж он не воскреснет. (*Машинально начинает играть.*)

Урвид (*возвратилась веселая*). Вы здесь?.. Ну, все хорошо кончилось. Мать, правда, больная, но в комнате чистота. И этого мальчика хвалит...

Максютина. Хвалит, а ремнем бьет.

Урвид. Обещалась, больше не будет. От болезни она... а его плохая компания сбила... При мне обнимались мать с Васькой. Он дал честное пионерское отличником быть.

Коридорный. К самой мужеской должности женщина многое может прибавить, потому — в каждой гражданке мать заключается.

Турова. Товарищ Урвид, дайте нам адрес Анатоля для Лидии Оскаровны Кронеберг.

Урвид. Просил не давать. «Сам, говорит, хочу прежде мать проработать».

Максютина. Что прорабатывать! Ненавидит она старый режим — потому горько от него потерпела.

Турова. И счетовод она прекрасный у нас на строительстве.

Максютина. Да мальчишку чужого нянчит, как бабка. Зовут его Ким, а она к нему Анатоля добавила. Двойным именем кличет, в честь пропавшего сына. Да скажи еще... брюки ему шьет она. С малых со штанишек

начала. «Сошью, говорит, под голову себе положу, поплачу. По штанишкам прикидываю, как он растет». А последние сшила, скажи ему, товарищ Урвид, на вовсе взрослого. Из хорошего материалу, из премии сшиты. Ее отрезом премировали, а она уж ему... неведомому сыну. *(Вытирает слезы.)* Вот она, мать-то. Ну, словно выкликнула себе этими брюками сына.

Урвид. Скоро Анатоль к вам прибежит. Если не ошибаюсь, у вас весной открытие гидростанции, и команда спортивного общества «Электрик» хочет завершить первый этап своего пробега у вас. Ну, пока.

Жмет руки Туровой и Максютиной, идет к выходу, ей навстречу узбечка Фаризет, с ней кабардинец Азамат.

Фаризет *(кидается к Урвид, указывая на нее Азамату)*. Это он, Азамат. Нахал, очень большой нахал.

Азамат *(горячо)*. Зачем ты букет хотел дарить? Незнакомый девушка тебе разве глазами мигал? *(Показывает.)* Разве он тебя подарки просил?

Урвид. В цветочном магазине встретились. У меня есть желание оказывать уважение нашей узбекской женщине. Она сняла паранджу, она — делегат съезда.

Азамат. Почему голос тонкий имеешь? *(Свистнул.)* Фаризет — женщина!

Урвид. Извиняюсь, тороплюсь по делам службы.

Фаризет. Ну, прости, пожалуйста... очень не люблю, чтобы мужчина подарки давал. Вижу тебя первый раз в цветочном магазине, а ты мне букет... Давай поцелуемся.

Целуются. Урвид ушла.

Максютина. Видать, девушка, обожглась ты на молоке — дуешь на воду. Небось пристают к тебе мужики?

Фаризет. Сейчас не смеет никто приставать, потому я так сердилась на него. Не успел понимать, что он женщина... Я кричал... убежал.

Азамат *(Максютиной)*. Знаешь, кто Фаризет? Не знаешь? Здесь в Москве — делегат, у себя дома — он мираб. По выбору всего села. Знаешь, кто такой мираб? Он воду арыкам дает. В той земле — вода как золото. Два раза в день пускают по арыкам воду — другой нет воды.

Мираб порядок хранит. Мираб должен знать, сколько кому надо воды.

Фаризет. Аму-Дарья — большая река. Знаешь — в одну ночь он сердился... забивал глиной один арык. Приехал большой техник, старший начальник. Где у вас тут мираб? В арыках как в лесу, черт разберет, который чинить. Здесь мираб, говорю. *(Указывает на себя.)* Вот он, мираб, говорю. Прежде бывал бородатый *(смеется)*, сейчас совсем нет бороды. Прежде мулла кричал — женщина воду сквернит. Сейчас женщина по воде тебя будет водить, учить тебя будет. Послушал начальник, за мной пошел.

Азамат. При царе такую девушку на барана менять могли. Сейчас такая девушка водой, как ворошиловский наездник конем, правит. *(Щелкает восторженно языком.)*

Новый делегат *(с портфелем и легким чемоданчиком)*. Товарищи... кто стоит в восьмом номере? Я к нему подкидной второй жилец.

Голос. Нет, гражданин, извиняюсь: вы четвертый, если я третий в номере восьмом.

Смех.

Коридорный. Гражданин, разрешите вещицы. *(Забирает портфель и чемодан.)* Уйдете на съезд, — койка в номерке освободится. *(Складывает вещи у дивана.)*

Делегат. Мне все одно. В номере сидеть я не собираюсь. *(Смотрит на часы.)* А скоро уж двигаться в Кремль. Разрешите познакомиться, товарищи. *(Обращаясь к Фаризет.)* Вы, верно, узбечка?

Максютина. Фаризетой зовут ее. Она у себя на родине водой правит. Расскажи нам, милая, как это водой править?

Фаризет. Понимать воду надо. Высокий голос вода имеет, как свирель, и низкий голос имеет... совсем шакал. Закрою глаза — знаю, как и куда пускать воду. Все голубые арыки в руках имею. А прежде, скажи пожалуйста, что я делала? Кто пускал меня к священному делу? Никогда. Мне бы на голову надевали тяжелый котел, знаешь, кругом монеты пришиты. И ведро давали бы в руки. Из верблюжьей кожи ведро, — носи воду. Весь век носи... Очень бы горько плакала я в доме старого мужа.

М а к с ю т и н а. Зачем плакать?.. Убежать бы могла.

Ф а р и з е т. Куды бежать?.. Некуды. Знаешь, верблюд у нас по кругу ходит, он воду тащит из колодца. Ему глаза тряпкой завязаны, чтоб он с ума не сходил. Кругом надо ходить верблюду — вот так *(показывает)* одна сторона. Так и женщине, как верблюду, в темноте держали голову, чтобы думать не стала, чтобы послушно жила. Сейчас довольно... Сейчас глазами на солнце смотри.

А з а м а т. Революцию женщина защищать хорошо может. Этот Фаризет *(указывает на нее делегату)* кулаков-баев истребить помогал.

Ф а р и з е т. Баи нас, женщин без паранджи, убивать хотели. Говорили: женщина без паранджи — пища без соли. Родной дядя меня очень стыдит. Я говорю: «Дядя, я свой паранджа на хвост верблюду надевала, он его в песках трепал». Назад ничего брать нельзя, — правда? Вперед пойдем.

Д е л е г а т. Правда, Фаризет, правда. Вперед пойдем... Лучше бегом побежим. Азамат откуда делегат?

А з а м а т. Мы кабардинцы. У Фаризет — женщина была в голове темно, — у нас весь народ. Большая бедность была. Сейчас везде крепкий богатый колхоз. Где сохой копал — гремят тракторы. Девушки водят комбайны. Человек ползал по круче, человек в пропасть летал, — теперь машины бегут. Корову обновили, славного кабардинского коня подняли. Цветут города. Цветут поля, цветут девушки, цветет страна. Про нее песни слагаем.

Д е л е г а т *(смотрит на часы)*. Время еще есть... спел бы нам.

Ф а р и з е т. Азамат хорошо поет. Его в музтехникум командировали.

В с е. Спой... спой, Азамат.

Кто-то сел за пианино. Азамат поет кабардинскую песнь.

М а к с ю т и н а. Хорошо, Азамат, спел...

Все хлопают.

Мне этот Азамат смелости в сердце прибавил. Я, товарищи, сейчас хоть в полный голос скажу...

Фаризет. Скажи, бабушка... не бойся.

Азамат (*выводит Максютину на ступеньки лестницы*). Отсюда, бабушка, говори... Громкий голос бери.

Голоса. Говори, бабка, говори...

Максютина. Ну вот, дорогие товарищи... Максютина я... делегатка на Восьмой съезд. А по социальному происхождению я, конечно, шпитонка. Подкидной, значит, ребенок, от неизвестных родителей, в воспитательный дом. И кому было не лень — всю-то жизнь окликали меня этим словом: «шпитонка». И вот попала я в колхоз «Победа». И что оказалось-то? Ведь это былые те Дробники, где я в няньках жила, где в детстве горе мыкала, сиротой. Еду и думаю — ой, заливает начальник строительства: не разведут электрический свет да в простых избах. Ну, познакомившись я с предколхоза Варварой. Детная вдова. Ой, бойка... всех в кулаке держит. И дело делает и ругаться может. Засрамила меня эта Варвара за неграмотность. Ликвидируй. А все сроки учебные мною упущены, мозги мои утряслись, зачугунели. Однако Варвара подход нашла. Рассказала про ягоду, что раньше клубничиной прозывалась, а сейчас она — заполярная ягода. Для школы картинку прислали. Красок не пожалели — налитая ягода. А родина ей не субтропики, а совхоз Хибиногорского комбината. Если ягода, думаю, вполне растение, могла стать подобной выдвиженкой, что из теплых мест да сиганула на полюс, — ужели я дешевле той ягоды? И сдала я, товарищи, ликбез и, конечно, пошла выдвигаться. Во время паводка с нашей бригадой плотину отстояла и вот оказалась — делегат съезда.

Все (*аплодируют*). Отлично, бабушка... ягода заполярная.

Азамат. Хорошо бабушка говорил.

Турова. Ты, Максютина, покороче... ведь народу будет множество.

Максютина. Время, что ли, идти? Ой, Азамат говорить хочет.

Азамат (*с середины лестницы*). Товарищи!.. Мы будем подымать наш правый рука. В рука — мандат. Подымаю — утверждаю. Значит, участвую в управлении великим Советским Союзом. Товарищи, при царе к белому залу Кремля нас близко не пускали. Кто там был? Большие генералы, губернатор, одни золотые мундиры.

Кто сейчас будет? Сейчас в белый зал пойдем мы... делегаты всех народов Союза. Все народы как один родной семья. Товарищи, мы будем брать слово. Наше слово будет слушать весь мир.

Аплодисменты.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Тот же вестибюль, но почти пустой. Коридорные кончают разносить вещи делегатов по номерам.

Турова *(стоит около своего чемодана)*. Товарищ коридорный, снеси мои вещи в номер Максютиной, седьмой. Ведь обещали кровать прибавить.

Коридорный. Обязательно, гражданка, прибавим. *(Стремительно кидается на помощь другому коридорному, который ведет под руку хромающую Фаризет.)*

Азамат *(кинулся вперед к дивану приготовить подушку для больной ноги Фаризет. Туровой)*. Слушай, товарищ, у Фаризет случился большой беда. Он торопил бежать *(показывает на своей ноге)*, он подвертал...

Фаризет *(виновато улыбаясь)*. Ходить мне нельзя... нога больно.

Азамат и коридорные бережно кладут Фаризет на диван в нише, где стоит Турова.

Азамат *(Туровой)*. Пожалуйста, товарищ, пусть Фаризет под твоим глазом лежит. Доктор будет скоро приходить. *(Коридорному.)* Потом уносить можно в номер.

Фаризет. Полежу — сама пойду.

Турова. Больно тебе, Фаризет?

Фаризет. Как верблюд наступал... обидно в Кремль не идти.

Азамат. Ничего, Фаризет... не один день будет съезд.

Фаризет. Скорей иди сам, Азамат... опасного нет со мной.

Азамат. Доктора будут звать. Помажет ногу — танцевать завтра можно...

Турова и Фаризет одни. Турова осторожно подымает ногу Фаризет, кладет ее на подушку. Фаризет плачет.

Т у р о в а. Очень больно тебе?

Ф а р и з е т. Зачем больно? На открытие не попала. Мы от боли не можем плакать...

Т у р о в а *(гладит Фаризет, сидя с ней рядом, улыбается)*. Орлиные у тебя глаза, Фаризет.

Ф а р и з е т. Кругом смотреть надо. Кругом дело есть.

Т у р о в а. А что, Фаризет, если бы у тебя большое горе случилось? Ну, влюбилась бы в красивого бая...

Ф а р и з е т. Слушай... и с больной ногой умею драться.

Т у р о в а. Но е с л и б ы, Фаризет?.. Разве боишься ответить?.. Е с л и б ы?

Ф а р и з е т. Голову надо оторвать *(размахнулась)* и в арык...

Т у р о в а. Ну, а если бы ребенок умер?.. Единственный... и больше их быть н е м о г л о?.. И ты мертва стала... Понимаешь? *(Встает, ходит.)* Н и ч е г о кругом... н и ч е г о тебя не касается. Как тогда?

Ф а р и з е т. Ой, не серди, пожалуйста. Все кругом есть. Все касается. Я водой правлю, я — мираб. Я смотрю — мимо корова идет. Смотрю, колхозница его очень худо мыла, грязно мыла. Я кричу: «Сейчас бери вода! Сейчас мой корова». Чисто моешь — корова вкусный дает молоко. Нарком выпьет, колхозник выпьет — кто хочешь выпьет. Здоровье получать будет. Работать хорошо будет. Скажи, правда?

Т у р о в а. Правда...

Пауза.

Ф а р и з е т *(взяла руку Туровой, нежно)*. Горе имеешь? Нельзя долго плакать. Смотри, пожалуйста, кругом... очень скоро сейчас живем. Очень хорошо живем. Люди нужны. Дела много — людей мало. Приезжай к нам. Специальность имеешь?

Т у р о в а. Гидротехник.

Ф а р и з е т. Для нас очень нужно. Честное ленинское беру с тебя — приезжай. Говори, чего душа просит?

Т у р о в а. Душа просит... еще ребятами заняться.

Ф а р и з е т. Замечательный «Дом ребенка» сделаем. Поработаешь... посмотрим — зава тебе дадим. Пойдем сейчас в мой номер, я буду тебе книгу показывать, чего у нас есть и чего будем строить. Мой седьмой номер.

Турова. Вместе с Максютиной... Мне туда кровать обещали поставить. Пойду коридорного позову, чтобы помог тебя довести, сейчас доктор, верно, придет. *(Идет и сейчас же возвращается.)* Никого не видать. Верно, радио слушает, ведь Конституцию должны читать... *(Берет в руку провод.)*

Фаризет. И мы сейчас будем слушать... *(Она приподымается и кладет руку на плечо Туровой.)* Вместе слушать.

Турова включает радио. При первых словах выпрямляется, слушает с волнением.

Голос из радио. Статья сто двадцать вторая. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине...

Занавес.

АКТ IV

ПЕРВАЯ КАРТИНА

Машинный зал на строительстве. Посреди генератор. Справа на лесенке Шура, внизу Туров. Делают проверку турбины перед ее пуском. Освещение — керосиновые лампы. Одна внизу, другая вверху над Шурой.

Туров. Основательно, Шура, смотри. Хорошо ли смазаны подшипники? Проверила?

Шура. На совесть смазаны, товарищ Туров. Вчера в самых подробностях проверяла. Разрешаете открыть щиты?

Стук в дверь.

Туров. Подожди, Шура... *(Идет открывать дверь.)*

Входит Василий.

Василий. Здорово живешь, товарищ Туров.

Туров. В добрый час, Василий. Ты в самую точку пришел — у нас пробная проверка. Есть что-нибудь мне от Зины?

Василий *(подает пакет и письмо)*. Книги она просила Варваре передать, сама осталась еще кое-что досмотреть, верно она с Максютиной вместе приедет. А для тебя записка.

Туров *(поспешно пробегая глазами, помрачнел)*. Я скоро приду. Шура, введи его в курс сделанной работы. *(Ушел.)*

Василий молча смотрит на Шуру. Она, приняв официальный вид, почти рапортует.

Шура. После получения правильных цифровых данных мы в связи с увеличенной мощностью турбины возвели стены, вместившие ее полностью...

Василий *(обрывает)*. Что ты мне в глаза тычешь «правильные цифровые данные»... Да, может, они мною сразу были даны? Может быть, ты сама тут напутала?

Шура *(бросая официальный тон)*. Не моя — твоя смета была сдана Прыгину. Он, что ли, ее подделал? Он и сейчас в больнице лежит. Все твои бумаги заперты у тебя. А ключи подделывать мне некогда. И вообще говорить так, как ты, — может только... ну, просто... дурак.

Василий. Дура сама!.. Фасон держишь! Алиментами швыряешься? Не ради тебя я — сыну прислал.

Шура *(чуть улыбнулась, заметив чувство, с каким Василий сказал слово «сын»)*. Больно сын этот в тебе сейчас нуждается? Ему только бы соска была.

Василий *(с упреком)*. Почему не сама кормишь?

Шура *(огорченно)*. Не вышло дело... да он великолепно и коровой питается. *(С гордостью.)* Он уже пять кило весом. *(Спохватывается, говорит опять как с посторонним.)* Что бы такое могло быть в записке от Зины, что Туров вдруг помрачнел?

Василий. Ерунда какая-то! В обиде она, что ли, на него? Написала нарочно ему, как чужому...

Шура. И все понятно... Туров сразу решил, что Зина его кем-то заменила.

Василий. Да что, по-твоему, Туров дурак?!

Шура. Очень даже умный, но он любит Зину и очень ревнив. А люди от ревности обязательно глупеют.

Василий. Наконец-то слышу умное слово. Зина, кроме этих своих детдомов, ни о чем ином и не думает. И так же она виновата перед Туровым, как я пред тобой. Таскался я с Манькой по музеям, а ты сразу *(передразнивает голос Шуры)* — комнату пополам!

Шура. Мне до прошлого нет ни малейшего дела!

Василий. И мне тоже. Но сына своего, Кима, я видеть желаю.

Шура. А ты сперва докажи, что ты отец!

Василий *(наступая)*. То есть как это так? Какие такие доказательства тебе нужны?

Шура. А такие, чтобы хоть год ты его не видал, а об нем думал.

Василий. Сама же алименты назад посылаешь!

Шура. А ты их не мне посылай, а Киму на книжку клади, через год ему пригодятся.

Василий. Книжку я Киму заведу. А не видаться нам и без твоих предписаний ровно год придется. Призываюсь я сейчас. Вот приехал на несколько дней и обратно. Даже открытия станции не дождусь.

Шура *(нечаянно с сожаленьем)*. Так скоро уедешь?

Василий *(подошел близко)*. Покажешь мне Кима?

Шура *(официально)*. Только совершенно как чужому. Не сметь его трогать! Не сметь целовать!

Входит Туров.

Туров. Ну, поговорили? Пора щиты открывать. Проверим турбину!

Шура и Василий исчезают в глубине.

Шура. Сейчас зажужжит, товарищ Туров!

Слышится равномерное жужжание.

Туров. Включить свет!

В машинном зале вспыхивает электричество. Василий тушит лампы.

Шура. Наша честь не поругана, товарищ Туров? Кончим в срок и в полном порядке. Ах, у меня гора с плеч... как боялась-то! Вот, думаю, засыплюсь...

Туров (*Василию*). Да, Василий... перед нашими женщинами мы с тобой должники. Выручили они нас.

Василий (*вспыхнув*). Ты это на что намекаешь? Что я Прыгину по ошибке старую схему дал?

Туров. Какую схему?! В первый раз слышу.

Василий. Ну да... себя покрывать не намерен. По рассеянности я дал Прыгину не то, что нужно. (*Показывая на Шуру.*) Она сразу это обнаружила и все мне разъяснила по телефону...

Шура (*поспешно*). Простоя не было, товарищ Туров!

Туров. Ну, Василий, жена твоя — клад.

Шура. Не жена вовсе, а... бывшая. (*Подошла к Василию, чуть подтолкнула его.*) Идем, что ли, Кима смотреть! Товарищ Туров, можно?

Туров. Идите, идите...

Василий и Шура ушли. Туров один.
Туров вынимает записку Зины, читает, потом рвет в мелкие клочки.

ВТОРАЯ КАРТИНА

Терраса помещичьего дома, где живет Туров (декорация второго акта), украшена гирляндами цветов, цветными фонариками. Плакат: «Добро пожаловать». В глубине виднеется только что выстроенное здание гидростанции. Местная спортивная команда под управлением Миши разбивает внизу большую палатку для приема бегунов. Оркестр из колхозников устраивается на холме позади террасы. На террасе Туров и Шура, которая доканчивает украшать гирляндами большой, парадно накрытый стол.

Шура. Товарищ Туров, что я вас спросить хочу... Можно?

Туров. Спрашивай!

Шура. Зина сейчас такой молодец, так на высоте, а вы...

Туров. У меня свое дело... у моей бывшей жены свое.

Шура. Вздор и вздор! Никакая не бывшая. Она вам так из Москвы написала?

Туров. В таком роде.

Шура. Все равно не верьте! Не умею сказать... мне кажется, вы Зину чем-то давно обидели.

Туров. Я — Зину? Она тебе сказала?

Шура. Ничего не сказала. Сама я, как приехала, увидала. Зина была больна, в большом горе... а вы говорить не умеете. С нами надо, чтобы человек был сам... ну, сильный. Вы, товарищ Туров, хороший муж для будущей женщины... А мы еще иногда слабеем... вот!

Входит председатель местной спортивной команды Миша, с ним два физкультурника.

Миша (*рапортует*). Команда спортивного общества «Электрик» завершит сегодня у вас первый этап своего пробега, второй этап у них будет ночной, с фонариками.

Туров. Добро пожаловать. Когда прибегут?

Миша и два физкультурника (*вместе*). В половине восьмого.

Миша. Нам бы фанеры, товарищ Туров. Не хватило для щитов с лозунгами.

Туров. Фанеру вам выдаст Степаныч. (*Пишет записку, дает Мише.*)

Миша и физкультурники. Есть, товарищ Туров. (*Ушли.*)

Входят Турова, Максютина, Шура.

Турова (*добрая, даже все жесты у нее иные, полны энергии*). Мы к тебе, Сережа, на высший совет! От Урвид письмо (*показывает*), не пора ли сказать Сакаровне, что ее сын нашелся. Ждали подтверждения — вот оно.

Максютина. Самое время. Ведь Анатоль ее вечером прибежит.

Шура. Ну, в бегунах он, в сегодняшних. Учится в вузе и между прочим — бегает.

Максютина. Команда эта «староафонская» вроде, у нас только передохнет и дальше. Анатолию манежиться некогда с матерью. Ему с нею вовсе пустяк побыть. И пусть она поохает да поплачет до него.

Турова. Ты, Максютина, подготовь ее. Мы с Шурой подоспеем потом.

Шура. Нет, Зина, лучше ты потом, а мы пойдем сразу. Вдвоем с Максютиной нам будет легче.

Уходят, Туров и Турова одни.

Турова. Поздравляю тебя, Сережа: член приемочной комиссии мне вчера очень хвалил нашу гидростанцию и твое руководство.

Туров *(взял ее за руку)*. Ну вот, Зиночка, ты и вернулась, — как ждал я тебя!

Турова *(быстро)*. Вернулась я не такая, как уехала... правда?

Туров. Мне дорого, что ты приехала... Мне важно, что ты здесь. Ответь правду, прошу тебя...

Турова. Какую правду?

Туров. Ты в Москве одна была?

Турова. А, вот что...

Туров. И еще: надолго приехала?

Турова. Налажу колхозные ясли... еще кое-что им впридачу для команды постарше. Чудесные ребятки! И так с ними весело. Мы с Варварой уже много обговорили. Не думай, тебя не забыли... ограбим! И ссуду ты нам достанешь. Степаныч даром свой труд предложил — столы, стулья...

Туров. Все это прекрасно, и я очень рад... но, Зина, — это же не ответ на мои вопросы.

Турова. Чудак ты, Сергей Иваныч... а ты на мое мне ответил? Я тебе говорила — я иная приехала, а тебе все равно...

Туров. Ну, потому, что я люблю тебя, Зиночка, такой, как ты есть. Прости меня... может, я тебя обидел. С тобой вот надобно по-особому... я не умею.

Турова. И не надо...

Туров. Дай, Зина, наконец, высказать. Когда ты из больницы пришла... Работой тебе можно было горе еще заглушить... не словами же! Говорят, женщинам всегда надо твердить о своей любви. И, вероятно, умеют говорить те, которые много раз не то что любят... влюбляются. У таких есть сноровка. *(Подошел близко.)* Я, Зина, человек простой, я полюбил раз и навсегда тебя одну, и где ты... где я... не знаю. Отделить тебя от себя не могу. Вот и молчу. Как же с самим собой разговаривать? Уехала ты, Зина, — работать не перестал. Пока жив — буду работать. А вот ночи без сна...

Турова. Хороший ты, Сережа. Но ведь ты любишь меня, как тебе удобно. Сказал — не отделяю тебя от себя. А я — отдельный человек.

Туров. Ты скажи, Зина, просто и ясно, чтобы я понял тебя.

Турова *(ходит взад и вперед. Остановилась)*. Училась я в нашей советской школе. Вышла за тебя замуж... и считала я, конечно, что я — новая советская женщина.

Туров. Так и было, Зина.

Турова. Все, все — до первого испытания. После смерти ребенка... я омертвела. Кругом кипела жизнь... а из меня она ушла. Тогда ты мне не помог, Сережа. Мне помогла сама жизнь.

Туров *(с облегчением, протягивая обе руки)*. Зиночка...

Турова *(улыбаясь)*. Вот оно... Мужу важно, чтобы жена ему не изменяла; влюбленному важно, чтобы она от него не уходила; что ей самой-самой надо — важно ей одной.

Туров. Что же, Зиночка... скажи? Что тебе важно?

Турова *(смеясь)*. Заполучить на сегодня твой кабинет! Даешь?

Туров. Нагонишь дошкольников?

Турова. Набегут! Физкультурникам песню споют и какао выпьют.

Туров. Бери кабинет! *(Взял ее за руки.)* Зина, ты что-то серьезное затеяла?

Турова. Возможно.

Туров. Скажешь?

Турова. В свое время скажу.

Туров. На одних своих ногах стоять хочешь, как Шура?

Турова. На одних своих.

Туров *(беря ее за руки)*. Две полноправных державы... и, я надеюсь, в вечном дружественном союзе.

Турова. Посмотрим.

Входит Миша, за ним два физкультурника.

Миша. Товарищ Туров, разрешите нашей команде взять шефство над оркестром. Уж мы знаем, когда надо встречу трубить, а они обязательно прозевают.

Туров. Бери, Миша, с командой шефство!

Миша. Как с дерева их увидим — протрубим, товарищ Туров.

Турова. А я, товарищи, прошу вас, передайте всем, чтобы на время встречи не занимали террасу. Наши школьники физкультурников встретить хотят!

М и ш а. Есть, товарищ Турова, скажем.

Уходят вместе с Туровым.

С т е п а н ы ч *(появляется на лесенке, обвешанный табуретками. Ничего не видать, кроме ног)*. Зина... куда их складать, пока не рассыпался?

Ш у р а. Наш Степаныч совсем ишак на базаре... одни ноги видны!

Т у р о в а. Подымайся, Степаныч, сюда. *(Идет к кабинету.)* Прямо за мной. На сегодняшний день кабинет Турова для ребят отвоеван.

С т е п а н ы ч *(высунул голову из табуреток)*. Вот сейчас, Зина, у тебя ориентация правильная. *(Уходит вслед за Туровой в кабинет.)*

С а к а р о в н а *(с узелком в руках)*. Шурочка, Ким с няней остался... уснул. Слушай-ка! Ужели не во сне — наяву своими глазами Анатоля увижу? Сердце-то выдержит ли?

Ш у р а. Выдержит, Сакаровна! От радости не умирают.

С а к а р о в н а. Ой, кто-то подъехал, — не он ли?

Подъехала машина.

Ш у р а. Да ведь то машина... а твой бегун на своих на двоих. И Мишка свое шефство еще в ход не пускает — молчат трубы.

Из машины выходят в р а ч, т р е н е р, м а с с а ж и с т. Все, кроме тренера, проходят в палатку.

О б д о р к и н *(входит на террасу. Рекомендуется)*. Обдоркин, тренер команды спортивного общества «Электрик». По поручению товарища, разрешите узнать, кто здесь именно Лидия Оскаровна Кронеберг?

С а к а р о в н а *(замерла)*. Я — Кронеберг... я!

О б д о р к и н. У вас должна произойти встреча с вашим бывшим... то есть с вашим родным, но вам неизвестным сыном — Анатолием.

С а к а р о в н а. Какое волненье...

О б д о р к и н. А вы, мамаша, меньше всего волнуйтесь. Встреча ваша — ориентировочная. Может быть, вы еще друг другу и не понравитесь. Мой вам совет: не нажимайте сразу на чувства. У Анатоля на встречу с вами определено девять минут. Как только он прибежит, его

в работу возьмет массажист, врач, потом он обязан проглотить какао... понятно? Команда меня уполномочила вас инструктировать, что, по собранной о вас анкете, вы как мать нашего товарища удовлетворительны и проработки он вам делать не будет. Можете, значит, использовать все девять минут на семейственность. Просит вас только команда, как уважаемого старшего товарища, переживайте, мамаша, встречу сейчас... не срывайте нам финиша! Пробег нашей команды — дело особой важности. Дальнейший путь нам — ночной. Промедлить нельзя ни минуты. Поставлен опыт. Понятно?

Шура. Да скажите толком, сколько времени здесь пробудут бегуны?

Обдоркин. Не более получаса.

Сакаровна. Такое волненье... такое!

Обдоркин (*Сакаровне по-сыновнему, нежно*). Страдать вам, мамаша, не к чему, повторяю: встреча ориентировочная. Если ваше семейное дело сорвется — незачем идти навстречу событиям. Если все пойдет как по маслу — незачем было тратить калории на усиленное сгорание. В случае семейной удачи — обещаю уступить вам свою жилплощадь. Я живу с Анатолием в одной комнате. Для вас перейду в общежитие.

Сакаровна. Какой вы чудесный юноша!

Обдоркин. Душевный эффект, мамаша! (*Берет ее за руку.*) Утихомирьте ваш пульс!

Туров (*издали зовет Шуру*). Шура!.. А ну-ка, проверим еще разок.

Шура уходит.

Турова (*вошла из кабинета. Поспешно подходит к Обдоркину.*) Найденный сын... Анатоль?!

Обдоркин. Еще не он, но вроде... (*Кланяется.*) Товарищ Анатоля — Обдоркин.

Сакаровна. Зиночка, прибежит сейчас Анатоль... Ох, сердце...

Обдоркин. Спокойно, мамаша... еще одно поручение. Это будет ваше последнее предварительное волнение. Анатоль просил вам передать небольшое по размеру письмо. Это от того человека, которому он был отдан вашей черносотенной теткой и чью фамилию сейчас он носит. (*Подает письмо.*)

Сакаровна. Трудно мне без очков.

Турова. Дайте, Сакаровна, я вам прочту. *(Читает.)* «Тысяча девятьсот двадцать шестого года, первого мая. Сим удостоверяю, что податель сего есть точно сын ваш Анатолий Федорович Кронеберг, коего тетушка ваша Анна Петровна Шпулева на воспитание мне и покойной моей жене препоручила. Умирая, остаюсь бывший писарь Егор Иванов Бутягин».

Сакаровна. Сяду я... *(Садится на скамейку, сильно волнуется.)* Дайте документ!

Обдоркин. Полегче, мамаша... все, как говорится, в прошлом. Сейчас Анатоль ваш — отличник, комсомолец.

Максютина *(входит по лестнице)*. Самое главное, Сакаровна, не позволяй ты себе обморок. Анатолий прибежит... а ты сомлевши. Очень некрасиво для встречи.

Сакаровна. Обязательно мой Анатоль прибежит первым. Я уверена.

Турова. Вот она — мать сказалась! Ее сын чтобы непременно первый. *(Смеется.)*

Сакаровна. Напрасно срамишь, Зина. Шуркин мальчик мне чужой, а люблю его как родного внучка.

Сигнал. Оркестр играет туш. Прибегают бегуны. Впереди всех Анатоль. Увидел Обдоркина, на ходу приветствует его рукой. Бегунов обступили, ведут в палатку.

Доктор *(подбегает к бегунам)*. Пульс? Сердце? Кровяное давление?

Корреспондент *(человеку с секундомером)*. Сколько? *(Тот безмолвно показывает секундомер, корреспондент записывает.)*

Входит на террасу Турова со школьниками. Хор поет свое приветствие. Ребята разбегаются. Освежившийся Анатоль выходит вместе с Обдоркиным из палатки, подымаются на террасу.

Обдоркин *(подводя его к Сакаровне)*. Вот она — твоя мамаша!

Сакаровна *(всхлипнула, повиснув у Анатоля на шее)*. Анатоль!

Обдоркин *(взял пульс Анатоля)*. Не допускай, Анатоль, ускорения! *(Сакаровне.)* Спокойствие, мамаша. Очень скоро мы оба за вами приедем, заберем вас. Уступаю вам свою жилплощадь.

С а к а р о в н а. Познакомься, Анатоль, — вот Шура...

Ш у р а. Рада за вашу маму и за вас... она хорошая. Мы любим ее. В честь вас сын мой зовется Ким-Анатоль.

С а к а р о в н а. Мне мальчишка как внучек. Сейчас будешь с ним зваться пополам: он только Ким, а ты Анатоль.

Т у р о в а. Лидия Оскаровна... Анатоль, — будьте счастливы!

С а к а р о в н а. Это — Зина... товарищ Турова.

Т у р о в а. Мы тут все — одна семья.

Т у р о в *(поднялся снизу)*. Встретились?

Т у р о в а. Сергей, вот он... Анатоль — сын Сакаровны.

Т у р о в *(крепко жмет руку Анатолю, Сакаровне)*. Радуюсь за обоих, поздравляю.

Ш у р а *(берет за руку Анатоля)*. Ну, идемте с Кимом знакомиться.

Т у р о в. Времени у вас немного. Ровно через десять минут Шура должна включить наш новорожденный электрический свет, и мы за него подымем бокалы, а вы, как бегуны, на строгой диете, просто убежите под сигнальный выстрел.

А н а т о л ь. Обернемся в десять минут!

С а к а р о в н а. Анатоль... просьба к тебе... *(Подает брюки.)* Примерь.

А н а т о л ь *(смеется)*. Слышал: уж двадцать вторые.

Т у р о в а. Порадуйте мать. *(Указывает ширму.)* Можно тут.

Анатоль скрывается, скоро выходит, брюки в руках.

А н а т о л ь. Не влезают, мамаша...

С а к а р о в н а. По одной мечте сшиты!

А н а т о л ь. Что делать. Действительность оказалась больше мечты! Ну, идем смотреть Кима!

Туров и Турова одни.

Т у р о в. Ну, Зина, здесь строительство наше кончено. Надо на новую работу! Все еще запрет тебя спрашивать?

Т у р о в а. Что спрашивать?

Т у р о в. Ну, самое для меня главное... *(Подошел близко.)* Куда б ты ни ехала, Зина, я — с тобой вместе.

Турова. Если со мной, Сережа... у тебя своих детей никогда не будет... помни! Хочешь ты... можешь ты — как я? Чтоб чужие... своими стали?

Туров. Хочу, Зина... могу. *(Взял ее за обе руки.)*

Обдоркин. Извиняюсь... не видали Тошку? То есть Анатолия.

Турова. Пусть его с новыми друзьями побудет!

Обдоркин. Нет, это уже именно, что не «пусть». Это, знаете, чем угрожает? Тем, что вместо третьей версты у Анатолия черт его знает на какой версте откроется второе дыхание.

Турова. Где ж это оно открывается?

Обдоркин. Это поры открываются. Организм начинает дышать кислородом помимо легких. Через поры... при сердечном волнении — задержка.

Появляются Анатоль с Кимом на руках, Сакаровна.

Туров. Где Шура?

Анатоль. На своем посту. Ждет сигнала, чтобы включить ток.

Обдоркин. Анатоль, пора...

Сакаровна. Опять я одна с Кимом. *(Берет его у Анатоля.)*

Анатоль *(обнимает)*. Коли нашлись, мы уже теряться больше не будем. Вместе будем жить.

Обдоркин. Не слабейте, мамаша... заберем скоро вас и с вашим рукодельем.

Уходят оба. Сакаровна уносит Кима.

(Кричит, махая флажком). На старт! Все ли готовы?

Бегуны. Готовы!

Обдоркин. Даю старт! Внимание. Сейчас сигнал.

Выстрел, Шура дает свет.

Максютина. Убежали... прямо зайцы.

Степаныч. Все разом, как один!

Туров *(подымая бокал)*. За наш новорожденный свет!

За стол садятся Варвара, Степаныч, Шура, Максютина, Туров, Турова.

Туров (*подымая бокал*). Дорогие товарищи, общая наша работа закончилась победой, иначе говоря, тем же словом, каким прозывается твой колхоз, Варвара Петровна.

Степаныч. Наша Варвара — предколхоза «Победа»!

Туров. Пью сразу за обе победы!

Все чокаются с Варварой.

Шура. Сейчас Варварин колхоз будет называться образцовый. Расхвалили его в газетах... Ну и речь сказала, товарищи, наша Варвара вчера приемочной комиссии! Знаете, даже лысый, что в аварийную ночь так бузил, и тот громко восхитился: король-баба!

Туров. Главное, речь ее была с государственным подходом. Так умно защитила свои культурные начинания, что на них обязательно особую ссуду дадут!

Варвара. Захвалили, а хвалить не меня... Зину следует. Это она колхозные ясли на высоту поставила. Колхозницы говорят: «Дальше дело так поведете — мы вас двойняшками засыпем». За тебя, Зина!

Смех, чокаются с Туровой.

Степаныч. Скажи все-таки нам, Варвара, откуда ты государственного подходу набралась?!

Варвара. И не думала о подходе. Слова у меня простые были! Объяснила ото всей души, что для наших глухих колхозов наша станция значит. Ведь девчонкой об этом электрическом свете ревела.

Шура. А где ж ты его видела? Из деревни, говоришь, ни ногой!

Варвара. А вот видела. Жила я, сиротка, в няньках у старосты и слышу — говорят, что господа к себе вот в этот дом, где сейчас мы сидим, — от мельницы какой-то неслыханный свет провели. Вот мы, ребятишки, подкрались вечером к дому и увидели: ка-ак полыхнут люстры в потолке! И светло в комнатах стало, как днем. Дивимся мы, сидя в кустах. Вот-то нам зависть была! Порешили мы — господский это свет... специальный. Нам как ушей его не видать...

Степаныч. Вышло, малость ребятишки ошиблись...

Варвара. То-то что ошиблись! Взяла силу Октябрьская революция, и узнали мы, что определен этот свет самим Ильичем взаместо лучинки да коптилки нам светить.

Максютина. Из-за чего и работали мы не покладая рук. Ура товарищу Турову!

Чокаются.

Степаныч. Товарищи, дозвольте слово...

Все. Говори, Степаныч!

Степаныч. Я, товарищи, вроде самокритики изложу. Все мы, конечно, за станцию боролись. Помирать буду... окаянный тот паводок не забуду. Но в первую голову справедливость меня понуждает, как героев труда и бойцов, — выделить женщин. Предколхоза Варвару — организатора масс, товарища Турову, Шуру, Максютину — неустрашимого землекопа и... рыболова поневоле...

Все смеются.

Максютина. Самокритику обещался.

Степаныч. А тебе обязательно, чтоб перстом указать! Если я не себя, а тебя хвалю — этого тебе еще мало? Ну ладно, получай полным рублем! Товарищи женщины, каюсь вам... не на высоте я был касаемо вашей оценки! Но здесь по вашей работе определенно я увидел — все, как есть, вы масштабные! *(Чокается со всеми, пьет. Вытаскивая из кармана пакет.)* Ой, Зиночка, прости, позабыл... с утра тебе заказное из Узбекистана!

Турова. Давно жду... от Фаризет! *(Просматривает.)* Товарищи, еду в далекий край и сразу на две должности. Я — гидротехник и помзав «Дома ребенка».

Туров. Товарищи. Я еду туда же... В гидротехнике ты мне, Зина, будешь правой рукой... ну, а в «Доме ребенка» — я тебе правой рукой. Принимаешь этот переплет?

Турова *(чокается с Туровым)*. Принимаю!

Шура. Зина, товарищ Туров, прихватите с собой и меня с Кимом на год!

Туров. Почему такой определенный срок?

Шура (*смущенно*). Да Васька ведь год в Красной Армии служить будет.

Туров. Обоих берем. Вернется Василий — и оставайтесь бессрочно.

Варвара. За Шуру, за Зину, за новую женскую силу!

Турова. За статью Конституции сто двадцать вторую!

Занавес.

1937

КАМО

ПЬЕСА В ТРЕХ АКТАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Семен Тер-Петросян (Камо) — большевик-подпольщик.
Товарищ Макар — большевик, участник московского вооруженного восстания.
Вано Ландадзе — большевик, один из активистов тифлисской подпольной организации.
Нина — молодая революционерка.
Гиго — революционер-подпольщик, работающий под видом цирюльника.
Нико Сафиани — художник.
Карапет — хозяин шашлычной.
Француз — приезжий коллекционер, знаток искусства.
Прокурор.
Ротмистр.
Арсений Асадзе — меньшевик.
Эрвиг — доктор.
Полицейпрезидент.
Директор «Попечительства о бедных».
Дежурный врач.
Чиновник министерства внутренних дел.
Оскар Кон — назначенный судом опекун Камо.
Шлоссман — депутат парламента.
Сидорыч, Мишка — дворники.
Брагин — сторож у изолятора Камо.
Люди на площади, жандармы, конвойные, сторожа, швейцары, служители.

АКТ I

НА ПЛОЩАДИ

Площадь на окраине Тифлиса. В нижних этажах домов — цветочные магазины, шашлычная Карапета. Перед входом в шашлычную боком поставлена новенькая вывеска, изображающая одинокую газель. Сбоку — одноэтажный дом с плоской кровлей — мастерская художника Нико Сафиани. Рядом — цирюльня Гиго. Кругом люди, идет торговля. Голоса лавочников: «Горячий лаваш!», «Душистый чурек — дыня, не чурек!» На минарете появился муэдзин, кричит: «Алла!.. Алла!» Проходит военный патруль. Под присмотром полицейского расклеивают на столбе воззвание градоначальника к жителям. Над текстом — портрет Камо.

Торговцы, женщины, дети подбегают к столбу.

Гиго *(читает последние слова воззвания вслух)*. «А за указание место-на-хо-ждения и за арест известного госу-дар-ственного пре-ступ-ника Семена Тер-Петросяна, под кличкой Камо, — награда. Портрет сего преступника выше при-ла-гает-ся».

Макар *(под видом столяра, в руках подрамники, тихонько дергает Гиго за рукав)*. Гиго!

Гиго *(сдерживая мгновенно вспыхнувшую радость)*. Товарищ Макар! Как ждем тебя!

Макар. Тс-с... *(Громко.)* Тут художник один заказывал. *(Показывает подрамники.)* Не проводишь ли меня к нему? *(Тихо.)* Большие новости...

Гиго *(оглядываясь)*. Я тебя проведу к Нико, ключ имею. Подождешь там недолго.

Уходят в мастерскую Нико. Из переулка строем выходят дворники в белых фартуках, бородатые, с палками в руках. Их ведет унтер. Настречу выходит жандармский ротмистр.

Унтер. Смир-рна-а!

Дворники останавливаются как вкопанные, но вразнобой.

Ротмистр. Старшие дворники! Вся полиция поднята на ноги ввиду сообщения, что в Тифлис снова прибыл государственный преступник, злодей, известный под кличкой Камо. Это тот самый, что со своей дружиной дрался против казаков в Нахаловке. Два раза его вешали — жив остался! Крайне опасный злодей, отъявленный враг самодержавия! *(Указывает на объявление.)* Вы, старшие дворники, становитесь частью корпуса внутренней охраны. За участие в поимке злодея — монаршая бла-

годарность. Серебряные часы с цепочкой. Брелок, свисток — тоже серебряные. *(Обращаясь к унтеру.)* Срочно преподать дворникам правила облавы на поимке государственных злодеев!

Ротмистр смотрит, как дворники по команде унтера с рвением кидаются на воображаемого злодея, крадутся, прячутся и вдруг с гиканьем наскакивают друг на друга. Хохот толпы, принимающей в деле живое участие.

Ротмистр *(унтеру)*. Не устраивай, братец, спектакль в центре города. Ищи поукромнее место.

Унтер не может сразу справиться с дворниками, которые, придя в азарт, навалились всей кучей на одного из своих.

Унтер. Эй вы, медвежьи шкуры... Злодея живьем надо брать! Не душить! *(С трудом отдирает дворников от «злодея».)*

Дворники неохотно становятся в пары и, переругиваясь, уходят вместе с унтером. Часть толпы уходит за ними.

Ротмистр. Экие мамонты! Где им поймать — они отпугнут кого хочешь... *(Подходит к открытой цветочной витрине.)* Эй, кацо, поворачивайся! Давай-ка корзину лучших роз.

Продавец с готовностью подбирает цветы.

(Подает ему записку.) Пошли сейчас же по этому адресу. Немедленно.

Мальчишка, поставив корзину с розами на голову, бежит в переулок. Ротмистр, охорашиваясь, неторопливо идет в том же направлении.

Продавец *(бежит за ним)*. Ваше благородие! А деньги?

Ротмистр. Что-о? Бенефис Марго, красы города! Сам губернатор за ложу дал втрое. Да тебе, чурбану, честь оказана! *(Уходит.)*

Продавец *(растерянно)*. Чужое взял, как свое.

Карапет. Обрати внимание: он артистке цветы подносить будет не от тебя, а от самого себя. Ин-те-ресно...

Появляется Нико Сафиани — высокий, стройный, веселый. На нем черная чоха. В руках букет из ветвей цветущего дерева унаби, — тонкие длинные ветки с сережками нежнозеленого цвета.

Карапет. Откуда, Нико?

Нико. От Давида-горы. Солнце встречал... Ну совсем как в море купался. Пчелы жужжат, цветы кругом смеются. Тифлис утром золотой, а горы кругом — снеговые в синем небе. *(Увидел воззвание с портретом Камо.)* А это что за икона? *(Подходит к столбу, читает.)*

Карапет *(сердито)*. Какая икона? Читай, читай! Написано же: злодей, враг самодержавия под кличкой Камо. Два раза вешали, — подумай, жив остался... Да черт с ним, давай дело говорить. *(Отводит Нико к своей шашлычной. Тот идет неохотно, озабоченно оглядывается на воззвание.)* Мне с тебя надо за эту вывеску обратно получить половину денег.

Нико. Я тебе вывеску нарисовал, ты ее принял, а теперь мне платить... Что ты, в своем уме? Или пьяный?

Карапет. Ай-ай, нехорошо говоришь. Смотри, пожалуйста! *(Указывает на вывеску.)* Один джейран, как сиротка, стоит. Я тебе два рубля заплатил, помнишь, говорил: богатую вывеску рисуй. Джейран, охотник в него стреляет. Тут же бурдюк вина. За деревом — луна. Надо к джейрану все это добавлять, а то рубль обратно заберу.

Нико *(задумчиво смотрит на вывеску)*. Ничего ты, Карапет, не понимаешь. Хорош джейран в одиночку, без бурдюка... Очень хорош джейран.

Карапет. Без бурдюка, без луны — некрасиво. Скучно. Плохо работать стал Нико. Плохо. Так всех заказчиков потеряешь. А я хотел тебе еще работу дать, Нико. Рисуй мне, пожалуйста, такую картину: ангел, который зовется амур, стрелу в руке держит, а в другой — одно дамское сердечко. Хочу заведение обновлять...

Нико. Тебе, Карапет, совсем ни к чему амур. Торговать свининой хочешь — завлекай публику свиными частями.

Из переулка появляется француз. Он явно изучает город.

Француз *(подходит к вывеске Карапета, смотрит)*. Вы, мсье, есть хозяин эта картина?.. Вы можете мне ее продавать?

Карапет *(надувает щеки, закладывает руки за спину)*. Смотря какие деньги платить будешь. Десять рублей согласен платить?

Француз *(поспешно вынимает деньги)*. О, с большой охота... Я очень счастлив... Но вы мне будете называть, кто художник эта картина?

Карапет. Далеко бегать не надо. *(Указывает на Сафиани.)* Видишь, какой худой, без пояса... Потому что художник.

Француз *(почтительно кланяется Нико)*. О мсье, я имею счастье делать с вами знакомство. Могу я посещать ваше ателье?

Нико. Нету у меня ателье. У садовника снял старую оранжерею. Пойдемте.

Француз, взявший подмышку купленную вывеску, и Нико со своим громадным букетом из цветущих веток унаби уходят в мастерскую. Торговцы, смотря им вслед, покачивают головами, смеются.

МАСТЕРСКАЯ НИКО

Мольберт, подрамники, простой, некрашеный стол. На полу старый ковер и подушки. По стенам во множестве картины, этюды. Столяр Макар возится с подрамником. Входит Нико Сафиани с французом.

Нико *(увидев Макара, с трудом сдерживает радость)*. Наконец-то! Давно ждут тебя все наши художники. Отчего не приходил?

Макар *(постукивая молотком)*. Работой завален... Не вы, чай, одни у меня.

Нико. Без тебя как без рук, все разваливается.

Макар. Дайте срок, починим. Все будет в порядке. *(Углубляется в работу.)*

Француз *(прислонив к стене вывеску, купленную у Карапета, рассматривает работы художника. Не скрывает восхищения)*. Но эти картины — шедевр! Про вас надо писать в журнал. Почему вас не знают?

Нико. Такая страна у нас. Умереть надо, тогда оценят!

Француз. Но вы есть — тифлисский Сезанн! Какой удача, что я вас находиль! *(Рассматривает картины.)* Вы есть победа над школой Манэ. Импрессионизм есть победа одно пятно над одна линия. Новый стадия — пятно, растворял себя в один водопад краска. Мы имеем Синьяк, мы имеем Манэ, наконец приходил великий Сезанн. Он дает

новый синтез. Краска, матерьялите!.. О, мсье, вы так же видите мир... *(Любуется этюдами.)* Этот зеленый, оранж, черный. Это новый синтез. Вы есть тифлисский Сезанн!

Нико *(рассеянно слушает. Бросает нетерпеливые взгляды в сторону Макара).* Зачем сазан? Пусть плавает в море сазан... *(Встает, берет бутылку, наливает три стаканчика, протягивает французу и Макару.)* Выпей и ты, столяр!

Француз. За вашу Академию! Вы, наверно, есть гордость Академии *(чокается с Нико.)* Но почему не давали вам хорошее ателье?

Нико. В Академии не учился. На улице учился. В горах, у реки, у зверей, у птиц учился.

Француз *(настойчиво).* Кто был ваш профессёр?

Нико. Сам себе профессор. Смотрю — вижу. Вижу — рисую. Иногда человек очень большие и красивые глаза имеет, а ничего интересного не видит. Например, сегодня утром певицу Марго встретил, ей букет предложил. Артистка Марго мой букет не взяла — мне веников не надо, говорит. *(Горячится, берет в руки цветущие ветки.)* А с этим «веником» я на горе Давид солнце встречал. *(Ставит ветки в банку с водой.)*

Француз. Но это есть поэзи́. Я буду говорить Марго про вас, про ваш талант. Она красивый дама, она замечательно поет. Я знаком.

Нико. Хлопот не стоит. Художник так любил, что умирать хотел. Сейчас художник рисовать будет — и про эту любовь и про смерть забудет. Картину хочу писать: Марго лежит на диване. Правое плечо голое, на лице улыбка, на плече птичка сидит, сама себе Марго очень нравится. И вторую картину напротив буду вешать, как зеркало. Опять Марго на диване лежит, опять улыбка, опять птичка, опять сама себе нравится. Одна только разница, что на другом боку лежит. *(Смеется.)*

Француз *(в восторге от Нико).* Я буду покупать всю вашу мастерскую. Вы будете ехать в Париж — там поймут, что вы есть гений.

Нико. Без Тифлиса мы как рыба без воды — жить не можем. А в мастерской ничего покупать нельзя — все чужое. За все деньги уже получил.

Француз. Но это большой состояние. Почему не хотите уходить отсюда?

Нико. Вы, мсье, удивительный счетовод. Большое состояние! Ну *(указывает кистью на картины)*, за миллионера и вдову я получил десять рублей. Кушать мне надо? За гусей два рубля. За газель — два... Все съел — и вдову, и гусей, и газель, а правду сказать — больше пропил.

Француз. Как! Вы получаете копейки за шедевр! Я же вам говорит — вы есть гений.

Нико *(смеется)*. Никто не верит.

Француз. Я сам буду про ваши картины писать. *(Взволнован.)* Прошу вас... У меня с собой немного деньги. Я буду вам оставлять аванс, я делаю вам заказ — большое полотно, рисуйте что хотите... Я буду приходить... *(Кладет на стол деньги, направляется к выходу.)* А сейчас — до свиданья!

Нико *(изумленно смотрит на деньги)*. Никто мне за дело столько не платил, а вы — без всякого дела. Большой пир будем справлять! *(Провожает француза до двери, закрывает ее на ключ, бросается к Макару.)* Дай обниму тебя, дорогой! *(Обнимаются.)* Сразу хотел тебя расцеловать, да этот француз помешал.

Макар *(улыбаясь)*. Конспирация. Нельзя про нее забывать.

Стук в дверь.

Нико *(прислушивается)*. Опять кто-то.

Повторный стук.

Это свои. *(Открывает двери.)*

Входят Вано и Нина — нарядная, с большим бантом в косе.

Вано *(бросается к Макару)*. Какое счастье, друг, что ты приехал. Беда у нас опять. Видал воззвание, портреты Камо?

Нина. Награда большая обещана. Его везде ищут, ловить будут.

Вано *(хлопает Нину по плечу)*. Это, товарищ Макар, наша Нина. Незаменима для связи, как мышка под самым носом у полицейских бегает. Видишь — благовоспитанная барышня из хорошего дома... Ну, скажи, откуда ты сейчас, Макар?

Нико *(улыбаясь Нине)*. Красивая барышня... *(Сразу переключает свое внимание на Макара.)* Откуда ты приехал?

В а н о. Рассказывай скорее.

М а к а р. От самого Ленина.

Все окружают его теснее. Пауза.

В а н о *(взволнованно)*. Золотой ответ. Наверное, приказ нам шлет — обуздать меньшевиков? До чего тут обнаглели! Боевые дружины у нас растут, а эти меньшевики делу революции мешают, хватают за ноги! А есть и такие — не поймешь его: слова говорит наши, а дела делает — совсем не наши. Например, Асадзе... Самое плохое, когда не наши люди говорят нашими словами.

М а к а р. Не горячись, Вано. Соберем товарищей, все дела обсудим. Сейчас прежде всего мне надо видеть Камо. Явка у тебя?

Н и к о. У кого же еще? Я — базарный маляр, всем здешним властям модными красавицами их безобразных супруг написал. Мастерскую свою вне подозрений держу. Камо обязательно придет.

Н и н а *(грустно)*. Если не попался в когти шпикам.

В а н о. Сам на рожон лезет. Шел однажды где-то, следом все время идет человек. Камо повернулся, схватил его за горло, кричит: «Кому служишь? Хочешь — убью?» А тот совсем не шпик оказался.

Все смеются, кроме Макара.

Н и к о. Ну говори, товарищ Макар, что нам Ленин передает?

М а к а р. Всех соберем — расскажу. *(Ходит в раздражении по комнате.)* А прежде всего — крепко ругать вас надо! Почему плохо повинуетесь комитету? Почему не удержали крестьян от неорганизованного восстания? Крестьяне ухлопали одного уездного начальника, а на его место другой — еще хуже... А деревню их дотла спалили каратели! Почему помещики, полиция, поп действуют заодно и потому побеждают, почему революционеры — все вразброд, без связи с рабочими, с крестьянами, друг с другом?

В а н о. Нет сил дальше терпеть, товарищ Макар, нет сил! Люди в горы ушли — бездомные, голодные... Назад прийти — смерть найти. Виноградники потоптаны... Хошуры разграблено, Самтреди сожжено. До самого моря, как саранча, дошли проклятые каратели.

Макар. И в центре России рабочие голодают, их расстреливают... Однако в одиночку не выступают. Почему? Твердо помнят: в одиночку не борьба — верная гибель. Вставать надо всем заодно! Недаром Ленин учит делать выводы из московского восстания...

Нико. Все как один, по-русски — единение, по-грузински — эртоба! Крестьяне, рабочие, армия...

Макар. Правильно говоришь, Нико, думай дальше. Чем можно закрепить, удержать это единение, твою эртобу? Одной дисциплиной. Железной дисциплиной! Такой революционер, как Камо, порой шалит как мальчишка... А вы тут чего смотрите?

Нико *(с обидой)*. Зачем так говоришь? Наш Камо безмерно уважаемый, испытанный солдат революции.

Нина. Камо смелый, он не прячется.

Макар. Поверьте, друзья, сам Ленин не меньше вас его ценит! Я слыхал, с каким восхищением он говорил про Камо: счастливейшее сочетание — беззаветная преданность революции, смелость до дерзости и непримиримая железная воля! Для важных дел его беречь надо!.. А тут он сам себя не бережет — гусей дразнит, весь Тифлис взбаламутил...

Нико. Камо не человек — орел! Как нарзан кипит! Когда партия дала лозунг: «Партизанская война против самодержавия», Камо сразу во главе боевой дружины! Разве хоть однажды не согласовал он свою работу с партийным комитетом? Подпольные типографии налаживал, демонстрации защищал, прокламации разбрасывал.

Вано. Правда, тут немножко увлекся, от избытка сил. Понимаешь, товарищ Макар, студенты опоздали, не пришли за листовками, — Камо сам понес их в театр на «Гамлета, принца датского». Лишь только тень отца выросла из тьмы, Камо ка-ак размахнется — пятьсот белых листовок в партер полетели, как птицы.

Нина *(смеясь)*. Я в театре была. Один белый листок прямо на лысину попал генералу, с ним от злости припадок. Кругом — крик, суета, а Камо убежал.

Макар. А могли и схватить!

Нико. Что верно, то верно. Избалован Камо удачей... Ему ведь и не пустяки удавались! Вспомни его побег

из батумской тюрьмы. А в Тифлисе, в дни восстания в Нахаловке? В декабре пятого года? Ты тогда в Москве был...

Макар. Как же, товарищи часто вспоминают о борьбе тифлисских рабочих в декабре. О героизме Камо прямо легенды ходят.

Вано. Между двух огней наш патруль оказался — справа казаки, слева жандармы. Мало кто ноги унес. Камо чудом спасся. Его раненого подобрали в канаве казаки. Два раза вешали его, в последнюю секунду снимали. Нос ему казаки хотели отрезать. Вот тогда в первый раз заплакал наш Камо, — как с такой «особой приметой» революционные дела делать? Из метехской тюрьмы бежал! Сколько раз был на волосок от гибели, а все продолжает рисковать по пустякам.

Макар. Очень досадно, что такой революционер вдруг позволяет себе выходки мальчишки...

Нико. На днях полицейскому на базаре яблоком рот заткнул. Ходил, как кинто, с лотком фруктов, а блюститель закона шибко рот разинул — зевнул...

Макар (*сердится*). И это в те дни, когда он объявлен вне закона, когда его портреты повсюду! Этому положить надо конец!

Стук в дверь. Нико открывает. Влетает Камо — веселый, задорный. Он в костюме кинто, на голове лоток с фруктами. Увидел Макара, кинулся к нему.

Камо. Кого вижу? Макар, дорогой товарищ! (*Ставит лоток на стол, обнимает Макара.*) Здравствуй, добрый гость! (*Видит Нину, берет ее за руки.*) И ты здравствуй... Давно не видел, соскучился по тебе. Можно — поцелую?

Нина (*тихо*). Не надо...

Камо (*проникновенно и серьезно*). Милая Нина... (*Подходит к Макару снова, трясет его руку.*) С приездом, как рад тебя видеть!

Макар. Ну, веселый кинто, небось дорогие у тебя груши?

Камо. Бесценные груши! Угостить? (*Перекладывает груши на стол. Под ними — коробка.*) Видишь, какие это груши? Шрифт принес! Надо спрятать. (*К Нико.*) У тебя, Нико, безопаснее всего.

Нико. Голые стены у меня...

Камо *(указывая на ветки унаби)*. Чье дерево? Зачем здесь это дерево?

Нико. Мой букет. Хотел актрисе Марго поднести, она его веником назвала, не взяла.

Камо. Хорошо сделала. Букет этот будет шрифт скрывать. *(Берет коробку со шрифтом и прячет ее под ветками унаби. Букет надежно закрывает коробку.)*

Макар. Однако потом шрифт надо нам перенести в более верное убежище.

Камо *(протягивает Нине грушу)*. Совсем нет времени поговорить с тобою, Нина-джан. Если бы у меня было время, я бы одно важное дело сделал: тебя бы полюбил. Но знаешь — враги кругом, драться с ними надо, работать надо! Так случилось, что я ее встретил раньше, чем тебя, и полюбил навсегда.

Нина. Кого? Кто она?

Камо *(гладит ее по голове)*. Кто? Революция! *(Подходит к Макару.)* Говори, говори, видал Ильича? Когда имя это произношу — сердце из груди вылететь хочет. Сколько народу на это имя надежду имеет. Скорее говори, где он?

Макар. Сейчас Ленин в Петербурге. Тебе, Камо, есть особое поручение от Ленина. Очень ответственное...

Камо. Мне — поручение от Ленина? Какой большой подарок ты мне привез, товарищ Макар. Мне, от самого Ленина? Не томи, говори.

Вано *(от окна, из которого наблюдал за улицей)*. Тс-с... Кому-то дворники на нашу квартиру указывают...

Стук в дверь. Нико открывает. Вбегает Гиго.

Гиго. Сейчас сам слышал, шпик спрашивал дворников — куда кинто с грушами пошел? В лавке указали, что к тебе. Сейчас здесь будет обыск.

Камо. Молодец, Гиго, товарищ. Скорее, Нико, превращай меня во что-нибудь, грим бери.

Гиго. Вот бороду принес, даром я, что ли, цирюльник. *(Подает сверток Нико. Вынимает из-за пазухи бутылку вина.)* А это — будто у Нико гости, пирушка. А ну-ка, Нина, хозяйничай.

Нина и Нико торопливо накрывают стол — хлеб, вино, груши. В центре стола — букет из веток унаби.

К а м о *(поднимая стакан)*. Спасибо тебе, товарищ Макар, за подарок от самого Ильича. Твое здоровье!

Чокаются.

Нико задергивает широкую, во всю мастерскую, занавеску, вместе с Камо исчезает за ней. За столом, инсценируя пирушку, сидят товарищ Макар, Гиго, Нина, Вано.

М а к а р *(в сторону занавески)*. Значит, Камо, встреча в Авлабаре, в нашей типографии. И как можно скорее!

К а м о *(из-за занавески)*. Прилечу как птица, товарищ Макар.

Н и н а *(запевает)*. Мравалжамиер, Мравалжамиер...

Все за столом поют. В дверь сильный, хозяйский стук, непохожий на условный стук революционеров. Макар открывает дверь. На пороге фигуры дворников — М и ш к и и С и д о р ы ч а; за ними а г е н т. Дворники входят в мастерскую.

С и д о р ы ч. Знакомый столяр! А где же маляр Нико?

М а к а р *(равнодушно)*. Портрет рисует.

С и д о р ы ч *(Мишке)*. Тс-с... тише ходи, чтобы не спугнуть!

Сидорыч ставит Мишку у входной двери. Делает кому-то знаки в окно. Распахивает занавеску. Открывается вся мастерская. Нико за мольбертом, ему позирует очень старый турок, в чалме, с длинной белой бородой. Турок курит.

(Подступая к Нико.) Где кинто, что с грушами приходил? Вот они, груши. А куда самого кинту спрятал? Агент говорит — не кинто был он, а самый Камо. Злодей супротив власти.

Н и к о *(смеется)*. У того кинто я все груши купил... Его и след простыл.

А г е н т. А турок кто будет?

Н и к о. Богатый человек! Портрет заказал. Не раздражайте его, он шума не любит.

Т у р о к *(важно встает, бросает Нико)*. Завтра в кофейню будешь приходить, сам не приду. *(Ни на кого не глядя, идет к выходу.)*

Агент подозрительно смотрит турку вслед.
Столяр Макар, не отрываясь от работы, насвистывает «Марсельезу».

А г е н т *(как ужаленный подскочил к столяру)*. Кто тебя научил? Где слыхал?

Макар. А кто ж сейчас этой песни не свищет? Случается, свищут господа, случается — рабочие. *(Продолжает спокойно работать.)*

Агент. А вот припомнишь в участке, где, от кого слышал. *(Дворникам.)* Взять его!

Гиго. Всем известного столяра брать? Смотрите, как бы в дураках не оказались.

Сидорыч. И точно. Столяром его знаем...

Агент. Разберем в участке, какой он столяр. Наш ротмистр на всю ночь на облаву уехал, вернется утром, а мы ему, может быть, крупную дичь поднесем! *(Дворникам.)* Ведите, говорю вам.

Макар *(агенту)*. Померещилось тебе с пьяных глаз! Хочешь пред начальством отличиться, — ан гляди, осрамишься. Небось документ у меня в полном порядке! *(Товарищам.)* Уж вы, господа, сохраните мой инструмент, докеда вернусь.

Гиго. Будь покоен, сохраним.

Макара уводят.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДОМОМ НИКО

Осанистый турок стоит за деревом так, что его выходящие из мастерской Нико — агент и дворники с Макаром — видеть не могут, а он их провожает пристальным взглядом. Они скрываются по направлению к участку. Турок читает воззвание о поимке Камо, наклоняется, чтобы лучше рассмотреть портрет, и мгновенно залепляет его прокламацией «Долой самодержавие». С прежней важностью, не торопясь, скрывается в цирюльне Гиго.

В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Небольшая комната. Стол, стулья. Наверху горит яркая лампа. На стуле туго связанный Макар. Дворники по обеим сторонам его стула.

Агент *(перед ним лист бумаги, чернила)*. Сколько времени зря убили. *(Макару.)* Признавайся, дьявол, кто будешь? Куда и откуда твои пути? Выбьем из тебя правду. *(Дворникам.)* В котором часу приказывал ротмистр вам приходить?

Сидорыч. Раньше полудня, сказывал, не буду.

Агент *(Макару)*. Хватит сроку из тебя показания выбить!

М а к а р. Ослобоните веревки, руки-ноги изныли. Руки мне, почитай, дороже самой головы. Покалечите — чем стану работать?

А г е н т. Не больно у тебя намозолены руки. Белые, как у барышни.

С и д о р ы ч. И взаправду. А мне-то и невдомек руки ему обсмотреть.

М и ш к а. А может статься, он всю неделю пропьянствовал, не работал — мозоли-то и отошли. *(Макару.)* Небось заливаешь?

М а к а р. Обыкновенно. И чего, спросить, вы на меня навалились? Заказчики меня ждут, разносить пора работу, а вы тут меня зря держите.

А г е н т. И всю ночку продержим, спать не дадим. Разные средства применим, а уж правду-то вытянем. Объявишься, кто ты таков!

С и д о р ы ч *(глянул в окно)*. Батюшки, карета подъехала!

М и ш к а. Видно, ротмистра пьяного привезли. Бывало...

А г е н т. Вот оказия — самолично жандармский полковник!

П о л к о в н и к *(быстро входит, за ним адъютант. Агент и дворники вытягиваются. Полковник в бешенстве накидывается на агента)*. Чье самоуправство? Как осмелились доставить государственного преступника в участок? Самолично допрашивать? Ка-ак?

А г е н т. Так что для ради опознания личности, ваше высокоблагородие, дабы менее утруждать высшие власти...

П о л к о в н и к. Дур-рак! Награды особой захотел? В охранном отделении такому место, а не в твоем клоповнике. *(Макару.)* Ваши товарищи уже взяты, не хватает только вас. Идите за мной!

М а к а р. Прикажите развязать...

П о л к о в н и к. Кандалы заработал, а не веревки! *(Агенту.)* Освободить ему ноги.

Агент и дворники развязывают Макара. Он с трудом встает, распрямляется.

(Толкает Макара в спину.) Ну, марш за мной!

Полковник идет впереди, Макар за ним. Рядом с ним адъютант, положив руку на кобуру с револьвером.

С и д о р ы ч *(глядя в окно на отъезжающую карету)*. Видать, и вправду крупную дичь мы подцепили...

А г е н т. Что толку? Этот полковник всю награду целиком себе заберет, словечком нас не помянет. Насчет одного я ума не приложу — как это охранка могла так скоро узнать, что мы столяра захватили?!

М и ш к а. Очень просто. Нынче все друг за дружкой следят — сладкий кусок изо рта так и хватают. Так и хватают...

НА ТОЙ ЖЕ ПЛОЩАДИ

Крыша мастерской Нико Сафиани. Лесенка с крыши ведет вниз, на площадь. На крыше Нико расставляет угощенье, вино.

Н и к о *(кричит с крыши)*. Эй, Карапет, Васо, Илико,— все ко мне — вино пить.

К а р а п е т *(внизу)*. А где твой друг Гиго? Пристав говорит: «Давно Гиго в своей цирюльне не бреет...»

Н и к о. Никуда не денется. Наверно, любовь крутит. Поднимайтесь наверх!

Зажигаются огоньки. Постепенно стекаются гости. Они приходят с зурной на крышу мастерской Нико. Один из гостей играет, другой поет куплеты, пародируя пение кинто.

По реке плывет шемай с радостным душою,
Если хочешь, так поймай удочкам большою.

Пританцовывает.

Наш тифлисский голова
Сам сказал эти слова:
«Десять лет я головой
Здесь сижу на думском кресле,
А порядка нет, хоть тресни».
И по креслу — хлоп рукой.

В с е *(припев)*.

Коль сидишь ты головой—
Чем же думаешь? Ой! Ой!

Гости хохочут, хлопают в ладоши. Один из них танцует под звуки зурны. Совсем темнеет, на площади зажигают фонари. В глубине сцены появляется В а н о с ишаком, которого ведет под уздцы м а л ь ч и к.

В а н о. Эй, хозяин! Хворост тебе привезли, принимай.

Нико *(словно нехотя спускается с крыши)*. Привяжите здесь ишака, тащите хворост в сарай. Потом поднимемся к гостям, кахетинским угощу. *(Гостям на крыше.)* Угощайтесь, сейчас придем...

В МАСТЕРСКОЙ НИКО

С крыши доносятся звуки зурны. За окном проходит патруль, где-то свистки. Вано и мальчик с пустой корзиной входят в мастерскую.

Вано. Ну, как дела с Макаром? Какие новости?

Нико. Дворник сказал — увезли Макара в охранку.

Нина *(одетая мальчиком)*. А куда пропал Камо? Может быть, и его схватили?

Вано. Горе, если Макара долго задержат. Ничего не успели узнать, нет теперь связи с центром... Но работу останавливать не имеем права.

Нико. Макара арестовали, я сейчас же гостей созвал. Подозрения отвлекать надо. Спасибо и букету унаби — хороший помощник. А насчет турка Камо я спокоен: Макар своей «Марсельезой» отвлек от него внимание.

Вано. Опытный человек Макар: внимание от турка отвлек сущим пустяком. А все-таки сидит Макар. Черт знает, как дело обернется. Ну, идти надо...

Нина *(берет ветки унаби)*. Очень красивые веточки! Я с собой возьму — хорошо? Шрифт в корзине прикрою.

В пустую корзину Вано и Нико кладут коробку с шрифтом, Нина уминает букет сверху.

Вано *(обращаясь к Нико, который пристально смотрит на Нину)*. Ты что удивляешься, Нико? Ты ее мальчиком считаешь, не узнаешь? Это же Нина.

Нико *(встрепенулся, пожал Нине руку)*. Правда, я не сразу узнал. Из-за Макара сам не свой хожу.

Нина. Он меня узнаёт, когда я барышня с большим бантом. *(Смеется.)* Ему, наверное, барышни с бантами нравятся больше.

Нико. Ты гораздо лучше без банта. Я так буду тебя рисовать. На горе, около цветущего дерева унаби. Букет

тебе нравится, он оттуда, с гор. Как только с Макаром и Камо все благополучно кончится, пойдем на гору гулять, большой букет тебе нарву.

Н и н а. Очень хочу, только сейчас нельзя.

В а н о *(дружески хлопает Нину по плечу)*. Она у нас очень занятый человек. Ничего, время придет — отпуск дадим.

В а н о. Не терпится узнать про Макара... Ну, чтоб не навлекать подозрения, пойдем, Нина. Утро вечера мудренее.

Н и к о. Подожди, выпить надо... *(Наливает вино в три рога, подает Вано и Нине.)*

Все трое высоко поднимают руки с наполненными рогами.

Н и к о. За то, чтобы все пути революционеров сошлись у очень большого стола. Чтоб на столе этом большущий самовар кипел. Чтобы вокруг стола хорошие люди сидели. Все люди, кто нашу жизнь хочет сделать справедливой, доброй, замечательной жизнью. Пусть все за этим столом соберутся!

В а н о. На весь мир стол раскинем, Нико!

Н и н а. Да, на весь мир! *(Обнимаются, смеются.)*

В а н о. Будь здоров, Нико! Утром выясним насчет Макара.

Н и н а. До свиданья, Нико...

Н и к о. Ой, как жаль, хороший мальчик-девочка, что я тебя раньше не видел как следует. А сейчас, понимаешь, сейчас нам любить некогда. А мне — совсем нельзя. Сейчас мне картину писать очень хочется.

Н и н а *(смеется)*. А мне и подавно любить некогда. Надо и по нашим делам бегать и свои экзамены сдавать.

В а н о. Давай, Нико, целуй Нину, говори ей не «прощай», а «до свиданья».

Н и к о *(нежно целует Нину в щеку, прислушивается к звукам зурны)*. Не прощай, Нина, а... до очень скорого свидания.

Вано с Ниной уходят. Нико, напевая что-то бравурное, возвращается к гостям.

Довольно большая сводчатая комната. Сверху из колодца падает слабый дневной свет. Две наборные кассы, ручная печатная машина. Нико и Вано при свете керосиновой лампы разбирают прокламации.

Вано. Вот эту пачку Нина снесет по старому адресу в саперный батальон. *(Откладывает.)* Нет, Нико, себя не обманешь... Не могу, не знаю, как теперь работать. Порвалась связь с центром. Надо было с Макаром все обговорить, главное — его выслушать, а где Макар, что с ним? И Камо как сквозь землю провалился...

Нико. Дворники, которые с агентом увели Макара в участок, вернувшись, рассказали, будто очень скоро туда в карете приехал сам жандармский полковник и увез Макара как важного преступника, а их с агентом зверски изругал. Остается предположить, что Макара охранка выследила с самого вокзала.

Вано. Эх, зачем не дал знать Макар, что приедет, мы бы сумели запутать шпиков. А ведь сейчас он из-за Камо попался. «Марсельезу» свистел, чтобы от турка внимание отвести. Неосторожный шаг все-таки...

Нико. Макар хорошо знал, что делал. У него всегда в порядке паспорт, за насвистывание «Марсельезы» пустяком бы отделался, а Камо попался — верная петля.

Стук сверху. Шум срывающихся под ногами камней. В отверстие колодца просовываются военные сапоги со шпорами, рейтузы, наконец целиком жандармский полковник в дежурной форме. Запыхавшись, валится на табурет, кричит: «Попались, голубчики!» Вано выхватывает револьвер, полковник снимает шапку и большие усы. Товарищи вглядываются, вскрикивают: «Камо! Камо!» Все трое хохочут, обнимаются.

Вано и Нико. Так это ты увез Макара из участка? Как ты поспел, кто адъютант?

Камо. Ведь у Гиго целый гардероб запасен. Пока дворники с агентом тащили Макара в участок, я успел переодеться полковником, а Гиго — поручиком, и вместе в свадебной карете мы подъехали к участку. Потом Гиго обрил Макара и переодел.

Вано. Да где же он, Макар?

Таким же манером, как полковник, появляется Макар. Он в форме почтового чиновника.

К а м о. Рекомендую: почтовый чиновник из Одессы к мамаше в отпуск приехал!

Товарищи смеются.

В а н о. Совсем невредимый товарищ Макар!

Н и к о. Замечательно помолодел. Остается узнать, где Гиго — адъютант полковника?

К а м о. Гиго на страже стоит. Сейчас, наконец, поведем разговор с товарищем Макаром. *(Макару.)* Ведь ты мне поручение привез от Ленина! Не дождусь, узнать хочу.

М а к а р *(ходит в волнении, остановился)*. Тебе отсюда уехать надо скорее, Камо, сегодня же, не откладывая. Прямо к Ленину. От самого Ильича подробности все узнаешь, и чего ждут от тебя, что тебе делать надо. Сейчас скажу обо всем только в общих чертах...

Вано убавляет огонек лампы, заглядывает в отверстие колодца, присаживается около Макара.

Товарищи, Ленин призывает нас к длительной и упорной подготовке к новому восстанию. Он говорит: «Подымается новая революционная волна...»

В а н о. А пока вся Россия в когтях двуглавого орла! В Петербурге, Москве, нашем Тифлисе усиленная военная охрана. По всей стране карательные экспедиции.

М а к а р. Я ехал из Петербурга, сам видал на станциях виселицы. Избивают железнодорожников, крестьян. Но поддаются пропаганде войска, поддаются... А какая это сила — армия, рабочие и крестьяне, если им действовать дружно, представляете себе, товарищи? Нам нужны сотни, нет, тысячи боевых дружин, отлично вооруженных... Бомбы, пулеметы, ружья — вот что необходимо нашим боевым отрядам.

К а м о. Все понимаю, товарищ Макар. Вооружить сознательный народ! Создать собственную военную силу — тогда, конечно, победа будет за нами, за революцией.

М а к а р *(улыбаясь)*. Понимаешь, Камо, а вот порой ведешь себя черт знает как — озорством развлекаешься, полицейских дразнишь. Хотя спасибо сейчас тебе должен сказать, что спас ты меня из кутузки.

К а м о. Хорош был полковник? Признайся, испугал тебя?

Макар *(улыбается)*. На минутку, честно скажу, пока ты не подмигнул...

Вано. Все равно ругай его, товарищ Макар! Все силы надо собирать и беречь, а он порой может рискнуть задаром...

Нико. Ну, чего вы за старое ругаете. Сейчас Камо большое дело сделал.

Камо *(добродушно)*. Есть у меня грехи, есть! Только верьте, друзья, правду я понимаю, ясно вижу, как на стене картину: пролетарий словно ребенок закованный, а растет... С каждым днем он сильнее. Скоро совсем разорвет свои цепи. Оружие нужно ему...

Макар. Вот за этим оружием и пошлет Ленин тебя за границу. Именно тебя, Камо! Большую партию оружия придется тебе доставать. Подумай только, какое тебе доверие. Тут окончательно ребячество надо бросить. Дисциплина и еще раз дисциплина. Большевик без дисциплины — не большевик, а мыльный пузырь.

Вано. Большой помощник, большой друг будет тебе дисциплина, Камо.

Камо. От Ленина такое поручение? Да я целый пароход с оружием в Батум приведу. Замечательно, как это дело мне подходит.

Макар *(кладет руки на плечи Камо)*. Не хочу твердить еще раз эту азбуку. Однако вдумайся, какой осторожности требует подобная операция. Понимаешь, чем дело пахнет? Усилением наказания всем заключенным: кому назначена каторга, тому будет петля.

Вано. Обрадуются случаю, развернутся палачи.

Камо. Товарищи, теорию революции знаю мало и характер имею — как вулкан, но интерес социализма хорошо понимаю. Если меня схватят — даже имя свое не скажу. Что я большевик — не скажу... Всех обману, но только из-за меня срок наказания ни одному ленинцу не прибавят... Этому верьте, друзья... Значит, ехать к Ленину!

Макар *(протягивает Камо пакет)*. Передашь Владимиру Ильичу отчет о здешних делах.

Камо. Живой или мертвый, а пакет доставлю. *(Старательно прячет пакет на груди.)* А потом — и оружие доставлю, живой или мертвый. Скорей всего — живой.

Стук сверху. В подвале появляется Гиго.

Гиго. Товарищи! Камо должен немедленно бежать из Тифлиса. Вокзал и заставы оцеплены. Везде патрули. Дан приказ пропускать по шоссе одних гимназистов для тренировочных занятий. Предстоит гонка велосипедистов. Я прихватил все, что надо. Одевайся, Камо. Велосипед ждет тебя. Живо! Из жандармского управления переходи в гимназию. *(Подает Камо сверток.)*

Камо *(быстро переодевается гимназистом, отдает жандармскую форму Гиго)*. Прячь в твою костюмерную до следующего выхода. Ну вот, теперь я опять стал ученик... Всякое оружие в руках держал. Но есть одно очень важное оружие — образование; вот — стыдно сказать — до этого оружия все никак дотянуться не могу, времени нет. Это мечта, это мне как завтрашнее счастье. Человек не может жить, если не верит в завтрашнее счастье. Учиться стану — умнее буду. А сейчас немножко глупый еще... Стыдно, конечно. Дам слово Ильичу, что и это оружие когда-нибудь для себя добуду! *(Прощается с товарищами.)*

Занавес.

АКТ II

ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Ротмистр сидит за столом. Входит прокурор.

Ротмистр *(здороваясь)*. Рад вас видеть, господин прокурор. Что привело вас нынче в наше узилище?

Прокурор. Дело крайне важное. *(Закуривает.)* Уже третий месяц у вас здесь пребывают под следствием некие Вано Ландадзе и Арсений Асадзе.

Ротмистр. Отметьте — пребеспокойные экземпляры! Оба в одиночках, соседи. Неустанно перестукиваются. Вано Ландадзе ругает Асадзе «буржуазный прихвостень», а тот его обратно каким-то новым словом «бланкист».

Прокурор *(усмехаясь)*. Ясно, у вас по соседству два скорпиона... *(Обращаясь к конвойному.)* Приведите-ка обоих арестованных!

Ротмистр. Номер восемь и номер девять.

Конвойный. Вашескородие, так что арестант нумер восемь дюже слабой. Десять дней в карцере просидел...

Ротмистр. Хоть волоком волоки его. Марш!

Прокурор. В карцере сидел, конечно, Вано Ландадзе? За какие провинности?

Ротмистр. Ведет себя предерзко. Обзывает меня царским опричником. Затеял с волей переписку...

Прокурор. Усильте надзор за Вано Ландадзе. Никаких книг, никакой передачи. *(Звонит дежурному жандарму.)* Принести горячего чаю и бутылку коньяку.

Приводят из карцера Вано Ландадзе. Он в оковах, очень похудел.

Входит жандарм. На подносе чай, коньяк, рюмки. Прокурор подвигает к Вано стакан чая, сам наливает ему коньяк в рюмку.

Прокурор. Садитесь. Пейте. Сейчас согреетесь.

Вано не трогается с места. Пауза.

Вано. Дешевый прием, господин прокурор. Я жду допроса.

Прокурор *(заботливо)*. Обратно в карцер вам идти нельзя. Обратно в карцер — это верная, хоть, может быть, и не очень скорая, смерть. Или, что еще хуже, — безумие. *(Подвигает Вано стакан.)* Прошу вас...

Вано *(вспыхнув)*. Оставьте ваши дрянные приемы для слабонервных, я не из их компании, сами знаете. Больше того, что вам уже известно, я совсем ничего не добавлю. Полиция захватила нашу типографию. У меня нашли кипы листовок тифлисских большевиков, нашли оружие... Этого вполне достаточно, чтобы закатать меня в ссылку. Все ясно. Прекращайте комедию.

Прокурор. Мне искренне жаль вас, молодой человек; ваше упрямство только повредит вам. Вы больны...

Вано. Пожалел волк кобылу...

Прокурор. Предлагаю вам в интересах облегчения собственной судьбы сообщить некоторые интересующие нас подробности о Камо. *(Подчеркнуто.)* Вы бы могли отделаться совсем пустяковым наказанием.

Вано. Слышал про Камо много. Говорят — замечательный человек. К сожалению, встретиться не пришлось.

Прокурор. Ложь. Не усугубляйте свою вину. Чьи листовки раскидывал Камо по театрам? Напечатаны вашей типографией, вашим шрифтом...

Вано. Верно. Листовки наши. Но сам Камо ни разу не заходил.

Прокурор *(внушительным тоном)*. Вот фотография Камо — узнаете? *(Показывает портрет.)*

Вано *(со смехом)*. Ну и Камо, хорош, нечего сказать! Да это базарный торговец, я его встречал, лавка у него на майдане. Забыл фамилию.

Прокурор *(поспешно)*. Мирский, быть может?

Вано *(спокойно)*. Не припомню.

Прокурор. Опять напрасная ложь. Подтвердите нам только, что это Камо, и сегодня же вас переведут из карцера в больницу. А иначе...

Вано. Лучше карцерного режима мне не требуется.

Прокурор *(вспылил)*. Ну так в карцере и сгноим! Надолго ли вас хватит? *(Залпом выпивает рюмку, от которой отказался Вано.)*

Ротмистр. Напрасный труд, господин прокурор. Похоже — он предпочитает оставаться в карцере. Вызвать Асадзе?

Прокурор кивает головой в знак согласия. Конвойные вводят Асадзе.

Прокурор *(обращаясь к Вано)*. Вам известен этот человек?

Вано *(внимательно глядя на Асадзе)*. Впервые вижу его.

Прокурор *(обращаясь к Асадзе)*. А вам этот господин?

Асадзе *(не совсем уверенно)*. Кажется, мне... нет, не припоминаю.

Ротмистр *(ехидно)*. Однако едва ли позабыли, как честил он вас по соседству и «буржуазным прихвостнем» и «ликвидатором». *(Знаком приказывает конвойному увести Вано.)* Обратно в карцер! Прибавить ему пять суток.

Вано уводят.

Прокурор *(долго и пристально смотрит на Асадзе)*. Да-с, честил вас сосед. За что же? *(Придвинул к Асадзе стакан с чаем, сам налил коньяк в чай, подал заключенному. Тот с жадностью пьет.)*

Асадзе. Большевики, вообразившие только себя подлинными революционерами, называют нас, представителей революционной демократии, ликвидаторами.

П р о к у р о р. Вас? Меньшевиков?

А с а д з е. Да. Но, господин прокурор, за что же вы меня третий месяц под следствием держите? Разве мы, социал-демократы, призывали к вооруженному восстанию? Разве мы поощряем крестьян захватывать помещичьи земли? Максимум легальности. Ликвидация подпольных организаций партии — вот наша задача.

П р о к у р о р. Успокойтесь, господин Асадзе. Нам известно, что вы культурный и образованный человек. С вами мы найдем, конечно, общий язык. Будьте уверены, я, как и вы, страдаю за нашу несчастную матушку Россию! Крайне прискорбно, что вы, конечно по недоразумению, состоите в одной партии с этими безумцами, которые в нашей дикой стране мечтают совершить революцию раньше Западной Европы. Вы совершенно правы, это чистейшие бланкисты. Поверьте, вовсе не мы, это они, большевики, ваши истинные враги. Я хочу сказать, что большевики...

А с а д з е *(нервно прерывает)*. Здесь не место для теоретических рассуждений, господин прокурор. Прошу вас сказать, какие мне предъявляются обвинения? Я не совершал серьезных преступлений.

П р о к у р о р. Ошибаетесь, господин Асадзе. Совсем недавно нам стало известно, что вы содействовали крупному государственному преступнику Камо в доставке оружия из-за границы в Россию. Не вы ли находились в числе его пособников? Тех, что зафрахтовали шхуну в Болгарии для перевозки бомб и ружей?

А с а д з е *(непроизвольно)*. Откуда вам это известно?

П р о к у р о р. Нам известно и более. Эта шхуна, вашими стараниями предоставленная Камо, оказалась столь старой и гнилой, что при небольшом шторме, не дойдя до берега, затонула в Черном море. Да-с, затонула с грузом, на который большевики делали большую ставку. Учтите, что это обстоятельство, то есть именно ваше участие в приобретении гнилой шхуны, может стать известным и Камо. *(Резким движением показывает фотографию Камо.)* Вы знаете этого человека? Назовите его!

А с а д з е *(испуганно)*. Мне этот человек незнаком. Я вовсе его не знаю.

П р о к у р о р. Как пошатнется ваша репутация среди революционеров, когда Камо сообщит о вашем предательском участии в выборе шхуны! Не безопаснее ли и для вас, чтобы Камо оказался изолированным?

А с а д з е. Не я один выбирал пароход! Это клевета... Я чувствую какое-то вероломство... От вина кружится голова... Оставьте меня в покое, прикажите увести меня обратно.

П р о к у р о р. Куда обратно? В сырость и тьму? Если будете запираться, придется и вам, как Ландадзе, долгонько побыть в карцере. Припомните, Асадзе, сколько раз вы уже переживали в вашем воображении весь ужас совершенного вами? Признать свою вину значительно легче, чем совершить само преступление. А ведь человек в сущности боится только одного — страдания. И если человек еще не обезумел, он, естественно, сделает выбор — где ему страдать меньше.

А с а д з е. Своей свободы я не хочу покупать ценой предательства.

П р о к у р о р *(пренебрежительно)*. Решительно не заинтересован в том, чтобы заставить вас предавать кого бы то ни было, и вообще это слово лишено смысла. Вам не Маркса изучать надо — он вам совсем не по характеру. Читайте лучше Ницше и узнаете: нравственное и доблестное в одну эпоху в другую эпоху может оказаться преступлением. Настоящий умный человек всегда и везде сам себе хозяин. Подумайте только *(подошел близко, смотрит в глаза)*, за содействие вот этому человеку *(указывает на фотографию Камо)* вам придется десять долгих лет просидеть в темной сырой камере. Состаритесь, заболеете... Невеста, конечно, ждать вас не станет. Подумайте, кто ваши жертвы оценит? Вы будете страдать в тюрьме, а товарищи-революционеры и добрым словом вас не помянут!

А с а д з е *(вскидывается, кричит)*. Палач, иезуит!

П р о к у р о р *(опять ставит перед глазами Асадзе фотографию Камо)*. Внимательно слушайте меня, Асадзе. Завтра разрешаю свидание с невестой! Пустячное наказание и сдача на поруки вашему отцу за одно только слово признания. Скажите: Камо и Мирский — это одно и то же лицо? Революционер Камо — он же страховой агент Мирский? Свидетельствуйте!

А с а д з е *(внезапно решился).* Да, это Камо.

П р о к у р о р *(быстро, не давая Асадзе опомниться).* Имеются ли на теле Камо особые знаки, приметы?

А с а д з е. Это вероломство, провокация... Я не могу сопротивляться вашей воле. Я болен.

П р о к у р о р *(диктует).* Особые знаки, приметы Камо следующие...

А с а д з е *(автоматически продолжает фразу прокурора).* ...В правой руке осколок от взрыва бомбы... *(Приходит в себя, пугается, вскакивает.)* Я сказал... Нет, я ничего не сказал. Я солгал, я...

П р о к у р о р *(ротмистру).* Перевести арестованного в светлую теплую комнату. Разрешить свидание с невестой, передачу, книги... Закончить в ближайшее время следствие по делу Асадзе. *(Конвойным.)* Увести арестованного.

Асадзе уводят.

Р о т м и с т р *(восхищенно).* Ну, признаюсь...

П р о к у р о р *(в раздумье).* Асадзе — меньшевик. В них меньше безрассудства, меньше чего-то еще... *(Силится подобрать более точное слово.)*

Р о т м и с т р. Неужто вам удастся, наконец, схватить Камо?

П р о к у р о р. Убежден, что теперь — да.

Р о т м и с т р. Где он?

П р о к у р о р. За границей, в Берлине. Скрывается в сумасшедшем доме под именем некоего Мирского. Вообразите, целый год дает подвергать себя пыткам. Старательные немецкие доктора жгут его каленым железом. Молчит. Черт знает, что за человек! Вы понимаете, чем является для нас Асадзе? Это ключ к раскрытию берлинского инкогнито — самозванца Мирского. Он же — Камо. Под этой фамилией он пребывает в Берлине.

Р о т м и с т р. Проникаю в вашу стратегию и восхищен... Восхищен.

П р о к у р о р. Камо, батенька, не рядовой революционер, которому вдолбили «идейки». У него революция не теория, а сама жизнь. Не только в чемоданах с двойным дном, а во всем теле у него взрывчатое вещество, черт его побери! Ну, теперь всех гончих спустим, а зверя возьмем!

Полицейпрезидент — толстый, важный человек, сидит в кресле прямо, по-военному. Против него русский чиновник министерства внутренних дел. Утрированно культурный вид. Чиновник держит в руках большой пакет, скромно прикрывая его котелком. Вкрадчивым голосом заканчивает конфиденциальный разговор.

Чиновник. Итак, с вашего разрешения, я резюмирую. Нами установлено тождество между находящимся под вашим ведением Мирским и важным политическим преступником, известным под кличкой Камо. *(Слегка привстает.)* Наше правительство выражает надежду, что после погашения издержек на содержание вышеупомянутого преступника в берлинском доме душевнобольных *(изящно передает пакет полицейпрезиденту)* может быть произведена выдача его русским властям.

Полицейпрезидент *(тоже не без изящества запирает увесистый пакет в письменный стол. Говорит, слегка привстав.)* От лица немецкого «Попечительства о бедных» приношу благодарность русскому правительству за возмещение издержек. Поверьте, со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы пойти навстречу интересам нашего могущественного восточного соседа. *(Пауза.)* Но тут предвидятся, видите ли, гм-гм... немалые затруднения.

Чиновник *(с ловкостью фокусника внезапно вынимает новый увесистый пакет, гладит его тонкой рукой, кладет на письменный стол)*. Мое правительство предусмотрительно уполномочило меня принять на себя особые издержки, какие могут встретиться при создании условий, допускающих передачу русской власти ее преступного подданного. *(Встает. Поклон.)*

Полицейпрезидент *(в своем желании угодить стал будто тоньше корпусом, гибче в движениях.)* Будем надеяться, что найдется желаемый выход из нашего обоюдного затруднительного положения. *(Провожает чиновника к двери. Поклоны, рукопожатия. Вскрывает второй пакет, данный чиновником, вынимает из него часть денег, остальные опять запирает в ящик. Берет телефонную трубку.)* Попросить ко мне в кабинет господина директора «Попечительства о бедных».

Стук в дверь. Входит директор — худощавый, извивающийся человек, имеющий лицемерный облик сектантского проповедника.

Директор. Господин полицейпрезидент выразил желание видеть меня?

Полицейпрезидент. Садитесь, господин директор. Имею к вам крайне экстренный, весьма деловой разговор.

Директор *(сел, вытянул вперед лисью мордочку)*. Я — весь внимание, господин полицейпрезидент.

Полицейпрезидент. Наша образцовая больница для душевнобольных находится в ведении вашего учреждения, не правда ли?

Директор. Совершенно точно, господин полицейпрезидент. И смею вас уверить, все наши счетные книги в образцовом порядке. Но какие расходы, господин полицейпрезидент, какие расходы! Положительно, наши немцы вырождаются. Там, где в прежнее время люди отлично себя держали, сейчас они позволяют себе просто-напросто впадать в безумие. Бывало — лопнет банкир, и что же? Тотчас в Америку — искать себе новой удачи. А сейчас банкир идет прямо к нам в отдел меланхоликов. Бывало, офицер проиграется — короткий разговор: пуля в лоб. Сейчас и офицер идет к нам на полный пансион. И аппетита, заметьте себе, эти сумасшедшие не только не теряют — за троих едят. Какие расходы, господин полицейпрезидент, какие расходы!

Полицейпрезидент. Не правда ли, господин директор, при подобном обилии у вас своих, кровных, немецких инвалидов содержание иностранных инвалидов особенно обременительно вашему учреждению, и скажу прямо — обидно.

Полицейпрезидент встает. Директор тоже. У него выражение лица как у гончей, которая уже учуяла зайца, но, не видя его, еще не может взять.

Директор. Я весь внимание, господин полицейпрезидент...

Полицейпрезидент *(берет директора за пуговицу)*. Больше того, скажу вам: тратить наши кровные, наши немецкие деньги на содержание иностранных душевнобольных — это просто грех. Германия — для немцев!

Директор. Германия для немцев, господин полицейпрезидент.

Полицейпрезидент. И потому в данном случае, когда наш могущественный восточный сосед — Россия — заинтересована...

Директор (*угодливо прерывает*). Мы, само собой разумеется, должны идти ей навстречу. (*Осторожно.*) Но кто же именно, осмелюсь спросить, господин полицейпрезидент, должен быть подразумеваем под этим «обременительным иностранным инвалидом»?

Полицейпрезидент. Я рад, что вы понимаете меня. Речь идет о русском, который носит имя Мирского. Издержки на его содержание вам будут с лихвой уплачены. Вы можете мне подать (*широкий жест*) счет за все время пребывания этого русского в подведомственном вам заведении. Задаток получайте сейчас. (*Протягивает деньги, которые директор принимает как государственно важный документ.*)

Директор. Во всем этом есть одно тревожное обстоятельство, господин полицейпрезидент: о Мирском говорят, что он — видный революционер. Если мы передадим его русским властям, «Форвертс» и другие газеты поднимут нас на рога.

Полицейпрезидент (*категорически*). Не поднимут... если дело сделать с умом. «Попечительство о бедных», существующее на деньги немецкого народа, справедливо перекладывает свою заботу о неизлечимом душевнобольном на его соотечественников. Помните: полиция тут ни при чем. И политика — тоже. Народные немецкие деньги — не устанем эту истину повторять — только для детей немецкого народа!

Директор. Только для детей немецкого народа, господин полицейпрезидент!

Полицейпрезидент и директор крепко пожимают друг другу руки.

Полицейпрезидент (*конфиденциально*). Необходимо одно: иметь вам удостоверение от наших знаменитых профессоров Гофмана и Лепмана о безнадежном состоянии этого душевнобольного инвалида. Вы меня понимаете? Это будет ваш и наш оправдательный документ.

Директор. Подобное удостоверение, господин полицейпрезидент, будет мною получено от профессоров. Но предупреждаю вас — расходы на этого обременительного

инвалида были велики, а предстоят при этой операции еще большие....

Полицейпрезидент. Все издержки будут покрыты отечеством этого душевнобольного.

Полицейпрезидент и директор смотрят друг на друга с полным взаимопониманием.

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Карцер при берлинской больнице душевнобольных. Он хорошо освещен высоко повешенной лампой. Очень холодно. Камо, скрестив руки на груди, стоит в одном нижнем белье. Дверь, к которой ведет лестничка в несколько ступеней, открывается, два служителя вталкивают упирающегося доктора Эрвига.

Эрвиг (*вырываясь*). Негодяи, монстры, сволочи!

Служители захлопывают двери.

Камо (*помогая Эрвигу встать*). Доктор Эрвиг, за что вас?

Эрвиг. Собачий холод у больных в камере, больные буквально плачут... Я подошел к надзирателю, говорю: вы дрова воруете, вот я про вас в газете напишу. Он изобразил на роже презрение и выплюнул сквозь зубы: «А кто же вам поверит? Жалоба человека, лишенного прав, — недействительна». (*Внезапно падая духом.*) А кто я в самом деле? Бывший русский студент Дерптского университета, неудачный немецкий медик, а ныне просто-напросто отпетый морфинист с язвой в желудке. И впридачу ко всему засажен милейшей родней в дом сумасшедших...

Камо (*берет его за обе руки, насильно тащит за собой*). Ничего, доктор, здесь, в холодильнике, гораздо веселее, чем в вашей палате. Я тут как на родных горах устроился. Гуляю сколько хочу — никто не мешает. (*Смеется.*) Правду сказать — немножко холодно, но в горах так и полагается. Очень рад тебе, доктор... Ну, учи скорей, что мне дальше делать?

Эрвиг. Куда уж тут дальше? Цель ваша достигнута. Неизлечимость вашего безумия констатирована самыми высокими авторитетами. (*Смеется.*) А ведь скоро год, что мы с вами околпачиваем профессорские головы. В их по-

чтенные черепные коробки не может уложиться представление о железной воле революционера... И столь длительной симуляции, как ваша, они допустить не могут.

Камо. Профессор Гофман при мне объявил студентам совсем новую кличку моего безумия. Придумал-таки... Оказывается, не по правилу со мной выходило: меня каленым железом жгут — жареным пахнет, а я говорю — не больно! Но зрачки, черт их возьми, зрачки расширяются! Научи, пожалуйста, доктор Эрвиг, как мне зрачки дисциплинировать? Совсем неудобный анархизм оказался в собственном теле.

Эрвиг. Ничего не поделать со зрачками. Да вы не беспокойтесь. Уж если профессор Гофман латынью болезнь окрестил — дело в шляпе. Теперь, если бы все берлинские врачи признали вас симулянтом, профессор Гофман, а за ним следом и Лепман — останутся при своем, а они самые почитаемые. Счастливец Мирский, вы можете мечтать о свободе. Скоро вас выдадут на руки вашему опекуну Оскару Кону. Не вечно же больнице кормить вас за свой счет?

Камо. О свободе нельзя только мечтать — свободу надо добывать.

Эрвиг. А для чего в сущности вам свобода? Опять начинать все сначала. Доставать оружие, прятать его, скрывать динамит, хлопотать с ужасным для себя риском о грядущем благополучии неизвестных вам людей. Да ну их к черту... У меня свой живот болит.

Камо. Хочешь, растирать буду?

Эрвиг. Не надо. На этот раз это только аллегория... Замечательный вы человек, Мирский, я вами восхищен. Целый год наблюдаю вас и понять не могу — что за сила вас держит? Просто богатырь какой-то...

Камо. Сейчас, доктор, я хочу быть простым джигитом. Нет, конем под джигитом. Ужасно холодно... Давай побегаем? *(С большой легкостью, подражая джигитовке, носится по камере и поет.)*

Сторож *(голова появилась в двери)*. Петь не разрешается.

Камо *(быстро)*. Ишак!

Эрвиг. А замерзать разрешается? *(Бьет кулаком в дверь.)*

Сторож *(голова)*. Будете стучать — получите наручники.

Камо. Брось его, доктор... Садись рядом, согреемся. *(Садятся.)* Знаешь, что такое джигитовка?

Эрвиг. Читал, могу себе представить.

Камо. Все ты читал, все ты читал, а ничего не видал. *(Вскакивает.)* А я сам скакал! Смотри... *(Изображает джигитовку.)* На коня прыг и — стрелой!.. С конем ты одно. И на стременах — р-раз! Ныряешь коню под брюхо! С земли на скаку хвать папаху — р-раз! И опять на коня! Р-раз, осадил! *(Вытирает пот со лба.)* Ух, хорошо. *(Смеется.)* Жарко стало.

Эрвиг. И с такой бурей в крови — в неволе сидеть? Орел — разве стал бы он в неволе сидеть? Орел в клетке, говорят, себе голову разбивает. А вот человек, даже такой, как вы, Мирский, человек, — в неволе живет, терпит.

Камо. Ой, доктор, ты меня рассердил. *(Подскакивает близко, говорит тише.)* Орел имеет товарищей? Общее дело? Говори! Орел может помнить, как жизнь разоряли, душу убивали? Что такое орел? Красиво, а все-таки — только птица. А вот человек ничего забывать не смеет. Был я в Петербурге. Видел замечательных русских рабочих. Бастуют месяц, два, три. Лозунг — лучше умереть с голоду, чем быть сытыми предателями. В пустой комнате одного путиловского забастовщика видел: сидят голодные дети на куче тряпья и поют «Смело, товарищи, в ногу!». Дети-сироты, нищета и бесправие! Оружие дать отцам — они детей спасут, горы подымут. Могу я, как один старинный Гамлет, на пальцах крутить — быть мне или не быть? Могу? *(Вдруг совершенно меняет выражение лица, говорит как молитву.)*

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...

Эрвиг *(изумлен)*. Мирский, что с вами? Сейчас, когда вы не симулируете безумие, я готов поверить, что вы на самом деле сумасшедший. Стихи зачем вам сейчас, так — вдруг?

Камо. Коню овес давать надо, чтобы он, усталый, опять работал. Как сохранить в тюрьме мозги революцио-

неру, чтобы они для воли работать могли? Овес — коню, Пушкин — моей голове отдых. Можешь понять?

То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.

Простыми словами сказал, а я от радости плакать хочу, когда Пушкина читаю.

Эрвиг. А я думал, вы только об оружии да о революции думаете, не о стихах.

Камо. Революционер всегда должен быть вооружен. Думаешь, очень просто: дать революционеру револьвер, гранату? Мало, это очень мало. Еще много другого надо. У меня вот, черти, динамит отняли, все отняли. Из-за меньшевиков у меня пароход с винтовками погиб. Меня голым сюда засадили. Знаешь, какая это беда? Не сумел я выполнить волю партии, выходит — не оправдал доверие товарищей. Меньшевики, будь они прокляты, такое святое дело угробили. Волком выл я с горя, места себе не находил. Скажешь, я совсем безоружный стал? Скис? Революционеру запас надо иметь такого, чего отнять невозможно. *(Подымает вверх руку с растопыренными пальцами. По мере того, как говорит, загибает пальцы.)* Какой такой запас? А вот слушай... Мужество, силу льва, гибкость пантеры, веру в счастье, бескорыстие...

Эрвиг. Да на какого дьявола революциями заниматься, если люди все из одного теста? Человек человеку волк.

Камо. Врешь, доктор, очень врешь. В том и дело, товарищ, что при социализме никому нельзя будет хищником оставаться. При социализме человек человеку волком быть не может. Вот Ленин учит, что это царь, это капитал делают одних волками, а народ — их жертвами. Ленин учит: прогнать царя и его шайку, дать власть тем, кто сам трудится, — народу. Но чтобы это святое дело в жизнь провести, нельзя держать в себе какое-нибудь графское непротивление злу. Наоборот, надо большую ярость иметь. Гнев и ярость...

Эрвиг. Скажите, Мирский, какие книги вы читали, какие философы навели вас на эти мысли?

Камо. Все ты про книги да книги. Я же сказал — Ленин учит. Жизнь учит. Я мальчиком на вершину высо-

кой крепости в Гори лазал, вниз смотрел — и всю правду как на ладони видел.

Эрвиг. Опять путаете меня с профессорами, перед которыми вам надо ломать вашу манию паранойю, которой я же вас и обучал. Чудак! *(Хохочет.)*

Сторож *(голова в двери. Говорит без выражения, как печатает)*. Смеяться воспрещается. Тут карцер.

Камо *(вспылил)*. Спрячь голову, мелкий ишак!

Голова прячется.

(Повернулся к Эрвигу.) А ты, доктор, неправильно жил, совсем неправильно. Ты носом в книгу уперся, мимоходом жил, — ты про настоящую жизнь ничего не знаешь! Потому ты и печальный. Хочешь, буду тебя жизни учить, как ты меня наукам обучаешь. Хочешь, я расскажу тебе немного про свою родину, про мой город, — Гори зовется.

Эрвиг. Как же, знаю, Гори — очень старый город.

Камо. Замечательный город... Представляй себе: посреди города огромная гора. Наверху — крепость. Персы брали-брали, взять не могли. Я на зубцы крепости под самое небо влезу — часами вниз смотрю. Хочешь, давай сейчас вместе поднимемся на самый верх крепости?

Оба встали, ведут себя, как будто стоят на вершине высокой горы.

Камо. Гляди, доктор Эрвиг, сюда *(жест)* и сюда. *(Жест в противоположную сторону.)* Куда глаз ни хватит — это все моя родина. Россию видишь, — нет конца, нет края. Степи и леса как в сказке. А Кавказ видишь? Горы лезут в небо, реки рвутся в море... И вот вся эта замечательная, большая земля наша одним богачам отдана. Почему? Бедному вспахать нечего, кушать тоже нечего, — почему? А какие люди на моей большой родине живут! В Москве, десятого декабря, на Пресне две русские девушки, простые работницы, несли в многотысячной толпе красное знамя. На них бросились казаки. И вот эти девушки крикнули царским воякам: «Убивайте нас! Пока живы — не отдадим знамя революции!» Вот какие девушки! Про них мне товарищ Макар рассказал, он сам бился там на баррикадах. А Ленин сказал: «Такие образцы отваги и геройства навсегда должны сохраниться в сознании пролетариата»! Вот так Ленин сказал...

Эрвиг (*жмет Камо руку, любуется им*). Я давно не люблю людей, но чтоб вас не вздернули, я остаток своей жизни отдал бы.

Камо. Опять неправильно думаешь: людей надо любить. Но каких людей! Будем на свободе — тебя научим жизнь любить, настоящих людей любить. Вместе с нами работать станешь — морфий свой бросишь, и живот твой болеть не будет. Ведь ты товарищ мне, доктор Эрвиг?

Эрвиг. Несомненно! Вообще я черт знает что — отпетый морфинист...

Камо. Слушай, доктор... Если ты заметишь, что меня ваши немцы предать хотят, не показывай виду, не шуми. Ты хватай в прихожей внизу чье-нибудь пальто, котелок и беги к опекуну моему — Оскару Кону. Предупреди. Он социалист... Понимаешь? Очень беспокоит меня, зачем сюда один шпик из полицейпрезидиума повадился. Будешь другом?

Эрвиг (*протягивая Камо руки*). Буду. Клянусь.

Камо. Ну, а теперь говори: хорошо я ненормального играю? Есть ошибки? Учи, пожалуйста.

Эрвиг. Вы, Мирский, стали за последнее время слишком выразительно ругать врачей прямо в лицо.

Камо. Устал я, здорово меня мучают. Очень больно иглами колют, поджаривают. Иногда прямо кусаться хочу. В зеркало заставили смотреться — я испугался. Гляжу — не моя рожа. Худой, волосами оброс, глаза дикие — некрасивый. Я вдруг подумал: а может, я вправду сошел с ума? Очень страшная минута. Однако догадался — оскалил зубы и плюнул в зеркало. Они, оба профессора, переглянулись, как жулики. Им понравилось, по-ихнему вышло верно — человек сам себя забыл...

Эрвиг. Чаще отвлекайтесь от себя. Хорошо, что джигитовки вспоминаете.

Камо. Стараюсь, доктор, стараюсь. Для дела очень нехорошо, если я правда с ума сойду. Сумасшедший, как пьяный, не знает, что говорит. Я товарищам повредить могу... Вчера перед зеркалом я как над обрывом висел, за что держаться — не знал. Устал я... (*Пауза. Вдруг оживился, опять повеселел.*) Из полицейпрезидиума, говорю, тут последнее время какой-то шпик повадился. Меня на прогулке из всех углов высматривал. Я рассердился, прямо подошел к нему, спрашиваю: «Стоит ли вам из-за

небольшого жалованья быть таким большим мерзавцем?» На немецкий просил ему перевести. Он очень обиделся. *(По-детски хохочет.)*

Сторож *(голова из дверей)*. Смех не...

Камо *(бросился к двери. Она мигом захлопнулась)*. Опять ишак.

Эрвиг *(прислушиваясь)*. Мирский, сюда к нам идут... Слышите шаги? *(Прислушиваются оба.)*

Сторож *(настежь открывает двери)*. А ну-ка, подтянуться: господин директор!

В холодильник входят дежурный врач, переодетый чиновник русской охранки, сторожа, директор «Попечительства о бедных».

Дежурный врач *(к Эрвигу)*. Как вел себя Мирский? Говорил с вами? Сторож заявил, что он буйствовал.

Эрвиг. Больной проявлял все симптомы особого вида истерии — паранойи. Экзальтация чередовалась в нем с полной депрессией. Иногда он как столб стоит в углу и безмолвствует. Вот и сейчас.

Все поворачиваются к Камо. Он молчит.

Дежурный врач *(чиновнику охранки и директору)*. О, этот больной, несомненно, инвалид. Симулянт не мог бы выдержать все те пытки, которым мы были обязаны его подвергать, чтобы обнаружить, действительно ли он нечувствителен к боли. Умственные способности его находятся в том состоянии, которое именуется слабоумием. Мирский, подойдите сюда!

Камо неподвижен.

Директор *(сторожам)*. Подведите его насильно!

Сторожа тащат Камо. Он передвигает ноги как автомат. Лицо бессмысленное.

Дежурный врач. Я задам больному несколько вопросов. Скажите, Мирский, куда течет река вашей холодной Сибири — Амур?

Камо. Река чертовски холодная, течет куда хочет... Наверно, в Чертово море.

Дежурный врач. Скажите, Мирский, какая разница между деревом и кустом?

Камо. Дерево есть дерево, а куст есть куст. Такие стишки знаю: «От белой акации — акацией пахнет, от белой сирени — сиренью. Недобрые люди меня не оценят — стихи назовут дребеденью...» А дурак есть дурак. Довольно. Хочу быть собакой! *(Становится на четвереньки, лает, очень быстро обегает вокруг чиновника охранки.)*

Чиновник охранки подает знак надеть на Камо наручники.

Камо *(внезапно выпрямляется. Оглядывает присутствующих гневным взглядом. Очень сдержанно, но веско, расчленяя каждое слово, говорит)*. До-воль-но театральных превращений! Я здоров. Два года я дурачил ваших профессоров. Имею диплом инвалида от вашей немецкой науки. А сейчас я отлично понял, что вы меня хотите выдать царской полиции.

Директор делает знак сторожам, те кидаются к Камо и надевают ему наручники. Дежурный врач показывает правую руку Камо чиновнику русской охранки.

Дежурный врач *(официальным тоном)*. На ладонной поверхности руки заключенного имеются плотные бугры, под которыми ощупываются твердые инородные частички — заросшие осколки от взрыва бомбы...

Чиновник *(понизив голос)*. Изготовлением которых, по сведениям тифлисского жандармского управления, и занимался этот именующий себя Мирским, на самом деле государственный преступник Камо. *(Обращаясь к Камо.)* Следуйте за мной!

Камо *(обращаясь к тюремному надзирателю)*. Вы обязаны о всех переменах в моей судьбе доводить до сведения назначенного мне опекуна Оскара Кона...

Директор. Господин Кон будет осведомлен. Не наша вина, если с некоторым опозданием. Он в отъезде.

Камо. Ложь! Он здесь! Я требую пересмотра моего дела! Я требую суда! Я здоров. Повторяю, я водил за нос ваших профессоров...

Директор. Прошу прощения, вы опоздали с этим заявлением. Вы убедили профессоров в своей болезни. Именно на основании уже не подлежащего сомнению научного определения профессора Гофмана, светила нашей психиатрии, мы передаем вас, как полного инвалида, на попечение вашего отечества. Как немецкие патриоты,

мы не можем долее содержать вас на деньги немецкого народа...

Камо (*в гневе прерывает*). Но, как негодяи, вы меня выдаете русской полиции?!

Сторож. Карета готова.

В ПРИЕМНОЙ У КОНА

Обстановка строгая, но со вкусом. Солидная мебель немецкой готики, ковер, гравюры, шкафы с книгами. Оскар Кон — человек еще молодой, блондин, с бородкой, в очках. Умное дружелюбие в манере говорить. Макар, похудевший, усталый с дороги.

Оскар Кон (*взял Макара под руку, ведет от дверей*). Усаживайтесь поудобнее на диване, здесь нам никто не помешает. Фриц!

Появился лакей.

Говорите, что меня дома нет, пока я вас не позову сам.

Фриц. Слушаю, господин Кон. (*Закрывает дверь.*)

Макар. Я к вам по прямому маршруту от Ленина. Я, знаете, в нашей партии на роли связного. Порой это очень отрадно, как, например, сейчас. Скажите, могу я надеяться на свидание с Камо?

Кон. Никакой надежды, мой друг. Меня, официального опекуна, полицейские власти норовят как можно реже допускать.

Макар. Вы знаете, как Ленин любит Камо! Ведь это он организовал ему защиту. Обсуждал вместе с Красиным, знавшим Камо по работе в Баку...

Кон. Ну как же! Красин посетил его здесь в тюрьме. Это он и подсказал ему мысль о симуляции психической болезни, которую Камо демонстрирует с такой сверхчеловеческой выдержкой. По просьбе Красина мой друг и товарищ Карл Либкнехт выдвинул мою кандидатуру от социал-демократов как официального опекуна подсудимого. Это по немецким законам допускается... А сейчас, после двухлетнего общения, я привязался к Камо как к родному брату и готов всеми силами спасти его от тюрьмы, от царских палачей и от некоторых «социал-демократов».

Макар. Прошу вас, расскажите подробно про Камо.

Кон. Охотно... Прежде всего это талантливейший актер. Второй год он свершает какое-то чудо симуляции.

Это возможно только при исключительных его данных. Великолепное здоровье, стойкость нервной системы и главное — железная воля и ненависть к политическим врагам. Эта ненависть и дает ему нечеловеческую силу претерпевать, не моргнув, самые настоящие пытки...

Начну сначала: сразу, еще в тюрьме, стал он буянить, бросал посуду, избивал надзирателей, — его посадили в подвальный карцер с температурой ниже нуля. Подумайте, девять суток человек, совершенно обнаженный, бегал и прыгал без передышки и... не заболел. Вот когда его водворили из карцера в камеру, я его увидел впервые. Он ощутил тоже сразу ко мне доверие и симпатию и очень ловко, для всех незаметно дал мне понять, что будет симулировать безумие, чтобы из тюрьмы перевели в больницу, а оттуда попытается бежать... Его изобретательность неистощима: вдруг он вырвал половину усов и волос и разложил у себя на подушке. Надзиратели только за голову хватались и ужасались. Когда Камо рассказывал мне, как профессора жгли его во имя науки, он еще усмехнулся: «Ужасно, как воняло паленым!»

Макар. Узнаю Камо. Но вот чего мы все опасаемся: не сойдет ли он на самом деле с ума в этой страшной обстановке?

Кон. Признаюсь, я сам опасаюсь того же. Ведь второй год этому дьявольскому существованию. Во что бы то ни стало добьюсь, чтобы выдали мне его на поруки.

Шум у дверей. Вбегает слуга, за ним Эрвиг, затем Шлоссман.

Слуга *(указывая на Эрвига)*. Прошу прощенья, господин Кон, я его удержать не имел силы, так к вам и ломится, вот господин Шлоссман свидетель.

Шлоссман разводит руками, выжидательно останавливается у дверей.

Эрвиг. Господин Оскар Кон, я к вам от опекаемого вами больного Мирского...

Кон *(беспокойно)*. В чем дело? Кто вы такой? *(Смотрит пытливо.)* Припоминаю. Я видал вас там... в той же палате, рядом с Мирским.

Эрвиг. Да, я оттуда. Меня зовут Эрвиг. Мы вместе с ним сидели в больничном карцере. Мирский просил

бежать к вам и все рассказать... Прошу извинить, моя речь бессвязна. Я убежал из больницы. Как только узнают, за мной придут. И вдруг у вашей двери встретил господина Шлоссмана, депутата парламента. Я его знаю.

Шлоссман брезгливо пожимает плечами.

Я его умолял выслушать меня — ведь социалиста выдали на верную смерть, ведь это позор, позор нашей стране — выдача из больницы политического заключенного на верную смерть!

Шлоссман. Да, я депутат парламента, но я вовсе не социалист. *(Как бы отряхивается.)* И в подобные дела прошу покорнейше меня не вмешивать. Я к вам, господин Оскар Кон, по поручению моей партии, с небольшим докладом...

Кон *(быстро встает, очень сухо)*. Прошу извинения, господин Шлоссман, я сейчас вас принять не могу, вы видите, у меня неотложное дело. *(Кланяется.)*

Шлоссман. Ах, это... *(Презрительный жест по адресу Эрвига.)* Прошу прощенья. *(Уходит.)*

Макар. Вот мерзавец!

Кон. Без него обойдемся! Садитесь, милый Эрвиг, успокойтесь *(поит водой)*, расскажите нам все подробно. *(Указывает на Макара.)* Это большой друг Мирского, он приехал к нам на помощь, при нем говорите смело. Что случилось с Дмитрием Мирским?

Эрвиг. Его взяли прямо из холодильника, ему надели наручники, увезли в карете.

Кон *(недоверчиво)*. Но позвольте... Вы что-то путаете. Куда его увезли? Не может быть...

Эрвиг *(вне себя)*. Вы не верите мне! А время идет... идет. Они увезут его в Россию. *(Собирается с силами, спокойно и твердо.)* Господин Кон, проверьте немедленно мои сообщения. Они выдали Мирского, как русского инвалида, которого больше не хотят содержать на немецкие деньги. Его не считают политическим эмигрантом, — понимаете их казуистику? Я улизнул, как только меня вслед за Мирским вывели из холодильника. Я схватил чужое пальто и побежал искать вас.

Кон *(взволнованно)*. Допустим, что я вам поверил. Но подумайте сами: чтобы сделать сейчас в рейхстаге официальное заявление об этом деле, мне нужно иметь...

Эрвиг *(прерывает с горечью)*. Понимаю: нужно иметь свидетельство более убедительное, чем мое заявление.

В парадные двери вбегают два служителя сумасшедшего дома, кидаются к Эрвигу с криками: «Вот он!»

Старший служитель *(к Кону)*. Это ведь наш больной, он убежал. Спасибо почтенному депутату Шлоссману, он сейчас дал знать в больницу, что больной здесь, у вас.

Кон. Лицемер! Ведь сегодня же он пойдет в здание рейхстага для болтовни об укреплении законности в нашей стране, зная, какое в Берлине произошло вопиющее по беззаконию дело.

Старший служитель *(младшему, радостно указывая на Эрвига)*. И пальто мое продать не поспел...

Кон *(служителям)*. Погодите минутку... Передайте врачу, что я завтра приду навестить моего опекаемого, больного Мирского. Вы меня должны знать. Я — адвокат Кон, назначенный опекуном к больному Мирскому.

Старший служитель. Как же, господин Кон, вы нас не однажды навещали... Однако беспокоить себя из-за этого русского вам больше нечего. *(Указывает на часы.)* Как раз с восьмичасовым поездом он укатил к своим землякам в Россию.

Кон. Это неслыханно! Это позорно... Кто распорядился?

Старший служитель. Просим прощенья, господин Кон, нас на улице ожидает больничная карета... *(Эрвигу.)* Советую вам не сопротивляться. У нас на всякий случай захвачена смирительная рубашка.

Эрвиг. И не подумаю сопротивляться, любезные! Я вам в благодарность по стаканчику на последние... Такую вы оказали мне нежданную услугу! Подтвердили мои показания!

Сторожа уводят Эрвига.

Кон *(Макару, беря его за руки)*. Вот какая печальная развязка судьбы нашего дорогого Камо!

Макар. До развязки далеко! Не впервые Камо избежать смертной казни! Сейчас надо вам тут создать такое общественное мнение, поднять такой поход в газетах,

задеть честь Германии, но заставить Россию отменить смертную казнь Камо. Пока еще выдача политических на смерть считается незаконным делом.

Кон. Обещаю вам, дорогой друг, Карл Либкнехт возглавит нашу кампанию против международной полиции! Камо и на родине у себя будет объявлен душевнобольным. И, следовательно, суду не подлежащим. Что думаете вы предпринять?

Макар. Я думаю немедленно ехать в Тифлис, куда, наверное, жандармские власти направят Камо. Буду держать с вами связь.

Кон. Отлично. Сделайте одолжение, передайте Джаваире, сестре Камо, эти деньги *(дает)*, чтобы и она не скупилась мне на телеграммы.

Макар. До свидания, товарищ Кон.

Занавес.

АКТ III

ШАШЛЫЧНАЯ КАРАПЕТА

На стене грубо намалеван амур с сердечком и со стрелой в руках. Столики для богатых — с белой скатертью, для бедных — с клеенкой. Висят клетки с канарейками. Прокурор и ротмистр сидят справа. У самого буфета за скромным столиком сидит товарищ Макар. Нико вешает на стену картину своей работы. На полу — ящик с красками. Играет шарманка.

Карапет. Хорошо поработал, Нико! Не пожалел краски — первый сорт! Помидор совсем настоящий — скушать можно. Зачем ты, Нико, отказался тогда на эту стену амура рисовать? Вот видишь, я другому заказал, — теперь завидовать будешь?

Нико. Не завидую, Карапет. Вино и шашлык давай мне за мои помидоры!

Макар. Садись, Нико! Вместе обедать будем.

Карапет. Вино и шашлык получай, Нико. *(Подает на стол, где уже сидит товарищ Макар.)*

Прокурор *(лакею)*. Эй, человек!

Подбегает лакей с салфеткой на руке.

Шашлык хороший, жирный. Да травку эту вашу неси, как ее...

Лакей. Тархун, кинза. Лучок зеленый...

Ротмистр. Заткни фонтан! Лучок, братец, это наше, российское. Ни ботвиньи без него, ни окрошки.

Прокурор. Черт с тобой, неси травку! Сколько чепухи на вашем погибельном Кавказе растет! Только живей, братец.

Лакей ринулся выполнять заказ.

Стой!

Лакей ринулся обратно.

Вдову Клико не забудь. *(Ротмистру.)* Угощаю вас на радости шампанским.

Ротмистр. Невесту богатую вспрыснем?

Прокурор. Ну, это пока что — впереди. Не тороплюсь я свою мужскую свободу терять.

Ротмистр. Заинтересован узнать, что именно будем праздновать, по какой, так сказать, линии?

Прокурор. По служебной, батенька. Не ожидали? Ха-ха! *(Вынимает из кармана газету.)* Вот не угодно ли, немецкий «Форвертс»... Нашему министерству внутренних дел заграничный комплимент, — и от кого? От социалистов, батенька. Читайте-ка: «Русские власти дали немецкой полиции урок гуманности».

Ротмистр *(смотрит газету)*. Уж вы потрудитесь своими словами изложить...

Прокурор. Вы, конечно, знаете, что немцы выдали нам Камо под хитрым соусом — как иностранца-инвалида, а вовсе не как политического. Однако по этому поводу Карл Либкнехт произнес в рейхстаге громкую речь. Левые газеты подняли такой гвалт, что сам Столыпин был принужден прислать сюда, в Тифлис, секретную бумажку *(понижая голос)*: «Смертную казнь политического преступника Камо отложить. Содержать его, как признанного немецкими психиатрами душевнобольного, в лечебнице».

Ротмистр *(с досадой)*. Уж если такого преступника не казнить, то кто же достоин казни?

Прокурор. Успеем, любезный. Не прогадаем.

Ротмистр. Догадываюсь. С настоящего положения дел купончики можно состричь.

Прокурор. И состригли! Наш военный прокурор отправил Кону, бывшему опекуну Камо, отеческого содержания телеграмму: «Не беспокойтесь, больной направлен

на излечение». Ха-ха! Этого Кона берлинская полиция намеренно устранила, чтобы он не был помехой при выдаче нам Камо. А мы Кона информируем. Зато и хвала: русские власти дали урок гуманности берлинским властям! *(Смеется.)*

Ротмистр. Чистая работа! И репутацию свою вознесли и преступника заполучили. Остается действительно выпить за гуманность русского министерства внутренних дел. *(Чокаются.)*

Прокурор *(перед тем как выпить, строго лакею)*. Сухое?

Лакей. Совершенно сухое-с. Вашей любимой марки.

Прокурор *(наливает снова)*. За честь русского оружия всех видов. *(Чокаются.)* Да, на сей раз мы будем гуманны. С военно-полевым судом торопиться не станем. Птичка в клетке крепко сидит. Птичка из клетки не улетит.

Ротмистр. Это из здешней больницы-то? Ей-богу, убежит...

Прокурор. Ошибаетесь, любезный мой, ошибаетесь. Сидит он в изоляторе. Стены не пробить и пушкой. В окно решеточка вделана. На ногах кандалы. Специальное ходатайство об этих кандалах я самому наместнику подавал. Начальник больницы протестовать было вздумал... Нет, милейший ротмистр, все меры приняты. Не убежит.

Гиго *(с гармошкой ходит взад и вперед по большому проходу между столиками. Приплясывает, напевая)*.

По Куре плывет шемай
С радостным душою.
Если хочешь, так поймай
Удочкам большою.

(На минуту Гиго задерживается около Макара и Нико. Тихо.) Брагин заглянул сюда и ушел. Прокурора с ротмистром увидал — испугался. Буду обоих сейчас выживать. *(Проходит мимо столика прокурора, выкрикивает.)* Сегодня вечером знаменитые куплеты! Мадам Марго споет по-русски, а ножкой дрыгнет по-французски. *(Изображает канкан.)*

Прокурор. Эй ты, пьяный кинто!

Гиго подходит.

Что, действительно Марго сегодня поет?

Гиго. Не просто поет, ваше благородие, — французские телодвижения будет делать. *(Изображает.)*

Хоть красива,
Но спесива...

Извольте, ваше благородие, афишку посмотреть. *(Подает прокурору афишку.)*

Прокурор. В самом деле. Оперетка «Мадам Анго», — она чертовски в ней хороша. Пройдем к ней за кулисы, ротмистр?

Ротмистр. В таком случае надо поторопиться, чтоб успеть букеты купить. С пустыми руками к нашей примадонне и на глаза не показывайся.

Прокурор. И, полагать надо, цветочки эти — начало интересного знакомства?

Ротмистр *(самодовольно)*. Смотря для кого. Для меня — продолжение.

Прокурор расплачивается. Оба уходят.

Нико. Знаешь, Макар, прежде, когда Марго пела, — сердце из груди вынимала. Сейчас поет — все равно что чужой ишак кричит.

Макар *(оглядываясь по сторонам)*. Не идет что-то наш Брагин.

Нико. Скажи, пожалуйста, Макар, много трудов надо было, чтобы этого Брагина приручить?

Макар. Камо его сагитировал сам. Вместе они убегут... А вот и он. Под зеркалом стоит. Ищет нас глазами. Сделаем вид, что мы не знаем его... Он сейчас подойдет.

Брагин, одет как фабричный рабочий. Глазами будто ищет столик. Встречает взоры Нико.

Карапет. Свободных столиков не имеем....

Макар *(равнодушно)*. У нас место есть. Можно сесть.

Брагин. Разрешите? *(Карапету.)* Шашлычок мне, хозяин, да пивка. *(Садится за столик.)*

Макар *(сохраняя безразличное выражение лица)*. Ну, как там у вас, все готово?

Брагин. С кандалами он справился. На одной проволоке держатся. Решетку чуть допилить осталось, — пилки все поломал. Я за пилками пришел.

Нико (*зевая*). Проси у меня ящик, краски посмотреть. Пилки возьми, спрячь за пазуху.

Гиго опять ходит посреди духана взад и вперед и поет. Нико показывает Брагину на палитре, как из тюбика выпускают краски. Брагин прячет пилки.

Макар (*Брагину*). Теперь внимательно меня слушай: завтра в пять часов. Удобно?

Брагин. Самое время. Чай в общую столовую пойдут пить больные, а ему подадут в изолятор.

Макар. Передашь ему — ровно в пять у Верийского моста товарищи будут ждать с одеждой. Только бы переплыл!.. Совсем близко под его окном Гиго будет песни петь. Скажи, чтобы слушал. Есть песня — открыт путь. Нет песни — ждать надо. Для тебя лично, Брагин, тоже все готово. С дежурства сменишься в четыре часа и — прямо по адресу... Помнишь, куда?

Брагин. Чего не помнить? Выучил.

Макар. Сиди там и жди, пока он не придет. Если дело сорвется, мы тебя известим. Сам никуда не уходи. Понял?

Брагин. Чего не понять?

Макар. Итак, завтра ровно в пять...

ПОБЕГ

Изолятор в Михайловской больнице в Тифлисе. На окне решетка. Камо в больничном халате, в ножных кандалах; он крошит птицам хлеб за решетку.

Камо. Гуль, гуль...

Входит Брагин.

Знаешь, Брагин, я прямо удивляюсь, почему святой дух выбрал для себя голубей? Соловей — птичка лучше, как думаешь? (*Вглядывается в лицо Брагина.*) Что, товарищ Брагин, нового?

Брагин (*мрачно*). Сказали, нынче в пять. Ждать будут у Верийского моста. Когда песню запоют за окном — вам можно прыгать. Мне сменяться дежурством как обыкновенно, в четыре.

Камо. Значит, сегодня вечером мы с тобой вместе на полной свободе, если, конечно, я себе шею не сверну... Почему ж ты, товарищ, такой невеселый?

Брагин сумрачно молчит.

Боязно стало... На такое дело пойти — навеки подпольным стать. Имя не свое, паспорт не свой, всего опасайся. А тут работу кончил — и вольный казак. Свободен, значит. Ведь так думаешь, Брагин? Правильно я понял? *(Живо.)* А сообрази, товарищ: свободен — для чего? Свободен — можно мертвецки напиться, только и всего. Сам не раз говорил об этом. Образование хотел иметь? Не имеешь. Лучшей жизни искал? Не нашел. Что у тебя здесь в будущем? *(Прямо смотрит в глаза Брагину.)* Ты меня сейчас предать можешь, — ну, повышение получишь. Ну, будешь работать в тюрьме. Будешь водить политических к виселице. Еще хуже жить станешь... Если же ты попадешь со мной за границу — человеком станешь. Учиться дадим. К чему способность имеешь — то и будешь делать. Твое дело, решай сам! Если предашь — обязательно сопьешься, потому что ты не подлец. Хочешь пьяную старость, грязную ночлежку? Смерть под забором? Хочешь — не давай мне пилки, что держишь за пазухой. Со мной хочешь за границу бежать, человеком стать — давай скорее пилки, время идет. Обещать тебе, Брагин, наверное — я ничего не могу. Без обмана у нас. Сам рискую — рискуешь и ты. Решай!

Брагин молча подает пилки.

(Берет пилки и тотчас пробует их на решетке.) Отличные. Чуть-чуть подпилить, и все готово. *(Обернулся к Брагину и, уж не тратя ни минуты, говорит деловым, приказывающим тоном.)* Сейчас ты выходишь из больницы. Идешь на квартиру — тебе известен адрес. Там жди меня. Смотри, чтобы за тобой хвостов не было. Иди. Скоро буду. *(Подходит, крепко жмет Брагину руку.)* А если не буду, погибну — товарищи мои тебя спасут.

Брагин, вздохнув, уходит. Камо изо всех сил пилит решетку. Кончил. Вынул ее. Вдруг в коридоре голоса. Камо мгновенно вставил решетку на место, примазал швы черным хлебом. Отскочил, с безучастным видом сел посреди комнаты на стул.

Входит прокурор.

Прокурор. Здравствуйте, Камо. Как здоровье?

Камо молчит.

Все еще не надоела вам симуляция? Сколько лет сумасшествуете? Нас, милейший, не проведете, как немцев. Однако сидеть так месяцы, годы, без книг, без бумаги, без прогулок — немудрено и взаправду свихнуться. Неужто подобная трусость — достойный ваш конец, такого блестящего неустрашимого революционера? Из страха смертной казни терпеть подобное унижение? Говорят, вы в Берлине для убедительности глотали пауков и мух? Фи, какая гадость!

Камо *(с детской радостью)*. Вспомнил. Щегол Петька мух ест! *(Чуть не плача.)* Приручил я щегла, а он улетел.

Прокурор. Вы ничего не выгадываете вашей симуляцией: кандалы я с вас не сниму. Решетки с окна — тоже. Следующий этап — тюрьма... А там — по нисходящей... *(Показывает на шею, высовывает язык, закатывает глаза.)* Понятно?

Бьет пять часов. За окном раздается песня.

Какой прекрасный голос! Вы слышите? *(Подходит к окну.)*

Камо бессмысленно смотрит на прокурора и улыбается.

(У окна.) Идите сюда, садитесь за стол, сейчас будете пить чай. *(Пауза. Песня смолкает. Прокурор подходит к Камо, безуспешно пробует приподнять его.)* Черт его знает, может он и вправду спятил... Идите же, говорят вам.

Камо. Не могу идти. Присылайте моего щегла Петьку — мух ловить. Здесь много мух. Много...

Прокурор. Черт его знает, может и спятил. *(Идет к двери. Со злобою.)* Все равно — ни книг, ни прогулки. День и ночь в кандалах. *(Уходит.)*

Камо продолжает несколько секунд сидеть в прежней позе. За окном снова раздается песня. Камо встает. Спокойными, точными движениями он беззвучно сбрасывает халат и кандалы. Подходит к окну. Вынимает выпиленный кусок решетки. Спускается по веревке вниз. Песня обрывается.

Сторож *(входит с кипятком)*. Ну вот, чай принес, хлеб принес, пей на здоровье. *(Смотрит вокруг, ища боль-*

ного; видит открытое окно, в ужасе роняет чайник и хлеб. С криком кидается в коридор, оставляя за собой открытую дверь.) Бежал!.. Бежал!..

В изолятор вбегают сторожа, прокурор, начальник больницы.

Прокурор *(кидаясь к окну)*. Такая высота... Как он мог?! А! Веревка!

Сторож помогает втащить в окно длинную веревку.

Начальник больницы. Пособники были. Ясно.

Прокурор *(вне себя от ярости)*. Собак спустить! Он недалеко! Стрелять!..

Начальник больницы. Немедленно спустим! *(Убегает.)*

Сторож *(про себя)*. Пока этих собачек раздобудут — пиши пропало!

Выстрелы.

Разрешите, ваше благородие, сбегать вниз, — может, его и хлопнули.

Прокурор. И немедленно обратно.

Сторож уходит. Прокурор в предельном возбуждении мечется по изолятору. То он пытается втиснуться в отверстие в решетке, чтобы подальше увидеть, но не может, вследствие своей толщины, то снова мерит изолятор шагами. Рассматривает оставленную на полу одежду Камо, кандалы. Подбирает с полу пилку. За окном военная музыка, проходят солдаты.

Входит начальник больницы.

Начальник больницы. Собаки спущены... Кинулись прямо к реке и стали как вкопанные. Должно быть, преступник в Куре утонул.

Прокурор *(не владея собой)*. Вы ответите! Порядочки у вас!

Начальник больницы. Больница — не тюрьма для особо важных преступников. Вами же поставленную решетку он умудрился перепилить. *(Язвительно.)* Очевидно, здесь нужны были меры посерьезнее.

Появляется конвойный с ружьем.

Конвойный *(задыхаясь, обращается к начальнику больницы)*. Ваше благородие... так что палили по нем нещадно, — чи попали, чи нет — не понять...

Прокурор и начальник больницы кидаются к окну.

Нико, насвистывая, рисует. Стук в дверь. Нико вскакивает, открывает дверь. Входит Нина.

Нико. Нина, ну что?

Нина. Товарищ Макар велел сидеть у тебя и ждать.

Нико. А я думал — опять отложили...

Нина. Никто чужой к тебе не придет?

Нико. Никто сегодня не придет.

Нина. Они не отложили, Нико... Сегодня побег. Надо ждать. *(Замечает, что Нико ставит на подрамник подмалевок ее портрета.)* Не надо, Нико. Разве могу я сейчас позировать? Разве можешь ты рисовать? Зачем нам притворяться?

Нико *(снимает холст с мольберта)*. Как всегда, ты права, Нина! Я хотел немножко притвориться, чтобы тебе легче было ждать. Как хорошо, что с тобой, Нина, совсем не надо притворяться!

Нина *(подошла к Нико, взяла его за руку)*. Что с ним, Нико? Вдруг его убили или поймали и снова заперли в одиночку, на бессрочные муки. Ведь если во время побега поймают — пристрелят на месте.

Нико *(озабоченно барабанит пальцами по столу. Спохватывается, гладит Нину по плечу)*. Зачем поймают? Мало он им головы дурил? Не баран Камо, а орел... Его не поймают. *(Задумчиво.)* Знаешь, Нина, простить себе не могу, что портрета Камо не сделал. Самое живое в мире лицо. Глаза — пламя, а рот нежный, как у девушки. И весь он стройный, крепкий.

Нина *(берет из банки веточку унаби)*. Опять унаби цветет, как в день, когда так внезапно уехал Камо! Чего только он за это время не перенес!.. *(Ходит по комнате.)* Где он сейчас, как ты думаешь? Убежал? Не схватили?

Нико *(смотрит на часы, заметно волнуется, но скрывает это от Нины)*. Успокойся, Нина. Срок еще не прошел. Ты устала... вижу, всю ночь не спала. Засни на тахте. Я буду лицо твое обмахивать веткой унаби. *(Берет у нее из рук ветку.)* Меня эти ветки с тобой познакомили. А ты, Нина... *(Замолкает.)*

Нина *(быстро оборачивается)*. Что ты хотел сказать, Нико?

Нико. Хочу сказать... хочу сказать... Когда ты Камо в первый раз увидела?

Нина. Когда я в первый раз его увидела? Это было у сестры его, вечером, он только что убежал из батумской тюрьмы и рассказывал, как было дело... *(Пауза. Внезапно.)* Знаешь, Нико, такие люди, как Камо, даже не замечают, когда и как они отказываются от любви. *(Опустила голову на руки.)*

Нико *(подошел к Нине. Хочет что-то сказать, но ничего не говорит. Махнул рукой, быстро подошел к картине. Широкой кистью мазнул по полотну. Бросил кисть. Опять подошел к Нине. Говорит негромко)*.

Был добрый Дэв-Гмири,
В груди его сердце билось — очень большое.
Неспокойно текла кровь в его жилах — кипела.
Посмотрел и послушал он землю, чтоб ее переделать,
Чтоб не было бедных. Ни войны. Ни обиды.
Стали злые люди мешать Дэву-Гмири.
Даже ангелы стали мешать ему.
Бог любил, чтобы все жили тихо, а он один шумел.
Дэв-Гмири богу сказал: «Не хочу тебя ждать.
Сам начну все переделывать».

Нина *(подняла голову, улыбается сквозь слезы)*. Благодарю, Нико. Это ты сочинил?

Нико. Сам не знаю, откуда в голову залетело. *(С тревогой смотрит на часы.)*

Стук в дверь.

Нина *(кидается открывать)*. Это товарищ Макар... Его стук.

Входит Макар, быстро закрывает за собой дверь.

Нина и Нико *(вместе)*. Что с Камо?

Макар. Убежал Камо! Лучше меня вам товарищ об этом расскажет. Он помогал. Входи, Захар. *(Открывает дверь.)*

Входит Камо в костюме князя. На нем великолепная черкеска, папаха, богатое оружие.

Знакомьтесь, Захар Дадешкелиани, хороший товарищ, нередко выводил нас из беды. А это — Нина, Нико. Свои!

«Князь» чопорно здоровается.

Н и н а. Где Камо? В безопасности он?

К а м о. В безопасности ваш Камо никогда не бывает. Но в дураках он тоже не любит бывать.

Н и к о. Где он, где? Кем он теперь прикинулся? Не узнали его?

К а м о. Надо думать, что жандармы его не узнали, если близкие не узнают. *(Смеется.)* Ай, Нина! *(Протянул ей обе руки.)*

Н и н а *(кинулась к Камо)*. Жив! Жив!

К а м о *(обнял Нико)*. Нине можно простить, она не занимается рисованием, а тебе, Нико, стыдно — художник. Сколько раз сам меня гримировал.

Н и к о. А откуда черкеска, оружие?

М а к а р. Денщик настоящего князя Дадешкелиани нашим человеком стал. Его столько раз хозяин по морде бил, что научил очень хорошо наши листовки понимать.

Н и к о. Ну, расскажи, как бежал, Камо?

К а м о. Из окна выпрыгнул. Веревка гнилая попалась, оборвалась. Упал. Так громко ругался, — удивительно, как часовой не слыхал. Ногу ушиб. И хорошо, что нога заболела, — меня ярость взяла. От ярости Куру переплыл. Сейчас чуть хромаю. Сейчас я...

М а к а р *(прерывает)*. Подробности потом узнаете. «Князь» не имеет времени на болтовню. Через два часа «князь» должен быть на вокзале — едет в Петербург. *(Озабоченно.)* Вот только с паспортом беда: еще нет его у нашего «князя».

Н и н а *(нерешительно)*. Может быть, немножко отдохнет Камо? Ведь все равно паспорта еще нет...

М а к а р. Должен быть паспорт. Нужно ехать. Время не ждет. Наступает, друзья, новая эра — возрождение нашей партии. Жив революционный дух среди пролетариата, среди большевиков-ленинцев. Российская организационная комиссия с твердой верой принимается за великое дело — партийное строительство. Ленину нужны люди, которые могут практически помочь организационной комиссии.

Н и к о. Героическая работа — собрать в наших условиях общепартийную конференцию.

М а к а р. Ленин сейчас за границей готовит эту конференцию. Вот помощником и поедет из Петербурга наш «князь»... Готов, Камо?

К а м о. Как вихрь полечу!

Стук. Торопливо входит Г и г о. Ни с кем не здороваясь, обращается к Нине.

Г и г о. Скорей, Нина! Уговорились, что тебя пришлем за паспортом князя. Отправляйся, Нина, на место старой типографии. Там тебя человек встретит, бывший денщик Дадешкелиани. Получишь паспорт князя Дадешкелиани, на вокзал придешь к петербургскому поезду с каким-нибудь большим букетом. В него понадежнее паспорт засунь. Одному только «князю» этот букет продашь. Поняла?

Н и н а. Поняла.

М а к а р. Ты, Нико, должен вместе с Ниной быть на вокзале. Мало ли что может случиться. Из нас никому нельзя.

Н и н а *(подошла к Камо)*. Перевязку тебе надо сделать, а то ведь нога может разболеться.

К а м о *(смеется)*. За границу «князь» едет старые раны лечить. Хромать — даже очень кстати.

М а к а р. Торопись, Нина. А ты, Нико, скорей за букетом!

К а м о *(берет из банки цветущие ветки унаби, смеется)*. Старый знакомый! Унаби в цвету. Любимое дерево Нико. Ветки унаби революции служили. Этот букет мне о Вано напомнил. В таком букете Нико прятал шрифт для Вано.

Н и к о *(задумчиво)*. Наш Вано теперь в ссылке, в Вологодской губернии.

К а м о. Большую школу революции проходит.

М а к а р. Да, для Вано — замечательная школа. *(Заторопившись, обращается к Нине.)* Нина! Паспорт принесешь, спрячь его в букет и — на вокзал. У тебя, Нико, в помощниках краски, у Нины — цветы. «Князя» с его денщиком на вокзале ищите.

Н и н а. А кто денщик?

К а м о. Служитель больничный, Брагин. С ним вместе едет. *(Протягивает Нине руку, крепко жмет. Понизив голос.)* Вот и свиделись, Нина...

Н и н а *(печально)*. Свиделись! И сейчас опять расстанемся. *(Спохватывается, меняет тон.)* Я боюсь за твою ногу. Хватит ли у тебя сил?

Макар. Хорошо взвесь свои силы, Камо. Если не можешь — лучше отложим твой отъезд.

Камо. Зачем откладывать? Пока я в клетке сидел, столько силы набрал — гора Везувий! Сердце разорвать может эта сила. Взял бы весь земной шар за уши, царей и буржуев к черту стряхнул, и тогда можно земной шар, как дитя чистое, — прямо в социализм. На руках!

Все смеются.

Макар. А теперь, товарищи, попрощаемся с нашим дорогим Камо...

Камо. Уезжаю, товарищи. Ильичу от вас горячий кавказский привет передам. Обещаю, буду работать как десять большевиков, потому что всех вас в своем сердце везу. Все, что надо, сделаю, живой или мертвый. Скорее всего — живой. Это так же верно, как и то, что я совсем не князь Дадешкелиани...

У ВОКЗАЛА

С двух сторон на широкой лестнице вокзала деревья в кадках. Нарядная толпа, едущая с петербургским поездом, и простая публика.

Чистильщики сапог, мальчики (*бегают со щетками и чуть не ловят прохожих за ноги, крича наперебой*). Мазь — первый сорт! Черный Конго! Самый черный!

Двое мальчишек подрались у ног прохожего.

Прохожий. Полицейский, черт знает что... Гоните их в шею!

Полицейский. Я вам!

Мальчишки — врассыпную.

Среди публики Нико с ящиком красок, рядом Нина, одетая мальчиком, с тремя букетами, еле удерживая их в охапке. Около нее — два пшюта.

Первый (*Нине*). Мальчик, давай я куплю букет!

Второй. И мне давай...

Чистильщик сапог (*обиженным голосом*). Ничего им не давай — они даром норовят... Мне не заплатили.

Пшют (*замахивается тросточкой*). Я тебе задам!

Первый мальчишка *(отскочил, дразнит языком)*. Задам... задам... У самого в кармане — вошь на аркане!

Второй мальчишка *(вынырнул из-за спины полицейского, тоже дразнит языком)*. А в другом кармане — клоп на цепи.

В толпе внезапное волнение. Жандармы.

Нико *(Нине)*. У всех, идущих к поезду, щупают правую руку. Понимаешь, почему?

Нина *(в ужасе)*. А его все нет... Попадет под осмотр...

Нико. Вот он идет.

Появляется «князь» Камо, за ним, изнемогая под тяжестью чемоданов, «денщик» его — Брагин.

Камо *(жестом подзывает жандарма, тот подбегает, руку под козырек)*. Слушай, любезный, помоги денщику!

Жандарм угодливо берет чемодан и сопровождает «князя» и его денщика.

(Подходит прямо к дежурному жандарму). Что за осмотр? Почему задержал? Поезд не ждет...

Дежурный жандарм *(рапортует, вытянувшись)*. Ваше сиятельство, велено у всех пассажиров правую руку осматривать по случаю бегства политического преступника из Михайловской больницы.

Камо *(величественно)*. Весьма одобряю рвение корпуса жандармов. Вели пропустить.

Дежурный жандарм. Расступитесь, расступитесь!

Камо с Брагиным и жандармом проходят на перрон.
Нина в совершенном отчаянии, что Камо ее не заметил и уедет без паспорта.

Полицейский *(подходит к Нине)*. Эй ты, с букетами... Здесь не место. В сторону... Слышь-ка, в сторону!

Нина, чуть не плача, делает несколько шагов назад. По ступенькам бежит жандарм, который нес чемодан Камо, направляется к ней.

Жандарм. Давай букеты! Князь велел.

Нина. Этот лучше всех. *(Протягивает букет из ветвей унаби.)*

Жандарм. На черта князю трава!.. Получше давай! *(Берет другой букет.)*

Нико. Слушайте, князь очень капризный, я его знаю, он любит в морду давать. Берите все три букета. Мы вам верим, здесь подождем, деньги принесете потом.

Жандарм *(хватает все три букета)*. Ну, давай весь огород! *(Уносит на перрон все три букета.)*

Полицейский *(Нине)*. Теперь свои денежки жди до завтра. Плакали твои денежки.

Свистки. Слышно, как отошел поезд. У вокзала пустеет.

Нина *(смеется сквозь слезы)*. Уехал, уехал... В добрый час!

Занавес.

1955

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОЧИНЕНИЯМ ОЛЬГИ ФОРШ В 4 ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

СКАЗКИ

ПЬЕСЫ

Ольга Дмитриевна
ФОРШ
Собр. сочинений, т. 4

Редактор Р. Софронова
Художник Л. Хижинский
Художественный редактор
А. Гайденков
Технический редактор
Л. Чалова
Корректор А. Большаков

Сдано в набор 18/VI 1956 г.
Подписано к печати 12/X 1956 г.
М-30493. Тираж 75 000 экз.
Бумага 84×108 1/32—23,5 печ. л.
38,54 усл. печ. л. Учетно-изд.
л. 36,49. Заказ № 1355. Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности.
2-я типография «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.